Михайло Стельмах

1812

Михайло Стельмах

ХЛІБ І СІЛЬ

РОМАН

Авторизованный перевод
с украинского
Вл. РОССЕЛЬСА

№ 12122

Государственное издательство
художественной литературы
Москва · 1961

Постановлением

Комитета по Ленинским премиям
в области литературы и искусства
при Совете Министров Союза ССР

МИХАИЛУ АФАНАСЬЕВИЧУ
СТЕЛЬМАХУ

за романы

«Хлеб и соль», «Кровь людская — не водица»
и «Большая родня»

присуждена

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 1961 года

Послесловие

В. ПИСКУНОВА

Оформление художников

Е. ГАНИУШКИНА и Ю. КОПЫЛОВА

Кланяемся вам хлебом да солью.

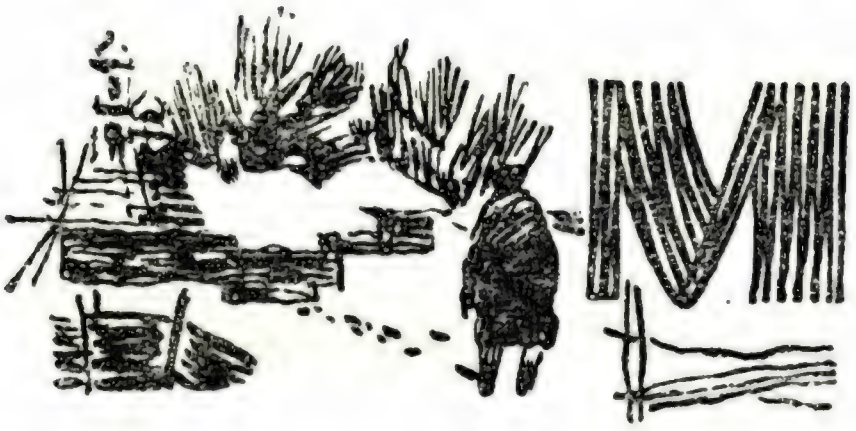
Дороже всего человеку — хлеб, соль и честь.

Народ

Часть первая

РАЗОРЕННЫЕ ГНЕЗДА

I



иновала тревожная, беззвездная ночь, и там, где пепельно-серые снега смыкались с небом, отделилась кромка зари.

Вокруг неясно проступали очертания приплюснутых построек, обведенных мглистой сединой деревьев, а на востоке, опережая солнце, растекались холодные охряные полосы; вот они уперлись в Казачий курган, и на нем зашевелился костлявый ветряк, — казалось, он задевает концами крыльев предсолнечные полосы и подымает завесу рассвета все выше.

А в селе, словно страстные свечи, все еще теплились жалкие огоньки. За непокрытыми, простывшими за ночь столами люди сидели так, словно их окаменил злой колдун. Даже дети повзрослели за эту ночь: в маленькие сердца все лилась и лилась неуемная скорбь отцов. Детские головки прежде времени опустились на грудь; мир, где жили дети, прежде времени потускнел, коснувшись горючих, неизведанных отцовских путей.

Катерина полными муки глазами заглянула со двора на внучат и припала к такой же старой, как и она сама, груше; слезы, срываясь с редких ресниц, затекали в землистые морщинки, словно те только и были созданы для скорбных слез и темной земной пыли.

— Родичи мои, родичи, куда ж вы сбираетесь, на какое злосчастье!.. — заголосила она не словами, а самим сердцем.

Слезы стекали по желобкам морщин, падали на свежую вязь снежинок и в гнездышке меж двумя горбатыми корнями выдалбливали неглубокий след.

Из хаты, как тени, выходили молчаливые люди.

В нежность предвесенней зари влился дух водки, не той, что веселит людей, а той, что трудно пьется на похоронах да на поминках. К матери подошел сын, высокий, согбенный чужим плугом и собственной нуждой. И ему годы уже пропахали лоб и растрепали колоски бровей; кто ни поглядит на эти брови — поле припомнит.

— Мама, слышите, мама...

Она подымает кривящиеся от боли и слез глаза, а слова сына ощущает всем телом, как ледяную воду.

— Может, передумаете, мама, и — с нами?

Он опирается твердой, будто кованой, ладонью на грушу. И кора дерева и рука человека одинаково темны и потрескаены, в морщинки коры и руки одинаково, до самой крови, въелась земля. Ее уже не отмыть ни в каких водах. С этой землей хлебороб и в могилу ляжет и к богу на суд пойдет.

— Так слышите, мама?

— Ой, не передумаю, сынок. Тут моя жизнь прожита.— Заплаканное сердце ее и вся она сжимается в комочек боли.

— Какая уж это жизнь! И что тут у вас? Земля? Поместье?

— Земли ты, Иван, лишился и хату продал,— зачем-то напоминает Катерина сыну, словно он не знает этого.

— Что же было делать? Мучить детей на полутора десятинах да посылать с сумой по миру? Или как? — Колоски бровей сомкнулись и нависли над глазами.— Поезжайте. Тут уже и земля под ногами не наша, ничего не осталось нашего.

— Ничего? А могила твоего отца? Пусть и меня возле него похоронят.—И старуха невольно делает движение в ту сторону, где, отработав свое, лежит ее муж.

Над ним в головах колышется кладбищенская вишня. Ни вешняя роса на ней, ни ранний цвет уже ни о чем не напомнят ему, а Катерине и далекую молодость напомнят и скажут о том туманном конце пути, к которому теперь вплотную подошли ее годы. Нет, пусть и над нею лучше шумит кладбищенская вишня, чем холодные сибирские ветра. И она, закрыв лицо черными, точно корешки, пальцами, дрожит,

как та вишня на холоду,— без единого слова, без единого крика.

Сын еще ниже склоняется к матери.

— Живому человеку — слышите, мама? — надо думать о живом. Дорога кладбищенская земля, да кормит она одного могильщика. А у меня детей — что росы. Может, там, в далеком краю, все-таки лучше будет? Или как? — Он бережно трогает руки матери.— А застигнет горе — что ж... вместе и в беде легче.

— Этот путь мне смертью обернется,— мать покачала отяжелевшей от дум и боли головой.—И на что вам лишний рот в дороге? Хоть бы на детей хлеба хватило...

От тяжкого вздоха ослабло, обмякло затвердевшее в труде тело Чайченка. Он, морщась, сгреб шапку с головы, и россыпь посекшихся кудрей затрепетала на ветру. Когда-то эти кудри были волнистые, золотые, как пшеничный сноп, а потом потемнели, слежались от каждодневного нелегкого пота и переплелись жестким серебром.

— Ну, так не браните, не проклинайте меня, мама. Что ж теперь делать: и вы не дали мне счастья, и я вам его не дал... Будь земля, вы бы у меня в красном углу красовались, как рождественский сноп. Разве я не люблю вас?..

Охваченный жалостью к себе, к своим малышам, к своей судьбе и матери, он приникает к маленькой, высохшей старушке, и соленый привкус ее слез обжигает его запекшиеся губы.

В выси над ними зашумел ветерок, и предрассветная, темная пелена изморози повисла над головами сына и матери.

У ворот остановились дровни. Еле видные, сгорбленные люди суетливо выносили из жилища последние пожитки, мешки с зерном. Дверь в хату больше не затворялась, и зеленовато-сизый туман стужи навеки выгонял изо всех уголков жилья тепло Катерининых детей и внуков. Казалось, он выгонял и самую жизнь из настрадавшегося тела Чайчихи.

— Иванко, а может, вам бы не ехать? — вырвалось у матери. Горестная, словно тяжкий стон, стоит она виновато перед ним, как он когда-то, ребенком, стоял перед нею.

— Пустое говорите, мама.— Он, как маленькую, взял старуху за руку, повел к растворенным настежь воротам.— Жаль мне вас, да и себя жаль. Увидимся ли еще?

— Разве что на том свете!

— Может, хоть там попросторней будет.

Загробные края надвигаются ему на глаза серою мглою, но он оттесняет мрак видением сибирских земель — своей упрямой и тревожной надеждой: может, хоть там улыбнется ему судьба.

В хате погасили светец, и маленькие оконца потемнели, внутренность жилища померкла, словно из дома ушла живая душа.

К старухе подбежали внучата, они жалостливо заглядывали ей в глаза, на ее морщинах трепетали лепестки теплых губ, а она ласкала детей и складывала руки, как на молитву.

— Садитесь! Пора в путь! — в слезах крикнула невестка, в последний раз стоя у своих ворот, и внучата, разом глянув на бабушку, со всех ног кинулись к саням.

Возле Чайчихи остался только белокурый Василько. Сапожонки его увязли в снегу, и он понуро смотрел на них, а губы, кривясь, выдавали подавленный плач. Но вот вспорхнули длинные, загнутые ресницы, и на старуху страдальчески глянули голубые, омытые влагой глазенки.

— Бабуся, слышите, возьмите от меня,— и он протянул маленький розовый кулачок.

— Что это, дитятко? — Старческая, с набухшими жилами рука зажала подарок.

— Серебряный полтинник. Это когда я на свекле у барина долгоносика собирал...

— Ой, на что ж он мне, Василько?

— Пригодится в хозяйстве,— ответил мальчик отцовскими словами, еще не понимая, что нет больше никакого хозяйства у их семьи.

— Чтоб тебе, дитятко, все в руки шло — с земли, из воды, из росы. Расти, как золото ясный, как весна пригожий, как хлеб добрый...— так и застонала Чайчиха, разгадывая сквозь грядущие годы и невесть у кого вымаливая долю для внука...

Только бы вырос на своей земле, только бы не обливал кровью черствый, словно из камня выпеченный, батрацкий хлеб! И подумать страшно, какова-то Сибирь! Слывет она лишь лютыми морозами да кандальным звоном. Пусть же зазвенит теперь отборным зерном.

В своей чистой вере и мольбе она и сама была словно ребенок. Как ни горьки ее докатившиеся до самого края годы, а ничто не озлобило, не очерствило ее изобиженного, смиренного сердца, не поколебало надежды на то, что придет день— и все на свете изменится: рассеется беспросветная нужда, за

плугом весело пойдут все люди, а земли и хлеба достанет и для малого и для старого.

— Бабуся, а как прилетят аисты, вы скажите Плачинде, чтобы их собаками не травил. Сами знаете, какие наши аисты доверчивые, не разберутся, что нас нет, спустятся во двор, проклятым волкодавам на поживу.

— Скажу, дитятко, скажу!

— Только как следует скажите. А то я вчера подхожу к Плачинде, а он смеется: «Ты бы, малец, лучше про налыгач да про волов подумал, а о небесной скотине пускай господь бог позаботится».

И оба вскинули глаза на покосившуюся хату, украшенную серебряным венцом заснеженного гнезда. Сплетенное птицей на отслужившем свой срок колесе, летом оно, поскрипывая на ветру, пыталось крутиться; тогда аистята, почуяв движение, подымались над краями гнезда и пробовали силу своих молодых, размашисто раскинутых крыльев. Весною аисты вновь заклекочут над прогнувшейся, замшелой кровлей, выведут птенцов, полетят в теплые края, где, верно, тоже туго насчет земли, а то не ехали бы ее дети в холодную Сибирь.

Иван гикнул на лошадей; под полозьями в выбитых колеях тонко, как промерзшее стекло, запели комочки ноздреватого, предвесеннего снега. Сани, облепленные детворой, повернули к щелястому мостику; их занесло, кто-то свалился с дровней, растянулся на изъезженных бревнах, послышался детский смех, и мать снова вздохнула.

II

Отлетало куда-то изменчивое рассветное небо с клочьями облаков, с прорубями лазури, с пчелами звезд, стряхивавших золотистую порошу лучей, словно легкую пергу. И казалось, это она, впитывая в себя влагу лугов, осела на сердцевинках сверкающего куреслепа и радует глаз своими нежными клубочками.

Между темным небом и темной землей стоит бесплотной тенью человек и удивляется, как можно разом видеть звездную пыльцу и на цветах и в небе.

«Да это же сон!» — вдруг догадывается Тадей Станиславович Лисовский, все еще барахтаясь в тенетах забытья.

Фантастичны были его сновидения. То кружились перед ним холодные камчатские просторы, откуда он недавно вер-

пулся, то вместо стройной торжественности снегов чаровали его облака цветущих вишневых садов, то на зелени волнующихся луговин рябили голубыми сотами водоемы.

В полусне, будто на весах, покачивались украинские и сибирские земли, а мысли то летели над ними птицами, то шли тяжело, как по этапу.

Порой Тадей Станиславович на миг вырывался из забытья, оставляя и своих единомышленников и синемундирных жандармов.

«Что это они даже во сне прицепились? — Он перетряхивал прошлое и почти не находил «грехов».— Но, ясное дело, при желании мало ли к чему можно прицепиться...»

Быть может, кто-нибудь из охранки докопался, что отец его еще студентом входил в польскую гмину «Земли и воли» [1], а потом в киевскую «Старую громаду». От этой зацепочки один шаг до неблагонадежности сына, даром что его более всего интересует не политика, а культуртрегерство и мелос, крестьянский мелос...

А через минуту он попадает в какую-то удивительную метелицу, и то не ветер тужит и воет, а каждая снежинка звенит, как музыкальная нота.

Потом сквозь вьюгу донеслись обычные печальные и необыкновенные крестьянские голоса, послышалась самая любимая песня Лысенка «Ой, нет того хуже, чем жить сиротою...», за нею полились чумацкие, какие певал дед Дунай; голоса состязались с метелью, одолевали ее, либо, слабея, затихали в снегах. И снова непривычная мысль почти вырывает Тадея Станиславовича из объятий дремоты: «Только народ может и по снегу раскидывать свои песни». Не забыть бы записать это в дневнике... Ох, этот дневник!.. Лишь бы он не угодил в чужие руки,— там не поглядят, что в нем и без того больше, чем надо, мудрой осторожности.

А метелица шумит, заметает звуки песен, и вместо них возникает трогательный «Полонез» Огинского и тревожное начало «Элизе», от которой он плакал вчера и, верно, сейчас снова заплачет...

— Доброе утро! Доброе утро! — Чей-то скрипучий, надтреснутый голос врывается в его сон.

Тадей Станиславович поднимает голову и спросонья не

---

[1] Тайное общество, основанное в 60-х годах XIX века на Украине. В состав его входили три гмины — украинская, польская и литовская. В обществе было два течения — либеральное и революционное. *(Прим. автора.)*

может ничего разобрать в темноте. Он соскакивает с постели, подходит к окну, отдергивает тафтяную штору и видит предутреннюю землю в снегу; на ней легко, как пушок одуванчика, держится еще вечерняя пороша.

— Доброе утро! Доброе утро! — хрипит над головой, и Тадей Станиславович только теперь догадывается, что это его приветствует из клетки ученый ворон.

— Доброе утро, ворон. Есть хочешь?

Птица бьет крыльями по клетке и повторяет свое скрипучее приветствие.

Тадей Станиславович, одевшись, открывает широкую форточку, нащупывает спички, чтобы зажечь свечи, но в это время возле веранды раздаются приглушенные голоса и шаги. Под окном останавливаются две темные фигуры — подтянуто-вышколенная мужская и понурая женская. Некоторое время длится молчание. Женщина подымает руку к лицу, утирает глаза.

— Стало быть, едешь, сестра? — доносится в комнату густой голос лакея Никанора.

— Еду, братец,— сквозь слезы отвечает женщина.— Не дай бог никому так ехать...

— Ну что ж, поезжай. Может, где, конечно, и есть легкий хлеб.

— Добро бы хоть без малых детей,— горюет женщина.— А то уж такие они у меня слабенькие да желтые — ну просто восковые свечки...

— Собрались — так уж езжайте с детьми,— в голосе Никанора прорывается нетерпение. — Может, вырвусь на часок, приду попрощаться, хоть и состою на службе.

Он вынимает из жилетки часы, сперва смотрит на них, затем подносит к уху, прислушивается и снова любуется господским подарком.

— Никанор, ты ведь нам еще пять рублей за огород недодал,— дрожит женский голос.

Лакей прячет часы.

— Думаешь, я забыл? — с неудовольствием говорит он.— По почте вышлю. Придут в Сибирь — как находка будут. И брата лишний раз вспомните.— Его толстогубую физиономию кривит подобие улыбки.

— А может, Никанор, ты бы сейчас дал эти деньги? Очень уж они нам нужны.

— Я же тебе сказал: сейчас нету,— а почтой, вот те крест, вышлю.

— Ох, не видать нам этих денег и с почты: что мы, нрава твоего не знаем? Хоть бы ты ради нашего черного дня переменился!

— Ну и въедлива же ты, сестрица! Дрожишь над рублем, будто в страду его породила. Сказал — пришлю,— и пришлю! А теперь ступай домой, а то наш барин рано просыпается, подумает еще, что ко мне полюбовницы ходят.— Он, смеясь, наклоняется к сестре, а та не знает, целовать или клясть ей брата, который верой и правдой служит только господам, а от мужиков нос воротит.

Никанор уже и во сне и наяву видит себя барином. И станет им, как пить дать,— такое уж у него каменное сердце: родного отца за копейку продаст, а за две — и придушит.

Женщина со вздохом уходит навстречу рассвету, за нею топает осанистый Никанор, снова поднося к уху господские часы.

Лисовский брезгливо поморщился, тронул рукой карман и быстро вышел во двор. У высокой, перевитой чугунными змеями ограды он догоняет лакея и женщину.

— О, так рано проснулись, барин?! — с преувеличенным изумлением восклицает Никанор. На его лоснящейся от жира, но скованной почтением физиономии выражение льстивой угодливости и подобострастия: такая радость, такая радость видеть барина! — хотя за глаза Никанор при упоминании об этом барине только машет рукой и, презрительно кривясь, выдавливает одно слово: «Эт!»

Женщина равнодушно подняла на барина большие, обведенные мглою глаза и, думая о своем, вздохнула. У нее красивое лицо с тонкими чертами, словно старинная, хорошего письма икона. Лицо страдальческое, как у великомученицы.

Лисовский, волнуясь, достает из кармана кошелек, неловко вынимает из него новенькую, хрустящую бумажку и протягивает крестьянке:

— Возьми, добрая женщина, на дорогу.

Та отшатнулась, приподняла тонкое плечо, накрытое черным с каймою крылом платка.

— Что вы, барин?.. С чего это мне брать ваши деньги?— Голос ее изменился, стал настороженным, из него словно выпали все слезы, которые только что в нем дрожали.

— Бери, глупая, раз барин дают-жалуют! — прикрикнул на нее брат.— Чего ломаешься?

— Мы, Никанор, хоть и бедняки, а всё не нищие,— она кинула на брата недобрый взгляд, и с лица ее разом стерлась печать мученической святости.

Лисовский смутился: он не ожидал, что его чистосердечный дар так озлобит крестьянку. И с чего бы?

— Я слышал, как вы говорили с Никанором, вот мне и захотелось помочь...— Он стоит с протянутой рукой, в которой похрустывает бумажка.— Возьми ее,— кажется, что сам барин просит подаяния.— Ну, хоть детям на подарок...

— Обойдутся и без господских подарков. Пусть не привыкают.

— Глупа, глупа, как пень! — возмущается Никанор.— Ну когда еще такую даровщинку получишь? И себя обделяешь, и барину обидно.

— Чем же это я барина обидела? — рассердилась женщина.— Что я Ивану об этих деньгах скажу? Как ты думаешь? Скажу: взяла у барина пять рублей? А кто не знает, за что господа дают девкам и бабам деньги, будь они трижды и навеки прокляты!

— Вы так ненавидите господ? — Лисовский оторопело смотрел, как менялось, наливаясь жаром, тонкое лицо молодой женщины.

— И ненавижу! — Она посмотрела ему прямо в глаза и махнула сжатым кулаком.— Кто нас гонит с родного двора в холодную Сибирь? Господа! Убейте меня, а я одно знаю: бог нас любит, царь жалеет, а с господами — не жить!

Эти слова обдали Тадея Станиславовича роем искр, за ними физически ощущалась пропасть, разделяющая мужика и барина.

— Замолчи, нечистая сила, чтоб тебе язык меж зубов заклинило! — Никанор шагнул вперед, готовый ударить сестру.

— Чтоб тебе кошель заклинило! Раздобрел на господских хлебах, а наши горькие пять рублей с детскими слезами припрятал,— отрезала та.

— Дались тебе эти пять рублей, чтоб тебе ими подавиться!

— Не подавлюсь. Сам подавись — они у тебя остались!

И тут Лисовский решительно протянул бумажку женщине.

— Возьми. Я твои деньги стребую с Никанора.

— Вправду? — удивилась она.— С Никанора стребуете? Да у него никто еще своей копейки не вырвал!

— А я вырву! — разозлился Лисовский.— Никанор, чтоб сегодня же к вечеру были мне пять рублей! — Он строго посмотрел на лакея.

Полное лицо Никанора побагровело от возмущения, толстые разомкнутые губы задергались, словно вылавливая из воздуха нужные слова.

— Не бери, Гафия, денег, не позорь меня! — умоляюще, жалобно выкрикнул он наконец.

— Отчего ж не взять, раз они мои? — Молодая женщина зажала в руке бумажку и быстро пошла к железной, врезанной в ограду калитке.— Спасибо, барчук,— поблагодарила она Лисовского уже с улицы.

Никанор жалобно посмотрел на барина, надеясь, что тот простит ему долг, но Лисовского не растрогал взгляд лакея, которого ему давно уже хотелось проучить. Никанор с сердцем махнул рукой и тут уже прямо в глаза барину буркнул свое: «Эт!»

Но Тадей Станиславович не постиг, сколько злобы, презрения, отчаяния и обиды было вложено в это междометие. Он проводил глазами женщину, еще раз вспомнил ее огорчительные для помещичьего сердца слова и только теперь сообразил, что это не минутная вспышка гнева, а многовековой крестьянский опыт. Это же, в сущности, формула, а быть может и философия нынешних земледельцев. Они верят, что бог их любит, царь жалеет, и знают, что с господами — не жить. Да, это формула, и она, право, «томов премногих тяжелей»...

В комнате Тадей Станиславович, морща лоб, зажигает свечи и склоняется над своим дневником. Кажется, запись, сделанную накануне, следует изложить более эзоповским языком, хотя бы для того, чтобы в снах меньше мерещились синие мундиры.

Тадей Станиславович раскрывает разбухший от времени дневник и просматривает последние странички.

«Сегодня впервые по возвращении с Камчатки был у Стадницких. Зимою их дворец с белыми колоннами кажется сказочным, только чугунный змей в бассейне оставляет неприятное впечатление. И вообще мне непонятно пристрастие наших помещиков ко всяким гадам, то отлитым из чугуна, то свивающимся в клубки на хрустальных люстрах. А в крестьянских жилищах если и встречаешь символику, то все больше солнце, или его лучи, или подсолнух,— небезынтересная параллель!

Аркадий Валерьянович встретил меня радостно, что, впрочем, не помешало нам уже за ужином, как всегда, резко поспорить. Хорошо, что пани Стадницкая успокоила меня музыкой. Разговор по большей части вертелся вокруг переселенцев, которые завтра выезжают из села. Аркадий Валерьянович бранил их, как только мог разрешить себе при даме. Особенно напал он на них, когда я назвал их беднягами.

— Не бедняги, а неисправимые дураки! Ну, можно ли ехать в такую даль с их пожитками, на их злосчастные гроши? Это не люди, а скопище самоубийц!

— А что им остается делать? — осторожно спросил я.

— Сидеть, не рыпаться да получше обрабатывать свой надел, какой ни на есть. Пока жива надежда на переселение в другие края да на дурацкие золотые грамоты, которые баламутят деревню еще со времен реформы, до тех пор наш мужик будет не обрабатывать, а ковырять, мучить поле.

— Будь у него скот, инвентарь...

Я собирался развить свою мысль, но Стадницкий резко оборвал меня:

— Нашего мужика еще мало беда гнула, вот как скрутит в бараний рог — все найдется: и скот, и плуг, и сметка.

— Странное рассуждение.

— Странное? Неужели вы, лауреат Академии, не понимаете, что нужда заставит земледельца как следует, ревностно, по-европейски, улучшать свою ниву?

— А сколько народу голод сведет в могилу?

— Наука, начиная с татарского нашествия, никогда не давалась даром.

— Жестока ваша наука.

— Однако только эта жестокость заставит мужика по-настоящему обрабатывать землю.

— А если у него этой земли столько, что в пору добрым кобеняком [1] прикрыть?

— Тогда все-таки, прошу прощения, лучше у меня в экономии либо в лесу руки приложить... Предупреждал ведь их — не послушали. Природное мужицкое упрямство. А переселение к добру не приведет.

— Этот мотив мне знаком из некоторых официальных материалов. Итак, искать для крестьян лучшей жизни — несусветная ересь?

— А что же, и ересь!

---

[1] К о б е н я к — суконная крестьянская одежда с капюшоном.

— Для кого?

— И для нас, и для крестьян.

— Любопытно!

— Поймите,— чуть не зашипел Стадницкий,— добрая половина этих переселенцев, не отогрев место в холодной Сибири, вернется назад.

— Из любви к родной земле?

— Да разве у них есть любовь? Синтез души украинца составляют лютая ненависть и коварство Сечи и Чигирина!— Аркадий Валерьянович коснулся наследственного больного места и со всей страстностью своей изменчивой натуры накинулся на тех, кто на него трудится. А мне пришло в голову, что он, как всякий ренегат, ненавидит украинский народ, из которого вышли его, Стадницкого, прадеды.

Предки его, если верить рассказу и записям моего отца, были не Стадницкими, а просто Стадниками — табунщиками, жили в Великом Луге с запорожскими всадниками — комонниками,— разводя и охраняя лошадей для Сечи. Но какому-то Володимиру Стаднику захотелось приобрести больше богатства, чем вмещалось в казацкие переметные сумы да в обычную казачью лачужку — кугу. Он принялся барышничать, завел торги и дружбу даже с перекопскими татарами и тяжко проштрафился перед товарищами — низовыми казаками. Правда, не всё вывели на чистую воду, но и за то, что раскрылось, пришлось лишиться железной стадницкой булавы — пернача — и постоять у позорного столба; братья сечевики присудили: наказать палками и отпустить на покаяние. На барышника посыпались неумолимые дубинки.

Суконный, с закидными рукавами кунтуш Стадника почернел от крови, но сам Стадник не потерял сознания до конца экзекуции. Подлечив язвы своего позора и помолившись за спасение души в самой крайней, девятой церкви Запорожской Сечи, он сразу же, прямо с паперти, понес лютую злобу свою в можновладную шляхетчину. Там, уже на королевской службе, он и стал Стадницким, там его кости живо обросли отступническим мясом. Не раз сабля и копье, добывая ему шляхетство, вынимали души из своих же,— к злобе властолюбца легко привилась жестокость вельмож и королей.

В родовом архиве Стадницких документально подтверждается, что Володимир Стадник военною доблестью достиг дворянского герба и достоинства, но вовсе уж не ясно, по какой прихоти судьбы его потомок Федор Стадницкий, оста-

вив в польских владениях свои грунты [1] и майонтки[2], оказался лакеем при дворе пресветлой и самодержавнейшей императрицы Екатерины Алексеевны с годовым жалованьем «по сту пятьдесят рублев». Однако красивый, ловкий и любострастный лакеишко был за верную службу высочайше пожалован патентом на чин сухопутного прапорщика. Тогда же Стадницкий, не доверясь минутным прихотям и настроениям государыни, бил челом императрице, испрашивая дворянство. А через год, в голодное сухолетье, он нагрянул с жалованной грамотой на займанщину — ничейные дотоле земли возле Буга — «со всеми на ней живущими крестьянами и в бегах находящимися», взял еще землю «в наем» из пяти денежек в год за десятину, запахал своими плугами «пустоши», с коих жители сбежали от шляхты, и принялся приманивать посполитых и соседских крестьян малою данью — двадцать злотых оброка в год. Там же, на Подолье, новоиспеченный дворянин был торжественно вписан в дворянскую родословную книгу. Впоследствии кое-кто из Стадницких писался Стадниковым, но все они гордятся своей поколенной росписью от Федора, вылущивая из родословного древа Володимира Стадника; ни к чему, в самом деле, вспоминать хлопа, чья шляхетность ведет начало от казацких дубинок!

И вот теперь далекий потомок простого табунщика плюет в колодец своих прадедов и, ехидно улыбаясь, допытывается у меня:

— Вы, вижу, не согласны с оценкой души вашего христианствующего украинца?

— Не вам бы о том говорить... Неужто вы и впрямь убеждены, что в украинце нет ничего хорошего?

— Одно пушечное мясо! — В прозелени глаз Стадницкого блеснула злоба: он понял намек.

— И вы хотите, чтоб после этого вас любил крестьянин?

— Любовь его мне ни к чему. Я хочу только, чтобы мужик, зарабатывая свой хлеб, гнулся над чапыгами, а не думал о школах, не корчился в шахтах, а то он окончательно забудет, что Украина — земля хлеба и сахара.

— Вы крепко держитесь за духовные оковы для народа.

— А на что просвещение тем, кто наделен духовной, политической и моральной ленью?.. Вы возражаете? Вы, быть

---

[1] Грунты — земли.

[2] Майонтки — имущество, имение *(польск.)*.

может, за университеты для мужика? Но кто создает их для кафров, зулусов, готтентотов?

— Вы забываетесь!.. Вы даже забыли, что у меня мать крестьянка! — вскипел я.

— Простите, я не желал вас обидеть.

— Лучше бы вы обидели меня, чем весь народ! — Я встал.— До свидания.

Тут ко мне с извинениями бросилась пани Стадницкая, да и хозяин, подавив спесь, полез извиняться, заверяя, что не стоит гневаться, пусть даже за неосторожное слово, ибо, дескать, мой хлеб — не земля, а слово, и потому я должен знать все его оттенки.

Мы молча принялись пить, затем, снова как ни ходили вокруг да около, а вернулись к переселению.

— Вот на Камчатке небось о нем не думают?— посмеиваясь, осведомился Стадницкий.

— Нет, думают и там!

— Неужели? — искренне удивился Аркадий Валерьянович.— Кому же и какие мысли приходят там в голову?

Я рассказал о статском советнике Херсонском, который не без оснований утверждает, что японские рыбопромышленники, которыми кишат Петропавловский, Анадырский, Гижженский и Охотский уезды, прибирают к рукам богатства всей Камчатки. Колонизация северо-восточного побережья рыбопромышленными факториями, хитро продуманный японцами захват торговли и промыслов — это лишь первый шаг к не очень-то отдаленной цели: оттягать Камчатку у нашей империи.

— А что же в таком случае, простите, делает администрация? — возмутился Стадницкий.

— Постепенно опускается.

— Но должны же быть какие-нибудь идеи у лучших представителей чиновничества? Наконец, что же они докладывают в Петербург?

— Просят переселять малоземельных и безземельных крестьян не в среднюю полосу Сибири, а на Камчатку.

— Кретины! Кто ж туда поедет?

— Охотники вряд ли найдутся. Но они сыскали иной путь: предлагают высылать на Камчатку бунтарей, революционеров из городов и деревень.

Эти слова необычайно поразили Стадницкого, и он восхищенно воскликнул:

— А знаете, эти кретины ум не пропили! Они, быть может сами того не ведая, подали гениальную мысль!

— Вы видите гениальность в ненависти?

— Не только любовь да страдание порождают гениев. Прекрасная идея! Подумайте сами. Ссылка в сибирские деревни, к сожалению, не уменьшает революционную опасность, а лишь распространяет ее по просторам империи. А Камчатка может стать превосходным изолятором России. Изолятором для новых идейных недугов и в особенности для социал-демократии! Этому можно и следует найти историческое и теоретическое обоснование.

— Не старайтесь: оно уже найдено вашими гениями ненависти,— ответил я, подумав, что любую мерзость можно одеть в пристойное платье.

— Как же исторически обусловливается эта необходимость?

— Сибирь захвачена буйной вольницей Ермака, теми, кому было тесно на Руси. Потом туда, в снега, погнали ссыльных различных категорий. К примеру, Охотск, Приморской области, заселила голь, высланная за неуплату долгов. Вот какой народ завоевал, сохранил и превратил суровую Сибирь в житницу России. А нынешний бунтарь, или там, революционер, как доказывают камчатские чиновники, не менее упорен и жизнеспособен, чем его предшественники. Он и до непочатых сокровищ этого края доберется и перед натиском иноземцев устоит.

— А главное — мы избавимся от бунтарей, их идеи падут не в горячие головы, а на бескрайние снега Сибири и в волны Тихого океана.

— Скоро сказка сказывается...

— А вы не согласны с этой сказкой?

— Ни с этой, ни с вашей.

— Может быть, у вас есть получше?

— К сожалению, нет.

— Удивляюсь. Тогда, быть может, вас, Тадей Станиславович, удовлетворяет проект Витте?

— Он более гуманен, чем ваш и камчатских чиновников, но и за ним, как мне кажется, стоит забота не о судьбе земледельца, а о более крупном обороте государственного рубля.

— Финансист всюду остается финансистом! — улыбнулся Стадницкий.— Но почему же вас, однако, не удовлетворяет ни одна из переселенческих идей?

— Я очень мало разбираюсь в экономике, хотя и не чураюсь трактатов социологов: ведь на это теперь и в России пошла мода. Но мой ум быстро утомляется от бесед о свободной конкуренции, экономической эволюции, о «младших детях Франции» — наших промышленниках. Я, вероятно, вижу лишь то, что лежит на поверхности. Но разве вам не кажется, что великие дела выполнимы только, когда ведут в будущее? Ваш же, к примеру, курс — на неизбывный горький хлеб батрака-сезонника.

— Однако хлеб не камень! — запальчиво возразил Стадницкий.

— Ваш хлеб не мягок.

— Но и его могут лишиться крестьяне. И даже — помещики!

— Жизнь покажет... Курс камчатских чиновников — довести голодную подпольную и мыслящую Россию каторжным трудом до интеллектуального самоубийства. А идеалы Витте — расплодить по всей Сибири живодеров, на манер нашего Плачинды. Итак, при всех различиях эти три плана объединяет страх перед будущим.

— Э, батенька, вы, прошу прощения, разобрались-таки в экономике! Даже меня удивили. Уж не пахнет ли тут социал-демократией? Нет, нет, это я шучу... А у вас этого страха перед будущим нет? — резко спросил он.

Я искренне признался, что и меня он посещает.

— Что же вас более всего тревожит? Опасность потерять свои двадцать шляхетских десятин? — съязвил Стадницкий.

— Страшнее — потерять чувство пути. А кто из нас знает этот путь? Мне иногда кажется, что мы, интеллигенция, изучив с десяток ненужных наук и постигнув для балов и светской суеты науку острословия, гнием, как падалица на дорожке, по которой люди не ходят. Мы умеем рисовать множество увлекательных картин будущего, еще лучше умеем разгадывать сны, а вот жизнь постичь — не в силах...»

Тадей Станиславович морщится, читая свои писания: все в них — правда, но не лучше ли пока вымарать и три безутешных крестьянских пути, и самую фамилию Витте, и слова о подпольной мыслящей России? Он вычеркнул первую строку, а на память снова пришли слова, за которыми — разверстая пропасть между мужиком и барином: «Бог нас любит, царь жалеет, а с господами — не жить». Да, это философия современного крестьянина... Непременно надо поделиться этими мыслями с учителем Левченком.

На дворе уже совсем рассвело, а в комнате плачут теплым воском свечи, как будто оплакивают смерть лучших строчек дневника. Жаль их, да что поделаешь, если у тебя душа, словно соты, вылеплена из либерального воска, как насмешливо говорит Левченко. Над чем он теперь просиживает ночи — над Марксом или Гегелем? И как он может сочетать их учение и убеждения социал-демократа с нежной, почти идиллической живописью?.. Чудеса!

Уезжая на Камчатку, Лисовский при прощании полушутя предложил Левченку:

— А может, поедем вместе на север?

Степан Васильевич, улыбаясь одними глазами, ответил:

— И тут нам не по дороге: вы за свой счет едете на север, а меня туда могут повезти только на казенный счет...

«Эх, Степан, Степан, и добрый ты человек, а сколько страшного в твоих словах! Ты бредишь, как бы землю потрясти весенним громом, а что, если после этого грома не только гнилье, а и все живое и мертвое разлетится в прах?»

От видения дальних пожаров в мысли Лисовского заползает холод, и он отгоняет его все теми же словами крестьянки: «Бог нас любит, царь жалеет, а с господами — не жить». Эта философия куда разумнее, чем та, которую вынашивает Левченко.

В дверь стучат. Тадей Станиславович вздрагивает, поспешно закрывает дневник и засовывает его среди трухлявых, в изношенной коже, фолиантов.

— Войдите, войдите!

На пороге появляется Аркадий Валерьянович в просторном шерстяном халате.

— Доброе утро,— хрипло, после сна, здоровается хозяин, прикрывая холеной рукой зевок.— Вы уже тру-у-удитесь? Как спалось? Пойдемте, покажу вам кое-что интересное.

Оба направляются в кабинет, посреди которого высится массивная, как скифская баба, фигура управителя Салогана; в его темной, могучей руке нежно трепещет красная весенняя веточка, густо усеянная цветом.

— Вишня цветет! — вырывается изумленно у гостя.

— Вишня,— подтверждает хозяин.— В начале весны Гервасий всегда приносит мне такую веточку. Она показывает, каков будет урожай озимых и сколько надо набирать сезонников на поле.

— А как же! — кивает головой Гервасий.— Много цвету — значит, набирай загодя больше быдла. Вишня никогда

не обманывала меня, она не человек! — Он бережно, как белую пичугу, передает барину веточку, и только один лепесток остается у него на темной щеке.

III

Переселенцы съезжались на просторную, в раме четырех дорог, поляну, где когда-то собирались чумацкие обозы. Годы оттеснили отсюда господские леса, осушили спокойную речушку. Теперь на этом месте лежал открытый выгон, и только названия «поляна» да «чумацкий табор» порой будили в душе недалекую, но уже полузабытую старину.

Из утренних, еще синеватых под тынами улиц сходились крестьяне. Серяки [1] и свитки перемешивались с белыми и красными кожухами, в тусклую расцветку женских платков вкраплялись яркие пятна девичьих, и над дрожащими суковатыми посошками нависали укутанные, похожие на привялые кочаны капусты, головы старух.

К Ивану Чайченку подошел рослый дед Дунай. Из-под седой копны густых волос резко выступает удлиненное, покрытое шафранным румянцем и сухое, как грецкий орех, лицо. В руке большая граненая, зеленого стекла бутылка меду, в белых зубах обкусанная трубка. А уж табак такой каторжный, что дохнет дед густым дымом — и не видно старику Ивана, а Ивану старика.

— Выходит, в ранний путь, чумак, собрался?

Уж лет двадцать пять, как перевелось на Подолье чумачество, но дед Ярош и поныне звал чумаками всех, кто хоть раз мерял с ним старые запорожские тракты да широкие буйные степи, шагая в Крым или на Дон.

— В ранний, дедушка,— понуро ответил Чайченко.— Нам с зыбки уготованы ранняя работа да ранний путь... Смекаем, как бы не проездить весну, да хоть яровое в землю кинуть,— и он повел рукой, словно высеял в снега горсть зерна.

— Семян припас? — Старик посмотрел на большую пустую руку сеятеля.

— Есть кое-что в узелках. Да и старуха набрала огородных.

— Там, говорят, солнца мало.

---

[1] С е р я к — верхняя крестьянская одежда, род куртки из грубого серого сукна.

— Так зато земли, земельки — немеряно! — И в печальных глазах Ивана блеснули две капельки робкой надежды, которая не раз то заливала его теплым паводком, то намерзала на сердце льдом.— Да земелька — что каша гречневая: хоть зачерпни ложкой да корми детей!

— А ты видал ее? — Увядшие, продолговатые веки старика дрожат.

— А как же! Показывали в узелке, черную, со сладкими корешками. Ходоки из кротовьей кочки взяли. А крот, знаете ведь, на черствую землю не сунется.

— В узелке? — В глазах старика скорбное изумление.— Землю — в узелке?

— А что? — Капли надежды скользят и гаснут в уголках глаз.

— Да ничего. Эх, Иван, Иван! Земля — повсюду наш, мужицкий узел. Да еще какой: на всю жизнь богом и людьми закручен, завязан!

— Узел там или петля, а должен человек лезть в нее. Кому хочется гибнуть с голоду? — Голос хлебороба крепнет, расправляются плечи.— А может, мы на той холодной земле не батраками станем, а хозяевами? За чем же тогда и ехать, коли не за этим? Или как?

— Так вот и пустеет село. То, бывало, нас турок воевал, а теперь свои живодеры. Неужто не хватило бы святой на всех?— Дед Дунай широко обвел рукой помещичьи леса и нивы и вслед руке послал взгляд сизых задумчивых глаз.

— Хватило бы и нам и детям нашим. Добрый день, дедушка, добрый день, Иван! — К саням подошел Григорий Волошин, мужик лет сорока, с тонкими, привлекательными чертами лица и русыми казацкими усами. Широкий в плечах, узкий в поясе, молодцеватый, он, казалось, был не отцом, а старшим братом Романа, стоявшего в стороне, с парнями.

— Пустеет село,— задумчиво повторил дед, и эти слова только сейчас поразили, даже испугали его: перед глазами маячили разоренные, проданные за бесценок хаты, а близкие люди уходили — их не могла прокормить родная земля.

— Глядишь, еще несколько лет — и не будет села,— нахмурился и Волошин.— Одни из Сибири не вернутся, другие на Дон уйдут, а третьи — под землю, уголь пахать. Останутся господа и хуторяне. Да и те посдыхают без нас! — Он рассек воздух кулаком.

— Э-э, пока жирный похудеет, худого на кладбище снесут, и пес по нем не завоет.

— На ихний век нашего брата хватит.

— Ясное дело: народ плодится, а земли не прибавляется.

Вдруг ребятишки возле саней забегали, закричали:

— Черное Сало, Черное Сало едет!

На лицах крестьян едва пробились злые усмешки.

По улице мчался всадник. Норовистый жеребец, приседая на задние ноги, то опускал к земле, то вскидывал выше стрех управителя пана Стадницкого. И не так уж толст Гервасий Салоган, только темные щеки малость подпухли снизу, а противное прозвище пристало к нему сапожным варом — с кожей не отдерешь. Гервасий знает, как его дразнят за глаза, потому он всегда недоверчиво и пытливо насторожен с крестьянами. Голова чугунком на короткой шее чем-то напоминает сытую хищную птицу, а тело управителя в меру сдобрено жиром, но больше — силой; она, верно, передалась от родителя-салогона, который, бывало, ухватит с маху одной рукой за ногу самого большого кабана и лихо опрокинет, мигом вбив ему в сердце узкий, добела отмытый кровью нож. Позднее Никодим Салоган сменил мясницкий нож на плетку — стал у старого барина экономом,— потому и Гервасия до сих пор зовут не управителем, а тоже экономом, и это немало досаждает чванливому барскому прислужнику, перед которым и с мелкопоместных соседей слетает спесь.

Дед Дунай смотрит на Гервасия и сперва не может сообразить: снежинка или вишневый лепесток прилип у того к щеке? И впрямь вишневый лепесток — не тает, а на холоду корчится.

Управитель окинул холодно-брезгливым взглядом поляну, и с каждых саней к нему потянулись ответные, то злобно-хмурые, то острые, как ножи, взоры. Последние ниточки его злой власти над переселенцами оборвались еще несколько дней назад, и люди могли смотреть на него так, словно его уже отлучили от господских полей и мужицких заработков.

Бранясь в душе, он выдавил в уголках рта кривую, снисходительную улыбку и громко крикнул:

— Гей, люди! Слышите!.. А ну, замолчите там! — Он задрал тупой подбородок с глубокой вмятиной, в которой гуще кустилась щетина.— Может, кто передумал ехать — так барин сказал: даст работу на круглый год — в экономии, а то в лесу, на Синяве!

Он поднял руку, и по ней до самого бедра изогнулась темная змея плети-трехххвостки. На правой ладони управителя

рукоятка плети до блеска отполировала кожу и выдавила возле пальцев желтые коготки мозолей.

— А какую плату положит барин? — отозвался Чайченко и скрестил руки на рожне саней. На миг к нему снова приблизилась проданная земля, на миг замелькала искоркой новая надежда, извечное крестьянское чаяние.

Беспокойные глаза Салогана шевельнулись под припухшими, неспокойными веками и замерли, но тут же снова повеселели; раздавшиеся книзу щеки трепыхнулись.

— Спрашиваете, какую плату положим? Да целехоньких тридцать дней на месяц... ге-ге-ге! — Он рассыпал по поляне довольный смех, похожий на гусиное гоготанье. Одинокий лепесток цветка вишни упал на снег с трясущейся щеки.

Но гоготанье управителя повисло в угрюмой тишине. Даже господский мельник Безбородько не засмеялся: скривил было колючую, как у ежа, всю в жесткой щетине, физиономию, да так и застыл, не зная, как быть дальше. Салоган, оглядевшись, сразу заговорил по-другому:

— Плата — полюбовно. Но, скажу прямо, малость надбавим. Мы же не ордынцы.— Салоган медленно обвел глазами переселенцев, вспоминая при взгляде на любого цифру его последнего долга.

Отец Гервасия был невероятно памятлив: барышничая или выбирая на ярмарке десятки свиней для салотопки, он запоминал и масть, и цену, и даже изъяны каждой. Гервасий скотину запоминал хуже, но всевозможные цифры схватывал мгновенно. Часто, когда ему говорили о ком-нибудь, перед ним сперва возникали приметы достатка или бедности, а потом уж сам человек.

— Полюбовно, говоришь? Любила лиса петуха — одни перья оставила,— хмуро отозвался один из переселенцев.

— А теперь люди не перьями разлетаются по свету?— вздохнула узколицая женщина, подпирая рукой щеку.

— Такое житье наше: человек перекати-полем стал.

— Эй, люди! — грозился Салоган.— Едете в штанах покупных, глядите, чтоб и без домотканых не остаться! Одумайтесь, у кого голова на плечах!

Слова управителя крепко встревожили Терентия Плачинду, скупившего «по божеской цене» у нескольких переселенцев усадьбы и хаты. Еще и в самом деле надумают остаться.

— Мягко стелет барин,— он пустил в усы и под усы осторожный смешок,— да жестко будет спать.

— Зато вы так постлали, что и мертвый не улежит,— спокойно бросил через плечо Роман Волошин.

Плачинда сперва оторопел, потом глотнул воздух, и его низко опущенные усы зашевелились, как рачьи клешни.

— Это ты что же, парень, мелешь? — Певучий голос его поднялся до крика.

— Что слышите.

— А почтение к старшим дома оставил? — спокойнее спросил Плачинда и украдкой скосил глаза, ощутив, как по щекам разливается взбаламученная кровь.

Слова его произвели впечатление, с лиц мужиков слетело выражение насмешливого любопытства: в деревне почтению к старшим учат с колыбели. Плачинда почуял молчаливую поддержку и принялся распекать парня:

— Так где ж ты, молодец, почтение-то растерял?

Но и это не смутило Романа.

— А на тех землях да в тех хатах, что вы за бесценок купили! — твердо отрубил, все еще не оборачиваясь, молодой батрак, и переменчивые симпатии мужиков снова склонились на его сторону.

— Что я тебе — в борщ плюнул?— не перенес его спокойных слов Плачинда.

— Не мне, а переселенцам! — И уже одно то, что парень даже и не думает оборачиваться к Плачинде, вызывало вокруг удивленные и одобрительные улыбки.

— Переселенцам, говоришь? Да ты-то тут при чем? Не с тобой пьют, так и не говори «будь здоров»!— Подвижные, хищно подрезанные ноздри Плачинды округлились, расширились.— Стань сперва хозяином, тогда и вякай!

— А вы постелите помягче — и стану,— по-прежнему через плечо, еще спокойнее ответил Роман.— Вот подарите мне на свадьбу усадебку из тех, что у переселенцев купили!

Тут уж все заулыбались, но богач видел не смеющиеся лица, а упрямую шею Романа.

— Чтоб ты смолы напился на своей свадьбе! — Сузившиеся желтые глаза Плачинды наливаются злобой, пронзительные огоньки в них тоже светло-желтые, словно пятнышки на щуке.— Кипящей смолы!

— Уж не той ли, что вы в господском лесу наворовали?— деловито спросил Роман и вдруг повернул к Плачинде лицо, веселое и злое.

— А ты видал, выродок? — Огромные, как киянки, кулаки богатея отрываются от живота, подымаются к груди.

— Даже слыхал, как вы кряхтели, когда грузили на телегу. Батрака-то с вами не было, чтоб помог.

Карие, выразительные на белом лице глаза парня смеются, а меж бровей подрагивает глубокая, остроконечная, как челнок, упрямая складка — только она и выдает волнение.

Волна дружного смеха швырнула разъяренного богача на Романа. Но батрак только набычился да крепче врос в землю. И Плачинда сразу припомнил, как проворно орудуют тяжелыми кулаками все Волошины. Однако не это остановило его. Один на один он все же добрался бы до батрацких ребер, но тут не отважился: не дай бог, еще осрамишься перед людьми... Лучше невзначай прижать Романа где-нибудь в темном углу... Плачинда меряет парня исполненным ненависти взглядом и всю свою ярость вкладывает в короткие, шипящие ругательства:

— Выскребок! Разбойник с большой дороги! Поскребыш! Голь перекатная!

Эти слова хлещут парня, как плети, он едва сдерживает гнев. Но вдруг его лицо покаянно смягчается, даже прямой, резко очерченный нос кажется погрустневшим. Роман смиренно складывает руки на груди, смотрит на Плачинду невинными глазами и, когда тот поперхнулся злостью, отвечает с притворным вздохом:

— Хотите — бранитесь, хотите — нет, а печенку побегите, не то разбухнет, как ваш кошелек, да и лопнет, а мне еще по ней да по вашему доброму сердцу плакать придется.

— В гробу бы ты заплакал! Я витую свечу поставлю!

— И не пожалеете воску?

— Для тебя и веревки не пожалею!

— Господи, какой щедрый человек! Ведь так, по свечечке да по веревочке, и все хозяйство можно раздать,—издеваясь, выворачивает Роман напоказ скаредность Плачинды.

Мужицкий смех раскатывается по снегу и гонит Плачинду на другой конец обоза.

К Роману одновременно поворачиваются три русые головы близнецов Щербин; глаза всех троих, светло-коричневые, в темную крапинку, как донца желудей, смотрят с недоверием.

— Хе! — оглядывая исподлобья Романа, изумляется кряжистый Левко Щербина, и точь-в-точь такое же изум-

ление переходит на лица его крепкошеих братьев-близнецов Данила и Григория; они тоже произносят «хе».

— Теперь ты, парень, нажил себе врага по гроб,— отирая рукой глаза, смеется однолеток Романа, цыганистый, крутоплечий Юрий Звонарь.— Да еще какого врага!

— Уж и словом нельзя перекинуться с человеком! — невинно пожимает плечами Роман.

— Хорошо слово! Сам Плачинда из-за него пробкой отсюда вылетел. Видал, как ему от гнева брови склепало?— Зубы и глаза у буяна Звонаря блестят, и он размашисто подымает крепкие руки, словно вызванивает веселый пасхальный благовест.

Роман ничего не ответил, только глянул в сторону Плачинды, насупился; на лице парня выражение твердости, врожденного достоинства, но в душу просачиваются уже капельки страха: ведь с самим Плачиндой сцепился, за это и отец может надрать вихры. Хотя навряд ли...

А на другом конце обоза ослепленный злобой Плачинда натыкается на извечного батрака Марьяна Поляруша. Редкобородый Марьян стоит в высоких сапожищах на неутоптанном снегу и делает вид, что слушает свою жену. На обшитом кожей вороте просторного серяка висит у Марьяна продымленное кольцо колбасы: пускай знают, что и Полярушнетолько на пасху скоромится. Впрочем, он и сам не поймет, радоваться или стыдиться своей выдумки. И потому в глазах у него можно прочитать и какую-то, словно со стороны, насмешку над собою и задорную, хмельную хитринку.

— Эге, Марьян, да ты уже разбогател, колбасу ешь!— Плачинда тычет красным, словно крашеным, пальцем в колбасу.

Марьян не столько расслышал, сколько догадался, о чем говорит богатей, с которым он несколько дней назад пил за широким кулацким столом магарыч, продав хатку и огород.

Сладка была водка у богача, но от закуски — покорябанных огурцов-желтяков, стрелявших переспелым, желтым семенем,— даже Марьян морщился. Плачинда заметил и это и другое: задумавшийся, ушедший в себя бедняк будто снова оглох.

— Широко живешь, Марьян, колбасой лакомишься! — неодобрительно повторяет богач.

— Может, и вы отведаете? — Опушенное реденькой кучерявой бородкой лицо Марьяна улыбается жалостно и дружелюбно.

Он выламывает из кольца кусок пахучей, сморщенной колбасы и доверчиво подает Плачинде. Тот смущенно протягивает пятерню. Сколько работал у него Марьян, а не было случая, чтобы Плачинда вот так, с легким сердцем, угостил батрака. Только смеялся легко над его глухотою. И Плачинда впервые с изумлением посмотрел на Поляруша, как на человека.

— Ешьте, ешьте, Терентий, не сумлевайтесь,— угощает Марьян, неумело суя кусок в красные пальцы богача.

Плачинда, подозрительно обнюхивая колбасу, подносит ее к усам, озирается, морщит лоб: съесть или нет? Но, кажется, никто не смотрит: он сразу, всей ладонью, забивает кусок в рот, и над его губами колюче топорщатся засаленные колбасой усы.

— Ой, Марьян, лучше б нам не ехать! — убивается позади мужа Фросина, но ей не согнать с его лица доброй и виноватой улыбки.

Он краешком глаза видит, как боль морщит ей брови, бьется возле складочки на подбородке.

— Баба! — виновато разводит он руками перед Плачиндой.— Невдомек ей, что в Сибири больше земли, чем у нашего барина вместе с Колчаком, Кочубеем, Маркозовым и Рокотовым. Невдомек, что там и нас поля дожидаются!— Марьян поглядел захмелевшими глазами вдаль, поверх господской земли, словно там, за полями, лежал его сибирский надел.

— А она не больна у тебя? — Терентий окидывает желтым взглядом Фросину, которая, сцепив маленькие пальцы, держится за сердце. И по жилкам на руках, и по лицу женщины видно, как отчаянно трепыхается под ладонями ее жизнь.

— Что-то плоха стала, все горюет.

Марьян сочувственно смотрит на скорбное, опухшее от слез лицо жены, для чего-то снимает с шеи разорванное кольцо колбасы и кладет его в обтрепанный карман. Тут подымает ухо каштановый пес. Упершись передними лапами в обочину, он привольно развалился на снегу и не спускает с хозяина выпуклых глаз с узенькими ободками белков. Марьян и ему отщипывает кусочек колбасы, ловя презрительный взгляд Плачинды.

— Собачонку балуешь, а самому потом пальцы грызть... Ну, а не боязно тебе, Марьян, ехать в эту Сибирь, в эту стужу? Там и душа может оледенеть.

— Без поля у меня и тут никогда душа в тепле не лежала, она уж ко всему привычна.— Вызванные улыбкой морщины разглаживаются, и на лицо Марьяна ложится крестьянская суровость.

— И не жаль было тебе продавать хату и огород?— невесть почему вырывается у богача глупый вопрос.

Разозлившись, Марьян с сердцем отвечает:

— Может, я не хату да огород, а свою нужду продал?

Оба разом вспоминают сказку о зарытой у бедняцкого порога нужде, которая потом перешла к богачу, и теперь уже у Плачинды просыпаются злоба и суеверный страх. Чтобы отогнать их, богатей снова допытывается у Марьяна:

— Однако что ни говори, а страшновато ехать в далекий край?

— Небось страшнее, чем здесь, не будет,— хмуро и твердо говорит Марьян.— Нешто в Сибири люди не живут?.. Кто отгадает, где чья доля бродит? Да и, говорят, есть еще там непочатая земля, ни крестьянскими межами, ни господскими цепями не мерянная. Вот как!

— А чем же ты ее пахать станешь? — язвит Плачинда, недовольный, что и Марьян думает в люди выбиться.— Пятерней?

Но и это не пугает крестьянина.

— Доведется — так и лопатой вскопаю. Было бы что,— отвечает тот, глядя на свои негибкие, налитые силой руки.

«Такие оглобли и лопатой — ого, сколько земли переворошат!» В Плачинде просыпается почтение к батрацкой мощи. Он, как барышник на рынке, бьет Поляруша по ладони.

— Прощай, Марьян! Копай свою землю.

— Будьте здоровы!— Поляруш снова сквозь грусть улыбается. — Счастливо!

— Ой, Марьян, может, не ехать. А? — Фросина прижимается к руке мужа.

— Нельзя, любушка, никак нельзя: уже городские билеты на груди лежат.

Он отворачивается от Фросины, окидывает широким взглядом бескрайние снега и людей на них и, как печаль, как душу свою, отдает им песню:

Ой, забелели снега,
Забелели, белы,
И дубровушка.
Ой, заболело
Батрацкое тело

И головушка.
Никто не заплачет
По белому телу,
По батрацкому,
Ни отец, ни мать,
Ни брат, ни сестрица,
Ни жена его...

К Марьяну оборачиваются люди, к нему тянутся руки с чарками, песню подхватывают горестные крестьянские голоса. Но все это кажется Полярушу неправдоподобным сном, ибо перед его глазами не чья-то чужая, а своя батрацкая жизнь. Разве не о нем сложена эта песня? Разве не он прожил весь век только с цепом да с косою?.. Марьян и сейчас видит себя косарем в чужой дубровушке, где идет снежок, засыпая и косаря и его покос...

Затихает Марьянова песня, замолкают нестройные голоса, подхватившие напев, и только Фросина плачет о песне, как по белому телу батрацкому, даром что городские билеты в Сибирь лежат на груди у мужа могильной землей.

— Не горюй, бес беду пересидит,— Марьян кладет руку на плечо жены.— Ты еще будешь у меня такой хозяйкой, что и сам Плачинда позавидует.

Марьян смотрит на Фросину, смеется, утешая бедняжку, а она давится слезами и всхлипываниями.

— Спасибо, Марьян, за песню, и за доброе сердце, и за добрые руки,— подходит к нему сельский учитель Степан Васильевич Левченко, человек, не отделяющий себя от мужицкого рода, не отгораживающийся от мужика ни ученостью, ни мундиром, ни спесивым словом.

Вот он обнимает Марьяна, склоняет к нему свое темное, скуластое лицо, вся краса которого в по-детски пухлых губах цвета лепестков темной мальвы и жгучих, заглядывающих прямо в душу глазах под черными, как вороново крыло, волосами.

И теперь уже Марьяну хочется всхлипнуть от этой сердечной ласки ученого человека...

Над поляной ширился гомон. Вздохи и рыдания перемешивались со словами утешения и надежды; заскорузлые крестьянские ладони выбивали пробки из шкаликов; пили попутную и в санях, и прямо на снегу, усевшись в кружок. Несколько таких черных венков все глубже увязали в снегу. Раздавались и сердечные напутствия, и горестные сетования, и даже смех.

Дед Дунай, Иван Чайченко, Григорий Волошин и медполицый Лесь Якубенко степенно допивали свой мед, а когда осталась лишь самая малость на донышке, дед зачем-то взболтал напиток, прищурясь, поглядел, каков он на свет, поморщился и последнюю чарку поднес жене Ивана.

— Выпей, Мотря, для порядка.

— Залей мужицкую беду,— отозвался Якубенко.

— Ее небось и морем-окияном не зальешь,— махнул рукой Волошин и устремил затуманенный взор на младшего сына, Максима, который прощался с Васильком.— Загоревали наши школяры.

— Дружба! — покачав головой, ответил Иван и вдруг увидел, что весь табор заволновался, в воздухе, не касаясь лошадей, защелкали кнуты.

Вокруг разом заскрипело натруженное дерево саней. Этот скрип, подымаясь от самой земли, отозвался в груди болью. Чайченко тоскливым, одичалым от горя взглядом в последний раз окидывает и поляну, и влажную голубизну разбросанных хаток, которые так и тянутся к нему, и тяжелые, черные стены господского леса, и дальние поля, которые бежали к мужику, да все не могли добежать до него, поля, на которые он уже никогда не выйдет ни с плугом, ни со скоропашкой.

— Прощайте, люди добрые. Прощайте, дедушка.— Чайченко поклонился и скинул шапку.

— Прощай, Иван,— поклонились и ему, а дед Дунай сжал его в объятиях и трижды, крест-накрест, расцеловал.

— Будь здоров, Иван, будь здоров, голубь... И в Сибири живи с правдою и по правде! — напутствует старик Чайченка по праву справедливого человека. — Счастливого пути.

— Спасибо, дедушка. Мама, где вы?

— Вот я, дитятко,— заплаканная Чайчиха выглянула из-за чьей-то спины.

Сын взял ее за обе руки и осторожно отвел в сани, озабоченно пересчитывая глазами белокурые головки чайчат. Дети уже озябли. Чтобы им стало потеплей, Чайченко тесно усадил их на толстой, рябой, «в гречку», дерюжине, а концы ее связал крест-накрест.

Такая выдумка чайчатам понравилась. Они сперва притихли, а потом разом засмеялись, и в санях зашевелился, забился большой живой узел; сквозь прорехи то и дело высовывались и снова прятались повеселевшие личики. А отец только сжал губы; ему опять подумалось, что из Сибири

в узелке привозили землю, а туда он везет в узле своих детей. Вроде на обмен, что ли?..

...Через все село молча тянулся невеселый обоз. Из хат несмело, с тоскливо-виноватыми лицами, выходили люди, выбегали разутые ребятишки с восковыми головками, сбивая покрасневшими пальчиками снег, взбирались на тыны, чтобы не так скоро замерзали босые ноги.

Все время, пока ехали по кривым улочкам, у плетней и во дворах раздавались вздохи, а глаза людей то и дело обращались на восток, где над чумацким трактом из пушистых ветвей заснеженных лип выпутывалось холодное, бескровное солнце.

На перекрестке возле придорожного распятия поспешно и как-то разом переплелись руки с руками, ветер подхватил волосы снявших шапки мужиков. Раздались всхлипывания, плач, и оттиснутая на обочины толпа пропустила мимо себя низко осевшую в колеях вереницу саней.

Только Чайчиха подбитой птицей пала на край розвальней, пытаясь удержать, остановить их бессильными руками. Но и упав на снег она цеплялась за полоз. Дерево, притираясь к колее, вдавливало старушечьи пальцы в зачерствелый снег, но у Чайчихи болели не руки, а душа, из которой вырывался только один крик:

— Детушки мои, дети! Детушки мои, дети!

Перед глазами вихрем проносились родные личики, а рядом с живыми воскресали и те, что давно лежали в могиле, ибо и земле не дано закрыть детей от матери, только живут они уже не своей, а ее жизнью, у нее в сердце.

Сын подхватил мать под мышки, вынес на обочину, отер себе лоб, пробежал по ослепительному полю и вступил в затененную дорожную колею.

Заплаканная Фросина Поляруш, держась рукой за сердце, обернулась к селу, но уже никого не увидела на дороге, только с бескрайнего, занесенного снегом поля смотрели ей вслед поникшие, безголовые подсолнухи да махали черными крестами господские ветряки. Сколько раз она ходила и ездила на эти мельницы; поскрипывая, они мололи ей зерно и на черный хлеб, и на румяный кулич, и на девичий каравай, и на вдовий кныш. А теперь эти ветряки, удаляясь, казалось, перемалывали ее больное сердце. Она приподнялась, потянулась к ним и тут же, обессилев, упала в сани, закрыла глаза, но перед нею все вертелись черные кресты ветряков.

Марьян успокаивал ее движением руки и взглядом: «Не горюй, жена, обойдется...»

Обоз запетлял по теням меж деревьев, разрываясь поднялся на бугор, и вот уже один за другим как сквозь землю проваливаются потемневшие кони и люди.

— Куда кусок хлеба не погонит человека! — промолвил Лесь Якубенко, ни к кому не обращаясь, думая и о чужих и о своих путях батрака-сезонника. Ветер перебирал каштановые волосы, обнажая на лбу две глубокие колеи, по которым проехали его нелегкие молодые годы.— Куда кусок хлеба не погонит человека! — повторил Лесь.— Ох, и тяжел он, как житье наше!

— Ежели мужицкий хлеб покрепче сдавить, из него кровь потечет,— откликнулся рослый, кряжистый Олександр Палийчук, сжимая черные, изрубцованные и прожженные железом руки мастерового.

Он обернулся к полю, и его тоже поразила подсолнечная ботва: сухие стебли темнели на покрытых снегом пригорках, словно искалеченные кресты на заснеженном, забытом кладбище.

Когда все ушли в село, старая Чайчиха, разбитая всем пережитым и увиденным, подошла к одинокому распятию, перед которым кто-то из переселенцев положил на полотняном вышитом рушнике черный каравай; на хлебе еще искрились последние крупинки развеянной ветром соли да темнело несколько сдутых с креста капель. И старой Чайчихе показалось, будто и хлеб плачет по тем людям, которые весь век трудились над ним и в горе либо в радости клали его только на стол или на землю, а вот теперь положили на белый снег. Она опустилась перед хлебом на колени, через силу подымая голову и руки к кресту.

Страдальческое, непроницаемое лицо Христа склонилось на изможденное плечо, словно и ему хотелось видеть все мужицкое горе на человеческих путях. С проржавевших, забитых в руки гвоздей сукровицей свисали две капли. И терпеливая душа старой женщины, порываясь к богу, не просила чуда, не думала о рае, а только истово молила, чтобы дети ее не засевали землю слезами; пошли им бог простое крестьянское счастье, а ей — хоть бы и тотчас — вечный покой.

Поднимаясь, она коснулась руками каменных ног Иисуса. Были они холодны, как сама смерть. Сравнение ошеломило старуху, показалось богохульством, она поспешно, истово перекрестилась и быстро пошла от одинокого промерзшего

распятия в село, над которым и до сих пор ввинчивались в небо то лазурные, то золотые дымки; не хлебом, как после спаса, пахли они, а распаренной картошкой, разопревшей свеклою.

С нынешнего дня она пойдет постоялкой в нищую семью Гранчаков, где ее обещали приютить в клети. Но старуху потянуло в ту хату, куда полвека назад ввел ее, осыпанную зерном, в венке и в лентах, Михайло Чайченко, где она стала Чайчихой, а потом и той бесталанной полевой чайкой, что выводила птенцов на чужих полях при дороге, а теперь осталась одна — птенцы сами подались в дальний путь со своими чайчатами, покинув старую, беспомощную чайку.

Не доходя до своего двора, она притерпевшейся к горю душой почуяла новую беду. Вот уже углом переломилась улица, вот уже виден журавль над тем колодцем, где никогда не переводилась вода — одна лишь она жалела семью Чайченок, только ее всегда было у чайчат вволю.

Вот из-за груши показалось их жилище. Глянула мать и вздрогнула всем телом. На ее хате, срывая солому и обшивку, орудуют уже поденщики Плачинды. Рассыпались в пыль трухлявые кровельные снопы-китицы, скрежещут гвозди, отделяясь от сухих жердей, а возле старой груши валяется разломанное гнездо аистов. В его прутяном переплете дрожит одинокое, не сдутое ветром перышко — последний след молодых птичьих крыльев.

И снова скрежещут жерди, цепляясь друг за друга, дымят желтой трухой, и в облысевшем жилище торчит одинокий, как на пожарище, печной дымоход. Неужто в этой хате она кланялась в пояс людям, ожидая от них пусть маленького, да не чайчиного счастья?

Нестерпимая боль и горечь придавили Чайчиху. Чтобы не упасть, она оперлась на старую грушу и вдруг на снегу, в гнездышке меж двух корней, увидала следы своих утренних слез. Вот и все, что было ее, все, что осталось во дворе после чайчат.

IV

Над волнистыми очертаниями заснеженных лесов заискрило серебряное огниво; сперва мерцали отдельные огоньки, их ослепительные искры, разбрызгиваясь в воздухе, перекидывались с верхушки на верхушку, пока наконец вся Синява не зажгла свои мерцающие светильни, пока не посыпались на землю живые, словно из солнца отлитые, капельки. После вчерашней пороши каждое дерево, как свадебный дружка,

повязано таким тонким рушником, что сквозь него просвечивают узоры и полураскрытые глазки потрескавшейся коры.

Застоявшиеся кони, выбивая лунки в снегу, выскакивают с полевой дороги на узкую просеку, на их вздрагивающих ресницах больше уже не сверкает предрассветный иней. По обе стороны среди чернокорых вязов и голубых зарослей граба розовеют редкие березки, теряясь за неясным вешним туманом в глубине дубрав. И Тадею Станиславовичу кажется, что эти березы вдали окутаны паром собственного дыхания.

Он влюбленными глазами смотрит на предвешний плач природы, на бескрайность этих до боли знакомых рощ, на пронизанные лучами прогалины, на четкие, словно подведенные небесной синью, узоры теней. И в душе у него под приглушенные лесные шумы все звучит юношеская радость и светлое, тревожное вступление к бетховенской «Элизе».

Бывает же так: не раз он, слушая эту пьесу, физически ощущал, как неумолимая судьба стучится в дверь, чтобы отнять, вырвать из бытия чью-то жизнь. Но понадобилось испытание временем и пространством, чтобы постигнуть всю человечность этого творения, и ответить слезами на чьи-то слезы, и еще больше полюбить то, что достойно любви.

Нет, как ни говори, а становишься чище, когда перед душой раскрывается, точно вон те дальние рощицы, новый простор. Можно сотни раз читать об эпосе и лирике, приводить хрестоматийные примеры или надергать цитат из Гегеля, а самому оставаться холодным, изливая этот холод в аккуратные, подбитые скрипучей латынью книги. И вдруг, спустя много времени, перевернула тебе душу давно слышанная пьеса или песня, за нею стали века, в ней зазвучали голоса предков, на тебя повеяло бессмертием народного гения — и уже нельзя ни думать спокойно, ни говорить, ни писать. И сердце твое, порываясь в новый простор, стало как струна и звучит для людей любовью.

Так было и с ним недавно, на Камчатке, когда он, едучи на нартах по бескрайним снегам, ночью, под фантастической чашей северного сияния, нежданно услышал «Казака несут и коня ведут...»

«Думал ли когда-нибудь в Запорожской Сечи неведомый бедняга певец, припадая ослепшим лицом к кобзе, что его песня от пьянящих южных степей долетит до полузабытой земли холода и снега?

Но и это не конец, а лишь начало ее пути: все сущее каждого народа рано или поздно дойдет до других народов и ожи-

вет иной жизнью на всех материках! Неведомый певец, твои вольнолюбивые очи выжег железом хищный ордынец, но не тот умер, кого сразила смерть, а тот, кто несет свою душу на торжище или на поклон»,— думает Тадей Станиславович, все более погружаясь в мир музыки и истории.

Боже мой, что может сделать с человеком гениальное соединение звука и слова! Если бы они разом, одними добрыми чарами, в едином порыве увлекли всех-всех людей, то, кажется, и зла не стало бы на земле! И тот, кто этого не понимает, кого не овевало, не ласкало крыло народного духа, пусть не думает, что он жил на свете. А ему, Тадею, стоило прожить жизнь хотя бы для того, чтобы постичь творческий гений предков, чтобы сбирать по убогим крестьянским жилищам не подать, а звук и отзвук истинной поэзии, от которой, как от мужицкой рубахи, отреклись блекло-манерные поэты! И пропади они пропадом! А он будет, как умеет, писать о народной песне, овеянной то суровым дыханием Запорожья, то ордынскими дымами, то языческой древностью, то мечтами и печалью любовных чар; любуясь природой, он чувствует себя намного счастливее всех Стадницких, вместе взятых.

Между тем Аркадий Валерьянович что-то говорит, и Тадей Станиславович удивленно поднимает большую голову, сужающуюся книзу и как будто перехваченную у подбородка ниточкой.

По узким, прихотливо изогнутым губам Стадницкого змеится улыбка. Его серые с прозеленью, оттененные синяками глаза насмешливо ощупывают Лисовского. Тому кажется: прозелень в глазах Стадницкого смахивает на лопающиеся в пору созревания лишайники на старых воротах или калитках. И это неожиданное сравнение веселит Тадея Станиславовича: «Вот и новый образ. Следует его запомнить, хотя бы для дневника».

— Ничего не слышите? В мире мелодий живете? — Глаза Стадницкого меняются, они то зеленые, то серые.

— Не всем же печься о купле-продаже! — не слишком охотно вступает Лисовский в словесный поединок: в эту минуту душа его, по-юношески свежая и впечатлительная, далека от суетных хозяйственных забот и шляхетских мудрствований богатого соседа.

— Будь у вас побольше земли,— Аркадий Валерьянович широким взмахом плети обвел свои леса, — иначе бы думали.

— Неужели и мысли цепями прикованы к земле?

— И к желудку.— У Стадницкого дрогнули подбровные складочки, из-под которых косячками свисают на глаза уже чуть отяжелевшие веки, и заблестела хмельная, колючая прозелень взгляда. После выпивки его речи всегда отличаются либо едким красноречием, либо жгучей злобой; красноречие он черпает из чужих книг, а злобу — в ежедневных стычках с мужиками.— А вы, я вижу, и поныне придерживаетесь взглядов своего отца?

— Его взгляды как раз по мне.

— И напрасно. Культуртрегерством и украинофильством теперь не проживешь. Жизнь, прошу прощения, становится сложнее.

— В этом, очевидно, и заключается прогресс.

— Если бы прогресс! — Стадницкий презрительно хмыкнул.— Я вижу впереди, простите, не прогресс, а упадок и оскудение человеческого рода. Чего прежде не могло сделать золото, теперь оно делает вместе с железом! — он подчеркнул свой афоризм свистом плети.— И не надо быть пророком, чтобы понять: наш младенец — двадцатый век — пока несет нам одну нищету.

— Вы говорите о нищете, а сами думаете и заботитесь только о роскоши. Как прикажете понять эту дисгармонию?— Лисовский щурится, и в его словах Стадницкий слышит не только насмешку, но и превосходство.

«Превосходство идеалов беднейших,— недоброжелательно отмечает он про себя. На его удлиненную, как утиное яйцо, физиономию ложится тень уязвленного самолюбия, линии поджатого рта распрямляются. Он поправляет бобровую, с черным бархатным верхом шапку, под которой уже выступила едкая испарина.— Пустодум».

Лисовский косится повеселевшим взглядом на властное лицо Стадницкого. Особую характерность этому лицу придает необычная складка, которая, начинаясь от подбородка, правильной подковой охватывает щеки до висков. Лисовский не раз шутил, что лицо Аркадия Валерьяновича туго сжимает подкова холодного счастья. Стадницкий перехватывает взгляд, а с ним и мысли Лисовского и говорит степенно, сосредоточенно:

— Вы, Тадей Станиславович, изволите смеяться в душе над тем, что я поглощен мыслями о богатстве. Но корни этих мыслей ищите в эпохе Возрождения.

— Там я привык искать шедевры искусства! — наотмашь парирует Лисовский.

Но Стадницкого это не задевает.

— Браво! Красиво сказано, почти афоризм. У барышень, развращенных современными романами и роскошной жизнью, так можно сорвать аплодисменты,— он насмешливо хлопнул в ладоши, из которых свисала на ремешке плеть.— Но ваш взгляд, простите, это взгляд одноглазого романтика.

Теперь Лисовский невольно поджимает губы, а Стадницкий добивает его с помощью великих имен и своей эрудиции, необычной для окрестного одичавшего дворянства,— недаром же он когда-то посещал библиотеку Британского музея.

— Вы знаете и почитаете Леонардо и Брунеллески, Рафаэля и Джорджоне, однако не менее их достоин уважения и Поджо Браччолини. Он, прошу прощения, не прикрываясь нашими фиговыми листками, сказал своим современникам и нам, потомкам, что жажда наживы, жажда власти — не грех, а необходимость, добродетель, основа человеческого существования и потребность времени.

— Вы, наверное, знаете и другое изречение: «Собственность — это кража»?

— Это лишь громкие слова. Вступая в жизнь, самонадеянный юнец всегда примеряет на себя ореол великих. Этими словами Прудон стяжал себе славу, а сам не так уж плохо уживался с порядками Луи-Филиппа и Гизо, как, впрочем, и вы уживаетесь с современным режимом, хотя потихоньку ворчите и обливаете его либеральными помоями. А все мы одной веревочкой связаны — рублем! И его приходится добывать, а не выпрашивать. Об этом не следует говорить в высшем обществе или признаваясь в любви какой-нибудь барышне, но этого нельзя забывать ни на час. Иначе чужие деньги, как гусеницы, съедят нашу большую империю и нас самих. Вас это, верно, никогда не заботило?

— А вас очень беспокоит? — спросил уже готовый вскипеть Лисовский.

— На смерть никто не может смотреть спокойно,— задумчиво проговорил Стадницкий.

— Ну, это уж слишком...

— Нет, не слишком! — Стадницкий дохнул хмелем в лицо Тадея Станиславовича.— Я не желаю быть ни самоубийцей, ни линялым мотыльком у чужого стола. Если бы вы потеснили в своей голове хранилища мелодий и дали бы место капельке практицизма, вы бы на судьбе своих отцов, на судьбе нашей вконец разорившейся шляхты убедились, что перед нами, землевладельцами, витает призрак куперовских моги-

кан. Вы сами знаете, что у нас в селе живут трое безлошадных шляхтичей, сменивших прапрадедовские шелка на мужицкую выбойку. И недаром над ними смеется все село: «Паны—на семерых одни штаны...» Это мелочь, пылинка великой трагедии, а самая трагедия в том, что у нас на глазах догорает Россия древних родов. Экономический рахит, все эти закладные, соло-векселя и простые векселя — доски нам на гроб. На каждой дворянской десятине нашей Подольской губернии висит пятьдесят шесть рублей долгу. А ведь это богатейшая земля наших предков, о которой, как вам известно, и поныне поют: «На Подолье хлеб на частоколе, а пампушки на плетне...» Так вот, нынче не пампушки на плетне, а долги на шее. Нас не спасли ни великая реформа, ни последний благородный жест императора Александра Третьего, дворянский банк не искупил наши грехи в частных банках. Задолженность дворянства катастрофически растет и в дворянском и в земельных банках. Мы заложили и перезаложили три четверти поместий. И что хуже всего — долги растут быстрее цен на землю. Так из наших рук ежегодно вываливается четыреста тысяч наследственных десятин. Бойтесь, дружище, чтобы вся родовая земля не стала шагреневой кожей. Для нас теперь даже кредит — смертельная отрава. Понимаете, что это значит?

— Вот как? — удивляется Лисовский.— Прежде вы только исторические акты собирали, а теперь пустились и в статистику?

— Я и теперь не чураюсь истории, но не принадлежу к тем, кто довольствуется дымом и славой былого. Это увлечение прошлым — не героическая, а трагедийная черта! Шляхетский гонор и благородные сетования без тучных полей ничего не стоят. А мы по нашей недальноворкости упускаем из рук землю, упускаем время и переходим на прокисшее чиновничье житье и харчи. И опять-таки одной только веревочкой можно нас вытянуть, спасти дворянство и культуру,— рублем. Мы должны во что бы то ни стало догнать современных богов золота, а не то станем, в лучшем случае, их титулованными лакеями. А я пока еще не желаю стоять в ливрее у мужицких дверей Терещенка, Симиренка или Харитоненка. Вот почему мне и приходится, стиснув зубы, сколачивать капитал, думать о том, о чем не думали наши предки, торговаться с мужиком из-за каждой копейки. Мой отец, шутя перед гостями, поил шампанским и рейнвейном своих рысаков, а я такими напитками не каждого гостя потчую. Это не

скаредность, а наша последняя карта.— Распаленный красноречием, он гордо повернул к Лисовскому голову.

Но это лишь на миг поразило Тадея Станиславовича. Затем пришло раздумье:

«Щедро рассыпает книжные и свои слова пан Стадницкий, да все они, как мошкара над огнем, кружат над рублем. Поразительно, как мало мыслей рождает даже у разумных людей жажда наживы! А душа становится хищной. И взгляд. Так можно дойти до того, что и глаза собеседника покажутся серебряными полтинниками...»

Он связывает в один замкнутый круг мысли Стадницкого, его жизнь. Удивляется:

— Вот вы говорите, Аркадий Валерьянович, экономия. Так зачем же вы строили кирпичные овчарни, да еще с колоннами? Это тоже уходит корнями в эпоху Возрождения?

— Корни этого — в здравом смысле. У меня овцы не простые, а инфантадо и рамбулье: в холодных загонах вырастет не золотая шерсть, а свиная щетина,— почти с презрением ответил Стадницкий, думая о том, что из Лисовского никогда не получится настоящий хозяин, певчая перелетная птица, да и только. И он снова повторил: — Овцы у меня не простые. Теперь на одном хлебе землевладельцу не прожить: американская пшеница и высокие немецкие пошлины подсекли нас под корень.

— Но ведь Германия, насколько мне известно, сняла дифференциальный тариф?

— Однако тарифная война подорвала наш торговый баланс. Мы потеряли самые лучшие хлебные рынки, все наши товары, кроме щетины, падают в цене.

— А почему же щетина? — удивился Лисовский.

— Парадокс бесхозяйственности. За нашими свиньями плохо ухаживают, их скверно кормят, поэтому и щетина у них самая жесткая. Падение цен и надо мной висит, как петля.

— И все же ваша челядь даже не мечтает о таких постройках, какие вы возвели для овец.

— А колбаса не для пса! — с сердцем бросил Стадницкий.

— Вот с этого бы и начинали! — На худощавом лице Лисовского задумчивая настороженность.

— Мужиколюбство родителей и «Украинская громада», вернее — левое крыло ее, навек испортили вашу семью.

— Да, для нас ваш несравненный рубль не был спасительной веревочкой.

— Это и видно — по вашей земле. Мне иногда кажется, что мужикофильство и этнография могут довести вас и до социал-демократии.

— Напрасно вы так думаете. Я охраняю независимость своего духа от всякой политики... К тому же по складу души я либерал и лирик.

— А мне кажется, что от природы вы бунтарь духа, опирающийся не на философию времени, а на украинофильство, на идеализацию мужика и мужицкие мелодии. Разве вы не понимаете, что и ваши украинцы, как и камчадалы, осуждены ходом истории на ассимиляцию, на гибель?

— О, запахло доморощенными философами «Киевлянина»!.. А что, если на древе народов нашей земли украинская ветвь даст щедрый цвет и принесет плоды? В прошлом ее соками и кровью были остановлены орды Батыя, ханов и султанов, и кто знает, поднялись бы так европейские державы, если бы украинские кости не усеяли приднепровскую степь, подольские равнины и зеленые Карпаты!

— Такую теорию, прошу прощения, не встречал еще. Дешевенькая теорийка!

— По крайней мере дороже вашего рубля.

— Что ж, надо же иметь хоть какую-нибудь утеху в жизни! Я не стану распространяться об истории, об украинском казаке. Но вы, как наша литература, выдумали еще и мужика, нарядили его в одежды мученика и подняли над землей, а вот настоящего мужика никто не показал, того, что по колено в землю ушел, со всей его хитростью, в его подлинной шкуре.

— В той самой, кнутом сеченной?

— О нет! — Стадницкий сгоряча не раскусил иронии.— Я говорю о том, что дух жадности витает над деревней, как утренний туман. Дайте вашему мужику малость земельки да деньжат— и он с родного отца шкуру спустит, и греха не побоится, лишь бы разбогатеть. Вот почему я и не советую вам сокрушаться над долей мужика, тем паче украинского. И не перестану повторять: украинофильство — устаревший романтизм.

— В этом — смысл моей жизни. Я не колонист, а просветитель,— Лисовский с вызовом посмотрел на собеседника.

Но тот лишь усмехнулся.

— Пропащий вы человек. Талантливый, а пропащий.

— Не рано ли служите по мне панихиду? — почти не обижаясь, возражает Лисовский: он уже почти не слышит

Стадницкого — он снова захвачен бетховенской музыкой, очарованием леса, мыслями об украинском мелосе.

— Вы не улыбайтесь, Тадей Станиславович. Я не раз думал о вашей судьбе, читая ваши публикации.

— Вы их читали?

— Надо же следить за печатью, чтобы видеть больше, чем она. Мне кажется, ваши статейки почти никому не нужны.

— Почему? — Теперь румянец заливает все лицо Лисовского.

— Да потому, что, думается, из дегтя и меда не выйдет пригодная для пищи смесь: от вашей благородной, изысканной формы все-таки, простите, дегтем несет.

— Вас деготь смущает?! — волнуясь и сердясь, восклицает Лисовский.— Но зачем же в таком случае вы его курите в своих лесах? Не потому ли, что и он приносит вам рубли? Там он не оскорбляет ваше благороднейшее обоняние?

Лицо Стадницкого еще больше вытягивается, и это вдруг начинает забавлять Лисовского.

Аркадий Валерьянович покачивает головой, безнадежно вздыхает: мол, что с таким говорить? И умолкает.

Он и сам не знает, почему его все еще тянет к этому зеленому, неуравновешенному полушляхтичу-полумужику. Не вынося никакого противодействия своей воле и поступкам, мало чего ожидая от людей, мало им веря, он относительно спокойно терпит лирические увлечения и скоропреходящую колючесть Лисовского, для которого, очевидно, наследственное дворянство, богатство весят гораздо меньше, чем убогий крестьянский быт да песни. Ну, с чем можно сравнить подобную глупость: поехать на свои не бог весть какие деньги на Камчатку и там таскаться от одного жилья к другому, за сотни верст, чтобы описать жизнь вымирающих туземцев, вернее — даже не жизнь, а их однообразные мелодии,— он, видите ли, уверен, что сравнительное изучение образцов народного творчества различных племен имеет большое значение для музыкальной этнографии, убежден, что итальянскую оперу невозможно постичь без мелодий коряков или алеутов! Нет, это не мышление, это фанатизм, какие-то непонятные, фатальные страсти!

И, как показалось ему, точно определив недостатки Лисовского, Аркадий Валерьянович поворачивает жеребца на дорогу, обрывающуюся вдали, над самым Бугом.

Перед всадниками, сгорбившись под тяжестью вязанки хвороста, маячит сухая, как жердь, фигура старого крестья-

нина. Вот он услышал мягкий топот коней, испуганно оглянулся, неуклюже заковылял на непослушных ногах с дороги в сугроб. Из-под высокой полуоблезлой шапки выбивается свалявшийся от пота вихор, под ним беспокойно бегают то растерянно улыбающиеся, то просительные светло-карие глаза.

«Да это же Сергий Майборода»,— узнает Лисовский бывшего лучшего чабана Стадницких.

Мальчиком Лисовский не представлял себе степи без высокой фигуры Майбороды.

Густое, в оранжевых солнечных прошвах, марево убаюкивает запекшуюся, растрескавшуюся землю. Кругом ни души, ни звука, только порой раздается в степи разбойничий посвист суслика, а в низине за турецкими курганами, впереди своей тени, лениво пасется отара. Перед ней на ощипанной траве, словно каменное изваяние, высится прожаренная солнцем фигура чабана. В руке у него длинная клюка — герлыга, на шитом чабанском поясе кошель с трубкой, табаком и кремнем, рожки с пережженным синим камнем, с дегтем-первачком — мазать раны скотине и себе, нож — пускать кровь, да щипчики, которыми выбирают червей у овец. Старик бродит среди овец, приглядывается к их синежелтым глазам, вслушивается в жалобный плач ягнят, на слух определяет, что надо отаре.

На все Подолье, говаривали овчары, не было такого стригаля, как Сергий Майборода. Весной, перед Никольской ярмаркой, на которую съезжались даже заморские покупатели, он за день настригал своими костлявыми руками по шестисот фунтов теплого, с пылью степных дорог золота. Только он один ежедневно стриг по пятьдесять—шестьдесят овец. За каждое руно он получал по две с половиной копейки, и даже Стадницкий тогда считал его человеком.

Но годы, вешняя сырость, осенняя слякоть и туманы сперва скрутили руки, а затем и ноги старика. В старческих костях угнездилась боль, а перед глазами и в ясные дни колыхался осенний туман. Сперва старому чабану не разрешили стричь овец, потом не пустили к отаре. Как мальчишку, прогнали его господские слуги от стада, и долго еще звучал у него в ушах жалобный плач обеспокоенных овец.

Старик пошел со своим горем к Стадницкому.

— Барин, миленький, дозвольте помереть возле скотинки, я же вырос и поседел с нею.

— Да ты уж и ходить-то не можешь.

— А я ползать буду. Овцам не так мои ноги, как голос

нужен. Тело у меня навек застужено, скрипит, а голос все звонкий.

— Это ты, Сергий, кому другому расскажи. Перед отарой весь день надо торчать на ногах, тут звонкость не поможет. Так что уступи место молодым.

— Только и всего, барин?

— Только и всего, Сергий. Еще могу рюмочкой угостить, выпей на здоровье.

Но старик не соблазнился господской рюмочкой и понес горе свое в одинокую лачугу на опушке дубравы, где не ждали его ни дети, ни внуки, одна только белая, обезножевшая, как и дед, ярочка...

— Доброго здоровьичка, Аркадий Валерьянович.— Майборода низко кланяется, и на его сгорбленной спине шевелится хворост.

Стадницкий не отвечает на приветствие, только подымает руку и мастерским взмахом плети сбивает со старика высокую чабанью шапку. Она подбитой птицей падает на просеку, и Лисовский видит, как глаза старика вспыхивают от обиды и гнева.

— Умеешь красть панский лес — умей хоть шапку перед паном скинуть, быдло! — беззлобно, поучительным тоном бросает Стадницкий и, не оглядываясь, дает волю нетерпеливому жеребцу; тот, вытягивая на редкость красивую шею, вылетает из леса на прибрежную дорогу.

Чабан нагибается за шапкой, и от его почерневшего расшитого пояса, покачиваясь на ремешке, одиноко отделяется рожок доброго дегтя. Старик и поныне не может спокойно пройти мимо скотины: увидит где ранку — вычистит, зальет и долго смотрит вслед отаре...

Галоп наполняет сердце Стадницкого злобной радостью, прищуренным глазам приятно видеть, как движутся поля, как на том берегу Буга раскачиваются серебряные мечи лозняка, как впереди из-под снежных морщин появляются и растут ряды деревьев вдоль чумацкого тракта.

Далеко позади, неуклюже подскакивая на массивной «сыроватой» лошади, тащится Лисовский, и Аркадий Валерьянович, повернув на тракт, терпеливо ожидает неловкого всадника. Впрочем, он наблюдает не столько за Лисовским, сколько за лошадью.

«Придется продать: тяжеловат, без огня кровь»,— щурится Стадницкий, любовно поглаживая лоснящуюся шерсть своего жеребца.

— На собаках по Камчатке вы, верно, быстрее ездили?— спрашивает он подъезжающего Лисовского.

— Представьте себе, быстрее,— хмуро отзывается тот, любуясь, как розовые лепестки солнца пламенеют на заснеженном поле и с липовых почек свисают прозрачные синеватые капельки. И снова мелодия «Элизе» пронизывает все его существо, но теперь в музыкальную ткань вплетается и посвист плети.

Аркадий Валерьянович, недоверчиво смеясь, выезжает на бугор и вдруг видит впереди вереницу саней. Она плывет по глубоко выбитой дороге, неторопливая, черная, люди и лошади движутся понуро, тяжело.

— Переселенцы,— угрюмо бросает он Лисовскому.

Тадей Станиславович с жалостью следит за растянувшимся обозом; возле саней, тесно прижимаясь к пристяжным по одной колее, словно связанные одной судьбою, идут крестьяне. Неровная темная линия обоза, как траурная лента, рассекает синевато-розовый простор снегов, приближаясь к всадникам.

Аркадий Валерьянович закусил губу. Он подъезжает к переселенцам, а те и не думают сворачивать перед барином. Какая наглость! Он скрещивает грозный взгляд со взглядом Ивана Чайченка. Тот упрямо смотрит на барина и шагает вперед, в одной колее с конем. Голова буланого жеребца уже вот-вот нависнет над низкорослой крестьянской клячей, а Чайченко не сбивает пристяжную на обочину. Как он смеет! Когда выучился?

Потемневший круг солнца выскочил из легкого облачка и распростер меж крестьянином и помещиком большой крест — тень от сухой липы.

Стадницкий решительно заносит арапник, еще не зная, кого ударит — лошадей или самого Ивана. Но господскую руку перехватывает темная, крестьянская, в господские, с прозеленью глаза впиваются усталые, крестьянские.

— Ты что делаешь, негодяй?! — оскорбленно взвизгивает господская душа.

И в ответ раздается тихое:

— Не взбрыкивай, барин, козлом: гляди, червем бы не поползти!

Холеные, артистические пальцы хрустнули, разжались, и плеть, взвившись в воздухе, полетела на обочину тракта; туда же крутым прыжком отпрянул жеребец, обиженно выгибая лебединую шею. Стадницкий бьет жеребца по бокам,

пытаясь направить на Чайченка, но видит руки крестьянина, скрещенные на рожне, и впервые за много лет в его барскую ненависть вплетаются волоконца страха.

Аркадий Валерьянович придерживает лошадь, кадык у него выпятился, щеки надулись, и одно только слово вырывается: «Быдло!»

«Последнее напутствие барина земледельцу»,— Лисовский с растерянной и злорадной улыбкой наблюдает картину прощания.

Люди в суровом молчании проехали мимо ошалелого от ярости Стадницкого. Он ощутил десятки взглядов и пытался побороть их молчаливый огонь своим перекошенным взором, от которого не раз подгибались ноги у кряжистых мужиков. Но тут никто не опустил глаз, даже детишки Чайченка, высунувшие головенки из перевязанной узлом дерюги. У Стадницкого невольно задрожали веки; побежденный, пристыженный, он в бессильной злобе отвел взгляд от переселенцев и почувствовал, что по коже противно растекается колючий холод. В голову пришли по какой-то идиотской ассоциации слова распростертого на снегу, смертельно раненного венценосца Александра Второго: «Холодно, холодно!..» Черт знает, какие сумасшедшие сопоставления кто-то пригоршней швырнул в круговорот его дум...

Стадницкий отгоняет видения прошлого, свирепо бьет ногами коня и поворачивает на дорогу. Мимо, злорадно усмехаясь, пролетает в легких, словно нарисованных, санках закутанный в простой крестьянский балахон с капюшоном — кобеняк — помещик Варава, а кучер его, оборачиваясь назад, хохочет, бесстыдно тыча кнутом в сторону Стадницкого.

— Аркадий Валерьянович, вы остались без нагайки? — Лисовский показал на плеть, свернувшуюся змеей на снегу.

Стадницкому и за этими словами почудилось что-то недосказанное, едкое, неприятное.

— О чем вы сейчас думаете? — Капризные, увядшие губы его дрожат, и покрасневшие косячки век еще ниже опускаются на глаза.

Лисовский не слышит вопроса, он сосредоточенно смотрит вслед переселенцам. Вокруг них, куда ни кинешь взгляд, расстилаются поля. Под ногами лежит укутанный в снега чернозем, и изувеченная душа земледельца тоскует о нем, вкладывая свою тоску в печальные песни, либо раздувает повстанческую искру, не жалея ни господского жилья, ни святого хлеба.

— Чем вы взволнованы, Тадей Станиславович? — повторяет вопрос Стадницкий, замечая, как на тонкой линии окоема смыкается алое с синим, а в небе едва дышат легкие очертания облаков.

— Бетховенской мелодией. А вот эта мелодия,— он кивнул головой в сторону темнеющего обоза,— еще никем не положена на музыку.

— Под вашим сюртуком скрыта мелодическая частица мужицкого сфинкса.— Стадницкий натянуто улыбается. Он еще пытается прикрыть свое поражение фразерством, заглушить остро́той боль уязвленной спеси.— Может, вы знаете, чего недостает мужицкому сфинксу?

В ответ раздается одно только слово:

— Земли!

V

В этот вечер ни на одном краю села не звучит песня, и лишь изредка в сумраке перекликаются голоса возле заиндевелых, обмерзших колодцев. Даже во дворе у Плачинды не беснуются на певучих проволоках волкодавы — никто не приходит ни продавать, ни занимать.

Необычная тишь удивляет Терентия. Он мягко ступает по своему широкому, забитому всякой всячиной двору, останавливается перед штабелями дверей и оконных рам, вырванных из лачуг переселенцев. Бревна можно и позднее свезти, а двери и рамы того и гляди переполовинят — теперь такой народ пошел! И что только портит его? Известно, больше всего эти чертовы экономии. Собирается там людей как муравьев в муравейнике, и все ободранные, злые. На чужой земле да еще скопом — тут добра не жди. Здоровье теряешь со всяким работником, но сезонника из экономии от деревенского батрака за версту можно отличить — дух у него не тот. Хлеб ест твой, а глядит на тебя волком.

Наплодили господа экономий и на свою и на хозяйскую голову.

Он касается рукой чужой рамы и ощущает под пальцами кривую, холодную линию излома. Верно, стекло треснуло? Возят хозяйское добро, словно в наказание! Он осторожно, обеими руками, поднимает промерзшую раму, рассматривает ее на свет — луна как раз отрывается от снегов, четко очерчивая в небе по обе стороны от себя два тополя. Нет, все шесть зеленоватых стекол целы, только ледок, окровав-

ленный светом восходящей луны, накипает на них уродливыми язычками: это до его каемки дотронулся Терентий.

За этим ледком перед Плачиндой почему-то встали Марьян и Фросина — рама была из хаты Полярушей. В душе Терентия шевельнулось беспокойство, и не потому, что вспомнились переселенцы,— с ними он по-людски рассчитался, угощал своей водкой, пробовал ихнюю колбасу,— а потому, что впервые увидел на вырванной живьем раме ледок.

Плачинда опустил раму ниже, и по его одежде побежали дрожащие желтые блики от стекол и черная тень переплета. Терентий даже поморщился, увидав на себе этот подвижной косой крест. Он аккуратно положил раму плашмя на другие, без радости окинул взглядом свое приобретение, и эти штабеля вдруг напомнили ему колоду карт. Выпадет ли ему на них хоть малая толика счастья?

«Все шестерки,— смотрит он на верхние рамы,— а шестерки — дорога»,— и снова во мгле чужих окон тускло маячат их бывшие хозяева. Чтобы отделаться от них, Плачинда идет от угрюмых штабелей к калитке, прислушивается к синей тишине и тоже чувствует, что в селе чего-то не хватает, у стен притихших строений притаилась настороженность. А это потому, что ни с одной улицы не доносится песен. То горланят до самого рассвета, а тут словно язык отнялся.

Терентий любит песню и сам умеет петь с душой.

Когда он был парнем, не одна девушка, вздыхая, прислушивалась к его чистому тенору. И никто, кажется, не знал столько чумацких песен, сколько знали Иван Дунай и он. Раз даже барин, гостивший у Лисовских, записал песни с его, Терентия, голоса. Чудашливый был барин, простак! Услыхал, как подвыпивший Дунай пел в воскресенье на улице, и тотчас засеменил к нему с книжечкой в одной руке, с карандашиком в другой.

— Добрый человек, голубчик мой, ты много таких песен знаешь?

— Погоди.— Удивленный Дунай откинулся назад, чтобы получше разглядеть низкорослого барина.— Откуда ты взялся и кто таков?

— Я, голубчик, ученый, всякие песни записываю, на ноты кладу.— Барин тонкой, господской рукой прочертил в воздухе несколько линий.

— Ага. Тогда здоро́во.

— Доброго здоровьичка, доброго здоровьичка! — Барин тряхнул лохматыми вихрами, и его чудны́е очки, блеснув

на солнце, соскочили с носа и замотались на черном шнурке.— Может, ты и сам из чумаков?

— Да знаю, почем хлеб и соль.

— Вот славно, вот славно! — обрадовался ученый человек.— А чумацких песен много знаешь?

— Как тебе сказать... Когда чумаковал, была у меня пара круторогих. Верно, и на их шкурах не уписались бы наши песни.

— Народная мудрость! — воскликнул барин, оседлал нос очками и что-то поспешно записал в книжечку.— Так ты спой их мне, голубчик, я для тебя пяти рублей не пожалею.

— Эх, ты! — укоризненно и неодобрительно покачал головой чумак.

Но барин не заметил этого и уже полез в оттопыренный карман.

— Вот сейчас и дам тебе пять рублей.

— А я дам тебе пять рублей, чтоб ты отстал от меня. И будь здоров.— Дунай отвернулся от барина и ушел, не оглядываясь, в лес.

Ну, не чертов Дунай? Целая золотая пятерка сама катилась в руки, а чумак поленился даже пальцем шевельнуть. И его еще величают хозяином!

Терентий не выдержал — молодой был! — посмеиваясь, косясь на людей, подошел тихонько к оторопевшему барину, который, придерживая очки, глядел вслед Дунаю растерянными, добрыми глазами.

— Не горюйте, барин. Это вам человек попался не с достатком, а с норовом. Я вам, слышь, все наши чумацкие песни не хуже него спою. За пять рублей.

И пел до самого вечера в старосветских, дышащих прохладой покоях Лисовского, и горевал над судьбой бедняжки чайки, над чумаком, умиравшим в степи, и над тем горемыкой, у которого господа и арендаторы отымают волов, телеги, расписные ярма и терновые притыки. А после, насмехаясь в душе, объяснял барину, что в ярме верхнюю плаху, которая у вола на шее лежит, зовут чашиной, а нижнюю — подгорлем, как их соединяют снизками и для чего служит плетеное кольцо — каблучка. Ну, на что это ученому человеку? Разве у него будет когда-нибудь своя скотина?

Потом горделиво, как ровня, пил с господами запеканку, сваренную на перце, гвоздике и кардамоне, смаковал анисовку, ел духовые пирожки, которые так и таяли во рту, ра-

зойдясь, сам сготовил господам чумацкую тарань на меду и вышел, крепко зажав в кулаке новенький червонец. И никогда царская голова на монете не была ему так дорога, как в тот раз.

Дома он показал золотой отцу. Дорохтей, покусывая запекшуюся до крови нижнюю губу, внимательно выслушал сына, попробовал золото на зуб, кинул монету с пятнышком крови на стол и отвернулся.

— Не те деньги, хоть и золотые.

— Отчего же не те? — насупился Терентий, думая, что барин подстроил ему какую-нибудь каверзу.

У Дорохтея дрогнули брови и веки, резко сузились горячие глаза, к которым под старость быстро приливала кровь.

— Ты знаешь, весь наш достаток — чумацкий — на волах нажит. На чумацкий заработок и грешное тело прикрыли и земелькой обзавелись. Теперь нет чумаков, остались одни песни. Ими грех деньги зарабатывать: это все равно, что наживаться на мертвом отце. Дунай отвернулся от этого заработка, а ты клюнул, как дурак. Надо иметь голову на плечах!

Это воспоминание о давнишнем отцовском уроке немного развеселило Терентия и вовсе прогнало тени переселенцев. Старик и поныне может прикрикнуть на детей: «Голову на плечах надо иметь!» А того не замечает, что теперь не проживешь по старинке. Легко было покупать рыбу на азовских отмелях и косах, нетрудно было развозить по селам солькрымку и продавать господам икру, да теперь рубль стал хитрее, на глубину пошел.

Вспоминая минувшие годы и позабыв прошедший день, Терентий исподволь ворошит в памяти старые чумацкие мелодии. Он опирается руками в ворота и, поскрипывая перекладиной, роняет на землю первые слова песни:

Ой, по горам снежок лежит,
А по ярам вода бежит,
По тракту алый мак цветет.
Ой, то не мак алеется,
То чумаки виднеются,
По тракту в Крым обоз идет.

С каждым словом голос Плачинды становится все жалостнее, и он сам все больше расстраивается: жаль и молодого чумака в дороге, и его старуху мать. Песня отвлекает душу Терентия от будничной суеты, навевает печаль на сердце, рвется через улицу на леваду, ищет те долины, по которым

ходили чумаки. И вдруг тоскливую мелодию обрывают голоса, разрушая рожденную песней картину:

— Распелся! Нашел время!

— А ему что? Другой горел, а он руки погрел.

— Чумака, вишь, пожалел, а соседей не пожалел, обобрал до нитки.

— Этот пожалеет!

— Не трожьте его, ребята, держитесь от худа подальше.

— Все скупил. Ни стыда у него, ни совести.

— Не купи он — другой бы нашелся.

— Наел брюхо на чужом горе, да еще поет!

По другой стороне улицы идут гурьбой парни, в лунном свете густо темнеют шапки.

Обидные слова молотом отдаются в голове Терентия. Отпрянув от ворот, он яростно, со звоном, дергает на себя кованую калитку, выбегает на улицу, чтобы увидеть, кто там дерзит. Парни на миг в изумлении останавливаются.

— Гляди-ка! С цепи сорвался! — говорит один из них.— Может, к нам в компанию?

Парни расхохотались и со всех ног побежали на другую улицу, а оттуда к господскому пруду, который уже искрится в зеленоватом лунном свете.

Хоть и печальный нынче вечер, а молодежь все-таки собирается помаленьку на пруд. Парни уже налегают на шесты, задолбленные в широкое колесо из чумацкой телеги-мажи, колесо вертится на вмороженном в лед грабовом колышке и раскручивает на длинной-предлинной жерди гнутые салазки с замершей девушкой в кожушке. Ей и весело, и страшно, и жарко от прилива крови, и холодно от шипучего посвиста санок.

— Зося, тебя еще цыганский пот не прошиб?— кричат подруги, сбившись в кучку. Чем быстрее крутится с натужным скрипом колесо, тем больше они тревожатся за девушку, а она словно тает в воздухе, так что виден только колокол вздувшегося кожушка.

— Чумовые, стойте, будет уже! — кричат девушки парням, когда салазки, едва касаясь льда, расплываются в неясное пятно.

— А чего ж она молчит? — откликаются «чумовые».

— Ой, спасибо, напомнили!— тоненько разлетаются по кругу испуганные слова.— А я и забыла с перепугу. Стойте!

Парни со смехом останавливаются и вместе с девушками подбегают к Зосе, которая, распластавшись на салазках, крепко вцепилась руками в игрушечные рожны.

— Зося, голубушка, ну как ты?

— Зося, голова на месте?

— Ой, не знаю, голова это, лед, земля или все вместе так кружится,— говорит она, приподымая закутанную в терновый [1] платок голову. Крылышки ее прямого, с едва заметной горбинкой носа все еще дышат страхом.

— Говоришь, голова кружится? А не так, как от поцелуя? — допытывается Левко Щербина, стоя меж двух своих братьев-близнецов — Григория и Данила.

— Кому что, а Левку поцелуи!— сразу оживляется Зося. Она наконец встает, становится стройными ногами на полозья, а в ее узких, чуть раскосых глазах просыпаются чертики.— Целуйся уж со своей Тетяной!

Вокруг сразу прокатывается смех. Левко, склонив голову набок, мгновение удивленно смотрит в повеселевшее лицо девушки, а потом и сам хохочет. И только тогда смеются Данило и Григорий. Они, неизвестно почему, признают Левка за старшего, хотя родители и повитуха в первый же день перепутали, кто за кем появился на свет. Но надо же, чтобы один, хоть для порядка, был старшим, вот и стал им привлекательный в своей медлительности и сосредоточенной недоверчивости Левко.

Когда все немного угомонились, а у Зоси совсем ушел из души холодок и погас румянец на нежных щечках, к Левку серьезно обратился Роман:

— Левко, ты бы рассказал нам, как сватался к Тетяне. А то все молчишь.

Тот повернул голову к Роману, обиделся, за ним обиделись и близнецы; они решительно двинулись на Романа, а вокруг снова засмеялись.

— Ты что, парень, может, тумаков захотел? — наконец вырвалось у Левка.— А то нам втроем недолго пощекотать ребра,— он положил руки на плечи Григория и Данила.

— Да что ты, Левко, какие страсти поминаешь на ночь глядя! — с невинным видом шагнул к нему Роман.— О тебе все село шумит, а ты ни гугу.

— Есть там об чем говорить,— Левко уже миролюбиво посмотрел на Романа.— Про нас всегда болтают. Вот я кому-

---

[1] Терновый — то есть черный с красными розами.

нибудь для науки поставлю язык торчком!— В глазах его опять мелькнула тень гнева.

— Ну, чего ты дуешься? Жаль тебе рассказать? — не то сквозь смех, не то сквозь слезы попросила его задорная, аккуратненькая, как снопик льна, Христина Гордиенко.

Стояла она перед Левком, чуть потупясь и не подымая глаз.

Левко глянул на личико Христины, едва сдерживавшей смех, на ее полузажмуренные от веселых слез глаза, на замашные, прогнутые у краев бровки, капризно дрожащие на невысоком лбу, и заколебался.

— Нашлась умница! Ты в кого — в отца, в мать или в обоих вместе? — Левко недоверчиво посматривает на Христину: когда же это она успела девушкой стать?

Еще летом она бегала обветренным и меднолицым от солнца подростком в экономию, беззаботно перешучиваясь с ним и стремглав накрывая легким кругом юбки свекольные гряды, уносилась в поля, увертываясь от его широко расставленных рук или щелкающего кнута, когда он беззлобно пытался проучить ее. Еще летом он звал ее за маленький рост «рукавичкой». А тут, гляди, за одну зиму и росту прибавилось и на чистом личике красы, длинные ресницы чертовски славно оттеняют глаза, а от верхней губки к маленькому подбородку легко и красиво сходятся косые складочки. Один леший знает, как меняются девки. Теперь уж на нее не замахнешься кнутом! Что ни говори — девушка! Толстые губы парня сами собою раскрываются от удивления.

— Левко, золотце, ну, расскажи! — Христина шутливо поклонилась ему, порывисто выпрямилась, и тоненькая летняя юбочка, на миг взметнувшись над коленями, туго обвилась вокруг ее проворных ног.

— А ты будто не знаешь? — спрашивает Левко и твердо решает про себя: «Ей-богу, на выданье девка. Ростом невеличка, а красивая. И откуда она только взялась такая?»

— Да немножко знаю, только ведь всяко говорят. Одни перевирают, другие недовирают. Так что лучше от тебя самого услышать. Ты ведь не соврешь? — Христина улыбается, и улыбка постепенно перебегает с ее подвижных ямочек и надбровья на упрямое лицо парня.

Он пробует сдержать улыбку, но Христина, догадываясь, что делается с парнем, уже рассыпает колокольчиком смех, и Левко, широко улыбаясь, пытается схватить ее за плечо.

— Хитрый какой! — Девушка отскакивает от него, игриво и обиженно вышячивает пухлую нижнюю губку, которая выдает чуть ли не все, что лежит на душе.— И охота тебе, Левко, так спесивиться? Жалко рассказать?

«А и вправду, почему бы не рассказать? — неожиданно решает парень, все еще приглядываясь к девушке.— Больше не наговоришь, чем люди наговорили. Может, и сдуну с себя кое-что лишнее».

— Так как, Левко? — Лукаво наморщенные бровки нацелены на него.

— Ну что ж, пожалуй, расскажу, чтобы меньше языками трепали.— И он погрозил неведомо кому тяжелым кулаком.

— Ну, ясно,— усмешливо соглашается Христина и подпирает ладонью округленный подбородок. Рука у девушки несоразмерно большая, на пальцах белеют шрамы от ссадин — следы нелегкого лета в экономии.

Левко садится на салазки, вокруг него теплым веночком собирается молодежь. А по берегам круглого пруда тихо замер в лунном сиянии зачарованный венок серебристых верб. Иней убрал их в невиданные одежды, а низкое небо наделило легкостью, осыпало звездной пылью, и не угнаться гордым царевнам и королевнам за этими нежными деревцами — неизменными спутниками сельского быта; и своей немудреной красой в молодости, и горьковатыми слезинками, и своей согбенной, темной старостью они походят на крестьянок.

Левко готов уже начать рассказ, но тут у гребли с шумом появляются парни, рассыпаются по льду и по размывчатой лунной дорожке бегут к тем, кто собрался вокруг Левка.

— Здорово, казаки, здоро́во, чернобровые! — кричит Юрий Звонарь, срывает с головы шапку и, размахнувшись, швыряет ее в девушек.

— Здоро́во, Юрий!

— Юрасик, к нам! У нас потеплело от твоей шапки! — радостно защебетали девушки. Они любили Юрка за компанейский характер, за буйный, но всегда справедливый нрав, за умение играть на любом инструменте и выбивать на колоколах все что угодно — от похоронного звона до пасхального «штаны драны, полотняны».

— Где ты замешкался, Юрий? — Высокий и худущий Василь Гаёвый кладет руку на плечо парню.

— Да мы со Стадницким по чарке распили,— не сморгнув глазом, ответил Звонарь и горделиво подбоченился.

Все засмеялись; только Зося едва не вздохнула, держа в руках теплую шапку Звонаря. Шапка жгла девушке пальцы, но стоило ей бросить тайком взгляд на парня — и всю ее обдавало колючим холодком.

Юрий скользнул было равнодушным взглядом мимо Зоси, но увидал шапку, подошел к девушке и молча забрал свое добро, не заметив, как у Зоси обиженно дрогнули влажные губки, как пролегли возле них две нежные морщинки и жалобно опустились уголки рта.

— Роман, тебе низкий поклон от Плачинды,— надевая шапку, бросил Юрий Волошину.

— Неужто вспоминал? — Лицо Романа оживилось.

— У ворот высматривал тебя. Я сказал ему два слова твоим голосом — так он даже на улицу выскочил.

— Догнал? — смеются парни.

— Не будь у него брюхо квашней — непременно догнал бы.

— Ой, берегись, Юрий! — предостерег здоровенный Давыд Левенец, уже третий год батрачивший у Плачинды. — Мой-то сейчас, верно, в одиночку разжег у себя в светелке бесовский очаг, да и глядит в растопленную смолу — узнаёт, кто над ним измывался.

Девушки, услыхав такие слова, заойкали, завизжали, парни притихли, а Давыд многозначительно замолчал, косясь на всех прищуренными глазами. Первой не выдержала Христина. Сама боясь своего голоса, спросила:

— Давыд, а твой хозяин, правда, знается с нечистой силой?

Парень с деланным равнодушием ответил:

— А ты сходи к нему перед тем, как первые петухи запоют.

Девушки снова взвизгнули; всем стало до жути любопытно, что же знает Давыд о Плачинде. Боязно было к ночи спрашивать, но все-таки спросили. Левенец долго отнекивался, а потом огляделся по сторонам, покосился на Василя Гаёвого, украдкой подмигнул ему и принялся тихо рассказывать:

— Не скажу, так ли оно было, не знаю, водится Плачинда с болотными чертями или нет, но слыхал от людей, что раз ночью пошел он на старую греблю, где всякая нечисть до полуночи шатается. Ну, пристроился на запруде, глянул в воду, а по ней черная пена в ведьмовские хлопья сбивается и все какая-то колючая нечисть топорщится да

топорщится, хрюкает и отхаркивается по-свинячьи. Страшно стало Плачинде переходить с ясного белого света в чадное бесовское царство, но чего злато-серебро с человеком не сделает! Заложил он в рот два пальца, свистнул трижды, да как заорет: «Выйди, Гнатко-беспятко! Желаю поговорить с тобой!» И тут зашумело, застонало, вздулся плес и лопнул, а из тины как выскочит лохматый барчук в штанах дудочкой и в господской шляпе. Из-под штанов литые чугунные копытца выглядывают, из-под шляпы рожки выбиваются, а на концах рожек два уголька из самой преисподней так и сверкают.

— Ой, как страшно! — вырвалось у Христины.— А что ж дальше?

— Что ж дальше? Разве я там был? Слыхал от людей, будто выскочил черт на греблю, затопал своими чугунными копытцами, обошел вокруг Плачинды да как захохочет пастью огненной — у того вся кожа до самых пят задрожала и начала отставать от тела, словно лыко весною. «Ты Гната беспятого звал?» — спрашивает бес. «Я!» — отвечает Терентий, улыбается через силу, а у самого зубы такую чечетку выбивают, что вот-вот выскочат. «Что же ты хочешь от меня? Денег? А ну, дай-ка погляжу на твою душу: не заложена ли она кому другому?» Рванул черт рубаху на Плачинде, посмотрел ему на грудь, словно на листок бумаги, проверил, нет ли на пупе печати, и вынимает купчую на продажу души. И тут, бают люди, то ли перепугался Плачинда этих смотрин, то ли в нем совесть заговорила, но отмахнулся он от купчей: «Пока я только одного хочу: поубивай всех волков, что у меня скотину переводят». А черт заметил, что Терентий хитрит, да как взъярится, как подскочит к нему, как двинет его по-жандармски бесовским кулаком. «Сам становись волком, разбойник!» И все ведьмовское отродье на воде захрюкало по-свинячьи: «Становись волком, разбойник!» И Плачинда почуял, как волосы у него на голове шевельнулись и давай расти, расползаться шерстью по телу. Хочет он сказать что-то черту, да вместо своего голоса как завоет! Побежал на четырех домой, хотел в своем дворе схорониться, да волкодавы его чуть в клочья не порвали. Так и стал он меж волков жить, по-волчьи есть и красть у людей скотину. А раз в одном селе застигли его мужик с бабой в овчарне, стали они его колошматить — тут волчья шкура соскочила с него, и явился Плачинда перед людьми в чем мать родила...

И вдруг со стороны гребли донесся волчий вой. Девушки завопили не своими голосами, бросились наутек, а позади загремел хохот парней.

— Девчата, да ведь это Василь Гаёвый вас пугает!

— Он с Давыдом сговорился!

Скоро все, пересмеиваясь и браня Давыда и подошедшего Василя, снова собрались вместе, а Юрий Звонарь набросился на Левка Щербину, который все еще сидел на салазках:

— А ты чего надулся, как попадья перед дождем?

Звонарь толкнул ногой салазки, и они закружились по льду.

— Да он как раз собирался рассказать про свое сватовство! — вспомнила Зося.

— К Тетяне?

— Ну да! — Все снова повеселели.

— Так пусть рассказывает, послушаем! — Звонарь присел на корточки перед Левком, насмешливо глядя на него, потом забрался в салазки.— Вот так лучше будет. Ну, Левко, шевели наконец губами. Или они от молчанки к зубам примерзли?

— Да уж не знаю, смогу ли рассказать складно.

— А мы пособим,— пообещал Звонарь.

— Э? — удивился Левко.

— Отчего ж не пособить! Ежели бы я с тобой к Тетяне пошел, давно бы уж свадьбу справили... Ну, начинай скорей, не морозь всех!

— Не больно-то, скажу я вам, ловко, ежели сватовство затевают родители.— Левко тронул рукой шапку.— Когда я еще только пас гусей, а Тетяна едва начала ходить, сговорились за чаркой мои с этими пересмешниками Сердюками породниться. Слово за слово, даже насчет приданого сошлись: дают за Тетяной пару волов, десятину земли и сундук. Ну, шутить, известно, можно, а только на что про это людям говорить? С тех пор и стали меня ребятишки дразнить «Тетянин жених». Увидят нас с нею — и давай: «Молодой молоду усадил на льду. Ты скажи, молода: холодна ль вода?» Ну, тогда немало я со злости пораздавал мальчишкам подзатыльников, перепадало и Тетяне, чтоб не больно надеялась на своего женишка. Так и шло время. Встречу Тетяну одну где-нибудь на хуторе, буркну «добрый день», гляну искоса, как там моя невеста, а увижу среди ребятишек — кулаками потчую. Ну, помаленьку годы подошли.

За работой да отработками и детство сплыло. Забыл о Тетяне, да и про сватовство помину не было. Как вдруг в этот покров повстречались в гостях мои с Тетяниными, выпили и давай снова про то же. «Не забыли ваше слово?» — спрашивают Сердюк и Сердючиха. «Мы не господа, слова не рушим».— «Так наша девка на выданье».— «А нашему молодцу жениться в пору».— «Как годы бегут!» — «Так, может, и не откладывать? Или ваша княгинюшка не пряла, не ткала, ничего не нажила?» — «Да вроде кудель трепала, лядой постукивала да на куреслепе белила».— «Видно хозяйскую дочку. А что же еще, помимо сундука, дадите?» — «Десятину и жеребят».— «Эге, а куда же за эти годы волы подевались? Нам, люди добрые, волы нужны».— «На волов теперь не собрать — не та пора».— «А вы соберите, она ведь у вас одна, как звездочка вечерняя»,— подлащиваются мои, чтоб выманить парочку волов. Долго торговались, наконец сошлись на бычках-двухлетках и ударили по рукам. Приехали мои с ярмарки — и в одну душу: «Ступай, ступай к Тетяне. Такая девка выросла, как тополек. Отделим — станешь хозяином!» Подумал я, помозговал— и впрямь самому хозяйствовать способнее, да и волы на улице не валяются,— решил идти на хутор к Сердюкам.

— Про волов подумал, а про девушку — нет! — не удержался Роман, покосившись на Левка.

— Ты не перебивай, когда я говорю.— Левко неторопливо повернулся к Волошину.— С девушкой-то было яснее, чем с волами... Ну вот, в воскресенье надел я праздничное, да и побрел на хутор к невесте. Подхожу ко двору, а там все прибрано, словно в духов день, соломинки не сыщешь. Возле хлева волы жвачку жуют, славненькие такие, рослые и масти подходящей. Глянул я на боковое оконце — там кто-то мелькнул и пропал. По всему видно — ждали меня. Только я на порог, а из хаты выбегает Тетяна. И в самом деле — девка хоть куда, косы что вальки, так и хочется тронуть. Посмотрела на меня, застыдилась, глаза в пол. Я поздоровался, ущипнул, а она рукой замахала: «И, глупый!» Однако вижу, не сердится, а только так, по обычаю, прикидывается злой. А тут и Сердючиха высовывает голову из двери: «А господи, а боже ты мой, вот уж в добрый-то час! И откуда это, из каких краев ты к нам завернул, дитятко? Осчастливь нашу хату!» И куда вся сердюковская насмешливость подевалась! Засуетилась Сердючиха по хате, подолом лавку заметает, меня в красный угол, под

божницу, усаживает, сетует, что хозяин сборщику выкупное понес. Потом загремела в печи ухватами, сковородником и давай ставить на стол, вокруг штофа монополькн, и печеное, и жареное, и вареное, и пареное, и тертое, и так, кусками. Сижу я под образами, красуюсь, как телок на веревочке, да все исподлобья постреливаю глазами в Тетяну. А она краснеет и не знает, смеяться ей или смущаться. И все мне тут нравится: и девушка, и теща, и сундук, и даже волы вроде рослее показались. Когда уже на столе от мисок да горшков негде стало иголке упасть и на всю хату запахло не то рождеством, не то пасхой, Сердючиха налила нам по чарке, а ложек, примечаю, на стол не кладет. «Что-то здесь не то»,— думаю себе. Покосился на тещу, но чарку за ее здоровье выпил. «Угощайтесь, чем бог послал»,— говорит она, садится напротив меня, рукой на стол показывает, а в шкафчик за ложками ни ногой. Тут я и сообразил, что Сердюки захотели посмеяться надо мной. Недаром и сам со двора подался, недаром с волов на молоденьких бычков перешли, а теперь, верно, и их пожалели и решили учинить со мной этакую чудасию. От стола со всеми ихними яствами да питиями пошло меня мутить, и Тетяна кажется уж не так красива, и сундук, вижу, шашелем источен, и волы вовсе не волы, а телята, и масть у них не такая, не по моему характеру. «Ешьте, ешьте, Левко, не стесняйтесь,— угощает Сердючиха.— Может, что у нас не так, простите уж».— «Спасибо, все так, только я дома пообедал». Встаю из-за стола, за шапку — и к двери. Невеста растерялась, потупилась, заморгала жалобно ресницами, вот-вот слезы брызнут. Я уже на пороге слышу, мать шипит: «Может, ты что не так сказала?» Ишь притворяются, будто бы не знают ничего... Глянул я волком на ихних волов — и бегом домой. А сам весь киплю. Рассказал все родителям, и они на Сердюков гневаются: «Чтоб они насмеялись над моим сыночком? Да не бывать тому! И всегда-то они были хитры на выдумки!» — вскипела мать. «На ихних волах свет клином не сошелся,— прибавил отец.— Найдем, Левко, и получше». Затаили мы зло, а тут еще про мое сватовство пошли всякие слухи, догадки, как сплетня по селу. Кривимся мы, но голову держим высоко. А под рождество, опять-таки на ярмарке, столкнулись мои с родителями Тетяны. Встретились и не знают: здороваться или нет? Однако разговорились. «Что же это ваш сынок на нас разгневался?» — наконец спрашивает Сердючиха. «А ты ни об чем и не знаешь, не догадываешься?» —

допытывается мать. «Ума не приложу. На девку было напустилась — та в слезы, ни сном, говорит, ни духом».— «Ни сном ни духом?» — «Ни-ни!» — «Как же вы угощали моего молодца?» — «Как умели. Только ты сказала, что придет Левко, мы стали готовиться еще с субботы. Хотели встретить как можно лучше, чего у себя не было, у соседей заняли, а на медовые пряники добыли городского теста».— «Городского, говоришь?» — «Ей-богу! Спросите хоть у самой дьячихи».— «Это хорошо... Ну а ложки ты на стол положила?» — «Ложки? Ложки? — Сердючиха вдруг побледнела, а потом чуть не со слезами: — Ох, я глупая, ох, бестолковая! Ложки-то совсем из головы вылетели».— «Не ложки, а клепки у тебя из головы повылетали!» — напустился на нее Сердюк. Чуть не избил ее прямо на ярмарке, спасибо мои утихомирили. Так через эти сатанинские ложки ничего и не вышло из нашего сватовства. Вот и все, как на духу. А злые языки прибавляют к этому всякую нелепицу, чтоб им отсохнуть на первом лживом слове!

— Может, и отсохнут, Левко,— сочувственно отозвался Юрий Звонарь,— а то уж больно несусветное выдумывают: говорят, как ты шел свататься к Тетяне, то шапку взял, а голову оставил дома. И только во дворе у Сердюков заметил, что не на что шапку надеть... Ну, однако, Сердюки нашли для нее колышек...

Левко только покосился на Юрка и, равнодушный к смеху, встал с салазок, деловито размялся в своих сапожищах-желтяпках, сляпанных из невыделанной сыромятины, подошел к колесу.

— Кого еще покатать?

— Меня, меня, Левко! — крикнула Христина и уселась на санки рядом со Звонарем.

— А как тебя, мелкота, крутить,— помаленьку или с ветерком? — спросил Юрий, вставая.

— С ветерком да с метелью! — Девушка задорно блеснула глазами, пригнувшись, уцепилась руками за рожны, а тоненькую юбчонку зажала между коленями.

— Тогда держись, мелкота! — Юрий посмотрел на девушку с доброй усмешкой и пошел к парням.— Будешь падать — хватайся за лед,— бросил он через плечо.

— А как разобьюсь?

— На руках домой отнесу.

— И-и? — растерянно и удивленно протянула Христина.

Заскрипело колесо, закружились салазки, легко побежали мимо берега́ пруда, всколыхнулись в пляске вербы, и вот их пересекают, ускоряя бег, темные линии, вот уже деревья сливаются воедино, иней на них темнеет, а лед под полозьями так и поет по-соловьиному.

«Только бы не выпасть, только не выпасть!» — одна лишь мысль мелькает под свист полозьев, и все тело Христины сжимается в упругий комочек радости и страха.

Парни еще крепче налегают на колесо, и все меркнет в бешеном круговороте, затканном кругами темной пряжи. И вдруг все смешалось, перевернулось, подпрыгнули берега, луна, вербы. Это салазки, оторвавшись от шеста, бешено метнулись в сторону и понеслись к берегу; с треском выскочив на пригорок, они пошли в одну сторону, а Христина, как мяч, отлетела в противоположную и ткнулась головой в сугроб. Все перед ее глазами еще кружилось, и она, зарывая руки в снег, боялась подняться.

Первыми к ней подбежали Звонарь и Гаёвый.

Юрко, просунув руки в снег, сразу схватил девушку в охапку, тряхнул, как куклу, и, всю белую, растрепанную, поставил на ноги.

— Убилась, мелкота? — спрашивал он, поправляя ей большой ладонью волосы, засовывая прядки под платок.

— И сама не знаю,— беспомощно и тяжко вздохнула Христина, давясь снегом.

Юрко повеселел.

— Язычок не прикусила?

— Кажись, нет,— не подумав, ответила Христина.

— Ну, это для вашего брата самое главное,— рассмеялся парень.

— Дрянной, гадкий, противный!—Девушка топнула ногой.

— А ты хороша, как русалка,— ни чуточки не обиделся парень.

— У, злой! — Она ударила Юрка кулаком по руке и принялась отряхиваться.

Снег теперь остался только на ресницах, и Христина от этого стала еще красивей.

Подбежал Левко с братьями, за ними все остальные.

— Воркуете?

— Не только вам с Тетяной ворковать,— отрезала Христина.

Юрко серьезно поклонился ей, по-господски отставив руку в сторону.

— Пшепрашам паняночку со снегу на лед.

Христина гордо вскинула головку.

— Не подобает мне пешком идти, а подобает в коляске ехать! — Она засмеялась, толкнула Юрка, с разгона прыгнула на лед и, задрав носки, поехала на подковках.

Звонарь проводил девушку смеющимися глазами и восхищенно подумал: «Коза! Растет же на чью-то голову».

Он перехватил тоскующий взор Зоси, окинул ее взглядом, удивился:

— Чего глядишь, как на новые ворота? Не узнала?

— Нужен ты мне! — вспыхнув, отрезала Зося и круто отвернулась.

— Чего ж тогда сердиться?

Юрко беззаботно заскользил по льду, расталкивая и подшибая парней и девушек. Вот он снова встретился с Христиной, подмигнул ей, а она, оглянувшись, показала ему язык.

— И не стыдно? Ведь взрослая уже! — Он укоризненно покачал головой.

— А ты не дразнись! — Христина вычерчивает подковками широкий полукруг и вдруг попадает в крепкие мужские руки, но сразу же прутиком выскальзывает из них и уже издалека, топнув сапожками, грозит Юрку пальцем: — Ну-ну-ну, маме скажу!

— Лишь бы не отцу! — кричит, бросаясь за нею, Звонарь.

Христина, взвизгнув, во весь дух бежит к братьям Щербинам — они и катаются рядом. Близнецы, взявшись за руки, загораживают девушку от Юрка.

— Отдайте мне насмешницу.

— Без выкупа не отдадим.

— Что же вам за нее?

— Такую же русалку!

Христина выскакивает из кольца, налетает на Романа, а от него бросается к Зосе. И Юрий больше не гонится за ней: Зося сохнет по нем, и ему не хочется ее тревожить — и так у девушки глаза на мокром месте.

— Левко, я никак не смекну: к кому же ты теперь пойдешь свататься? — допытывается Роман.

— А у тебя голова болит? — сразу настораживается Левко.

— Болеть не болит, а хочется на твоей свадьбе погулять. К кому же?

— К кому? — Левко на миг задумывается.— Да уж найду какую-нибудь с волами либо с крупными кораллами,— запросто раскрывает он свои хозяйственные расчеты.

— А ежели попадется некрасивая?

— Некрасивая? Ну и что ж? С лица не воду пить, лишь бы работящая была. Красу на тарелку не положишь. Понял?— Левко сегодня необычайно щедр на слова.

Роман, пораженный откровенностью парня, не знает, верить или нет. У этих скрытных Щербин сам дьявол не разберет, когда они шутят, а когда говорят правду. Недаром про Левка болтают, что он снаружи дурак, а внутри умник.

Месяц, отороченный мглистой пыльцой, поднялся уже на середину выполосканного неба; из тени выступили хаты; они, казалось, сбились плотнее, а на земле заискрилась каждая снежинка, и только у самого горизонта легко прочерченная линия отделяла крестьянские поля от нивы, засеянной звездами.

По гребле проехали сани, над головами лошадей клубился белый пар, а из-под копыт, словно из серебряного горна, разлетались искры. Вот уже исчезло седое дыхание, погасли снежные искорки, а лошади, подымающиеся по синеватой дороге в поля, все еще видны: миновав ветряки, они доходят до самого неба, заслоняют несколько золотых колосков — звездочек — и пропадают невесть где.

Перед взволнованным взором Романа теперь только черные ветряки, а вокруг них еще ярче сияют немеряные сизовато-синие полотна снегов.

— Славно? — Юрко опускает Роману на плечо тяжелую руку и тоже смотрит вдаль.

— Славно, Юрий.

— Так что бери себе чернобровую, укутывай в кожушок — и айда к ветрякам.

Роман краснеет, а Юрий смеется.

— Озорник ты, Юрко!

— Правда? — Цыганское лицо Звонаря изображает удивление, затем он притворно вздыхает.— Экий ты, Роман, неудачливый — ни одной не приголубил еще! Руки у тебя, что ли, никудышные, или счастья бог не послал?

— Пошел ты к чертям! — возмущается Роман.— Нашел чем хвалиться — бесстыдством!

— Ну вот, уж и бесстыдством наградил! — посмеивается Юрко.— Разве я обижаю девок? Так только, иной раз погреешь руки у чьей-нибудь пазухи.

— Что-то они у тебя часто зябнут.

— Ничего не поделаешь,— вздыхает Звонарь,— зима, а рукавиц нету.

— Не заработал в лесу?

— Дает бог копеечку, а черт — дырочку. И вечно божья копеечка меньше чертовой дырочки, не удержишь никак.

Мимо, изогнув стан и руки, пронеслась на подковках Христина.

— Чем не девушка? — проводил ее глазами Юрий.

— Домой пора,— проговорил Роман и тоже посмотрел на маленькую, ладную фигурку Христины.

— А то пошел бы с ней? Пошепчи на ушко — глядишь, станет веселее.

Роман снова краснеет, а Юрко вздыхает жалостливо...

Молодежь, перекликаясь, выходит гурьбой на греблю и оттуда сперва расходится на две стороны, а затем рассыпается по улицам и кривым, занесенным снегом закоулкам, в которых шевелятся легкие тени деревьев.

На поповской леваде послышалась собачья грызня, на улицу выкатился заснеженный клубок злобных псов и покатился на огороды.

— Гляди-ка, и волкодавы Плачинды тут! — узнал верных сторожей богача длинноногий Василь Гаёвый.— Спустил их Терентий или сами сорвались с цепи?

— Так он и спустит, дожидайся! Сорвались! — отозвался Давыд.

Попрощавшись с парнями, он чуть не бегом пустился к дому Плачинды.

— Видел я сегодня, ребята, как Плачинда с мясом выдирал окна и двери из хат...— Звонарь нахмурился, поглядывая на двор богатея.

— Выдирал окна, как ворон глаза,— будто ножом полоснул Роман, и братья Щербины удивленно вскинули на него свои неторопливые, с огонечками восхищения взоры, Левко даже крякнул и довольно покачал головой.

Парни остановились посреди улицы, осматривая каменный дом Плачинды. На его черных окнах дробился лунный луч, за вишневым садом протянулась богатая, из двойных бревен, рига, а вокруг нее ленивой стражей дремали дебелые скирды необмолоченного хлеба. С каких только нив не улеглись там снопы! Рядом с копнами Плачинды стояли вдовьи и сиротские; везли сюда свое трудовое те, кто работал исполу и «за сноп»; были тут снопы прямо из-под серпа, приве-

зенные еще с росою; был тут и «ненадежный» хлеб, скупленный на корню.

И ото всего этого веяло на Терентия веселым житным духом, смешанным с едва уловимым запахом пересохшей березки, васильков и горечью сурепки.

— Слыхал я,— помолчав, заговорил Гаёвый,— Терентий свез к себе во двор все рамы и двери и уже распродавать собирается.

— А все у нас знают про то? — резко спросил хмурый Роман.

— Навряд ли,— не поняв, пожал узкими плечами Гаёвый, и на его бледном, скуластом лице мелькнула улыбка: Роман что-то придумал.

— Так, может, пособим Плачинде? — Роман обвел взглядом маленькую кучку парней: тут были братья Щербины, Гаёвый и Звонарь.

— Вот это сказанул! Нашел помощников,— недоверчиво проговорил Левко.

— В хорошем деле наверняка поможем,— сразу же согласился Звонарь.

Роман махнул рукой: мол, где наше не пропадало.

— Так вот, чтобы все село знало, что Плачинда продает окна, вынесем их ему на крышу. Как, ребята?

— А что ж, можно! — рассмеялся Юрий.— Дело, кажется, сто́ящее.

— Волкодавы как раз удрали,— сосредоточенно добавил Гаёвый.— Так что уважим Плачинду по совести!

— Какова совесть, такова и честь! — отрезал Роман.

— Верно.— Василь с уважением глянул на товарища, и по его исхудалому, с запавшими висками лицу побежали улыбчивые тени.

Только Щербины молчали. Левко сосредоточенно думал, а Григорий и Данило смотрели на него. Им что, скажет Левко надсмеяться над Плачиндой — и надсмеются, а велит идти домой — они и на это готовы. Великое дело — старшинство.

— А ты как, Левко? — не терпится Звонарю.

— Я как? Тащите уж окна без нас,— ответил тот, не глядя на Юрия.

— Боишься обидеть Плачинду?—вспыхнул ретивый Юрко.

— Не боюсь, хоть и нет охоты задираться с ним,— Левко открыто посмотрел на Юрка и Романа.— За компанию пошли бы с вами, да нам пора в господский лес.

— Красть?

— Нет, так брать,— верхняя, более толстая губа Левка дрогнула едва заметной улыбкой.

— И не страшно в воскресенье?

— Как раз хорошо: лесники не так стерегут.

— Тогда поезжай. Только гляди, парень, не во все звони! — резко приказывает Роман.

— Мог бы и не предупреждать,— насупившись, отвечает Левко.

Не прощаясь, Роман, Юрко и Василь поворачивают к дому Плачинды, а Щербины молча направляются восвояси.

Левку и досадно, что он, верно, уронил себя в глазах лучших парней села, но зато и спокойнее: вывернулся, как отец учил. Роман, Юрко да Василь и сами вытащат окна Плачинды на крышу, а веселая людская молва присоединит к этой забаве и их, Щербин. А это не так уж плохо. Если же его, Левка, спросят, он будет морщиться, отнекиваться, но так, что всякий догадается: и он покуролесил ночью на крыше у Плачинды.

«А что, если ребятам не удастся забросить рамы на крышу?»

От такой мысли Левку становится неприятно, словно он на этом потеряет. Но под скрип снега мысли его постепенно переходят с дома Плачинды на господский пруд, и он видит Христину на льду. Как она ему поклонилась: «Левко, золотце, ну, расскажи!»

Не будь ее, черта с два рассказал бы он! Славную девушку вырастила Гордиенчиха, ничего не скажешь.

Возле самого двора Левко остановился и ни с того ни с сего засмеялся. Братья с двух сторон молча покосились на старшего. Левко кинул на них усмешливый взгляд, шагнул к мохнатым от инея воротам, нажал плечом на створки. Промерзшее дерево жалобно заскрипело, створка наискось отошла от столба; Левко в своем широком кожухе неуклюже втиснулся в проем и снова засмеялся.

Братья, топчась у ворот, переглянулись. Повернув к ним голову, Левко наконец промолвил:

— А правда, Христина Гордиенко славная?

— Ги-ги-ги! — захохотали в ответ братья и снова переглянулись.

— Так как вы думаете?

— Что ж, ничего себе, хоть и маленькая, как перепелочка,— отозвался Данило.

— Втюриться можно,— небрежно добавил Григорий и ногой шире отворил ворота.

Григорий смотрел на девушек почти с презрением. Он считал себя вольным казаком, и для него всякая женщина обозначалась единственным отцовским словом — «баба».

Братья никогда еще не заводили всерьез речи о девушках. Даже сватовство Левка к Тетяне не вызвало никаких разговоров: это ведь была родительская воля, а родителей надо слушаться, посылают ли они на работу или на помолвку. И не случись неприятности с ложками, Левко женился бы на Тетяне: она девушка здоровая, работящая и с приданым.

Левку хотелось еще поговорить о Христине, но в уголках губ Григория он заметил осуждение и потому притворно вздохнул; взметая раскрытыми полами кожуха искристый снег, медленно двинулся к конюшне с полуоткрытым воловковым оконцем. Вытащил из-под верхнего снопика крыши промерзший медный ключ, отпер замок и, нагибаясь в дверях, прошел к своим буланым. Они встретили парня тихим ржанием, повернули к нему длинные шеи.

Все Щербины — лошадники, и не было в окрестных селах такой ярмарки, где бы не толкался меж скотиной старый Гнат со своим выводком, обучая детей узнавать по размеру и крепости костей, по строению головы, шеи, хребта, копыт, даже по блеску гривы и хвоста кипучую мощь породы. Гнат, говорили люди, своей широкой лапой и сквозь шкуру безошибочно распознавал силу и кровь животного.

Иногда он, всем на диво, покупал запаршивевших, замордованных «одров», водил их на седые от росы утренние и вечерние травы, натирал какими-то коричневыми отварами, непочатой водой — и кони становились могучими.

Сияя рыжим полумесяцем бороды, старый Щербина, бывало, надувал на ярмарках тертых продавцов: и степных, словно из бронзы отлитых, загонщиков, и черных, как во́роны, молдавских барышников, и беспокойноглазых полесских конокрадов, и лохматых румынских цыган-переводчиков, которые сами не крали, а только переводили краденый скот на другие места и нередко перебирались с краденными лошадьми из своего королевства. Гнат хитрыми речами и намеками быстро сбивал цену, а потом до поздней ночи с голубиным воркованьем рассказывал своей Ганне, как он обвел вокруг пальца даже бессарабца Манойла; под конец он

вынимал из кармана вышитый гарусом очипок и торжественно дарил его убаюканной рассказами жене.

Но случалось, что и самого Гната обманывали. Тогда борода словно теряла свое сияние. Злой и отяжелевший, он заглядывал в каждый уголок хозяйства, добирался даже до посудного шкафа и печи, твердя одно: нигде нет таких бестолковых детей и жены, как у него, с такой семейкой в пору только рыжему бесу разбогатеть.

В такие минуты близнецы перекидывались за его спиной многозначительными взглядами. Отец во гневе забывал, что его самого за привычку толкаться среди лошадей и скакать бешеным наметом односельчане беззлобно окрестили рыжим бесом. Да и было за что: никто не умел так обуздывать коней, как Гнат. Он мог одним взмахом вскинуть свое туго сбитое тело на необъезженного жеребца, на каком и комар не усидит, умел и удержаться на нем, перегоняя буйную силу лошади на горячую, розовую пену. Недаром от этого человека за версту лошадиным духом несло...

Вот скрипнула сенная дверь, и на пороге, в полотняном белье и кожухе внакидку, показался сам кряжистый Гнат. Сперва он, позевывая, смотрит на небо, а потом, гремя обутыми на босу ногу сапогами, направляется к детям.

— Запоздали, запоздали! Пора, ребята, в лес,— озабоченно цедит он сквозь густые усы и бороду неторопливые слова и снова поглядывает на луну.

— Сейчас поедем. А чего вы до сей поры не спите? — жалеет отца самый мягкий из братьев — Данило.

— Мать долго масло сбивала, творог отжимала, ну, мне и не спалось.— Гнат кладет руку на ясень и по привычке начинает прощупывать кору, как шкуру лошади.

Левко выводит из конюшни буланых, на шерсти лошадей сразу же рассыпаются отблески лунного света. Братья выносят из риги пропахшую дегтем и потом упряжь, топор и пилу, и вскоре сани легко вылетают со двора.

Старый Гнат запирает ворота, некоторое время смотрит вслед сыновьям, а потом подымает взор на густые ветви трех ясеней. Он посадил их в день, когда родились близнецы. Славно и стройно поднялись над плетнем деревья, и нрав у них молодецкий: одной половиной смотрят во двор, другой — на улицу.

И вдруг Гнату становится жаль, что послал детей в господский лес. «А если наскочат лесники? Или дерево не так упадет? Ночью в барском лесу опасно. Ну, да старшень-

кого не проведешь»,— с гордостью думает Гнат и снова трогает ясень, но больше уже не приминает растресканную кору, и на теплые пальцы набегают слезинки инея.

VI

Когда братья выехали из щербиновского закоулка, Левко не сразу повернул к лесу: хотелось посмотреть, посмеялись ли парни над Плачиндой. Держась в тени, он покружил по немым улочкам, выскочил неподалеку от гребли на тракт, и тут все трое с удивлением и радостью увидали, как переливалась, дрожа в неверном лунном сиянии, кровля кулацкого каменного дома, аккуратно выложенная рамами переселенцев.

— Иконостас, да и только! — первым откликнулся Данило и засмеялся.

— Кого же он завтра станет каталажкой стращать? — улыбнулся Левко и, не спуская глаз с повеселевшей кулацкой крыши, повернул на другой край села.

Добрые кони споро мчатся мимо синей цепочки хат, вылетают на поляну, и оттуда все село, залитое лунным половодьем, маленькие под высоким небом деревья и хаты кажутся картиной, небрежно и щедро набросанной на переливчатых снегах. Левко, перебирая вожжами, косо поглядывает на молчаливые, словно покинутые, жилища, на замерзшие одноногие журавли, на приземистые, ослепительные колодцы, и ему приходит в голову, что ночью село кажется намного красивей и богаче. Это лунный свет одевает его в праздничный наряд, скрадывает убожество, лохмотья, мозолящие глаза днем. Смотрит Левко на сотканные из серебра вишневые сады, на окна в венках золотой пороши, потом переводит взгляд на свои сапоги из разбухшей сыромятины, на грубое, домотканое платье — и подавляет вздох.

«Хозяева, черт их дери!» — бранит он сам не зная кого и бьет лошадей вожжами.

Буланые, вытягивая тени, берут в карьер, и две легонькие полоски снежной пыли колышутся и разбрызгиваются искрами по обе стороны саней. На полях, как заколдованные невиданные птицы, стоят одинокие груши да черешни — все, что осталось от былых лесов.

В чаще Левко придерживает коней, но и тогда чуткие деревья стряхивают хрупкий серебристый убор. Слева в

рамке старых верб дремлет двор Морозенка. К самой хате подступает большой сад, и даже теперь, на морозе, здесь пахнет лежалыми яблоками: верно, из невидимых отдушин просачивается крепкий дух дубовки, гусака и виноградки.

— Вот кому лучше всех живется,— лесовикам,— вдыхая настой яблок, позавидовал Григорий.

— Только сады, говорят, и помогли им удержаться в господском лесу,— откликнулся Данило, точно братьям это было неизвестно.

— Приволье тут и людям и скотине,— продолжал Григорий, который больше братьев любил лес.— Как весной выпустишь свиней со двора, так они без присмотра до глубокого снега нагуливают жир. А потом, глядишь, высаживает ворота полуодичавшее стадо с новым приплодом... В Синяве я бы с охотой поселился.

— А что ж, попросись у барина,— бросил Левко.— Скажи ему: «Зарекаюсь, ваша милость, красть лес, только обменяйте мою пахотную десятину на вашу лесную».

Братья засмеялись.

— Он, слышь, обменяет! Он и лесовиков-то давно мечтает вытурить из Синявы. Этот-то наносит беды в мужицкие дворы.

Обогнув двор Морозенка, Левко углубляется в самую середину леса. Правда, отсюда недалеко до лесной сторожки, но парень надеется, что лесники если не спят без задних ног, то, верно, больше держатся опушек.

Чуть в стороне, за двором деда Дуная, тянется отборный лес. Он обрывается большой поляной, за которой, словно упавший наземь кусок неба, голубеет грабовая роща. Возле нее осталась неширокая полоса огромных кленов. Когда-то крепостные Стадницкого добывали себе из их сока кленовый сахар, а теперь крестьяне побогаче покупают стройные стволы на доски или гробы. А Левко понемногу крадет эти деревья и отвозит в Майданы, цыганам на ложки.

Оставив возле лошадей Григория, Левко и Данило, согнувшись, проскользнули, как тени, к прошитой инеем поросли кленов. Вот тут на одном раскоряченном пне еще недавно красовались два брата клена. Но один ствол кто-то спилил, а другой подымается к самому небу, и несколько звездочек дрожат в сетке его ветвей. Левко положил руку на широкий срез, в искристых, как чешуя, капельках инея.

— Верно, лет двести прожил, а какой чистый! — Левко удивленно поднимает брови.

— Чистый! Однако пилить его не след,— говорит Данило, глядя на могучее надтреснутое корневище.

— Почему? — хмыкнул Левко, подводя пилу под осиротевший ствол.

— Вот эта половина пошла старому Гнатенку на гроб,— Данило, показывая на срез, жалобно смотрит на брата.

— Ну и что? — равнодушно спрашивает не больно-то суеверный Левко.

— Может, не годится пилить его для цыган?

Левко смотрит на брата, а думает о своем.

— Стало быть, хочешь, чтоб и вторая половина мертвецам служила? Пускай, слышь, лучше послужит живым! — И он решительно шаркает пилой по темному переплету коры.

Данило поморщился, ему страшновато: не рассердится ли на них старый Гнатенко, над которым совсем еще недавно читали псалтырь? Но парень преодолевает страх и обеими руками перехватывает натертую до блеска ручку пилы.

Выгнулась, зашипела пила и выплюнула из разведенных зубьев белые опилки. Острая сталь, углубляясь в дерево, поет совсем как жучок-музыкант, и кто-то в чаще леса повторяет ее песню.

Одновременно хрустнули и корень и ствол. Дерево, засевая небо серебряной пылью, дрогнуло, на миг испуганно замерло и рухнуло с нарастающим стоном, выписав инеем дрожащую дугу. Братья коршунами набросились на мертвый, еще дрожащий ствол, и снова негромко запела пила, отрезая первый кряж.

Луна медленно скатывалась в чащу леса. Вокруг, крепче переплетаясь, выползало все больше теней, и расчерченные ими полосы снега тяжелели, отливали желто-зеленым, а в глубинах неба, разрушая легкость ночи, неясным маревом наливались не то облака, не то утренняя заря.

Близнецы проворно уложили в сани кленовые кряжи и, даже не оглянувшись на мертвую верхушку, повернули на глухую лесную дорогу. Левко, погоняя лошадей, осторожно прощупывает чащу недоверчивым взглядом. Возвращаться почему-то всегда страшнее, чем въезжать в лесные дебри. В стороне, совсем недалеко, противно прокричала сова, и над самыми лошадьми пронеслось на округлых крыльях ее куцее, раздутое тело.

— Черт! — испуганно вырвалось у Данила, и он чуть не заслонил руками лицо.

Левко, следя за птицей, приподнялся в санях и вдруг увидал, как впереди, возле насыпи, у смолокурни, от ствола отделилась высокая неуклюжая фигура; она тоже, как и сова, была толста и укутана в темные лохмотья.

— Стой! Кто едет? — жутко раскололась лесная тишина.

Кони запрядали ушами. На вспотевшую спину Левка словно кто-то швырнул пригоршню холодных, колючих зерен. Он дернул вожжи влево, полозья заскрипели, упруго выписывая кольцо на непримятом снегу. Вот сани снова попали в колеи, помчались назад, а за ними, оглядываясь, бежали лесом Данило и Григорий.

Громом отозвался выстрел, спросонья забился в ветвях и каркнул испуганный ворон, позади тревожно затрубил рог. Он будил лесную тишь, созывал на помощь, и лесники, господские слуги, уже настораживались и выходили, а то и выезжали на дороги.

Тру-ту-ту-у! — все выше и выше взлетает над лесами победный клич рога, его зов перегоняет братьев и отдается у них в ушах тревогой.

— Да будет уже тебе, окаянный! — шепчет Данило, словно лесник может его услышать.— Господи, только бы добраться до дому!

Он испуганно петляет меж деревьями и на самом краю мыслей, как счастье, видит свою хату и три ясеня за плетнем.

Суеверный парень все время невольно морщится: не следовало пилить дерево, из которого делали гроб. Вот и мстит теперь старый Гнатенко. Данило испуганно озирается, не мелькнет ли где призрак, и даже шуршание снега, осыпающегося с ветвей, обдает его новыми волнами страха.

Вот в стороне что-то зашевелилось, от дерева отошла тень. Данило в ужасе жмется к лошадям, и его догоняет хриплый крик:

— Стой! Стрелять буду!

Данило втягивает голову в плечи, боясь, что на него упадет тень покойника. «Нет, это лесник, а не Гнатенко».

— Стой! Стрелять буду!

Левко рванул лошадей вправо, через плечо кинул взгляд на Григория, и тот без слов понял. Он подбежал к саням и с размаху всадил топор в рожон, потом отбежал и снова изо всех сил ударил топором. Раздался выстрел, дробь рассыпалась неподалеку от братьев, но никто не произнес ни слова, только Левко озабоченно посмотрел в сторону Данила.

— Дыши ровнее, все равно выскочим! — Он вскинул брови, подбадривая брата.

Когда рожон первый раз треснул, Левко стремительно прыгнул вперед и повис на лошадях. Они жались одна к другой, подпирали его теплыми боками, и в ответ на выстрелы у них волнами перекатывалась кожа на хребтах.

— Но-но, лошадушки! — тихо напевал Левко, успокаивая их движениями пальцев.

Григорий еще раз махнул топором, отскочил, и бревна одно за другим вылетели на дорогу. Когда последний кряж скатился в снег, Данило и Григорий вскочили в сани, а Левко спрыгнул с лошадей на передок, и сани вовсю запетляли по едва заметным прогалинам просек.

Не раз, как отец — барышников, водил он за нос лесников, но сегодня чутье подсказывало, что сжимается невидимая барская петля. И когда впереди раздался конский топот, Левко обернулся к братьям:

— Как подъедем к березнику, вытряхивайтесь. Пусть меня одного ловят.

— Э, нет,— упрямо мотнул головой Григорий,— никуда мы от тебя не пойдем.

— Дурень! — обозлился Левко.

— Уж какой ни есть!

— Вместе будем,— морщится Данило.

— А если догонят? — спрашивает Левко, теперь только заметив, как стемнело в лесу.

— Станем биться, брат.— Григорий крепче сжимает рожон.

— Они — берданками, а ты — палкой?

— Все равно станем биться до́ смерти! — На лице Григория выражение такой решимости, что Левко криво улыбается и с разгона круто сворачивает к хутору помещика Варавы.

— Больше некуда! Пан или пропал! — отвечает он на немой вопрос Григория.

— Что ж,— вздыхает тот,— может, там и проскочим, все в руце божией.

Навстречу, подпрыгивая, летят потемневшие деревья, колышется и в дрожи кружится лес, затемняя всю просеку ветвями. Вот впереди посветлело, и под серебряной аркой показался край Синявы. Сани выскочили на поле, которое уже растеряло свое ослепительное сияние и только сочится мягкою синью.

— Но-о, милые! — шалея, вопит Левко. Выпрямившись во весь рост, он раскручивает над головой конец вожжей, вздрагивает и кренится на выбоинах, неведомо каким чудом удерживаясь в санях.

«Что значит старший!» — даже в эту минуту позавидовал Данило.

Вскоре из лесу вылетают двое всадников, и Левко жалеет, что не оставил братьев в березнике. Они бы теперь уже приближались к дому — все спокойнее на душе, да и лошадям легче. Только бы за Прудищем дорогу не размыло.

Он оглядывается назад и отмечает, что всадники мчатся не быстрее его.

«Только бы за Прудищем гнилая вода не показалась!» — снова мелькает в голове разъедающая надежды мысль.

Хутор Варавы стоит меж двух перерезанных плотиной прудов. За плотиной дорога спускается вниз, и ее часто даже зимой размывают болотные воды. А в этом году зима пришла в новолуние, и потому настоящей силы у нее нет.

Неподалеку от господского займища Левка застигает рассвет. Заря несказанно нежной полосой отделяет синие снега от синего неба и курчавит белым пухом усталых лошадей. Хутором Левко едет осторожнее. Вот он минует помещичий дом, сворачивает в низинку и внезапно у самой плотины натыкается на двух людей, только что поднявшихся со льда. Левко невольно нащупывает топорище, а братья вскакивают.

— Кто там? — доносится до них спокойный голос самого Варавы.

Молодой, среднего роста помещик стоит возле обмерзшей проруби, держа в обеих руках черную, сплетенную из лозы вершу, которая еще позванивает витыми струйками воды. Под вербой возле господского рыбовода Леська Пивторака лежит мешок, и в нем что-то шевелится.

«Вьюны»,— сразу же догадывается Левко и не знает, что сказать барину.

Виталий Стратонович делает шаг вперед. Левко выпрямляется, братья теснее придвигаются к нему.

— А-а, Щербинин выводок! — узнает их барин, и тонкие, усмешливые морщинки играют по сторонам его горбатого носа.

— Глядите, сколько вьюнов наловили! И все один в один! — изумленно хвалит рыбаков Левко.— Привалит же такое счастье!

Барину нравится похвала.

— А ты, Левко, любишь вьюнов?

— Еще как, барин! — Голос у парня веселеет.

— Так мы и тебе отсыплем малость. А вы куда же так рано?

— И не спрашивайте, барин! Беда: от лесников бежим,— угрюмо промолвил Левко и оглянулся назад.

Вдали, на бугре за хутором, увеличенные зарей, виднелись всадники.

— От лесников? — Варава тоже посмотрел на бугор.— Выходит, крали барский лес?

— Брали, барин. У Стадницкого,— ответил Левко, приглядываясь, как в верше черным месивом шевелился и жалобно попискивал, взбивая пену, живой клубок вьюнов.

— Брали, говоришь? Какова деликатность! — расхохотался Варава, блеснув мелкими, с синеватой влажностью зубами.

— Эх, барин, кто ж среди бела дня скажет, что крал? — невесело улыбнулся Левко.— Надо совесть иметь.

Варава окончательно развеселился.

— Ох, и совестлив же ты, Левко, пропади ты пропадом, не хуже, чем твой отец на ярмарке... Ну что ж, ребята, с вами делать? — Он на миг задумался.— За Стадницкого я вам не судья: он — лях, а мы — свои люди, одна кровь. Однако дело ваше плохо: не проедете ярком.

— Вправду, барин? — Левка снова обдает холодком, и он впервые за эту ночь беспомощно окидывает глазами манящую, привольную даль за гнилой балкой.

— Вправду.— Варава вытряхивает вьюнов в мешок, который держит руками и зубами Пивторак.— Никак не проедете.

У братьев одновременно опустились плечи, но вздохнул один Данило.

— Проедем не проедем, а попробовать надо, ничего не поделаешь.— Левко тронул лошадей.— Может, проскочим. Только не выдавайте нас, барин.

Варава поднял глаза на близнецов и вдруг решительно ударил ладонью по своей сквирской смушковой шапке.

— Поезжайте, ребята, ко мне!

— Это как? — вырывается у Левка.

— Просто. Беру грех на свою душу.— Косо расставленные, подвижные глаза Варавы сужаются и светлеют.

— Что вы, барин? — Левко недоверчиво смотрит на суховатое, с бронзовым от холода румянцем лицо помещика.

— Езжайте скорей, а не то,— Варава махнул рукой на всадников,— либо ребер не досчитаетесь, либо придется вам предстать перед судом, как трем святителям,— и Варава улыбнулся, довольный своим великодушием и шуткой.

Стручковатое, словно красный перец, лицо Леська еще больше вытягивается от удивления.

— А не подведете, барин? — Левко впивается в Вараву светло-желудевыми глазами, и черные крапинки в них выразительно ожесточаются, что и сердит и веселит барина.

— Ты за кого меня принимаешь?! — рассвирепев, кричит он и вскакивает в сани.— Погоняй на пруд, так чтобы мой двор загородил нас от лесников. Садись, Лесько.

Пивторак забрался с мешком в сани. Левко взял правее, на лед, и, не веря себе, погнал лошадей к барскому двору.

Высокие ворота им отворила пышная, круглолицая Тодоска, ключница и наложница Варавы. Лоб у нее выпуклый, черные глаза и святы и греховны, а складочки возле губ выражают почтительное умиление перед барином и презрение к близнецам.

— И где вы их, ваша милость, подцепили? — Одной бровью она заигрывает с барином, а другую хмурит на Щербин, церемонно стягивает в оборочку полные вишневые губы, и даже на ее чувственном подбородке появляется подковка неприязни.

Левко, еще не зная, чем обернется все это приключение, недружелюбно передергивает плечами и украдкой от барина сверлит Тодоску взглядом: нечего, мол, тебе хорохориться, господская подстилка,— гляди, застукаю где-нито, бесстыжая, завяжу юбку на голове.

Под его взглядом Тодоска прикрывает глаза злыми веками и, зашуршав платьем и крахмальным бельем, поворачивает к дому с вычурными барочными барельефами на фасаде; широкие, с полукруглым верхом окна украшены наличниками в форме полуколонн, подпирающих дуговые узорчатые фронтончики.

Пивторак срывает защелку с окованных ворот конюшни, и они сами, поскрипывая на массивных петлях, растворяются настежь. Он заводит лошадей в просторные стойла, бросает им курчавый овсяной сноп. Тем временем до близнецов, сбившихся возле конюшни, доносится топот скачущих мимо двора лесников.

— Куда они, к лешему, подевались? — узнают Щербины озабоченный голос Октава Пигловского.

— Верно, спустились в яр,— отвечает Матвий Боцюн.

— Так уж должны бы показаться.

— Вряд ли покажутся. Видно, не знают, что яром пошла гнилая вода.

— Теперь-то мы возьмем их за шиворот да так тряхнем, что воровское тело из шкуры выскочит! — хихикает Пигловский, со вкусом рассекая арапником воздух.— Кому будут нынче пышки, а кому — шишки,— голос его звенит в предвкушении расправы.

Топот затих вдали. Левко облегченно вздыхает, с благодарностью смотрит на Вараву, не зная, как и поклониться ему,— этому парень не больно-то обучен. Однако растерянно бормочет что-то, потупя перед барином упрямую, вихрастую голову.

— Ну, казаки, пойдем в комнаты, перекусим, чем бог послал, а там видно будет, что делать.— Варава оправляет широкие, запорошенные снегом штаны и молодцевато направляется к дому.

Близнецы неловко шагают за ним, долго шаркают сапожищами возле оштукатуренного, зажатого между двойными пилястрами крыльца и входят, попадая не в сени, а в теплую переднюю, куда сквозь цветные, разрисованные оконца скупо просачиваются нездешние, желтовато-синие лучи. Тут парни еще раз вытирают сапоги, а потом неуклюже протискиваются в просторный покой, стены которого увешаны коврами и старинным казацким оружием. Над коврами нависают старого письма портреты Ивана Мазепы и Павла Полуботка, а в стороне выделяется писанный более светлыми красками портрет человека с упрямым лицом и монгольскими главами, в которых и поныне пылает яркий, фанатический огонь. Может быть, поэтому художник изобразил пламенными и две кисточки усов, которые вместе с подбородком образовали своего рода вилы, зубьями вниз. О Стратоне Вараве, отце Виталия, старые люди говорили, что он никогда не приседал от страха ни перед высокими чинами, ни даже перед нечистой силой. Под его портретом алеет лоскут потертого от времени бархата, на который нашито шестнадцать турецких стрел, найденных в останках запорожца.

Братья знают, что отец Виталия Стратоновича всю жизнь раскапывал то старинные курганы, то древние, засыпанные землей становища и поселения. Он говорил, будто это для науки, а в селе болтали, что Стратон ищет в курганах сокровища. Однако не много, видно, он нашел золота: земли свои

так и не приумножил, а сыну оставил тот же наследственный хутор, почтение к казакофильству, презрение ко всему неукраинскому и несколько обломков каменного века и казацкой славы — куски кремня из первобытных мастерских, ружья-гакивницы с казацкого острова да с десяток домах и дорогих украшений. А самой драгоценной реликвией было гетманское седло, украшенное самоцветами. Эту находку Стратон Варава принял как знамение свыше: кто-то из его семьи достойно сядет либо вскочит в гетманское седло и навеки прославит род Варав! Этой идеей он увлек, да и отравил и себя и детей.

На Лоханской стрелице [1] и возле курганов некоторое время копался и Виталий Стратонович, даже писал где-то в земском сборнике о формах намогильных крестов на украинских кладбищах, но потом за участие в студенческом обществе угодил в варшавскую тюрьму, оттуда вернулся к тихой пристани, на хутор, и, забросив археологию, горячо принялся за хозяйство, изучение истории казачества и в особенности военного дела, что, как он думал, более всего подобало потомку старинного казацкого рода.

— Садитесь, гайдамаки! — Варава кладет побагровевшие от холода руки на зеленые муравленые изразцы голландки и лукаво смотрит на близнецов. Ему нравятся и их смущение, и их упрямство, и молодая сила, проглядывающая даже сквозь нескладную одежду: «Одень их по-человечески— и хоть на картину».

— Мы и постоим, барин. Спасибо вам. Нам, пожалуй, и домой пора.— Левко мнет в руке шапку-яломку и чувствует, что его ноги так и горят — на душистый, натертый воском пол натекают с сапог-желтяков грязные потеки.

Но барин великодушно не замечает этого и приглашает парней к столу. Деликатные креслица трещат под близнецами, братья крепче упираются ногами в пол, чтобы не расселось под ними, не ровен час, чужое, хрупкое дерево, от которого даже пахнет не по-нашему.

Виталий Стратонович выходит из комнаты и через некоторое время возвращается переодетый, в шелковой рубашке и синих китайчатых шароварах, до половины закрывающих

---

[1] Лоханская стрелица, или Стрильча скала,— скалистый, причудливой формы остров возле Лоханского порога на Днепре. Ходили слухи, что на этом острове запорожцы закопали огромные сокровища. Здесь археологи нашли одну из самых больших и богатых на Украине мастерских каменного века. *(Прим. автора.)*

голенища блестящих, остроносых сапог. И не успела за ним затвориться дверь, как на пороге появляется черный, жуковатый господин в мундире судейского. Не только руки и ноги его, но даже раздвоенная черная, торчащая вперед борода походит на жучиные лапки,— так и кажется, что вошедший вот-вот загудит. У Левка екнуло сердце и сошлись брови: он узнал судебного следователя Костя Ивановича Чернокнижного, приятеля еще Стратона Варавы. Пока Левко тревожится, не попал ли он, чего доброго, под следствие, Чернокнижный рассматривает сработанных на один салтык близнецов, и его темное лицо веселеет.

— Гайдамаки? — вырывается у него не то изумленно, не то восхищенно.

— Не, мы Щербины,— с поклоном отвечает Левко.

— Гу-гу-гу! — гудит-хохочет судейский, смеется Варава.

Данило и Григорий усмехаются, а у Левка проясняется на душе: выходит, пока бог избавил его от камеры следователя...

Господин Чернокнижный обошел близнецов кругом, хмыкнул одобрительно в раздвоенную бороду и вышел.

Тодоска внесла хлеб на серебряном с позолоченными краями подносе и расставляет вокруг него розово-желтые глиняные миски с поджаренными вьюнами. Миски поверху обведены коричневыми поясками, меж которых насторожились обливные кони.

— Хороши кони? — Виталий Стратонович перехватывает косой взгляд Левка.

— Порода видна,— Левко тронул большим пальцем миску и сразу же отдернул руку: не дома ведь.— Видать, любил человек скотину: даже на глине намалевал.

— Искусство.

— Эге,— деликатно согласился Левко, прикидывая, что бы означало это мудреное слово, а коварная Тодоска, поправляя на софе плахту-синятку, насмешливо хмыкнула.

— Нашему бы отцу такие миски! — усмехается Григорий.

— Может, он бы тогда не конями, а мисками с конями барышничал,— шутит Левко. У него только теперь сваливается с души тяжкий камень настороженности.

— Знаешь, парень, кто их делал? — спрашивает барин, позванивая прокуренным ногтем по сверкающему узору.

— Нет. У нас посуду мать покупает, и не со скотиной, а с цветами.

— А надо знать. Наш земляк, из Летычевского уезда, Илько Бацута. Вишь, как бывает: одни покупают лошадей, а другие отливают их на мисках.

— Бедный человек хоть на посуде скотинкой потешится, раз на конюшне пусто,— вдруг заметил Левко.

Слова парня поразили помещика: за ними стояла человеческая жизнь. А может, это вырвалось у Левка случайно? Непохоже, чтоб он раздумывал над чем-нибудь, кроме своих коней и десятинок.

— Ты думаешь, что у Илька нет скотины?

— Ясно нету,— уверенно ответил Левко,— а то не крутил бы человек гончарный круг. Как ни хороша намалеванная скотина, а живая лучше!

Барин только головой покачал, снова собрал возле носа тоненькие морщинки и принялся разливать водку.

— Ну, ребята, за ваше здоровье! — Он высоко поднял руку, а потом чокнулся с близнецами.

Те дружно встали, и три больших, огрубелых кулака сошлись вокруг маленького колокольчика рюмки...

Никогда Щербинам водка не казалась так сладка, никогда не были так вкусны вьюны, как в это удивительное утро на хуторе Варавы. Братья не забывали, что сидят у барина, но и их недоверие оседало от огнистого напитка и неспесивых речей.

Чертова Тодоска воротила от них нос больше, чем сам Виталий Стратонович, а когда братья принялись отирать жирные пальцы о русые волосы, Тодоска так и зашипела и швырнула Левку на колени вышитое полотенце. Виталий Стратонович только добродушно подмигнул.

— Не всегда же в походе будет рушник, надо ко всему привыкать. Правда, казаки?

— Ваша правда,— почтительно ответили близнецы; а Левко снова смерил господскую куклу недобрым взглядом: «Ишь какой нрав наела, а всего-то и делов, что с барином спишь...»

Резко скрипнула дверь, и в комнату вбежал четырнадцатилетний Меркурий, младший отпрыск семьи, с немалыми трудами постигающий науку в духовном училище. В его матрикуле рябит от низких баллов за поведение,— бурсак увлекается не столько учением, сколько побоищами с одноклассниками и в особенности с «пуздырями», как звали бурсаки на западном Подолье мужицких детей. Мальчик удивленно посмотрел своими, тоже косо расставленными глазами

на близнецов, сбросил серую бурсацкую куртку и подошел к столу, лукаво присматриваясь к бутылке.

— Чего тебе, Меркурий? — спросил Виталий Стратонович.

— К нашим воротам лесники подъехали, с лошадей не слезают, ждут тебя.

У братьев руки приросли к столу, а взгляды настороженно сошлись на лице барина.

— А чего им надо? — небрежно спросил Варава.

— Ничего не сказали, барина требуют — да и все.

— Выскочи, передай им, что я еще сплю. Пусть приезжают после обеда.

Меркурий с ужимкой протянул руку к рюмке брата. Тот налил ему водки.

— За твое здоровье, мудрый брат! — Мальчишка резко запрокинул голову, выпил и, плеснув остатки в потолок, со смехом выбежал из комнаты.

— Ого, здоров пить! — вырвалось у Левка.

— Бурсак,— усмехнулся Варава.

— И неужто из него выйдет поп?

— Выравняется под крылышком церкви! — расхохотался Варава.— Было выгнали его из школы, так он подал начальству трактат под латинским названием: «Война бурсы с крестьянами». И так написал, что архимандрит отменил свое решение. Варит котелок у парня.

Через несколько минут Меркурий снова вбежал в комнату, на его бледных щеках водка уже расшевелила румянец.

— Лесники уехали,— сообщил он и скорчил печальную мину, заметив, что бутылка пуста.

— Слава богу! — вздохнул Данило.

— Ну что ж, казаки, поглядите, как там кони, да собирайтесь помаленьку,— объявил, подымаясь, Виталий Стратонович.— А ко мне, ежели не поленитесь, приезжайте завтра или послезавтра: неводок под лед затянем, рыбки наловим. Приедете?

— Приедем, барин. Спасибо вам,— ответил за всех Левко.

Близнецы поблагодарили за честь и ласку, с чувством перекрестились на казака Мамая и вышли. У крыльца их едва не задела Тодоска с бутылью. Левко отвернулся от нее и буркнул под нос:

— Потаскуха, дрянь.

Тодоска не разобрала, что сказал парень, но краска злости вспыхнула на ее холеных щеках уже оттого, что близнецы обошли ее, как кучу сора.

Лесько Пивторак принес в конюшню завернутых в рогожку, уже скрюченных на морозе вьюнов и подал Левку.

— Вот вам подарок от барина.

— Да на что они нам? — стали было отнекиваться братья.

— Студня наварите.

— Спасибо барину и вам.— На сердце у Левка стало еще спокойнее.

Когда отдохнувшие лошади вынеслись из хутора, братья почтительно огляпулись на барский дом, и Данило, крякнув, сказал:

— Вот это барин!

Левко был того же мнения, но промолчал.

— Вот это истинно барин! — повторил Данило.

— И вьюны ест, как простой,— добавил Григорий.— А знает он, как из них толокно делать?

— Нужно оно ему, как собаке пятая нога,— хмыкнул Левко, не зная, что и думать о барине: благодарность и сомнение все еще не уравновесились у него в голове.

VII

От Прудища лесники спешат кратчайшим путем в село, прямо к управителю. Темная от пота шерсть усталых лошадей накипает крохотным бисером.

— Верно, попадет нам от Салогана,— говорит сам себе Матвий Боцюн, прислушиваясь к разболтанно хлюпающей селезенке жеребца.

Лицо лесника, похожее на крашенное луковой шелухой пасхальное яйцо, густо усеяно зеленовато-золотистым семенем веснушек. Они, подлые, весной выскакивают даже на веках. Впрочем, эти мелкие недосмотры природы не мешают Матвию считать себя чуть ли не первым красавцем на селе и присматриваться больше, чем надо, к чужим женам. Когда же ему при случае напоминают об этом, он, печально вздыхая, ответствует:

— Беда. Сам бог не знает, что бес в каждую чужую жену по ложке меда вложил. А мед — большое дело!

Со своей женой Матвий Боцюн живет на веру, твердо решив, что так будет сподручнее: невенчанная баба побоится спутаться с другим. А что сам заглядывается на замужних, это не грех, потому что мужчина есть мужчина, ему и по закону положено интереснее бабы жить.

Старый батюшка не раз по-всякому усовещал Матвия и на улице и возле церкви, а потом как-то позвал к себе в горницу, запер дверь на ключ, махнул старческой рукой на образ всевышнего:

— Видишь, греховодник, перед кем стоишь?

От священника веяло запахом воска, ладана, церкви и вина, которым причащаются миряне.

— Вижу, батюшка.— Греховодник для чего-то расстегнул свою долгополую кирею, и дух лесной земли, дыма и свежего сена, расходясь от его крепкого тела, забил церковные благовония.

— Когда ж ты станешь по закону под венец со своей Явдохой?

Матвий высоко, как золотую оправу, поднял поблескивающие ресницы, с укором глянул на попа.

— Снова вы, батюшка, насчет Явдохи, будто лучше нее и на свете нет. Да разве я теперь могу думать про венчание: чай, у меня уже трое боцюнят.

— Ну и что с того?

— Да ведь этак на меня станут в церкви тыкать пальцем не только люди, а и сами святые с образов.

— Господи! Да чтобы тебе втолковать слово предвечной истины, нужна не только святая голова, но и святые руки и ноги.— Батюшка совал под нос Матвию немощные, покорябанные кулаки, а тот искоса поглядывал, как вокруг розовой лысины священника шевелились серые, будто пушок одуванчика, волосики, и молчал.— Да на тебя не святые в церкви, а рогатые на том свете будут тыкать вилами!

— То уж их дело,— пробормотал Матвий. Он не слишком-то верил во всякую чертовщину: ежели чертей в самой Синяве нету, так откуда ж им взяться на том свете?

— Ты, Матвий, я вижу, и в бога не веруешь? — попытался поп ошеломить грешника, чтобы хоть таким способом наставить его на истинный путь.

Но Матвий, покачав головой, успокоил:

— В бога, батюшка, надо верить... Хорошо, ежели его нет, а что, как есть он?

Поп, оторопев от такой ереси, со всхлипом набрал в старческие легкие воздуха и вскинул на лесника глаза. Но тому, очевидно, и невдомек было, какие он страшные слова произнес. Это немного смягчило страх и гнев священника, и он уже спокойно наложил на грешника епитимью — не пропустить за весь год ни одной церковной службы.

Но на это Матвий только пожал плечами.

— Беда. Я же из господского чернолесья месяцами не вылажу, мечусь в Синяве, как Марко в аду,— как же мне отбыть такое покаяние? Прежде возле родника стояла часовенка, а теперь никакого лешего там нету. Снимите с меня, батюшка, свою кару, а я вам на перемену зайчика там либо веприка приволоку.

— Сам ты вепрь и медведь вместе,— поп беспомощно опустил руки.— Во всем, что я говорил, ты разобрался, как волк в звездах небесных.

— А то и волка подстрелю,— оживился Матвий, услыхав наконец хоть одно родное слово.— Под ноги себе перед постелью шкуру кинете.

Но ни веприк, ни волк не соблазнили батюшку. Он с треском распахнул трухлявую дверь и, осыпавшись трухой, прогнал Матвия. Смиренный лесник не больно разгневался на такую бесцеремонность и уже на другой день принес на поповский двор связку подстреленных куропаток. В их жалобно поджатых клювиках застыли брусничками капельки крови.

Батюшка горестно заморгал редкими ресницами, указал рукой на плетень и снова принялся вовсю честить лесника. Тот, как подобает, выслушал все и терпеливо, словно ребенку, стал объяснять, как тушить куропатку в сметане: батюшка, мол, человек деликатный, и не пристало ему печь птицу в земле, как это делает он, Матвий, в дубраве.

С тех пор чуть ли не каждый, по его мнению, сто́ящий праздник лесник приносил попу какой-нибудь лесной подарок, сосредоточенно выслушивал неласковые слова о себе, поправлял за спиной берданку и снова отправлялся в лес или заглядывал на часок к веснушчатым боцюнятам; те с визгом цеплялись за ружье, вскарабкивались отцу на ровные, широкие плечи и так гарцевали на них, что даже терпеливая Явдоха хваталась за веник, и тут уже хата трещала от смеха, визга и топота.

Когда батюшка, отслужив свои службы, поехал доживать век к детям, Матвий искренне печалился:

— Славный был поп, знал свое дело.

Мужики, позабывшие, когда лесник заглядывал в церковь, немало подивились:

— Говоришь, знал поп свое дело? Стало быть, хорошо в храме служил?

— Насчет службы сказать не могу, а вот бранил меня, ей-богу, славно. Все направлял на путь истинный и, главное, не таил зла. Человек должен быть человеком!

Над Матвием соседи часто подсмеивались, но эти его слова пошли по селу, укоренились...

— Ой, попадет нам от Салогана! — задумчиво повторяет Матвий, незаметно наблюдая за Пигловским: может, передумает тот ехать к управителю?

— Попадет или не попадет, а сказать надо,— наконец раскрывает рот длинноногий Октав. Когда его конь увязает в снегу, лесник боронит поле передами сапог.— Должны сказать.

— Не велика радость,— роняет Матвий, поправляя берданку.

— Сам знаю, что не велика,— верхняя, нависающая козырьком губа лесника подрагивает.— А что лесокрады сбежали из-под самого носа — радость?

— Сбежали — не поймаешь,— рассудительно говорит Матвий.— А принимать на себя всю злость управителя за какой-то один клен тоже ни к чему.

— Знать бы, что ему никто ничего не скажет...

— А то что?

— А то встанет управитель не с той ноги — и зубы пересчитает, и службы лишит.

— Велико дело — одно дерево на всю Синяву!

— Для тебя, может, и не велико, а наш пан иначе думает.

— Обеднеет на одном клене?

— Дело не в дереве, а в порядке! Эх, утек наш магарыч из-под самого носа! Варава, только Варава укрыл жуликов! — Маленькие глазки Пигловского загораются злобой.

— Варава?! — изумляется Матвий, и на его щеках смешно перемешивается россыпь веснушек.— Где ж это видано, чтоб барин покрывал мужика?

— Да разве это барин? — Октав неуважительно трогает рукой козырек верхней губы, и все его сухое лицо, похожее на опрокинутую восьмерку, презрительно кривится.

Природа долгонько повозилась, создавая Пигловского. Даже рождался он дважды. В законные девять месяцев у

матери начались схватки, помучилась-помучилась женщина, но не сразу осчастливила нетерпеливого мужа новорожденным. Плод пролежал в материнской утробе лишние две недели и появился на свет до чрезвычайности синим, с помятыми руками и ногами. От этого или от чего другого, но физиономия Пигловского так и осталась синей на всю жизнь, и только со временем расцвел на ней от пьянства большой красный нос с оттянутыми ноздрями. Разрез глаз Октава напоминает листок с изогнутым концом, и в этих прорезях необыкновенно шустро бегают маленькие зеленые глазки, у которых, кажется, не очень много выражений — почтения к самому себе да льстивой угодливости либо злобного презрения к другим.

— Это почему же Варава не барин? — удивляется Матвий.

— Этот помещик из переваренной сыворотки недалеко ушел от безземельного мужика.

— Хорош безземельный! Одной пашни семьдесят десятин. А сенокос? А сад? А пруды?! Да и земелька у него черна, как галка. Не то что мой черствый клочок, где только хвощ да сосенки.

— Твои боцюнята растут и на хвоще! — смеется Пигловский.

— У меня растут,— спокойно соглашается Матвий,— а у тебя и под зябь не пахано.

От этих слов злые глаза Пигловского сужаются.

— Детей всякий дурак может наплодить.

— Выходит, иным умникам дураку поклониться в пору,— сочувственно говорит Матвий.

По лицу Пигловского снизу вверх побежал яростный румянец, но, понимая, что гневом ему Боцюна не одолеть, он замолкает, вытягивает ноги, и снег тихо шипит под его старыми, из конской кожи сапогами. Что поделаешь, у Пигловского и до сих пор, будь ты неладно, ни одного огольца. И кто только виноват в этом? Известное дело — жена! Парнем он пересватал в селе всех полек — и девок и вдов. Но никто не позарился на красоту и характер Октава. Вот и довелось жениться на вдовушке из чужого села, которая, как болтали, не гнушалась ни кавалерами, ни их дарами...

Лесники молча доезжают до наглухо огороженного дощатым забором дома Салогана и, не слезая с лошадей, останавливаются перед высокими, с козырьком воротами. С козырька свисают частые сосульки,— кажется, и они

защищают усадьбу Салогана от посторонних глаз. Во дворе управитель как раз седлает жеребца и беззлобно переругивается со своей не в меру ревнивой женою. Пани Федора забегает то с одной, то с другой стороны, чтобы плеснуть злость в самые глаза мужу.

Пигловский собирается подать знак, что перебранку слышат посторонние люди, но Боцюн бережно трогает его за плечо.

— Дай людям вдоволь пошуметь, а то скажут: «Перебили».

Худая пани Федора, изгибаясь, словно дерево под ветром, находит не заслоненную конем часть мужнего лица.

— Седлаешь, седлали бы тебя самого днем и ночью! Опять потянуло к какой-нибудь юбке, чтоб тебя уже на тот свет потянуло!..

— Тебе и широкие штаны юбкой кажутся,— смеется нижняя, более массивная часть лица управителя. Он уверен, что Федора ничего не знает о его последних похождениях, и потому спокойно дразнит ее.

— Знаю, отлично знаю, кто у тебя в экономии хвостом вертит! — наобум бросает жена.

— Прижала горбатого к стене! — с облегчением говорит Салоган; жена, видно, и в самом деле ничего не знает, только стращает наперед, чтоб часом не нагрешил. Тоже бабья хитрость.

— Посмейся, посмейся у меня! Засмеешься, как выцарапаю твои бесстыжие глаза!

— А ну, помолчи! Разошлась! — вдруг сказал управитель таким голосом, что жена сразу притихла, оглянулась и за решеткой из сосулек увидала над воротами головы лесников.

— Доброе утро! — Оба сняли шапки.

Пани Федора выпрямляется, сердито шевелит пальцами и локтями худых рук.

— С чем пожаловали, ребята? — Управитель, не здороваясь, быстро подходит к воротам.

— Покража, пане.— Октав натягивает шапку на свалявшиеся вихры белесых волос.— Клен спилили возле грабовой рощи.

— Лесокрадов поймали?

— Лошадей загнали, а не изловили.

— Проспали, матери вашей черт! — Лицо управителя сразу становится неприступным.

— Как же, проспали! Да у них змеи, а не кони!

Салоган подымает голову, и на его свежевыбритом лице черным пятном выделяется глубокая вмятина в подбородке, откуда не выбраны лохматые волоски.

— Догадываетесь, кто крал?

— Верно, Щербины,— отвечает Пигловский.

— Опять Щербины?

— Да кто его знает,— впервые вставляет слово Боцюп.

— А я думаю — точно они! — упрямо мотнул головой Октав.— И пропали за Прудищем, словно сквозь землю провалились. Так выкрутиться сумеет один только рыжий бес.

— Тогда поехали к барину.

Управитель спешит к жеребцу, вставляет ногу в стремя и некрасиво, по-бабьи, валится в седло. Матвий даже скривился, чуть не сплюнул — так противно было смотреть на это.

Пани Федора молча растворяет ворота, со вздохом дает мужу дорогу.

— Когда ж тебя домой ждать?

— Когда соскучишься.— Салоган наклоняет к жене с коня темное лицо, игриво смеясь прямо ей в глаза.

И в ней борются два желания: прижать к своей груди эту тяжелую голову или стукнуть меж глаз кулаком? Матвий, незаметно присматриваясь к Салоганам, выпячивает губы: все бабы одним миром мазаны.

Управитель с лесниками подъезжает к высокой железной ограде, за которой белеется каменный, с колоннами дворец Стадницких. Салоган сперва идет один, а потом появляется в дверях веранды и зовет лесников.

Аркадий Валерьянович, сидящий за широким столом, отодвигает от себя счеты, подозрительно смотрит на свою лесную стражу, и под его взглядом Пигловский как-то умудряется стать короче, втянув голову в плечи, сгорбив спину и подогнув ноги. Глядя сейчас в его угодливые глаза, никто бы не поверил, что он за вязанку сушняка может забить человека до полусмерти тяжелыми зуботычинами, затоптать сапогами, вырвать у женщины волосы за кузовок грибов, швырнуть мальчишку в муравейник.

— Так проморгали лесокрадов? Хороша у меня охрана!

Сердитая прозелень господских глаз лишает Пигловского остатков достоинства.

— Лошади, лошади подвели, ясновельможный пане,— Пигловский так сгибается, что достает руками пол.— Служим вам, как самому Езусу, да лошади не такие...

— Может, вам моих рысаков отдать? — спрашивает Стадницкий.— Настоящий лесник пешком догонит вора! Так кто, по-вашему, крал лес? Кто украл клен?

— Не украл, только думал украсть, ясновельможный пане. Не дали, не дали им украсть...— Выпалив это, Пигловский облизывает кончиком языка похолодевшие и пересохшие от испуга губы и снова сгибается в низком поклоне.

Стадницкий нетерпеливо морщится.

— А может, это не Щербины были, а кто-то из лесовиков?

Пигловский на ходу подхватывает намек и сразу же приноравливается к барину:

— Может быть, ясновельможный пане. Мало ли там, среди них, безобразников да разбойников!.. Коровы у них пасутся задаром, свиньи до самого рождества выгуливаются в лесу, за дрова никто не платит! Пустошат и чернолесье и плодовые. У-у, какие там люди! — И он снова синеватым языком облизывает пересохшие губы.

— Лесовики — бельмо на глазу, слышишь? — Стадницкий строго смотрит на управителя.— Когда уж избавимся от них?

— Что даром на людей наговаривать? — Матвий подымает веснушчатые веки и поворачивает голову к Октаву.— Ежели бы кто из лесовиков захотел срубить дерево, украл бы возле своей хаты — на что ехать за две версты?

— Поговори! А может, они хотели продать дерево в Майданы? — Октав, вытянувшись, угрожающе вытаращил глаза на Матвия, потом, сразу, снова укоротившись, повернулся к Стадницкому и придал своему лицу прежнее угодливое выражение.

Барин опирается грудью на белые, словно из кости точенные руки, на высоком лбу одна за другой пролегают ровные перекладинки — морщины. В больших глазницах Пигловского испуганно мечутся маленькие глазки и вдруг застывают в нижнем, тупом полукружье век.

— Плохо стережете мое добро. Разъелись на спокойных харчах, летом под каждым деревом в фильки играете, а зимой спите в сторожке. Придется брать сторожей из чужих краев. Так и быть: раз вы отбили дерево, потерплю еще. Знайте и всем передайте мое слово: кроме меня, может губить мой лес один бог своими громами, а больше никто.

Вспотевший Октав первым выскакивает из кабинета и неуклюже, словно вслепую, идет во двор — по ногам у него от страха побежали мурашки.

— Ну что, надо было торопиться к господам? — спокойно спрашивает его идущий сзади Матвий.

— А что было, по-твоему, делать? — Октав топает ногами, словно хочет стряхнуть проклятых мурашек в снег.

— Что? Не спешить вперед отца в ад.

— Больно ты умен!

— Уж какой ни есть, а на лесовиков не наговаривал бы. Это паскудство! Ты знаешь, как барину хочется их выселить?

— И пускай выселяет, пускай! Хоть нынче! Мне-то что? Меньше хлопот.

— У них дети,— хмурится Матвий.— Хотя что ты понимаешь, раз у тебя своих огольцов нет? Колодой живешь, колодой и сгниешь.

— Поговори у меня, договоришься!

— Может, побежишь ябедничать барину?

— Слушай, Матвий,— взгляд Пигловского становится хищным,— лишился ты пахотной земли?

— Ну, лишился,— Матвий едва переводит дыхание.

— Так лишишься и службы в панском лесу — навеки.— Октав хватает коня за повод.— Послушаем тогда, что запоют твои огольцы в голодной да холодной хате!

— Вон ты куда гнешь? — Бушующий огонь смывает веснушки с лица Матвия.— На детей моих руку подымаешь? Так знай: попрощался ты с совестью, а можешь нежданно попрощаться и с душою. Чего не бывает в барском лесу...

Пигловский яростно запрыгал на одной ноге, не в силах сразу сесть в седло, наконец взгромоздился, подобрав колени, тронул лошадь и уже с улицы бросил Матвию:

— Гайдамак!

— Подзаборный шляхтич!

Матвий даже не поглядел вслед Октаву, сел на коня и, охваченный невеселыми думами, медленно поехал в лес. В глазах у него, заслоняя Пигловского, как живой, стоит клен, от которого потянулась беда к людям. Сколько горя может принести один господский клен! Э, да не сошелся же на нем свет клином, авось обойдется...

На заметенной вырубке Матвий встречается со Щербинами. Близнецы сидят в санях и делают вид, будто не замечают лесника.

— Стой, Левко! — бросает Матвий, не доезжая саней, из которых непривычно торчат лишь три рожна.

Левко останавливает лошадей, настороженно, исподлобья изучает веснушчатое лицо Матвия, насмешливо думает: «Не лицо, а кукушечье яйцо».

— Что вам, дяденька?

— Знаешь, Левко, кто ты?

— Хм... Спросили тоже...— Парень изумленно шевельнул рукой с намотанными вожжами.

— Не знаешь? — допытывается Матвий.— Ну, так я тебе скажу, только запомни как следует: падаль ты!

Левко поднялся в санях; рядом, опираясь на рожны, встали братья.

— Я, дяденька, на вашем месте придержал бы язык в подворотне.

— Заело? — ехидно усмехнулся Матвий.— И все равно ты, парень, падаль!

Левко вспыхнул, смерил лесника ненавидящим взглядом.

— Чего вы разбрызгались нынче? Думаете, вашей берданки боюсь?

— Лучше бы ты своей совести боялся, пока не раструсил ее до зернышка.

— Не будь сегодня святое воскресенье, мы бы вам, дяденька, показали и совесть и падаль. Тогда, может, вот тут, на лугу, воронье и приняло б кого-нибудь за падаль. Чего пристали? — Он разматывает вожжи и в ярости выскакивает из саней.

Матвиев жеребец пятится, а сам лесник наклоняет голову вперед.

— Ты, Левко, не хорохорься и не пугай вороньем. Ежели бы я захотел, ты бы еще до света в лесу валялся.

— Где вы меня в лесу видели? — Левко с вызовом посмотрел на лесника.

— Глуп ты как пень, а не горюешь. Думаешь, ум твой испытываю? Не так его у тебя много. Вы мимо меня неслись уже порожняком. Стой на моем месте Пигловский — давно бы ты дробь с кровью выплевывал.

— Ну так что? Спасибо вам за это сказать? — уже спокойнее спрашивает Левко.

— Нужно мне твое спасибо, как собаке «здравствуй»!

— Чего же вы хотите?

— Чтоб не пачкал ты своих рук!

— Жалко вам барского леса?

— Людей мне жаль: через твою дурную голову барин

может выселить из лесу и Морозенок, и деда Дуная, и Гончара, и всех лесовиков.

— Пробовал уже, да не смог.

— А ты ему пособлять взялся.

— Я?

— Ты и все ваше гнездо. Потому и зову вас падалью!

Близнецы рванули на себя рожны, выхватили их, занесли на Матвия, но он даже арапника не поднял, только приложил руки ко рту, и из-под его ладоней жутко и печально затужил волчий вой.

Буланые от неожиданности с храпом взвились на дыбы, дернулись и понесли к вырубке. Григорий и Данило вылетели из саней, несколько раз перекувырнулись в снегу, вскочили и вместе со старшим побежали догонять лошадей, которые швыряли во все стороны опрокинутые сани.

Домой братья, все в снегу, добирались глухими улочками, чтобы не попадаться на глаза соседям. Всю дорогу Левко обмозговывал сказанное Матвием Боцюном, не зная, ругать его или хвалить. Матвий и в самом деле мог сегодня одного из них изрешетить. Пигловский на его месте за милую душу угостил бы свинцовой начинкой, а этот пожалел. Непонятный он человек: зябнет в лесу, как волчий хвост, сам стал на оборотня похож, а гляди, и в нем теплится людское.

Левко нарочно в мыслях прибедняет, окорачивает душу лесника, а то ведь придется признать, что не зря тот обозвал его падалью. К тому же парень всегда смотрел на безземельных свысока. Ведь что такое господское жалованье? Нынче оно кое-как кормит тебя, а завтра откажет барин — и клади зубы на полку.

И Левко переходит от лесника к самому себе. Получить бы хоть половину надела! А то через год-два придется им кромсать землю на четыре пая. И хочешь не хочешь, а завяжешь себя узлом, пойдешь примаком к какому-нибудь пеньку, у которого есть землица.

Левку вспомнилась Тетяна Сердюк, и на миг стало жаль девушку, на которую безвинно пала дурная слава; жаль и десятинки, что теперь принадлежала бы ему. Да ладно, найдется еще и Тетяна и десятина, а вот найти бы две...

С такими раздумьями и приехал парень к себе. У ворот давно уже поджидала детей встревоженная мать. Увидала, всплеснула озябшими руками, и застонала, и засмеялась:

— Господи! Хоть живы-здоровы?

— Здоровы и живы, мама,— из-за ворот ответил Левко.— А вы галушек наварили?

— Да уж простыли, верно.

— Ничего, голодные поедят и холодное,— улыбнулся Левко, до смерти любивший галушки со старым салом. И весело замурлыкал:

Нам галушек подавай,
Чтоб любая — с каравай...

Братья басами подхватили песню, а счастливая мать глядела на своих богатырей и покачивала головой.

— Деточки галушек захотели... Маленькие мои...

И близнецам стало совсем весело на своем дворе, возле матери, переполненной любовью к сыновьям.

Но не успела семья сесть вокруг большой миски, как в хату горделиво вошел господский лакей Никанор. На его тупоскулом, круглом, как арбуз, лице, словно на заплывшей воском странице книги, написано самодовольство и пренебрежение к этим коноводам Щербинам. Он втягивает воздух куцым носом с широкими крылышками ноздрей, наклоняется к печи, и с его лица сцеживается брезгливость.

— Побей меня крест, пахнет вьюнами!

— Вьюнами, Никанор. Может, подождешь малость да поешь горяченьких? — засуетилась мать, догадываясь, что не с доброй вестью заглянул к ним лакей.

— Только мне и дела на господской службе, что вьюнами наслаждаться! — с достоинством отвечает Никанор.— А ну, парни, собирайтесь-ка к барину, живо! — приказывает он, окидывая взглядом близнецов.

— На что их, Никанор, к барину? — встревожилась мать.

— А там скажут. Может, барин их на кофей зовет,— и он расхохотался.

— Может, скажешь, Никанор, что дома не застал...— еще больше встревожилась женщина.

— Глупые ваши речи! — ощерился лакей.— Где это видано, чтобы я самому барину за его хлеб врал? А ну, мигом одевайтесь! Или боитесь? — покосился он на парней.

Близнецы посмотрели на отца. Тот кивнул.

— Ступайте, молодцы, раз барин кличет.— И зорко-зорко поглядел на Левка: сумей, мол, парень, выкрутиться, на тебя вся надежда.

Левко кивнул отцу и первый неторопливо подошел к жерди за свиткой, обдумывая, как говорить со Стадницким...

...Стеной стали братья у порога барского кабинета. Аркадий Валерьянович, выдержав паузу, обдал парней холодом:

— До каких же пор будете промышлять воровством? По тюрьме скучаете?

Левко пожал плечами, удивился, обиделся. Удивились, обиделись и братья.

— О каком, ваша милость, воровстве говорите?

— Не прикидывайся, Левко, овечкой. Кто крадет мой лес?

Левко потупился.

— Был грех, ваша милость, в прошлом году, попутал нечистый. А после того ни хворостинки даром не взяли из вашего леса: спросите у Шкапонда, сколько мы купили у него сучьев и дров.

— Не ври, Левко!

— Не вру, барин! — Левко глазами праведника смотрит на Стадницкого.— Покаялся и зарекся еще в прошлом году. Да вели мне теперь сам губернатор или царь-император из своего хрустального дворца красть ваш лес — все одно не поеду.

Ответ был столь наглый и неожиданный, что Аркадий Валерьянович улыбнулся, улыбнулись и Данило с Григорием. А Левко — хоть бы что, стоит себе, и на лице и в глазах у него написана одна правда.

— Ну, Левко, видал я вралей на своем веку, сам в молодости мог прилгнуть порою, а такого, как ты, не доводилось встречать,— уже не так холодно проговорил барин.

— Я не вру, ваша милость, побей меня гром на дороге!

— И побьет! А где ж ты был нынче ночью? Откуда вы утром возвращались домой?

Григорий и Данило похолодели, беспомощно оглянулись и встретили насмешливый взгляд Никанора.

— Ну, говори, Левко,— торжествующе допытывается Стадницкий.

— И скажу, барин, мне скрывать нечего. Мы еще до рассвета поехали к Вараве на пруды — вьюнов ловить. А прутянки с вечера поставили.

— И улов сможешь показать? — попытался снова подсечь Левка барин.

Но тот не смутился.

— Смогу, коли прикажете. Да и ваш Никанор видел, как мать жарила вьюнов. Она и его угощала, да ему недосуг.

— Верно это, Никанор?

— Верно. Видел вьюнов и в печи, и под шестком, в рогожке,—с сожалением проговорил лакей, досадуя, что Левко все-таки выкрутился, выскользнул вьюном, спасся от господской кары.

— Что же, может, сегодня и не вы крали мой лес,— строго сказал барин.— Но берегитесь, ребята! Знаю, вы все не чисты на руку. Поймаю — последнюю рубаху отыму, не то что лошадей.

— Да разве мы не знаем? — покачивает головой Левко.— Оттого и бережемся. Да и не заработать на лесе той живой копейки, что нам скотина дает.

— А не прогадываете на скотине?

— Бывает, только редко. Отец, дай бог ему здоровья, по одному духу узнает, правда в коне или обман. Мошенники, те, что подкрашивают скотину или заливают под глаза парафин, как огня боятся нашего отца.

— Как же они, Левко, парафин заливают? — заинтересовался барин.

Левко даже вперед подался, поясняя и голосом и неторопливыми движениями рук:

— Очень просто, ваша милость. У старых лошадей под глазами западают ямки. Так хитрые цыгане и разные там барышники проколют шкуру и заливают порожние места парафином либо воском. А то, бывает, через соломинку надуют и замажут дырочку,— деловито рассказывает парень, а братья в душе не нарадуются на своего старшенького.

— Ну ладно,— хмурится барин,— ступайте домой, да глядите у меня! — и он погрозил пальцем.

Близнецы кланяются грозящей руке и разом выскакивают из господских покоев.

Только за железной оградой братья весело рассмеялись, а Левко глубокомысленно проговорил:

— Как ни учены господа, а все-таки можно обвести их вокруг пальца!

VIII

В каменном доме Плачинды первой просыпается батрачка Уляпа Омельченко. Еще только выходя из сна, как из теплой волны, она сразу же пугается и холодеет: не проспала

ли света божьего? Стремглав срывается с узенького топчана и проворно бежит к оконцу. Душистая растрепанная голова девушки припадает к намерзшему стеклу, и взгляд, миновав двор, задерживается на двух поднебесных тополях, меж которых по вечерам покачивается месяц.

Теперь за тополями глубоким паводком синеет небо, оно уже отряхнулось от звезд, очистилось от ночных красок и нежным лиловым отсветом размывает подсиненные снега. Облегченно вздохнув, Уляна босиком бежит через холодные сени в каморку и стучит косточками пальцев в кованую дверь, пахнущую ржавчиной и трухою.

— Давыд, слышь, Давыд, вставай! Утро же! — гудит ее глубокое контральто, и вокруг до самого чердака колышется холодный воздух.

Из каморки доносится смачный вздох, старческий скрип кровати, а потом снова ровное дыхание: Давыд почти всегда просыпается сразу, но, поднявшись с постели, снова валится и погружается в полузабытье.

— Давыд, вставай! Сам Плачинда кличет и страх как сердится на тебя! — лукавит Уляна.

В тот же миг парня словно ветром сдувает с кровати, а девушка заливается смехом, даже ногами притопывает.

— Снова, девка, обманула? — возмущается могучий голос в каморке.

— Да разве с тобой можно иначе? — хохочет Уляна, отплясывая у двери.

— И чего тебя так рано водит да носит? Еще черти на кулачках не бились! Вот еще... и-и-х... понежусь малость!— сладко зевает парень.

— Соня несчастный! Челюсти свихнешь! Чем тогда хлеб жевать станешь? — издевается Уляна.

Но Давыд нисколько не обижается и, уже шурша одежей, весело спрашивает:

— Слышь, Уляна?

— Чего тебе?

— Ты меня любишь?

— А как же!

— И очень?

— Как свою душу!

— А замуж пойдешь?

— За кого-нибудь пойду.

— А за меня?

— Погожу! — И с этими словами Уляна бросается прочь, так как дверь каморки отворяется и на порог выскакивает здоровенный Давыд, которому ничего не стоит одной рукой поднять девушку выше головы.

Запоздав, он ловит не девушку, а дверь. Но теперь его и это радует; он улыбается своим мыслям и идет обуваться в аршинные сапожищи, которые за ночь успели задрать неказистые, обшитые союзками носки.

Сапожки-сапожонки мои,
Поднатерли вы ножонки мои...

Давыд, топая, с сожалением и насмешкой смотрит на свою сношенную обувь, а потом так бьет каблуками об пол, что содрогается вся каморка. Из хозяйской светлицы кто-то ударяет в стену: тише, мол, идол! Парень оборачивается на стук и грозится неведомо кому кулаком:

— Чтоб ты сгорел!

Плачинда недолюбливает Давыда, однако терпит его: парень работает за двоих и знает толк во всяком деле, только в душе и на языке у него гнездятся упрямые, насмешливые бесы. Хозяин может беспокоиться, мучиться, а батрак будет тем временем равнодушно насвистывать песенку и улыбаться.

Вот, к примеру, этим летом, в косовицу, они застряли в колдобине — и, ясное дело, по вине Давыда. Взяли бы правее, на поле Щербины,— и обогнули бы с богом ухаб. Но на поле как раз кипела бело-розовой пеной гречиха, а на ней переливались капельки сладкой росы. И Давыд посовестился топтать цвет, хотя вокруг никого не было. Ну, и засели по самый полок в черной, как деготь, грязюке.

Так Давыду что — скинул штаны, перевесил через плечо и, задрав рубаху, с хохотом перебрел через промоину. Плачинда еще раз выругал батрака, гикнул, хлестнул кнутом лошадей, но увязшие в жиже колеса только пискнули жалобно и не тронулись с места.

— Переходите, как я! — посоветовал Давыд, обмывая в канаве «сапоги».

Плачинда злобно зашипел и, держась за коня, осторожно двинулся к концу дышла — оттуда можно было спрыгнуть на самый край лужи, где подсыхали выдавленные скотиной следы. Однако подлое дышло не выдержало, треснуло, и Плачинда по самый пояс ухнул в прокваканное лягушками болото. А Давыду что! Другой бы кинулся выручать хозяи-

на, а этот так и повалился наземь, захлебываясь от смеха. Его густой хохот сразу вырвал разъяренного Терентия из лягушечьего царства. Весь в потеках жирной грязи, он налетел на парня с кнутом, но тот уже вскочил на ноги, выбежал в поле и там качался от смеха, даром что и штаны, бессовестный, не успел натянуть.

— Что с дурака возьмешь! — после вспоминал, кривясь, Плачинда.

А Давыд всегда охотно рассказывал этот случай, еще и привирал, что в широкие голенища Терентия вместе с болотной тиной вскочили две лягушки и давай с перепугу квакать, будто к дождю. Даже хозяйские слова «что с дурака возьмешь» пояснял таким же, как он, голодранцам по-своему:

— Для Плачинды все, кто беднее его,— дураки, он и дыхнуть не может, чтоб не содрать с кого-нибудь. Вот какой у меня славный хозяин, жаль — бог смерти не дает,— потешал он себя и товарищей, выворачивая напоказ душу и совесть Плачинды.

Потому и жилось Давыду хоть тяжко, да весело. Вот и сейчас, насвистывая песенку «Что ж ты не пришел, когда говорила...», он просовывает голову к Уляне, которая как раз возится у печи, подмигивает ей одной бровью и упирается шапкой в притолоку. Отсвет пламени ложится на крепкую, с упругими мышцами фигуру парня, натекает в русые волосы, и они золотистой метелкой свисают на высокий лоб.

— Гляди, притолоку головой высадишь,— бросает ему Уляна.

Парень тряхнул вихрами, и волосы замерцали живыми искрами.

— А тебе жаль моей головы?

— Нет, хозяйской притолоки.— Уляна размашисто засовывает в пламя пудовый чугун с картошкой для свиней.

— Чтоб оно сгорело! — ворчит Давыд, приглядываясь к желтым сапожкам Уляны.— Ты в этой обувке, знаешь, на кого похожа?

— На кого? — Девушка озабоченно подбегает к лавке, где на кленовой доске лежит мясо, хозяевам на завтрак.

— На аиста.

— А ты — на медведя,— Уляна уже орудует секачом, и ее молодые груди стрепетами бьются в тесноте грубой, из десятки[1], сорочки.

---

[1] Десятка — грубый холст, десять нитей в основе.

— Эх, ты! — укоризненно вырывается у парня. Он не знает, что и говорить: насмешка, шутка всегда наготове, а вот сказать словечко понежнее Давыд не умеет еще, но чувствует, что его непременно надо найти для Уляны, а то испортится девушка, того и гляди. Еще недавно была тихонькая, как вешняя травка, стеснялась даже своего низкого голоса. А теперь от него же, от Давыда, выучилась насмехаться. Станет еще, чего доброго, сварливой, а ему не такая нужна.

Мысленно он уже с Филипповок чуть не каждый день сватает ее, но как сказать об этом самой Уляне? Попробовал раз, будто в шутку, положить ей руки на плечи, но так схлопотал по пальцам, что до сих пор при воспоминании руку щемит. Вот тебе и тихая травка!

Девушку смущает долгий взгляд парня, она невольно краснеет, жмется.

— Давыд, может, заглянешь к скотине? — обращает она к нему карие, налитые до краев огнем глаза.

— У тебя, Уляна, глаза сейчас как звезды,— вдруг вырывается у парня нужное слово.

Она внимательно смотрит на Давыда: уж не насмехается ли он? — а потом еще больше краснеет.

— Ступай уж,— отмахивается она, наклоняясь над лавкой, а сама стыдливо улыбается.

— Ну и пойду, раз уж так надоел.— Давыд с деланной обидой топчется у порога, берется за щеколду, снова застревает в дверях, и ему видно, как румянец с лица девушки переходит на шею.

— Что ж ты не идешь? — Уляна выпрямляется и движением плеча поправляет косу.

— На тебя хочу наглядеться.

— Уж прямо на меня? — Уляне слышится непривычное тепло в словах парня, но она все еще боится, что за ними кроется насмешка.

— На тебя одну,— тише говорит он.

— Было бы на кого...— Уляна не знает, что отвечать, и вздыхает.

— Уляна, а ты выйдешь сегодня? — чуть не шепотом спрашивает Давыд, и глаза у него становятся совсем иными.— Выйдешь?

— Куда? — испуганно произносят полные, сразу присмиревшие губы.

— Куда? Вон к тем тополям,— кивает он на окно.

Уляна поворачивает голову к окну, видит тополя, меж которыми по вечерам всходит месяц, и в ее сердце встречаются радость и страх.

— Уляна, выйдешь? — парень тоже краснеет.

Но тут раздается шорох в светлице Терентия.

Давыд настораживается, выскакивает в сени, застывает на крыльце, затем идет во двор, унося в душе половодье чувств. Так ли он разговаривал с Уляной? Похоже, слова были глупее мыслей?

Глаза его отыскивают два черных тополя, за которыми легким туманцем струится рассвет. Давыд любит эти деревья, возле них постоянно тревожится и вздыхает вода в маленькой речке. Проходя левадой, парень часто наведывается к тополям, обросшим сверху донизу венками гибких веток, и не раз вспоминает, как здесь, в крохотном живом омуте, между корней, поймал свою первую золотую рыбку. Она уместилась на его детской ладони, переливаясь яркой, словно из солнца отлитой, чешуей. Рыба задыхалась на руке и радужным глазом заглядывала в самую душу мальчика.

Он ждал, что она вот-вот заговорит с ним человеческим голосом, откроет ему мир сказки. Но золотая рыбка разевала окостенелый рот и ничего не говорила. Тогда он опустил руку в воду. Рыбка, почуяв волю, встрепенулась, замерла, подняв красные плавники к самой поверхности воды, и скрылась в глубине. Только маленький, словно гнездышко, омуток всколыхнулся над нею. И хотя золотая рыбка так и не заговорила, но, верно, были у нее чары: с тех пор у Давыда ловилось во всякой воде...

Росли деревья, рос и мальчик, с любовью приглядываясь к ним, и что-то милое и таинственное было в их пронизанной небесной синью красе. Как-то в косовицу он увидал с самого уголка левады, как на тополя мостом легла радуга, а за ними зазеленело свежее, умытое дождем село. Оно звало парня в свою необычно влекущую глубь. Никогда так не нравились ему обыкновенные предвечерние хаты, зелень перед ними и дымчатая, с серебром голубизна вверху. Он положил косу на плечо и, сбивая с трав синие капли дождя, зашагал по луговой тропинке к тополям. Недалеко от них, на мостках, стояли в обнимку две девушки и, позабыв про все на свете, выводили старую печальную песню:

Ой, на море волны,
При долине росы.
Стороною дождик идет...

И эта песня, и два тополя, и радуга над селом, и золотой туман солнечных лучей на закате, и дождик, который и в самом деле шел стороною, перевернули душу парня. Все, что было вокруг, стало частицей его души, хотя и не знал бедный батрак, что он теперь не просто шел лугами, а уже зачерпнул юным сердцем красы своей земли. Не из мудреных, недоступных ему книг передалась она парню, а от простых двух тополей, меж корней которых он поймал свою первую золотую рыбку...

Выйдет ли Уляна к тополям? Верно, подумала, что он шутит, как по утрам, когда она будит его. Но отчего же она вся вспыхнула? Надо бы ей напомнить. А вдруг подымет на смех? Выучил на свою голову: девки-то, что скворцы, все перенимают... А почему бы ей не выйти? Что у нее, от богатства сундуки ломятся? Или он хуже всех? Он смотрит на свои большие, все в черных трещинах ладони и задумчиво улыбается.

К нему спешит белокрылый гусак Разбойник, который зимой почти всегда торчит у ворот, нахально вымогая дань с гостей Плачинды. Разбойник высоко, с достоинством подымает мраморную шею, просит у Давыда чего-нибудь поесть.

— Опять ухитрился вылезти во двор? — спрашивает Давыд, глядя в круглые, с веселой хитринкой глаза птицы.

— Ге-ге-ге! — Разбойник изгибает белые крылья и тупым красным клювом хватает Давыда за кожаную застежку свитки.

Парень, смеясь, отгоняет птицу, бросает взгляд на кровлю дома, на миг замирает, а потом приседает от смеха почти вровень с гусаком: вся крыша сверкает аккуратно выложенными рамами. Немало же потрудились люди, наводя такую красоту!

— Ха-ха-ха! — хохочет парень.

— Ге-ге-ге! — отзывается всполошенный гусак и тоже поворачивает голову к дому.

На порог выскакивает с ведрами и коромыслом Уляна; чтобы скрыть стыдливую радость, она игриво приплясывает — пятки врозь, коленки вместе; так, пританцовывая, и бежит к колодцу.

— Уляна, глянь! — Давыд останавливает девушку и показывает пальцем на крышу.

— Ой, что ж это? — испуганно вскрикивает она, но, посмотрев на Давыда, и сама смеется.— Господский парник, что ли?

— Нет, царские врата!

— Только образов нету.

— Можно вынести один для интересу! Как думаешь?

Стоят на утоптанной снеговой тропке и хохочут.

— Кто ж это сделал? — спрашивает девушка, обращая к парню смеющееся лицо.

— Да уж есть такие молодцы!

— Уж не Роман ли Волошин?

— Может, и Роман,— соглашается Давыд. Он уже касается могучим плечом плеча девушки, выбежавшей во двор в одной легонькой блузке.

— Ой, а как увидит хозяин? — сразу же пугается Уляна и во весь дух бежит к колодцу.

Парень косится на окна и неохотно, с еле заметной улыбкой, идет в хлев.

— Давыд,— тихо окликает Уляна,— может, сказать Плачинде?

— Чтоб он сгорел! Пусть люди увидят,— отвечает парень, а в ушах у него звучит низкий голос Уляны. Когда девушка говорит, кажется, что у нее все тело гудит, как колокол.

— А не попадет нам?

— Пхи! Впервой, что ли?

— Все равно страшно! — Уляна зябко поводит округлыми плечами.

— Скажем: «Ничего не заметили». Готовь завтрак — и ладно.

— Ой, Давыд, Давыд! — покачивает головой девушка, потом, изогнувшись, подхватывает коромысло на плечо и спешит в дом. Голубой рассвет выразительно очерчивает ее ладную фигуру, волнующиеся линии высокой груди; шелохнется грудь — и вода шелохнется в ведрах, всхлипнет, как младенец.

Уляна изумленно прислушивается к детскому лепету воды. Это, быть может, неясное предчувствие материнства просыпается в ней. Но еще один взгляд на крышу — и тревога разрушает сладкий туман смятенной молодости. Уляна вбегает в дом, ставит ведра на кружки и снова бросается к печи. Отблески огня падают на ее сосредоточенное лицо и плечи.

Когда уже совсем рассвело, Плачинда из окна светлицы увидал перед домом веселую толпу.

«С чего бы им в этакую рань тут торчать?.. «Да святится имя твое!» — молится он на курчавое золото икон.— Напиться вроде бы рано, тем паче в понедельник... «да приидет царствие твое...»

Вот к воротам подъехал Евген Колосюк, возчик из экономии, привстал в санях и, показывая кнутовищем вверх, расхохотался. А теперь, тоже смеясь, подходит вековечный батрак Мирон Велычко и тоже задирает голову.

— Уляна, чего там люди собрались? — обрывая молитву, спрашивает Терентий.— Может, им что надо?

— А я знаю! — пожимает круглыми плечами батрачка и выхватывает рогачом пригоревшую сверху картошку, на которой шипит узорчатая пена.

— Ко мне сегодня никто еще не заходил? — отвернувшись от образов, спрашивает хозяин.

— Никто.

— Чудеса! — Терентий надевает чумарку и степенно выходит во двор.

Люди смотрят на его исполненное достоинства лицо и хохочут еще громче.

— Терентий Дорохтеевич, доброе утро! Где вы взяли такую моду? — невинным голосом спрашивает приземистый, кудрявый Морозенко, житель помещичьих лесов.

— Какую моду? — И физиономия и клешни усов Плачинды — все выражает удивление. Он медленно ощупывает мужиков недоверчивым взглядом желтых, с капельками презрения глаз. Под этим взглядом раскатистый смех стихает, затаивается, чтобы в следующую минуту прорваться с еще большей силой.— Ты о чем болтаешь, Петро?

Морозенко убирает со лба золотые, как перстеньки, кудри.

— Да вот дивлюсь: на что вы по-городскому свой дом стеклом покрываете?

Плачинда глянул на крышу — и остолбенел. И не смех людей, а шум собственной крови оглушил его. На миг лицо его, казалось, покрыла противная паутина. Он провел растопыренной пятерней по щекам, словно желая содрать с них гнев и стыд.

Суеверный Терентий издавна считал, что одна удача ведет за собой и вторую и третью, но и беда не ходит одна. Позавчера он до болей в печени грызся с переселенцами, вчера его на людях осмеял Роман — и вот снова позор на все село. Словно дегтем дом вымазали.

Он тупо смотрит на крышу, выложенную рамами, и в них снова мерещатся ему тени переселенцев, которые даже с дороги срамят его имя.

Мужики, видя, как Плачинда изменился в лице, пожалели его и стали, молча переглядываясь, расходиться, а из дома вышли Дарина и Яков. Они сразу увидали жестокую насмешку. Дарина всплеснула руками, вскрикнула, остановилась, а высокий Яков, злобно кривя рот, пошел к брату. Серые глаза Якова безжалостно сужены, и он, кажется, швыряет в Терентия не слова, а раскаленные каменья:

— Ну что, братец?.. Могут иногда яйца учить курицу? Не говорил я тебе, что вылезут нам эти рамы боком? Дожил до посмешища — доживешь так и до красного петуха! Богатеть тоже надо с толком, чтобы не честили твою печенку и селезенку в каждой хате. А как я теперь из-за тебя людям в глаза посмотрю?

И эти слова пробуждают от дурного сна онемелую душу Плачинды. Он с ненавистью смотрит на младшего брата, из которого не вышло ни помощника в деле, ни единомышленника. Держись они друг за друга, живи душа в душу — все село поклонилось бы им, признало бы своими господами. Но в жилы брата перешла гнилая кровь книг, и он забыл, как выколупывается та копейка, на которую он хлебал свою науку.

— Спрашиваешь, как людям в лицо посмотришь? — Терентий впивается в щелки глаз Якова желтым, косоватым от злобы взглядом, а лепестки его подрезанных ноздрей краснеют.—Так я тебе посоветую: собери все свои ученые книжки, перевяжи крест-накрест ремешком, смени господские шелковые рубашки на полотняные, попрощайся с довольством и ступай с моих хлебов, из моего дома — в народ, в курные халупы, как те умники, что замутили тебе мозги, да, того и гляди, проводят тебя в Сибирь на поселение. Тогда и плюй на меня, а теперь, покуда у меня нахлебничаешь, помалкивай! Посмеялся надо мной один паскудник, а тебе не дам! Язык вот этой рукой оборву!

Яков не ожидал такой речи и не может сразу хлестнуть брата по лицу резкой отповедью. Пока он подыскивает слова, Терентий, не глядя на него, грузно шагает в конюшню к батраку и уродливым крестом загораживает проем двери. Давыд, нимало не озабоченный хозяйской бедой, насвистывая какую-то дурацкую песенку, убирает от лошадей мешок с кормом.

— Ты, парень, ослеп или бельма на глаза надвинул? Не видал этой мерзости? — Терентий размашисто откидывает руку, показывая на дом, и сам чует, как дергаются, пылая, его подвижные ноздри.

— Доброе утро, Терентий Дорохтеевич! — Давыд обрывает пение и здоровается так, будто ничего не случилось.

— Ты что, оглох?..

— Да пока бог миловал.

— Так, может, не прочухался еще? Не видишь, что творится? — Терентий снова вскидывает руку.

— И в самом деле не видал, дяденька. Столько у вас этой скотины, что и свету божьего невзвидишь. Как вскочишь — так к ней.— Лицо парня становится серьезным.— Вот только теперь, как шум поднялся, разглядел эту комедию.

Плачинда взбешен.

— Вот я тебе как дам комедию, так и язык выплюнешь лошадям под копыта!

Но на этот раз батрак не смолчал и не отделался шуткой. Давыд вдруг швырнул скотине под ноги мешок и шагнул вперед.

— А вы, дяденька, не больно чужими языками бросайтесь: как бы не лишиться своего!

— Ты что? — вытянул шею Плачинда.— Ты как, чертов пенек, говоришь с хозяином?! — И он ввалился в конюшню, гневно ища глазами палку.

— Так же, как вы со мною! — Давыд стоял перед ним, сильный и злой.— Отдайте мне заработанные копейки, в экономию уйду. Не велико счастье тут у вас, чтоб оно сгорело! — Он быстро вышел из конюшни и зашагал к воротам, на ходу стряхивая с одежи золотистую россыпь сечки.

Плачинда ошеломленно прислонился к лошадиному крупу и снова провел рукой по щекам, срывая невидимую паутину. «Что за проклятый понедельник выдался! Не диво, когда родной брат рычит, как пес из подворотни, но чтобы батрак поднял голос?.. Ишь как припустился к воротам! И уйдет, чертов облом, в экономию. Такого здоровяка да перед весной эконом оторвет с руками и ногами...»

Может, Плачинда и плюнул бы на Давыда в сердцах, но, вспомнив, что тогда придется по всему селу дразнить собак, пока найдешь кого-нибудь, кто бы снял с кровли рамы, он смирил свой нрав. Не торопясь отошел от конюшни и негромко крикнул вслед парню, который как раз хлопнул калиткой:

— Давыд, слышь? Поди-ка сюда!

— Чего вам еще? — Парень, насупясь, остановился.— Или собрались мой язык под ноги лошадям кидать? — На скулах у него выпятились тугие желуди желваков, ноздри орлиного носа пышут гневом.

— Э,— устало махнул рукой Плачинда,— уцепился за глупое слово, как репей за собачий хвост... Неженками все стали. Видишь, как меня обидели за то, что выручал людей. Ну, и разошелся малость. А я ведь с тобой как с родным. Не хочу, чтобы твое тело грызли экономские вши. Кто тебе там рубаху, как Уляна, выстирает? — Плачинда угодил Давыду в самую душу: хозяин, присматриваясь к батракам, прежде девушки смекнул, куда клонится сердце парня.

Давыд еще миг колеблется, а потом возвращается во двор и уже не хлопает калиткой, а по-хозяйски затворяет ее. И хотя на лице его еще следы обиды, но в уголках рта уже пробивается улыбка.

Плачинда косо, долгим взглядом изучает парня, с сожалением отмечая, что, уступив раз, уже потерял часть своей власти над ним. Ходит облом к экономским, да и с Романом водой не разольешь, а тот и святого Николу настропалит против хозяев.

— Зови Уляну, и снимайте рамы. Только осторожно, чтоб у меня ни одно стеклышко не пискнуло.— Плачинда, не глядя в лицо батраку, уходит в дом, краешком глаза выискивая на крыше ветхие рамы Поляруша, гори они ярким пламенем!

Еще в сенях он слышит сетования Дарины и злобное шипение брата. Но стоит Плачинде шагнуть на порог — и все затихает, как перед бедой.

— Чего кривишься, как среда на пятницу? — сердито орет он на жену.— Привыкать пора!

— Терентий, что же это? — Дарина растерянно смотрит на мужа.

И он, как всегда, видит, что застарелая печаль ее серо-голубых глаз льется к ней же в душу, почти не проливаясь наружу.

— Перед погибелью голодранцы с жиру бесятся. Не заглянула еще им в глаза настоящая беда.— Он бросает шапку на скамью и сразу же выплескивает скопившуюся в нем злость на Уляну: — А ты чего уши развесила, как лопухи на помойке? Почему до сих пор нет завтрака на столе? С Давыдом не нахихикалась?

— Это я велела позднее подавать,— заступается за батрачку Дарина.

— Из-за какого-то тупоголового пакостника я должен сидеть голодным? — Терентий сверкнул глазами на опечаленное круглое лицо жены, на котором беспомощно и робко выделялся маленький подбородок полумесяцем.

Хозяин важно расселся в красном углу, думая только об одном: Роман, не кто иной, как Роман со своими лоботрясами, насмеялся над ним. «Насолил ты мне, насолю и я тебе, да так насолю, что вьюном завертишься!» В голове, как раскаленные угли, пышут жаром, цепляются одна за другую мстительные думы, но Терентий не упивается ими, а сдерживает их бег. Действовать надо так, чтобы меньше было по селу разговоров. Он всегда скрывал от людских взоров свои замыслы и богатства,— это ведь не свечи, которые ставишь святым в церкви, на виду у всех.

После невеселого завтрака Терентий старательно одевается, сердится на себя в зеркале и отправляется к Омеляну Шмалию, у которого батрачит Роман Волошин. Эта фамилия шипит и шаркает фуганком у него в голове.

В это утро улицы кажутся Плачинде более неприветливыми и гнетущими, чем когда бы то ни было. Плечи у него и до сих пор ежом покалывает обида, а каждая улыбка с чужого двора противно липнет к самому сердцу: верно, все уже знают об этой проклятой издевке и трещат языками, как на ярмарке. Казалось, пора бы уже привыкнуть ко всяким пересудам, но и до сей поры они жалят больно.

Весело слушать, как люди смеются, безжалостно раздевая кого-нибудь из твоих знакомых, но не приведи господи, чтобы они стегали тебя самого! И страшнее всего, что от насмешки нигде не спрячешься, ничем не откупишься. Любой паршивец из подворотни укусит тебя — и ничего не поделаешь. Его бы, Терентия, сила, он судил бы за насмешку, как за просроченные долги, сам вырывал бы языки с корнем. А этого Волошина, как жабу, разодрал бы надвое. И снова противная фамилия шипит и шаркает фуганком в голове.

В угрюмом раздумье он подходит к просторному двору Омеляна Шмалия, огороженному дощатым, на столбах, забором. Дубовые доски в три пальца, дубовые столбы, годные хоть бы и на подвалины, тяжелые, крещатые ворота,— сразу видно, что хозяин решил жить на белом свете прочно и долго.

По левую руку от ворот выперся в сад дебелый, приземистый, под железом дом, и ему, словно толстой бабе девичьи

кружевца, не идет легкая деревянная резьба. Справа от ворот раскрытый, весь в снегу, навес, конюшня, сарай и квадратная маслодельная от которой до самой улицы растекается вкусный и жирный дух поджаренного семени. В глубине двора играет роями искр и красными отблесками растворенная настежь кузница. В ее кровавом нутре, попеременно сгибаясь и выпрямляясь, колдуют молотами над наковальней две черные, словно литые, фигуры.

Плачинда не заходит в кузницу, а берет левее, за хату, к огромному, огороженному мужицкими телегами строению, где, сливаясь в нестройный гул, гудят по-разному машины, шипят ремни, скрежещут твердые грабовые пальцы шестерен и раздаются резкие окрики. Тут сметливый Омелян хитро переплел ремнями крупорушку, драч для проса, вальцы, соломорезку и конный привод. Все это до умопомрачения гудит, визжит, сердится, воет, пылит, растекается желтой сечкой, золотыми струйками пшена, зеленоватым конопляным семенем, нежно-розовыми ребристыми самоцветами гречихи, вздымает красную пыль шелухи.

Терентий сперва зажимает уши, потом подходит к крупорушке, приседает на корточки, засовывает руку в еще теплую, из-под машины, крупу — проверяет, без обману ли работает машинерия,— а потом окликает батрака, который прилежно поит из клювика масленки запыленные машины:

— Сергий, где дядя Омелян?

Одноглазый Сергий поворачивает к гостю лоснящуюся олеонафтом голову, прикладывает к узкому, полуглухому уху окороченные машиной пальцы, на которых ногти свернулись, как улитки.

— Что вы?

Терентий встает, наклоняется к сухощавому батраку, кричит ему в самое ухо:

— Где дядя Омелян, спрашиваю!

— В токарной! — кричит Плачинде в лицо батрак и поправляет лоснящейся, почерневшей от олеонафта рукой вихор.

— Может, кликнешь его?

— Не могу — машины! — Он окидывает одним, округлившимся от напряжения глазом свой ад, в грохот которого каким-то чудом просачивается тоненький, певучий голосок мальчишки у привода.

Три слепые лошади, обреченные до самой смерти тянуть по кругу деревянный шест привода, прислушиваются к

пению погонщика, и им, верно, вспоминаются те дни, когда они еще паслись на зеленых лугах и не валились с ног, как пьяные, от целодневного хождения по одному и тому же кругу.

Терентию не хочется самому разыскивать Омеляна, потому что в токарную надо идти через кузницу, где работает Роман.

«А чего мне бояться этого сосунка? Пусть знает, паскуда, что такое почтение!»

Терентий, сердясь одновременно и на себя и на Романа, решительно выходит на замусоренный прелой соломой, сечкой и щепками двор, где худущие дворовые свиньи остервенело рвут чей-то куль с зерном.

— А, чтоб вас холера взяла! — К саням подбегает усатый мужик с кнутом и отбивает у свиней свое добро. Свиньи обиженно кривят бледно-розовые, облепленные зерном рыла, визжат и неохотно пятятся от куля.— Вот порядки в этом доме: свиней не кормят, чтоб прохарчились на даровщинку.— Усач обращается за сочувствием к Плачинде, но тот только невыразительно хмыкает: каждый, мол, хозяйничает по-своему.

В кузнице, залитой сиянием, словно на погожей летней зорьке, все так же темнеют две мускулистые фигуры кузнецов, выбивающих из наковальни и темно-вишневого железа веселый перезвон.

Плачинда, не глядя на Романа, молча, одним движением бровей, здоровается с Панасом Гомоном, обходит его и рывком отворяет на себя исклеванную окалиной дверь. В длинном помещении мастерской шипит ручной токарный станок, гигантское колесо его крутит мальчуган лет двенадцати. Справа у сверла тоже стоит мальчишка — светлоглазый, веселогубый Кость Романовский. Он решетит маленьким сверлом чугунный круг для маслодельни. За работой мальчика внимательно следит коренастый Омелян. Голова у него горшком; рябые щеки похожи на серый тракт, прибитый каплями дождя; тяжелый, мясистый нос по самые ноздри ушел в прокуренные усы и, кажется, вытягивает из них крепкий табачный дух.

— Дела идут, контора пишет? — как можно бодрее улыбается Терентий.

Омелян, отрываясь от черной перекладины со сверлом, сперва изумляется, и под втягивающими воздух ноздрями слегка шевелятся куцые, но густые усы. Брови у Шмалия

тоже густые; добежав до половины, они упрямо отделяются от лица и вьются в воздухе, как стебельки сухой повилики. Под непомерно большими бровями глубоко засели крохотные глазки цвета свежего стального излома.

— Доброе утро, Дорохтеич! Привез что? — Шмалий вытирает руки о лоснящиеся штаны, подозрительно смотрит на по-кротовьи темную, куцую ладонь, а потом сцепляет промасленные пальцы с багровыми пальцами Плачинды.

— Нет, так пришел, по-соседски проведать. Тесно у тебя тут.— Поздоровавшись, Терентий оглядывает мастерскую: все углы затянуты мертвыми паучьими гнездами.

— Тесно, твоя правда. Вон в Каменце ждет меня новехонький сверлильный станок, а куда девать его?

— Каждого из нас что-нибудь ждет,— издалека и загадочно начинает Терентий, и Омелян сразу настораживает пытливые глаза.

— Такое дело,— соглашается он.— Каждого из нас что-нибудь да ждет. На все божья воля... Кость, что у тебя сверло, словно пьяное, качается? Не косись, как щенка на паперти! — кричит он на Романовского.

— Недавно взял его? — окольным путем подбирается к своему делу Плачинда.

— Недели две.

— И как он?

— Ничего, любит железо.

— Такое дело. Как погляжу, все у тебя выходит в самый раз: ты машинерию любишь, а жена с землей управляется не хуже любого хозяина.

— Земля на ней держится, только в доме хозяйки нет.— Омелян говорит так, что не разберешь, хвалит он или бранит жену.— А как пошел мой Кузьма в гимназию, так она и вовсе отбилась от дому.

— Зато сын будет ученый. Учение — свет, а неучение — тьма.

— Спаси и помилуй меня, господь, от света, какой тебе принес твой братец Яков! — Под пышными обрубками усов затрепетала улыбка.

— Не растравляй ты мне душу Яковом,— сразу хмурится Терентий.— Откололся от нашего рода, как щепка от дерева, и уж не приложишь ее, не приклеишь — живинки нет.

— И я, скажу тебе, все ругался с женой: мы и без книжек хлеб едим! — соглашается Омелян, не в состоянии уловить нить мыслей, приведших к нему Плачинду.— Глядишь, выучится вроде того бурсака, что позабыл, как называются грабли. Может, зайдем в дом?

— Можно и в дом, ежели есть свободная минута,— охотно соглашается Терентий.

В доме у Шмалия грязно, все завалено каким-то хламом, заставлено разной посудой, бадьями, лоханками, бочонками, мерками. Даже почерневшие, загнанные в угол иконы не прибирает заботливая женская рука. Жена Омеляна землю блюдет, но домашней работы и стряпни терпеть не может, не приучила к ней и батрачку — безродную, немую Домаху, которая с рассвета и до ночи, молча, как тень, снует по двору, обхаживая хозяйскую скотину. Поэтому Омеляну часто приходится самому лазить в печь, проклиная бабьи порядки.

Хозяин выносит из другой комнаты зеленый штоф с настоенным на водке вишняком и наливает его в густо покрытые пылью чарки, потом скрепя сердце отодвигает заслонку и вглядывается в печь, прикидывая, что бы можно оттуда выхватить. Но в это время в хату входит босая, в старом, липком от грязи и подсолнечного масла кожушке, несчастная Домаха. На бледное лицо ее легла вся грязь большого нечистого хозяйства — конюшни, коровника и свинарника; не коснулась она только по-детски чистых и скорбно-терпеливых глаз.

— Домка, нарежь нам сала! — говорит ей хозяин, ставя на место обмазанную желтой глиной заслонку.

— Нем... мам кюч... ала,— срываются с округлых, как почка, губ девушки искалеченные обрубки слов, и только один Омелян понимает, что они означают: «Не могу достать, мама ключи взяла». И как он позабыл, что жена все прячет под ключ? Боится, чтобы даже он, Омелян, не заглянул в бочонок с салом...

— Тогда из печи что-нибудь достань.

Девушка сбрасывает кожушок. Ее черная, как земля, сорочка и подобие юбки из узловатой мешковины пугают даже Терентия: он знает, почему Омелян держит у себя калек-батраков, но уж так одевать их — противно смотреть самому, не то что людям.

Домаха вынимает из печи горячий горшок, меняясь в лице, обхватывает его не тряпкой, а заскорузлыми ладонями и быстро наливает в миски бурый, заправленный рыбой

и фасолью рассол. Пахучий пар от него оседает сверкающими капельками на острых, как гречишные зернышки, оспинках возле носа Омеляна.

— За твое здоровье, Терентий Дорохтеевич! — Шмалий подымает и прячет в усы маленькую граненую чарку.

— И я за твое, Омелян, с великой охотой пью!— Терентий выпивает и задумчиво смотрит на руку с чаркой.— Не больно часто мы встречаемся, однако всегда помним один о другом. А как же! Немногие у нас твой ум имеют. А всякая машинерия откуда у тебя? Не из набитого отцовского кошелька, а своими мозолями да своей головой добыта. И все гудит, веселит человека, как пасхальный благовест.

«К чему это он клонит?» Шмалий пронзительными, с холодком глазами просвечивает Терентия, и тому на миг кажется, что Омелян смотрит сквозь него, как сквозь стекло. Терентий знает и ценит сметку Шмалия. Опрокинув по второй, он решает отбросить хитрости.

— Слышь, Омелян? Мы с тобой знаем один другого не первый год. Не первый! Бывало, и ты мне помогал, бывало, и я выручал тебя: нам ежели вместе не держаться — пропасть! Свои же добрые люди, дай им волю, обгрызут до кости... Когда-то мы хвалились, что село у нас тихое. А нынче пропадает эта тишь, как утренняя роса. Тут вот насмеялся надо мной твой батрак. Прогони его. Чтоб и духом поганым не тянуло. Хозяин над хозяином — куда уж ни шло — может и подшутить, но чтобы батрак куражился и трепал хозяйскую душу — это уж пахнет погибелью.

— Сергий насмеялся над тобой? — изумленно трясет чугунком головы Шмалий.— Так я его тотчас, при тебе, в три шеи вытурю ко всем чертям, собачьего сына! Ишь, скороспелка червивая! — Омелян напускает свирепость на изрытое оспой лицо, а в душе усмехается: он-то хорошо знает, кто насмеялся над Плачиндой!

— Да не Сергий, а этот голяк Роман Волошин! — кривится Терентий, и его подвижные, срезанные ноздри дрожат от злобы.— Уж второй раз наскакивает на меня. Доскачется! Такого головореза держишь у себя, каких и на свете мало. Гони его в шею со двора, а то и тебе подкинет за пазуху такой уголек, что испепелит всю душу.

— Так это Роман? — Раздутые щеки Шмалия сожалительно опускаются.— Это уж, скажу тебе, хуже. Романа, прости, Терентий Дорохтеевич, не могу прогнать: где я такого работника возьму? Он у меня и в кузнице и в токарной

со всякой работой справляется, да и машины знает. Сметлив, скажу тебе, что твой водяной. Все Волошины такие.

— Волошины, Волошины! — передразнивает Терентий, и шипение расползается по всей хате.—Все одно уволь и гони его, пока он и тебя и все твое хозяйство не поднял на смех.

— Сейчас никак не могу,— разводит короткими руками Омелян.— Попозже, может, что-нибудь придумаю.

— Сейчас выдумай!

— Легко тебе говорить!

— Кто ж тебе дороже — хозяин или оборвыш?— хрипит Терентий над чаркой с черным вишняком.

— Ты дороже, Терентий Дорохтеевич, ясное дело ты! Но ты же не пойдешь ко мне стучать молотом? — Омелян сочувственно смотрит сквозь гостя так, что Терентию хочется руками заслонить от его взгляда тайники души. И это еще больше злит Плачинду. «Заглянул бы ты лучше к себе в нутро: там тоже немало всякой всячины».

— Поищи себе, Омелян, работника в городе или на сахарном заводе.

— Дерьмо какое-нибудь скоро найдешь, а Волошины на улице не валяются... Этак ведь не избежать убытку.

— Твой убыток, раз на то пошло, беру на себя,— расщедрился Плачинда, сердито шевеля ноздрями и клешнями усов.— Так и быть, где мое не пропадало!

— Э, нет, пусть уж не пропадает, я тебя обижать не хочу,— решительно возражает Омелян.

— Не обидишь!

— Обижу. По себе знаю, как это бывает обидно...

— Ничего ты не знаешь! А коли мы таких, как Роман, разом не скрутим, так они, гляди еще, и не то отчубучат. Роман — это штука! Говори: сколько тебе отступного? — Терентий выхватывает из кармана кошелек и со звоном кидает его на стол. Раздутый свиной пузырь с деньгами удивительно похож на старую жабу.

Омелян невольно прикидывает, сколько в кошельке денег, и отодвигает его к Терентию.

— Нет, нет, и не думай! На чужой беде я не жнец и не косарь! Лучше, если можешь, продай мне свою немецкую корову. Как они у тебя?

— Недаром немец черта выдумал: веришь ли, на добрых харчах дают по три ведра молока.

— И не жидкое?

— Сметаны баба четверть кринки сбирает, а простокваша такая, что хоть ножом режь, хоть пальцем колупай.

— Продашь одну?

— И продам для такого человека! Леший с нею! Сегодня же приходи, хоть днем, хоть вечером! Продам за те же деньги, которые колонистам под Одессой ухнул, и на дорогу не накину,— сам удивляясь своему великодушию, говорит Терентий.

— Почем же это будет?

— Семьдесят рублей! — все же накидывает десятку Плачинда.

— А ты ведь хвастался, что они тебе по шестьдесят обошлись.

— И правду говорил! А на харчи надо что-нибудь набавить? — выкручивается Терентий.— Так покупаешь?

— Только не ту, что без рога.

— Вторая подороже будет.

— Сколько же за рог? — ожег он Плачинду.

— Три рубля.

— Ого, дорогой у тебя рог! — помотал головой Шмалий.— Уж не золотой ли?

— Тогда бери ту, что без рога.

— И возьму. Мне из него молока не доить. Рог-то ей сбили, что ли?

— Сама обломила. Чтоб ведьмы у ней молоко не крали, мой старик просверлил ей рога, всыпал внутрь немножко маку, а дырочку забил осиновым колышком, после того рог и затрухлявел.

— А ведьмы не доят корову? — осторожно спросил Шмалий.

— Бог миловал.

— Тогда по рукам!

— За твое здоровье, Омелян! — Плачинда единым духом осушил чарку, а остатки зло плеснул в потолок —там и прилипли темной гроздью смородины последние капельки вишняка.

IX

В холодном, вечереющем небе ежилось и дрожало солнце. Оно уже собрало со снега все лучики, и только последняя их пыль окровавила стекла и кудлатую бровь стремительно удалявшейся тучи.

Роман последний раз ударил по прокаленной, темно-сизой железине и швырнул молот в угол. Панас Гомон клещами сбросил железо в воду, оно от неожиданности злобно зашипело, дохнуло паром, окутало парня белыми клубами.

— Шабаш, Роман! — Панас широко, до треска в суставах, потянулся всем телом и, напевая, сорвал прожженный фартук:— «Гей, стояла сосенушка да напротив солнышка...» Ты сегодня к церкви не собираешься?

— Молиться? — у Романа удивленно выгибаются черные брови.

— Да нет, с девушками на санках кататься. Там такой бугор перед входом!

— А не лучше на пруд?

— Моей далеко до пруда, да и нечисто там: в камышах водится всякая чертовщина, а возле церкви летают одни ангелы,— засмеялся Панас, и морщинки полумесяцем задрожали в уголках его темных губ.— Приходи, найду тебе девушку, как крашенку, спущу с горы санки, опрокину внизу — вот и знакомьтесь на здоровье, а потом женихайтесь сколько влезет вдвоем возле колокольни.

— У тебя, Панас, только и болтовни, что про девок,— вдруг раздался голос Шмалия. Хозяин всегда внезапно появлялся в дверях, чтобы проверить, не теряют ли люди время на разговоры.

Батрак обиженно посмотрел на хозяина, деланно вздохнул.

— Ну да-а, про девок...— протянул он.— Небось, когда я про церковь да про ангелов говорил, вы не слыхали.

— Знаю твою церковь,— Шмалий отмахнулся черной, как крот, рукой...— Роман, зайди ко мне.— Он глянул поверх Волошина и, пригибаясь, зашагал к дому.

— Чего это он? — забеспокоился Панас.

— Бес его знает,— пожал плечами Роман.— От него добра не жди.

— Все село обковываем — к чему тут придерешься? Да леший с ним. Главное, Роман, держи хвост бубликом! — Панас крепко пожал руку товарищу и пошел со двора.

Когда Роман вошел в дом, хозяин молча встал со стула, откинул крышку с низкой, захватанной нечистыми руками укладки, на ощупь вынул пучок нанизанных на бечевку дранок, выдернул одну, с надписью: «Волошин», заглянул в колонку раскоряченных цифр, придвинул поближе плошку, жалостно мигающую крохотным лепестком огонька.

— Ты у меня, Роман Григорович, брал на той неделе пшено? — Шмалий повернулся на стуле, и на стене шатнулась, переломилась разбухшая тень.— Тут записано четыре гарнца. Верно?

— Верно.— Роман, предчувствуя недоброе, внимательно посмотрел на хозяина, но тот, шевеля куцыми усами, сосредоточенно склонился к деревянным запискам и всем лицом — глазами, ртом и наморщенным лбом — вел счет.

— Так-так, Роман Григорович. А шелуху для поросенка брала мать?

— Да ведь на вашей дранке записано все до нитки, разве вы что пропустите? — Парня охватывают тревожные мысли, и морщинка между бровями углубляется.

— Знаю, что не пропущу, я не из таких,— в оспинках Омеляна шевельнулось самодовольство.— Однако проверяю, чтобы не обмануть ни тебя, ни себя. Ты в маслодельне полбутылки рапсового масла взял?

— Взял. Горьковатое масло.

— Горьковатое или сладкое — безразлично: цена одна. А больше ничего не брал? — спрашивает Шмалий на всякий случай и еще раз глазами, ртом и лбом проверяет несложный расчет.— Не брал?.. Так вот, Роман Григорович, следует тебе с меня еще два рубля шестьдесят три копейки. Может, сам поглядишь? — Он великодушно протягивает парню пахучую, усеянную рябинками цифр дранку, потом высыпает на стол горсть медяков, перемешанных с серебряной мелочью, и куцыми пальцами осторожно отгребает большую часть монет Роману.— Возьми последний заработок и ступай с богом куда хочешь.

— Это почему же, дяденька? — Раскаленное огнем и работой лицо парня темнеет. Все тело острыми искорками пощипывает сырой холодок, словно он, Роман, сразу очутился в колючем кольце вьюги. Как дома надеются на его копейки, и вот... Все существо его наливается стоном.

— Почему? — Шмалий бережно сгребает остальные монеты со стола, тщательно завязывает кошель и не спускает глаз с узла.— Потому, что нет у меня больше работы. Нету, да и все! — Он одним движением переламывает надвое дранку Романа, оглядывается и наотмашь кидает ее на загнетку печи.

И хотя возле заслонки лежат его сломанные долги, батрак с болью глядит на искалеченные кусочки дерева. Вокруг рта залегают жесткие морщинки.

— Только потому, что нет работы?

Шмалий задумывается, в голове у него сменяют одна другую противоречивые мысли, и он меряет парня косым взглядом.

— Не только, коли уж так тебе хочется знать. Еще для того, чтоб не больно умничал. Смекаешь?.. Раз отец тебя не выучил перед старшими шапку скидывать, так мы научим.— Он медленно поднимает тяжелую голову и видит на потолке явственные следы вишняка. В глазах у Омеляна мелькает улыбка, а голос добреет: — Жаль мне, Роман Григорович, прощаться с тобой: жилка у тебя рабочая, талант к мастерству, а это тебе не «цоб цобе, рябой»! Только что же поделаю, когда у тебя в голове какой-то леший сквозной продух выдолбил: гуляет там ветер, тебя баламутит, а от тебя и на других может перекинуться. Мало ты на свете прожил, чтобы измываться над хозяевами. Верно, по молодости думаешь, за это тебя люди похвалят? А что такое наши люди? Стадо, которое норовит разбрестись! Эта беднота, оборвыши голодные, посмеяться-то над твоей выходкой посмеются у себя в норах, а потом побегут не к тебе, а к Плачинде — он ведь их выручает и копейкой и хлебом. Так что ты себе загодя на носу заруби: все свое держи про себя,— тогда ни оно, ни ты не пропадешь. Это ежели хочешь в люди выйти, не стать мирским посмешищем. Еще благодари бога, что так легко отделался. А занеси ты руку на кого другого, знаешь, что бы он сделал с тобой? — Шмалий прищуривается, и глаза его становятся злыми.

— Что? — Роман сразу догадывается, кого разумеет Шмалий.

— И не спрашивай! Поймал бы тебя тихонько кто другой, связал мокрой веревкой по рукам и по ногам да на твоей голове изломал бы пяток рам, которые ты на крышу вытащил, и стекла не пожалел бы. Тогда я бы посмотрел, чего больше, на моем лице оспинок или на твоем — ссадин,— со вкусом отвешивает каждое слово Омелян.

И от ледяных его слов, от ненависти к нему, от возмущения Роман бледнеет как полотно.

— А ежели бы я «кому другому» ненароком шею свернул, тогда что бы вы увидели? — Парень весь дрожит, но старается говорить как можно спокойнее.

— Это ты бы мне... тьфу... «кому другому» шею свернул?— удивился, но не рассердился Шмалий.— Мало еще куличей съел, парень! Знаем, что силой бог тебя не обидел, однако,

ежели ко всему с толком подходить, можно взнуздать и самого черта... Так что береги, Роман Григорович, свои косточки, береги и ребрышки — они у тебя еще мяконькие, не затвердели,— да учись не больно умничать.

Но наставления Омеляна не вразумили батрака. Он нетерпеливо поднял голову, выпрямился.

— И вам того желаю. Главное дело — поменьше мудрите над крупорушкой.

— А над чем же там мудрить? — Под усами Омеляна шевельнулось неясное беспокойство.

— А вы не знаете? Над тем, чтобы не сыпалось чужое зерно в вашу шелуху.

— Не зерно туда сыплется, а рудяк! — С лица Шмалия уже сдуло лукавую ласковость.

— Тот самый рудяк, из которого вы потом себе зерно отвеиваете!

Омелян как ошпаренный сорвался со стула, на щеках его будто выросли серые, точно осиные соты, оспины, и в них отчетливо проступили красные пятнышки.

«Вот так в сотах вдруг шевельнется молодая черва»,— пришло почему-то в голову Роману.

А кровь уже заливала все лицо хозяина. До нынешнего дня ему никто не говорил такого в глаза, и он надеялся, что его плутни людям не известны, тем более что и крал-то он по-божески — фунт-два с пуда, не больше.

— Пригляделся ко всем щелкам? Знать бы раньше — ты бы у меня давно вылетел из кузницы! Ну, а теперь сболтнешь кому — замолчишь надолго.

— Пугайте, дяденька, свою тетеньку, а я не из пугливых!— Глаза Романа сощурились, и над ними вздрагивают неровные кустистые ресницы.

— Цыц, выродок! — Омелян засуетился. Весь в черном, на толстых, коротковатых ногах, он теперь удивительно смахивает на поднявшегося крота, который собрался ударить врага лапой.

— Правда глаза колет?

— Нет, милый, поверь мне, ты своей смертью не помрешь! Я уж это вижу! — Омелян напрягается для удара, но овладевает собой.— Вон отсюда!

Романа обуревает гнев, и он, чтобы уйти от греха, поворачивается и выскакивает из нечистой, загроможденной вещами комнаты. Позади на дверь обрушивается ругань хозяина. В сенях Роман едва не сбивает кого-то с ног.

— Кто тут?

В ответ падают глухие обрубки слов, налитых сдавленным плачем.

— Домаха, ты чего? Обидели? Так я им сейчас...— Роман сжимает кулаки, узнав несчастную девушку, которую не раз защищал от жестоких и глупых насмешек.

— Моткаль лой, мама лая, ты долый...

«Москаль злой, мама злая, ты добрый»,— разбирает Роман искалеченную речь.

Домаха неизвестно почему зовет всех мужчин «москалями». Очевидно, это слово давно и глубоко запало в ее еще детскую душу: может быть, отец ее был горемыкой солдатом, может, мать не одну ночь проплакала, ожидая со службы молодого мужа,— словом, стоило при ней упомянуть о «москалях», как девушка вспоминала о далеких-далеких временах, когда кто-то гладил ее по головке, а она умела лепетать, как все дети, и лицо ее светлело от радости.

Девушка, давясь плачем, находит своими жесткими, словно из одних мозолей слепленными, ладонями пальцы Романа и доверчиво склоняется к ним. Роман со страхом и смущением догадывается, что она собирается поцеловать ему руку.

— Что ты, Домаха, господь с тобой! — Он отнимает пальцы, и ему становится до слез жаль эту одинокую душу, которую злые люди всякий день безнаказанно забрасывают грязью. Сильно же искалечили бедняжку чужие руки, если она за несколько теплых слов готова земно кланяться...

Новая боль, словно ледяная крупа, просачивается в сердце парня; он, морщась, отворяет сенную дверь, становится на промерзший брусчатый порог. Домаха, опустив голову, тянется за ним и поруганной тенью застывает в проеме двери. И он, кажется, слышит, как девичьи слезы, едва шелестя, скатываются по ее почерневшему от времени кожушку.

Бессильная ярость, жалость и смятение клубком опутывают парня. Еще минуту назад его собственная растревоженная душа стонала в чаянии дружеского сочувствия, и вот уже другая нуждается в его утешении.

И это легче было бы сделать, стой перед ним парень,— ведь Роман до сей поры и в мыслях не целовал ни одну девушку. Недаром ему не раз приходилось выслушивать беззлобные насмешки Юрия Звонаря, обзывавшего его то недотепой, то святошей. Но эти насмешки не пошатнули в Романе веры, что девичья жизнь — неразгаданная тайна, которую можно постичь лишь раз на веку. И он терпеливо дожидался

встречи со своей единственной и потому не торопился запросто сдружаться с девушками, да и они не больно-то заглядывались на парня: его врожденное достоинство часто казалось им гордостью, а сосредоточенность и дерзкие выходки заслоняли от постороннего глаза мягкость его доброй, но колючей и несколько замкнутой натуры.

Девушкам было куда легче и смеяться и встречать лунные ночи с Юрием Звонарем, хотя тот и охмурял их бессовестно своими легкими да веселыми словами, а порой не стеснялся добираться и до девичьей пазухи.

— Что ж, Домаха, прощай.— Роман протягивает девушке руку.— Будь здорова. Ежели кто обидит, беги ко мне, я ему голову оторву.

И эти грубоватые слова утешают девушку. Она с благодарностью обеими руками прижимает к себе руку парня и улыбается сквозь слезы.

Роман с облегчением вздыхает.

— А на пасху приходи к нам. Придешь?

Домаха кивает головой, лепечет по-своему уже веселее, а Роману становится жутко. Как мало ей надо для счастья, а ведь вот и этого нет. Чем же она помянет лучшее, что есть в жизни,— детство и юность?

X

Вокруг расплескивается неясный вечерний шум села; то тут, то там внезапно багрянеют окна, пронизанные неверным отблеском огня в печи. Возле колодезных желобов тихо шипит снег: это задумчивые, пропахшие сеном или гороховой соломой коровы осторожно втягивают темными, бархатными губами воду и роняют ее голубыми нитями.

За старым садом Окуней звонко ударил топор и раздалось «гех». И этот выкрик, верно, всполошил в саду проржавленную сову, она встрепенулась возле дупла и зловеще засветила текучими желтыми глазами.

— Ты гляди, как сверкает!— удивилась молодичка у колодца.

— Словно сама Окуниха! — отозвалась другая, и обе расхохотались.

Увидав Романа, кумушки сразу же, словно не они только что смеялись, степенно заговорили о хозяйственных делах, а потом снова покатили по снегу женский въедливый смешок.

Пустой боковой улочкой пробежали девушки с пушистой куделью.

— Добрый вечер, Роман! — пропели они, оглянулись, тоже чему-то рассмеялись и полезли на занесенный снегом тын, чтобы поскорее, напрямик, добраться до подруг.

А вечер, как волшебное решето, сеет и сеет повсюду то первые обрывки песен, то женское стрекотанье, то перекличку парней, то запоздалый скрежет ручных жерновов — жорен, то рев скотины, то скрип саней, то потрескивание промерзших деревьев. И сквозь это решето понемногу просевается боль Романа. Неужто он не найдет работы? Не будет места в экономии — так, может, что подвернется на сахарном заводе, а нет — он пойдет к Рокотову на винодельню. Одно плохо: мать загорюет. Все дрожит над ним, ровно над маленьким. И с чего бы?

Он, как и все, перед кем только открываются пути, не может понять тех, что идут уже не в гору, а под гору, так и не найдя для себя ничего хорошего в жизни. Роман по молодости и не догадывается, что мать больше всего тревожит, как бы сын не разнес по чужим дорогам свои молодые годы, как разнес их с косой на плечах ее муж. И то, что порой Роману смешно, матери — как нож в сердце.

Роман вышел на тракт. Между ветвистыми липами сгущается темень, и во мгле обмерзшие веточки колышут тонкий, хрустальный перезвон. От гребли утомленно бредут круторогие волы, а возле них медленно шагает крестьянин в кобеняке, до бровей надвинув островерхий капюшон.

С тракта донесся перебивчатый, серебряный звон колокольчика. Мимо Романа проезжает на легких санках закутанный в башлык судебный пристав. Его немолодое грубое лицо равнодушно, как у каменной бабы.

«Поехал по чью-то душу». Парень проводил пристава долгим задумчивым взглядом, и теперь ему кажется, что колокольчик не просто звенит на дороге, а с кровью выдирает из мужицких хат последние копейки.

— Ну, о чем так задумываться? Думай не думай, а Хаскель знает — второго папу римского не выдумаешь! — клекочет рядом добродушный, хрипловатый смешок.

Роман оборачивается. Перед ним стоит, запрягшись в санки, веселый деревенский разносчик Хаскель, все имущество которого уместилось в двух уложенных на санки мешках. Это, однако, не больно печалит его; он, таки да, не такой крупный коммерсант, как сам Шнеерзон, но придет время —

и Хаскель, назло врагам, приобретет себе лошаденку. А пока он, не жалуясь на судьбу, разносит на плечах или развозит на санках иголки, шпильки, перец, синьку, лазурь, кошениль, ленты, мониста, спички и всякую другую мелочь.

С женщинами он торгуется долго и со вкусом, вспоминая, какими добрыми людьми были их деды и прадеды; торгуется не потому, что любит коммерцию, а чтобы дать простор бабьей душе — показать, будто и они кое-что понимают в ценах. Впрочем, не раз он отдавал свой товар в долг, и наступали для него черные, голодные дни. Но тогда люди, чем могли, выручали своего бесхитростного коробейника, называя его не иначе, как «бедный Хаскель».

Вот он, круглоплечий, невысокий, стоит перед Романом, в рябой телячьей шапке, в крестьянской свитке и сапогах, и рассыпает по густой, с первой проседью бороде осколки хриплого смеха.

— Если думаешь, Роман, какую девушку посватать, то бедный Хаскель может дать совет.

— Какую же? — Парню вдруг становится весело.

— Какую? — Добрые, слезящиеся от мороза глаза Хаскеля улыбаются.— К богатой не ходи — сразу станет на тебя коситься. И к бедной не ходи — у нее богатства нет. Понял теперь, к кому тебе идти? — Он, давясь, кашляет смехом, машет порывисто рукой, налегает грудью на бечеву и волочит дальше свои богатства в двух мешках, которые, кажется, тоже так и раскачиваются от смеха.

Улыбаясь, Роман идет к гребле, где голоса девушек просят уже, чтобы взошел месяц с мельничное колесо. Парень невольно поворачивает голову на восток, а там и в самом деле мельничным колесом выкатывается тяжелый, медноликий месяц. Это походит на какое-то веселое колдовство.

За греблей, у самой церкви, светится единственное окошечко в маленькой школе — бывшей церковной сторожке. Роман хорошо знает это окошко,— там в крохотной комнатке живет учитель. Что он, над тетрадками сидит или рисует уголок села либо опушку леса? На душе теплеет. Может, забежать на минутку? Но ведь придется рассказать про свои невеселые дела. А Роман не любит путать в свою беду чужую жизнь; терпеть не может тех, кто, теряя достоинство, выставляет напоказ свою неудачу, как нищий увечье. Горе у тебя — терпи, гневайся, а не выставляй перед всеми.

Месяц, подымаясь, ныряет, как в черную воду, в густую тучу, смывает с себя тяжелый налет меди и вскоре выбивается на синий плес улыбчивым и серебряным.

Уж такой свет ясный,
Уж такой прекрасный,
А живется на нем — тяжко...

Грустят под луной девушки, первые легкие лучи ложатся им на плечи, юные головки очерчиваются четко, волнуют глаз. Роман отрывает взгляд от девушек и у самой гребли сворачивает на леваду — хочется побродить полями одному.

За левадой, на пригорке, уже матово дымится лунное марево, и под ним оживают переливчатым блеском улежавшиеся сугробы. В Романа снова, будто проникая сквозь невидимые поры, входит тревога, но в ней теперь есть и нечто иное, непостижимое, чего не было, когда он покидал дом Шмалия.

Обрывки песен, как давние воспоминания детства, догоняют парня и стелются по неровным берегам речушки. Вот уже и высокий, печальный подголосок затих, а неразгаданное беспокойство все сильнее.

Внезапно он замечает мужскую фигуру возле двух тополей.

— Давыд, ты? — узнает он батрака Плачинды.— Чего тут один торчишь?

— Покурить вышел,— бормочет тот, улыбаясь, а сам беспокойно поглядывает поверх Романа на хозяйский дом.

Роман догадывается, что лучше оставить приятеля одного: верно, к нему уже крадется откуда-нибудь его первая любовь. И вдруг эта картина так ясно предстала перед глазами, что Роман даже огляделся вокруг. Но нигде ни души, лишь тонкие, дрожащие тени лозняка и верб тихо колышутся на снегу.

Давыд вынимает из кармана обкусанный кремневый наконечник стрелы, когда-то убивавший людей, достает кусок стертого подпилка и принимается сосредоточенно высекать огонь; рой искр освещает его узловатые пальцы и горделивый орлиный нос, упрямые ноздри не округлены, а вызывающе торчат.

Роман отходит от тополей и теперь догадывается, что его волнует то предвкушение неведомого, что вечерами выманивает молодежь на улицы и в укромные уголки села, волнует то, чего он боялся и ожидал... Это уж из рук вон — думать

о девушках, когда мать мелет дома на жорнах последнее зерно, чтобы не отдавать четырех фунтов мельничного.

«Ну и что»?— отзывается другой, задорный голос, надвое разламывая душевную боль, и Роман снова веселеет. Ему мерещится, что село теснее обступает его и вокруг сгущаются то гнетущие, то на диво простые и чистые, как роса в хлебах, сумерки и рассветы с милой.

И парень впервые сам постигает, что не бедность, а богатство страшнее для любви. А может, он прочитал это в книгах учителя? Нет, не припомнит что-то...

В бережках вдруг пробудился ветерок, зашуршал в прошлогодней осоке, выдул на лед несколько круглых листочков ольхи, они закружились в хороводе, потом хоровод разорвался, и листочки стремительно, как воробьи, унеслись вверх.

На вмерзших в лед мостках с одного края лежит громада берега, а с другого искрится лунная пороша, и в ее веселом сиянии спокойно покачивается дымчатая тень камышинки, с которой и зимним ветрам не удалось сдуть семян и розового пуха.

Когда на мостки ступает девушка, ей от страха хочется скорее их перебежать, а парню непременно приходит в голову покачаться на середине кладки. Поэтому даже зимой Роман, дойдя до середины, пробует обеими ногами, не качнется ли под ним доска.

Нет, не качается, только у берега скрипнуло хрупкое, курчавое гнездышко льда,— там вода замерзла вместе с воздухом.

Далеко, от самого Буга, катится серым комочком заяц; вон он остановился, прислушался к искристой тишине и снова покатился ласковым клубочком, который всегда напоминает детство, зимнюю сказку или тот необыкновенно вкусный ломоть сухого хлеба, который мать когда-то приносила с поля, «от зайца».

Роман поднимается на пригорок, выходит на извилистую дорогу к помещичьим ветрякам. Два из них лениво, как монахи после заупокойной службы, крестятся на месяц, а третий стоит недвижимо. Впереди Романа маячит женская фигурка с мешком за плечами, за нею горбится тень, а вокруг только снег да лунное сияние. Если бы за плечами путницы не чернела ноша, Роман спокойно повернулся бы и пошел другой дорогой, но, верно, надо пособить человеку. Он ускоряет шаг, из-за мешка настороженно оглядывается любопытное личико, и он узнает Христину.

— А ну, девка, давай свое добро! — Он, не спрашиваясь, бесцеремонно выхватывает куль из озябших рук девушки.— И продадим его цыганам.

— Ой, Роман! — Христина было испугалась, но тут же рассмеялась, поправила платок, из-под него проглянул разгоряченный лоб.— И откуда ты взялся?

— Прямо из села спешил тебе на помощь,— серьезно отвечает парень.

— Да разве ты видел, как я шла?.. Ой, обманываешь!— Она снова оборачивается к нему, и в глазах у нее играет процеженная сквозь ресницы лунная пороша. Вот ресницы вспорхнули, и на Романа смотрят уже не глаза, а само золотое сияние, еще немного — и оно прольется на снег. А как похорошело лицо, когда смылось с него задорное любопытство, какое смущение с лукавинкой затрепетало на губах и подбородке! Роман даже пошел медленнее, присматриваясь к чуду, которое может сотворить обыкновенная ночь. Христина перехватывает его взгляд, надувает пухлые губки и невесть от чего теряется. Глянь на нее так кто-нибудь из парней — она сразу осадила бы его, но ведь Роман совсем непохож на других. Один бог знает, что он думает и что о нем надо думать.

— На ветряк несешь?—спрашивает он, чтобы не молчать.

— На ветряк,— сразу оживляется девушка.— Как вышла из хаты, таким легким казался кулек, ну прямо, как мужику, который купил пуд муки да сперва и подумал: «Обманул купец, недовесил». А прошла через село — и тяжело стало. Недаром тот мужик, как прошел немного, решил, что не его купец, а он купца надул. До чего же хорошо, что ты подошел! Не тяжело тебе?

— Еще и тебя могу посадить на другое плечо.

— У-у? — На низеньком лбу задорно прогнулись бровки. Но Христина представила себя на плече у парня и покраснела, а на щеках трогательно трепыхнулись, словно вздохнули, ямочки. Девушка даже покачала головой, чтобы отогнать наваждение, и оно в самом деле на миг отошло, но затем она снова увидела себя на плече у Романа. Ей стало так стыдно, страшно, весело, что захотелось прикрыть глаза рукою.

«Вот непутевая! — сразу выбранила она себя.— Другие девушки как девушки, а я настоящий «махамет»,— так до недавних пор бранила ее мать.

Роман поглядывал украдкой на притихшую девушку и даже не догадывался, насколько его сердце в эту минуту при-

близилось к сердцу Христины. Оба они вступали в лучшую пору юношеских надежд, оба тянулись к чудесам неведомого, стремились к любви, самой лучшей на свете. Обоих не обделила судьба той глубинной крестьянской чистотой, которую не смог рассечь ни кнут крепостничества, ни барышнический жирный рубль, ни тяжкая повседневность, которая так и норовит оборвать, втоптать в грязь лепестки чистой любви.

Одно, правда, пугало парня; слишком уж бойка девушка. Ему и невдомек было, что девичья натура — вешняя лоза: пригрей ее лучами души — и она прильнет к тебе на всю жизнь и станет твоим сердцем или тенью, кто как сумеет... Даже сейчас Христина уже невольно приноравливалась к парню — меньше смеялась, больше молчала. Все-то ей думалось, все хотелось чего-то. И впервые, против его воли, где-то в глубине существа рождалась мысль: «Быть ли тебе моей судьбой?» Роман даже со страхом посмотрел на Христину и встретил в ее глазах и на губах задумчивую улыбку, а на щеках трогательное дыхание ямочек.

К ним неумолимо приближались скрип ветряков и шорох раскинутых крыльев. Неподалеку от высокого крыльца, возле саней, шевельнулась мужская фигура и разом спугнула чары лунной ночи.

— Спасибо, Роман,— тихо проговорила девушка, подымаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до своего мешка.

— Не за что, Христинка.

Он как можно бережнее переложил ношу ей на плечи, за которыми сверкала искорками лунных отблесков коса. Христина еще раз смущенно посмотрела на парня, перевела дыхание и, покачиваясь, пошла к ветряку.

Она миновала поворотное бревно, остановилась, удивленная, вот ее юбочка уже обметает ступеньки, вот девушка взошла на легкое крыльцо с перилами, стала перед дверью, обернулась к Роману. А он махнул ей рукой и с тяжелым, растревоженным сердцем зашагал в село.

Кажется, ничего не случилось — и, однако, что-то изменилось в нем: этот вечер впервые подвел его украдкой к той пелене тумана, которая называется предчувствием любви. Перед глазами лишь на миг, словно тень летучей мыши, мелькнула черная фигура Шмалия; где-то на дне души шевельнулся и улегся тяжкий груз несправедливости, его мягко заметают непривычные чары хрустальной ночи и трогательная, задумчивая улыбка девушки. И откуда она взялась у этой непоседы? Даже удивительно...

Позади послышалось змеиное шипение саней. Роман оглянулся, сошел на обочину. На него, взбивая впереди себя снежную порошу, летела пара добрых коней,— по белым лысинкам на лбах сразу можно было узнать лошадей Окуня.

— Садись, Роман, подвезу! — поравнявшись, крикнула с саней закутанная по самый нос в кожух Орина Окунь. Она придержала лошадей, незаметным движением поправила одежду, платок, открыла лицо, и оно сразу стало красивее. Девушка ничуть не походит ни на своего сухощавого отца, старосту села, ни на дородную балаболку мать.

Да и своевольный характер Орины немало испортил крови родителям. Уже само рождение дочки не радость принесло семье. Появилась девочка на свет как раз на седьмом месяце после свадьбы. Мартоха и ее родня причитали, что младенец семимесячный, принялись отогревать его в розовых пшеничных отрубях, а по селу пошла дурная молва. Докатилась она и до Окуня, которого родители притащили под венец чуть ли не силком, позарившись на. богатое приданое. Подвыпив, он посек кнутом блузку на жениных плечах, а когда та, схватив ребенка, выбежала из хаты, выбросил вдогонку ей корыто с отрубями и пригрозил:

— Ежели ты, сука, уложишь мне еще дитя в корыто, я тебя в гроб уложу. Обманула, пройдоха, раз, так хоть теперь посовестись.

И как родня Мартохи ни молила его сжалиться над младенцем, ничего не помогло. Так и выросла Орина без корыта и отрубей, да стала такой бой-девкой, что и Окуня подчас охватывали сомнения: а может, все же его дочка? Вот и теперь — девушке уже восемнадцать минуло, а она все еще женихов тыковками потчует.

— Не вы мне, а я себе выберу пару.

Уперлась, и ни просьбы, ни угрозы, ни лупцовки не выбили дурь из упрямой головы.

Да и выбирать уже не из кого. Женихи побогаче отступились, ну, а беднота к Окуням не посмеет сунуться. Еще в мясоед подъехал было сын монопольщика из Майдан, так и его девка подняла на смех:

— Хорош жених, только нос да уши торчат!

Роман не раз в праздники замечал на себе взгляд черных глаз Орины. Но толковал внимание острой на слово девушки по-своему, остерегался ее, даже на всякий случай припасал ответы.

— Чего ж не садишься, Роман? — Орина все оправляет на себе новый кожух, от которого идет терпкий запах дубильни и аромат девичьих, вымытых зельем волос.

— Боюсь, Орина, кони притомятся,— Роман покосился исподлобья на девушку и перевел взгляд на добрых коней.

— Может, не их, а меня боишься? — Она блеснула ожерельями зубов, и грустная улыбка задрожала на ее удлиненном, с диковатыми глазами лице.— Правда, меня?

— Да нет, пусть тебя женихи боятся! — Роман, не глядя на девушку, вскочил в розвальни, однако не сел рядом с Ориной, а прилег вдоль саней, опершись локтем на мешок с еще теплой мукой.

— А ты разве не жених? — Она игриво повернула голову к парню.

— Пока что нет,— равнодушно ответил Роман.

— И долго будешь в подростках гулять? — Лицо Орины смеется, но диковатые глаза еще больше темнеют.

— Пока тебе кичкой голову не закрутят.

— Того только и ждешь?

— Почти что.

— А может, надо еще заработать на хату, на клочок земли? — спрашивает Орина сочувственно.

Роман настораживается.

— И это не лишнее.

— Ох, Роман, Роман, долго же ей, бедняжке, доведется ждать!

— Да, может, и подождет какая-нибудь чудашливая,— отвечает он, на миг представив себе Христину.

— Ой, хотелось бы, чтоб это была я! — говорит Орина, вздыхая и наклоняясь ближе к парню, и нет больше в ее глазах ни диковатости, ни задора, а только растерянность какая-то.

— Здравствуйте! Возьмите и мою баночку под деготь! — возмущается Роман, не сомневаясь, что Орина готовит подвох.— Еще не все тыквы пораздавала женишкам? — Он упирается локтем в мешок и, не подымаясь, рывком выскакивает из саней.

Перед ним еще мелькает обиженное лицо девушки, ее рассерженно поджатые губы. Орина по-кучерски размашисто хлестнула кнутом, лошади метнулись в сторону, вырвали санки из наезженных колей, и полозья так захрустели по промерзшему насту, словно под ними смачно лопались сочные огурцы. Роман выбивает из рукава чужую муку. Она топкой

пыльцой вьется в морозном воздухе, на миг голубеет, пронизанная лунным сиянием, и пропадает из глаз.

А сани виднеются уже возле самой экономии, и неведомо, смеется своенравная девушка или злится на него. Набаловалась из других веревки вить — ну, и к нему по привычке потянулась. Только неужто можно так обманывать глазами? Он вспоминает последний взгляд Орины, и капелька неясного сомнения проникает в его мысли. Кто знает, что у нее в голове,— не похожа ли эта девушка на свой кожух, от которого в одно и то же время несет дубильной закваской и пахнет лесной свежестью девичьих кос?

Не доходя до тополей над речушкой, Роман снова увидал Давыда.

— А ты все тут коченеешь да зябнешь? — удивляется он, встав рядом с товарищем между тополями, как в рамке.

— А ты думал, греюсь? — угрюмо попыхивая самокруткой, отвечает Давыд.

— Не вышла?

— Не вышла.— У Давыда дрогнула морщинка возле носа.— Где уж в этом проклятом хозяйстве выйти! С темна до темна крутись да крутись, как в аду. Нашему брату еще полегче: поработал до ночи — и вольный казак. А девушка после всего над кужелем засыпает, над ним и просыпается. Полотна уж на сто пятьдесят лет всем Плачиндам хватит, а все пряди́ да пряди́... Эх, Роман, почему я не царь? — Давыд так затянулся, что самокрутка вспыхнула и в глазах его лукаво блеснули два красных пятнышка.

— И что б ты делал? На сале бы спал и салом укрывался? — смеется Роман.

— Нет, первым делом,— прищурился Давыд,— наелся бы вволю колбасы с чесноком и купил бы, назло хозяйским сынкам, синие суконные штаны! Потом перемерял бы всю землю начисто и каждому нарезал бы по семь десятин. А после того запряг бы справных волов и отвез княгинюшку на свою землю.

— Может, царю больше бы пристало везти свою княгиню на лошадях? — подсмеивается Роман.

— Э, нет, для нашей земли волы лучше всего. Лошади на ней сразу становятся мокрые как мыши. Когда на волах пашешь, земля даже пахнет лучше, потому что до нутра ее, до живого, добираешься.

Давыд смотрит вдаль, словно хочет увидеть свое будущее,— ту пору, когда он будет владеть семью десятинами, кото-

рые, может, все-таки нарежет ему царь,— недаром же об этом время от времени шумят люди. Тогда ни он, ни Уляна и на час не останутся у Плачинды, чтоб он сгорел ярким огнем! И он смутно увидел, как его и Уляну везут добрые, смирные волы на их розовую под утренним солнцем землю...

Роман с улыбкой смотрит на парня и читает на его лице точь-в-точь те же мысли и надежды, которыми весь век живет его, Романа, мать. Она и до сей поры, как молодая, погружена в свои мечты и до сей поры свято верит во все слухи о земле, как в то, что по земле можно дойти до неба, и пусть Роман не выдумывает всякие глупости, хотя бы о них и в книжках писали, земля и небо — это одно, как тело и душа, только земля— будни человека, а небо — праздник его.

— Что ж, пойдем, Давыд? Чай, скоро и петухи подадут голос.

— До петухов еще далеконько, но уж, видать по всему, не выйдет она.— Давыд подавил вздох.— Ежели и выпадет бедному батраку малость счастья, так и ту украдут у него.

Под сапожищами Давыда большими кусками отваливается снег, пружинит невидимой щеткой промерзшая осока, гнутся стебли конского щавеля. С тракта донесся пьяный голос, потом сердитое гиканье и снова обрывок пьяной песни.

— Защелкал соловей! — злобно проговорил Роман.

— Кто это?

— Кто ж, как не этот паскудник Шмалий! С какой это радости или погибели он назюзюкался?

— Да к моему черту приходил покупать немецкую безрогую корову.

Парни берегом вышли на тракт. Там, под липой, упиралась, мотая головой, однорогая красно-бурая корова, а ее упрямо тянул к себе подвыпивший Шмалий. Огромный глаз животного то погасал, то лучился на лунном свету, как самоцвет.

— Гей, холера заграничная! — все больше разматывая веревку, взывал Шмалий.— Ребята, помогите! — крикнул он парням, но, узнав Романа, умолк, подошел ближе к корове, и глаз ее погас в его тени...

Вот уже показалась и лачуга, где после пожара живут Волошины. Смахивает она на чистенького мальчугана, который, играя, зарылся по пояс в землю и ему для забавы нахлобучили на самые глаза большой отцовский картуз. Ну, ничего, может, еще этой весной отпразднуют они новоселье.

Роман подходит к лачуге, пригибается, заглядывает в оконце. У печи прядет мать, тяжелое веретено крутится на полу под ее отведенной наотмашь рукой, посреди комнаты отец, сидя на липке, долбит топором обтесанный для ступы чурбан, а за столом, подобрав под себя ноги, расселся неугомонный Максим. Правда, сейчас он сосредоточенно пишет, даже кончик языка лежит на нижней губе.

— Явился наконец, гуляка! — добродушно встречает Романа отец.

Мать сразу опускает босые ноги на сырой земляной пол и спешит к печи.

— Где так запропастился? — спрашивает отец.

— Тебе все надо знать. Может, там был, где и ты в двадцать лет,— заступается мать за сына и, осторожно обходя щепки, уже несет в глиняной мисочке немудреный ужин, ставит на стол, придвигает деревянную солонку, на которой лежит надорванный стручок перца.— Ешь, дитятко.

— А вы?

— Мы уже поужинали.— Отец ухает топором, и кусочки дерева разлетаются во все стороны, жалобно позванивают на маленьких стеклах.

Роман вынимает из кармана деньги, отдает матери.

— Вот вам весь мой заработок.— И, чтобы не волновать ни себя, ни родителей, коротко добавляет:— Больше не пойду к Шмалию — нет работы.

— Ой! — тихо вскрикнула мать, и ее большие, утомленные глаза и все смуглое, еще красивое лицо подернулось печалью.— А мы так рассчитывали на хату скопить... Что ж теперь будет?

— Не сошелся же свет клином на Шмалии,— поливая себе на руки, отвечает Роман.— Может, в экономии что найдется, а нет — на сахарном или на винодельне.

— Трудновато теперь работу найти.— Мария садится на лавку и опускает темные, оплетенные жилами руки на колени, а в голове у ней нижутся невеселые думы.— Весной— другое дело.— Мать вздохнула, посмотрела еще раз со скорбной улыбкой на сына и тихо пошла к своему кужелю, унося с собой запах чистой полотняной сорочки.

Тонкий, чуть надломленный в плечах стан Марии еще легок, как у девушки, только вот руки уже тяжелеют: летом — от мотыги, серпа, зимой — от веретена и ткацкой ляды. Это только она замечает, а кто нанимает, не видит того:

ведь в руках Марии, кроме боли, совесть заложена, потому они и не знают отдыха ни на людях, ни дома.

Крутится, жужжит шмелем веретено и, словно тусклый огонек, раздувает вокруг себя крохотный омуток серого света. Кольнула пальцы сухая кострица и зазвенела в прослюненной нити,— ведь каждый початок пряжи не только пальцами выпряден, он и слюной смочен, потому и лупится с болью кожа на губах, потому всю зиму не заживают потрескавшиеся губы, бывает, и засмеяться нельзя — смех-то с кровью. Ну, да к этому не привыкать, это не впервинку. А вот Роман... Мать смотрит, как ее старшенький подымается из-за стола.

— Когда же думаешь пойти в экономию?

— Завтра, мама.

— Хоть бы там что нашлось...

— А не найдется,— заявляет отец, встав и расправив плечи,— другую, молодецкую работу поищем...

— Какую это другую? — недовольно спрашивает Мария, замирая от страха: она догадывается, на что намекает муж.

— Какую? — равнодушно переспрашивает Григорий.— Пригреет солнце — косы на плечи и в Таврию либо в Молдавию. Там уж или пан, или пропал.

— И думать не смей! — Мать разом оборвала нитку и впилась в мужа сердитыми глазами.— Хватит с меня и того, что ты добыл. А детей никуда от себя не отпущу! Никуда! Чтобы я и не слышала о таком баламутстве!

— Чего это ты так вскипела? — удивляется Григорий.— Что ж, ты их всю жизнь думаешь продержать возле своей юбки? — спрашивает он, кивнув на сыновей.

— Сколько смогу, столько и продержу.

— А мы, может, тебе из Таврии принесем в кошельке сразу на всю хату,— говорит Григорий, зная больное место жены.

— И от хаты отступлюсь, а его не пущу! — Мария вся побелела, на глазах выступили слезы.

— Зачем вы, мама, принимаете это так близко к сердцу? — Роман подошел к матери.— Не так страшен черт, как его малюют.

— И ты против меня? — она подняла налитые слезами глаза на сына.— Спроси у своего отца, зачем.

— Вали с больной головы на здоровую! — смеется Григорий.— Чем я тебе не угодил?

Мария посмотрела на него с болью.

— Не знаешь и поныне? Разве я с тобой прожила женою? Не женой, а бобылкой. Вот и не хочу теперь оставаться нищенкой, без мужа да без детей.

— Дурак поп — дурацкая и молитва! — Отец сердито хлопнул дверью и выскочил вон: терпеть не мог бабьих слез и попреков.

А Мария, не обратив внимания на его слова, уже улыбалась сквозь слезы, допытываясь у сына:

— Ведь правда, ты не пойдешь на проклятую чужбину, на батрацкую погибель?

— Верно, нет, ежели тут возьмут на работу,— отвечает Роман, а у самого сердце сжимается от жалости.

— Возьмут, возьмут! — горячо заверила мать, словно это от нее зависело.— Ох, дети, дети...— И она замолчала, склонившись к раскудрявленному кужелю.

Ночью Роман проснулся от холода. Он всегда спал неспокойно, сбрасывал дерюжку. Хотел было наклониться, чтобы поднять, но его уже укрывала мать.

— Спи, дитятко, спи!

Он хотел сказать ей, чтоб шла отдыхать, но сон так сморил его, что Роман и опомниться не успел, как все понеслось куда-то вдаль. И то ли вспомнилось, то ли приснилось ему, как еще недавно мать ночи напролет руками ворожила над пряжей, а ногами покачивала скрипучую люльку с Максимом. Даже песню расслышал:

Спи, усни, веселенький,
Как в стручке фасолинка...

И еще долетело в сон:

— Ох, дети, дети...

XI

Ветряки с детских лет нравились Христине. Какая-то необыкновенная и таинственная прелесть была в очертаниях этих деревянных птиц, в глухих взмахах крыльев, под которыми рождался и клубился ветер. Темные, как осенние пахари, они трудились с утра до поздней ночи, источая из своих каменных душ теплые струйки душистой муки. На этих дрожащих струйках держалась крестьянская жизнь, и если ветряки махали крыльями от Петра до нови, в селе и песни пелись веселее. Если же потрепанные крылья понуро обви-

сали и в дубовых столбах-«королях» надолго утихала дрожь, село расползалось куда глаза глядят, в те края, где бесхлебье не покарало землю и людей.

Больше всего Христина любила ветряки, когда они, перелопачивая ветер, вдруг замирали под большими, туманными звездами. В эту пору на не совсем еще затвердевший клочок перелога отовсюду наплывала такая тишь, что даже полуглухие мельники слышали, как из села по влажным полям неслась тревожная, задумчивая нежность девичьих голосов. Тогда хорошо было ехать на разбитой, скрипучей телеге, прощаясь глазами с усталыми крыльями; спущенные с телеги босые ноги сами раскачивались в лад далеким девичьим песням, а душа рвалась к подругам, хотелось петь, только было стыдно старших.

А сегодня возбужденная и радостная Христина остановилась перед ветряком, онемев от изумления: неутомимые крылья казались белыми, искрились, как будто отлитые из серебра; может, это не зима вовсе, а они, кружась, клубили вокруг себя метель и запорошили все вокруг снегом. Христину поразила такая догадка, и входила она внутрь мельницы, как в недосказанную сказку; поэтому девушку удивило, что на ее тихое «добрый вечер» никто не ответил. В задымленном свете фонаря едва было видно, что у короба возились тускло освещенные фигуры, а на мешках и кулях сосредоточенно сидели мужики, слушая небылицу маленького Петра Морозенка. Когда Христина вошла, он как раз перечислял, кто обречен сидеть в аду:

— Большие баре и их верные лакеи, мелкота, которая неправдой в господа выбилась, попы вместе с монахами, разные чиновники да писаря за то, что разводили на бумаге ложь, сапожники, которые тачали беднякам тесные сапоги, да пустомели, не почитавшие отцов, матерей и добрых людей. А вот что делать с шинкарями да с мельниками на том свете — и до сей поры не знают: шинкари недоливают, а мельники всегда берут лишнее за помол.

Ветряк оглашается хохотом, не смеется только мельник Безбородько, на котором скрестились все взгляды. Сердясь, он упрямо отворачивается, замечает Христину, и на его колючем от щетины лице мелькает неудовольствие.

— Раньше, девка, не могла прийти? Или ноги на печи отлежала?

«За что б ему сердиться?» Девушка с улыбкой пожала плечами и вскинула на мельника удивленные ясные глаза.

А он тоже пожал плечами, дивясь, чему можно улыбаться после его слов, потом повернулся к коробу, сунул пальцы под мучник, поднес черную, как старый ковшик, руку к носу и поднял голову.

— Левко, засыпай! Уснул, что ли?

На верхнем помосте неторопливо шевельнулся Левко Щербина. Он сильными руками поднял перед собой мешок, приложил к груди, а развязанный гузырь наклонил в короб. Зерно зазвенело, жалобно вздохнуло, и ненасытные камни загудели мягче. Парень затопал по ступенькам вниз и тут увидал Христину.

— И ты приехала молоть? — спросил он, кивнув ей головой.

— Пришла, Левко. У нас ведь лошади нет,— рассмеялась девушка, вспомнив все то же сватовство Левка к Тетяне.

— Так я тебя домой отвезу.

Левко приладил мешок к коробу и принялся выгребать муку. Она ласкала ему пальцы мягким теплом, вызывая припрятанную где-то под упрямыми бровями улыбку. Уже по этому можно было догадаться, что Левко мелет не последнее зерно.

Старый Гнат хоть и любил ярмарки да водку, но хлеб, как мог, приберегал на черный день, памятуя, что рубль может обмануть человека, а зерно — никогда. Потный, облепленный остью и половой, Гнат сам после жатвы подымал на свежевымазанный глиной чердак тяжелые мешки, бережно ссыпал зерно, какое получше, вокруг трубы, где сушились на зиму груши. Поэтому от зерна у Щербин всегда пахло грушами. Когда высыпали последний мешок, жесткие, светло-желудевые глаза Гната становились задумчивыми, он медленно обводил взглядом семью и говорил всегда одно и то же.

— Слава богу, перезимуем. Держитесь, дети, плуга, хоть как-нибудь проживете на свете — за ним и господь ходил когда-то,— говорил он, вспоминая свои лучшие святочные песни — щедривки, где пророки запрягали волов, бог ходил за плугом, святой Петр погонял, а богородица сеяла пшеницу. Только, видно, потом наскучила богам мужицкая работа, вот и забросили ее, а золотой плуг спустили на землю, чтобы земледелец им всякий люд кормил — и работящий и ленивый.

И когда Гнат Щербина после смерти родителей сменил деревянный воловий плуг на саковский шестерик, он долго

любовался своим приобретением, словно невесть каким чудом. Да вот подросли дети, и не раз его упрямую голову одолевали заботы: придется скоро делить землю на четыре клочка, и там, где ходил один плуг, пройдут четыре. Видно, потому слова «держитесь, дети, плуга», он с годами выговаривал не так твердо, как в ту пору, когда сыновья были помладше, а он — помоложе и теплилась еще надежда разбогатеть.

Выгребая дощечкой муку, Левко изредка поглядывал на Христину. Она, слушая, как черти делают людям разные пакости, примостилась под лестницей и то и дело улыбалась своим надеждам и мечтам. Все радовало девушку, о людях думалось одно хорошее, и даже неприветливые, все в морщинках глаза Корния Безбородька не разрушали строй ее мыслей, унесшихся далеко от ветряка, к Роману. Покажись он сейчас в дверях — она бы и не глянула на лошадей Левка.

Но в дверях показался не Роман, а дед Дунай, близкий родич Волошиных. И то уж хорошо. За спиной он придерживает тяжелый груботканый мешок зерна. Левко, увидав старика, торопливо подхватил огромный мешок на свое плечо.

— Ты, Левко, не больно старайся,— неохотно отдал свою ношу дед Дунай.— Плечи у тебя еще мягкие, не затвердели мозолью.

У столба угодливо захохотал Безбородько.

— У Левка чугун, чугун, а не плечи!.. Добрый вечер, дедушка! Давненько не видал вас. Можно сказать, перезимовали?

— А-а-а, это ты, Корнюша? — презрительно сощурился старик, назвав мысленно Безбородька ежом. Дунай чуть ли не у всех людей, особенно у тех, кто ему не нравился, находил сходство с каким-нибудь растением или животным.— Крутишься?

— Как веретено, как веретено в пост.

— Да уж по роже видно, какой у тебя пост.

Помольцы расхохотались, а мельник умолк, отирая рукавом муку с колючей круглой физиономии. Его так и подмывало затормозить крылья и крикнуть на весь ветряк Василю Гаёвому: «А ну, парень, забивай клинья! Сегодня больше молоть не будем». Но пока он здесь не хозяин, а только господский наемник. Правда, сам барин уважает его, подчас даже своим вином и платьем жалует. Но стоило этому старикану при всех осрамить мельника, растоптать его гордость, когда он разоделся в дорогие подарки, стоило Дунаю спросить: «А что, Корний, у тебя под барскими обносками и тело

стало барское, уж и не глядишь на мужиков?» — и пришлось положить осмеянные дары на самое дно сундука. Корний охотно сбыл бы господское платье с рук, да вдруг спросит барин: «А что это я, Корнюша, не вижу на тебе своих брюк?» И он с почтительным смешком ответит: «Берегу их, батюшка барин, в сундуке берегу, как вы свои медали».

Хе-хе! У Корния есть голова на плечах, он знает, что если ответ понравится барину, новая милость его не минет. Потому он всегда заранее прикидывает, как ловчее гнуться перед барином. Такая уж ему, Корнию, доля досталась — крутить крыльями ветряков и своими мозгами, пока не докрутит до собственного ветряка. А тогда и барин увидит, что Корнюша и ростом-то повыше.

С верхнего помоста спустился Василь Гаёвый, которого беспокоила застучавшая шестерня.

— Василь, сынок, ты тут? — удивился и обрадовался дед Дунай.

— Да, тут как будто,— весело отозвался парень и, переложив деревянный молоток в левую руку, поздоровался с дедом.— Мы вам сейчас смелем.

— Э, нет, я не лучше людей, погожу, погожу,— покачал головой старик.— Выходит, сюда нанялся?

— Продался,— коротко ответил парень, и на его запыленное лицо легло раздумье.

— Мелешь?

— Нет, налаживаю снасть. Как-никак три ветряка.

— А что отец?

— Да уже собирается мерять дорогу деревянным кондуктором.

— В Таврию?

— Нет, за Дон. И меня хочет взять с собой.

— А мама?

— Поболела, а теперь в экономию поступать готовится, к тернице, трепать коноплю.

— Горюет?

— Нет, поет, как девушка.

— А что ж,— отозвался Безбородько, и глаза его замаслились,— в экономии весело и девкам и бабам, особливо в сумерки.

— Твоей бы жене, Корнюша, до смерти так веселиться, чтоб ты людям не завидовал! — отрезал дед Дунай.

Колючие щеки Безбородька еще больше встопорщились, словно на них жестче стала щетина.

— Ох, и злой же вы, дядя Иван! Не говорите с людьми, а шипите, как сало на сковородке.

— Это потому, что ты шипишь,— буркнул дед и положил дубленую руку на седую, с желтизной бороду.— Добрый вечер, Христинка! — Дед теперь только увидел девушку, и на его сухом, как грецкий орех, лице ласково дрогнули морщинки.— Где это ты так скоро выросла?

— У воды, дедушка,— Христина засмеялась. Ей хотелось найти в лице деда сходство с Романом, но она не нашла ничего, кроме свойственного обоим врожденного достоинства.

— Гляди, скоро уже и замуж отдадим.

— О, когда еще это будет! — отмахнулась и покраснела девушка.

— Только сваты на порог — ты вприпрыжку помчишься,— отозвался Левко.

— Как ты к Тетяне! — с сердцем оборвала Христина, и по ветряку прокатился хохот.

Левко не нашелся, что ответить, нахмурился, отвернулся и молча продолжал выгребать муку.

«Ну и пусть. Только и слышишь от него про сватовство да поцелуи,— подумала Христина и тоже отвернулась.— Дура, что согласилась ехать с ним».

Она вышла на висячее крылечко, перильца которого лежали на точеных балясинах. У самых ступеней крыльца спокойно жевали жвачку степные косоглазые волы деда Дуная. Услыхав над собой скрип, они чуть подняли головы, их роскошные рога столкнулись, загудели, звонко, дуплисто, и девушке подумалось, что немало пожили, немало поработали на земле эти неторопливые, дикоглазые труженики.

Вокруг до самого неба колыхались изменчивые, серебряно-зернистые с голубой прозеленью переливы наста. Казалось, земля даже теперь бродила зерном, и ее грезы, как сон, расцветали на снегу.

Вглядываясь в изменчивую даль, пересеченную обсаженным липами трактом, девушка тут только заметила у самой дороги очертания трех хат. Занесенные снегом, отбившиеся от села, они, как странники, задумались у тракта: куда бы пойти?

Христина вздохнула. Может, ей вспомнилось, что последняя, недостроенная хата — Романа, а может, подумалось, что вот скрылся он в поле, за снегами, а мысли все возвращаются к нему. Отчего бы это? Еще вчера, на пруду, он был для нее не лучше и не хуже остальных, а тут так и лезет в

голову. «Верно, потому, что донес мешок»,— посмеялась она над собой и сразу повеселела.

А месяц и снег творили вокруг девушки свое чудо. Казалось, на ровных полях вились кованого серебра тропки, проступали очертания невиданных озер, коронами вспыхивали бриллиантовые россыпи, а над самым окоемом колыхалось несколько облаков, уже по-весеннему влажных и тяжелых. Христину так и тянуло туда, в ночную красу, навстречу горизонту, уже дышавшему мартом, но на мельнице ее ожидал кулек заработанного зерна, и власть его над нею была сильнее всех предвесенних красот. Ну как тут не вздохнуть: ведь вот и летом, на господской свекловице, не раз ее тянуло вдаль, но сапка, которой она ежедневно добывала свой батрацкий пятиалтынный и на которую, отдыхая, опиралась, сразу же подсекала эти порывы.

На крыльцо неторопливо вышел Левко, не зная, как ему быть — молчать или заговорить с этой непоседой. Дулся-дулся, но, видя, что его не спешат окликнуть, подал голос.

— Ты что это так въедлива стала? — спросил он, глянув исподлобья на Христину.

Девушка оглянулась. Лицо ее, освещенное месяцем, наискось пересекала тень. Христина скользнула по Левку отсутствующим взглядом и молча отвернулась. Это задело его.

— Не слышишь, что старшие спрашивают? — Левко поставил ногу на скрипучие перила крыльца.

— Слышу, не оглохла.— Девушка с сердцем обернулась, упрямо вскинув голову.

— Что ты ломаешься, как гречишный бублик? — еще больше нахмурился Левко.— Нос задираешь? Или разбогатела за зиму?

Христина тряхнула головой.

— Не хочу слушать твои глупые слова. Куда ни придешь, с кем ни встретишься, только про сватанье да поцелуи болтаешь.

— А как бы люди жили без поцелуев? — не сердясь, а удивляясь, спросил парень.

Ну что ты будешь делать с этим Левком? Досада и смех вместе распирали Христину. Но она сдержалась, насупилась, прикрикнула:

— Бессовестный ты, и все! — махнула юбочкой и убежала внутрь ветряка.

Левко посмотрел ей вслед, недоуменно пожал плечами: «Вот дуреха, уж и пошутить с ней нельзя!»

Ответь она ему так год назад, угостил бы шлепком, да и все, а теперь бес его знает, что с нею делать? Левко, в задумчивости насвистывая, походил по крыльцу. Так он и думал — нет на свете зелья вреднее баб. С ними сам черт ногу сломит... Вчера пела ему на пруду: «Левко, миленький»,— а сегодня дураком выставляет. Женщину каким боком ни поверни, найдешь одно лукавство.

И хотя Левко мысленно осыпает Христину непотребными словами, перед ним неотступно маячит образ девушки, какой он видел ее вчера, на барском пруду. «Сгинь, нечистая сила!» Нет, не посадит он Христину в сани, пусть пешком колбасит со своей ношей. Но он уже представил себе, как они будут возвращаться с девушкой в село, как он, перебирая вожжи, словно невзначай, подтолкнет ее локтем, и мысль о том, что теперь придется ехать с мельницы одному, заставляет его поколебаться. Сам ведь набился подвезти. Задом только раки пятятся. Шут с нею, посадит, только не рядом с собой, а в задок, с ихней сестрой нежничать нечего, а то возомнят невесть что.

Настороженно подняв голову, он недоверчиво глянул на дверь, за которой скрылась Христина. Хотелось сказать еще раз: «Сгинь с глаз долой»,— но он отогнал эти слова, прошелся по тесному крылечку, прислушиваясь к вихрю собственных мыслей и могучим взмахам мельничных крыльев. Эти крылья, норовя взлететь, глухо гудели и поскрипывали, мололи кому-то муку и наматывали на свои концы, как на сновалку, лунную пряжу.

Левко дернул на себя визгливую дверь и переступил порог. В тусклом отблеске фонаря было видно, как из мучника извилистой струйкой сыпалась и сыпалась мука, а на нее задумчиво, как на свое будущее, смотрела притихшая Христина.

«Ну вот, теперь смиренница.— Левко, морща лоб, взвалил на плечи свой мешок муки.— Уж видно — зелье...»

Левко, верно, долго бы еще злился, если бы не рассмеялся, да так, что чуть не выронил мешок. И отколет же дед Дунай! Старик степенно попрощался со всеми, а мельника перекрестил. Тот, не сообразив, что к чему, спросил:

— Чего это вы, дедушка, крестите меня?

— А может, ты в черта оборотился,— ответил Дунай, и все на мельнице покатились со смеху.

XII

Месяц совсем уже убаюкал село. Укутанное снегом, инеем и синей тишиною, оно словно покачивается и, кажется, вот-вот поплывет куда-то. И Давыд совсем бы не удивился, если б хаты вдруг шевельнулись, закружились, встрепенулись бы деревья и высокие журавли и поплыли бы в иные, счастливые края — туда, где и батрак может свободно встретиться со своей милой.

Слоняется парень по сонным улицам и сам не знает, куда идти. В дом Плачинды, чтоб он сгорел, не хочется, а у кого же тогда отсидеться до света, пока не позовет хозяйская скотина? У Давыда в селе есть родня, но не такая, чтобы к ней можно было ночью постучаться в оконце, поговорить, пожаловаться либо просто уснуть на свежем, шершавом рядне, прикрывшись полушубком или свиткой. Хотя к чему роптать на судьбу? Есть же у парня тетка Василина, которая как сына любит сироту. Беда только, что она знахарка. Ну, да пускай!

Давыд решительно сворачивает на край села, где на гиблой земле высится похожая на кочку не то хатка, не то землянка. Весной и осенью вода заливает всю теткину топь, и посреди воды, словно разлохмаченное гнездо, осиротело торчит немудрящее жилище. Однако как ни ветхо оно, как ни топко здесь, тетка дорожит и этим: ведь это святая земелька, даром что на ней, кроме осытняга и дротянки, ничего не растет. На этом проклятом зелье коза, единственная теткина скотинка, и та не пасется, оно не годится даже на подстилку— жесткое, как проволока, и не перегнивает. А тетка и этим сорняком тешится, да еще находит среди него какие-то корешки, исцеляющие людей и скот. Василина все утешает Давыда, что после ее смерти земля перейдет ему, а он только пожимает плечами.

— Что ж я буду делать с этой дьявольской землей?

— Грех так говорить. Всякая земля — от бога, только голые горы — от нечистого.

— Так на этой топи ничего не родится. Съели вы за свой век отсюда хоть картофелину или огурец?

— Не съела, потому что такая моя судьба пропащая: для меня и на жирном черноземе, кроме трав, ничего не уродится. А ты вырастишь и на этом несуразном клочке.

Вдова так искренне верила, что ее земелька может прислужиться другому человеку, который не зельем на хлеб зарабатывает, что со временем уверовал в это и Давыд.

Не дорога — тропка вьется к одинокой обветшалой халупке. Давыд подходит к ней, слышит ровный, монотонный голос. Эге, выходит, еще не все село спит, кто-то и сейчас ищет лекарств или приворотного корешка. Давыду и любопытно и страшновато, даром что это ворожит его родная тетка. Он собрался уже было заглянуть в оконце, но дверь скрипнула и на пороге появилась закутанная до самых глаз девушка.

Увидав парня, она оторопела, чуть приоткрыла лицо, изумленно глянула — уж не ее ли милый, привороженный зельем, явился к ней? — а потом, вскрикнув, со всех ног бросилась бежать прямо по снегу.

— Кто там пугает людей? — раздался недовольный голос тетки, и она стала на пороге, строгая и черная, как монахиня.

— Это я, тетя Василина.

Вдова узнала племянника, обрадовалась:

— Давыд! О, да ты еще выше стал! Растешь, как из воды. Пойдем же в хату,— и она засуетилась, стряхивая со своей одежды на снег запахи трав и кореньев.

— Спугнул я, тетя, чью-то любовь! — хохочет Давыд, пригибаясь в дверях.

Но та не смеется шутке, а грустно отвечает:

— А что ты думаешь? Любовь — что пташка: легко и спугнуть и сгубить. Гляди, как бы не пришлось мне после тебя собирать девичьи слезы... Обидеть человека нетрудно, а вот пособить некому... Ну, ты-то у меня не таков.— Она доверчиво трогает его за руку и зажигает плошку.

Когда неверный огонек осветил низкую, вросшую в землю хибарку, в глаза отовсюду полезли всевозможные зелья: копытник и раковая шейка, материнка и чернобыл, горицвет и зверобой, деревей и ромашка, хвощ и царский жезл, медуница и белена, подмаренник и подорожник, одуванчик и молочай — все, что растет на земле, воде и в болоте. Растения свисали бородами с матицы, стояли снопиками на шкафчике, лежали на лавке, сохли на печи, висели на стенах, торчали из-за образов, выглядывали из горшочков, лежали на столе, рядом с хлебом, словно напоминая, что они и есть хлеб знахарки. Не спрашивая, хочет ли Давыд ужинать, тетка зажгла на шестке таганчик, поставила на него сковородку и разбила яйца, полученные за зелье или ворожбу.

— Тетя, да я есть не хочу.

— Поговори у меня! — ворчит тетка, склоняя темную голову к огню.— Когда же это батрак есть не хотел? Разве что на пасху, да и то не всегда. А у тебя, Давыд, словно бы печаль на душе?

— Да что вы, тетя...

— Ой, не говори! — Она зорко смотрит на него большими глазами колдуньи, и ему становится не по себе.— Может, и ты уже сыскал пару? Может, и тебе зелье понадобилось?

— Обойдемся и без него,— смеется Давыд, но об Уляне помалкивает.

Василина ставит на стол яичницу, режет на груди хлеб, тоже пахнущий травами, дает Давыду ложку с резной рыбой на черенке и смотрит, как ужинает племянник.

— Ну, а вы, тетя?

— А я не хочу... Прихварываю я, Давыд...

— А вы полечитесь зельем.

— От старости да печали нет зелья,— вздыхает вдова: она и по сей день горюет и по мужу и по единственному сыну, умершим в мор лет пятнадцать назад.— Вот помру, а ты перебирайся на мой надел, приводи его в порядок: земля, какая бы она ни была, родить должна.

— Уродится в этой трясине...

— Как выгонишь из нутра у нее воду, все уродится. Может, рвы бы выкопать? — Она поворачивает голову к окну, глядит на свою изобиженную водой полдесятинку. Только зимою, занесенный снегом, похож ее надел на обычную землю, такую, как у всех людей.

И Давыд снова удивляется в душе: почему тетка Василина, так любя землю, не стала обрабатывать ее, а сделалась знахаркой?

После ужина Василина взбивает ему, как хозяину, подушку, стелет на переложное сено свежую дерюжку, и он сладко потягивается на постели, унесясь всеми помыслами к Уляне. Теткина сотканная из чар постель сразу приближает к нему девушку...

В хате словно сама собою гаснет плошка, в лунном свете увеличиваются, как будто вырастают, пучки и снопики трав, и густеет их настой. Уже засыпая, Давыд услыхал, как кто-то засеменил по полу, подошел к постели и принялся щипать траву. Он испуганно приподнялся и замер от страха: прямо на него смотрели узенькие бесовские глазки, мерцая зеленовато-желтым огнем.

«Нечистый!» Он поднял руку, чтобы перекреститься.

Но в эту минуту «нечистый» жалобно попросил: «Не меня, не меня!» — и выдернул из кровати пучок переложного сена.

— Тьфу! — сплюнул Давыд.— Так можно до смерти козы испугаться.

Сразу куда-то исчез сон, только на полу пересевалась лунная дремота, и на ней тоже выделялись тени трав, несущих человеку здоровье. «От старости да от печали нет зелья»,— припоминает Давыд слова тетки и потихоньку начинает одеваться. Мысли его, как аисты осенью, все кружат и кружат над Уляной и теткиной полдесятинкой. «Вот и получишь ты, Давыд, два счастья: славную девушку да клочок неродючего, начиненного жабами болота». Грустные мысли, задев по сердцу, сразу же пропали, а перед взором снова милое личико и карие глаза, в которых перемешались веселая насмешливость и пугливая девичья настороженность.

Обувшись, Давыд на цыпочках, чтобы не услыхала тетка, выходит из халупки, поеживаясь, смотрит на занесенный снегом бесплодный клочок, посреди которого торчит несколько словно искривленных ревматизмом кустиков лозняка.

В селе тихо-тихо, только порой всколыхнется тень молодого деревца да меж ветвей, рассыпаясь, зашуршит иней. Неподалеку от школы Давыд нагнал Степана Васильевича, возвращавшегося откуда-то с треногой для рисования. Узнав друг друга, оба удивились.

— Поздненько же ты возвращаешься от нее! — заметил учитель, поправляя черное гнездо волос.

— Да и вы, Степан Васильевич, не раньше. Рисовали?

— Леваду с вербами и яворами при луне.— Учитель подул на застывшие пальцы.

— А днем не рисовали ее?

— И днем рисовал.

— Для чего же понадобилось ночью?

Учитель смешливо наморщил лоб.

— Ты днем видел свою милую?

— Да, видел...— Давыд запнулся.

— А вечером тоже захотел встретиться?

— Не без того...— Давыд даже вздохнул.

— Вот так и мне хочется повидать мою леваду: мила она мне,— засмеялся учитель, а уж потом к нему присоединился и Давыд.

— Сравнили милую и леваду...

А самому вспомнились два тополя, меж которыми по вечерам так чудесно всходит месяц, посылая лучи в самую душу и пробуждая в ней волнение. И Давыд задумался над тем, как все чудно бывает в жизни: почему приходится таить, оберегая от насмешек, и нежность к деревьям и любовь к девушке?

— О чем думаешь, парень?

— Да тоже про одну плохенькую леваду. Ее никто и рисовать не захочет,— говорит Давыд, вспоминая ревматический лозняк на своей топи.— Достается мне в наследство лягушечье царство, а что с ним делать — и ума не приложу.— Он рассказывает учителю о теткиной земле, а потом спрашивает: — Можно от нее чего-нибудь добиться или остается только рукой махнуть?

— Добиться можно, только не семь, а двадцать семь потов сойдет с тебя.

— Нам, Степан Васильевич, пота не покупать. Что ж можно сделать?

— Есть такой способ, называется — датский. Выкопать в топи как можно больше рвов на полтора аршина глубины — в них сойдет и почвенная и подпочвенная закись. Потом разровняешь почву, посолишь ее известью, удобришь— и сажай что хочешь.

— Вот так способ! — Давыд крякнул.— Верно, придется прокопать версты две рвов.

— Не меньше,— согласился учитель.

Парень задумался, представляя, как трудно лопатой выворачивать этот тяжелый, гнилой грунт.

— А полегче способа, чтоб оно сгорело, нету, как батраку землю приобрести?

Учитель остановился возле школы, огляделся, зорко посмотрел парню в глаза.

— Полегче, Давыд, нету. Есть еще потруднее, но верный.

— Какой же это способ? — У Давыда сердце екнуло, и шевельнулись его удивительные, торчащие ноздри.

— Забрать землю у тех, кто, владея большими угодьями, не пашет, не сеет, не жнет.— Учитель посмотрел вдаль, где за селом лежали под снегом поля и леса пана Стадницкого.— Ради этого, может, доведется прокопать и не две версты рвов. За причастность к такому способу иные люди на всю жизнь идут копать рвы да мыть золото.

— Колодники, Степан Васильевич?

— Революционеры, Давыд. Запомнишь слово?

— Запомню. А они тоже из нашего брата, безземельные?

— Большей частью безземельные,— усмехнулся учитель.— Это рабочие, Давыд...

— Да, у тех земли нету,— покачал головой парень.— Только зачем же им тогда добиваться земли? Железо на фабриках опротивело, в село потянуло, что ли?

— Нет, Давыд, они хотят, чтобы всем людям по-человечески жилось, чтобы у всех был свой кусок хлеба.

— Да и надо-то человеку немного: чтобы пожевать было что да чем прикрыть грешное тело,— ан и этого нет,— задумчиво сказал Давыд.— Стало быть, надо вырывать землю у ненасытных... А третьего способа нет?

— Есть и третий: тащи свое ярмо, пока жилы на шее не лопнут. Его-то ты хорошо знаешь.

— Да уж,— и он приложил руку к шее, словно хотел проверить, не лопнули ли уже на ней жилы.

По сонным улицам Давыд возвращается домой, позади него покачивается удлиненная тень, а впереди бегут, раскатываются мысли, и перед глазами вырастают то теткина топь, то взлелеянные в мечтах семь десятин, то колодники, которым до смерти суждено копать рвы и мыть золото. В раздумье он не заметил, как дошел до жилища Плачинды, чтоб оно сгорело... И вдруг остолбенел: у калитки темнела девичья фигурка.

— Уляна, ты? — не веря себе, спрашивает он, а по телу теплом разливается радость.— Неужто ты?

— Может, и я,— невесело отвечает девушка.

— Вышла все-таки?

— И не думала... Просто спать неохота.

— А я тебя столько ждал!

— Долго? — голос девушки смягчается.

— Кажется, век!

— А потом куда ж тебя понесло?

— Хотел переночевать у тетки.— Давыд приблизился к девушке.— Выходит, ждала меня?

— Больно ты мне нужен, полуночник! — Она отстранилась, а на губах заиграла улыбка.

— Ой, наверно, нужен! — Давыд не может скрыть радости.— Стало быть, ждала? — Он бережно привлекает к себе девушку.

— Отстань, Давыд.— Уляна уперлась сильными руками ему в грудь.

— Вот и не отстану! — Он склоняется к ней и звонко целует в озябшую щеку.

— Ой, Давыд, грех ведь! — испуганно вскрикивает девушка, потирая рукой щеку.

— Не грех, Уляна,— уверенно отвечает парень.— Грех, когда целуются для забавы. А я на тебе женюсь.— Он обнимает девушку и снова целует.

Уляна не то вздохнула, не то охнула и, опустив голову, прильнула к парню. И эта доверчивость тронула его. Он большой рукой погладил ее платок, потом сдернул его, поцеловал девушку в волосы, от которых пахло свежескошенными лугами и каким-то цветком.

— Чем у тебя косы пахнут?

— Верно, щелоком,— не поднимая головы, стыдливо ответила девушка.

— Да нет, цветами какими-то.

— Цветами? Может, мальвой? Я в ее лепестках варила косоплетки.

— Мальвой, мальвой! — И он снова поцеловал ее волосы.

— Не надо, Давыд,— просит девушка, хотя на сердце у нее хорошо-хорошо.

— Почему не надо?

— Мне стыдно.— Она подняла на него глаза, и он видит, что в них не осталось ни насмешки, ни девичьей пугливости, а одна только грустная просьба. И в самом деле — откуда знать девушке, где ее ждет хорошее, а где дурное?

Давыду хочется поскорее рассеять ее сомнения:

— Ты, Уляна, не подумай плохого. После пасхи, чтоб оно сгорело, пойдем под венец.

— Ой, правда? — Уляна и перепугана и смущена.

— Правда.

— А где же мы жить будем?

— Сперва у тетки в халупке. Тетка и землю свою мне дает.

— Какая уж это земля! — девушка улыбнулась и безнадежно махнула рукой.

— Эге, много ты понимаешь! Вот я из нее датским способом выгоню воду, так там все уродится.

— Каким, каким способом?

— Датским! — гордо ответил Давыд.

— Это что же за способ? — Уляна и не знала, какой умный у нее Давыд.

— Простой,— уверенно солгал парень.— Один мужик выдумал, Датько по фамилии, и ему, верно, тоже от родных

досталось болото. Только накопаемся мы с тобой, как те колодники, что золото добывают. Зато после сможем все, что нравится, посадить и посеять, и главное — для себя!— Давыд опускается на корточки и рукой очерчивает на снегу четырехугольник.— Вот тут посадим вишенник, а подальше будут яблони и груши,— он выдавливает пальцем лунки в снегу.

Уляна тоже наклоняется к рисунку, вглядывается в него, как в свое счастье, а потом вздыхает:

— Ох, и чудной же ты, Давыд...

— Отчего ж чудной? Думаешь, не будет у нас вишенника и сада?

— Может, и будет, да только на снегу,— не сводя погрустневшего взгляда с рисунка, говорит Уляна.

— Э! — Парень не знает, что ответить, выпрямляется и снова обнимает девушку. От ее красивой шеи веет теплом, а волосы все так же пахнут мальвой.

XIII

Христина только недавно отошла от тех лет, когда в самых заветных мечтах ей все хотелось лететь куда-то. Бывало, только зажмурится, а руки сразу становятся легкими крыльями, и она в сладком испуге подымается, подымается над хатами, летит мимо левад, проносится над реками, лесами и видит все-все, что делается внизу: вон дети, приложив ладошки к глазам, провожают ее восторженными взглядами, а мать гонит в стадо корову и грозит дочке хворостиной; вон рыболовы тащат бредень с серебряной рыбой, а за рекой колосья спеют, клонятся, а над ними встает солнце и тоже кажется сотканным из колосьев. Так и влетала девушка в счастливый сон, где все было красивее либо страшнее, чем в жизни.

Может быть, именно потому, что больше всего на свете Христине хотелось иметь крылья, она и по земле не ходила, а словно летала. И ни одна свадьба, ни одна пляска, ни одно святочное колядованье не обходились без нее. Даже на помещичьей свекловице сапка у ней не полола, а приплясывала, догоняя самых лучших пололыщиц. И только в этом году, после Семена, чуть присмирела непоседа, когда, впервые надев не перешитые, а новые, с желтыми голенищами сапожки, а на голову нацепив целую мелочную лавочку лент, увидала

в зеркале, что она уже девушка, а не какой-нибудь кубарь, который старшие гонят отовсюду шлепками да подзатыльниками.

Это неожиданное и волнующее открытие порадовало и рассмешило Христину. Она подмигнула себе, как заговорщица, показала всем завистницам язык и сразу стала серьезной при мысли, что она, ей-богу, недурна и пора уж искать себе пару.

Вот только как теперь вести себя с парнями, этого она не знала. Во всяком случае, первого, кто подымет на нее руку, как на свекловице, она осадит пренебрежительным взглядом, презрительными словами и гордым движением плеч. Все это она тоже несколько раз проделала перед зеркальцем и осталась довольна собой и своим решением.

Но в эту осень и парни стали другими, словно их подменили или с дальней ярмарки привезли,— они сразу, без всяких насмешек, признали ее взрослой и — просто смех! — таращили на нее глаза больше, чем надо.

«И что они во мне нашли?» — шевеля нижней, пухленькой губкой, лукавила она с собою и все чаще подолгу заглядывалась на себя: и когда припадала к ручейку,чтобы напиться, и когда останавливалась на первом ледке; даром что в нем ничего, кроме тени, не увидишь, а смотреть приятно. Понемногу привыкнув к тому, что все относятся к ней как к ровне, она порой пыталась уже верховодить и даже проказничать. И тоже ничего — сходило с рук. А когда какой-нибудь паренек пробовал за ней увязаться, она бесцеремонно, прибаутками да смешками, отшивала его или при всех нарочно громко спрашивала:

— А сколько вас таких на полфунта идет?

И приходилось молодцу бежать с глаз долой. Да и на что ей, в самом деле, эти прилипалы, которые так и норовят где-нибудь наедине пошептать на ухо разные небылицы? Ей и со всеми вместе хорошо и весело, и пусть никакой леший к ней не лезет, вот как!

И вдруг в один день все перевернулось у нее в душе, вся насмешливость, все недоверие растаяли, как льдинка на мартовском солнышке. Ох, и откуда он взялся, ей на горе, этот Роман? Ишь, готов уже и на плечо ее посадить! С Романом и она, пожалуй, тайком постояла бы на леваде. Христина, замирая от страха, увидела себя на лужку, под вербой, увидела рядом Романа, вздохнула, да так с этим видением и погрузилась в сон.

Проснувшись, она не сразу сообразила, отчего ей так хорошо. Но вспомнила вчерашний вечер, обрадовалась и тихонько засмеялась в постели.

— Ты что это, чумовая, сама с собой хихикаешь? — удивилась мать у печи.

— Уже и засмеяться нельзя? — Христина подняла одну бровь выше другой, выскочила в одной сорочке из постели, пытливо глянула на мать, сунула ноги в старенькие опорки и завертелась веретеном по хате, повсюду наводя порядок. Вышитые по подолу цветы так и кружились венком вокруг ее красивых, чуть-чуть разведенных в стороны икр, на которые, казалось, тоже перешла вышивка с сорочки — на выбеленной зимою коже густо и молодо рассыпались розовые пятнышки.

— Может, девка, юбку бы накинула да патлы заплела бы хоть как-нибудь: а ну, как войдет кто?

— Можно и юбку! — Одежонка разом, мелькнув над головой, очутилась на бедрах, и Христина дольше, чем всегда, разглядывала свой наряд, теперь только заметив, что в таком будничном виде ей никак не пристало идти на пруд. Заметила и даже вздохнула.

— Чего вздыхаешь, словно последнее спекла? — спрашивает мать, с добродушной насмешкой глядя на свою козочку: таким вот проворным и отец был.

— Да разве, мама, в этих лохмотьях можно выйти на улицу! — Нижняя губка жалостно выпячивается, жалуется и низкий лобик, а размашистые бровки на нем прогибаются.

— До нынешнего дня выходила же,— рассудительно говорит иссушенная нуждой и трудом Олена и пытливо, искоса глядит на дочку.

Христина вдруг опускает черные венчики ресниц и смущенно приоткрывает подвижные губки. Уж не догадалась ли, не ровен час, мать, что творится с дочкой?

— Вон и вышивка вся посеклась,— теребя, приподымает она подол юбочки.

— Скажи на милость! А вчера будто не посечена была? — с притворным удивлением разводит руками мать.— Ой, неспроста мудришь ты, девка!

— Ну вот, уже и «мудришь»! Разве вам можно что-нибудь сказать! А вы корову доили? — Нижняя губка в тревоге стягивается в морщинистый узелок, и девушке хочется поскорее ускользнуть от проницательного взгляда, который не больно-то ей по душе. Христина поспешно накидывает на

себя материнскую, с засученными рукавами катанку[1], хватает подойник, заглядывая одним глазком в зеркальце, примеряет ведерко над головой и выскакивает из хаты.

У порога она спугивает кур и осиротевшую голубку и долго смотрит, как серебряные крылья птицы трепыхаются на сереньком полотнище низкого неба. Так вот и она, Христинка, еще недавно в своих мечтах птицей поднималась над селом и скрывалась в поднебесье, а теперь видит, что ей и на земле хорошо. Веселее улыбаются ей из-за огорода небольшие, в белом наряде хаты; на огороде уже потрескался снег и оседает гигантскими колесами.

Христинка воображает, как эти белые колеса тронутся под солнцем, разлетятся на брызги, на весенние ручьи и потоки. Вода и весна уже приближаются к девушке. И вдруг все это видение разрушает голубка, севшая на тын. Христина улыбнулась голубке, повернула к повети и тихонько, про себя, запела:

На мельнице, возле брода,
Два голубя пили воду.
Напилися, посидели,
Поднялися, полетели.
Крылышками замахали —
Любовь свою вспоминали...

А вспоминает ли ее Роман, как она его? Девушку вдруг бросило в жар. Вот глупая она, глупая, как придорожный пенек! Нашла чем голову затуманить! Нужен ей Роман! Подумаешь! Увидит его на пруду — и бровью не пошевельнет, даже не обернется. Счастье какое! А то она не знает, отчего сохнут девушки. Только покажи кому-нибудь, что убиваешься по нем, он тогда нарочно на другую глаза вытаращит, все они «махаметы» бессердечные и лоботрясы окаянные. Так и норовят присушить какую-нибудь. Вон с Зосей что делается — даже глядеть тяжко!..

Струйки молока туго бьют в кленовое звонкое донце, подымают розовую пену, а девичья душа, отогнав от себя Романа, летит далеко-далеко, догоняя вчерашний вечер, и встречается... с Романом. От этого хочется и радоваться и горевать, и нижняя губка Христинки дрожит больше, чем когда-либо.

Солнце целый день искало прорубь в небесном льду; ставшее за зиму маленьким, оно то ребром выбивалось на по-

---

[1] К а т а н к а — короткая куртка.

верхность, то скрывалось, просветив, как масляное пятно, дымчатый клочок тучи. За день Христина успела истолочь мак и сбить масло, разодрать на жорнах миску гречихи с рудяком и вышить два цветка на плечиках сорочки.

А когда за чужими садами поднялся вечер, она долго вглядывалась в глубь его, словно ждала оттуда совета. Даже подошла к калитке, где высилась старая, с растрескавшимися стволом и сучьями слива. И хотя дерево в непогоду выплевывало, словно сукровицу, красные клочья сердцевины, летом оно покрывалось плодами и стояло все синее, как дождевая туча. В дуплах его находила приют разная мелкая птица, и когда на свет появлялись новые выводки, птенцы были красные от трухи, будто райские птички.

— Христинка, пошли на пруд! — закричали из-за угла подружки, уже успевшие собраться на гулянье.

Девушка засмеялась, кивнула головой и стремглав бросилась в хату. Там она, сразу присмирев, недовольно подняла к свету, чтобы мать видела, подол юбочки. Христина дольше обычного разглядывает наряд, а мать дольше обычного молчит, одним глазом наблюдая за пряжей, а другим— за дочкой. Неужто и в ее сердечко уже постучалась любовь? Или девочка только дышит ее чарами, не зная ее, как это часто бывает в молодости?

Перед Оленой маревом встали далекие годы и те вечера, что уплыли, как сон. И даже страшно стало, не за себя — ее уж отошло,— за дочку. Она ж еще ребенок, вот стоит, подняв подолок, и прикидывает, как бы выманить у матери праздничную юбку. Заботы и тревоги обступили Олену, она покачала головой, оборвала зубами нитку.

— Надевай уж, девка, праздничное, а то и впрямь вышивка посеклась.

— Ой, мамочка! — Христина ожила, кинулась к сундуку, с размаху подняла тяжелую крышку, нагнулась, выхватила с боковой полочки тоненькую нитку мониста; старенькая юбочка сразу упала к ногам, а на бедрах теплой волной зашуршал широкий праздничный наряд. Девушка еще раз нагнулась к сундуку, нашла терновый платок, повязалась и перешагнула через старую одежку.— Ну как мне, мама? — Она качнула колокол юбки, забелел подол полотняной сорочки, а на нем закачался вышитый хмель.

— Так себе, ничего. На сову похожа,— улыбнулась мать.

Дочка обиженно надула губки. Пхи! И как можно, даже в шутку, называть ее совой, когда она так славно разоделась?

Ведь Христина еще в тех счастливых годах, когда кажется, что похорошеть совсем не трудно — стоит только надеть что-нибудь новое, покупное, повязаться красивым платком и обуть сапожки с подковками.

На пруд Христина не бежала, не шла, а плыла; ей казалось, что все встречные заглядываются на нее, и она, кланяясь, тихонько здоровалась с ними, а потом снова, будто королевна, плыла по тихим, узким улочкам, ощущая на себе игру лунного света и теней от деревьев и одиноких облаков.

И первый, кого она встретила на пруду, был Роман. Страх не только охватил девичью душу, но закрался даже в складки новой юбки, в сапожки, которые так и приросли ко льду.

— О, какая ты сегодня славная, Христина! — вырвалось у парня.

— Да? — Она не засмеялась, а смутилась и потупилась.

— В самом деле.

Христина свела вместе носки сапожек и молчит. Да и у Романа нет больше слов. И это уже через секунду забавляет девушку. Она поднимает головку, раскрывает рот, чтобы выпалить насмешливое словцо, но, посмотрев парню в глаза, немеет, хоть лицо ее сияет улыбкой. Точно боясь окаменеть, она наконец шевельнулась, смерила Романа молниеносным взглядом и бросилась от него бегом. Вот она с разгону черкнула подковками лед и выписала на нем первый полукруг. Чувствуя на себе взгляд Романа, она снова и снова кружила по пруду, пока не прибилась к подругам.

А он только головой покрутил, глядя, как, словно в пляске, вертелась и вертелась под лучами месяца эта беззаботная козочка.

Неровно держалась в этот вечер Христина. Она то веселилась, как всегда, то надолго затихала, прислушиваясь к тому, что творилось в ее душе и вокруг.

Все чаще попадался ей на глаза Левко Щербина, и приходилось за его спиной отыскивать взглядом Романа. Левко несколько раз уговаривал ее сесть на санки, но она отнекивалась: не хотелось, чтоб за ней ходили соглядатаями все трое Щербин, не хотелось и мять новую юбку. Левко удивлялся такому чуду, сажал на санки других девушек и так разгонял колесо, что над прудом не утихал девичий визг. Только это немного утешало парня.

Когда месяц переплыл середину неба, Юрий Звонарь, положив руку на плечо Романа, поклонился гулянью.

— Эй, слышите? Добрые люди уже ночь по кускам разобрали, а петухи набирают духу утро встречать. Не пора ли вам, такие-сякие, домой?

И «такие-сякие», удивившись, что так скоро отошла ночь, стали расходиться по домам. Христина, отделившись от девушек, нашла глазами Романа. Он тоже посмотрел на нее. А Юрко что-то шепнул ему на ухо,— верно, про нее же: кто ж не знает Юрка?

Христина заторопилась, а потом снова оглянулась. За нею шел не Роман, а весь выводок Щербин. С гребли она еще раз оглянулась на Романа, но тот уходил с Юрком, не глядя в ее сторону. Сердце девушки сжалось в комочек горя и боли. И домой Христина уже не плыла, а шла, как другие девушки, слыша позади топот сапог всех Щербин. Неподалеку от ее хатки Данило и Григорий повернули назад, а Левко догнал девушку.

— Что так припустилась?

— Да уж скоро, не спавши, вставать пора. Будь здоров, Левко.

Она проворно вбегает во двор, а он оторопело застывает за воротами.

— Да погоди же ты хоть немного! — возмущается парень.

— На что?

— Не знаешь на что? — удивляется он.— Я тебе скажу два слова, потом ты мне два слова — глядишь, и коммерция будет.

И Христина не может не рассмеяться.

— Поезжай, Левко, со своей коммерцией на ярмарку. Спокойной ночи!

— Пошла ты к чертям! Вот вреднющее зелье!

Упрямая голова Левка еще покачивается над воротами, а девушка уже скрывается за дверьми и тотчас забывает о провожатом.

Дома она бережно снимает наряд, укладывает его на сундук и в одной сорочке подходит к окну. У ворот уже нет Левка. А может, его и не было, может, не было и пруда, и Романа, и вчерашнего вечера, и ветряка с серебряными крыльями, запорошившими снегом весь свет?

Христинке из окна не видно месяца, но его мерцающее сияние омывает хаты и улицу, сады и огороды; нет его только на верхушках высоких верб, которые, как дымкой,

окутаны мохнатым инеем. Кто-то прошел у плетня, коснулся рукой ворот, и сердце у Христины чуть не выскочило из груди: да это же он, Роман, свернул на ее улицу. И почему она не подождала минутку во дворе, зачем так быстро разделась?..

Не помня себя, Христина босиком выскочила в сени, осторожно отодвинула засов и, сложив руки на груди, чуть-чуть приоткрыла дверь. В ноги сразу потянуло холодком, а голове стало жарко.

Какая великая тишина вокруг! Месяц, звезды и ночь так заворожили село, что кажется, никогда не выбиться ему из лунного половодья, не разорвать кружево добрых и недобрых снов. По улице удаляется темная мужская фигура, а Христина, высунувшись из дверей, тянется за ней, как былинка. Роман проходит под вербами, склонившими друг к дружке ветки, опушенные мохнатым инеем, и неведомо где исчезает.

Холод и печаль разом охватывают девушку. Вздохнув, она запирает дверь на засов, тихонько входит в хату, обиженно, по-детски, свертывается калачиком на топчане, и вскоре ее растревоженное сердце успокаивает сон, ласковой рукой он ведет ее в свои неизведанные, чудесные края...

Вот она снова на шумливом катке, в хороводе парней и девушек. Над нею светит не месяц, а золотой подсолнух, но не семечки, а звезды выпадают из него и устилают весь путь, до самой земли.

«Так вот откуда взялся Млечный Путь»,— догадывается она.

А в это время кто-то легонько дотрагивается до ее ладони. О, да это Роман! Он улыбается, сажает ее на санки, и вдруг, скользнув по льду, они отрываются от земли и летят неведомо куда. Христина изо всех сил сжимает руками игрушечные рожны, хочет повернуться к Роману, но он пропадает, и она видит, как приближается к ней месяц-подсолнух, а из него все вылущиваются не семечки, а темные, как семечки, звезды.

«Отчего они темные?» Испуганная девушка отмахивается от них, разрывает нити сна и беспокойно поднимает голову.

За оконцем тени переместились, стали длиннее, лунное половодье померкло, но в небе все так же ясно переливаются изменчивым сиянием звезды. Христина улыбнулась им, заложила руку за голову, потянулась и снова погрузилась в сладкое марево сна, влекущего ее на пруд, в молодую, веселую гурьбу подружек, к Роману...

XIV

Поезд отходит в снега.

Над переселенцами еще гудела надтреснутая медь станционного колокола, а уже дрогнули, ожили колеса, тупой болью отозвались в рельсах и в сердцах. И так пошли выстукивать, словно только и было у них два перестука: один — по железу, другой — по сердцу, один — по железу, другой — по сердцу. Вертятся, толкаются колеса, наматывают на душу боль.

Широкие проемы вагонных дверей загорожены людским частоколом. В свитках, в киреях, в серяках, в кожушках стоят дети земли; одни прощаются с родной стороной, смущенно и грустно улыбаясь, другие склонили под бременем дум отяжелевшие головы, а кое у кого и скупая слеза дрожит, перекатывается из одного уголка глаза в другой.

Рабочий в черной, промасленной одежде поднимает над землей фонарик, покачивает не угасшим еще огоньком: «В добрый путь, люди добрые! В добрый путь!»

Какая-то полная дама, придерживая на сворке песика, изумленно покосилась на железнодорожника, перевела брезгливо-напыщенный взгляд на переселенцев и сразу же с трудом нагнула свое разжиревшее тело к холеной, украшенной черным бантом собачке.

«В добрый путь!» Фонарик покачивается, и в его зеленой тесноте мечется живой огонек.

Глаза крестьян улыбаются железнодорожнику, невольно ищут добрый путь, но видят одни снега.

Поезд спешит в снега.

На краю платформы недвижно и массивно стоит синемундирный жандарм, ест переселенцев непоколебимыми, как закон, глазами. Вдруг у его ног проносится лохматый, худой пес. Жандарм по привычке подносит ко рту свисток, приклеивает его к толстым губам, но не свистит, а неодобрительно смотрит, как собака, вспыхнув золотисто-каштановым отливом, прыгает с перрона чуть ли не под колеса вагонов и, вытягиваясь, бежит вдоль пути.

— Марьян, слышите,— кричит Чайченко Полярушу,— да это же ваш сторож!

— И правда, Буян.— Марьян осторожно, держась за подвижную, на колесиках, дверь, наклоняется над мелькающим полотном. Буян заметил хозяина, вильнул хвостом,

поровнялся с теплушкой и заскулил, не понимая, почему и как убегает от него хозяин.

— Ой, Марьян, это не Буян там?— услышав горестный вой, тихо простонала с дощатых нар Фросина.

За несколько дней тщетного ожидания в грязном закутке товарной станции она еще сильнее расхворалась и с трудом подавляла желание вернуться в село.

— Буян. Скажи, как только смог нас найти!— Марьян полуобернулся к жене.

— Дай хоть ломоть хлеба ему.— Она пошевельнулась, чтобы дотянуться до котомки с харчами, но бессильная рука упала на вымолоченные колоски.

Марьяну подали непропеченную краюшку, он бережно бросил ее под ноги Буяну, но тот, уже отставая от поезда, даже не глянул на хлеб. Полярушу показалось, что преданные глаза животного заблестели от влаги. Но вот Буян, высунув язык, остановился на миг, присел, затужил по-собачьи, снова сорвался, пробежал прогона два и, оседая на растопыренные лапы, упал головой в снег.

Закурчавленное реденькой бородкой лицо Марьяна горестно сморщилось. Махнув рукой, он подошел к Фросине, молча поправил под ней сбитую солому. И только теперь заметил, как у жены за эти дни болезни посветлели глаза, как уменьшилась глубина зрачков — не зрачки, а две тоненькие вешние льдинки, готовые вот-вот растаять на жалостных плесах белков.

Дурные предчувствия, как тени, обступают Марьяна, молча толпятся вокруг. Он невольно отмахивается от них рукою, отталкивает их как можно дальше и еще внимательнее смотрит на жену. Потом садится возле нее, а рядом, в кружок, как вороны, садятся видения. Как их прогнать? Марьян берет в свои руки бессильную руку жены. Что может делать в такие минуты бедный человек? Какими снадобьями, какими словами утешить больную? Только улыбнуться сквозь скорбь и предложить бедняцкое лекарство, лекарство его отцов и дедов:

— Может, водички тебе?

У Марьяна есть и простая и свяченая вода. Не одному человеку помогла она от всех болезней, не от одного человека прогоняла смерть,— пусть поможет и его жене.

Что в такую минуту ответит верная жена, понимающая, что душа ее бьется уже о кровлю этого навеки пропахшего скотиной вагона?

— Как хочешь, Марьян.— Она подымает на мужа запавшие глаза, и нет в них страха, одна только женская жалость, женская любовь.

Она и до сих пор так любит мужа, что с радостью пошла бы на все, не ради своего выздоровления, а ради него. Не так тяжело ей умереть, как тяжко подумать, что станет делать без нее этот работящий, добрый и несчастный большой ребенок. Пусть никто не осудит ее, Фросину, за то, что она любит Марьяна и как мужа и как ребенка. Об этом не скажешь людям; ведь, может, и не годится так любить, да что поделаешь, если к ней и признания и любовь пришли иными стежками, чем к другим... Ох, иными! И за это ей придется на том свете каяться перед господом.

Фросина была уже молодой вдовой, когда с Марьяном случилось несчастье.

В косовицу парень возвращался под вечер домой с дальних лесных вырубок. Шел, пел песенку и не замечал, как над чащей леса замешивались, вспухали и темным тестом пучились на разорванном небосводе грозовые тучи. Когда небо, расколотое громами, выплеснуло из своих глубин пучок молний, ошеломленный, он остановился у стожка, хотел перестоять грозу, но потом испуганно отскочил, только швырнул косу на сено, по которому уже шелестели капельки дождя. Вдруг туча, опаленная молнией, разверзлась, и за нею, в глубине, открылся клочок другого, дальнего неба. И в этот миг на его косу золотым снопом слетела молния. Парня ослепило и швырнуло во тьму.

Почерневшего, с обугленными губами, нашли Марьяна косари. Он лежал между глубокими, налитыми водой колеями, в которые уже заглядывали полосы очистившегося неба и тени деревьев. Возле одной колеи, нагибаясь, трепетала трясогузка, и косари, подумав, что это душа Марьяна, остановились, боясь спугнуть ее. А когда птичка, ныряя в воздух, как в воду, взлетела на дерево, люди наспех вырыли косами яму, опустили туда парня и прикопали по самую шею.

Земля оживила Марьяна, только надолго отняла песню и слух. Прежде у него был славный дискант. Запел он раз с товарищами и после своего несчастья, но, увидав, как скрестились на нем удивленные и жалостливые взгляды, ужаснулся, всхлипнул и убежал по темной улице прочь. После этого он боялся петь даже в одиночестве, стал угрюм и меньше говорил с людьми. Но его искалеченная душа взбунтовалась,

она искала доброго слова, и Марьян стал разговаривать не столько днем, сколько ночью, сквозь сон...

— Так, может, дать водички? — повторяет Марьян.

— Как хочешь, Марьян.— Фросина жалобно улыбается ему уголками запекшихся губ.— А то лучше положи мне на сердце глину. Все щемит и щемит, словно кто сжимает душу руками.

Он берет с изголовья узелок сырой глины, прикладывает его к груди жены.

«Как хочешь, Марьян»,— эти слова он сперва прочитал на губах Фросины, потом услышал, а теперь понял — на жену его снизошло тяжкое безразличие. Марьяну ясно, что это безразличие страшнее стонов и слез.

Неужто сказала это его долготерпеливая Фросина, которой он загубил жизнь, хотя она никогда в том не признавалась, а только говорила, что счастлива с ним? А какое он мог дать счастье? Даже праздничные сапоги на ней от первого мужа.

Неужто это сказала его Фросина, без которой он, верно, и поныне ходил бы одиноким поденщиком? Разве он не помнит, что после свалившегося на него несчастья одни насмехались, надували, обмеривали, другие жалели, но никто, никто не любил? Больше того — нашлись и такие безжалостные души, что стали отгораживать его от людей, делать из него чудака, пугать им детишек: «Бегите, бегите, а то глухой в мешок упрячет!» Глупые слова, а отравили доверчивые детские сердца страхом и неприязнью. Идет, бывало, Марьян по селу, а перед ним словно кто выметает с улиц детвору, лишь кое-где из-за плетней выглядывают испуганные и любопытные глазенки. И вот нашелся все-таки человек, полюбил его. Марьян с болью смотрит на простое, чуть скуластое, со скорбно-стыдливым ртом лицо жены. Какая важность, что он у нее второй муж, какая важность, что она старше его на пять лет! Какая важность, что она перед людьми стыдится этих пяти лет, а наедине, когда он ласкает ее, стыдится своих, увядающих уже грудей! А может, и не стыдится, а просто жалеет себя и его за то, что детей у них нету? И какая важность, что она ему когда-то стыдливо сказала первая:

— Сватайте меня, Марьян.

Он тогда скосил ей в огороде полоску проса, а потом стал перешивать кровлю. Перешил по-хозяйски гребень, вошел в хату, она, маленькая и проворная, села с ним ужинать, назвала его хозяином, а он только вздохнул: ему хоть бы

осьмушку земли! Как он любил косить! И коса и грабки так и пели у него в руках. Не раз за чужой работой он мысленно видел себя на своем поле с косой. Это был предел его тихой надежды. А как было не надеяться: ведь работал он все на ней, на земле! Если есть она у многих, стало быть, может достаться и ему, пусть хоть клочок на две-три косарских ручки, да свой. А не достанется в своем селе — так дадут в Сибири.

Когда Фросина сказала: «Сватайте меня, Марьян»,— он подумал, что ему это почудилось.

— Вы сказали что-то? — Сам не зная почему, он встал из-за стола, и по телу его прошла дрожь. Кажется, так он задрожал только когда молния пала на его косу.

— Сватайте меня, Марьян,— громче проговорила Фросина и вся вспыхнула.

А когда он покачал головой, думая, что это насмешка, она беспомощно, по-детски заплакала, уронив голову на стол. Беленький платочек сбился на ее по-девичьи узкие и тугие плечи.

Он склонился над закрученными в пучок косами, не зная, что подумать, что сказать. Фросина всегда казалась ему красавицей, и он не смел и представить, что может понравиться ей. Радость и страх подымались у него в душе, и она и таяла и леденела в водовороте холодных и теплых волн.

В нем сразу проснулась благодарность, которая пробуждается в мужчине к первой женщине. Но почему Фросина не сказала этого кому-нибудь получше него? Может, она хочет прикрыть какую-нибудь женскую провинность, может, носит уже чужого ребенка?.. Ну и пусть. И он, грустно поглядывая на смущенное лицо вдовы, которая и до сих пор смахивала на подростка, тихо проговорил:

— Ежели вы, Фросина, хотите, чтоб я стал отцом вашего ребенка,— что ж, пусть так.

Она вздрогнула, изумленно, испуганно посмотрела на него сквозь слезы, вся потемнев от волнения.

— Марьян, что вы?.. Кто ж я, по-вашему?.. Глупый вы, Марьян, глупый!

— А вы думали — умный? — согласился он.— От ваших слов все без остатка из головы вылетело. Да разве я не знаю, что вы — само счастье... Я и надеяться не смел... и сейчас сомневаюсь...

Тогда она засмеялась, схватила своими маленькими пальчиками его облепленные силой руки, прильнула к нему, при-

пав ухом ко впадинке на его груди. И этот день никогда не выцветал в памяти Марьяна. Глухоту он забывал, а это — никогда. А после женитьбы случилось, как думал Марьян, чудо: к нему снова вернулись песня и слух, хотя безжалостные насмешники, окрестившие его глухарем, долго еще не могли примириться с этим.

И, вспоминая где-нибудь на поденщине в осеннюю непогодь этот лучший день в своей убогой, однообразной жизни, Марьян всегда прикладывал руку к груди, где впервые, словно нежданная жар-птица, улеглась тогда голова его жены.

За семь лет жизни они так и не успели ни разу ни поссориться, ни подраться, ни наскучить друг другу. И когда Фросине с удивлением или с завистью говорили об этом женщины, она смущенно отвечала:

— Что поделаешь, такой у меня смирный муж.

— Ну, а в любви-то он смыслит или тоже глуховат? — выпытывали бесстыдные кумушки, у которых при людях на губах церковная святость, а наедине — кабацкое бесстыдство.

Фросина, как могла, отбивалась от скоромных языков, а однажды, когда Окуниха на посиделках вконец измучила ее намеками, громко отрезала:

— Чего вам надо от нас? Вы смеетесь над нашей единственной бедняцкой рубашкой, да еще хотите, чтоб она была такой же грязной, как ваша? Не дождетесь! Мой Марьян, если хотите знать, за семь лет ни разу ко мне спиной не повернулся, а ваш и в церкви, под венцом, отворачивался от вас. Вот и смекайте, что такое ваш венец и наша любовь.

Окуниха от неожиданности так и приросла к лавке, а потом в ней закипели кулацкая злоба и гонор, глаза ее запрыгали, как ядовитые шарики молодого паслена, а на высоком животе шевельнулись обвисшие груди.

— Ты еще, голь перекатная, смеешь мне моим венцом душу бередить?

— А чем я виновата, что у вас душа мыта, да не выполоскана? — с достоинством возразила Фросина и не ушла, слушала, как задыхалась от ярости Окуниха, и подсекала богачку скупыми, но меткими словами, пока не вытурила с посиделок въедливую охотницу позлословить.

С тех пор к молодой женщине уже не лезли с глупыми расспросами, и всем стало ясно, что Фросина умеет постоять за себя лучше, чем Марьян. Ради него она лишилась заработка у Окуней, ради него бросила работу в экономии, чтобы избавиться от приставаний Черного Сала, ради него продала

свою хатку и огород, только и взяла оттуда узелок глины на свое больное сердце.

Марьян бережно перекладывает жену головой к стене, чтоб не так дуло, поправляет узелок с глиной, а сам, опечаленный, подходит к двери, за которой медленно движется белая земля: поезд уходит в снега.

И на этой заснеженной, холодной канве невесело всплывают и пропадают из глаз обрывки его жизни, знакомые клочки родных, да не своих полей и дубрав. Вот он явственно видит вырубку, на которой в последний раз, перед тем как оглох, косил белые от ромашек и голубые от колокольчиков травы... Вот на эту вырубку лепестками ромашек слетает метель, но он, вечный косарь, не глядит на это, продолжает косить, и под косу ложатся уже не зеленые, с цветами рядки, а подрезанные полоски снега...

— Марьян, что с вами? Не упадите,— трогает его за плечо Иван Чайченко.

Марьян смотрит на него широко раскрытыми глазами, потом подходит к жене и снова чувствует, что вокруг притаились тени дурных видений. Если б он мог, со всего света собрал бы лекарей, чтобы они по капельке, как пчелы, принесли здоровье жене его, поставили ее на проворные, веселые ноги. Какое бы это было счастье! Он отгоняет от себя злые тени и чувствует, что ослабел. Если б можно было помочь жене, он взял бы ее на руки, носил бы, утешал бы, как ребенка! Но ничего не стоят его руки, его любовь перед ужасом недуга.

Поздно вечером Фросине стало хуже. Узелок с глиной уже не оттягивал боль, а давил на сердце тяжелой кладбищенской землей. Женщина сбросила его, застонала, Марьян вскочил, зажег свечку и при ее дрожащем свете увидал, как наливаются слезами глазные впадинки на лице жены. На свет она раскрыла глаза, и слезы перелились на виски, потекли к густым волосам.

— Фросина, Фросина, что с тобой, любушка?

Свеча дрожала, на потрескавшихся пальцах Марьяна накипали капельки воска.

Задыхаясь, Фросина хотела улыбнуться, но улыбку перехватила боль, забившаяся в уголках рта и на подбородке. Испуг тенью пробежал по всегда спокойному лицу женщины, дыхание перешло в учащенные всхлипывания.

Свечка выпала из руки Марьяна на солому. Он в ужасе схватил жену за плечи, тряхнул, не замечая, как возле его

рукава затрещала поднятая огнем солома. Чайченко руками забил огонь.

Вокруг Полярушей столпились люди, кто-то уже силой поил Фросину водой, и край железной, с голубями по стенкам кружки звенел на стиснутых зубах.

— Господи, даже поту нет! — вскрикнула одна из женщин.

— Свечку, свечку дайте ей!

У кого-то нашлась свеча-громовица, охраняющая крестьянское жилище от удара молнии,— может, спасет она и крестьянку от безвременной кончины? Кто-то уже втискивал свечу в правую руку Фросины, но Чайченко молча переставил ее в левую: чтоб и на том свете можно было правой креститься и работать. И все это еще понимала Фросина, возвращаясь мысленно к своим ушедшим годам и к селу.

В селе, когда кто-нибудь трудно умирал, звонили отходную. Нелегко было человеку при жизни слушать отходную по себе, но куда горше слышать под собой тупой скрежет колес, раздирающий все тело.

Вдруг она, приподнимаясь и падая на спину, заговорила:

— Не увози меня, Марьян, в снега. Схорони меня дома. Схорони у могилы матери. Слышишь, Марьян? — Ее небольшие брови поднялись, надломились, и под ними собралась скорбная оборочка мелких морщинок.

Марьян с ужасом прочитал на устах жены ее последнюю волю и заплакал.

— Слышишь, Марьян? — уже одними губами, без голоса, просила она, и глаза ее наливались слезами.

— Фросина, Фросина! — Марьян затрясся всем телом. Ничего не соображая от боли и страха, он в последний раз припал растрепанной головой ко впадинке на ее груди, так же как семь лет назад впервые припала к его груди Фросина.

Люди силой оторвали Марьяна от жены, что-то говорили ему, утешали, а он, зажмуря глаза, дрожал и гнулся в рыданьях, как колос в росе.

И вдруг высоко, под крышу вагона, взлетел женский крик. Это в потемневших глазах Фросины закружились черные кресты ветряков. Они спешили домолоть чей-то помол, скрипели, и шаркали, и стонали на ветру, и, приблизившись к ней, вдруг стали...

— Как голубь, полетела душа,— вздохнул грустный мужской голос.

— Вот и переселилась...

— Все там будем,— отозвался Чайченко, глядя, как у Фросины веки покрываются сетью крохотных морщинок.

Марьян, раскидывая людей, рванулся вперед. Ему слепит глаза тесный кружок мерцающих свечей, меж ними виднеется скорбное лицо жены, брови у нее приподняты от боли, а на непросохших ресницах еще блестят следы слез.

— Хоть в свою землю ляжет,— добивают Марьяна чьи-то неторопливо произнесенные слова.

Он с размаху опускается к ногам покойницы, прижимает их к себе, и в его огромную боль вдруг врывается неуместная мысль: так он и не смог купить жене праздничные сапоги.

XV

Поезд остановился на темном, с единственной свечкой за решетчатым окном, полустанке. Марьян, словно в темную воду, выпрыгнул из вагона на землю, поскользнулся, но его ослабевшее за эту ночь тело кое-как удержало равновесие.

Мужики сперва стали подавать узлы. Марьян взял в дорогу три мешка: в одном была разная домашняя утварь, в другом — зерно, в третьем, самом маленьком,— одежда. На что ему теперь весь этот скарб, когда он лишился самого дорогого? Но более опытные мужики рассудительно уговаривали его: жизнь, как ни горька она, остается жизнью. Марьян для отвода глаз прощупывает руками первый мешок. Из него проступают тяжелые формы мисок, горшков, кувшинов.

— Это, люди, берите с собой! — Он отодвигает первый и второй мешок, а третий, с одеждой, бросает на снег: там ведь и платья жены.

Еще кто-то соскакивает на платформу. Им подают недвижимое тело Фросины. Марьян бережно принимает покойницу на руки, и его начинает бить редкая, но сильная дрожь.

Маленький станционный колокольчик, словно играючи, поспешно выбивает три удара, в дверях пропахшего скотиной вагона жмутся пришибленные горем односельчане: одни протягивают руки, другие что-то говорят на прощание, женщины отирают глаза кончиками платков, и поезд идет в снега, в Сибирь.

К Марьяну подходят незнакомые люди, они говорят, потом кричат, потом, срывая шапки с голов, затихают.

А Марьян только теперь вспоминает, что не взял из вагона узелок с глиной. Хотя на что она ему? Он ведь похоронит Фросину в родном селе. Слезы катятся по щекам Марьяна, высасывают из тела силу, накопленную в повседневном труде.

Его ведут навстречу промерзшей, чистой заре. Она легкой синею кровлей накрывает занесенную снегом котловину, на дне которой лепятся рубленые хаты. В одну из них и заходят согбенные фигуры. Их встречает немолодая, в темной керсетке [1] женщина. В ее зрачках колышутся тени не одной беды. Все зовут ее Петровной. Она помогает мужчинам уложить Фросину на лавку, головой к окну, и сразу закрывает черным платком зеркало.

Пришли еще женщины, во дворе часто и натруженно заскрипел поникший журавль — набирали воду, чтобы обмыть покойницу. Потом ввалился здоровенный, с бляхой на красном кожухе, сизоносый, зобатый староста. По обе стороны его с посошками стали десятские, и в хате наступила такая тишина, словно еще одна смерть явилась на пороге.

— Где он, этот человек? — черниговским говорком спрашивает староста, встречается глазами со взорами образов и склоняет голову.

Марьян ежится от его слов, как от нового несчастья. Староста степенным, скрипучим голосом выспрашивает приезжего и мужиков, как случилась такая оказия, думает, покачивает головой и, помолчав, говорит, наконец, колыша узловатым, раздутым зобом:

— Что-то здесь неясно. Надо ехать в уезд, к становому.

Мужики стали уговаривать старосту сжалиться над человеком. Но начальство уперлось: ему, дескать, не хочется зарабатывать оплеухи у станового. Тогда кто-то вывел Марьяна в сени и потихоньку посоветовал:

— Дай этому живодеру синенькую, он готов с живого и с мертвого сорвать.

Марьян вынул завязанные в платочек деньги. Мужик пошелестел бумажками, побежал в хату. Оттуда вскоре вышел староста, милостиво шевеля губами и зобом, дал дозволение:

— Ну, не горюй. Пусть уж будет шито-крыто, раз решил везти покойницу в свое село. Только, для порядку, не задерживайся, погоняй!

---

[1] Керсетка — женская безрукавка.

И ушел в сопровождении десятских, размеренно ковырявших дорогу своими посошками.

Потом в хату благочестиво протиснулся седой человечек, похожий на угодника, только пахло от него не ладаном, а водкой. Он, вздыхая, смиренно спросил Марьяна, из чего делать гроб, из клена или из сосны, и, прислушиваясь к разносящемуся над селом звону «за упокой», деловито назначил цену, правда, не такую уж большую.

Но это горько поразило Марьяна: у них в селе никто никогда не платил за гроб — последнее пристанище человеку давали даром.

Обессилевшего Марьяна женщины вывели в другую половину хаты, чтобы хоть отдохнул малость. Он упирался, отказывался, но скоро впал в тяжелое забытье... Ему снилось, что он ссорится с Фросиной, он удивлялся, как это могло случиться, но все грозился жене, даже когда ее черный платок скрылся на огороде, за желтыми цветами дородных подсолнухов. На краешках нежных лепестков первого подсолнуха ожерельем голубели капельки росы, а в не расцветшую еще сердцевину забрался шмель и спал, прикрывшись сложенными крылышками. Он проснулся от шума ссоры, закружился над подсолнухом, и Марьян ясно расслышал, что шмель гудит «за упокой».

Очнулся Марьян от монотонного голоса и тонкого, певучего посвиста. Это в той половине хаты читали псалтырь над покойницей, а рядом высвистывал фуганком благочестивый человечек — мастерил гроб. На пороге скорбными тенями стали женщины: надо заплатить попу, дьячку, церковному сторожу. Деньги в платочке таяли, но странно — отдавая их, Марьян затуманенным взором видел не засаленные бумажки, а хатку и огород, проданные Плачинде. Это они выскальзывали у него из рук. Хоть бы хватило возчику, который повезет гроб в родное село...

Марьян входит в другую половину хаты. На лавке, уже одетая в последний путь, лежит Фросина. Теперь она стала еще меньше, и руки ее, отработавшие свое, впервые спокойно сложены на груди. Над нею читает псалтырь чернобородый человек, у ног его жмется мальчуган лет десяти. Марьян подходит к жене, он уже не плачет, только дергаются непослушные губы. И снова его уводят на другую половину хаты.

Там пришел возчик. Он долго морщит лоб, трясет лохматыми вихрами и бородой, высчитывая, сколько будет верст до Медвина. Выходит, надо ехать целых четыре дня. Что ж,

лошади у него хорошие, довезут. Возчик назначает цену. Марьян молча кивает головой, вынимает платочек. Но денег у него уже не хватает.

— Плохо дело,— хмурится лохматый возчик, снова морщит лоб, берет кнут и поворачивает к двери.

Марьян не останавливает его, не догадываясь, что можно как-нибудь сойтись в цене. Он понимает лишь одно — у возчика не умирал никто из близких.

— Хоть бы еще трояк накинули,— отворяя дверь, бросает возчик.

— Посовестился бы, Онуфрий! — прикрикнула на него Петровна.— Не видишь, у человека осталась одна душа, да и та держится на паутинке.

— А дешевле моего никто не возьмет,— хмурясь, цедит Онуфрий.— Это ведь дорога какая — не шутка. Ну, ежели хочет, довезу его за эти деньги до Винницы.

— До Винницы? — переспрашивает Марьян.— Пусть будет до Винницы.— Он отдает все деньги вместе с платочком, и ему снова кажется, что отдает он хатку и огород.

XVI

Ночью замученные лошади едва доплелись до Винницы: в пути налетела вьюга, дорогу занесло, и облепленным снегом Марьяну и Онуфрию приходилось то и дело вытаскивать сани из рыхлых сугробов. Правда, сани ни разу не опрокинулись, только где-то потерялся узелок с одеждой. Хорошо хоть за Корделивкой пошел торный путь.

Из Пятничан выехали на окраину Винницы. Над трактом шумели промерзшие кроны «екатерининских» лип, под ними горбились холодные тени. Там и сям в воротах еврейских постоялых дворов мерцали фонари, а надщербленный месяц рассевал на снег прозрачную ромашковую пыльцу. Казалось, пройди несколько шагов — и сможешь взять эту пыльцу в горсть. В такие ночи волнуется сердце косаря: вспоминается лето, косовица, и даже сквозь снега долетают запахи ромашки и пижмы.

— Тпрру, приехали! — остановился перед постоялым двором возчик.— Заночуем?

— Нет, я домой,— сойдя с саней, проговорил Марьян.

— Домой? Это каким же манером? — недоверчиво крякнул возчик.

— Пока пешком. А там, может, догонят люди, подвезут.

— Рехнулся! А гроб оставишь?

— Гроб? — У Марьяна горестно задрожали губы и подбородок.— Понесу.

— Тьфу! Как же ты понесешь? — все еще не верил возчик.

— Как смогу.

— И далеко донесешь?

— Сколько понадобится.

Возчик с изумлением и опаской посмотрел на Марьяна.

— Мужик ты здоровый. Однако погоди до утра. Я уж за ночлег заплачу, что поделаешь...

Марьян отрицательно покачал головой.

— Спасибо. Уж не раз платили.— Он пожал руку возчику, снял шапку, перекрестился, подошел к гробу.

— Ежели бы не так устали кони, подвез бы я тебя еще хоть с версту,— вздохнул Онуфрий.— Ну что тебя гонит, на ночь глядя?

Марьян надел шапку, осторожно ухватился за гроб, взвалил его себе на плечи, переместил поудобнее, уравновешивая.

— Ох, и намучился же ты, добрый человек! — проговорил Онуфрий, тоже снимая шапку.

Но этих слов Марьян уже не слыхал. Он зашагал в ромашковый цвет ночного сияния. Вот он входит под свод лип, и перед ним встают не те далекие, искристые ночи, когда он с Фросиной возвращался домой с полей, а скорбная пустыня. Мертвенным, желтым простором она упирается в небо, и кажется, там и есть край света.

Марьян понимает, как тесен стал для него свет. Но и неся гроб, неловко прижимаясь головой к его ребру, он иногда на миг забывается. Действительность кажется ему тяжким сном; проснешься — и снова увидишь свою маленькую, синеглазую Фросину, вдохнешь исходящие от ее кос запахи зелени, а ее стыдливая, веселая улыбка согреет тебе душу в любую непогоду.

И ему мерещатся не черные тени видений, тревожившие его перед смертью жены, а мирные картины пережитого счастья. Вот блеснул последний луч солнца, и Фросина идет с огорода к воротам — встречать мужа... Вот увидела его и вытирает красноватые от глины пальцы... «Господи, да неужто же нет ее?» Ноги его так и врастают в жесткий, как крахмал, снег; он прислушивается к далям, идет вперед, и снова где-то в стороне светят ему глаза и улыбка жены.

Со стороны всякий заметил бы, как по опечаленному, вспотевшему лицу Марьяна порой пробегает смущенная улыбка, вдруг обрываемая резкой, горестной гримасой.

Сгорбленные тени лип трепещут у ног путника, он приминает их тяжелыми сапогами и чует, как из-под шапки у него упорно струится пот. Марьян бережно опускает гроб на затвердевший наст, который шипит и вздыхает под грузом, снимает шапку, отирает рукавом мокрый лоб. На миг им овладевает душевная слабость, хочется упасть головой на гроб, забыться над ним и не вставать больше с этой неласковой, занесенной снегом земли. Но он, перемогаясь, снова взваливает ношу на плечи и, склонив голову, ровно идет по колее.

Затекают плечи и шея, в голову впивается ребро гроба, над путником поднимается пар, а он все идет да идет в глубь ночи, и ее словно желчью облитые берега отступают все дальше и дальше.

Марьян приближался к лесу, когда позади него послышался топот. Он сошел с дороги, оглянулся. Перед ним с разгона остановились сани, и на снег, ругаясь, соскочил Онуфрий.

— Клади свою ношу, мученик несчастный! — расправляя солому, гремел он.— Ушел ты, а я глаз не могу от дороги оторвать. Заплатил за ночлег, а потом плюнул на пропащие два двугривенных — и за тобой. Подвезу, пока не догонит кто-нибудь,— добавил он, помогая поставить на сани гроб.

— Не надо было мучить скотину.— Марьян запавшими глазами смотрит на возчика.

— Скотину, скотину! — Онуфрий сердито передразнивает его лицом и всем телом. — А мы с тобой не скотина, пропади они пропадом! — Онуфрий погрозил неведомо кому кнутом.— Только шкура потоньше, вот и все! Со скотины ее дерут раз, с дерева — тоже раз, а с мужика каждый год до самых пят спускают... Но-о, заразы!

XVII

Хоть недолго, а побыл гроб с Фросиной в старенькой кладбищенской церковке, которая уже двести лет стоит на казацких могилах.

Когда присягнувший султану гетман Петро Дорошенко стал утверждать свою власть ятаганом Магомета Четвер-

того, подоляне, чтобы не подпасть под турецкое иго, бежали на Слободскую Украину. Обороняя от янычар обоз беглецов, полегли все до одного казаки сотника Петра Недоли. Много времени спустя над казацкими могилами возвели деревянную, без единого гвоздя церковку, а с ее стен и поныне смотрят на людей чубатые праведники и апостолы в запорожском наряде и при оружии. Один только Иуда, как барышник, недостоин чести носить оружие, и у него на поясе висит не сабля, а кошель с проклятыми сребрениками.

И резьба на алтаре церковки не напоминает о холоде потустороннего мира, а пестрит теплыми, земными цветами подсолнухов и мальвы.

Мужицкая церковь и мужицкие святые всегда вселяли в Фросину тихий покой, словно она встречала там не грозное напоминание о страшной разлуке души с телом, а своих предков, свою родню.

Перед мужицкими святыми никогда не горели толстые, раскрашенные свечи, а в тот день тут было мало и копеечных. Пока их золотые фасолинки прорастали сквозь церковную, сгустившуюся от холода полутьму, Марьян то горевал над гробом, то выходил на погост, где рыжий могильщик неохотно копал яму, не зная, когда выправит деньги за труд. К тому же и не повезло ему: перед самым концом наткнулся заступом на крохотный детский гробик. Выходит, не хватило Фросине даже кладбищенской земли. Могильщик почесал побагровевший затылок, рассердился и заговорил в яму, не подымая на Марьяна глаз:

— Как хотите, а я заново не стану копать. Земля мерзлая, что твоя кость. А это,— он тронул концом лопаты детский гроб,— прикопаю сбоку, в выемку. Как вы скажете?

Что сказать — Марьян не знал. Но ему подумалось, что у Фросины не было детей и это очень печалило ее, так пусть теперь хоть чужое дитя лежит в земле рядом с нею.

— Так что вы скажете, Марьян? — допытывался из ямы могильщик, повернув к Полярушу затылок с рыжими завитками волос.

— Делайте, как сказали.

— Вот и хорошо.— Могильщик криво усмехнулся, воровато повел вокруг опухшими от кладбищенской водки глазами и поспешно принялся копать в яме нишу...

Вечером и погребли Фросину рядом с чьим-то дважды похороненным ребенком. Снег, словно только и ждал, когда

засыплют яму, и сразу же косо повалил на землю, запорашивая яблоневым цветом свежие комья глины, под которыми нашел человек свой вечный приют.

Сгущались вьюга и вечер, и под покровом этой мглы Марьян незаметно отделился от людей, которых ему полагалось бы угостить и которые сами теперь пригласили его на поминки. Уйдя от них и от поминок, Марьян хотел было вернуться на погост, но передумал и пошел не на кладбищенскую, а на проданную землю, на тот клочок огорода, к той хате, где когда-то улыбнулось ему счастье.

Он понуро шел улицами и огородами, дошел до бывших своих ворот и, пораженный, остановился. Его всегда чистенькая хатка стоит ободранная, полуразрушенная, пустая. Зияя провалами на местах окон и дверей, она тоже походит на мертвеца. И во дворе ни одного человеческого следа.

Марьян отворяет ворота, идет к проему двери, на миг припадает к обмерзшему косяку. И в сенях и в помертвевшей хате, даже в печи теперь наметены холмики снега, и нигде, нигде нет ни крошки тепла, будто и не прожила тут век его жена, будто не прожил он тут свои семь лучших лет, будто не здесь припала к его груди Фросина. Он кладет руку на впадинку, где впервые лежала голова жены, и чует, как под его рукой разрастается, всхлипывает боль.

Где же справедливость у бога? Разве мало жен и мужей чуть ли не со свадьбы и до последнего дня живут как враги, мучают друг друга, детей, соседей? А он все годы прожил с Фросиной под этой убогой кровлей, как под золотым венчальным венцом... Если сумеет, из кожи вон вылезет, только бы заработать на эту хатку и огород; может, тогда спокойнее будет лежать в земле его Фросине. Завтра же он пойдет к Плачинде, умолит вернуть это немудрящее жилье, на три года закабалится к нему батраком за купчую или уйдет на батрацкие хлеба в Таврию, в Молдавию.

Погрузившись в свои мысли, Марьян ощутил даже тяжесть косы в руках, увидал себя в степи и... огляделся. За хатой тускло вспухал и курился снег, в проемах окон кружили роем снежинки, а может, то летала душа покойницы. Сорок дней тоскует душа о родном доме, сорок дней она будет наведываться к этим проемам окон, ища на них канун и рушник, где бы только взять его?.. Лишь бы Плачинда не перепродал хату. Марьян как-нибудь занял бы на рамы да на двери, чтобы не так горевала душа Фросины над мертвым жильем.

И так и сяк перетряхивая думы и унимая боль, Марьян чует, как в его тело заползает еще и противный холод; он нагибается, находит под шестком дрова и лучину; их перед самым отъездом по-хозяйски приготовила Фросина для новых жильцов. Марьян кладет дровишки в печь, вынимает из кармана трут, кремень и огниво. Вот и заплясали искры вокруг пальцев, заколебались отблески на ногтях, и в хате сразу приятно задымил, закадил пчелиным духом трут. Вскоре загорелись дрова, и в окне побагрянел подвижной рой снежинок. Марьян все поглядывал туда, словно надеялся увидеть душу покойницы.

Огонь в печи разгорался все ярче, и в его изменчивых очертаниях мелькали причудливые обрывки видений, как будто эти припасенные Фросиной дрова обладали силой воссоздать образ женщины и ее жизнь.

И вдруг Марьян плечами ощутил, что еще кто-то следит за видениями, творимыми колышущимся огнем. Может, это душа покойницы приблизилась к нему?

Марьян испуганно оборачивается и в оконном проеме, как в раме, видит голову и плечи Терентия Плачинды. Волнистые, с темными полосами отсветы играют на хмуром лице богача, а вокруг багряной мошкарой носятся снежинки.

Марьян замирает у печи, а Терентий, нагнув голову, осторожно выпрастывается из проема, идет к двери и останавливается на пороге, шевеля перед собой большими овчинными рукавицами.

— Ты что надумал, добрый человек, хату мне сжечь? — Терентий прощупывает неудачника-переселенца недоверчивыми, настороженными глазами.

— Да что вы, Терентий...— удивляется Марьян.— Разве я поджигатель? Как можно так думать?

Плачинда еще больше хмурится.

— И не то, бывает, подумаешь, когда кто-нибудь ночью разбоем залезет к тебе в дом да еще и огонь разведет.

— Я хотел погреться после похорон.

— Что ж ты не мог зайти к людям в хату? Непременно надо было лезть в мою пустую?

— А может, я еще откуплю ее у вас.

Терентий удивился, лицо его сразу оживилось, оживились и клешни рукавиц.

— Вправду сбираешься купить?

— Вправду, ежели будет на то ваша милость. Как отца родного стану просить. Это ведь у меня единственная память по Фросине.

При упоминании о покойнице Плачинда принял смиренный вид и зорко посмотрел на Марьяна, прикидывая, что неспроста потянуло сюда человека. «Гляди, какая голь, а тоже о жалости имеет понятие!»

— Мне это гнездо дороже господских хором,— доверчиво продолжал Марьян.

И Плачинда вдруг рассмеялся.

— Дороже хором, говоришь? А давно ли ты сказал, что, продав его, от своей нужды избавился? — И Терентий ударил погой по выбоинке у порога, где, по поверью, ютилась нужда. — А теперь набиваешься в покупатели? Так выходит?

— Бывает, человеку и нужду покупать приходится, так его горе неволит. — От смеха Терентия лоб Марьяна покрывают морщинки, и на них шевелятся чешуйки обветренной кожи: как можно смеяться в такой час?

Терентий перехватывает угрюмый взгляд Марьяна и уже степенно говорит:

— Что ж, может, и станем сватами, коли что есть в мошне. За триста рублей забирай свой огород и халупу. Твое счастье, что не развалил еще ее на дрова.

— Как за триста? — Марьян с удивлением и страхом смотрит на Плачинду: уж не шутит ли тот?

— А ты думал, за сколько же? — свысока плеснул богач презрительным словом в самую душу Поляруша.

Тот еще пробует улыбкой умилостивить богатея.

— Вы ведь у меня все хозяйство за сто тридцать купили?

— Купец покупает для прибыли, на то он и купец! — Глаза Терентия сужаются.— Ну, каких-нибудь десять целковых еще скину, а больше, прости, никак не могу.— И он разводит рукавицами.

И Марьян, похолодев, понял: Терентий не шутит, он — как могильщик, ему в пору все надежды похоронить. Поляруш выпрямился, смерил барышника горьким и презрительным взглядом.

— А я и не знал, Терентий, что вы такой живодер. Все думал — у вас рука лежит только на рублевике,— а теперь вы ее на душу положили. И из души хотите выжать барыш. Так пусть же остается у вас моя нужда,— он глянул под ноги Плачинде,— может, станете с нею таким богатым, как я теперь.

— Ты, стерва, как говоришь с хозяином?! — Глаза Терентия налились кровью, он никак не ожидал услышать от этого покорного мужика такие слова.— Забыл, кто ты еси? Так я тебе напомню! — И он отвел руку для удара.— Разом обломаю рога, что у тебя отросли дорогою!

— Не трожь меня, добрый человек, не тревожь душу,— решительно предупредил Марьян.— И у воробья сердце есть!

Но Терентий, не в силах уже сдержаться, ударил Марьяна со всего маху по лицу, так что голова у того привалилась к печи. Сгоряча Плачинда и еще раз замахнулся.

И чуть ли не впервые за все годы закипела гневом забитая батрацкая душа. Марьян выпрямился и даже рук не захотел поганить, пнул Терентия ногой, как скотину. Тот опрокинулся, налетел спиной на притолоку, испуганно поднял над головой клешни рукавиц. Ударившись затылком о стену, Плачинда тяжело осел, и на него посыпалась обрушенная глина. Марьян без жалости и злобы, как сор, отодвинул ногой скорчившегося богача от порога и вышел из хаты, удивляясь, что не испытывает ни капли щемящего страха, который так часто сковывал его силу и слово перед теми, на кого он трудился.

Вокруг взметаемая дыханием ветра кружилась и шуршала метелица, и ее прорвал противный, квакающий крик:

— Тва-рюга! В тюрьме сгниешь, вражий сын!

— Молчи, ирод! — полуоборотясь, ответил Марьян уже невидимым окнам и небрежно отмахнулся от чужой ругани.

Он подошел к отворенным воротам, поскрипывавшим от прикосновения вьюги, и спокойно, как хозяин, затворил их за собой.

Поверху и понизу, как удивительные поезда, засвистали ветры и гуще задышали в лицо не паром, а снегом. Хлопья уже вились вокруг человека, сбивали его с ног. Пригибаясь, Марьян пошел наобум под ветер, не видя уже ни села, ни вечерних огоньков, которые всегда так гостеприимно мерцают зимой и зовут в чью-то хату, где, кажется, непременно встретишь если не свою долю, то счастливых людей. Когда-то и Марьяну не раз мерещилось это, а теперь в голове не было никаких мыслей, только боль да обрывки разрозненных видений сновали и переплетались там.

Несколько раз он то плечом, то грудью упирался в чьи-то тыны, натыкался на придорожные деревья и снова шел как лунатик, сам не зная куда. Когда же его стала одолевать

усталость, он на ощупь добрался до чьих-то ворот. Но из глубины двора отозвался пес, и Марьян пошел дальше. Наконец он натолкнулся на какую-то хату, и до него донеслись изнутри неясные голоса, хотя света нигде не было видно. Марьян постучал кулаком в дверь, потрогал щеколду. В хате затопали, скрипнула дверь, и настороженно отозвался озабоченный тенор:

— Кто там?

— Степан Васильевич, это я, — ответил Марьян, с изумлением узнавая голос учителя.— Заблудился в замети. Тут такое поднялось!

— Сейчас, сейчас отворю,— с облегчением проговорил учитель, зазвенел засовами, и метель сама растворила дверь.— Заходите, Марьян, будьте гостем.— Учитель на ощупь подал прогретую теплом руку.

В сенях Марьян долго топал сапожищами, обметал снег, потом прошел за учителем через единственный класс в маленькую комнатку и там увидел слесаря с сахарного завода Олександра Палийчука, Леся Якубенка и рыжеватого незнакомца в городском пальто.

— О, да это Марьян, а мы думали...— засмеялся рослый, ясноглазый Олександр Палийчук, успокоительно кивнул незнакомцу, и тот, сняв очки, пытливо глянул на Поляруша, протянул ему темную, проклепанную мозолями руку. Она сомкнулась с рукой Марьяна, и оба сразу почувствовали силу друг друга.

— Михайло Нагорный.

— Не помешал я вам? Так нежданно-негаданно попал.— Марьян обвел глазами сидящих и стены комнатки.

— Садитесь, садитесь, Марьян,— пригласил учитель, хотя сесть в его тесном обиталище было негде.

Марьян примостился на краешек узкой кровати, а Палийчук что-то шепнул Нагорному. Тот с сочувствием поглядел на гостя.

— А мы тут, Марьян, сидели с гостем да мозговали по-всячески, как бы хоть малость облегчить мужицкое житье,— задумчиво проговорил Лесь Якубенко, возвращаясь к прерванной беседе.

— Кто его, Лесь, облегчит? — Марьян безнадежно опустил плечи.

— Может, и найдется кто,— учитель тряхнул черными волосами.— Не все же кротами живут.

В другое время Марьян промолчал бы, но сейчас он чув-

ствовал себя и старше, и многострадальнее, и не хуже людей, не испивших еще свой ковш горя.

— Нет на всем свете никого, кто бы мог, Степан Васильевич, пособить мужику. Если даже господь бог со святого неба не хочет сжалиться над нами, так уж тут ни от кого спасения не жди.

Палийчук и Якубенко переглянулись: заговорила все-таки беда в человеке!

— Раз нет надежды на бога, будем надеяться на людей,— негромко проговорил Нагорный.

— На каких людей? — Потемневшие от горя глаза Поляруша блеснули сухим рыданием.

— На добрых, Марьян.

— А где теперь добрые люди, когда у всякого, куда ни кинь, свой ад в душе?

Марьян будто со стороны увидел схватку с Плачиндой и не удивился, не испугался, что поднял руку на богача: так ему и надо. Взгляд Поляруша потемнел, устремляясь за стены дома.

— Это правда, у каждого свой ад и свое пламя в душе. А пламя — это уже сила! — обращаясь не к Марьяну, а ко всем, с нажимом проговорил Нагорный, и все закивали головами.

Один Марьян устало махнул рукой и забился в угол, где висели две картины, написанные самим учителем. Оттуда Марьян увидал у двери рушник и снова обратился мыслями к Фросине, мучаясь, что не смог положить на окно хоть полотенце и поставить посудинку с водою. И больше он уже ничего не слышал. Очнулся только, когда гости учителя собрались уходить.

Может, вам, Марьян, переночевать негде? Так оставайтесь у меня, постелю хоть на полу.

— Нет, нет, у меня есть пристанище.— Он боялся даже подумать, что доведется стеснить ученого человека.

На улице уже стихла метель, но небо еще не очистилось, хотя на светлеющем краю тучи, как на затуманенном зеркале, угадывалось дыхание невидимой луны. В хатах кое-где еще светились огоньки. Улицу вдруг перешла девушка с коромыслом через плечо, и вода, переплеснувшись из ведер, сказала молодому снегу: «Жить, жить!»

И ночь, и девушка, и плеск воды поразили Нагорного.

— Как хорошо! — вырвалось у него, даром что проходили мимо кладбища.

Возле господского пруда стали прощаться.

— Заходите, Марьян,— напоследок сказал учитель и пошел к школе, а Марьян побрел куда-то на самый край села.

Вскоре он вышел на тракт, над которым высились белыми великанами заснеженные липы. Под их покровом он дошел до одинокого распятия. Голову и глаза Христа замело, но страдальческое лицо его все так же клонилось на бессильное плечо, так же мерзло на холоду его изможденное тело. Человек присматривался к прозябшему богу и мысленно жалел его. Перед распятием высился маленький холмик. Марьян тронул его и увидел, что это занесенная снегом буханка хлеба. Она лежала на узкой полоске грубого, недобеленного полотна. Это снова какой-нибудь убитый горем человек принес сыну божию свой немудреный дар, вымаливая облегчение себе или своим близким.

Марьян положил буханку на снег, а полотно поднял поближе к мареву облаков, за которым угадывался месяц. Потом снова, уже думая о другом, посмотрел на заметенного снегом Христа. Ведь это он навеки отнял у Марьяна Фросину, взял ее хату и землю,— так разве грех отнести эту холстинку ее душе? Верно, не грех. А пройдет сорок дней — и он снова принесет сюда и полотно и теплую, как живая душа, буханку. Марьян отвел от распятия натруженные бесслезным рыданием глаза, бережно сложил холстинку и спрятал ее на груди, в той самой впадинке, где впервые улеглась голова Фросины. Так простился одинокий человек с одиноким богом.

На следующий вечер Плачинда, староста Окунь и двое десятских подкрались к бывшей хате Поляруша в надежде скрутить его там. Терентий не сомневался что Марьян снова придет сюда, чтобы помянуть Фросину. Об этом он подумал еще накануне, добираясь до корня речей батрака.

Но в заметенной хатке никого не было, только под окном белел полотняный рушник да на подоконнике стояла глиняная кружечка с замерзшей водой. Душа Фросины, летая вокруг изувеченного жилища, даже не могла напиться. Терентий поглядел-поглядел и на полотно и на кружечку, выругался тихонько, но не отважился выкинуть их, чтобы не навлечь на себя гнев покойницы.

Часть вторая

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

I

спокон века через село Медвин пролегает лебединый путь.

Когда запахнет талой землей и березовым соком, птицы колышут мягкую солнечную пряжу, приносят на праздничных крыльях влажное, еще с мохнатым туманцем тепло. Бывало, что лебеди садились неподалеку от села на полую воду, близко подпускали к себе детей и взрослых. Потом птицы, отряхивая живые капельки, стремительно подымались ввысь, а человек, роняя пот, склонялся в труде к самой земле, но и ему еще долго-долго мерещились омытые солнцем вестники тепла, что на крыльях приносят весну и отголосок смутных надежд.

В такую пору девочки-подростки в укромных уголках на солнышке потихоньку — ведь пост! — запевали веснянки, а по селу на застоявшихся, с подвязанными хвостами, жеребцах носились приказчики из экономии; гарцуя, они барабанили отполированными рукоятками нагаек-тройчаток в набрякшие крестовины маленьких мужицких окон.

— Гей, люди! Хватит греть ноги на печи! Экономия уже пишет контракты и выдает задаток! Собирайтесь за живой копейкой и магарычом!

И батраки поодиночке и вереницами тянулись к конторе экономии, а в небе тянулись к северу журавли и лебеди, изредка роняя на землю потертые в дороге перья.

Но в этом году еще и жаворонки не зазвенели над заснеженными полями, а лошадиные головы и приказчичьи морды уже сновали под окнами и в крестовины рам ударяли рукоятки нагаек.

— Гей, люди! Экономия уже пишет контракты!

— Что так рано? — удивлялись крестьяне, предчувствуя новую каверзу пана Стадницкого.

Весна будет ранняя,— свысока отвечали господские подручные, словно это они пригоняли нагайками вешнее тепло.

— А вы почем знаете?

— Щучья икра показывает: набухла уже, вот-вот появятся мальки. Это вам каждый рыбак скажет.

И в самом деле — щучья икра и тоненькая шубка на луке предвещали раннюю весну, но не потому экономия взялась раньше обычного подписывать с сезонниками договоры. Перед этим Стадницкий послал своего управителя на Киевщину, в экономии графа Потоцкого, присмотреться, как там ведется хозяйство, и перенять новшества, пригодные для медвинских владений.

Гервасий Салоган вдали от господского глаза не слишком утруждал себя осмотром магнатских угодий и ферм. Он мигом снюхался с челядью графского жонда — главного управления всех владений Потоцкого,— с заносчивыми пролазами приказчиками, чванившимися перед народом необычным платьем, и кутил с ними в райских уголках, пропахших вином и беспутством. Но, кроме воспоминаний о шумных попойках и ночных красотках, Салоган привез из жонда Потоцкого несколько образцов договора экономии с сезонниками. Даже от этих деловых бумаг за версту несло шляхетским презрением и изощренным издевательством над теми, кому предстояло скрепить лист каракулями подписи крестиком или оттиском пальца.

Стадницкому пришелся по душе привезенный договор: если графы научились так выколачивать деньги из мужиков, то что уж миндальничать ему? Жизнь — великое торжище, где все продается и покупается. Значит, нужно, чтоб сделка была как можно более выгодна. И Аркадий Валерьянович, разохотившись, даже усовершенствовал графский договор. Но он побаивался, что его мужики заартачатся и уйдут в экономии Рокотова, Маркозова или Кочубея, и потому он послал своих приказчиков ранее обычного христославить по селу.

«Поглядим, что запоют мужики».

Марьян Поляруш, перед тем как наняться в экономию, пошел к исповеди. Он вбивал в размолотый, зеленоватый от воды и чуть голубоватый от неба снег одеревенелые ноги, которые то и дело подгибались в коленях. Снова и снова вспоминались ему дни великой печали, они не отплывали в прошлое, а ложились один на другой, как иногда весной ложится, волна на волну, неспокойный туман. Что и говорить, бедный человек чуть ли не всю жизнь растравляет себе сердце. В пору юности надежда и бедняку еще сулит хоть грошовое счастье — теплый угол, хлеб на столе, сапоги на ногах да коровенку в хлеве. И ради этого он тяжко мучается с рассвета до сумерек на работах да отработках и ставит в праздники копеечные свечи перед образами. Но, видно, не только люди, боги и те разгневались на злосчастных пасынков деревни, у которых только и земли, что под ногтями.

— Добрый день, дяденька! — зазвенели неподалеку девичьи голоса.

Марьян даже вздрогнул от неожиданности. Из боковой обсаженной татарскими кленами улочки, держась за руки, вышли Зося Романовская и Люба Чемерис, дальняя родственница Марьяна. Стройная и пригожая Люба подходит к своему родичу и кланяется ему. И как ни убит горем Поляруш, но и его поражают правильный овал смуглого, побеленного зимой лица, красиво очерченные, влажные губы и черные ресницы, под которыми густою синью вечереют пугливые глаза.

— Добрый день, Любонька, добрый день! — Марьян подает руку сироте. — В церковь идешь?

— Куда ж еще. Вырвалась на минутку, пока богомольцы рассказывают нашей барыне разные небылицы. — Из-под нахмуренных бровей доверчиво улыбнулась вечерняя синь глаз, а ниже уголков рта чудесно дрогнули ямочки.

«Умеют господа выбирать горничных». Марьян с изумлением и сочувствием смотрит на девушку, не зная, что будет с ее красотой: обрадует ли она крестьянское жилище или сгинет подстилкой в господской грязи?

Люба как будто угадывает мысли Марьяна: не раз чужие глаза вот так же подозрительно заглядывали, а то прямо лезли в душу. В затененных ресницами глазах девушки пробегает страх, она еще раз кланяется Марьяну и устремляется с подругой к церковной ограде. Тут католичка Зося

прощается со своей приятельницей, и та, пригибаясь, исчезает за тяжелыми церковными дверями. А грусть Марьяна сама собою переливается в слова его любимой песни: «Ох, да хуже всех на свете сироте живется, ох, никто не утешит, как беда стрясется...» Да, никто не утешит, не приголубит, не погорюет с тобой...

И на слова и на мотив песни горестным покровом ложатся годы, прожитые и Любой и им самим — двумя крестьянскими сиротами, вокруг которых и земля чужая, и глаза чужие. Так и вносит человек в церковь тоску и песню о сиротской доле, которую серые гуси занесли далеко — на тихий Дунай.

В церкви пахнет холодом, разогретым воском, свежевыдубленными кожухами и вощиной,— хозяйственный ктитор кладет в кадильницу вместе с крошкой ладана душистую замазку, которой пчелы шпаклюют ульи. Перед аналоем стоит на коленях грешник, а над ним склоняется высокий, чернобровый батюшка Викентий, к которому в селе и поныне относятся с почтительным удивлением: отец духовный никогда не торгуется за требы, не волочится за молодыми бабами, в проповедях не слишком пугает мужиков геенной огненной и не отчитывает за потраву у помещика.

Под епитрахилью сейчас кается в грехах старый Щербина, который перед исповедью дал себе зарок до пасхи не знаться на ярмарках с подозрительными барышниками. И хотя исповедник и отец духовный переговариваются вполголоса, но прихожанам, стоящим неподалеку, все хорошо слышно. Они прислушиваются без большого страха и даже с интересом, потому что отец Викентий исповедует не так, как его предшественники. И об этом уже давно, весело посмеиваясь, но без осуждения, говорят в селе.

— Каким именем нарекли, добрый человек? — с набожной сосредоточенностью спрашивает духовник.

— Гнатом, отче.

— А фамилия как? — допытывается отец Викентий, которому еще не довелось познакомиться с Гнатом.

— Щербина, Щербина, батюшка.

На лице духовника появляется улыбка — он уже наслышался об исповеднике.

— А, это лошадник?

— Он самый, батюшка,— раздается под покрывалом голос Щербины.

— Ну, и как ныне?

— Всяко бывает.

— Ничего торговля идет?

— Раз на раз не приходится, однако и барыш кое-какой перепадает.

— На ярмарках обманываешь людей?

— Людей, батюшка,— нет, а барышников — есть грех,— вздыхает исповедник, и на его голове вздыхает старенькая, выцветшая епитрахиль.

Отец Викентий растерянно умолкает, а потом, должно быть, решает обойти грехи с барышниками, однако спрашивает уже строже:

— Ну, а больных лошадей не продаешь?

И обеспокоившийся было Гнат оживляется:

— Не продаю и не покупаю. Потому — какой толк? Разве что с лизаком или другой не страшной хворобой иной раз приведешь породистых. Так тех я выхаживаю сам.

— Чем же ты их лечишь? — интересуется батюшка. Он и сам немного кумекает в зельях.

— А это уж какая хворь. Одну одолеешь ореховым соком, другую — выжимками из побегов молодой таволги.— Гнат подробно рассказывает о своих лекарствах, а ктитор даже отворачивается от такого непотребства на исповеди.

Наконец отец Викентий замечает, что исповедь все больше вертится вокруг лошадей, и спрашивает уже про божественное:

— Молишься каждый день?

— Каждый день, батюшка.

— А постишься?

— Дома пощусь, а на ярмарках приходится и скоромное потреблять,— искренне и смущенно признается исповедник.

А отец Викентий спешит успокоить!

— Это уж и не такой грех. Не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что исходит из уст... Ну что ж, вижу, ты добрый человек,— духовник благоговейно подымает епитрахиль. — Прочитай трижды «Помилуй мя, боже» и положи двадцать поклонов... Прощается и разрешается... и аз, недостойный иерей... Кто там дальше?

Гнат встает и после такой исповеди без страха смотрит на священника, на строгих богов и на еще более строгого ктитора, который таращит злющие глазищи и на исповедника и на духовника.

У Марьяна Поляруша отец Викентий с сочувствием спросил, где он теперь живет, что думает делать, помянул добрым словом рабу божию Фросину и отпустил его, велев также отбить двадцать поклонов.

Когда Марьян после исповеди подошел к конторе экономии, там у дверей, как потревоженный рой, волновалась и гудела толпа сезонников. По людям было видно, что они не пили магарыча и не качали, по давнему обычаю, на «ура» экопома в надежде на липнюю чарочку. Среди шума выделялись голоса Леся Якубенка и Мирона Велычка — высокого мужика с цыганскими кудрями и черными глазами на белом, узковатом лице.

— Будем держаться сообща — пересилим и барина и экономa! — Лесь поднял кулак, из которого торчит изжеванный мундштук трубки.

— Ты их пересилишь или нет, а они тебя в бараний рог согнут и узлом завяжут,— бросил недоверчиво один из крестьян и потянулся рукой к затылку.

— И скрутят и голову к ногам притянут, ежели на брюхе к барину поползешь: «Приидем и поклонимся, ваша милость»,— передразнивает кого-то Велычко, его большие цыганские глаза пышут гневом.

Лесь кивнул Марьяну головой, о чем-то задумался и хмуро спросил:

— Исповедался?

Марьян, удивляясь неуместному вопросу, внимательно посмотрел на Леся.

— Исповедался...

— А теперь поди причастись у нашего барина! — Он показал мундштуком трубки на густо проклепанные железом двери экономии. — Да хорошенько, в оба, слушай контракт, а крестик не больно торопись ставить.

— Барин того и гляди над нами самими заживо поставит крест,— раздалось в толпе.

— Погодите, погодите, а что ж там такое? — стал было расспрашивать Марьян.

— Есть у тебя царь в голове, так сам раскусишь,— ответил Лесь. — Ступай, дружище.

По испарканным ступенькам Марьян поднимается на крыльцо и, сутулясь, словно от новой беды, входит в прокуренную контору. За высокой деревянной решеткой о чем-то горячо спорят конторщик и эконом. Увидав Марьяна, они замолкают, конторщик сует очки и нос в большую,

как «минеи», книгу, а эконом поворачивает к Марьяну заплеванное бородавками лицо. Плоское и округлое, оно походит на растрескавшийся хлебец-гречаник. На такой физиономии, кажется, даже бородавки на месте — они кое-как скрепляют глубокие трещины. На столе перед экономом стопка бумаг, пачка кредиток и несколько столбиков монет да еще нагайка с налипшими волосками и присохшей грязью.

Марьян снимает шапку, а эконом смягчает в улыбке набрякшие губы. И слова у него набрякшие, — кажется, что они выкатываются из морщинистых мешочков подбородка.

— Го, вот наконец работник пришел! Го, этот заработает и деньги и водку. Да и кому же, как не тебе, нужна свежая копейка: обносился, обтрепался в этой проклятой дороге. Что и говорить, дорога не родная тетка, где только она не вялит людей, как рыбу. Подписывай, Марьян, контракт и — за твое здоровье,— и он так поднял узловатую руку, словно в ней была полная чарка.

Марьяна удивляет и настораживает, что эконом заговорил с ним первый и не свысока, даже похвалил: недаром, видно, шумят во дворе работники. А эконом уже берет со стола бумажку и протягивает сквозь деревянную решетку.

— Ставь вот тут крестик, получай сразу задаток и пей на доброе здоровье магарыч. Да и мне сегодня охота опрокинуть рюмочку.

Марьян осторожно принимает контракт, задумчиво вертит его в руках, приглядывается к непонятным мурашкам букв, обжигающим пальцы и тревожащим душу.

— Чего долго думаешь? — подбадривает эконом.— Индюк думал, думал да издох.

— Хоть прочитайте, Хрисан Данилович, что тут накропали грамотеи, чтоб знать, за что крест ставишь.

— За деньги, за деньги, Марьян.— На физиономии эконома улыбаются брови и злеют бородавки.— Правда, не такие уж большие,— так ведь теперь повсюду, дружище, туго с копейкой: беднеют и земля, и господа, и мужики! Такие, видно, времена. Что ж, слушай! — Он берет со стола листок и, калеча два славянских языка, принимается бубнить из-за решетки то, что родилось в экономиях вельможного графа Потоцкого и что предстоит ввести в медвинских владениях.

«Д о г о в о р»

Я, Марьян Поляруш, крестьянин села Медвин, поступил в наймы, по собственному согласию, в экономию пана Стадницкого на сельскохозяйственные работы, какие бы мне не поручили, всего на 144 рабочих дня, на своем содержании («харчах»), за плату за все время 34 рубля, в счет которых получил в задаток 10 рублей, а остальные буду получать затем столько, сколько заслужу. При этом обязываюсь:

1) Выходить на работу с восходом солнца и работать до захода солнца.

2) Если я оставлю работу без законных причин, я должен вернуть задаток вдвое, не требуя за время работы никакой платы.

3) На работу обязываюсь выходить тотчас, как меня позовут.

4) Если экономия позовет меня на какую-либо работу в праздник или в воскресенье, то я не имею права отказаться работать.

5) Если я в праздник или в будни без разрешения экономии куда-либо уйду, то обязан за эти прогульные дни отработать вдвое.

6) Если бы я заболел или умер, то за меня должна отработать моя семья.

7) Ни в коем случае я не могу оставить работу до срока. Эти условия мне известны, в чем и расписываюсь...»

Черные мурашки, расползшиеся по контракту и выпрыгивающие изо рта экономa, больно жалят Марьяна. И когда эконом, сунув договор для подписи, деловито взялся за ручку, Марьян неожиданно вернул обе бумажки и тихо промолвил:

— Тут, Хрисан Данилович, под этой издевкой, вы, коли хотите, свою фамилию ставьте, а я своего крестика не поставлю и перед судным днем.

На лице экономa от удивления задвигались глаза, брови и бородавки.

— Да почему же ты не подпишешь, Марьян?

— А потому, что это женский контракт. А я, как и прежде, должен заработать в экономии свои пятьдесят рублей.

— Теперь не заработаешь, Марьян, рубль подорожал,— уже злится эконом.

— Не заработаем у вас, так поищем еще где-нибудь.

И потом — как же можно в бумаге накликать смерть на человека? Бессердечные люди писали этот контракт.

Эконом сперва удивился такой речи, а потом рассыпал за решеткой притворный смешок.

— Ты про шестой пункт говоришь? Так чего тебе горевать? За тебя, если умрешь, и отрабатывать некому. Экономии от этого одни убытки.

Этот намек на смерть жены еще больше обидел Марьяна. Он нахмурился, посмотрел, словно в дурном сне, на деревянную клетку, в которой, как хищные птицы добычу, подстерегали его эконом и конторщик, и бросил им слова, налитые гневом и болью:

— Можно обижать человека день, месяц, год, а век — это уж слишком!

— И этого туда же, к сброду, потянуло, — поднял огромные бельма очков конторщик.

— Не к сброду, а к людям, — спокойно поправил Марьян.

Он, не прощаясь, вышел из конторы. Во дворе все еще бурлило сборище сезонников, сплетались и расплетались голоса, слышались проклятия и вздохи.

До сумерек галдели и плевались возле экономии батраки. Слабодушным хотелось, безнадежно махнув рукой на все, окропить душу водкой, которую для соблазна дважды провезли мимо толпы приказчики. Но Лесь Якубенко пригрозил кому-то пустить магарыч носом вместе с кровью, и маловеров затюкали.

А когда к чистым, подернутым прозеленью берегам дня стал подплывать расписной, с птицами-тучками вечер, когда на бурьян, росший под забором экономии, налетели стайки щеглов и красноголовых коноплянок, из села пришел русоволосый красавец Марко Билоус, вчерашний унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Он некоторое время, посмеиваясь, слушал галдеж, а потом обратился к сезонникам:

— Кому надоел экономский крупеник, собирайся на американское довольствие — там черного хлеба не едят, одни калачи потребляют.

Работники сразу, как пчелы вокруг матки, сгрудились около Билоуса, и он подробно, с толком рассказал, что сегодня из Белой Церкви приехал в фаэтоне какой-то господин, остановился он в светелке у Лукаша Кондры и втихомолку записывает людей на работу в Америку.

— Отчего же втихомолку?

— А где же вы возьмете денег на губернаторский паспорт? — с видом знатока спросил Билоус, вертя черное решето большой с белым околышем фуражки.— Полицейский надзиратель за справку о благонадежности сдерет двадцать целковых, приставу хочешь не хочешь, а надо сунуть еще тридцать, а потом в губернское правление рублей на сорок с походом разных сборов отдашь. Вот и потянет паспорт на круглую «катеринку». А много ли здесь таких, у кого хранится «катеринка»?

После этих слов руки работников потянулись к затылкам и кошелям, где лежали не рубли, а табачная крошка.

— На черта лысого сдалась нам эта Америка?! —выругался Лесь Якубенко.— И там эконом велит, как и здесь, поставить крестик под своей петлей.

— Ну там, Лесь, если поверить господину из Белой Церкви, человек сразу богатеет,— заступился за Америку Билоус. — Там деньги гребут лопатами.

— Ну и захвати с собой лопату, какой полову отвеивают,— поддел парня Якубенко.

Все засмеялись.

Засмеялся и Марко, сам не зная, что думать об этой соблазнительной Америке. На дорогу, пожалуй, можно бы сколотить деньжат, да кто знает, какие там заработки и девки...

Вскоре сезонники гуртом подались в село, к корчме Лукаша Кондры, где остановился господин Вайнтроб.

В решетчатых окнах корчмы приветливо мерцает разлинованный железом свет, порой в нем птицей промелькнет тень подвыпившего плясуна, не пожалевшего денег на водку и на музыку. Тут дело поставлено просто: кинешь копейку на стойку — и Лукаш прокрутит на граммофоне песню либо танец. А ты делай, что понравится: хочешь — слушай, хочешь — пляши.

Мужики лавой ввалились в корчму, но худущий, как смычок, Лукаш даже не шевельнулся. Ссутулившись, он зорко и сторожко косится своими вечно заплаканными глазами на стакан, в который до мерки наливает царскую веселуху. Со стороны можно подумать, что человек скупо, по каплям, цедит в посудинку не водку, а свое здоровье.

В углу за столиком сидит с мужиками, весь в черном, агент Вайнтроб. Маленькие, живые глазки его присматриваются ко всему, чуткий нос ко всему принюхивается, губы шевелятся, и вместе с ними шевелится на подбородке рыжий кружочек причудливо выстриженной бороды. Вот

агент увидел вошедших, приветливо улыбнулся им, движением руки пригласил подойти и этой же рукой прикрыл рот: мол, «ша».

Поговорочками, шутками, многозначительными намеками он и так и сяк подкатывается к мужикам, втирается в доверие, но не спешит рассказывать об Америке, видно остерегаясь кого-то. Потом перемигивается с Лукашом, тот выходит из-за стойки, запирает дверь на задвижку и жидким голосом приказывает мужикам:

— А теперь берите что-нибудь... Ежели кто наскочит, выпивают мужики — и все чин-чином...

Сезонники вынимают свои копейки, в складчину берут водку и скорченную, с гнилыми брюшками тарань, все это они на всякий случай ставят перед собой. Вайнтроб тоже не гнушается мужицкой чаркой. Он мастерски опрокидывает ее, и у него сразу же кривятся глаза, рот и даже кружочек бородки.

— Пошла, как сплетня по деревне,— говорит он, удовлетворенно поглаживая грудь, на которой поблескивает золотая, унизанная брелоками цепочка.

Мужики улыбаются и отхлебывают чуточку, словно перед ними не водка — кипяток.

— Бедность,— сочувствует им Вайнтроб. — А хотите быть людьми, хозяевами — поезжайте в Америку. Этот край ангел осенил крылом. Скажете, не так? Там золото прямо под ногами валяется, только умей подбирать.

— Еще бы, там и козы ходят в золоте,— невинно замечает Лесь Якубенко, и подымается хохот.

Но это не смущает агента, он охотно смеется со всеми, приветливо говорит Якубенку:

— Ах, чтоб вы были здоровы! — и переводит благодушный, с хмелинкой взгляд на стайку девушек и женщин, толпящихся позади мужчин.

Лесь чувствует, что барин хочет подольститься, и еще больше настораживается, пытаясь раскусить агента, а тот снова, не торопясь, принимается устилать коврами да шелками путь в далекую Америку.

— Теперь у бедного человека только две дороги к счастью: одна — в Иерусалим, спасаться, а другая — в Америку, чтобы жить по-человечески, иметь кусок хлеба, деньги, землю. Скажете, не так? Сколько вы у своего барина зарабатываете за сезон?

— До этого года — пятьдесят рублей.

— Пятьдесят рублей за сезон! Ой, спасите меня, люди добрые! — завопил агент. — За морем нищий и тот выпросит больше. В Америке вы в месяц заработаете пятьдесят долларов, самое меньшее.

— Пятьдесят долларов! — удивляются мужики. — А сколько это будет на наши деньги?

— Ровнехонько сто рублей, копейка в копейку.

— Сто рублей! — все так и ахнули. — Да у нас не всякий барин получает столько на службе!

— А там каждый из вас сразу станет барином. За пятнадцать долларов купите костюм лучше, чем у меня, башмаки или сапоги, шляпу, золотые часы...

— Да еще полотняную суму через плечо и посошок в руку,— добавляет Лесь Якубенко, сразу возвращая мужиков с неба на землю.

Теперь господин Вайнтроб уже неприветливо косится на Леся и обиженно говорит:

— Не любо — не слушайте. Скажете, не так? За деньги, которые я получаю с вас, можно и помолчать,— и он делает вид, что собирается уходить.

Все зацыкали на Леся и стали наперебой извиняться перед агентом. Тот поломался немного, выпил еще водки, понюхал чарочку и уже неохотно продолжал:

— Набиваться с Америкой мне ни к чему: она сама за себя говорит. А не поедете вы — поедут другие. Дай мне бог столько червонцев и здоровья, сколько людей меня благодарит, сколько я от них писем получил. Там человек за год легко откладывает четыреста долларов, облюбовывает в степи пустошь десятин в двадцать, покупает инвентарь, скот и, скажу я вам, становится хозяином на всю округу.

— Двадцать за год! — Люди снова удивились и переглянулись между собой расширенными глазами, в которых уже забрезжили далекие десятины.

— Двадцать и никак не меньше,— охотно подтвердил Вайнтроб и даже причмокнул.

— Как же так может быть? — изумленно спрашивали мужики, погружаясь во мглу сладостных надежд.

— Там земли немеряно, а людей горстка. А где людей мало, земля дешевле грибов. Скажете, не так? У нас арендная цена выше, чем там продажная. Понятно теперь, что такое Америка?

И люди каждый по-своему увидели эту сказочную страну и манящие дешевые десятины, плывущие к ним из-за синих

морей и туманов. И не у одного земледельца затревожилось, защемило сердце перед маревом неведомых дорог и счастья, какого не было и уж наверное не будет дома, на земле отцов. Далеко-далеко, как осенние журавли, залетели крестьянские думы на чужую землю, грелись ее теплом, и Вайнтроб не разрушал этого очарования липким словом, а будто сам радовался чужому счастью и принюхивался к нему чутким носом.

— А как же попасть в эту Америку? — первым неохотно стряхнул с себя радужную пелену Мирон Велычко, и его большие цыганские глаза впились в агента.

Вайнтроб огляделся и заговорил совсем тихо:

— Попасть туда, скажу я вам, не очень легко. Труднее всего перейти возле Кутно русскую границу. Но у нас есть такие верные люди, что проведут под самым носом у стражников. За переход через границу я беру только по двадцать пять рублей с души. Ну, кроме того, нужно иметь с собой кое-что из одежды и рублей сто двадцать пять — сто пятьдесят на питание и дорогу за океан.

И хотя не такую уж большую плату за счастье назвал агент, многие не смогли бы собрать и этого, даже продав свое имущество до последней щепки. Но кое-кто уже готов был оттолкнуться от берега и прикидывал, сколько можно выторговать за свой скарб. И тогда, меняясь в лице, поднялся горячий Лесь Якубенко, который не поверил, что мужицкая доля лежит на распутьях далекой Америки.

— Я не знаю, люди, что мы слушали — правду или басню? Ничего не скажешь, на хорошего живца приманивает нас господин Вайнтроб. Но кто мне скажет, нет ли крючка за этим живцом? Кто мне скажет, не останутся ли нищенками моя жена и дочка, когда я продамся и уеду за океан?.. По сто рублей, говорит господин, будем зарабатывать? Дай бог иметь такие деньги нам и детям нашим. Но у кого мы их будем зарабатывать? Да все у тех же господ. Так разве вы не знаете, что вороны во всем мире черные, а господа везде одинаковые — и в Америке и за Америкой? Ну, и про землю скажу: надо еще подумать — заработаем мы двадцать десятин или отмеряют нам на границе три аршина? Вот и сложишь голову между отечеством и чужой Америкой... А тут вон слухи пошли, что синоды в этом году будут наделять нас землею — по семь десятинок на двор.

— Какие синоды, Лесь? — охлажденные батрацкие думы возвращались с чужой земли на свою.

— Крестьянские синоды. До поры они тихонько перемеряют господскую землю, а пора вот-вот настанет... Так на что же нам отрываться от своей земли? Однако, может, я и не так рассудил своей темной головой? Тогда пойдем за советом к нашему учителю. Он человек разумный и не подскажет мужику плохого. А уж завтра ответим господину Вайнтробу, как нам быть с Америкой.

— Вольному воля,— пожал плечами агент.— Я своим товаром не набиваюсь — он сам за себя говорит. Но смотрите, чтобы после не каяться: кое-кто соберет сметанку, а вам не хватит и сыворотки. Скажете, не так? Ну, а я тут, у господина Лукаша, буду всего один день.

— За это время люди обмозгуют, как им быть,—успокоил агента Лесь и первым вышел из корчмы.

По притихшим улицам села несли сезонники бурливые мысли и раздумья, которые и молодят и старят земледельца. Одни мечтали о далекой земле, у других перед глазами зеленели семь десятин, которые где-то меряет таинственный крестьянский синод, третьи надеялись на свои законные полторы десятины, недоданные барином после голодной воли. Кто же не знает, что казна наделила казенным крестьянам по пяти десятин на ревизскую душу, а барин отдал только три с половиной. Тряхнет барина беда, вытрясет из него эту давнюю покражу, и вернется земля мужикам.

Дорога к дому учителя шла мимо кладбища — медвинская школа помещалась в бывшей церковной сторожке. Вот и замаячили кресты, покрытые снежными шапками. Кажется, и здесь, на погосте, не умирали мужицкие надежды на землю — даже на могилах крестьянских через год-два вырастала черная или красная вишня, а то и груша кудрявая.

Занесенное кладбище прошли тихо, боясь выплеснуть хоть слово надежды, чтобы не похоронить ее здесь. Впереди блеснули оконца школы. И вдруг на людей полилась необычная музыка, умолкла и снова зазвучала над влажным снегом. Мужики остановились на дороге между густо заросшим погостом и обсаженной тоненькими деревцами школой, не зная еще, откуда эта мелодия, льющаяся в душу, словно солнечные лучи, зовущая и манящая туда, где нет нужды и горя, где не на кладбищах, а у живых людей шумят и цветут сады, где не слышно голодного детского плача, а раздается веселый и радостный смех, и вздох вечереющей реки, и любовный шепот.

Но вот удивительные звуки оборвались, а вместо них из окон школы донеслась другая, всем знакомая грустная песня: «Стоит гора высокая, а под горой лесок...» И разве не чудо, что заиграл невидимый смычок и встали перед глазами Леся Якубенка и высокая гора, и зеленый лесок, и речка, и лебеди на синей волне, и привязанные к берегу лодки, в которых можно доплыть до своей молодости.

И позабыл человек, что сам он стоит между погостом и школой, а мысли его летают меж своей и американской землей. «Густой лесок, зелененький, как райский уголок»,— не голосом, а всей душой ответил Лесь скрипке, чувствуя, как песня покоряет батраков, видя, как она меняет их лица. Взбудораженные музыкой люди тихо-тихо направились к школе, сдвигаясь теснее или кладя руки на плечи соседей; даже ослабшая душа Марьяна трепыхнулась подбитыми крыльями, и в нем тоже запел внутренний голос.

Так переполненные песней и подошли сезонники к школе. На пороге их встретил учитель.

— Заходите, заходите, люди добрые!

Приветливо улыбаясь, он отворил дверь настежь, и все вошли в единственный, простывший за вечер класс, в котором маленькая лампа освещала на раскрашенных полушариях нашу и американскую землю.

Здесь, где постоянно звенело детское слово, теперь тоскливо и тяжело падали комья неуклюжей мужицкой речи. Страшно, когда человек живет на земле словно в вечной тюрьме; страшно, когда ребенок с шести-семи лет становится на весь век батраком; страшно, когда в апрельской воде, расцвеченной радугою и небом, девушки, замачивая коноплю для экономии, топят свое здоровье, девичество и материнство; страшно, когда земля извергает своих детей в чужие края.

«Вот, царь, какие гимны слагают тебе люди черной земли,— подумал Степан Васильевич, невольно подняв глаза на веселое, с хитринкой лицо самодержца на портрете, и сжал полные упрямые губы.— Чему же ты рад и кого пытаешься перехитрить? Ведь тебя надувает даже мелкий мошенник, сманивающий твоих подданных за далекие океаны!»

Затихли голоса мужиков, выплеснувших часть крестьянской боли. И в вечернюю тишину пали первые взволнованные слова учителя:

— Я, люди, не буду хулить чужую землю. Может, на ней и растут готовые калачи, может, и покупается там

счастье за копейки, может, там и доллары легко заработать. Так об этом раньше надо узнать, только не от американского вербовщика Вайнтроба. Это, люди, бестия. Да еще какая бестия! О нем уже и в газетах писали: это он в Варшавской губернии обобрал до ниточки несчастных переселенцев. Границу они перешли без гроша и без вещей, надеясь, что их пожитки позднее переправят контрабандисты. Но пожитки переправились в карманы Вайнтроба и его сообщников. Так что эти людоловы получают тройную плату: от американских фирм, от вас — за тайную переправу — и сверх того ваше имущество...

— Вон как! — вырвалось у Марьяна Поляруша.— Гадюки во всем свете кусаются.

Сразу рассеялось марево надежд, сразу глаза мужиков вспыхнули бешеной злобой, как вспыхивают они у крестьян при виде конокрадов и поджигателей.

— Мы ему, сукину сыну, сейчас посчитаем ребра! — Над головами замелькали тяжелые кулаки.

— Насажал людям болячек — болячками и ответит!

— И то дело, — усмехнулся Степан Васильевич, и в глазах его заискрился задор.— Может, отобьете грязь, которая обратила человека в свинью. А может, попробовать хоть раз стукнуть барином по барину?

— А как это сделать? — Еще не остывшие сезонники сгрудились вокруг Степана Васильевича.

— Ну, допустим, завтра вы все до одного даете согласие на выезд в Америку, только задаток Вайнтробу не приносите, скажете: «После отдадим». А тем временем никого из окрестных сел не подпускайте к экономии. Может, и возьмем Стадницкого на испуг. Торгуется он с вами — поторгуйтесь и вы с ним...

— Ловко выходит! — подхватил Марьян. — А не дознается барин про наш уговор?

— Отчего ж ему не дознаться, если найдется ловкач, у которого язык долог, а ум короток! Может, у кого и сейчас поджилки дрожат, не терпится махнуть к барину! — с ударением проговорил Степан Васильевич и обвел собравшихся внимательным взглядом.— Все можно в ложке воды утопить, хоть на час, да можно.

— Такого я сам в господском пруду утоплю, как слепого щенка! — сверкнул глазами Якубенко.— Слышали, люди, разумное слово? Так что держите язык за зубами, чтоб и жена не знала! А завтра пойдем к господину Вайн-

тробу. Кладите руки на верность! — Он соединил свою ладонь с ладонью Марьяна, и мужики, теснее сбиваясь в круг, стали класть на них свои дубленые, в ссадинах и морщинах, руки...

Через несколько дней обеспокоенный Стадницкий согласился дать сезонникам прошлогоднюю плату, только договор остался графский, не удалось вычеркнуть даже шестой пункт. Но и это уже было победой над барином. И только тут, после магарыча, развязались у мужиков языки. Эконом, подслушав, как «свитки» да «кожухи» надули барина, первым, на горе себе, прилетел к Стадницкому с доносом. Разъяренный Аркадий Валерьянович не поблагодарил эконома, а начал так распекать, что у доносчика на багровом лице, как на вечернем стекле мухи, зашевелились бородавки. Перепало за плохую службу и управителю и приказчикам. А после этого Аркадий Валерьянович сам верхом поскакал в уезд, к становому. Там он, не поминая о том, как его надули мужики, горячо расписал приставу крамолу учителя, подбивавшего крестьян выехать в Америку.

Пристав, отяжелевший гвардейский корнет в отставке, улыбаясь, выслушал Стадницкого и недоверчиво покачал веселой, как полная луна, головой.

— Вас, Аркадий Валерьянович, ввели в заблуждение. Напрасно нападаете на учителя. Он, чего мы вовсе не ожидали, молодец: собственноручно написал к нам в стан и даже в жандармское управление о преступных действиях вербовщика Вайнтроба. Мы уже разыскиваем этого агента. А с учителя, видно, слетает зеленый пушок юности. Кто не бывал молодым...

— Ну и штучка этот учитель! — невольно вырвалось у Стадницкого.

— Возможно, возможно, Аркадий Валерьянович. Жизнь покажет,— согласился становой и снова улыбнулся идиотской, как казалось Стадницкому, улыбкой.— Ну, а раз штучка, то не минует наших рук,— и он так сложил ладони, словно держал в них что-то.

— Вы хоть бы последили за ним.

— А мы это и делаем. Отец Николай не спускает с него глаз,— доверил становой в порыве великодушия служебную тайну.

— Ну, этот докопается до истины,— одобрительно кивнул головой Стадницкий.

II

Любви на свете больше, чем кажется людям.

Но потому, что в тайне она рождается и тихо, в слезах и вздохах умирает, о ней меньше говорят, реже думают. Только песня не стыдится по вечерам раскрывать людям чары их молодости, праздник и муку души, тревогу доверчивого сердца и черную разлуку да измену. Тогда и в печали и в радости человек становится добрее, лучше и с изумлением видит, сколько наносного неведомо для чего осело в нем, как быстро серые будни расплескали чашу любви. А была же любовь, была, да и разошлась, как туман по долине. И уже не такими желанными становятся вечера, и не так трепетно сияют звезды, не так мятежно тревожится в тиши остывшее сердце, и не таким широким и радостным предстает потускневший мир.

А поглядишь на рассыпанные хатки, на занесенные снегом луга и дубравы, на молчаливые вербы под луной, на притихшие садочки да колодцы, вспомнишь скрипучие ворота или подведенные тенями тыны, вывершенные в Петровки стожки, копенки — и повсюду всколыхнется, оживет чья-то любовь. Так, от хаты к хате, со стежки на стежку, пройдешь по давним или свежим следам ее и нежданно повстречаешь вновь, как вон ту пару, что идет, закутавшись в один кожух.

Степан Васильевич посматривает на эти чудеса с улыбкой, а Христина почему-то вздыхает. Впрочем, нетрудно сообразить, почему вздыхает девушка в лунный вечер.

— Нет того, кого любила? — шутливо спрашивает Степан Васильевич.

— Нету.— Христина доверчиво глянула на учителя и снова вздохнула.

Степана Васильевича изумляет откровенность признания и то, что любовь уже осенила, опечалила эту миловидную, совсем молоденькую девушку, которая, верно, до недавних пор еще в куклы играла. И учитель, случайно повстречавший девушку на улице, со всей добротой молодости сочувствует Христине, желает ей только блага. Пусть и она, замирая от счастья, встретит на каком-нибудь мостике своего желанного, и понесет ее суженый под звездами на руках, нашептывая самые нежные слова, и пусть не исковеркает ей жизнь бранью, грызней, тяжелым кулаком или злою сивухой.

Кружатся мысли, как снежинки, разлетаются и разлетаются по селам и хатам, где и он прислушивался к свадебной музыке, песне и надежде. И почти везде выходило одно и то же: надежда отцветала, как сады, только сады через год снова зацветали, а надежду все больше съедали недохватки, неурядицы да семейная обыденщина.

Над чьим-то плетнем жалобно зазвенела, заискрилась в лунном свете обледенелая вишня и прервала короткое странствие учителя по далеким хатам, где было меньше счастья, чем надеется человек получить в пору любви. И теперь уже вздыхает учитель. Христина вопросительно смотрит на него и опускает глаза на дорогу — неровные колеи зеленеют комковатым, с лунной накипью ледком.

— Нанялась, Христинка? — ласково и грустно спрашивает Степан Васильевич.

— Приплось. Иначе не проживешь,— тихонько отвечает она и смотрит на свои раздавшиеся на работе в экономии руки.

— А что мать делает?

— Прядет да прядет.

Возле высокого журавля учитель и девушка останавливаются, чтобы разойтись в разные стороны, и в это время позади них вырастают трое крепких, один в одного, парней...

— Это не за тобой, Христина?

— Кто их знает? — Девушка равнодушно оглядывается и узнает всех Щербин.

Близнецы в свою очередь узнают учителя, сдерживают шаг, а Левко, тихонько присвистнув, замечает:

— Глянь-ка, наши в гору пошли — с благородными знаются. Счастье — что лихоманка, на кого хочет, на того и вскочит.

Когда Степан Васильевич свернул на другую улицу, Левко покосился на братьев, пришил их взглядом к месту, а сам, пригибаясь, поспешил за девушкой.

В этот вечер Христина не убегает от Левка: в ногах нет больше той легкости, с которой она летела, бывало, как птица. Эти тоскливые вечера не привели Романа и, верно, не приведут уж никогда — он так ни разу и не показался на их улице, даже не смотрел в ее сторону. Похоже, из-за Левка он разгневался на нее. Ох, и глуп же ты, Роман, да и она не умнее: нашла, чем забивать голову. Добро бы, хоть слово сказал, а то ведь это все только ворожба лунного вечера. Девушка — в который уже раз — прорывает и все

не может прорвать пелену, так нежданно отуманившую ее сперва надеждой, а потом горькой болью.

Левко догоняет Христину, с преувеличенным почтением снимает шапку и высоко подымает над головой.

— Здорово, чернобровая!

Девушка только пожимает плечами.

— Домой чешешь?

— Нет, в гости на ночь глядя собралась: самое время,— неприветливо отвечает девушка.

— Да ты сердишься, что ли? — удивляется парень, нахлобучивая шапку на взлохмаченные вихры.

— Нет, радуюсь, что увидела тебя.

— Правда? — Левко не может разобрать, смеются над ним или в самом деле так соскучились. Он украдкой поглядывает на девушку и вновь думает: «Ей-богу, на выданье девка. Росту и силы на хорошее хозяйство нету, а красота есть».

Христина замечает его взгляд и морщится.

— Левко, ну, чего смотришь на меня, как на ярмарке?

— Есть на что.— Он дотрагивается до плеча девушки.

Христина отстраняется и этим тоже удивляет его.

— С благородными, говорят, лучше, чем с нами?

— Ну что ты привязался ко мне? — Христина с мукой в глазах посмотрела на парня.

— А что же такого? — наконец обижается тот.

— Прошу, молю тебя: не ходи за мною.

— Да почему? Что, тебя убавится, как постоишь со мной?

— Ну, зачем мне, скажи на милость, стоять с тобою?

— Затем же, зачем и все стоят,— ни чуточки не смущаясь, отвечает Левко и широкой спиной загораживает калитку, чтобы девушка не ускользнула во двор.

Христина пытается перелезть через низкие воротца, но парень обеими руками усаживает ее.

— Левко, ну есть ли у тебя совесть? — Христина через плечо гневно оглядывается на парня.

— Отчего же нету? Не съел же я ее с хлебом... Вот посиди маленько на воротах, я тебе что скажу...

— Умное?

— Уж какое придется,— он исподлобья посматривает на девушку.— Какое сумеем.

И Христина, сама не зная почему, все-таки садится на ворота, а рядом деловито примащивается Левко.

— Славный у вас двор,— оглянувшись назад, говорит он.— Маленький, а ладный.

— Это ты и хотел сказать? — подозрительно косится на парня Христина.

— Да нет, другое.

Он кладет руку на плечо девушки, но сразу же летит на дорогу, и пока подымается на ноги, Христина оказывается уже в дверях.

— Спокойной ночи, Левко! Не ушибся?

— Ступай ко всем чертям! — повторяет он свое прощальное приветствие и покачивает упрямой головой.— Уродит же господь бог такое зелье парням на погибель... Может, ты хоть немного пожалела бы меня? Видишь, как зашиб руки?— Он показывает ладони.

— Пускай тебя Тетяна жалеет.

— Ну и язычок у тебя! — бросает парень уже в сени, где скрылась маленькая фигурка девушки.

И на следующий вечер Левко снова увязался за Христиной и снова удержал ее у калитки.

— Левко, еще раз прошу тебя слезно: не ходи за мной!— взмолилась Христина.

— Отчего же не ходить? — набычился он. — Или я хуже всех?

— Не хуже, а только к чему тебе это провожание?

— А что же ты хочешь?

— Ничего. Не хочу людского наговора.

— Э, кого он, да еще в селе, минует? И святого найдет,— рассудительно заметил Левко.— Хоть на печи замуруйся, а не спрячешься от него.

— И все равно не хочу я, чтобы злые языки вязали тебя со мною. Слышишь?

Левко снова удивился.

— Вот никак не раскумекаю: ну что ты так въедаешься в меня?

И тогда Христина залпом выпалила:

— Ведь ты сватать меня не станешь?

Левко подумал, обиженно надул губы и хотя чувствовал, что его постоянно тянет на эту улицу, однако честно признался:

— Должно, не стану: нет у тебя ни земли, ни сундука с приданым.

— Так чего ж тебе стаптывать сапоги на нашем краю? Только женихов отпугиваешь.

— А может, я набиваю тебе цену? Поторопятся посватать, — уверенно ответил парень.

И как ни тоскливо было на сердце у Христины, все же она засмеялась, и Левко охотно подхватил смех, уверенный, что сказал что-то до чертиков веселое и умное.

III

В первые дни после отъезда детей Чайчиха не сводила глаз с маленького, о четырех стеклах, окошка, словно оно околдовало ее. К окошку, преклонив колено, жалась молодая вишня, унизанная лапками набухших почек. Старуха не раз видела, как они затекали, запекались ледком или лохматились инеем, а в полдень с них свисали гроздья слез, в которых голубело небо и багрянел отблеск тугих, богатых цветом побегов.

Предвесенний вишневый плач еще больше тревожил душу, вызывал новые слезы, и они падали на квашню с рожью, заработанной еще Иваном. В тесной, как гроб, каморочке, половину которой занимала небольшая печь, квашня служила старухе и столом и последним закромом. В каморке царила непроглядная нужда, и даже нары были так малы, что Чайчиха спала свернувшись клубком. Впрочем, теперь старая, казалось, и не спала, а только куталась в кисею горьких видений.

Иногда к ней врывались худущие, вечно голодные дети Гранчаков: трое босых, а двое в сапожках, из-за которых ежедневно сражалась вся детвора,—каждый, едва продрав глаза, норовил прежде другого сунуть ножонки в сапоги и удрать из набухшего сыростью и цвелью жилища. Ребятишки показывали бабке, какого голубя или голубку переманили из чужих голубятен, на миг затихали, глядя на слезы старухи, но сразу же забывали чужое горе и начинали смеяться, а то и драться, бесцеремонно стаскивая со счастливца сапоги, чтобы и Ванько́ погрел в них ноги. Тогда Ванько́ утирал рукавом глаза и под носом, сразу становился казаком и, не мешкая, как заведенный выскакивал на улицу поиграть с ребятишками или похвалиться перед людьми обувкой, даром что пришитые голенища пестрели заплатками всех цветов — были даже хромовые. Дети немало гордились ими, натирая заплатки до зеркального блеска.

Когда Чайчиха принималась возиться с жорнами, детвора помогала ей размолоть мисочку ржи на пресные лепешки: о хлебе теперь старуха боялась и думать. А у Гранчаков с крещения не из чего было спечь и пресный корж. Настя уже добралась до мужниной подушки, набитой вместо перьев пшеничными отрубями. Из них она и варила в эти дни липкую затируху, приправляя вместо шкварок горсточкой толченой сурепки или разбитым яйцом. Дети так уплетали постное кушанье, что за ушами трещало, а родители больше морщились да злились, устремляясь мысленно к тем далеким дням, когда будет хлеб на столе.

Есть на свете невезучие люди, ничто им не удается. Таким был и Тодор Гранчак. Всю жизнь он бился с нуждой, всю жизнь копил на скотину. Но неумолимая рука злого рока разрушала его надежды и пригибала голову и плечи бедняги к земле. После женитьбы Тодор, вылезая из кожи вон, приобрел наконец жеребят. Полюбовался на них с год, а потом закопал на своем же дворе — обоих сгубила сибирка. Даже шкуры с них не содрал,— не потому, что боялся заразы, а просто не смог бы без слез освежевать свои надежды. И снова складывал мужик грош ко грошу, мучился, как Марко в аду, работая на чужих людей, и сколотил все-таки на коня. А в глухую осеннюю ночь, когда меж тучами то светил, то не светил месяц, волк-бирюк задрал жеребца.

Весною Тодор оставил село и подался с косой на Дон. В тот год трава и пшеница стояли стеною, косари были в цене, и Гранчак в одно лето заработал на коня. На пречистую и купил его, а после покрова нашел на опушке Синявы с выдранным брюхом. И тогда пошел Тодор искать волка, с одной дубинкой и гневом в душе пошел в Синяву, хотя ему и говорили, что это пустое дело: где же видано, чтобы чуткий волк подпустил к себе человека? С ружьем — еще куда ни шло....

Однако на этот раз повезло Гранчаку — нашел он своего лютого грабителя на болотце. Окровавленный по грудь, старый, широколобый волчище лежал в кустарнике, из-под его раздутого от мяса брюха торчали веточки примятой ивы. Зверь, опьяневший от крови и мяса, казалось, усмехался во сне, брюхо его тяжело вздымалось и опускалось. По брюху Гранчак и ударил дубиной изо всей силы. И волк не завыл, а лишь захрипел, квакнул, подпрыгнул и, обессилев, опустился наземь, подгребая грунт лапами.

Так и сдох, засмердев от ужаса, волчище на том болотце. Тодор освежевал его, смазал еще теплым волчьим салом сапоги и понес шкуру в местечко, на базар. Там он с горя пропил до копейки весь свой злосчастный заработок, и с той поры бедняцкий грош его все чаще раскатывался по кабацким стойкам, а свою мечту — лошадей — он видел только пьяными глазами. Но с каждым годом все реже видели скотину и пьяные глаза: где уж там было думать о ней, когда семья росла, а ни земли, ни силы не хватало уже и на хлеб насущный!

Вспомнив о хлебе, Чайчиха, невольно вздыхая, смотрела на квашню, в которой месила тесто для себя и молодого Чайченка, а потом и для детей и для внуков... Теперь здесь лежало последнее зерно: хочешь — любуйся на него, хочешь — ешь. Дрожи теперь, бабка, над каждым зернышком,— скоро ли еще наступит лето, когда можно будет хоть колосков насбирать на чужих полях?

В каморку, пригибаясь под низкой притолокой, входят Гранчаки. Тодор держит в охапке, как дрова, две пары детских сапожек.

— Попрошу вас,— обратился он к Чайчихе,— спрячьте у себя обувку, чтобы мои пострелята не выскочили на улицу.

— Куда уж им на улицу, когда у них корь! — с жалостью сказала старуха.

— А им, сорванцам, только дай сапоги — так они не то что с корью, с лихорадкой и с чумой помчатся на пруд.

Тодор кидает сапожки под печку, ногой засовывает их подальше от людского глаза и выходит с женой во двор.

Вот понурые, в черных свитках фигуры мелькнули возле занесенного снегом забора и скрылись в мягкой ясности предвесеннего дня. Чайчиха проводила их взглядом и мысленно перенеслась к своим детям, в далекую Сибирь, где, говорят, от холода солнце стекает на землю капельками золота.

Она не услышала, как в хате Гранчаков осторожно зашуршала хворая детвора, как легонько скрипнула дверь, как из сеней вывалился на двор босоногий выводок гранченят. День сразу ослепил их, дети подняли ручонки к прищуренным глазам, а потом засмеялись, и на их горячих, воспаленных болезнью личиках заплясали сотни красных пятнышек сыпи. Когда старший мальчуган выскочил к воротам, маленькая Галинка, с куклой из картофелины в руках, укоризненно заметила:

— Виктор, папа и мама не велели выходить из хаты.

— Ну и не выходи, глупая!

Виктор швырнул в Галинку снежком, но попал в Павла, тот кинулся за снегом к плетню, и вскоре двор сотрясали воинственные крики, смех и топот босоногого войска. Оно летало, падало со всего размаху под тыны, прыгало с сугробов, чтобы вдоволь накормить снегом забияку Виктора, а он увертывался от снежков и мягкими, напоенными солнцем глыбами закидывал малышей.

Чайчиха заметила мальчика, когда он уже выскочил за ворота и с хохотом отбивался от братьев, которые брали над ним верх. Вне себя от ужаса, она в чем стояла бросилась во двор и там увидела всех гранченят, горевших в огне кори и полных боевого задора.

— Деточки мои родненькие, ручки несчастные, ноженьки натруженные! — завопила старуха, стоя посреди двора, и подняла изможденные руки к небу.— Пресвятая богородица, всех страждущих помощница, святой Никола-угодник, отведите хворь и порчу от невинного детского тела...

Малыши увидали, в каком отчаянии застыла старуха, напугались, помрачнели и тихонько потянулись домой. Когда Чайчиха вошла в жилище, все пятеро лежали на полу, кутаясь в тряпье и дерюжки.

— Бабушка, вы не бойтесь, ничего нам не будет до самой смерти,— первым откликнулся Виктор, у которого так и пылало лицо.

— Деточки мои, дети, горе мне с вами! — причитала и плакала старуха. — Ведь как пойдет по вашим жилам простуда, онемеете, оглохнете и так можете окриветь, что и света божьего не увидите. — И она, подойдя к божнице, истово обратилась к богам то ли с молитвой, то ли с заговором. — Михаил-архангел, помоги мне, грешной рабе, оборонить младенцев неразумных от потопа и потрясения, от безвременной смерти и всякого зла...

Дети совсем притихли, напуганные ее словами, молитвой, а больше всего тем, что бабка возьмет да и расскажет все отцу. А Чайчиха, помолясь, метнулась к печи, охая, развела огонь, налила горшки водой, потом пошла в каморку, открыла квашню, с несказанным сожалением посмотрела на зерно, высыпала его в корытце и понесла в хату, чтобы наполнить горшки, приставленные к печи.

Так прощалась бабка со своим последним добром. Когда зерно набухло, Чайчиха бережно высыпала его на дерюгу и уложила малышей на горячую ржаную постель, чтобы

их тельца пропитались разомлевшим духом хлеба: пусть она отведет и вытянет все болезни и немочи из невинного детского тела, пусть ее, Чайчихи, последнее зерно послужит вот этим росткам, которые еще не знают, что такое жизнь и что значит для человека последняя горсть хлебных зерен. Ибо — что человек без хлеба? Нищий, да и только.

И перед опухшими от слез глазами старухи вставали то горячие тельца детей, то ее пустая, почерневшая от времени квашня, то холодное нищенство, которое ждало ее теперь.

Дети горели как свечи. В их помутившихся от болезни глазах сошлись страдание, голод и мрак. Родители и Чайчиха присматривали за малышами и понемногу ели то самое распаренное жито, которое должно было отвести увечье от беззащитного детского тела.

— Разве это зерно? Это горькие слезы наши,— вдруг проговорил однажды вечером Гранчак, положил ложку на край миски с вторично подогретой похлебкой и вышел. Кто знает, что вспомнилось человеку и почему он не доел ужин...

Через несколько дней не осталось и этого. Гранчаки и соседи посоветовали Чайчихе пойти в волость: должны же там чем-нибудь помочь старому человеку.

Старуха надела самое лучшее, что осталось у нее из носильного, смазала дегтем сапоги, повязалась двумя платками и подалась с посошком в волость, благо до нее было всего девять верст. В полдень добралась бабка до волостного правления, расспросила, как найти самого старшину.

Он, в свите со сборами и серой смушковой шапке, картинно стоял, попыхивая трубкой, под портретом царя, приказывающего волостным старшинам слушаться предводителей дворянства. Подсушенный бумагами и просительской водкой писарь, одетый по-господски в клетчатые узкие штаны — галанцы, читал какую-то бумагу, то и дело вопросительно поглядывая на старшину, который всякий раз глубокомысленно кивал головой и бросал сквозь дым одно только «мм-да».

— Чего, бабка, притащилась? — неласково спросил Чайчиху писарь, и его щеки, пропаханные повыше рта глубокими бороздками, надулись от спеси.

— К вашей милости. — Старуха поклонилась начальству и услышала:

— Мда.

— Что там у тебя? — Писарь опустил бумаги на пестрядь клетчатых галанцев.

Она рассказала про свою беду, и на ее счастье лицо старшины за дымом оживилось: оказывается, он хорошо знал Ивана Чайченка.

— Здоровый был мужик,— только и нашел он, что сказать в похвалу ее сыну, и выпустил клуб дыма. — Что же, бабка, пособим тебе.— Старшина сочувственно покачал головой, что-то шепнул писарю, и тот взялся за перо.

— Спасибо, милый человек, дай бог, чтобы и вы, и деточки ваши, и внуки были здоровы да счастливы,— поблагодарила Чайчиха.

— Мда! — послышалось в ответ.

Писарь подал Чайчихе два листка гербовой бумаги и растолковал, как быть.

— Пойдешь, бабка, в лабаз, там тебе на эту бумажку отвесят десять фунтов ржи. Только скажешь лабазнику, что старшина велел найти хорошее зерно, а не какой-нибудь мышеед. Это тебе по милости и из кармана самого господина старшины! — он поднял указательный палец. — А этот, второй документ дает тебе право нищенствовать во всей волости. Не ты первая, не ты последняя. Остановит тебя стражник или урядник — ты и покажи ему бумагу. И никто тебя не тронет, никто не полоснет нагайкой по спине.

Со слезами на глазах взяла Чайчиха первые свои казенные бумаги и поклонилась начальству.

IV

В хибарку вваливается с большой охапкой дров запыхавшийся, веселый Максим. Старый заячий треух сполз на глаза, он хочет поправить шапку нетерпеливым движением головы, и вот уже треух летит к порогу, а дрова — под печь. Мальчуган, играя, лихо подхватывает своего «зайца» и так сминает, вывертывает его, что он и в самом деле становится похож на косого. Максим прижимает его к груди, гладит румяной щекой и вполголоса напевает:

Ой, на горке нива, там зайчишка
Дробь-чечетку выбивает.

Мне бы ножки, как у зайки,
Я сплясала б на лужайке,
Как зайчишка.

И Максим пускается выбивать чечетку неуклюжими, обоножными [1], сшитыми на рост сапожищами, в которых больше онуч, чем ног. Будь дома отец, Максим вел бы себя смирнее, и не потому, что побоялся бы получить подзатыльник, а просто при отце сами собой угомонялись и руки, и ноги, и лицо.

Мария, сложив увядающие руки на груди, теплым, всепрощающим взглядом следила за сыном и покачивала головой. У стола Максим залихватски пошел вприсядку, пляска затянула его под стол и там оборвалась.

Плясал бы еще, да куда ни подайся, везде стены мешают! Мальчишка, изогнувшись, вылез возле сундука и стал как вкопанный перед матерью. С его губ, окаймленных тугими кромочками, готов слететь веселый вопрос: «Ну как?»

— И в кого ты, Максим, пошел? — В задумчивых карих глазах Марии веселая и укоризненная улыбка.

— В кого? — Мальчуган задумался на миг, смешно топорща узкие, реденькие брови.— Дед Дунай говорит, что в него, а Плачинда — что в черта.

— Ты поумничай еще! Вот я тебя веником!

И хотя материнская рука гораздо мягче отцовской, у Максима сразу разгладилась единственная ямочка на щеке, и он одним прыжком очутился у двери, положил большой палец на щеколду, даже потрогал ее: мол, чуть что — улизну. Оттуда можно без опаски напомнить матери, что сегодня первый весенний праздник — Евдокии — и не пристало ей брать в руки противный веник. А если уж он, Максим, так надоел, так нам озолил глаза матери, что ж, можно и скрыться с глаз на часок, он человек не гордый,— только надо ли так нападать на него?

После этой речи мать сразу улыбнулась озорнику, подобрела и бросила взгляд в маленькое окошечко, раздумывая, выглянет ли сегодня солнце, подаст ли Евдокия надежду на урожай овощей. Максим намотал все это на ус и прикрыл пальцами улыбку на оттопыренных губах, вокруг которых весело изогнулась трогательная кромочка. Особенно забавна она на нижней губе: бойко бежит от уголков рта, а посредине материала не хватило, и она пропадает. Приглядишься со стороны к этому диву и невольно улыбнешься.

---

[1] О б о н о ж н ы е — сапоги, годящиеся на обе ноги.

— Мама, слышите? Надумал я пойти в лес,— Максим выговаривает это «слышите» совсем как взрослый.

— В лес? — Мария удивляется и настораживается: она хорошо знает своего сорванца. — Чего ты там не видал?

— Деда Дуная.

— Какой он тебе дед Дунай?

— Такой же, как и всем.

— Ты еще, постреленок, при нем так, по-уличному, брякни.

— А на что же тут сердиться? — Реденькие бровки мальчика от удивления полезли вверх. — Это же Дунай! Большая река. Вот Черное Сало — другой разговор.

— Ох, и разумный же ты у меня стал!

— А для чего же тогда и третий класс кончать? — Единственная ямочка — след ветряной оспы — дрогнула в улыбке. Улыбка беззаботная, детская, однако с оттенком превосходства. — Так пустите?

— И сама не знаю, что делать с тобой. Выучил уроки-то?

— Выучил и на память и так. Что я, не знаю вашего порядка? — смиренно подлащивается к матери Максим.— Так пустите?

— Да уж иди, неотвязный, что с тобой делать. Только не задирай никого, а то, я вижу, руки у тебя так и чешутся.

— С чего это им чесаться? Что на них, цыпки?

— Поговори у меня! Да не дразни чужих собак.

— Нужны они мне! — Максим произносит это так, словно и в самом деле никогда не гонялся с палкой за чужими полканами.

Поднявшись на цыпочки, он ощупью находит в крошечном самодельном шкафчике черствый кукурузный хлеб, отламывает ломоть и засовывает в раздутый от всякого скарба карман.

— Ты чего шаришь в шкафчике?

— А харчей на дорогу надо взять? Запас беды не чинит.

Мария смотрит на исполненное достоинства лицо мальчика и не знает — смеяться или гневаться.

— Может, съел бы борща?

— Обойдется! — Максим красноречиво кладет руку на карман, где лежит хлеб.

— Все некогда?

— Конечно, некогда! — И как это мать не понимает, что для мальчишки день всегда короток! Не успеешь наколоть дров, покататься на санках, подраться с ребятами — гля-

дишь, и вечер домой зовет. А там сиди над книжками или над какой-нибудь работой, да не больно заносись, а то ремень у отца в ладонь шириной и в палец толщиной. Он хоть и редко по спине ездит, однако всякий раз напоминает о себе.

— Так прощайте, мама. До завтра! — Он, как взрослый, кланяется матери.

— Ступай, да гляди у меня...

И хотя Максим не знает, что еще глядеть, но весело отвечает:

— А как же?

Он выскакивает из хибарки, маленький, коренастый, во всем перешитом да сшитом на рост, горошинкой выкатывается на улицу, с ходу цепляется за рожон экономских саней, но сразу же получает кнутом по плечам и с удивлением, а впрочем, беззаботно соскакивает на обочину. Молодой, белозубый возчик Евген Колосюк улыбается ему через плечо.

— Съел?

— И вам того же на обед! — смеется и Максим.— Славно умеете стегать.

— Ты хоть почеши плечи.

— Пустое.

— А теперь уж садись.

— За так или опять за плату? — Максим показал глазами на кнут.

— За так.

Евген придержал лошадей, и Максим, подбежав к саням, нырнул, как в воду, в пахучее сено, вскочил и поудобнее примостился рядом с возчиком. Его так и подмывает хоть немножко поправить лошадьми.

— Может, вы закурите, а я придержку вожжи?

— Ты лучше придерживай штаны.

— Они у меня на щепочке, ого, как держатся! —ни чуточки не обижаясь, отвечает мальчик.

— Роман дома? — Евген все-таки лезет в карман и там шелестит листьями табака.

— Пошел к поверенному.

— В лесу думает работать?

— Где ж еще!

— А с машинерией покончил?

— Выходит, покончил.

Из тихой низины сани выехали на высокую греблю и сразу попали в объятия ветров, несших на своих влажных

крыльях дыхание весны. Ветры налетали то с юга, то с запада, то прорывались снизу, от пруда, то спускались с облаков и вдруг открыли солнце и голубую прорубь вокруг него. Побежали тени, даль заискрилась. Казалось, на снег выпала частая золотая роса.

— Чуешь, как осокори пахнут? — Колосюк глубоко вдохнул воздух, показывая кнутовищем на рядок молодых деревьев, кора которых покрылась мартовской, светло-серой, как туманец на ржи, прозеленью. — Весна идет. — И Евген почему-то помрачнел, озирая глубоко запавшими глазами неоглядные господские поля.

По гребле степенно прошел, в черкасиновой чумарке и смушковой, из выпоротков, шапке, Терентий Плачинда; по его лакированным, немецкого покроя сапогам пробегали тусклые солнечные блики. Позади мужа плыла задумчивая Плачиндиха, раскачивая пеструю лестничку из пяти праздничных юбок, далеко от родителей отстал двенадцатилетний головастый задира Гнат, который по два года сидел в каждом классе. Вот он увидел Максима, показал ему язык и быстро забарабанил:

— Зайца съел, зайца съел, шкуру на голову надел!

Не будь тут родителей Гната, Максим с удовольствием сцепился бы с задирой, но сейчас он с презрением и достоинством отворачивается.

— Зайца съел, зайца съел, шкуру на голову надел! — Плачиндин отпрыск подбегает ближе к саням, и Максим степенно, как Роман, отвечает ему:

— Голова у тебя, малый, как чугун в экономии, а вот ума в ней ни крошки,— видно, весь воробьи выклевали.

Колосюк хохочет, а Гнат, не зная, что сказать, застывает возле гребли с высоко поднятым кулаком.

— Часто дерешься с ним? — допытывается возчик и короткими, загрубевшими пальцами передает вожжи Максиму.

— Случается.— Максим крепко вцепляется красными ручонками в жирный от дегтя ремень.— Но-о! — Он дергает вожжи, звон упряжи для его ушей как музыка: уж больно он любит и лошадей и езду.

— И чья берет?

— Всяко бывает. То я синяки ношу, то он, то оба вместе. — Максим ни капли не хвастает и этим еще больше нравится Евгену. «В Романа пошел парень. Таким же горя-

чим станет. Не приведи господи наниматься тебе в нашу экономию».

Проезжая мимо церкви, мальчик, задрав голову, посмотрел на колокольню. Стройная и высокая, она легко возносилась вверх. Узенький балкончик, обнесенный сквозной деревянной оградой, резко отличал звонницу от ветхой церкви,— так отличается молодецкий пасхальный перезвон от похоронного боя. Максим даже улыбнулся, подумав: чего только не вызванивает здесь Юрко Звонарь! У него медные сердца колоколов отзываются человеческим голосом, вздыхают, веселятся, смеются; даже дьячок задирает вверх клин бороды, дует на него и восхищенно хрипит:

— Вот выбивает, стерва-подлюга,— и не разберешь, где божественное, а где дьявольское наваждение. Ей-богу, этот арестант не умрет своей смертью.

Максим правил до поляны. Там, где последний рядок хат замыкался ближе к лесу четырехугольником чумацкого табора, Евген свернул к своему кривобокому жилищу, а мальчуган вприпрыжку пустился к зубчатой стене чернолесья.

В лесу тоже чувствовался приход весны. Снег под деревьями уже глубоко осел, кое-где возле отогретых теплым дыханием корней проглядывали тугие зеленые крестики барвинка или красноватые прутики тамариска, а на фоне серых, замшелых дубов покачивалось багряное кружево березовых веточек — на них еще только нарождались крохотные веснушки, которые весной так и накипают на каждом молоденьком побеге. В низине, вокруг обдерганного, похожего на гриб стога, запели рано прилетевшие в этом году жаворонки. Испугавшись мальчика, они стайкой взлетели вверх, а затем снова серыми комочками упали на протоптанную, припорошенную снежком тропку, обрывающуюся возле стога.

Если взять в сторону, к лесному озеру, деревья редеют, открывая большую прогалину. На ней, между двумя дубами, как люлька, покоится хата,— так и кажется, что дубы покачивают ее своими узловатыми руками. Хата, с трех сторон отороченная садом, приветливо зовет к себе мальчика, но Максим сперва направляется к округлому, напоминающему очертаниями сердце озеру. Это и в самом деле сердце Медвинского леса,— верно, потому и замерзает оно только в самые лютые холода.

Сейчас над повороневшей водой, как привязанная, висит тонкая и прозрачная, в рост человека, кисея синей мглы.

На берегу до сей поры лежит долбленый челнок, снизу он подернулся ледком, а сверху заметен снегом. Посреди озера плавают две пары диких уток, они то ныряют в воду, то, проплыв немного, засовывают головы под крылья, словно собираются спать.

Максим приветствует взмахом шапки из года в год зимующих здесь птиц, с разгона прыгает в челнок, но, поскользнувшись, выскакивает на лед и едва не влетает в воду, а утки неторопливо отплывают к противоположному, словно выложенному кочками, берегу. На кочках торчат надломленные стебли бурно разросшегося осытняга и аира, а за ними плотной стеной поднялся сухой, с сизовато-розовыми метелками камыш. Ну разве можно пройти мимо него? Непременно надо залезть в заросли, запеть, передразнивая девушек, про молодого рыбака. Поцарапаешь немного руки, высосешь и выплюнешь кровь и уж тогда почтительно идешь в гости к деду.

От овина с лаем несется кудлатый, как свежий сноп гороха, Барбос, но на полдороге узнает мальчика и принимается выплясывать вокруг него на задних лапах, колыша всеми стручьями своей курчавой шерсти. Он старается лизнуть Максима в самое лицо: ведь хотя он и Барбос, а тоже тоскует в этом закутке по людям.

— Барбос, дай лапу!

Пес протягивает лапу, а Максим кидает ему «за службу» кусок хлеба.

— Барбос, служи!

Послушный сторож снова становится на задние лапы, Максим хочет схватить его, но пес, повизгивая от удовольствия, отскакивает, а потом игриво кидается на мальчика; они борются, весело падают на снег и катятся под деревья. После этого Максим становится серьезным, с укором грозит собаке пальцем и спрашивает:

— И не стыдно тебе, Барбос? Какой невежа!

Пес поднимает уши, хочет постичь человеческий язык, а потом снова кидается на мальчика.

— А ну, прочь! — Максим опять грозит пальцем.— Барбос, а дед Дунай дома?

— Дома! — внезапно раздается сверху голос старого чумака.

Максим растерянно подымает голову. На суке развесистой груши-дичка сидит, морщась от улыбки, дед Дунай и покачивает обутыми в постолы ногами, а под грушей

красуется высокий улей-дуплянка, туго обвязанный веревкой.

— А я вас и не видел. Здравствуйте, дедушка. Зачем вы так высоко забрались? — На щеках Максима от смущения разрастаются горячие пятна румянца.

— А ворожить, ворожить, дитятко,— смеется старик, из-под седых, обвисших, как соломенные стрехи, бровей поблескивают задорные и упрямые глаза.— Сижу вот и думаю: кто мне поможет поднять на дерево борть? Глядь, а помощь и пришла.

— Как же вы, дедушка, ворожите? — Максим оторопело смотрит вверх.

— А вот говорят старые пасечники: ежели на Евдокию подвесить пустой улей, то все лето будут хорошо ловиться рои. А ну, кинь мне конец веревки.

Максим сматывает веревку в кольцо, бережно бросает ее между ветвями. Дед ловит, перебрасывает через сук повыше и тянет веревку к себе. Улей, покачиваясь, подымается вверх, и Максим, покряхтывая, пока может дотянуться, помогает старому чумаку. Вот дуплянка уже на дереве, дед пристраивает ее на толстый сук, крепко привязывает к стволу, потом проверяет свою работу и, очевидно, остается доволен.

— Как будто в добрый час подняли.

Старик берется обеими руками за облезлый сук, рывком спускается вниз, приседая, спрыгивает в снег и увязает в нем по самые завязки постолов.

— Ну, здорово, внучек!

— И вам доброго здоровья, дедушка,— степенно отвечает Максим. Еще бы! Разве он не знает, как с кем надо разговаривать? — А леток улья всегда смотрит на восток?

— Приметил? Приглядывайся, парень, к нашему делу,— пригодится. Всегда на восток!

— А почему?

— Ишь какой скорый, все хочешь знать!

— Разве все узнаешь?.. Так почему же?

Старик большой, костлявой рукой привлекает к себе мальчика, а сам смотрит вдаль, туда, где сквозь деревья просвечивают лазурные ленты неба.

— Кто его знает, почему. В сказке об этом говорится так. Далеко на востоке, дитятко, есть золотые ворота, а за ними живут сестры-близнецы — солнце и счастье. Солнцу дано ходить по небу, а счастью — по земле. Но на земле, где все

хорошо родится, много и паскудства развелось. И вот разная погань раскрошила счастье на кусочки да попрятала в свои карманы и сундуки. Поэтому солнце всякий день подымается на небо, а у счастья нет сил пойти по земле. Но если верить людям, наступит час, настежь растворятся золотые ворота, и пойдет солнце по небу, а счастье — по земле, не минуя ни одного человека, ни одной былинки. Вот все и тянется к золотым воротам, к востоку, чтобы поскорей встретить тот день.

— Хорошо тогда станет.— Детское воображение доверчиво рисует и золотые ворота и сестер-близнецов, живущих за этими воротами.— Дедуся, а скоро придет этот день?

— Почем я знаю!

— Так, может, хоть догадываетесь?

— Догадка моя такая: ты до этой поры, может, и доживешь, а я — никак. — У деда невольно срывается вздох. Он видит не золотые ворота, а глубокую и бесконечную тьму, к которой приближают его годы.

— Отчего же, дедуся, не доживете? — Лицо мальчугана темнеет от жалости.

— Потому, что до счастья за весь век не дотянулся, а солнце мое уже на закате,— качает головой старик.

Максиму становится очень жаль деда, но он не знает, как утешить старого чумака, и только, совсем присмирев, крепче сжимает большую руку Дуная, пахнущую свежим деревом и продрогшим зерном, тем, что зимой лежит в чуланах.

V

Возле хибарки стоит одинокий тополь, на его ветвях синеватый, лежалый снег сочится ленивым золотом капели. Над влажными морщинками растрескавшейся коры дрожит едва заметный парок. И тополь, и потемневшая от влаги на солнышке кровля, и пресный, ноздреватый снег — все дышит первыми весенними запахами.

Мария радостно щурится из-под ладони на занесенный снегом, осиянный солнцем мир; в ней просыпаются и девичья легкость, когда все существо и голос просятся на поле, в луга, и тихая материнская грусть, когда мысли все вертятся вокруг семьи, недохваток, своих и чужих дел, которые без нее не сделаются. И даром, что сегодня праздник,— будни властно берут свое.

Но есть в думах Марии уголок, устланный одной лишь мечтой, а на той мечте цветами распускаются надежды. И зовется этот уголок хатой. Она стоит на краю села, посреди единственной десятины Волошиных, и всякий день, всякую ночь, как живая, разговаривает с Марией. Днем женщина видит ее такой, как она есть: всю в трещинах, нешпаклеванную, занесенную снегом изнутри и снаружи — окна и двери еще только предстоит купить. А во сне женщине слышится скрип новых кленовых дверей, на светлых, как слеза, окнах сияет утреннее солнце, над трубой полощется кружево душистого дыма, белый цвет вишен осыпает края крыши лепестками и росой.

Мария с тяжелым вздохом запирает чужую хибарку, кладет деревянный ключ в нехитрый тайничок у завалинки, и ее смуглое печальное лицо при одной мысли, что скоро она увидит свою хату, озаряется тихой улыбкой, намывающей тонкую сетку морщинок вокруг карих, с крапинками глаз.

— Куда собралась? — окликает ее через плетень с соседского двора Василина Велычко, дебелая, грузная женщина. Она чуть не ежегодно, проклиная судьбу, рожает своему Мирону детей, а сама после каждых родов теряет зубы. На третий, четвертый день после рождения очередного младенца роженица, кусая губы, выходит на господское поле или луг, а старшенькие все лето растут одни, без призора.

— Да к своей хате.— Мария смущенно посмотрела в колючие, со злыми искорками глаза Василины.

— Чего там не видала? Или, может, за неделю народились окна и двери?

— Э-э, когда еще они народятся!

— Так чего ж тебе тащиться в такую даль к раскрытому жилью?

— Тянет, Василина.

— Выдумки! — Василина сердито машет рукой и налегает полной грудью на плетень. С угла кровли на плечи женщине падают искристые капельки, но она не отодвигается от хаты, а только всякий раз нетерпеливо поводит плечами. — Отдохнула бы лучше часок, пока твоих не принесет.

— Сколько ж можно отдыхать? Сегодня и так встала с восходом.

— А наша барыня, болтают, еще ни разу не видела, как всходит солнце.

— Неужели правда? — поразилась Мария и сдвинула черные прямые брови. Даже представить себе нельзя, чтобы женщина вставала позже солнца. Мужчина — другое дело: бывает, в праздник, пока жена прибирает хату и возится у печи, муж до завтрака нежится. А женщина — ранняя пташка, солнце еще в колыбельке, а она уже на ногах.

— Истинная правда. А что ей, за сноп жать или гнуться над сапкой? Отлеживайся без задних ног, словно кобыла, нежь свое тело на пшеничном тесте, на сладком чае да на земской [1] воде. Ей бы хоть столько детей, сколько у меня! И откуда они только берутся на мою голову. У других хоть с голоду перемерли, а этим обжорам ненасытным море по колено! Всю зиму по двору босиком бегали, а ни один и не кашлянул,— без злобы, привычно клянет Василина свой выводок, в душе беспокоясь о нем.

— И что вы их так ругаете? Ведь это грех,—укоризненно говорит Мария.

— Да как же не ругать, коли не успела еще меньшого от груди отлучить, а уже снова хожу непорожняя? Куда же мне девать их? И все маленькие, что ряска. Хоть бы достаток был какой. А то ведь всей земли — только полоска под жильем, да и та узкая, как холстинка, хата стоит на нашей земле, а с крыши капает на чужую. — Василина диковатым, горестным взглядом окидывает свою опрятную пятистенку, с крыши которой и впрямь капает на чужой тын и на чужую землю. — Видишь, на какое райское житье дети родятся? Нам хоть этот клочок с домом в наследство достался, а им — как раз по трухлявому бревну от хаты на каждого перепадет и больше ничего.

— А может, Василина, все-таки наделят нас землей?— Мария обводит задумчивым взглядом покрытую снегом землю до самого горизонта, на который спускается подсиненный подол небес.

— Дай-то бог,— румяное лицо Василины оживляется.— Может, слыхала что?

— Шумят люди.

— О чем же шумят?

Женщина совсем перевешивается через тын, словно впервые слышит она такой разговор про землю.

— И что выкупные царь списал и что у господ отрежут нивы, а мужикам дадут.

---

[1] Так в то время называли зельтерскую воду. *(Прим. автора.)*

— Задаром? — Василина так налегает на тын, что трещат и дерево и старенькая одежа.

— Задаром.

— Хоть бы дожить до этого дня! — Темные глаза Василины добреют и на миг застывают в причудливых, все еще по-девичьи красивых глазницах.

Из хаты выскакивает гурьба босоногих ребятишек, и все мчатся по снегу к матери с одной нехитрой просьбой:

— Мама, дайте поесть!

И на этот раз Василина не кричит: «Чтоб вам тоской объесться!» Мать с ласковой печалью смотрит на шумливый выводок и, улыбнувшись Марии, проворно несет свое дородное, крепкое тело в хату. На пороге ей преграждает путь высокий, весь из одних мышц, цыганоглазый Мирон. Упершись ногами в порог, а головой в притолоку, он не пускает жену в дом.

— Скройся с глаз, приблудный! — Василина толкает мужа обеими руками.

Тот выгибает дугой тонкий стан, но с глаз не скрывается, а весело, заливисто хохочет.

— Долго я тебе буду говорить? — возмущается жена.

— Пока не закипишь, — насмешливо отвечает Мирон.

— Вот я тебе закиплю! Гляди — люди смотрят.

— А мы с тобой — не люди?

— Уйди, говорю! — Василина тщетно пробует сдвинуть мужа с места и все больше сердится.

— Га-га-га! — Мирон только крепче упирается в притолку — и ни с места.

Но тут налетают дети, облепляют отца, отрывают его от порога и все вместе катятся со смехом и гамом в сени. Мария, улыбаясь, запирает ворота и отправляется в длинный путь, на самый край села...

Село Медвин походит своими очертаниями на вывороченный с корнями высокий пенек, стволом к востоку. На западе переплетенные разветвления улиц с двух сторон лепятся к господским лесам и теряются там узелками хаток. Чем дальше село вытягивается вдоль тракта, на восток, тем более оно сужается, и уже от кладбищенского пруда почти до распятия тянутся только два ряда хаток, свежих, как грибы печерки. Сюда с севера ближе всего подступает излучина Буга, добираясь причудливыми изгибами до плетней крестьянских усадеб. Дальше к западу реку оттесняют просторы необозримых полей Стадницкого, они подымаются волни-

стым бугром на северо-западе и обрываются у чайчиного крыла березовой рощи, от которого набирают тяжелый размах господские леса. Чернолесье напоминает лук, натянутый против села, но вместо стрелы с этого лука слетает речушка, у самого села она выписывает причудливые петли, унизанные крохотными левадками, прудиками и канавками.

Таких речушек в Медвине три. В каждой вода своего цвета, возле каждой по-другому пахнет зелень, но берега их одинаково поросли краснотолом и черноталом, ольхой, вербой и высокими яворами, и летом одинаково стучат на мостках замашные вальки подоткнувших юбки баб, вбивая в грубую ткань крестьянского полотняного белья чистоту и прохладу рощ.

Идет Мария по тракту, и знакомые жилища рассказывают ей, как живут хозяева. Разве не видно, у кого есть и хлеб и к хлебу, а у кого уже началось предновье? Разве не видно вон по той печальной корове, на хребте которой расхаживает ворона, что у Гранчаков дети сидят без ложки молока? Разве огороженный, как крепость, бревнами с чужих жилищ дом Плачинды не бьет в глаза сытым достатком и силой? Вон возле бревен лежат кучей неживые двери и рамы, которые еще недавно сохраняли тепло небогатых людей. Мария отворачивается от остатков чьих-то изувеченных жилищ и уже с тяжелым сердцем идет к своей недостроенной хате.

Улица, гудёт, где казак идет...

По тракту, цепляясь за липы, выписывает кренделя подвыпивший Евдоким Юренко. Водка надвинула ему на глаза рыжий вихор, шапку, поэтому дорога то и дело выскальзывает из-под расслабленных ног мужика. И это, видно, удивляет его. Уже второй раз, припав к старым стволам, он с изумлением смотрит на свои стоптанные сапоги, смущенно бормоча:

— Ты гляди! Нет, ты погляди!

Но еще больше изумляет его появление женщины.

— Мария! Ты гляди! Ко мне?

— К кому же еще, Евдоким? — улыбается та, сторонясь пьяного.

— Ты гляди! Нет, ты погляди! — Юренко поднял веки, широко раскрыл круглые, как два мелких каштана, глаза, и в них мелькнул проблеск сознания.— Мариечка, душка, что ж ты не со мною?

На него наплывают обрывки пережитого, и он, чтобы скрыть это, припадает головой к липе. Мария смущенно смотрит на размякшего Евдокима и ровным шагом идет вперед, встревоженная встречей и воспоминаниями далекого и не так уж далекого прошлого.

Когда-то, в первую пору ее девичества, Евдоким, сын небогатого, но и не бедного крестьянина, приударял за нею. Вечерами он вздыхал и сетовал, что отец не женит его на бесприданнице, и довздыхался до того вечера, когда ее увидел Григорий Волошин. И только тогда понял Евдоким, насколько дорога стала ему девушка, постиг, что встречи с нею были не простыми вечерами, а самым большим праздником его юности. Бросился в ноги отцу, тот огрел его несколько раз кнутом по плечам, но разрешил жениться на бедной, работящей девушке. Однако было уже поздно. Григорий выхватил у него Марию из-под самого носа, еще и кулаком, смеясь, пригрозил:

— Видишь, чем пахнет? Женись, парень, на волах, если не смог на девушке!

Так и случилось: осенью отец женил Евдокима на рябой девке, которая не красу принесла, а волов привела во двор. Но ни ее полный сундук, увязавший колесиками в земляном полу, ни волы не принесли счастья и достатка молодому хозяину. Отец отделил его, и на разбросанных в разных местах четырех десятинах Евдоким перебивался с хлеба на квас и больше ласкал своих круторогих, чем Олену, которая и по сей день, вспоминая зажиточную жизнь у родителей, по-утиному спесивилась перед мужем и всякий день точила его, как древоточец бревно.

Вот уже и край села.

По давно заметенной снегом дорожке Мария подходит к своей горемычной хате с недошитой кровлею [1]. С любовью и трепетом трогает она шершавые стены. Как бы ожили они, если вставить дверь да три окна! Но Григорий и без того в займах да в долгах, как в трясине. А ведь еще и на потолок надо собрать и поставить что-нибудь в хате. Сколько придется ее, Мариным, пальцам спрясть чужой пряжи? Сколько натрудятся Григорий с Романом на чужих нивах? И кажется, холод нешпаклеванных стен добирается по ее рукам до спины.

---

[1] По поверью того времени, недостроенную хату нельзя было покрывать крышей до конца. *(Прим. автора.)*

Но в холод мыслей набегают и теплые волны: все-таки увидит она в этом году свою семью, своих детей в новой, на две половины, хате и поставит им еду на стол как хозяйка, а не постоялка. А в свободный часок перед большим праздником она распишет чистую половину хаты цветами, у нее уже и анилин для росписи припасен.

Мария приседает на корточки перед углом хаты и руками осторожно разгребает снег. Не скоро добирается она до блеклого, приморо женного кустика ржи. Ржица посеяна осенью во всех углах хаты, и хлеб взошел, закустился, радуя темной зеленью с светлой росой. Пусть ее жилище всегда пахнет рожью, пусть эти маленькие зернышки принесут счастье и ей и детям.

Огрубелыми пальцами нащупала какой-то твердый шарик. Ага, это круглая, как капелька, льдинка. То, верно, осенний заморозок сковал на кусте росу, а снегом припорошило эти холодные зернышки. Их она дождалась. А когда же она дождется в новой хате живого, теплого зерна?

Не иссякшее с годами нужды воображение находит и тонкие краски и рассветную щедрость на просторных нивах, где спят рядом перепелка и солнце. Таким она представляет себе и рай: не столько в нем садов, сколько доброго шума спеющего хлеба. И этот шум Мария вносит внутрь занесенной снегом хаты. Но там она видит на верхнем венце одинокую, без потолка, матицу с выжженным крестом и датой, вздыхает, и мысли ее бегут по своим колеям в лес, где растет еще не заработанное дерево.

У самой земли неяркая розоватость лучей переплетается с голубым, размывчатым отсветом предвечернего снега, по низинам уже ходят тени, когда Мария возвращается в хибарку. У ворот ее ждет Григорий, и она, встретив насмешливый взгляд мужа, шагает быстрее.

— Ой, Григорий, ты, верно, и не ел ничего? А я так поздно. Не ел без меня?

— А что ж, я стану в твои горшки заглядывать? — Муж широко, с преувеличенной торопливостью и почтением, отворяет ворота, и потертая свитка охлестывает его крепкую фигуру.

— И заглянул бы — не грех.

— И сегодня — не грех? Стало быть, постное?

— У людей уж и постного нет, — вздыхает Мария.

— А мы еще и кабана не кололи. Что значит сало за сало зашло! — шутит Григорий.

— И как ты можешь смеяться, когда есть нечего?

Она все еще не привыкла к колючим шуткам мужа. Уж как, бывает, скрутит беда, как загорюешь, а придет Григорий, повертится молча возле нее, а потом загудит, как шмель, и такое скажет, что невольно и вздохнешь и улыбнешься. И жилось ему легче, чем Марии, потому что и на людей и на мир он смотрел куда проще. Ей и по сю пору каждый человек казался необыкновенным, она ото всех ждала хорошего, как, бывает, ждут, что после будней придет праздник. А Григорий не ждал чудес ни от людей, ни от жизни, он полагался только на свои руки. Ими он с детства зарабатывал на хлеб, ими жестоко, но без мстительного крестьянского озлобления, орудовал в драках и удивительно нежно, даже стыдливо ласкал жену, а изредка — чтобы не разбаловались и боялись отца — и детей. Всех людей он делил на богачей, бедняков и тех, кто кое-как сводит концы с концами. Богатым не завидовал, нужда его не очень удручала, и перед людьми никогда не прибеднялся, так же как никогда не оставлял надежды поравняться с теми, кто перебивается не в батраках, а на своей землице.

Не случись пожара и голода, была бы и у него своя хата и кое-какой достаток, но все заработки пошли на хлеб да на бревна. Однако и это не лишило его ни веры, ни улыбки, только придало новых сил для того, чтобы уйти из экономии в Таврию и на Дон, где работнику легче сколотить деньги на лес для постройки, чем у пана Стадницкого.

— Ну, как тебе молилось? — Григорий смотрит на Марию невинными глазами, а та чувствует в словах мужа скрытый подвох.

— Да я не в церковь ходила.

— А хата для тебя разве не церковь?

— Григорий...— Жена пожимает плечом и клонит голову к мужу.

Ей хочется унять его, но в это время с треском распахивается дверь хаты Велычка, из сеней, смеясь, вылетает Мирон. Уже у плетня он надевает шапку, засовывает под нее вихор, а потом затыкает руками уши, чтобы не слышать жениных проклятий.

— Чтоб тебя, ирода, черти еще до третьих петухов на тот свет утащили! Чтоб ты смеялся не переставая до судного дня! — кричит, выходя на порог, пышущая гневом Василина.

— Га-га-га! — оборачиваясь, отвечает муж, отирая ребром ладони веселые глаза.

— Видали басурмана, лешего проклятого?! — подбочениясь, обращается Василина к Волошиным.— Не успела я на часок отлучиться к куме, а он уже лепит детям пирожки с фасолью. Да ведь не умеет, ленивый черт, а взялся, чтоб своих головастиков потешить. Бухнул, анафема без причастия, в тесто воды из ведра и перевел сразу весь запас муки. На три недели хватило бы галушек! Ну, варит ли у него котелок после этого? А, чтоб тебе, лежебока, первым же куском подавиться! Чтоб они тебя, сухая шкварка, каменным жерновом давили день и ночь, чтоб от них тебя рвало да корчило от поста до самой страстной субботы! А что же мы станем есть, когда в хате не будет ни крошечки, а в амбаре ни пылиночки? — Василина взрывается все новыми проклятиями, на глазах у нее выступают слезы.

— И где она так выучилась доказывать? — серьезно удивляется Мирон. — «Отче наш», не знаю, скажет ли, а проклятия вытряхивает, как перья из рваной подушки.

Эти слова вновь взъяряют женщину, которая уже хотела было перейти от ругани к слезам.

— Чтоб тебя драло и не переставало, чтоб тебя надвое разодрало, как поповскую перину! Угождаешь, угождаешь ему, словно господской болячке, а он, полоумный, все без понятия...

— Слышите, как поет? — не сердясь, подмигивает Мирон Григорию и смеется. — Ей-богу, не язык у бабы во рту, а стручок красного перца, вся рожа у ней от него кривится. Не раз говорил: «Хоть красоту свою пожалей. Гляди, всю скоробило, кто ни посмотрит — отвернется да чертыхнется. Один я, несчастный, все терплю, как мужицкая свитка».

— Тебя, Григорий, с Мироном спарить — было бы в самый раз.— Мария толкает мужа локтем и, вздыхая, направляется в хибарку.

— Чего вздохнула, словно наниматься собралась? — спрашивает Григорий, нагибаясь в дверях.

— Все думаю, Гриц, все умом раскидываю,— отвечает Мария, положив на сундук старенький кожушок.

— Может, горюешь, что наш барин на предновье остался без хлеба?

— С тобой поговоришь...

Жена нахмурилась, а муж улыбнулся: он знает, о чем ей хочется поговорить, душу отвести.

— Все думаешь о хате?

— О ней.

— Говорил тебе — не надо затевать пятистенку: уж давно в какой-нибудь халупке сидели бы.

— Да ведь дети, Григорий. Женится Роман — и опять строиться?

— А теперь помалкивай.

— Хоть бы окна да какую ни на есть дверь навесить, чтобы не заметало снегом...

— Да поставить приличные столы,— пустив в усы едва заметную улыбку, подхватывает Григорий.

— Хоть бы один.

— Да шкафчик, да посудник, да лавки, да сундук ореховый, да креслица господские, на пружинах, да по стенам картинки, а на них бабы купаются...

— Я тебе говорю как путному, а ты опять чушь порешь.— Мария вздыхает и улыбается: «Выдумает же человек — и картинки господские, бесстыдные, помянул».

— Не порю, а прикидываю, что за наше злато-серебро купить можно.— И Григорий сам едва сдержал вздох. Не потому, что у него нет денег, а просто в хибарке после предвесеннего дня нестерпимо запахло сыровато-кислой глиной и цвелью. Как ни отогревает Мария печным жаром ободранные углы, а они все разбухают грязным коржом от пола до самого потолка.

— Смотрела я сегодня, как Плачинда огородил свое имение чужими бревнами.

— Торгует уже?

— Не знаю, не допытывалась... Рамы лежат в одной куче, двери — в другой.

— Быстрые у тебя глаза на чужое добро,— удивляется Григорий. — Гляди, окосеешь.

Но Мария не обращает внимания на мужнину насмешку.

— Кто-то в эти окна счастье высматривал,— продолжает она,— а теперь лежат грудой, как сор.

— Ты чего такую длинную нитку про них выпрядаешь? Говори, если надумала что.

— Может, Плачинда продаст их... в долг? По дешевке... Как думаешь?

— Этот продаст по дешевке! — Под тонкими усами Григория шевельнулась злая улыбка.— Дожидайся! Он родного отца дешевле отдаст, чем эти рамы.

— А может, все же пойдешь к нему?

— Лучше я за смертью пойду! — Григорий выпрямился. — Весной без окон, без дверей проживем, а у этого живодера ноги моей не будет.

— Что так загордился? — Мария недовольно поглядела на мужа.

— Забыла, каков Плачинда? Ему только палец дай — не опомнишься, как без обеих рук оставит, а душу, дьявол, в задаток возьмет.

— Ну что ж, воля твоя.— Жена, вздыхая, пошла к печи, чтобы сообразить что-нибудь на ужин. — Это я так сказала, очень хочется справить новоселье.

— И созвать на него все село,— веселеет Григорий. — А я уж нашел и квартиранта. Или, может, одного мало? — Он снова вскидывает на жену невинные глаза.

— Какого квартиранта? — ожидая нового подвоха, спрашивает та. — Что еще выдумал?

— Правду говорю.— Григорий стал серьезен.— Встретил я Марьяна. Такой он несчастный, в чем только душа держится. И согреть ее негде: поверишь, несколько ночей спал в экономском хлеву — в желобах для волов,— а потом в хурднике, где хворые овцы. Но господские слуги и оттуда вытурили. А эту ночь промучился в холодной сторожке на лугу у Кароля Романовского, слушал, как вокруг выли волки. Ну разве можно так скитаться человеку? Вот я и говорю ему: «Не горюй, Марьян, вставлю в свои палаты окна и двери — переходи жить к нам, места не пролежишь». И ты бы видела, как он обрадовался, даже слезы на глазах выступили, точь-в-точь как у тебя, когда ты, сердце, злишься на меня.— Григорий, подлаживаясь к жене, обнимает ее одной рукой и прижимает к груди.

— Глупый, задушишь...

— А кто же тогда новую хату мазать будет? — Он целует жену в щеку.

— Ох, и лиса же ты! Нашкодил потихоньку, а теперь подлащиваешься?

— Так к своей же, не к чужой. Ну как?

— Еще и хаты нету, а квартиранты нашлись. Где ж у тебя порядок?

— Порядка, известно, у меня мало,— он с готовностью закивал головой.— Таким уж я перекати-полем уродился.— Вспомнились ежегодные странствия, и перед глазами стали далекие луга и степи, которые мерещились ему, как вторая

жизнь. — Так как же? — снова спрашивает он про Марьяна, не решаясь, однако, даже произнести его имя.

— Да как?.. Недаром говорят: «Была бы хата, а горе найдется»,— морщась, отвечает Мария.— Пусть уж переходит к нам, если не сыщет лучшего.

— Вот и хорошо. Теперь в сенях, над чуланом, будут висеть два цепа и две косы.

— Чьи-нибудь, может, и будут висеть, а твои пойдут гулять по чужим степям. Когда уж кончится эта цыганская жизнь...— Мария снова вздохнула.— Ты сказал бы Марьяну — я ему постираю белье, а то, может, вши заели человека.

— Скажу.

Григорий потрепал жену по спине и пошел к печи. Отыскав рукой в золе живой огонек, он зажигает плошку и беззаботно напевает про чумака, который до того доскитался, что и штаны подрались и пояс порвался. А Мария уже снова мысленно вернулась к своей хате и к Плачиндиным рамам, и кажется ей, что не отблеск огня покачивается в окнах хибарки, а оранжевые головы подсолнухов заглядывают в ее, Мариину, хату...

VI

— Ты не заморозишь ребенка, Иван?

К деду и Максиму неторопливо подходит бабка Ганна в праздничной, подпоясанной кромкой юбке. На ее смуглом лице, похожем на сухую, сморщенную грушу, печать крестьянской доброты и лесной печали.

— Чумак не боится ни холода, ни зноя,— отвечает старик, вынимая из кисета трубку.

— Уж и его запиши в чумаки, все будет веселее,— бабка презрительно собрала в оборочку губы, и они брызнули во все стороны сотнею морщинок.— Пойдем ужинать.

— И старуха может сказать умное слово.

Дед окидывает прощальным взглядом бор, засматривается на лесное болотце. Над ним неясно, словно марево, повисли холмы дымчато-розовых облаков; вечер теснит их в глубины сталистых предвесенних сумерек, которые вот-вот заиграют голубизной.

Тропочка бежит туда, где летом находится небольшая пасека, затем поворачивает на луг и ровно рассекает пешак — пореформенный надел деда Дуная. Эта поляна и есть вся земля старика: тут и поле, и луг, и огород, и сад.

Когда-то многие крепостные пана Стадницкого жили в лесах. Но после 1861 года большинство из них управитель переселил в село, остались только те, у кого были исконные, еще со времен Палия, сады, закрепленные за ними «инвентарными правилами» 1848 года, а затем вписанные в уставные грамоты. Так яблоневый цвет помог земледельцам остаться в старых отцовских гнездах: старый барин, транжиря в чужих странах добытое мужиками в поте лица, не захотел платить крестьянам за сады. Но после того, как он умер на французских водах, молодой помещик до копеечки подсчитал, какие он терпит убытки оттого, что держит крестьян в лесах, и затеял судебный процесс.

Десять лет тянулось дело «о выводе», но крестьяне уперлись и с тех пор зерно и сушеные фрукты отправляли на базар, чтобы седобородые ходоки могли брести пыльными дорогами к губернаторам, во второй департамент сената и к самому царю. Мужицкая правда, как могла, искала свои золотые двери, но перед ней открывались только двери судов, и лесовики все больше озлоблялись. Защитники и судьи объедались последним мужицким добром, как жабы илом, они замучили крестьян, твердо стоявших на своем, но в конце концов утомили и барина: поехал, бедняга, отдыхать на заграничные целебные воды и там второй раз женился на очаровательной барышне, отец которой с аристократической широтой проматывал состояние своих предков. Медовый месяц Стадницкого затянулся для лесовиков на несколько лет. Но вот барин снова взялся за тяжбу, и теперь губернское по крестьянским делам присутствие передало мужицкую судьбу «на усмотрение» съезда мировых посредников.

— В третий раз бы его женить,— невесело шутили крестьяне, готовясь к новым судам.

— Чтоб ему на сырой земле жениться, коли он тысячами десятин не насытился! — шумели горячие головы, с тревогой ожидая решения своей судьбы.

Дед Дунай, бабка и Максим подходят к чистенькой, отлично покрытой, с коньком и стрешками хате. На дощатом пороге, поджидая хозяйку, собралась в кучу живность — надутые пестрые индюки, грузные, с двойными ушами куры, зобатые, коротконогие утки. И все тянут вверх шеи в ожидании поживы. У крыльца на двух утыканных колышками столбиках молодцевато сбились набекрень кринки, из-под

кровли задорно пересмеиваются подвешенные початки кукурузы, а подальше на пучках калины копошится стайка исхудавших за зиму воробьев. Одни из них серые, а другие совсем черные,— сразу видно, какие ночуют под стрехой, а какие греются в трубе.

— Кыш! — машет руками бабка Ганна.

Воробьи неохотно перелетают с калины, унизывают ветку яблони, а как только старуха берется за щеколду сенной двери, снова дружно слетают на грозди и даже нахально затевают драку.

— Еще раз шугани: видишь, как испугались,— смеется дед Дунай, весело посматривая на птичью свадьбу.

Удивительно, как в этом кряжистом теле умещаются два противоположных мира: один — ласковый и тихий, как спокойный предвечерний час, другой — острый, как бунтарский нож. Отстоит, бывало, дед Дунай в церкви обедню, седой и строгий, словно крестьянский пророк, да сразу же после этой обедни так уест на погосте какого-нибудь односельчанина, что тот прямо скорчится весь. Должно быть, оттого и объясняли по-разному, почему Ивана Яроша сына Петрова называли сперва Дунаем, а потом дедом Дунаем. Одни болтали, что прозвище пошло от песни. Бывало, запоет Иван Ярош на одном краю села: «Тихо-тихо Дунай воды несет»,— на другом краю слышно. А другие говорили, что прозвище возникло еще раньше, когда чумак Иван Ярош впервые сам повел мажи Дорохтея Плачинды к мелям Азовского моря.

У Василя Плачинды, отца Дорохтея, была своя ватага в двадцать подвод, а при ней четыре наемных чумака и пятый кашевар. На первой паровице — подводе, запряженной парою волов,— сидел Петро Ярош, а на последней — Василь Плачинда, и не потому, что был из боязливых, а потому, что тревожился за серебро и золото. Хитрый чумак вел двойной торг — и рыбой и деньгами,— играя на разнице внутренних цен между золотом и ассигнациями. До введения депозиток и кредитных билетов золотой полуимпериал на Подолье стоил восемнадцать рублей ассигнациями, а в Азове — двадцать один. А на серебряном рубле благодаря свободному курсу можно было заработать чистыми пятьдесят — шестьдесят копеек. Поэтому и вывозил отец Дорохтея полуимпериалы да иностранные лобанчики и ефимки в Азов, а оттуда возвращался с рыбой и «плохими» деньгами. Не гнушался этим заработком и Дорохтей, хотя после вве-

дения кредиток доход уменьшился. Дорохтей во всем был скупее и осторожнее отца, не мог, да и не любил, после удачной покупки или продажи по три дня, как старый Василь, гулять с чумаками, не привык хвалиться на людях богатством или щедростью. Он тоже порой стоял за панибратство, но только пока дело касалось слов, а не кармана.

Он даже на чумацких харчах старался кое-что урвать себе. Чем ближе подъезжали к дому, тем хуже он кормил чумаков. Поживиться рыбой было у него совсем невозможно. Дорохтей установил раз и навсегда, сколько рыбы грузить на каждый чумацкий воз: чехони — четыре тысячи одну штуку, столько же боковины, судака — шесть тысяч одну штуку, тарани — семь тысяч одну штуку. Суеверный Плачинда добавлял одну рыбину на счастье, и храни бог, чтобы она пропала.

— Разворовываете мое счастье! Кровью нажитое по́ ветру пускаете! — налетал он на чумаков, вращая влажными белками, если обнаруживал дома недостачу. И возвращал съеденную или потерянную рыбу из нищих батрацких карманов по самой высокой цене.

Дрожа над своим добром, Дорохтей в дороге кормил своих чумаков постной пищей да тухлым пшеном, и его ватагу издалека узнавали и чумаки и покупатели рыбы. Однажды вечером, когда Плачинда пожаловался, что снова позабыл купить в Балте сала и нечем заправить жидкую кашу — кулиш, Иван Ярош крикнул с берега степной речки, над которой стояли чумацкие мажи:

— А свечек, однако, не забыли в Балте купить?

Плачинда ответил с достоинством:

— Свечки, Иван,— божье дело, и незачем их приплетать к грешной и греховной суете.

— Ежели свечки — божье дело, зачем же вы ими в Медвине торгуете?

Плачинда насупился.

— Ты, слышь, прикуси язык, а то он у тебя длиннее судака.

— Прикушу, ежели вы сейчас же достанете к кулишу приправу.

Плачинда вытаращил глаза.

— Ты что, не хлебнул дорогой? — Крылышки его горбатого носа задрожали.

— Хлебнул, а теперь закусить охота,— твердо ответил Ярош, поигрывая ложкой на поясе.

— Так ты, может, не кулиша, а господской лапши хочешь или свиной хребтины? — поддел хозяин чумака, засмеялся и огляделся вокруг.

Но никто из ватаги не подхватил его смех.

— Пусть уж эта роскошь вам, а людям дайте хоть настоящий кулиш, а не помои,— спокойно и упрямо твердил свое Иван.

— Так я тебя помоями кормлю, помоями? — Богач заплясал на месте, размахивая руками.— А я сам не ем эти помои?

— Ложкой черпаете, это правда, а едите особняком сальце,— отозвался маленький, проворный Морозенко.

— А вам кто не дает сало есть? — Плачинда рассвирепел, и при полной луне видно было, как лицо его дергалось и зеленело.— Жрите, хоть полопайтесь!

Ярош смерил хозяина ненавидящим взглядом и мягкими шагами подошел к нему вплотную.

— Так несите тотчас.

Плачинда посмотрел на чумака, попятился, и на миг его прохватило заячьим холодком. Но лишь на миг: не мог же он показать, что и в самом деле испугался этого батрака, почерневшего от дорожной пыли, в вымазанной дегтем одежде. И он решил обратить ссору в шутку:

— Грозен ты, Иван, так искры из глаз и сыплются. Люблю таких. Только черт знает из-за чего нам цапаться не стоит. Завтра, дружище, будет и сало, а может, и полштофа к салу найдем, чтобы в головах помутилось.

Кашевар мелким смешком поддержал своего хозяина и ткнул в шутку Яроша под бок, но так получил по руке, что сразу подавился смехом.

— Нет, вы нам принесите сегодня! — отрезал Ярош, даже не взглянув на кашевара.

— Да что я вам, в Балту поеду на измученных волах?! — снова вскипел Плачинда.

— Хоть в болото, а подайте нам наше.

— Сам ты провались в болото! Ты мною, голодранец, командовать хочешь? — Теперь уже Плачинда сам шагнул к Ярошу.— Гляди не загреми за баламутство да разбой ржавыми кандалами! Сибирь по тебе плачет. И не таким умникам обламывали руки.

— Про Сибирь после поговорим,— сдержанно ответил Ярош.— А сейчас айда, хозяин, за харчами, да поскорей, а то ночи теперь короткие!

— Не сдохнете и до утра.— И Плачинда повернул к своей паровице.

— Что ж, чумаки,— обернулся Ярош к товарищам,— приучает нас хозяин голодать трижды в год — может, и мы его разок проучим?

— Да уж раз такое дело, то хоть и не хочется, а придется.— Батраки посмотрели на Дорохтея и сразу же отвернулись.

И не успел Плачинда опомниться, как чумаки подошли к маже, рванули на себя промасленную парусину, пригнулись, и тяжелая паровица у самого берега вздыбилась на черных чумацких спинах и хряснула, вяленая рыба закружилась на искристой воде причудливой осенней листвою.

— Плыви до самого тихого Дуная,— хмуро проговорил Ярош, направляясь к следующей паровице.

— Ребята, что вы делаете! — Плачинда кинулся к чумакам.— Пожалейте и себя и меня.— И батраки увидали в его глазах не то слезы, не то вспугнутые капельки лунного света.

— Что ж, чумаки, может, пожалеем человека? — задумчиво спросил Иван и покосился на Дорохтея.

— Пожалеем, если даст слово, что не пикнет в селе,— ответили чумаки.

— На кресте поклянусь! — Плачинда грузно сунул скрюченную руку за пазуху, и в пальцах у него блеснул золотой крестик, привезенный из святых мест.

— Ну что же, где наша не пропадала,— махнул рукой Ярош.— А теперь айда спать.

— Как спать? — перепугался Плачинда.— Есть же у вас бог в животе — помогите выловить рыбу.

— А это уж не наше дело,— засмеялся Морозенко.— Мы чумаки, а не рыбаки.

Все разошлись по своим подводам и долго пересмеивались, прислушиваясь, как плескались в воде Плачинда и кашевар, вылавливая судаков, которые, не достигнув Дуная, прибились к берегам степной речушки.

Плачинда сдержал слово, не пожаловался никому. Чумаки тоже помалкивали о том, что случилось, только громче распевали по вечерам невеселые песни, а к Ивану Ярошу с тех пор незаметно пристало прозвище Дунай, и теперь уже не знают в Медвине, песня ли тому виною или приключение у степной речки. Но в Медвине знают о давнишней вражде Ярошей с Плачиндами. Даже в церкви Дорохтей с Иваном не

становятся рядом, а повстречавшись, воротят друг от друга нос. А то, бывало, резанет Плачинда:

— Дышишь еще?

— Правдой дышу. А тебя, Дорохтей, от кривды еще судорога не сводит?

И Плачинда кривится, словно его и впрямь сводит судорога.

— Все равно не минуешь Сибири. Дождусь, когда ты под холодное солнце пойдешь!

— А я дождусь и похожу еще по твоей, людскою кровью напоенной землице... Так что меньше старайся!

Земля была самым больным местом старого Плачинды, и после этих слов он синел и поживее отходил от Яроша. Дорохтей не раз мечтал о том, что надел Яроша перейдет к нему. Он бы втрое дороже заплатил за эту землю, лишь бы вдоволь посмеяться над своим врагом. И сыну с малых лет толковал, что у Яроша самый лучший сад в селе и с него нельзя спускать глаз...

В жилище у деда Дуная, как в уютном гнезде. В сухой настой лесных трав и цветов вплетается влажный аромат недавно принесенных из погреба яблок и ярого меда, в красном углу красуется сноп ржи, заслоняющий ризы седовласых угодников. В кленовом шкафчике переливаются всеми цветами обливные праздничные миски, а возле висит потемневшая от времени кобза — отрада старика. Из светлицы боком вышагивает аист, к его горделивой осанке не идет подбитое крыло.

Максим отщипывает в кармане кусочек малая, протягивает птице, и она, с достоинством закидывая голову, по привычке глотает пищу так, словно та живая и может вырваться.

Бабка Ганна суетится у печи, бережно ставит на стол большую глиняную миску с борщом, в ней плавают черные головки грибов, окруженные крохотными капельками подсолнечного масла. Аист одним глазом нацелился на гриб, выхватил его, подбросил, чтобы удобнее проглотить, а дед Дунай угостил невежу птицу ложкой по голове. Аист, презирая род человеческий, зашагал к дверям и притих. Но не успела хозяйка поставить на стол чумацкую полеву [1], как птица сунула туда клюв, выхватила кусок потрохов и про-

[1] П о л е в а — мясное чумацкое блюдо.

ворно отбежала прочь. Дед и мальчик рассмеялись, а бабка только руками развела.

— Вот разбойник! А еще под святым небом летал... Садись, Максим, ужинать.

— Да я не очень хочу...— мнется Максим.

— Садись, дитятко, пока бабка еще ноги таскает.— Старуха смотрит на мальчика добрыми глазами и вздыхает.

Максим, чтобы не слышать, что бабушка может скоро помереть, живо ныряет под стол, вылезает возле снопа на лавку и проворно берет ложку и лепешку из гороховой муки.

В окна затерянной в лесу хатки заглядывают сумерки.

Робкие шумы сада и леса, лазурные мартовские узоры меж деревьев, частый перестук капели, скипающейся ледком, и звездный цвет в ветвях — все здесь напоминает сказочный, волшебный край, давно утраченный обездоленными детьми земли.

После ужина бабка Ганна, шурша рожью, зажигает перед божницей лампадку, к которой привешена писанка, и в хате сразу оживают два мира: вверху, под матицей, хмурятся и печалятся боги, а ниже склоняется ржаной сноп, и дед Дунай перебирает задумчиво зернышки такого же седого, как и он сам, колоска.

«Как же ты, ржица, уродишься в этом году?» — вспыхивает извечная крестьянская тревога и надежда, навеки связанная со всеми помыслами земледельца, как душа с телом.

Много ли, мало ли было зерна в сусеках, но из паводка мыслей и закромов памяти оно не исчезало никогда: там оно и всходит и поспевает щедрее, чем наяву.

Максим потихоньку играет с аистом и не спускает глаз с деда. Нахмурится старик — и Максим морщит лоб, вздохнет чумак — вздыхает и мальчик: ведь и он понимает, почему так тоскливо у них в селе. Правда, в лесу, где живет дед, полегче. И Максим уже прикидывает, что и ему, как вырастет, лучше добыть клочок земли здесь, возле дедушкиного пешака. Эх, будь у него, у Максима, деньги! Он и землю купил бы, и хату поставил такую, что всем улыбалась бы. А как степенно шел бы он в праздник погостить к своим родителям — с хлебом-солью, а то и с гостинцем! Тогда мать не называла бы его всякими бранными словами и отец каялся бы в душе, что лупил когда-то своего меньшого противной ременной подпругой, чтоб она сгорела...

Но эти мысли быстро пролетают, и Максима так и подмывает попросить деда сыграть на кобзе. Пусть начнет с заунывных-заунывных песен, а потом перейдет на гопак или сторбан, а то без музыки скучно.

— Сыграйте, дедушка,— не выдержав, просит мальчик и косится на кобзу.

— Что, ноги чешутся? — отрываясь от своих дум, спрашивает дед.

— С чего бы им чесаться? — удивляется Максим, словно он и не думал о пляске.— Хочется послушать чумацкую.

— Уж прямо — чумацкую? — недоверчиво переспрашивает дед и улыбается.

— Конечно,— уверяет Максим,— это уж песни так песни!

— Ох, и хитер же ты! — Покачав головой, чумак сдувает с кобзы пыль и берет инструмент на руки, как спеленатого ребенка.

Зазвенели струны, чумак подтянул их и снова тронул, извлекая мелодию далеких лет. И вот затужила кобза, и полились тоскливые слова чумацкой песни:

Чумаки обозом шли по Украине,
Стали на ночевку в зеленой долине,

Из кремневок били, степь подпалили,
Занялися травы вдоль по долине.

Занялися травы вдоль по долине,
Соловушке птенчиков сгубили.

Из лесу кукушка вылетает,
Соловушку-братца окликает:

— Не вил бы ты гнездо на лужочке,
Свил бы лучше в зеленом лесочке,

Свил бы лучше в зеленом лесочке,
На высоком дереве, на дубочке.

— Свил я низко — девки разорили,
Свил высоко — парни подрубили,

Свил в долине — и там пропадает,—
Никто доли наперед не знает.

Песня наполнила тоской всю хату. Затосковал и Максим, видя и далекие степные пожары и как в огне погибают у соловья птенцы: не знал наперед их доли соловушка. Но Дунай снова провел руками по струнам, они повеселели, с

ними повеселел и Максим. А дед уже поводит головой, бровью, вызывая гостя сплясать. Душа у мальчика затрепетала, и в тело вселилась пляска.

— А ну, Максим!

Но тот еще для приличия мнется, отнекивается и только после этого выходит на середину комнаты, поправляет вихры и весь отдается музыке. Он пускается в пляс без улыбки, без озорства, деловито и с достоинством, как деревенские парни. Нет в его пляске ни стремительных выкрутасов, ни подскоков, только перестук подошв и каблуков да красота движений; мальчик движется все быстрее, быстрее, словно для него уже мало хаты и леса, даром что он пляшет почти на одном месте.

Умолкли, будто оборвались, струны, остановился и Максим, по-молодецки поклонился деду, лихо поправил вихор, нависший на большие глаза, в которых лишь теперь вспыхнули огоньки задора.

— Славно пляшешь, Максим. Не сидят ли у тебя чертенята в каблуках?

— А кто его знает? — улыбается мальчик.— Может, сапожник и сунул их вместо кожи. Снять сапоги да посмотреть хорошенько?

— Не мешало бы.

— Скажет же, на ночь глядя! — замахала руками бабка.

Дед и Максим засмеялись.

Старик снова положил руки на струны, но у крыльца залаял Барбос и его сильные лапы зашуршали по снегу. Дед оставил кобзу, накинул на плечи кожушок, вышел из хаты и вскоре вернулся, пропуская вперед маленького опрятного Петра Морозенка, старшего сына Мирона, с которым Дунай чумаковал еще у Плачинды.

Морозенко снял шапку, и густые кудри, как золотые перстни, посыпались на высокий лоб. Удлиненное, белокожее лицо лесовика сосредоточено, на лбу дрожит морщинка, глаза беспокойно бегают по хате.

— Ты что это, Петро, такой? — Дунай вопросительно приподымает хохолки седых бровей.

— Беда, дедушка! — стоном вырывается из глубины души.— Не миновал нас черный день.

Бабка Ганна охает и садится на нары. Максим отходит от аиста.

— Опять барин? — Дед Дунай становится перед Морозенком и прижимает к сердцу кулак.

— А кто же еще! Он, окаянный. А мы, дуралеи, спасли его на свою голову. Не говорил я вам тогда?..— Взгляд Петра становится жестким.

— Рассказывай! — велит дед, и Максим видит, как на шее у старика набухают толстые, искривленные жилы.

— Что там говорить! — Морозенко бросает шапку на скамью.— Вчера приехала к барину погибель наша — мировые посредники. До третьих петухов полоскались в вине да в водке, пропивали трудовое наше, а после третьих петухов расползлись по углам. Ну, истинно как нечистая сила.

— Ой, боже мой, боже! — бабка Ганна тяжело вздохнула и утерла слезы.

— Цыц! Расхныкалась...— Старик нахмурился и нетерпеливо посмотрел на Петра.— Дальше-то что?

— А что же дальше! Заверили барина дворянским словом, что съезд новой бумагой выведет нас из лесу. А ежели будем бунтовать, погонят в Сибирь, словно колодников.

— Господи, помилуй нас! — Бабка Ганна протянула руки к иконам.

— Не помилует барин — так не помилует и господь,— с горечью говорит Морозенко.

— Есть кому нас губить,— вырывается у старика с тяжелым вздохом.

— Было и есть,— подтверждает Морозенко.

— Значит, в господском вине топили нашу долю? — допытывается дед.

— В господском, чтоб им в быстрине утопиться, иродам!

— И то уж хорошо,— горестно говорит старик, щеки его опадают, и теперь только становится видно, как годы заткали его лицо морщинками.

— Что ж тут хорошего? — невесело удивляется Морозенко.

— Уже то хорошо, что не где-нибудь, а в помещичьем доме пропивают нашу землю мировые посредники. Хоть будет за что уцепиться... Видишь, суды уже и деда обучили сутяжничать... Кто тебе все это передавал?

— Евген Колосюк у барской челяди подслушал. Только что видал его. Что ж теперь делать?

— Обойти сей же час людей, чтобы никто, ни один, не соглашался на вывод! Чтобы никто не приложил руку, не поставил крестик на господские бумаги... Врете, баре, не плясать вам возле наших хат! — Дед Дунай выпрямляется, упорный и решительный.

— Снова кланяться судам?

— А что поделаешь?

— Высосут они из нас последнюю копейку, да и пустят по миру,— вздыхает Морозенко.

— Тогда будем пробиваться к самому царю.

— Так ведь опять же — до бога высоко, до царя далеко, а с мужика дерут последнюю шкуру. Не глядят, что она латаная и перелатанная.

— Так уж заведено: как ни плоха у вола шкура, а живодер и эту сдерет.

Великое горе, затопившее хату, гнетет и Максима. Он уже видит пана Стадницкого с живодерским ножом в руке, в маленьком чутком сердце нарождаются страх и ненависть.

Со двора снова доносится лай, потом все стихает, и в хату влетают близнецы Морозенка — девятилетние Ярослав и Михайло. Они так похожи один на другого, что, говорят, их и мать только по глазам различает: у Ярослава — синие, а у Михайла — голубые.

Ребята у порога на ходу срывают с голов шапки, и золотые, как и у отца, кудри рассыпаются у них до самых глаз.

— Вы чего? — Брови у Морозенка лезут вверх.

— К нам,— перебивает один другого,— Черное Сало приехал.

— Прилетел черный ворон.— Морщинка на лбу Петра стала еще глубже.

— И что он говорит? — спрашивает дед Дунай.

— Чтоб хоть из-под земли выкопали, а нашли отца,— радостно выпаливает Михайло и улыбается. Максиму жаль его: сразу видно, что он и не догадывается о навалившейся на лесовиков беде.

— А вы говорили, где я?

— Нет, не говорили,— отвечает за обоих Ярослав.— Сказали, что, может, у деда, а может, и в селе. Что мы, дураки?

— Ну, так что же делать, дедушка? — Морозенко тянется к лавке за шапкой.

— Главное — чтобы все узнали про господский сговор и держались заодно.

— А с Черным Салом как?

— Пускай подождет. Известно, с каким наваром принесло этот господский горшок.

— Ребята, домой! Меня у деда нет.

— Нет и не было!

Ребятишки надевают на курчавые головы шапки и, толкаясь в дверях, вылетают из хаты; пытаются на даровщинку прокатиться на Барбосе, однако тот предусмотрительно дает задний ход, так что близнецы растягиваются на снегу, лицом к лицу, и некоторое время, не вставая, хохочут; потом, толкая друг дружку, вскакивают, берутся за руки и, размахивая ими, скрываются за деревьями.

Дед Дунай подходит к божнице, касаясь руками снопа, подымается на цыпочки и задувает голубой огонек лампадки. В темноте сразу гаснут глаза икон, исчезают осененные лоснящимися маслеными нимбами святые, и только дородный сноп неясно белеется да слышно, как сыплется на земляной пол потревоженное зерно.

Морозенко прощается с дедом, они вместе выходят из хаты, за ними тихонько выскальзывает и Максим. Вместе все трое доходят до груши, на которую днем поднимали улей.

На дворе посветлело, между льдинами туч осторожно проплывает месяц, и его зеленоватые лучи выплетают на занесенных деревьях и на земле колышущуюся сеть.

Морозенко ушел быстрым, широким шагом, вот его стройная фигура мелькнула и скрылась между деревьями. А дед задумчиво стоит возле груши, и морщинки кажутся стрелами тьмы, вонзившимися в его озаренное луной чело. Максиму до слез жаль старика.

— Дедуся, вы не горюйте...— Максим трогает пальцы деда и чувствует, какие они мозолистые.— Может, бес перебедует беду.

— А я и не горюю, дитятко,— вздыхая, отвечает мальчику Дунай и проводит рукой по лбу, словно пытаясь смахнуть с него стрелы тьмы.

— Неужели, дедушка, барину еще мало земли? — вздыхает и мальчик.

Старик оборачивается к Максиму, зорко-зорко смотрит на него.

— И ты загрустил?.. Вон как... Запомни, дитятко, запомни навсегда... Господские глаза больше брюха — все готовы съесть. А наш барин хоть и больно учен, а хуже Каина.— И дед подымает руку к луне, на которой, как на печати, вычеканено страшное преступление Адамова сына.

— Дедушка, а отчего на луне такие черные пятна? — Максим тоже смотрит на чумацкое солнце.

— Отчего? А чтобы люди помнили, как Каин поднял Авеля на вилы,— отвечает старик, сторожко прислушиваясь к предательской лесной тишине.

— За что ж он его?

— За что? — как сквозь сон, повторяет дед.— Не знаю, дитятко, но думаю — тоже за землю, иначе не за что. Так вот и нас господа подымают на вилы.— Дунай кладет шершавые пальцы на ствол груши, на которую сочатся из дуплянки тонкие запахи давнего пчелиного труда.

Понесет ли сюда будущим летом божье создание мед и пергу или пойдут эти пахучие борти, его душевный труд, на дрова барской челяди? Для чего же он жил и мучился весь век? Не разбогател, не собрал злата-серебра ни в Крыму, ни на Дону, ни на своей земле, а годы и здоровье отдал и Крыму, и Дону, и своей земле. И за это были у него в простом, нехитром жилище черный хлеб да серая соль, даже в недород не умирал с детьми с голоду. Многим и это уже казалось счастьем. Таково убогое счастье земледельца. Но и этому позавидовал барин. А ведь Дунай его от смерти спас.

И старый чумак, опустив голову, погружается в глубину лет. Вот закружила, загудела, завыла страшная пурга, пересновывая темной гигантской сновалкой всю округу, все занесенные жилища и леса. И уже нельзя разобрать, откуда валит снег: с неба или с земли что-то подымает его? По селам звонили колокола для спасения еще живых путников и на помин души тех, кого уже занесло. И тут-то в окна лесовиков застучали арапники господских слуг.

— Гей! Выходите искать барина!.. Ехал из уезда и сбился с дороги.

— Нашедшему — червонец!

— Да поживей!

Неохотно, хмурясь и чертыхаясь, выходили лесовики искать в снегах своего барина, и кто знает, какие мысли были у них в головах: ведь это случилось вскоре после десятилетней судебной волокиты по делу «о выводе».

Дед Ярош надел тогда свежую рубаху, снял с жерди старый кожух, а бабка Ганна поставила свечку перед образом богородицы. Посмотрел старик на жену, на свечку, поставленную за спасение души его, и пошел с Морозенком в степь разыскивать барина.

— Глядишь, найдем еще это счастьице себе на беду: заработаем чертов червонец, а загубим жизнь,— невесело пошутил Морозенко, прикрывая лицо согнутой в локте рукой.

Не отходя друг от друга, они долго петляли в слепом омуте вьюги, падали, проваливались по пояс в сугробы и поднимались, вспахивая снег и ловя притихшее эхо далеких колоколов. Через некоторое время и колокола умолкли, а вокруг стало еще темнее.

— Так и до смерти недалеко,— проговорил вспотевший Морозенко, когда они вышли на опушку леса.— Пойдемте, дедушка, домой, а то и нас еще заметет. А как барин помрет, мы ему свечу поставим: вы — из своего воска, а я — из покупного.

— Потопчемся, Петро, еще малость.

— Да ведь без толку... — Петро отряхнул с кудрей снег.—Может, господская душа давно дожидается теплой свечки.

— Заболтался ты нынче, несешь невесть что,— нахмурился Дунай.

И они снова перепахивали ногами сыпучий вихревой простор и снова проваливались в сугробы. И наткнулись все-таки на разломанные сани, на которых, под снегом и шубою, уже погружался в мир потусторонних видений ездок. Может, ему мерещилось святое небо, а может, и грешная земля, захваченная его предками и отсуженная им у лесовиков. Морозенко нагнулся к Стадницкому, ухом припал к его охладевшей груди.

— Чуть-чуть дышит. — Морозенко поднял глаза на деда.— И пусть бы спал сладко — вряд ли ему еще раз доведется помереть такой легкой смертью.

— Что ты, Петро, бог с тобой! Живи с правдой и по правде.

— А другие пусть кривдой живут? — буркнул Морозенко.

И они на свою беду собственными руками отогрели оледеневшую душу барина, да не сумели вложить в нее человеческое тепло. Даже червонец свой не получили: спрашивать постыдились, а барин и не догадался заплатить лесовикам, только поднес чарочку.

И уже не впервые в сердце деда заползает и находит там приют грешная мысль: лучше было в ту страшную вьюгу послушаться Морозенка, тогда вряд ли нашелся бы охотник судиться с разбросанными в лесах жителями.

Дома старик снова зажигает лампадку, ставит ее на стол, под божницей находит огрызок карандаша, листок бумаги и сажает рядом с собою Максима.

— Напиши, дитятко, письмо моему Василю,— может, он нас выручит.

— Он возле самого царя живет,— подает голос бабка Ганна, для которой и Петербург — большое село, где живет царь, и его знают в лицо все люди, как здесь все знают барина.

Сперва отец сильно прогневался на сына, который после царской службы не вернулся на землю, а пошел работать в столице на судостроительный завод. Но когда позже Василь написал, что поселился на Васильевском острове, отец обрадовался: стало быть, потянуло все же сына к земле — заработал деньжат и купил себе островок, пашет, как пашут на Украине остров Демека, и назвал его Васильевским. Пусть хозяйствует на здоровье, это не то, что до глухоты клепать на кораблях заклепки. Только не заливает ли его весной? А то не стоит и озимые сеять. Сын много смеялся над отцовским письмом, а отец долго еще не знал, что такое Васильевский остров.

— Так что пиши, Максим,— дед взялся руками за голову.— «Дорогой наш сын Василь, шлем тебе низкий родительский поклон — до самой земли. Ты, может, и позабыл уже, какое счастье и какое горе земля для хлебороба. А мы это всякий день на себе испытываем. У вола пот выступает на губах, когда больно устанет скотина, а мы от пота никогда не просыхаем, даже в церкви на пасху пахнет им. Ну, да мы себе облегчения не ищем, не таков наш хлеб. Мы хотим только одного: чтоб земля наших дедов оставалась за нами. А барин опять хочет ее отобрать, стал судиться и, видно, неправдой да ложью отсудит ее. Так вот — ты возле самого царя живешь, у вас должно быть правды больше, чем у нас. Разузнай, как нам удержать землю и кому бить челом. Если надо денег, сложимся, всё отдадим до последней копейки и до последней нитки. Послужи, Василь, отцу с матерью и своим людям. Да и самому тебе не весь же век клепать железо — отымет молот твою молодую силу, а остаток отдашь нашей святой землице. За твоего неграмотного отца писал твой племяш Максим Волошин. Мать плачет и целует тебя. Будь здоров, а сможешь — приезжай к нам, хочешь — в гости, а хочешь — навсегда. Твои холостяцкие рубашки еще лежат в сундуке, а друзья твои уж поженились, трудятся и мучаются на земле, так пора и тебе жениться; только если есть у тебя кто на примете, так бери такую, чтоб знала крестьянский труд».

VII

То темнея, то просветляясь, торжественно гудит лес, то и дело кидая наотмашь на полотно дороги четкие предвесенние этюды. С просеки, услышав шаги, срывается желтогрудая овсянка, садится на ветку, поправляет клювиком свой пестрый наряд и, верно, впервые в этом году, советует людям: «Кинь сани, бери воз-з!» Степан Васильевич жмурится от солнца, улыбается птице и удивленно оглядывает лесной уголок. И снова какая-то невидимая птица роняет мелодичный перезвон.

— Роман, а это что за диво распевает?

— Поползень!

— Вот это певец!.. Роман, ты погляди, как тут славно! — Учитель ставит на треногу самодельный этюдник.

— Ничего,— спокойно соглашается Роман.

— И это для тебя ничего? — возмущается Степан Васильевич, хватает Романа за плечо, подталкивает вперед и обеими руками втискивает в снег.— Смотри, парень, как эти курчавые дубы остановились перед полянкой! И кто укротил их гордую, молодецкую стать? Не догадываешься? Вот эта единственная березка! Стоит она у стожка, как невеста, и сама смущается — видишь, как покраснели ее веточки? А от нее пробивается ручей. Может, он берет свое начало от ее корней, а может, от ее девичьих слез. Может, и она только батрачка в этом украденном господами лесу.

— Заговорили вы, Степан Васильевич, и лес сразу ожил, деревья стали словно люди,— изумляется Роман, присматриваясь к простому, открытому крестьянскому лицу с умными глазами. Даже когда учитель смеется, в уголках глаз нет-нет да и проглянет скорбь отцов, по которой где угодно узнаешь украинского крестьянина.

— А ты как думал? Разве можно за лесом не видеть людей? И тут, Роман, без этого не обойдется. Так славно здесь?

— Очень славно.

— Вот это другое дело. А то... «ничего»! — И учитель, засмеявшись, подтаскивает этюдник ближе к полянке.— Тут я и расположусь.

Из кармана своего старенького пальтишка Степан Васильевич выкидывает на снег несколько картофелин и доверительно подмигивает Роману.

— Неси, парень, хворост, спечем такой обед, какого и сам царь не едал.

— Верно, он и в самом деле не ел печеной картошки,— смеется Роман.— А что едят цари?

— О теперешних царях — это надо еще подумать, а вот что ела Екатерина Вторая, могу сказать,— лукаво косит черным глазом Степан Васильевич.

— Вправду?

— Вправду. Моей бабке, земля ей пухом, достоверно было известно, что сидела Екатерина Вторая на золотом троне и из серебряного котла ела золотые галушки.

Учитель первый заливается беззаботным хохотом, и совсем не верится, что на этого двадцатичетырехлетнего скуластого детину дважды уже летели к губернатору «бумаги», что удостоило его своим вниманием и жандармское управление. Трижды, со всяческими предупреждениями и внушениями, переводили его из лучших школ в худшие и наконец ткнули в лачужку церковного сторожа: просвещай, мол, мужицких детей возле погоста, да и сам поглядывай на погост.

Но Степан Васильевич Левченко даже по соседству с погостом и деревянной трухлявой церковкой не затосковал. В его годы на жизнь следует уже смотреть философски: надо же кому-нибудь и здесь учить детвору, и это гораздо лучше, чем возвращаться с волчьим билетом в семью многодетного сельского сапожника. Правда, в первый же день, когда он, напевая песенку, посматривал сквозь маленькое, в четыре стекла, окошечко на заросшее вишнями и раскидистыми яблонями кладбище, мимо тына мелькнула темная ряса, и в душу учителя заползла черная печаль. В двухклассном церковном училище и в школах, где преподавал, он успел постичь, как мало души пастырей тянутся к богу и как глубоко залезают они в грешный мир — не для очищения его, а ради своей выгоды, ограждая ее словом божьим и крестом.

Не отвечать бы на тихий стук, но что, если батюшка сам отворит дверь? — деревенские попы никогда не страдали вежливостью.

— Прошу вас.

На пороге появился высокий, здоровенный и совсем еще молодой поп, даже черная борода и очки не могли скрыть его бурсацкую молодость. Сними с него очки, кинь в глаза две разбойничьи искорки — и перед тобой готовое воплощение дьячка-выпивохи.

«Ну, этот наплодит десятка полтора поповичей и попович»,— неприязненно подумал учитель, разглядывая служителя церкви.

Того, должно быть, что-то смущало, и в лице его не было ни хитрости, ни елейности, ни ханжеской набожности.

— Простите, что...

— Прощаю.— Старый бес дергал учителя за язык; что поделаешь — такова натура.

Поп смутился еще более. Звали его Викентием, он сын деревенского священника, но ни за что не хотел учиться в духовной семинарии. («Ага, это уже, если не поповский ход, интереснее».) Поповствовать заставили родители. Слабость духа — послушался стариков. Дальше выяснилось, что этот молодой здоровяк, уже вдовец, гордится, но скрывает от иереев и консистории, что бесстрашный и грозный Кибальчич доводится его семье дальним родственником. Отец Викентий хорошо знает историю о том, как его родич провел последние дни в тюрьме, неутомимо трудясь над новыми изобретениями.

— Разве не досадно, что у нас широкая натура находит не признание, а петлю?

— Батюшка, разве со мной можно говорить о подобных вещах! — удивился Степан Васильевич, пытаясь раскусить попа: с такими священниками он еще не встречался.

— С вами, думаю, можно.— Отец Викентий снова смутился.— Кое-какое представление о вас у меня есть. Показывали вашу характеристику... Говорили о вас.

— Похвального, верно, мало? — Учитель засмеялся одними глазами.

— Не густо, не больно густо,— покачивая черной бородой, сокрушался батюшка.— Простите, но я сегодня и в самом деле слишком уж разболтался. Вы рисуете? — полюбопытствовал он, увидав мольберт и несколько последних этюдов.

— Перевожу краски. Какая же у меня характеристика?

— В ваши годы не мешало бы и получше иметь...

— Не выходит.

— И у меня не все выходит.— Темные глаза попа под очками запечалились.— Хорошо дана глубина летнего вечера,— сказал он, глядя на картину «В конце гребли».— Так и хочется пойти под эти вербы, запеть с парнями тихую, задумчивую песню.

В глазах священника ни обмана, ни хитрости.

— Неужели вас, отче, бес искушает такими греховными утехами? — Учитель даже расхохотался.

— Думаете, нет? — откровенно признался отец Викентий и снова вздохнул.— А вы травами не интересуетесь?

— Нет, я больше сено люблю — поваляться.

— А я — травы, целебные травы. Хотел стать врачом. Прошлым летом чуть в болоте не утонул.

Оказалось, что отец Викентий самоучкой упорно изучает медицину и в особенности способы лечения травами, а двоюродный брат его пошел в террористы. Пусть учитель не боится, доносов на него поп писать не станет, на это рука не подымется. Но над характеристикой надо подумать, а то далеко ли, не к ночи будь сказано, до волчьего билета?..

...На полотно ложатся первые мазки, и Степан Васильевич приятным тенорком тихонько напевает:

Течет вода студеная,
Кругом трава зеленая,
Ой, там Роман сено косит,
А девушка воду носит.

Роман вторит на басах, песня полнозвучно летит к чистой березке и отодвигает от парня заботы, приведшие его в этот притихший перед весной лес.

Парень ведра задевает,
Воду наземь выливает.

— А ты, Роман,— учитель подмигнул,— выливал уже у девушки из ведер воду?

— Да пока еще не требовалось.

Парень невольно краснеет, учитель замечает, смеется, но и его скулы заливает темный румянец.

— Эх, Роман, Роман, какое это святое слово — любовь!— Степан Васильевич швыряет кисть в снег и оборачивается к парню.

Тот деликатно покашливает:

— Выходит, вы-то уже выливали у кого-то воду из ведер?

— И выливал и набирал.

Учитель задумывается, а Роман молчит, только неясные догадки да видения мелькают в его спокойных, под иссиня-черными ресницами, глазах. Он неторопливо окидывает взглядом лес, видит, как две голубые синички ищут себе жилье; вот они опустились на рассохшийся граб, одна влетела в маленькое дупло, выпорхнула из него, пискнула, и в найденное убежище нырнула самочка; она пробыла в новом жилище немного больше, как и следовало существу женского

пола, вылетела и принялась советоваться с самцом. «Если бы человек мог так легко найти себе жилье!» — подумал Роман, невольно вспомнив свою недостроенную хату.

— О чем думаешь, Роман?

— Да дум много, их на ярмарке не покупать.

— А сейчас о чем подумал?

Учитель любит то спокойного, то крутого, бурного, как горный поток, парня, который и сам не знает, верно, что он может свершить, на какой путь может стать. Пусти его к машинам — и он, хмуря высокий лоб, во всем разберется, и сам начнет изобретать; засади за книгу — и он будет сельским учителем; поставь его баритон — и он заворожит людей пением; а дай ему нехитрую, пятирублевую крестьянскую скрипку — и он поведет смычком не по струнам, а по сердцу человеческому. А вот сейчас несет он свои большие и уже расплюснутые трудом руки в этот лес на продажу: может, заработает на штабелях хоть двадцать пять копеек в день.

— О чем думаю? — переспрашивает Роман, и его карие глаза становятся глубже.— Верно, не следует про то и говорить.

— А ты скажи.

— О той березке, которую вы вспоминаете, когда рисуете эту.— Он показал на тонкое деревцо.

— Ой, Роман, Роман, что из тебя будет, как вырастешь? — полушутливо говорит учитель, намекая, что парень верно понял его.

Роман вдруг хмурится, и губы его сердито подрагивают.

— Ты чего надулся?

— Подумал, что из меня будет, когда вырасту!

— Что ж будет?

— Батрак будет! Сезонник! Поденщик! Хлебороб на чужом поле! Черный вол! Быдло! — Взгляд Романа темнеет. — А если продам барину душу, могу стать лакеем, надсмотрщиком на свекловице, а то и приказчиком. Тогда смогу пройтись юфтовыми сапогами по мужичьим хребтам и даже, может, до суконных штанов дослужусь... Хорошую я нарисовал картину?

— Страшную, Роман! — Учитель прикусил губу.— Ох, какую страшную!

— Такую, какая на моей шкуре написана. И хоть бейся головой об стенку, для тех, у кого нет хорошего надела и скотины, другой картины не нарисовать. А в тех книжечках, что вы мне давали, разве другое?

— То же самое, Роман,— задумчиво проговорил Степан Васильевич, так вглядываясь в парня, словно собирался потом писать его по памяти. А недурная натура для портрета: лицо белое, чистое, словно умытое вешней водой, а волосы, брови черные, лоб высокий, шея крепкая, нос решительный, с маленькой горбинкой, губы упрямые, подбородок красиво сужен. Одень по-человечески, и Кармалюк! — Значит, в картинах жизни ты разобрался, и это хорошо.

Роман только презрительно хмыкнул.

— Не вижу ничего хорошего. Ничегошеньки!

— Нет, уже видишь, раз тебя не тянет на суконные штаны да на скользкий лакейский хлеб.— Учитель огляделся вокруг, его глаза сузились, прощупывая лес.— Но видеть эти картины и жаловаться — мало: их уже большинство видит, большинство живет жалобами, стоном, проклятиями, а надо искать способ все это под корень подсечь. Под самый корень! Это дело другое — оно требует больше ума и смелости.

— А где ж искать этот способ, Степан Васильевич? — Парень впился в учителя блестящими глазами.

— У людей, только у людей, Роман.

— Но у каких? — Взгляд Романа обостряется.— Разные есть семена, разные и люди. Барин тоже считает себя человеком. А Пигловский — тот даже выше людей заносится, даром что палач палачом. А только разве это люди? От них одни рубцы да болячки на сердце.

— Нет, я о других говорю, о тех, кто душу и тело отдает за бедного обиженного человека...

Учитель вдруг меняется в лице, прилежно склоняется над кистью и запевает гораздо громче, чем вначале:

Ой, там Роман сено косит,
А девушка воду носит,
Гей!

— Пой же, лентяй!

Удивленный Роман втягивает голову в плечи, подпевает и тут только слышит на дороге мягкий топот копыт. Обернувшись, он видит подъезжающего к ним на облезлом, неуклюжем коне господского лесного приказчика Амвросия Шкапонда. В новой, негнущейся свитке, широкой книзу, он удивительно похож на старинный колокол.

— Амвросию Пилиповичу! — приветливо машет ему рукой Степан Васильевич.

Шкапонд, выпрямляясь в седле и поправляя на плечах переметные сумы, поворачивает на полянку.

— Пишете, Степан Васильевич? С праздничком вас.— Багровая, раздутая, точно сычуг, физиономия приказчика выражает почтительный интерес к учительской забаве.

— И вас с праздником,— учтиво говорит учитель, и только в самых уголках его глаз таятся искорки лукавства.— А вам, вижу, и теперь отдыха нет — такая служба.

— Собачья, скажу я вам: день и ночь стереги помещичье добро, гавкай даже тогда, когда ничего и никого в лесу не видишь, нарочно ночью гавкай, а то народ теперь такой, что украдет родного отца.

— Неужто и вашего отца крали? — удивляется, смеясь, учитель.

— Моего не украдут,— хохочет, выпячивая толстые, без единой морщинки губы, и сам Шкапонд, его раскосые брови всползают на лоб, как два рожка,— мой отец человек бесполезный. Даром хлеб переводит, а кормить надо. Не скажете, как мой отпрыск учится?

— Ничего, Амвросий Пилипович, только по арифметике отстает немного.

Лицо приказчика мрачнеет.

— Это скверно. Вы, Степан Васильевич, хоть линейкой, хоть затрещинами, хоть пинками, а вбейте эту арифметику в его дурацкую голову, а то в нашем деле без нее зарез. И вообще... Мерять лес—не такое уж простое дело, не у всякого хватит ума.

— А как же вы меряете?

— Э, у меня хоть и нет в голове арифметики, да зато глаз верный. Мне стоит прикинуть делянку вдоль и поперек — и я на глаз скажу, сколько на ней каких пород: столько-то строительного леса, а столько-то хвороста выйдет, дровец и вообще. Сам господин лесничий изумляется моему глазомеру и говорит, что я продувная бестия! — Шкапонд смеется, довольный похвалой начальства.— А вот у сынка, вижу, нет любви к лесу, глаз у него на деревья слеп. Так что хоть уши с корешками вырвите, хоть дух выбейте из него, а вколотите ему арифметику в мозги.

— Попробую, Амвросий Пилипович. А вот этот парнишка,— учитель кивнул на Романа,— идет к вам искать работы.

— А теперь и нет ее. Все места заняты.— Шкапонд окидывает Романа быстрым взглядом, примеряется к нему

и прикладывает толстый палец к раздвоенной нижней губе.

— Может, найдете что-нибудь? Вы же, Амбросий Пилипович, хозяин всех лесов: четыре тысячи десятин — шутка ли! Лесной царь, можно сказать.

Похвала нравится «лесному царю», и он блаженно прикрывает выпуклые глаза тяжелыми, темными веками.

— Ну, раз вы так просите, подумаем. Пойдем, парень, в сторожку. Всего доброго вам, Степан Васильевич.—Шкапонд поправляет негнущуюся свитку и напоследок воинственно машет рукой учителю.— Вбивайте, вбивайте ему арифметику в голову, не жалейте линейки. И вообще...

— Может, обойдется без линейки.

— Что вы, с нею вернее! — убеждает Шкапонд.— Недаром говорят: «Учение не идет без сечения». И вообще.

Роман прощается с учителем, благодарно пожимает ему руку, ловит в ответ многозначительный взгляд и направляется к просеке.

— Приходи есть картошку. Я подожду,— улыбаясь, напутствует учитель.

— Не поспею, верно.

— Почему?

Роман косится на приказчика и тихонько говорит:

— Шкапонд не выпустит мужицкую душу без магарыча: цепок на даровщинку.

— Ни пуха ни пера.

— Спасибо, чтоб хуже не сказать,— улыбается Роман и выходит на просеку, куда уже выехал, мурлыкая себе под нос, коротконогий лесной царек.

Неподалеку от яра, где когда-то бил святой родничок, стоит обтрепанная ветрами, замаранная господским дегтем лесная сторожка.

В седой древности, как передавали старики, тут поселился пустынник, проводивший время в молитве и посте. О пустыннике пошла громкая молва, у родничка выросла церковь, и сюда стекались богомольцы чуть ли не со всего Подолья. Но в 1676 году татары Ибрагима паши Шейтана разрушили и церковь и скиток, убили монахов, а колокола продали. Пожарище зарастало травой и молодняком, на прежних дорожках весной раскрывали голубые глазки подснежники, а к родничку слетались одни птицы.

И лишь через двести лет святым отцам пришла идея хоть как-нибудь восстановить славу пустынника. И вот ежегодно

на праздник цветов и мака в родничке стал являться образ богородицы, а рядом, над самой водой, теплилась свеча, обливаясь восковыми слезами.

И ежегодно распространялись слухи о небесных знамениях, по которым угадывали, что скоро будет конец света. Доверчивые люди валом валили на Маковея к родничку, и целый день позванивали церковные кружки, принимая мужицкое серебро и медь. Стадницкому такая толчея на его земле не очень нравилась. Он поставил возле яра свою сторожку, а лесникам велел присматривать за родничком, и с того времени богородица как в воду канула.

Теперь в лесу звон топора заглушил голоса попов и певчих, и на том месте, где продавались крестики, свечи и иерусалимские, из фольги, образки, мужики выбивали пробки из монопольских шкаликов и почтительно распивали с приказчиком, потому что хоть он «вообще» — и собака, а без него — ни шагу. Святые отцы долго косились на Стадницкого, называя его иезуитским пройдохой, но тот только посмеивался над священническими проклятиями и все расширял лесной промысел, готовя товар и для окрестных деревень, и за границу.

Вокруг сторожки лежат доски, высоко поднимаются огороженные кольями штабеля датской и обыкновенной клепки, осинового гонта. Крепко пахнет дегтем, но этот властный дух черной лесной крови не может заглушить горьковато-печального и нежного аромата осины. Даже мертвое дерево чует приход весны, и в нем последний раз бродят соки, источая свой запах над замызганной сторожкой, заваленной топорами, пилами, тесаками, рубанками, гуцульскими бардами — всем тем, что без сожаления валит лес, ранит стволы до самой сердцевины и выжигает в закопченных дегтярнях.

— Ну вот и наша хата.— Приказчик сбрасывает с плеч сумы, а худущий, длинноногий сторож Юхрим Кверко угодливо принимает их на руки и, как живых, несет к почерневшему от времени и дыма сундуку.— Что слышно, Юхрим?

— Слава богу, ничего.— Сторож почтительно вытягивается перед приказчиком.

У приземистого Шкапонда ноги кривые, как ухват, а тощие конечности Юхрима походят на две невесть зачем обутые кочерги.

Роман, украдкой окинув взглядом неуклюжие фигуры, чуть улыбнулся уголком рта, и в этот миг к нему круто обернулся Шкапонд.

— Что же, парень, кое-какую работенку я тебе дам, раз уж учитель хлопочет за тебя. Пока что будешь у меня нарезать штабеля. За штабель десять злотых — полтора рубля. У нас лес такой, что напилишь за неделю играючись.

— Прежде вы вроде платили по два рубля,— хмурится Роман.

— Эге, когда это, парень, было?! Весной да в страду. В горячую пору. А теперь, когда мужику живот подвело, кто же заплатит по два? Нашего барина сам граф Потоцкий не обведет вокруг пальца. Ну что? Будем сватами или с тыквой пойдешь домой? — Шкапонд смеется, вытягивая раздутые губы, а его небритый подбородок округляется и становится похож на шерстяной мяч.

— Куда же денешься, надо наниматься.

— Ясное дело, надо! А как же? Ну что ж, можно сказать, и договорились, а теперь, как полагается, ставь магарыч. Мог бы и я поставить, да жалованья от барина не получаю,— снова смеется приказчик.

Роман недоверчиво косится на него.

— Даром работаете?

— Нет, торговлей зарабатываю и вообще.

— Барин дает процент?

— Зачем же барин? Покупатель. Покупаешь ты у меня, скажем, воз дров — ну, и накинь к господской цене три копеечки, чтоб дети приказчика учили арифметику.— Шкапонд подмигивает, и теперь за него смеется сторож со старушечьим лицом.— У нашего барина копейка, как божья свеча, в почете. Не знал ты этого в поле — узнаешь в лесу... Так где же твой магарыч?

— Не захватил с собой, не знал...

— Хи,— подает голос сторож, и где-то среди его морщинок мелькает подобие улыбки.

— Э, какой же ты недогадливый, парень! Ну, может быть, Шкапонд пособит твоей беде. Высыпай на стол то, что в карманах звенит. Рука дающего да не оскудеет, рука берущего да не отсохнет. — Приказчик снова смеется, и непонятно, шутит он или в самом деле ждет денег.

Роман настораживается: уж не насмехаются ли над ним? А потом вместе с нитками добывает из кармана два двугривенных и кидает на покоробленный, с рассохшейся, грязной обвязкой стол.

— Хи.— Сторож одним движением узкой ладони сгребает деньги, подходит к сундуку, низко нагибается над ним и,

удовлетворенно выпячивая губы, ставит на стол, поближе к Шкапонду, полштофа водки, кособокую чарку, кладет каравай и брусок желтого, проржавленного сала. Потом, изогнувшись, заглядывает в печь, обеими руками вперемежку вывертывает из поседелых углей горшок, сразу вываливает в деревянное блюдо загустевшую кашу и ставит ее рядом с караваем, наконец раскладывает прокисшие осиновые ложки и почтительно наливает водку приказчику.

— С праздником святой Евдокии! — Шкапонд сперва, морщась, смакует водку, потом прополаскивает ею рот и уже затем только выпивает, от удовольствия прищуривая выпученные глаза.

— По второй, по второй надо, хозяин! — засуетился Юхрим, как только Шкапонд отставил чарку.

— Зачем же по второй? — деланно изумляется приказчик.

— На одной ноге только цапля стоит, а хозяину надо стоять на двух.

— Чтоб потом легче было с двух свалиться? Или ты раздобудешь лесную кралю? — Шкапонд снова морщится, зажав во рту всю чарку.

— Нету их тут,— грустно вздыхает Юхрим.

— Завел бы какую-нибудь, чтоб еду готовила.

— Хватит с меня. Была уже одна лихоманка на моей шее.

С каждой чаркой Шкапонд все больше веселеет, а душа Романа тоскливо ежится, ему противны жалкие могильщики леса. За харчи они стали верными господскими псами, а за шкалик монополькн под корень подрежут десяток таких берез, как та, которой любовался учитель. Но вот последние капли вылиты в чарку приказчика, Роман поднялся.

— А может, споем? — остановил его посоловелым взглядом Шкапонд, выходя из-за стола.— Голосок у тебя, я знаю, только «Иже херувимы» на клиросе петь.— Он косолапо раскачивался на пьяных ногах.

Роман покачал головой.

— Что-то не до пения мне нынче.

— Какой переборчивый! На работу я его нанял, а он петь не хочет! Ну, леший с тобой, как-нибудь и сами затянем тихую да веселую. Так завтра приходи. Будешь с одним майданцем пилить. Правда, ленив он, с ним заработаешь немного, но ежели принесешь еще кое-что приказчику на полдник, так не лоботряса тебе подберу, а Бову-королевича. Пилите, рубите, чтоб гудело.

Теперь голова приказчика, и туловище, и кривые ноги — словно три горшка, поставленные один на другой.

Роман поспешно выходит из сторожки, и его сразу охватывает свежесть предвесеннего леса. На западе в медь курчавых дубов вкраплено золото заката, а понизу уже крадутся, подрастают легкие тени. По их голубым мосткам он выходит на дорогу. А позади слепые оконца сторожки дребезжат от песни про бедняжку чайку и ее птенцов. И оттого, что пьяные поют песню, которую Роман еще в колыбели слышал от матери, парню становится не по себе, и в уголках губ его залегает складка обиды и злости.

VIII

Над лесом погасли последние отблески солнца, потемнели, стали больше деревья, вросшие в голубой свод небес, и, предвещая ветер, загудели дуплистые липы. Их кора, вся в трещинах и наростах, похожа на старые соты с застывшими, черными от старости пчелами. Лесной шум понемногу успокаивает сердце Романа и перебирает уже иные струны души. Неясные надежды и ожидание чего-то необычайного отодвигают на край сознания и Шкапонда и сторожку; верится и грезится, что есть же где-то путь, по которому правда ходит не затравленной нищенкой, а светлая, как солнце, что есть же люди, которые могут и мужика пожалеть, даже пособить ему. Только где они? Степан Васильевич, верно, что-то знает, да не торопится говорить, все приглядывается, примеряется. Сегодня начал было — так принесло этого чертова Шкапонда не в пору. Вот и вышло, что учитель больше про березку рассказывал. Стоит, как невеста, и смущается, и краснеют ее веточки.

А к этим мыслям присоединяются другие, отзываются еще более загадочные, глубинные струны души; чего-то недостает, беспричинно тянет в глубь вечеров, где над землей ворожат месяц и звезды, обращая все в сказку: идешь — и кажется, вот-вот встретишь счастье, и, как неизведанные лесные тропки, зовут девичьи песни. Он часто спешит на их зов, но близко подойти не решается, и не потому, что робок, а оттого, что потайная, не распознанная еще им девичья душа свята для него, и он терпеть не может двусмысленных намеков парней или грубого хихиканья вдогонку деву-

шке. Как нельзя смеяться над матерью, так и девушку нельзя даже словом обидеть...

Народная мудрость, оберегая будущее поколение, тревожилась за девичьи годы, самые прекрасные и труднейшие в жизни женщины, и была это забота о красоте человека, забота о матери. Народная мудрость создавала самые прекрасные песни о любви, даже когда существовало похотливое право первой ночи, а, по суровым крестьянским обычаям, девичья верность ценилась наравне с воинской честью. Так мог ли Роман, живущий взглядами своих дедов и отцов и миром песен, подходить к неразгаданной девичьей душе легко, с грубыми шутками или залихватскими жестами? Лучше уж постоять в тени, лучше принести домой, не расплескав, свою тревогу и никому не открывать ее.

Только мать заметила перемену. Глянет пытливо и молчит или улыбается, говорит вроде о другом, а тревожится и печалится о его, им самим еще не выбранной паре. Уж не о том ли она думает, что будет, когда пора любви отгородит от нее сына и другая женщина разделит их семью на две половины, войдя в его жизнь и женой и второй матерью?

Невольно вспомнилась Христина. «К Левку, видно, лежит девичье сердце»,— подумал Роман с сожалением, но без боли.

Небо наливается густой синевой, месяц взбирается все выше, по земле ходят тени, как деревья в ночь под Ивана Купалу, и переменчивая даль заснеженных лесов то смутно туманится, то щедро высекает холодные искры.

Поодаль маячит хата деда Дуная, а из-за верб вот-вот покажется двор Морозенка. В тишине загалдели голоса, и Роман остановился, прислушиваясь. Мужской голос что-то бурчит да бурчит, а женский кинет слова и рассыплет на дорогу смех.

Уж не Черное ли Сало заехал сюда? Нет, верно, не он. Вот зацокал копытами конь, удаляясь к селу. И вдруг до Романа донесся заливистый женский смех. За деревьями уже видны очертания двора Морозенка; над хатой месяц покачивает, как люльку, единственное облачко; у ворот темнеют две женские фигуры, они смотрят из калитки вслед всаднику, а сами так и приседают от хохота.

— Глупое ты сало, без хлеба,— говорит женщина в свитке.— Ишь дрянь!

«Да это Устина Морозенко»,— узнает ее Роман, почти дойдя до ворот.

— Добрый вечер!

— Ой! — испуганно вскрикивают женщины и, пятясь, разом протискиваются в калитку.

— Хоть столбы не выворотите,— улыбается парень, не зная, идти ли дальше или остановиться.

— Устина, да ведь это Роман! — узнает его девушка в кожушке, и жена Морозенка осторожно высовывает голову в калитку, на ее круглом лице смешались испуг, настороженность и задор.

— Гляди-ка, и верно Роман. Ох, и напугал же ты нас! — Веселье сразу стирает с лица женщины остатки страха, и Устина за руку выводит на улицу девушку в красном кожушке и маленьких сапожках.

Роман едва узнает Любу, горничную барыни Стадницкой. Девушку эту он почти не знает. Года два назад случайно встретил ее в экономии, да и все.

— Чего ж вы испугались?

— Да...— Устина запинается, косится на Любу, и обе снова заливаются беззаботным смехом.

От смеха на лице Любы вздрагивают причудливые ямочки — не на щеках, а пониже уголков рта. Луна так ярко освещает лицо девушки, что и не поймешь, смуглое оно или белое, как первый снежок.

— Может, ты, Люба, расскажешь?

— Да...— Девушка отмахивается и, смущаясь, жмется к калитке. Тень вишни закрывает ее мягко округленное лицо.

— Роману можно сказать,— решает Устина.— Только гляди, парень, никому ни гугу. Слышишь?

— Слышу. Никому — ни-ни.— Роман поглядывает на Любу и замечает у нее на губах и в глазах загадочную улыбку.

Устина привычным движением поправляет платок, смешливо выпячивает полные губы.

— Так вот, Роман, ко мне, стыдно сказать, стал приставать управитель. Ну что ты скажешь на эту милость божью? Нет-нет да и приедет в лес, точно за делом. Летом заезжал воду пить — душно ему, вишь, было. А теперь с холода — и тоже к воде. Поумнее-то не придумал. Я уже и мужу говорила, а он смеется да все сулит Рябка нашего спустить на Салогана. Да как-то не попадает Петро сюда вовремя: верно, управитель следит за ним. Ну вот, и нынче притащился Черное Сало. Люба спряталась в хату, а он ко мне с платком набивается — возьми да возьми. «Для тебя весь Каменец

обшарил, пока нашел. Одна бахрома чего стоит!» Упиралась я, упиралась, да, вижу, нет сил противиться нахалу. Взяла! Платок и в самом деле как облачко! Не хочешь, а вздохнешь.— Женщина и в самом деле вздохнула, а Люба засмеялась.— А потом пошла я в чулан, чтоб ему же, липучему, вынести яблок, а сама поскорее к его лошади. Поглядела еще раз на платок, да и привязала его к конскому хвосту, под самую репицу, чтоб нигде в дороге не потерялся. Боялась, как бы не увидел, бес. Нет, вскочил весело на жеребца и поехал. Теперь, дай бог, Федора найдет подарок, а она у него догадлива, ревнива и царапается, словно кошка. Тогда, пожалуй, горька станет управителю наша вода.

— А что, пожалуй! — смеется и Роман, а сам украдкой поглядывает на девушку.

Та тоже смущенно косится на парня. Лунные росинки дрожат в больших ее глазах, и неизвестно, что притаилось в них — думы или мечты. Вдруг взгляд изменился, а на пухлых губах легкой тенью мелькнула доверчивая улыбка, от которой снова шевельнулись причудливые ямочки около губ. Такой и осталась девушка в его памяти, когда он под высокими звездами одиноко зашагал от двора Морозенка.

Подобревшими глазами Роман озирает вечернее сияние снегов, улыбается самому себе, смотрит в даль, теряющуюся в завесе легкого морозного тумана, такого легкого, что кажется: дохни на него — и он двинется дальше. Да он и впрямь движется, а перед парнем вырастают все новые и новые уголки леса, где в серебряном раздумье стоят деревья, ожидающие своего зеленого праздника.

На перепутье лесных дорог Роман сворачивает к полянке, где у стога стоит перед дубами стыдливая березка. Какова-то она ночью, при лунном свете? Ох, и глупый же ты Роман, ох, и глупый! Скажи кому-нибудь, что пошел парень вечером смотреть на березу,— сразу подымут на смех, самый последний болтун примется косточки перемывать: «Гляди, какие причуды у парня в голове!» Ну и пусть. А он все-таки посмотрит, еще и учителю скажет, как красуется ночью его березонька... А вон возле нее, у самого стожка, тень, очень похожая... на Любу... Чудеса!..

Что-то тихо простонало меж деревьев. Роман от неожиданности вздрогнул, прислушался. Это, верно, отозвался спросонок дятел, неутомимый труженик. Он работает не меньше поденщика; недаром люди говорят о нем: «Днем долбит, а ночью сквозь сон стонет от усталости».

Знакомая полянка встречает Романа красным платком огня. У костра виднеется человеческая фигура. Это еще что за диво? Роман осторожно, от дерева к дереву, подкрадывается к поляне. Под его пальцами на коре тихо шипят и тают синеватые зернышки инея. Возле корней птичкой пискнула сухая ветка, и от костра рывком обернулся озаренный светом человек.

— Степан Васильевич! — удивленно и радостно восклицает Роман, спеша к учителю.

Тот смущен.

— Пришел все-таки? А я вот никак не уйду отсюда. То писал, то любовался лесом, то картошку пек. Хочешь? Кажется, осталось еще.— Он веточкой ковыряет в куче жара и выкидывает на снег две картофелины.— А ты зачем сюда вернулся?

— И сам не знаю,— отвечает Роман, перекатывая с руки на руку горячую картофелину и не сводя глаз с картины, где, оттененные нежными бликами, ощутимо выступают береза и забытый стожок, словно говорят, что и они живы, что и у них своя судьба, как у людей.— Хорошо у вас вышло!

— Верно? — взволнованно спрашивает учитель.

— Верно.

— А тебя тоже потянуло к березке? — улыбается Степан Васильевич, приглядываясь к радостно взволнованному лицу юноши.

— К ней. Поглядите, какая красота и у вас и в лесу.— Он глядит поверх поляны на лес.

На синем полотнище неба струится девичьими косами убор стыдливой березы. Над нею золотым венцом подымается месяц, переливаются разными цветами звезды; все отчетливо видно на этом вечернем, окутанном туманцем мороза рисунке, даже зернышки почек проступают на ветках. А за березой стоят, как стража этой девичьей красы, дубы, держа на своих отяжелевших руках столетия.

Перед глазами Романа быстрой ласточкой пронесся образ Любы, заискрились ее глаза, а мысли учителя устремились за лес, к синему морю, где живет его милая подружка, и он тихонько запел над напоенными светом снегами любимую песню:

Ой, от сада и до моря
Торная дорожка!
Ой, куда ты уезжаешь,
Милая подружка?

Роман не подхватывает песню,— он прислушивается к ней и к тому, что рождается в его сердце. Но сквозь мелодию песни доносится будто от самой земли идущее дыхание и чей-то голос. Так и кажется, что откуда-то желтым комочком выпрыгнул на воду прямо из яичка утенок и запел свою нехитрую песенку. Что ж это значит?

Да это же под березой, пробиваясь сквозь снег, ожил и подал голос невидимый ручеек! Втайне, как и любовь, робко рождалась весна.

IX

Вот уже и сизый вечер заструился в окно, а отец Николай все не собирается восвояси. В блеклом отблеске лампадки контуры его тучной фигуры темнеют и ширятся, а лукавые, узенькие глазки совсем затерялись между мясистыми щеками и горбатой переносицей.

Ему бы, в его годы и при его комплекции, плыть, а не ходить, но он снует по комнате, принюхивается к сухим травам, к портретам Дарвина, Пушкина и Шекспира, к тусклым репродукциям. Отца Николая интересуют не иконы и не «Страшный суд», недавно приобретенные молодым батюшкой, а мирское. Больше всего привлекает внимание святого отца великий естествоиспытатель. Гость ощупывает портрет щелочками глаз и машинально напевает: «Хвалите имя господне... Хвалите...» Но тут же одергивает себя: мыслимо ли петь божественное перед этим английским богохульником, который ведет человеческий род от обезьяны. Ведь это, выходит, и он, отец Николай, потомок обезьяны, а не творение божие? Тьфу, какая пакость!

— Дарвина вы, отче Викентий, покупали или, как бы это сказать, унаследовали? — Отец Николай круто повернулся, словно хотел ввинтиться в пол.

— Привез с собой,— кисло отвечает молодой священник, не в силах дождаться, когда уберется его излишне любопытный сосед.

— Было бы что! Благочинный терпеть не может Дарвина,— бросает гость как бы невзначай.— Как у вас пахнет травами! Прихожане принесли?

— Нет, сам собрал.

— Сами? — удивляется отец Николай.— Это, как бы сказать, непохвально, непохвально.

— Отчего же?

— Как же так: гомилетика, литургия, догматика, философия — и ведьмовское зелье? Что ж люди скажут о церковнослужителях? — Ярко-синяя праздничная ряса гостя надвигается на отца Викентия.— Это пахнет знахарством, колдовством. И не боитесь Страшного суда? — Отец Николай размашистым жестом показал на изображение судного дня, провел рукой по змею, увешанному табличками с перечислением грехов.— Ох, уж эта молодежь, неугомонная молодежь! Будь у вас жена, как бы это сказать, верная подруга, а то без пользы годы идут,— переходит он к больному для него вопросу.

Отец Викентий еще раньше узнал от соседа, что у того три дочки на выданье, хоть и не больно красивые, но хозяйственные, и все окончили епархиальное училище, так что матушки из них выйдут хоть куда: умеют и на мандолине играть, и шить, и варить, и яблоки квасить, и стряпать всякую всячину. Вот пусть приедет к ним и сам убедится в достоинствах молодых и скромных поповен.

А когда к отцу Викентию, спасаясь от филера, нагрянул беспутный, снюхавшийся с террористами двоюродный брат, акции медвинского батюшки в глазах отца Николая еще более повысились. Брата чуть ли не силой увезли в Гуту, и он остался доволен и поповским столом и поповнами.

Но сам отец Викентий не торопился с визитом и казался все более непонятным гутянскому иерею. Сказать бы: гордыня вселилась в молодого священника,— так нет, в беседах прост и доверчив, даже более, чем требует суета мирская, с мужиками держится как с ровней и не умеет назначать настоящую цену за требы и за таинства. Такой не скоро станет на ноги. Медвинский поп даже ни разу не собирал мужиков к себе на «помочь» и о подарках не поминает. Будь он женат на одной из дочек отца Николая — всему бы выучился, как миленький. О, его доченьки любого сделают человеком!.. Отец Николай едва сдерживает вздох и останавливается перед недавно приобретенной олеографией «Тайная вечеря». Гость украдкой косится на хозяина: зачем тот повесил эту картину,— может, захотел поглумиться над соседом, напомнить ту неприятную историю?..

Как-то гутянские мужики возроптали на дороговизну треб, и отцу Николаю пришлось выкручиваться чуть ли не перед всем приходом:

— Все, люди добрые, имеет свое начало, так и плата за требы. На последней вечере сам Христос спросил своих апо-

столов, какую плату следует положить за службу божию. Одни апостолы сказали — сорок сребреников, другие — шестьдесят, третьи — еще больше. Только один Иоанн сбил цену: «Пусть будет золотой». Христос согласился, а святого Иоанна прозвали за это Златоустом. А теперь скажите мне: разве я брал когда-нибудь за требу больше червонца?

Сбитые с толку прихожане ничего не смогли возразить хитрому попу, но после написали письмо в консисторию, и отцу Николаю, говорят, нагорело от архиерея— не столько за цены, сколько за то, что впутал имя божие в беседу о них.

— Не понимаю, не понимаю,— говорит отец Николай сам себе и, рассматривая картину, пожимает плечами.

— Чего, отче, не понимаете?

— Разве это сын божий? — Отец Николай тычет пальцем в Христа.— Это, простите, как бы это сказать, скорее пастух, растерявший свое стадо. Непохвально.

— Знаете, вкус ваш...— разводит руками отец Викентий.

— Вкус у меня христианский, держится на боге и на царе! — отрубает гость и делает движение рукой, словно перечеркивает картину.— Видали вы где-нибудь, чтоб вот так писали царя? Тут Христос сидит, как в воду опущенный.

— Его же, отче, Иуда продал. Вот художник и показал Христа человеком. Взволнованным человеком.

— Аз есмь господь твой!.. А господу волноваться нечего. Слабость человеческого духа не присуща ему. Картина, скажу вам, не того...— Отец Николай решительно отвергает ее движением головы, рук, даже живота.

— Однако хоть она и не того,— смакуя слова, говорит отец Викентий,— а ее царь купил!

— Сам царь?— Отец Николай оторопело дует на руку, которой только что перечеркивал картину, задумывается и круто меняет мнение: — Ну, ежели ее купил царь, стало быть, в ней дух божий!

— Да уж, верно, так,— смеясь в душе, подтверждает отец Викентий и переводит взгляд на лампадку, которая ярче всего выхватывает из тьмы жирно-золотистую краску.

— А как вы, как бы это сказать, с учителем живете? Он ведь тоже немного мазюкает,— находит отец Николай мостик к новой теме.

— Ничего.— Отец Викентий настораживается.— И представьте себе, пишет очень прилично.

— В самом деле прилично?.. Присматривайте, присматривайте за ним,— понижает голос отец Николай.— Тоненьких книжонок мужикам не дает? — спрашивает он, дыша прямо в лицо хозяину ладаном и селедкой.— Самых что ни на есть тоненьких? — Указательный и большой пальцы отца Николая почти соприкасаются, он косится на щелочку между ними.

— Не знаю... Откуда мне знать? — растерянно отвечает молодой поп.

— А у него их никогда не видали? Такие, знаете, в красных или серых обложках, а сбоку написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Пока не видал.

— Прячет! — твердо решает отец Николай.— Это хитрая, нечестивая бестия. Крамольник! Не присматривались, что он делает на досуге?

— Все рисует.

— И кого рисует?

— Лес, березки, а порой и мужиков.

— О, я так и знал! Тогда он им и брошюрки читает!

— При мне не читал.

— Ха-ха-ха! — Отец Николай смеется низко и сочно, его круглая голова и пухлые, скрещенные на груди руки студенисто подрагивают.— При вас он может даже, как бы сказать, евангелие читать мужикам, а вы вот узнайте, что он без вас читает. Для интереса пошлите к учителю кого-нибудь из церковного причта.

— Зачем же этим интересоваться?

— О, это необходимо! Сам, как бы сказать, благочинный интересуется им.

Гость подходит к старинному, с резьбою поставцу — на нем изображено распятие, врастающее в верхушку Голгофы. Тень от креста падает на роскошное, в серебряной оправе, евангелие. На переплете — овальный медальон с высоким рельефом преображения. Повыше, между двумя маленькими медальонами с портретами евангелистов, торжественно подымается в золоченых одеждах бог-отец. Его седая, старческая голова касается массивных ядер облаков.

Золотые, украшенные веточками застежки на миг привлекают внимание отца Николая, он трогает их короткими, толстыми пальцами.

— А вас не тревожат его слишком добрососедские отношения с крестьянской братией? Он ходит к ним в гости, а у себя даже угощает кофеем с молоком. Для чего бы такое

панибратство и фамильярность? — спрашивает отец Николай, отрываясь от евангелия.

«Нет, это уж слишком!» В мягкой, как воск, душе отца Викентия закипает возмущение. Однако он еще пытается как можно спокойнее ответить словами святого писания:

— Кто ненавидит брата своего, тот пребывает во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза.

— Ну, учитель-то хорошо знает, куда идет,— смеется отец Николай.— Заметили, как он добр с мужиками?

— А что ж, он должен волком выть среди них? — не выдерживает отец Викентий и нервно поправляет наперсный крест на подряснике.

Рыжие, как две гусеницы, брови отца Николая сошлись на бугристом лбу.

«Вот-вот, именно как гусеницы»,— неприязненно думает отец Викентий, вспоминая, что на свету сквозь колючие брови гутянского попа просвечивают капельки веснушек и тогда брови еще больше напоминают гусениц.

— Нет, не волком,— удивленно, с презрительной улыбочкой, возражает отец Николай.— Но почему он обходит дома достойнейших прихожан, а водит знакомство с голью и батраками из экономии? Почему он подстрекает бедноту против самого господина Стадницкого? Кто же он после этого? Учитель или гайдамак, бунтарь?

— Я этим не интересовался.

— И очень напрасно. Вы, верно, не знаете, что он в пост скоромное ест?

— А я с ним не обедаю.

— Вы — божие и царево око в селе, так обедайте с ним, интересуйтесь. Ужели вы не понимаете, что школы — рассадник революции? Мужик, умеющий считать больше, чем до тысячи, уже опасен...— Отец Николай кладет мясистую, широкую ладонь на евангелие, накрывая и преображение и бога отца так, что из-под пальцев выпархивали только клочья туч.— Где вы покупали эту роскошь?

— На эту роскошь всех моих пожитков не хватило бы,— с сердцем отвечает отец Викентий.

— Фью-ю? — даже присвистнул отец Николай.— Так дорого стоит?

— Старинная реликвия.

— Так где же вы ее взяли?

— Предсмертный подарок деда.

— Славный подарок. Славный! Золото и серебро... Так ничего и не знаете про учителя?

— Знаю, что он интересуется...

— О! — восклицает гутянский поп и подымает палец.— Чем?

— Историей села.

— Э-э-э! — гость недовольно пошевелил мясистыми губами и опустил палец.— Это ему можно. Читал вам что-нибудь?

— Читал.

— Ничего крамольного?

— Ничего.

Отец Николай вздыхает.

— Ну, а слухи о земле ходят у вас?

— Где их теперь нет?

— Какие же? — Лицо отца Николая оживляется, оживляются и брови, двигаясь точь-в-точь как гусеницы.

— Что вся земля Стадницкого — не помещичья, а исконно крестьянская.

— И только? — Тень неудовольствия ложится на лицо гостя.— А не говорили вам, что мужики лелеют мысль подушно разделить барскую землю?

— Нет, этого не слыхал.

— Молоды вы еще, жить не умеете,— вздыхает отец Николай и поучительно говорит: — Не заглядываете глубоко в души паствы. Не несет она вам ни даяний душевных, ни мирских забот, ни хлеба своего. А где теперь ваш двоюродный брат?

— В Петербурге.

— Скоро приедет в гости?

— Обещает — весной.

— Тогда сразу же ко мне. Достойный у вас брат, зело достойный.

— Ничего,— улыбается Викентий Петрович, представляя, как запел бы отец Николай, узнав, что беспутный Демко сам начиняет пикриновой кислотой и гремучей ртутью бомбы.

— А девочки мои часто вспоминают про него,— раскрывает свои тайные намерения отец Николай и вздыхает: когда уж он сбудет с рук своих невест?

Кухарка Олена вносит из кухни свечи в глиняном подсвечнике, и на лысину отца Николая ложатся влажные отблески.

— К вам, батюшка,— Олена кланяется отцу Викентию,— пришел Лесь Якубенко. Подождать ему или пусть завтра придет?

Отец Николай вскакивает, сетует, что засиделся в гостях, наскоро прощается с хозяином и выходит во двор, где ждут его заиндевелые лошади.

Поп черной наседкой усаживается в легкие, на подрезах, санки, узкобородый кучер впереди него выглядит тщедушным, общипанным петушком. Вот заскрипели ворота, заскрипели сани, и застоявшиеся лошади умчали отца Николая, как дурной сон.

«Каким убожеством духовным и самодовольством набита эта разбухшая туша! С каким жаром он учит подглядывать и доносить, любить бога и выдирать требы...» — думает с тоской и брезгливой неприязнью отец Викентий и, крестясь по привычке, входит в свою, пропахшую деревянным маслом, воском и травами комнату.

Он ничуть не сомневается, что о травах отец Николай донесет в Подольскую духовную консисторию, а у себя в семье высмеет неопытного соседа. Отец Викентий знает непомерную прожорливость гутянского попа, осуждает его нововведения в приходе. Повсюду в уезде в дни крестного хода с иорданской водой батюшке давали кныш, яйца и связку пеньки, а отец Николай приказал давать ему вместо связки пеньки моток пряжи, и если иные женщины выносили только пеньку, стыдил их и во дворе и затем в церкви. Кроме того, он потребовал, чтобы ему от каждой хаты в сочельник носили пироги и по кружке подсолнечного масла: дескать, матушка не может есть пироги без масла. Под неусыпный присмотр отца Николая, в старосты и писаря попадали в Гуте все старые, одинокие люди. Когда они умирали, священник, заранее условившись с начальством, брал себе коровку, огород или часть земли.

На пороге появляется Лесь Якубенко. Этот крестьянин не принадлежит к богомольным, священник знает это не с чужих слов, а из собственных наблюдений, понимает своей чуткой душой, или, как сказал бы отец Николай, «сантиментами».

Отец Викентий с тревогой смотрит на гостя. Тот кланяется, и на его обветренном лице светится задумчивая улыбка. Батюшка с облегчением вздыхает и уже спокойно спрашивает:

— Как ваша Харитинка, Лесь?

— Спасибо, поправляется, батюшка.

— Ночь спала?

— Как после мака.

— Тогда все будет хорошо, все будет хорошо.— Отец Викентий осеняет себя крестом.

— Спасибо вам, батюшка, и жена благодарит. Может, у вас дело найдется, так я отработаю за лекарства. Дровец попилить или еще что...

— Ничего мне, Лесь, от вас не надо. Садитесь,— священник указал на креслице.

Лесь осторожно присаживается на краешек и вздыхает.

— Чем вы, Лесь, опечалены?

— Да нет,— улыбается тот.— Это я подумал, что вы не такой, как гутянский батюшка.— Лесь кивнул головой на окно, вслед отцу Николаю.

Теперь уже вздыхает отец Викентий. Мысленно он и по сю пору чаще обращается не к всесильному богу, а к слабой плоти человеческой. Как бы он берег тело человеческое, как бы ухаживал за ним, исторгая недуги, несущие увечье и смерть! Это, верно, грех перед богом, перед духовным саном, перед родителями, но, по совести, он не ощущает греховности своих деяний. Может же душа одновременно творить молитвы и думать о земном? Так было с ним, когда он лечил маленькую дочь Якубенка, так бывает, когда он лечит иногда и крестьянский скот,— что только будет, если об этом, не дай бог, узнает отец Николай!

— Что нового в селе?

— Да вроде ничего. Пан Стадниций снова судится с лесовиками. Все мало ему земли. Отец его в год, когда воля была, скрыл от нас золотую грамоту, а сын хочет и вовсе по миру пустить. Нет, чтобы по правде.

— А как же должно быть по правде?

Якубенко не торопится с ответом.

— По-людски, батюшка,— наконец говорит он.— А вы думаете, барин обидел только нас? Он и церковь ограбил, не постыдился.

— Как ограбил? Что вы говорите, Лесь?!

— Чистую правду.

— Расскажите, Лесь.

— А вы разве не слышали? Разве староста или кто из причта не рассказал? — удивляется Якубенко.

— Никто ничего не говорил мне.

— Так послушайте. В те годы, когда межевали землю,

отец нашего барина по подсказке деда нынешнего управителя отрезал у прихода восемьдесят десятин,— поп у нас тогда был такой, что больше радел не о земле, а о небе.

— Восемьдесят десятин отрезал? — с удивлением и возмущением повторяет отец Викентий.

— Это только у церкви. А сколько у людей и даже у помещиков помельче? Рвал землю, как ворон мясо.— Глаза крестьянина наливаются гневом.

— Так и сошло ему?

— Ясное дело — весь межевой суд был у него в кошельке: и судья, и заседатели, и письмоводители, и землемер. Они и крутили, как желал барин. Крутили, как хотели,— земля у нас раздроблена, перемежевана, что твои соты. Найдите «полюбовную сказку» [1] и увидите, что в селе тогда числилось девять тысяч двести семнадцать нивок. Говорят, иные полоски за три копы денег шли.

— За рубль восемьдесят?

— Ну да. В ту пору могли межевать землю, как барину хотелось, а «полюбовная сказка»— это кругом один обман.

— А в межевую палату не жаловались?

— Да какой толк? Закон-то для мужика хитрый: на обжалование — месяц. День пропустишь — межевая палата на жалобу и не поглядит.

— Откуда вы все это знаете, Лесь?

Тот невесело улыбнулся.

— Должен человек хоть одно что-нибудь знать? Вы вот про небо все знаете, учились. А я с малых лет в землю смотрю, хоть и нет ее у меня. Вы, батюшка, могли бы отсудить у барина старый надел. И я у вас зашиб бы на нем копеечку.

— Так ведь положенный месяц-то прошел.— Отец Викентий покачал головой.

— То — для мужика,— уверенно отвечает Лесь,— его везде надувают. А за вас вступится церковь. К тому же у мужиков и бумаг никаких не было. А в церкви сохранились. Этот надел пригодился бы вам, батюшка.

— Бог с ним, Лесь.

Якубенко задумался, посмотрел на свои большие руки:

— Не тянет, вижу, вас к земельке? Глядите сами, а я

---

[1] «П о л ю б о в н а я с к а з к а» — план крестьянских и помещичьих угодий в селе.

вам хочу только хорошего, потому что вы, батюшка, добрый, точно и не батюшка. А уж какую земельку отчекрыжил барин у церкви, самую наилучшую...— И он со вкусом начинает рассказывать о захваченных угодьях.

Оказывается, Лесь хранит в памяти, как в книге, все наделы села и до воли и после воли, он знает, кто у кого и по скольку припахал борозд, и что растет на каждой меже, и как по-разному пахнут разные угодья. И для чего все это ему, вечному поденщику, у которого всего и земли, что огородик да клинышек поля?

В глазах Леся печаль — видно, душа его любит землю и тоскует по ней. Чтобы не растравлять старую рану, он встает, прощается и через кухню выходит.

Отец Викентий берется за книгу, но вместо святого писания перед глазами его неясные очертания угодий, а на бывшем церковном наделе стоит с плетью строгий Стадницкий. И сегодня отцу Викентию как-то ближе земелька. Нет, видно, ни медицина, ни святое писание не успокоят его. Он торопливо одевается, гасит свечи и выходит в просторы зимнего вечера.

Иней покрыл деревья роскошным узором, и горят-переливаются они в лунном свете, как дивные врата. Золотистые, лимонные, зеленоватые краски подчеркнуты голубыми и темными тенями, и далекий звездный цвет роняет и роняет лепестки на заснеженное село.

Оно теперь прикрыло чарами ночи свой бедненький наряд, кажется сказочным. Пусти сейчас по улицам парней с вертепом и колядкой — впрямь поверится, что родился сын божий.

Под плетнем мягко заскрипел снег, загалдели возмущенные девичьи голоса:

— Разве это жизнь: работаешь, работаешь, а придет расчет — получаешь одни слезы!

— А Черное Сало старается больше всех. Вот не было его недели три — так хоть лучше заправляли похлебку.

— Будет, девочки, чем помянуть молодость: ходишь в одной сорочке, пока не истлеет на спине,— звенит молоденький голосок, и в нем тоска перемешана с затаенной радостью; видно, как ни тяжело девушке, а все-таки и ее ждут где-нибудь возле овина или под вербой на леваде.

По улице проходят коровницы из экономии, ободранные, пропахшие жмыхом и по́том скотины, со всех дорожек сте-

каются к отцу Викентию нужда и горе, и тускнеет перед его взором красота зимнего вечера.

Он тихо, задумчиво идет по селу. Над луной проплыл легонький дымок облаков, и показалось, что снега вдали потемнели, зашевелились.

Вот уже на фоне погоста четко, как нарисованные, проступили контуры старинной церковки в кольце деревьев. Посреди села стоит значительно бо̀льшая, казенного образца, новая церковь, и отец Викентий думает, что вот так вся его жизнь и пройдет между тенями этих церквей, да и сам он должен жить как раздвоенная тень. Где же счастье человеческое?

Через дорогу, у погоста, одиноко стоит крохотная школа — бывшая хата церковного сторожа. Из комнатки учителя льется свет, и на снегу словно начертаны углем оконные переплеты.

Учитель приветливо встречает отца Викентия, придвигает стул.

— А вы все трудитесь? Пишете?

— Набрасываю план Медвина.— Большая темная рука ложится на белый лист бумаги.

— Это к истории села?

— К истории. Очень интересные материалы нашел о прибужских казаках. А вы знаете, отчего наше село называется Медвин?

— Нет, не доводилось слышать. Расскажите.— Отец Викентий поудобнее располагается у маленького стола.

— Когда войско Богдана Хмельницкого проходило через наши леса, крестьяне встречали его медом и вином. Вот один из казаков и сказал: «Пусть это село теперь и зовется «Медвино».

— Это вы из книг вычитали?

— Нет, беседовал со старейшими крестьянами, с теми, кто ходит уже между землей и небом. В книгах не найдешь этого...

— А я думал, об этом хоть в брошюрах пишется.— Отец Викентий лукаво морщит лоб.

— В каких брошюрах? — настораживается учитель.

— В крамольных.

— Вы уже и этим заинтересовались, отец Викентий? — удивляется учитель.

— Не столько я, сколько отец Николай.

— Вон как!

— Вы ему что-нибудь сделали?

— Да ничего. Только обмолвился как-то, что с мертвого можно бы меньше драть, чем с живого. Спрашивал обо мне?

Отец Викентий озирается и понижает голос:

— Спрашивал, не читаете ли мужикам брошюрки, что делаете в свободное от школы время. Берегитесь, не дразните дьявола. Выслушал я его, и гадко стало у меня на душе. И живет же на свете такое человекоподобное... Ко всему прислушивается, принюхивается, пишет доносы и плодит таких же, как сам, поповичей и поповен.

— Таким, отче, и вы постепенно станете.— Учитель прищурился и засмеялся.

— Никогда, Степан Васильевич! Уж лучше в геенне огненной зубами скрежетать.

— А я думаю — станете. С одной стороны, прижмут вас попы, благочинный, консистория, с другой — жизнь, и помаленьку опуститесь в болото равнодушия, сытого спокойствия и достатка. А иначе выгонят из прихода, назовут богоотступником.Такова логика, такова система, отче. А вы не принадлежите к тем, кто борется до последнего. Душа у вас мягковата, как свежая пампушка.

Учитель смеется, но его смех лишь печалит батюшку.

— Не хочу благодарить вас за душеспасительное слово, за эскиз моей жизни. И без того на душе тревожно, неспокойно. Радости на свете мало, слез, горя много,— хмурится отец Викентий.

— Такая пора. Эпоха постоянной каторги, голодного существования и непосильного труда.

— Это чьи слова?

— Великого человека.

— Тогда молчу. Можно посмотреть на ваш план?

— Пожалуйста.

— Со всех сторон Стадницкий,— отец Викентий внимательно разглядывает план села.— А вот здесь напишите, что это земля церковного причта, Стадницкий захватил ее в год воли.

— Запишем еще один грабеж. Из брошюр вычитали о захвате земли?

— Нет, с людьми беседовал, —улыбается отец Викентий.— Так, по-вашему, передо мной только два пути: либо — отца Николая, либо — снять сан?

— Только два!

— А третьего не найдется?

— Найдется, если захотите жить пугливой куропаткой, а не человеком.

— Скупы вы, Степан Васильевич.

— Уж какой есть. А вам надо знать: ангелом на грешной земле теперь не проживешь.

X

Видно, не любовь, а только первое дуновение и первый туман ее потревожили девичье сердце. И все, что так нежданно-негаданно налетело в тот вечер на Христину,— и ветряк с серебряными крыльями, и зимняя изменчивая даль с очертаниями трех хат у тракта, и сам Роман — теперь, удаляясь, становилось на свое место. При воспоминании о том, что произошло, не радостный и сладкий страх охватывал девушку, а пронизывал ее терпкий осенний холодок. Все воспринималось спокойнее, словно кто-то забил душу, как оконный проем, холодным переплетом крест-накрест. В эти дни Христина безжалостно отгоняла все мысли о Романе, и они отлетали вспугнутыми голубями, стряхивая последние капельки сладких чар, которые могли перерасти в любовь.

Перемену в девушке заметили только мать и Зося. Мать ничего не сказала дочке, но чуть не каждый вечер просила пораньше возвращаться с гулянья. А Зося Романовская сразу же безошибочным девичьим чутьем догадалась, что кто-то обездолил Христину, так же, как ее, Зосю, обездолил Звонарь. И это сперва даже порадовало девушку: выходит, и Христинка мучается, как она с этим бесом Юрком, который не стыдится кружить голову то одной, то другой, то нескольким сразу. Со всеми он добр, со всеми шутит, лезет обниматься, а по-настоящему не лежит у него душа ни к одной. Но кто же и когда успел вскружить голову Христинке? Девушка раскинула умом, припомнила несколько вечеров на господском пруду, и вскоре все нити сошлись на Романе Волошине. И Зося сразу едва не возненавидела парня. Ясное дело — разве дружок Юрка мог иначе поступить? Один у другого учится, один другого обучает бесстыдству.

Зося, как большинство девушек, томимых душевной тревогой, была убеждена, что если она любит парня, то и он непременно должен любить ее, что его судьба должна стать

и ее судьбою. К ней сватались даже уродзони [1], хотя и обедневшие, шляхтичи, с которыми охотно породнился бы Кароль Романовский, но она без сожаления, даже с удовольствием угощала их тыквами.

— Омужичилась, хлопа себе ждет! — подзуживал Кароля лесник Октав Пигловский, который напыщенно нес на непривлекательной внешности печать шляхетства.— Положи свою паненку вдоль лавки, возьми две розги, да вдвоем обмолотим ее, как сырой сноп,— увидишь, сразу бросит капризы, станет шелковая да учтивая.

— Бить детей — последнее дело,— отмахивался грозноглазый, статный Кароль и поспешно удирал от назойливого советчика на свой лесной хуторок; там стояли пасеки и небольшой сруб, где Романовский охотно делал бочки, бадейки для зерна — сыпанки, кадки, корыта и даже строгал лесному приказчику осиновые ложки, зарабатывая по четвертаку на сотне.

Корыстолюбивый и жестокий Октав Пигловский не раз подбивал соседа пойти в лесники: как-никак, всякий день круглый полтинник в кармане.

— Так ведь за этот полтинник придется дробью решетить мужицкие спины! — отнекивался Кароль.

— Ну и решети, раз он мужик и вор! — Зеленые глазки синерожего шляхтича прыгали луговыми лягушатами.— Решети — майонтек [2] у пана выслужишь.

— Такой майонтек не по мне, Октав. Моей руке легче держать шпунтовку, чем ружье.

— Сам станешь мужиком! — злился лесник и горделиво выносил из хаты свое нескладное туловище на длинных ногах к которому, казалось, приросла берданка...

Вечером Зося подошла к подружке и, катаясь, словно ненароком отделилась с нею от остальных.

— Что это ты осунулась, Христинка? Что тебя грызет-печалит? — И Зося, играя бровью, вдруг привлекла к себе девушку.

— Печалит? С чего ты взяла?

Христина вырвалась и встала перед подругой, настороженная, словно молодой барашек, готовый стукнуть лбом. Христина даже подумать боялась, что когда-нибудь поделится своей тайной, и терпеть не могла вертушек, у которых что

---

[1] У р о д з о н и — родовитые *(польск.)*.
[2] М а й о н т е к — надел, имение *(польск.)*.

на душе, то и на языке. «Балаболки»,— презрительно думала она о них. Еще не познав подлинной любви, девушка была убеждена, что ее следует скрывать от постороннего глаза.

У Зоси неприязненно задрожали влажные губы, задрожали и две складочки возле рта.

— Таишься?

— Было бы что таить.

— Думаешь, не знаю, что любишь Романа? — уже с сердцем проговорила Зося.

— Нужен он мне, как телеге пятое колесо! Пусть уж по нем Орина Окунь убивается! — выпалила Христина с таким гневом, что Зося на миг усомнилась в своих догадках.

— Ох, врешь, девка! — подумав, сказала она все-таки.

— Кто врет — тому легче! — отрезала Христина.— А как твой Юрко? К какому берегу пристает?

Теперь уж пришлось защищаться Зосе:

— Пусть хоть немую Домку сватает! Я думала, он путный, а он проходимец и доподлинно гаремник.

— А не зря честишь парня? — заступилась Христина за Юрия. Он хоть и ветрогон, а ни одна девушка еще не обижалась на него, разве вот Зося. Да кто же не знает, что Юрко на нее и не глядит, а она страдает да сохнет по нем!

— Чтоб его черти в преисподней честили! — крикнула Зося и заплясала на льду, словно растаптывала свое горе каблуками.— Я сперва немножко надеялась на него, а теперь и глядеть не стану в его сторону.

— И совсем не убиваешься по нем? — Христина поверила, что великий гнев одолел любовь.

— Вырвала из груди, как белену, и выбросила на помойку,— бледнея, ответила Зося.— А мне показалось, тебя Роман приворожил...

— Ты еще про Левка скажи! — засмеялась Христина, хоть ей было и не до смеха.

— Нет, про Левка не скажу. И о чем ему говорить с девушкой?

— О чем? Как ворует барский лес, как крутится бесом на ярмарках да обманывает цыган, а те — его,— теперь уже искренне расхохоталась Христина.

— Вот уж кого не просто раскусить — так это Левка,— улыбнулась Зося.— А впрочем, все они хороши, и все на нашу голову,— проговорила она не то с досадой, не то с горечью. Так она ничего и не выпытала у Христины, только затаила перед нею свою несчастливую любовь.

В тот вечер Левко снова пошел с Христиной, а она — пусть видят Зося и девушки — и не подумала бежать, напротив, делала вид, будто рада, так, что он даже загордился. Возле своей хаты Христина опять села на ворота, лицом к улице, но сегодня это уже не понравилось Левку.

— Не нашла получше места? — спросил он, становясь перед девушкой.

— А где же оно, лучшее-то место? — Губы Христины дрогнули в насмешливой улыбке.

— Да хотя бы около вашего овина.

— Это там-то хорошо?

— Хорошо.

— Ну, тогда ты поди постой возле овина, а я тут посижу: и тебе хорошо, и мне славно.

— Хитрая какая! Вот увидит мать...— Левко примостился на воротах, как сорока на колу.

— Ну и что?

— Да ничего,— парень зябко повел плечами, словно в них уже впился взгляд Олены.

Потом ему захотелось приласкать девушку, но она отодвинулась.

— Посиди, Левко, спокойно.

— Разве я бушую?

— Не бушуешь, но и сидишь не как люди.

— Ох, и вредная ты! — Левко с деланной грустью подпер рукой подбородок.

— Спасибо. Не в первый раз слышу от тебя.

— И еще услышишь.

Христине было тоскливо, чего-то недоставало, а чего — и сама не знала толком.

— Перестал бы ты ходить за мной, а? — тихо предложила она.

— Уж так мешаю?

— Не мешаешь. Да ведь свататься не станешь? — повторила она прежний вопрос.

— Ну, не стану,— согласился Левко и решил оправдаться: — Будь у тебя земля, какие ни на есть волы — завтра поклонился бы в ноги своим старикам и твоей матери. Ты девушка ничего себе и работящая. Вот еще подрасти бы тебе маленько...

И тут раздался громкий хохот. Из-за дуплистой вербы, раскачиваясь от веселого смеха, вышел Юрий Звонарь.

— Вот это парень, вот это жених, забодай тебя курица! — Он провел по лицу растопыренными пальцами.— Гони его, Христинка, от себя, как пса шелудивого. Ишь как все наперед обмозговал, даже на рост тень набросил... Так не станешь сватать, Левко? — спросил Звонарь, останавливаясь у ворот и поигрывая насмешливыми глазами.

— Ты еще откуда взялся? — удивился Левко.— Из дупла, что ли, как леший, выскочил? Ну, какое, скажи, тебе дело до разговора парня с девушкой, если они хотят посидеть одни?

— Дело у меня простое: поскорей спихнуть отсюда такого женишка, чтобы не позорил наших парней,— ответил Юрко и тоже присел на ворота. Теперь Христина оказалась между двумя.

Левко насупился, не находя ответа, а Юрко повел глазами, уставился на него и мастерски передразнил. Христина прыснула и от удовольствия забарабанила каблуками по воротам. Левко сообразил, что над ним смеются, и надулся еще больше.

— Ты что заспесивился, как турецкий боб на грядке? — невинно спросил Юрко.

— Захотел — вот и заспесивился... Ну, я, пожалуй, пойду,— заявил Левко, наморщив лоб.

— Лучшего — умри — не скажешь,— охотно согласился Звонарь.— Будь здоров! — и он приподнял шапку над головой.

Такой наглости Левко не ожидал. Он сердито блеснул глазами и поудобнее устроился на воротах.

— Коли так, нарочно не уйду!

— Чего умная голова за одну минуту не выдумает! — продолжал потешаться Юрий.

Христина посмотрела на веселое цыганское лицо Юрка, на его озорные, полные искристого смеха глаза и невольно засмеялась.

XI

Неприятности начались сразу же после кофе.

Женина родня никогда не приносила Аркадию Валерьяновичу радости,— эти золотушные побеги старинного дворянского рода не способны были распуститься даже чахлым цветом на нынешней земле: жирный подольский чернозем, на котором посади ребенка — и тот вырастет, сплывал у них с

рук, как сплывает весною прибрежный песок. Отороченные садами и прудами родовые дворцы превращались в трухлявые развалины или шли с торгов, а их владельцы бежали в департаменты, присутствия, земства и, вздыхая, с увлажненными глазами вспоминали жизнь у родителей, свое золотое детство и вкусные деревенские кушанья или опускались в полумрак ресторанов и притонов, где проматывали последние банкноты и откуда выходили растленные духом и немощные телом.

Это были не пловцы, а мертвецы на крутых валах моря житейского, ибо глаза их обращены вспять, в далекое, окутанное сладостным туманом дореформенное прошлое. Ни одного сильного человека во всем роду, ни одной трезвой головы: чужие вина и чужие воды вконец размыли их мозг и душу. Только у одного Володимира Антоновича сохранилось немного природного ума, но шурин полностью погряз в теософии и оккультизме, а все помещичье хозяйство прибрал к рукам шарлатан управитель из немцев, да так прибрал, что почувствовал себя настоящим хозяином, и в письме шурина в трех местах проскальзывают недвусмысленные намеки на то, что нужна помощь.

«Я тебе помогу, но не так, как ты думаешь».

Аркадий Валерьянович яростно швыряет письмо на массивный резной стол и размашистыми шагами меряет просторный, гулкий кабинет, где приятно слышать и свои шаги и голос.

В такое время — и удариться в теософию! Он бы, Аркадий Валерьянович, за весь век до этого не додумался. Мозговой вывих! Полный идиотизм! Если бы земля по прихоти истории вернулась на несколько веков назад и остановилась под хмурыми сводами средневековья, ну, тогда и он мог бы стать теологом. А теперь будущее не в церковном колоколе и кресте, а в банковском сейфе и в чеканном империале, не в расплывчатом тумане теологии, а в строгом расчете. Но как это вдолбить в пустые головы? Как доказать, что те, кто живет еще началом девятнадцатого века, обречены на гибель, а те, кто вводит империю в двадцатый век так безрассудно, как это делается теперь, готовят революцию?

Это Аркадий Валерьянович ощущает всей своей кожей, на которой ежедневно мужицкие взгляды оставляют десятки следов. Да, мужик должен быть мужиком, но и он должен есть хлеб, конечно не с помещичьей земли. У мужиков, и прежде всего у работников в образцовых помещичьих эко-

номиях, должен быть насущный хлеб, ровно столько, чтобы и не бунтовали и жир не нагуливали; ну, и, само собой, остальную крестьянскую чернь поглотит промышленность,— не то убожество, что ныне, а сила, способная застлать дымом все небо. Подумать: государственный бюджет Франции равен теперь бюджету России,—это уже анемия дворянской монархии, не способной мыслить мировыми масштабами. Это еще одно доказательство того, что империю облепили, как мухи, не мыслители, а такие вот бездарности, как родные его жены.

Он косится на другое письмо — из Иркутска, адресованное жене. Какого еще антраша можно ждать от барышни Омировой, сменившей благословенный Каменец-Подольск на холодный Иркутск? Верно, тоже просит чего-нибудь! Так вот, глядишь, и зачахнет могучее дворянское древо в нищете.

Аркадий Валерьянович с сердцем останавливается перед зеркальным шкафом. Из зеркала смотрит хмурая физиономия, по форме напоминающая утиное яйцо. Серые, с прозеленью крупные глаза властно занимают свое место на холодной белизне белков, упругий, недовольный рот очерчен энергично-презрительными линиями. Жаль, что нос излишне остер; чуть закругли его — и хоть пиши портрет для потомков. От зеркала Аркадий Валерьянович направляется к столу, сердито нацеливает перо в тяжелую чернильницу флорентийской работы и вкладывает свое раздражение в холодные, вежливые слова — в них так и шипит презрение к шурину.

В дверь почтительно стучит Никанор.

— Входи!

Лакей, изгибаясь телом и фраком, словно виноватый пес, нерешительно проскальзывает на порог и застывает в проеме двери.

— Ваша милость, Салоган лежит больной.

Аркадий Валерьянович сердито бросает ручку, меряет лакея недовольным взглядом.

— Когда же он успел заболеть? Верно, перепился, бестия, на Евдокию?

— Не знаю, ваша милость. Лежит в постели, охает, а жена его в такой ярости, что не приведи господь,— отвечает Никанор, отдаленно намекая, что причина болезни не пенное вино, а греховный напиток любострастия.

Но барин в гневе не понимает намека.

— Беги к нему и приволоки хоть за ноги, а то я его из управителей переведу в паршивые конюхи.

— Слушаюсь.— Никанор улыбается, с удовольствием улавливая в господской речи мужицкое слово, и скрывается за дверью, а в кабинет грациозно вносит свое уже не легкое тело озабоченная и все еще красивая Лиза. От нее, как и всегда, пахнет смесью дорогих духов и горьковато-сладким запахом церкви... Во дворце Стадницкого на каждой половине своя жизнь: на одной господствуют счеты и хозяйская забота, на другой — старые боги, ладан и шепоток богомольцев, приносящих отовсюду страшные рассказы про конец света.

— Как ты себя чувствуешь, дорогая? Как спалось? — Аркадий Валерьянович привычно целует у самого плеча пополневшую, с ямочками, руку и едва ли не впервые замечает, какой она стала рыхлой — совсем не такая, как в те годы, когда и его могла еще растрогать сентиментальность песен тихих и задумчивых барышень из бедных семейств.

Лиза кисло улыбается, вокруг губ появляется сеточка милых и беспомощных морщинок, когда-то так волновавших его.

— Аркадий, у нас будут неприятности.

— Новые небесные знамения появились? — Аркадий Валерьянович укоризненно и насмешливо покачивает гордой головой, а глаза и руки с деланной набожностью возводит к лепным амурам.

— Ты смеешься, а я говорю серьезно. Слышишь, Аркадий, совершенно серьезно.

Ох, эти вечные предчувствия, вечные страхи и глупая вера в шамканье нищенок и богомольных шарлатанов! Как это надоело! Но он изображает подобие сочувствия.

— Опять дурной сон? Или на руке открылись новые линии бытия и небытия?

— Ах, оставь, Аркадий! Все значительно проще: пропали мои самые лучшие подсвечники.

— Как? — восклицает Аркадий Валерьянович, и деланное сочувствие сменяется неподдельной яростью.

— Сама не знаю,— Лиза беспомощно опускает голову.

— Когда пропали?

— Вероятно, сегодня. Вчера еще стояли на моем столике с позолоченными свечами. Так свечи остались на столе...

Аркадий Валерьянович пытливо глянул на жену.

— А вчерашний странник у нас или тоже пропал?

— Куда-то отправился...

— Отправился, отправился! Сбежал, стерва! Не говорил я тебе,— злорадствует Аркадий Валерьянович,—что этот

юродствующий проходимец — ворюга, который оберет за милую душу не только тебя, но и святую церковь?

— Я не думаю, чтобы он мог...

— Тут и думать нечего, дорогая. Неужели ты не заметила, что от него, прошу прощения, несет не церковью, а луком и кабаком?

— Ради бога, Аркадий, не говори о нем дурно! У него такие глаза...

— Сверху набожные, а подкладка воровская. Это славно придумано! За кипарисовые крестики подцепить подсвечники! Вот я пошлю сейчас по всем дорогам людей верхами, возьму твоего странника на конюшню, выпорю и, увидишь, выбью из него подсвечники.

Лицо жены искажается от испуга.

— Ради бога, ради бога, Аркадий... Что ты говоришь?!

— То, что слышишь, дорогая.— И он злобно передразнил странника: — «Как идти в Иерусалим, так будет море большое, а на нем остров, а на том острове курган стоит. Там и есть рай и ад. Как идешь мимо того ада, там крик и стон не утихает, и деготь течет, и смола кипит...» Вот я ему сегодня покажу и крик, и ад, и смолу, и деготь!

— Аркадий, ты этого не сделаешь! — В голосе Елизаветы Антоновны слышны властные нотки.

— Если я этого не сделаю, дорогая, то завтра тебя оберут до нитки, а послезавтра твои божьи люди доберутся и до меня, того и гляди горло перережут. А у меня и без них достаточно хлопот.— В его холодных глазах льдом искрится возмущение и богомольцами, и женой, и всеми этими глупыми причудами, за которыми стоит призрак вырождения.

— Аркадий,— голос жены становится тверже,— ты не должен разыскивать старца.

— Этому старцу и сорока еще нет. Только бороду отпустил, как конский хвост. Да я ее публично, на конюшне, оборву, чтобы воровства в моем доме не было.

— Замолчи! Если даже он и украл эти подсвечники, тебе не подобает карать.

— Это еще почему, дорогая?

Сетка морщинок вокруг рта теперь придает лицу жены выражение не беспомощности, а решимости.

— Ты настолько богат, что не вправе связывать свое дворянское имя с мелкой кражей, если это действительно кража.

— Так что же, пусть нас до нитки оберут?

— Ну, зачем преувеличивать? В тебе, Аркадий, кровь аристократа...

— Знаю, знаю: аристократ, проигрывающий в Монте-Карло последний наследственный хутор, гораздо выше человека, который разумно прибирает этот хутор к рукам.

Лиза гордо вскинула голову с немецкой прической.

— Грех тебе ставить на одну доску аристократа и барышника. И, прости, твое поведение часто удивляет меня.

— В истории с подсвечниками?

— И в ней. Пойми наконец: ты унижаешь честь своего и моего рода копеечными расчетами.— Теперь морщинки вокруг ее рта выражают упрямство.—Тебя уже за глаза — мне об этом неприятно говорить — называют управителем.

— Так говорят идиоты, остолопы и твои побирушки родичи, те, которым не на что к нам приехать и которые объедают нас, как саранча.

— Фи, Аркадий! Что за слова! Это же кабинет, а не конюшня. Ты иногда забываешь, что и мой род занесен в бархатные книги.

— Можешь не хвастаться, дорогая. И у купцов есть своя бархатная книга.

— Какое мне дело до купцов? Я хочу, чтобы мой муж был аристократом не только по происхождению.— С лица ее слетает религиозный фанатизм.— Итак, оставь в покое старца.— Она поправляет высокую немецкую прическу и собирается уходить.

Аркадию Валерьяновичу несколько не по себе. Да, в словах жены есть доля истины, но есть и железная логика всей его жизни: упускать свое можно только в предвидении пользы. Отступишь от этих основ — станешь на скользкий путь жениных родственников.

«Дорогая» уже горделиво выходит из кабинета, убежденная, что взяла вверх над мужем. И не сделай она этого так демонстративно, может быть, победа и осталась бы за ней.

— Лиза! — раздается ей вслед, и когда она снова появляется в дверях, Аркадий Валерьянович с подчеркнутой почтительностью подает письмо.

— От Софочки! — вскрикивает она, по идиотски сентиментальной привычке прижимает конверт к тому месту, где между полными грудями уже появилась морщинка, сразу же нетерпеливо надрывает его, пробегает глазами по строкам, ахает и снова прижимает письмо к груди.

— Опять сенсация? — подозрительно спрашивает Стадницкий.

— Бедная Софочка! — со слезинкой в носу говорит Лиза.— Ее жених, ее сумасшедший Колчак, снова бродит по северу — то на земле Банета, то на Новосибирских островах.

— Снова в качестве гидролога и магнитолога?

— Нет, теперь он командует экспедицией.

— Должно быть, барон Толль не ошибся в нем,— сочувственно говорит Стадницкий, которому нравится крутой, решительный характер Колчака, родственный его собственной натуре.

— Ах, барон Толль, барон Толль! Его-то и разыскивает Александр Васильевич.

— Благороднейшее дело.

— Может быть, и так, но Софочка пишет, что ее жених подал в Академию наук безумный план — добраться до земли Банета на шлюпках. Это самоубийство, пишет Софочка...

— Александр Васильевич верит в свою звезду, как барон Толль.

— И все равно Софочка несчастна. Муж принесет ей мало утешения.

— Так думают о мужьях почти все женщины.— Аркадий Валерьянович выразительно посмотрел на жену.

Лиза печально выплыла из кабинета. После нее в воздухе осталась сладкая смесь воска, ладана и духов. Эти запахи раздражают Аркадия Валерьяновича, он открывает форточку и слышит, как на террасе стучат сапоги Никанора и Салогана.

Когда оба появляются на пороге, Стадницкому хочется и выругаться и рассмеяться — до того комично выглядит обмотанная до самого носа платками физиономия управителя.

— Это еще что за маскарад?

— Ой, голова и зубы! — стонет Гервасий, подпирая темными руками огромную, как кочан капусты, голову.

— Вечером был как огурчик — и вдруг стал капустой? — удивляется Стадницкий и подозрительно качает головой.

— Все, ваша милость, в руце божией, все под богом ходим.— Салоган с трудом шевелит губами, вызывая у барина даже некоторое сочувствие.

— Не вовремя ты заболел. Сегодня надо было ехать к мировому первого участка.

В глазах управителя вспыхивает интерес.

— Разделались с лесовиками?

— Можно сказать, разделались, если снова не начнут судиться...

— Неужели им прежнее не надоело? — утешает барина Салоган.— Значит, выведем наконец этих разбойников! — Голос его и выглядывающая из-под платков часть лица становятся злее.

— Должны бы, должны бы уже вывести... До чего они мне осточертели!

— Как же не осточертеть? Это, ваша милость, гайдамаки за нашей спиной. Лес крадут, скотину пасут в лесу, рыбу в озерах вылавливают, да еще и барина честят самыми что ни на есть непотребными словами.

— Вон как? — хмурится Аркадий Валерьянович.— И кому же я больше всего не нравлюсь?

— Известно, кому: Морозенкам.

— Что-то я от тебя, Гервасий, об этом впервые слышу,— насупясь, но все же удивленно замечает барин.

— Обо всех же не станешь говорить. Покрывал кое-кого, думал — покаются, да мужика хоть медом мажь, а он все равно укусит. Ой, зубы, зубы! — Он снова схватился за платки, а Никанор заулыбался.

— Сегодня уж, Гервасий, полежи дома, только пошли на все дороги верховых, чтобы поймали вчерашнего божьего старца. А ты ступай,— выпроваживает барин Никанора.

Гервасий снова оживляется.

— Украл что-нибудь? Пани так милостиво доверяется всяким проходимцам, даже не замечает, от кого пахнет воском, а от кого тюрьмой,— замечает управитель, играя на чувствительной струнке барина, и у того пригасает прозелень в глазах.

— Только на тебя и можно положиться,— добрея, говорит Стадницкий.— Никто, даже собственные дети не понимают, что такое жизнь в деревне.

— Да еще среди такого мужичья, как у нас. Они просто зеленеют и сохнут от злости, глядя на вашу землю.

Аркадий Валерьянович покачивает головой. Так, так. Кто-кто, а он знает, что в груди нынешнего хлопа горит гайдамацкий огонь, и виною всему малоземелье да многолюдность. Правы некоторые ученые, утверждающие, что у хуторов, как у золотой медали, свои орел и решка. На хуторах может вырасти кулак, и они же распыляют крестьянские силы. А вот он, Аркадий Валерьянович, вынужден выгнать крестьян из лесных хуторов, и в этом тоже есть своя логика. Лесовики

живут намного лучше мужиков из села и уже одно это развращает людей, да к тому же лесовики вместе с приезжающими к ним сельскими подтачивают его хозяйство лесокрадством. Так уж лучше отобрать у них лесные сады, чем разорять таким образом Синяву. Но как трудно срывать лесовиков с насиженных гнезд! Впрочем, быть может, теперь пойдет легче?

— Гервасий! — барин доверчиво положил руку на широкое плечо управителя.

— Слушаю! — обрадовался Салоган: он хорошо знал, что этот жест означает милостивое расположение — глядишь, и до подарка недалеко. Нос управителя покраснел, и на нем выступили капельки пота.

— Послезавтра тебе придется поездить по лесу.

— Не в новинку.

— И подбить хотя бы двух-трех жителей на добровольный вывод.

Глаза верного служаки сразу помрачнели.

— Это хуже, ваша милость.

— А ты действуй где просьбами, где угрозами, а главное — не жалей магарыча. Первым, кто выйдет, я дам хорошую землю... Ну, да не мне тебя учить. Сумей так ухватиться за нитку, чтобы вытянуть из лесу и весь клубок.

— Ох, и тяжел же этот клубок! — вздохнул управитель.

— А ты начни с женщин. Ну, например, с жены Морозенка. Ты ведь у нас славишься амурными делами,— пошутил барин.— Платочек ей свези.

— Что вы, Аркадий Валерьянович! — Гервасий похолодел при мысли, что баба могла проболтаться кому-нибудь из барской челяди.

Но барин больше ни словом не обмолвился о платке, и это немного успокоило Салогана.

— Будь здоров, Гервасий. Постарайся уладить все добром, а я не забуду твоей услуги... Не хотелось бы опять таскаться по судам.

— Да разве я не понимаю? Мужика всегда следует держать на коротком поводе, а пока лес у них — нам разор!

Салоган почтительно поворачивается к выходу, и теперь его фигура напоминает контрабас— покатые, узкие плечи и разбухшие, вислые бедра. Но управитель только кажется неуклюжим, в руках у него воловья сила: застукает врасплох, свистнет кулаком в челюсть — и выбитые зубы летят наземь, как лущеная фасоль.

XII

Чужой хлеб из чужих сел несла Чайчиха к себе в каморку. Хлеб горбом торчал за плечами и не радовал, а мучил старуху. Теперь она не могла смотреть людям в глаза. Все, верно, думают, что это годы согнули бабку, но это вовсе не годы, а первая милостыня — краюшки да корочки.

Заработать хлеб труднее, чем выпросить, но несешь подаяние за плечами, словно каменный жернов. Выпрашивает Чайчиха куски со слезами и ест со слезами. Теперь она знает: самое тяжкое наказание для крестьянина — когда хлеб не веселит...

Еще девочкой она пошла в люди, и вся жизнь ее протекла в хлебах. Шумели они ей и на чужих полях, и на своей нивке. Всю весну и лето не выпускала она из рук сапку или серп, вечерами подолгу не могла разогнуть спину, но за ее боль осенью чужие лошади привозили ей хлеб.

Она ставила его в каморке, садилась возле, скрестив на коленях заскорузлые руки, и беседовала с хлебом душевнее, чем с теми, у кого заработала его. Так отдыхали ее руки и думы. Руками, вытянутыми трудом, ласкала растрепанных детишек, а думами — землю, и верилось и грезилось, что дети ее, работящие и красивые, скопят себе на земельку, станут хозяевами и не придется им ходить в экономию или в чужие степи.

Дети, разбрызгивая смех, убегали во двор, а она снова вела молчаливый разговор с хлебом, присматривалась к тем золотистым, с пыльцой зернышкам, на которых держится весь мир. Она знала, что до новины хлеба не хватит, что снова придется всю зиму прясть на чужих, и все же осеннее зерно радовало ее, как только что засеянная нива.

Идет Чайчиха по занесенному снегом тракту, простукивает посошком каждый шаг, а годы и чужой хлеб пригибают и пригибают ее к земле. На повороте, у самой опушки, старуха присела. Над нею колышется раскидистый куст орешника, и сережки его уже набиты зеленовато-желтым цветом.

Вокруг тихо покачивается лес и, задевая тучи, вытрясает из них снежинки. Верно, это зима выметает уже последнюю муку. Снежинки белят грубую холщовую суму, садятся на старушечьи ресницы, залетают в морщинки.

Холодно Чайчихе, мороз сковывает снежинки на ее лице, буравами сверлит старые кости, но подняться нет уже сил. А ветер крепчает, густеет муть метели, темнеет лес, и куст

орешника разбрасывает свой озябший цвет по холодному снегу. Так вот и ее, Чайчихи, годы разбросаны по чужим жнивьям. Была молодость — не стало молодости, была сила — по чужим достаткам растеклась, был человек — осталась одна горькая основа. Теперь вот мороз сжимает ее в своих тисках, а ей уже все равно...

Она все же подумала, что надо подняться, но тут ей стало теплее, из земной глуби вдруг пробились вешние пары, загородили ее от метелицы и мороза. Широким кругом отходят от нее снега, переплавляются в щебет ручьев, и вот уже на деревьях лопаются розовые гнездышки почек, а из них выбиваются крылышки крохотных, еще примятых холодом листочков... Почему же она ничего не делает, даром теряет время?.. Ведь пора уже сапкой поклониться земле...

И внезапно с поля возвращается к ней песня, всю жизнь тревожившая ей душу, ставшая для нее не утехой, не печалью, а судьбой:

Ох, горе той чаечке,
Пташке неразумной,
Что вывела птенчиков
У дороги шумной...

Ей показалось, что ветер донес эту песню от ее детей, прямо из Сибири. И перед нею раскрылся бескрайний простор, а из-под завеянных снегом ресниц старухи медленно выкатились две слезинки; сквозь них она вдруг увидела всю свою семью, и не в Сибири, а на родной колосистой ниве.

Над тихой, праздничной землей высокими золотыми мазками вспыхнуло утро. Вот уже задрожал розовый, с жемчужным отливом восток, и кто-то украсил его огнистым венцом лучей. Небесные врата распахнулись, и солнце заискрилось на синем тумане росы, на задумчивых нивах, на каждом увлажненном зарею колоске. Чайчиха с трепетом касается восковых стеблей, и они ласково пощипывают ее пальцы и остью и унизанным зернами колосом, а издали долетают голоса молодых перепелят. И как ты ни занята, а, словно в молодости, замирает душа, когда слышишь голос жаворонка над колосьями и перепелки — у корней.

По дальним полям проносится всадник на белом коне. Это, верно, святой Георгий объезжает землю, радуясь, что в этом году пшеница коню до гривы, а ячмень — до удил. И Чайчиха мысленно благодарит его за то, что отпер землю, послал на поля росу и дождь, за то, что всегда объезжает поля, радуясь или печалясь над ними.

Но что это? Всадник приближается. И вовсе это не святой Георгий, а господский объездчик с нагайкой. Ей становится горько до слез. Не потому, что увидела объездчика, а оттого, что так жестоко разрушили мир видений и собственная страшная участь вдруг раскрылась ей.

Смиренная и чистая душа Чайчихи всю жизнь тянулась к счастью, которое теплилось лишь в сказках и надеждах, тянулась, надламываясь на безжалостных лезвиях бед. Бывало, совсем уж поверишь, будто все переменится, и земельки прибавится, и голодных предновий не будет, и хлеб за хлеб зайдет, а рассеется туман надежд и видишь — проезжает по нивам твоих лет не святой Георгий, а господский объездчик с нагайкой...

На поле набегает тень или, быть может, взор старухи затуманивают две замерзших слезинки? Но и сквозь слезы видятся ей все то же зерно и поле, слышится голос жаворонка над колосьями и перепелки — у корней.

За цветущими вербами, за тихими лужками раздалась, загремела свадебная музыка. За вербами нестреноженные кони подымают гривастые головы, а отовсюду стекаются люди поглядеть на молодых. Идет она с Чайченком под их взглядами и слышит, как позади шелестят слова:

— Славная невеста!

— Славная Чайчиха!

А ей и стыдно, и весело, и хочется обнять всех людей, благодарить их за что-то, кланяться в ноги. Нет у нее гнева даже на тех, кто успел положить первые рубцы на ее молодое сердце. Может быть, и они поймут, что нельзя так жить с людьми, нельзя кривить языком, душой, нельзя изливать на ближних одну лишь черную желчь.

— Славная Чайчиха! — ветерком шелестит вокруг.

— Славная, славная невеста! — кивают в лад головы стариков.

И пусть она батрачка, бедная поденщица — молодость ее идет по земле, как солнышко по небу.

Злые люди могут бросить тень на ее нужду, но никто не бросит тени на ее натруженные руки, на чистую девичью честь. Вот почему на волосах у нее дрожат зернышки ржи, вот почему красивые, густые ресницы доверчиво подымаются и глаза настежь раскрывают стыдливую душу взору Чайченка.

Она украдкой собрала со своих кос несколько теплых, согретых ее надеждами зернышек, после спаса бросила в

мешок с семенами, чтобы посеять на счастье в землю мужа. Но, видно, скудным было ее счастье, в том году они едва вернули посеянное зерно, потужили, повздыхали и отправились оба на поклон в господскую экономию: муж стал возчиком, а молодая жена пошла ухаживать за свиньями. Им она, едва не обмирая, сыпала в изгрызанные по краям желоба такую пшеничку, из какой сама и куличей не пекла.

Выхаживала, выкармливала эти розовые туши, которые и ели-то лежа, да, бывало, брала и себе по горсточке пшеницки,— прости, господи, ее прегрешения. Собрала несколько фунтов, перемешала с заработанной и снова посеяла осенью на счастье. Пшеница уродилась хорошая, только отчего же защемило сердце у Катерины, когда она жала хлеб? Еще подумала тогда: краденое счастье щедрее честного, а когда перебрала в памяти житье Плачинд, экономов, господ — увидала, что так оно и есть,— на каждом их колоске не зерна, а чужой беды слезы. А разве она о таком зерне мечтала?

И снова ее замерзающие глаза, приближаясь к вечной тьме, видят текучее золото спелых хлебов, меж которых капельками неба голубеют васильки. Вот они разрастаются, забивают колос, разливаются синим паводком, чернеют, и все, даже небо и солнце, чернеет вокруг...

— Бабушка, вставайте. Слышите, вставайте!

Кто-то сильно трясет ее за плечи, с болью вырывает из сладкой мглы. Лучше бы не трогали ее. Так хорошо только что подошла к ней и отошла от нее жизнь... Как больно, когда ломается хрупкий, слепленный слезами ледок на ресницах, каким холодом дохнул на нее неприветливый мир! Кто-то большой нависает над нею, без жалости трясет ее задубевшие кости.

— И вздумается же замерзать перед самой весной!

Неуклюжая тень суетится вокруг старухи.

Чей это голос? Есть в нем что-то знакомое.

Да это же странник Сергий, которого она не раз видала на господском дворе. На нем длинная хламида, подпоясанная веревкой, скуфейка в снегу, из-под скуфейки глядят не то святые, не то разбойные глаза. Вот он настороженно косится на дорогу, подхватывает бабку на руки и несет в чащу леса. Там он заставляет ее двигаться, топтаться и сам топчется вокруг нее, как дятел вокруг замерзающей синички.

— Тебе бы, старая, водочки,— смачно покряхтывает странник,— она бы тебя живо с того света домой привела,—

и он так вздыхает, что сразу видно, по чем тоскует душа богомольца. И не так уж он о Чайчихе думает, как о себе!

Наконец, запыхавшись, Катерина устало приваливается заплечной сумой к березе.

— Что у тебя там? Хлеб?

— Хлеб.

— И закуска, стало быть, есть. Дозволь, матушка.— Он запускает руку в суму и принимается вкусно хрустеть промерзшей краюшкой.— Давно побираешься?

— Всего несколько дней,— отвечает Чайчиха, опустив голову.

Суровое лицо странника смягчается, делается задумчивым.

— Детей нету?

— Поехали в Сибирь. Одну оставили. Вот и пришлось пойти...— Она рассказывает, и на ресницы, покрывая потрескавшиеся льдинки, набегают свежие слезы.

Странник сочувственно слушает.

— Да, вижу, нелегко тебе заглядывать в чужие хаты.

Отблеск далеких лет ложится на лицо странника. Он морщит лоб, думает, потом решительно лезет в свою суму и опасливо вынимает оттуда подсвечник тонкой работы.

— Пойдешь, бабка, в город, отыщешь возле рынка лавку Голованя и отдашь старику за пятьдесят рублей. Он будет знать, что от меня.

Чайчиха с изумлением и страхом подымает на странника глаза.

— Неужто такая игрушка стоит пятьдесят рублей? Ведь это хорошая корова с телушкой...

— Корова или вол — не знаю, а тебе на целый год хватит с лихвой. Ну, а теперь шагай помаленьку восвояси. Да никому, кроме Голованя, подсвечник не показывай.

Старец торжественно крестит Чайчиху прокуренной щепотью и скрывается за деревьями. Но вскоре возвращается со вторым подсвечником.

— Возьми, старая, и этот.

— Да на что же он мне? Спасибо, добрый человек.

— Возьми, все равно попадет к шинкарю. Так хоть богу помолишься за мою бесприютную душу. Вместе Голованю отдашь. Дай вытрясу у тебя немного хлеба, а то подсвечники тяжелые.

— Ой, не надо хлеб выкидывать! — возражает Катерина.

— Боишься, не хватит? — удивляется странник.

— Нельзя хлеб выкидывать. Его ждут малые дети Гранчака. Я у них постоялкой живу. Уж, верно, все окна проглядели.

— Ну что ж, помогай им хоть чужим хлебом.

Странник долго смотрит вслед старушке, несущей по снегу на тонких, как у синички, ногах все, что осталось от ее горькой жизни. Потом принимается шарить в больших заплатанных карманах, но поиски его тщетны.

В село Чайчиха приходит поздно вечером и, нащупывая посошком дорогу, бредет к помещичьему дворцу, а не к Гранчаку. Его окна и колонны и в темноте торжественно, холодно светятся за железной оградой. Собаки возле террасы зарычали и клубками покатились к железным воротам, обдав старуху снегом и горячим дыханием. Замерцали злые зеленоватые глаза, и Катерине вспомнились сказки, где чудовища стерегут нечистые богатства.

— Мильтон, тубо! Мегги, назад! — изысканно, по-барски, закартавил сердитый голос, и к воротам, сыто переваливаясь и сияя новой, разукрашенной позументами ливреей, подошел Никанор.— Кого тут носит на ночь глядя?

— Это я, Никанор.

— Ах, это ты? Какого тебе еще рожна? — узнав Катерину, сердито осведомляется лакей, однако и тут вынимает из кармана тяжелую серебряную луковицу: пусть и старуха видит, что Никанор уже «при часах».— Не знаешь разве, что наш барин не велит пускать нищих? Одни только болезни разносят.

— Я не просить, Никанор.

— Ух ты! Правда? — Лакей недоверчиво просовывает между прутьями ограды голову, похожую на арбуз. Кажется, нашей на нее несколько позументов — и не отличишь от кавуна.— А что же у тебя?

— Подарок у меня для барина.

— Подарок? — физиономия лакея между прутьями расплывается, набухает, и он чуть не падает от смеха.— Что ж ты барину принесла — ломоть ячменного хлеба? Ох-ох-ох, не могу! — От смеха старомодные часы выскальзывают у него из руки и раскачиваются на цепочке.

Чайчиха терпеливо ждет, пока лакей утихомирится.

— Так, слышишь,— говорит она наконец, строго смотря на Никанора,— ступай к барину и скажи, что старая Чайчиха пришла к нему по важному делу, а глупый смех тут ни к чему.

— Больно ты теперь горда стала! — презрительно бормочет Никанор, нажимая на слово «теперь».

— Такой гордости и твоей угодливости никому на всем свете не пожелаю.

Никанор удивленно и обиженно косится на старуху.

— Чужой хлеб и тебя озлил.

— Ступай уж, коли не смыслишь ничего.— И она устало прислоняется к железу ограды.

Никанор отпирает ворота, впускает старуху во двор, и оба идут мимо роскошной чаши бассейна, посреди которой на снегу мерзнет, свившись в кольца, чугунная змея. Летом из ее пасти высоко взлетает струя фонтана, а теперь пасть забита льдом.

Вскоре Чайчиха входит в просторный кабинет Стадницкого, и ее ослепляет яркий свет большой, как солнце, люстры. Хрусталинки чуть-чуть покачиваются в рамке золоченых цепей. Причудливые тени ложатся на лепку потолка, где весело кружатся сытые ангелочки. Верно, им и молится барин — больше никаких святых не видать. В углу, где в простой хате стоял бы киот, на высокой подставке светит злыми глазами круглоголовый сыч, рядом с ним сафьяновая оттоманка.

Полураздетый Стадницкий сидит за большим палисандровым столом, читая добытый из фамильного архива универсал головного регименгаря Стемпковского к украинскому крестьянскому сословию, изданный в обозе под Кодней в месяце августе 1768 года.

В очках барин некрасив и выглядит старше. А ведь Катерина знала его еще маленьким, тогда волосы не сходились у него на голове клинышком, а разлетались во все стороны. Тогда и смех был у барина не господский, без холодка; тогда и донимал он ее по-детски, а не так, как после, в экономии.

Барин удивленно смотрит на нее и переводит сердитый взгляд на Никанора. Лакей только теперь догадывается, какую он сделал ошибку, не оставив суму Чайчихи в передней, и в его сытых глазах застывает испуг.

— Что тебе, Катерина? — Стадницкий гасит злой блеск в глазах и привычным движением подымает на лоб очки, отчего на их ободках исчезают золотистые блики.

Он тоже вспомнил, какова была Чайчиха молодой. Лучшей жницы не было во всем селе, и потому на зажинках она приносила на господский двор первый сноп, а старый барин, как и он теперь, потчевал лучших жнецов чаркою, в которую бросал на счастье серебряную монету.

— Оказия со мной, барин,— земно кланяясь, говорит Чайчиха.— Возвращаюсь я из других сел домой, а тут метель. Я в лес. Забралась под дуб, топчусь под ним, греюсь. Вдруг слышу — зазвенело что-то под ногой.

Барин и Никанор вытягивают шеи.

— Нагибаюсь я, разгребла снег, а под ним что-то тяжелое в тряпице. Развернула — подсвечники. Пригляделась я к ним, вижу — господское добро. Хоть и давно я у вас была, а узнала.— Чайчиха снимает с плеч тяжелую суму, ставит ее на цветастый ковер и вынимает подсвечники.— Возьмите, барин.

Удивленный Стадницкий выходит из-за стола, от его тонкого голландского белья пахнет крахмалом и помадой. Он тенью нависает над Чайчихой, берет из ее перевитых набухшими жилами рук подсвечники, с радостью и удивлением рассматривает их и старуху.

На подсвечниках едят виноград и пьют вино бесстыдные голые женщины, не знавшие, верно, ни нужды, ни подневольного труда и не рожавшие детей. И вдруг Чайчихе становится страшно: у господ и подсвечники греховные, даже ярый воск и тот капает на голых баб. Что ж для них свято?

И старуха, отворотясь от срамной роскоши, взваливает на плечи чужой хлеб.

— Какая прелесть! — Полюбовавшись подсвечниками, барин благодарит Чайчиху, затем идет к двери и громко, на весь дворец, зовет жену.

В кабинет испуганно вбегает барыня в развевающихся шелках, по которым порхает целая стая невиданных, чужеземных птиц. Увидав подсвечники, барыня учиняет радостный переполох; на шее у нее оживает жемчужный ручеек ожерелья, а шелковые птицы реют вокруг полного стана. К барыне сбегаются горничные, и радость охватывает всех, кроме забытой Чайчихи, стоящей посреди кабинета со своей сумой, из которой твердыми кулаками выпирает мужицкий хлеб.

Но вот первая волна радости улеглась, барыня уплыла с горничными на свою половину, а довольный барин вспомнил про бывшую первую жницу. Он сам налил дорогого заморского вина, порылся в своем кошельке, вынул двугривенный, бросил в чарку и протянул ее старухе.

— Еще раз благодарю, Катерина. Выпей, как бывало в страду.

Когда она выпила поднесенное барином вино и серебряная монетка, покрытая кровавыми капельками, легла на ее ладонь, барин расщедрился:

— А теперь, Катерина, поди в людскую, поужинай чем бог послал. Никанор, проводи ее.

Затем Аркадий Валерьянович надвинул на нос очки и согнулся над полуистлевшим универсалом.

Жестокая старина заслоняет от него воспоминания о молодой Чайчихе, стирает и образ старухи; в строках универсала головного регимента́ря украинских и подольских партий королевского и Речи Посполитой войска он ощущает суровую поступь истории, руку твердой власти, которой так недостает теперь.

«Бог, творец неба и земли, разделив людей на сословья, от монарха и до последнего сословья поставил каждое на свою ступень, а вас, крестьяне, создал для зависимости, не оставив вам ничего равного другим, кроме души. Каждый верующий в бога христианин обязан принимать его святую волю с покорностью; при этом для вас установлены законы, и если вы не разумеете их, то должны обратиться к неизменному опыту предков ваших: они родились с повинностями, с ними жили и умирали, передавая потомкам присущие их сословью обязанности, каковые и вы должны были всосать с молоком матери — верность господам и вечное подданство владельцам».

XIII

Теперь грузный жеребец управителя все чаще появляется в лесных уголках, подкидывая женоподобного всадника: у Салогана все еще «болят зубы». Но лесные жители не радуют управителя. Все его уговоры и магарычи не смягчили угрюмых мужиков. Они готовы снова годами судиться с барином, лишь бы не переселяться в село. И когда Салоган, подвыпив, пристал как банный лист к степенному Андрию Биленку, допытываясь, почему тот не хочет переезжать на новое место, хмурый лесовик неохотно, с сердцем, ответил:

— Я уже потому не хочу, что этого барин желает! Вот ежели ему захочется, чтобы мы в лесу сидели, тогда я, может, и выберусь в село! Вот тебе и вся сказка-байка. Так что ты из чарки тяни, а из нас ум и жилы не вытягивай!— И Андрий посмотрел вдаль, словно там, за окном, стоял барин.

— Вон как! — хмель уже выветрился из головы Салогана.— А не высоко ты залетел, Андрий? Сесть ведь можно так низко, что и курица лапкой загребет,— проговорил управитель, проницательно глядя на лесовика.

— Пусть она тех загребет, кто нам дурного желает.

Андрий встал из-за стола, в глазах его вспыхнул недобрый огонь, а управитель все больше изумлялся: как это он до сей поры не раскусил эту смиренную крестьянскую натуру, этого рабочего вола, который и на ребенка никогда не подымет ни руки, ни голоса? Желая успокоить мужика, он хлопнул ладонью по лавке.

— Садись, Андрий, есть еще возле чего посидеть,— подмигнул он на бутылку.

— Нет, вы уж лучше возьмите ее с собою.— Биленко отвернулся от водки, как от яда.— Плохо вам было в красном углу, может в дверях станет лучше. Марта, проводи господина управителя до порога.

Салогану хотелось гневно хлопнуть дверью, грязно выругаться, но ведь этим делу не поможешь. Стало быть, пускай снова в ход всю управительскую ловкость, вертись юлой вокруг насупившегося лесовика, чтобы тот снова потянулся к монопольке. Обиды запили чаркой, потом и другой, и снова Гервасий осторожно подбирает ключ к чужой душе, чтобы потихоньку отпереть ее и утихомирить злую мужицкую натуру.

— Невесело тут зимою, Андрий. Только деревья шумят да волки воют.

— Воют, а что ж им остается делать? — соглашается мужик, подперев рукой большую круглую голову.

— Зимой Марта, верно, и в церковь не ходит?

— Как заметет по пояс, так и не хожу,— по привычке вздыхает жена Андрия.

— Ей и тут хватает образов.— Андрий кивает на божницу.— Есть перед кем помолиться, было бы время да охота.

— Образа образами, а церковь церковью,— лисицей добирается Салоган до женского сердца.— Такой теперь у нас батюшка умница! За каждую проповедь хоть в архиереи посвящай.

— Придет время— и посвятят. За этим дело не станет,— равнодушно говорит хозяин.

— А ведь, наверно, и старшенькому трудно добираться до школы?

— Ему на попа не учиться.

— Сапоги-то снашиваются.

— Как-нибудь заработаю на новые, было бы здоровье.

— И чего таким молодцам не жить с людьми? Барин за этот год и подать за вас уплатит и лесу даст.

— Пусть кому-нибудь другому дает.

— Почему ж не вам?

— Не хочу на чужом богатеть. Пускай меня Ананас не трогает, и я его не трону.

— Разве можно так обзывать своего барина? — укоризненно покачивает своими платками управитель, а Марта, забыв все разговоры о церкви, заливисто хохочет.— Грех над своим барином смеяться!

— Не я ему выдумал такое прозвище, еще его отца так прозвали.

— А как же это было? — подает с печи голос десятилетний Сергийко.

— Как было? — переспрашивает отец.— А очень просто, дитятко.

— К чему же, Андрий, малышу голову бреднями забивать? — Управитель поправляет на голове платки, морщится, и платки морщатся тоже.

— Да пусть знает: может, пригодится,— Андрий оборачивается к печи и ласково улыбается своему старшему.— Это, сынок, сказать, после крепостного права многие наши крестьяне — николаевские солдаты, барские дворовые, солдатские дети — не получили никакой земли. В чем был человек, в том и вышел на волю. А иным достался нищенский надел — ровнехонько одна десятина, хоть паши, хоть пляши. Вот и пошли эти крестьяне к старику Стадницкому, отцу, сказать, нашего барина. Его как раз слуги на дормез подсаживали. Ну, поклонились люди, спрашивают: «Как нам теперь на свете жить? На волю вышли, а что за воля без земли?» — «А вы уж свою пропили? — разгневался барин.— Отмеряли же вам надел?» — «Разве это надел? Как же с него прожить?» — «А вы сажайте ананасы, везите в Петербург — вот и проживете, за них дорого платят». Что такое ананасы, мужики, сказать, не сообразили, но барина с тех пор прозвали Ананасом. Понял?

— Как не понять? — весело отзывается Сергийко и принимается угомонять младших братьев, которые подняли вдруг такую бучу, что загудела вся печь.

Управитель выходит из хаты ни с чем. До двери его провожает Марта. Он пытается в темноте ущипнуть ее, но, получив по шее, спешит к своему жеребцу.

От Биленка Салоган поворачивает к Демиду Гончару, который женился на покров и дрожит над своей белобрысой женой, словно над величайшим сокровищем, даром что у нее только и красы, что голубые, как небо, глаза да колдовская улыбка. Красивого, словно из темного дерева вырезанного, Гончара не остановили ни ее веснушки, ни синеватые губы, ни щербинки в зубах — верная примета изменчивого характера. Демид не принял в расчет даже худобу жены, а уж это на Подолье самый большой изъян для невесты. Но с такими недостатками нареченной никак не могли примириться родители Демида.

— Ну что это за девка — мяса на один чугунок! — возмущался сыновним выбором отец.

— Худущая, прямо кости стучат,— горевала мать.

— Пустое! На костях нарастет,— защищал свою милую Демид, а ей посоветовал надевать по нескольку юбок.

— Да где же я их возьму? — печалилась и смеялась София.

Тогда парень стащил у родителей немного зерна, взял еще у Плачинды денег под проценты и, сияя, помчался с первым гостинцем к милой. А у нее сперва разбежались глаза, а потом совесть заговорила, и отказалась девушка от подарка, как Демид ни уламывал. Упрямство ее взбесило парня. Он схватил свои покупки, подошел к печи и швырнул в огонь первый отрез зеленого, как луг, товара. Этого девушка уже не смогла вынести — выхватила материю из огня, прижала к груди. И долго-долго пришлось ей ворковать, чтобы успокоить разъяренного Демида, даже сама поцеловала его несколько раз, но этим только насторожила парня: все беспокоила его проклятая щербинка, без слов говорившая о влюбчивости. И раз, уже после свадьбы, надумал муж, уходя, запереть свою ненадежную женушку в хате, а ключ взять с собой. А немного спустя вернулся домой отец Демида, и пришлось старику лезть в хату через окно. Осердясь, он рассказал о ревности сына соседям, а те раззвонили по всему селу, и Демиду пришлось отказаться от намерения запирать жену дома. Все же домой он старается возвращаться в самое неурочное время и с самой неожиданной стороны.

Салоган застает Демида и Софию дома и сразу кивает головой на молодую:

— И похорошела и раздобрела она у тебя, Демид. Прямо как пасхальное яичко.

Демид веселеет, а Салоган продолжает задорно:

— Гляди, возьмет да и утащит ее какой-нибудь леший из лесу.

Демид настороженно вскидывает глаза, а София отворачивается, пряча насмешливую улыбку, которой терпеть не может муж.

— В Майдане Стасовском, слыхал, так и отбил одну бабенку ярмарочный шалопут. В лесу ведь какое житье?! Одна дичь. Нравится только Матвию Боцюну, да и то не каждый день. Выбирался бы ты, Демид, из лесу, пока суд и полиция не вытурят отсюда всех.

— Что всем, то и я съем, а из леса не уйду.— Демид поднимается, гневный и красивый.— Тут моя земля, это и в межевых книгах записано и в экспликациях,— он запомнил даже такое трудное слово.

— Барин тебе и лесу даст и подать за этот год уплатит.

— Господский грош никогда еще не спасал мужика, а рука барина только давила.

И Салоган не выдерживает тона:

— Ты что, бездельник, наговариваешь на барина? Может, соскучился по каталажке?

— А вы чего пришли в мой дом командовать? — Демид хмурится.— Это вам не экономская халупа, а моими руками поставленная хата.

И снова Салоган уходит ни с чем.

— Сговорились все как один,— тоскливо бормочет служака, и его пробирает холодок при одной мысли о том, что завтра говорить Ананасу (мысленно он и сам так зовет барина). Ему не меньше, чем самому Стадницкому, хочется сломить мужиков, и он упорно всю дорогу смекает, нельзя ли приняться за клубок с другого конца. Он уже и с мировым советовался, как на духу, и в законы, и в «местное положение» заглядывал, надеясь ухватиться за ниточку, чтобы сломить мужицкое упрямство. Ну что за радость, если мужики снова обратятся в сенат или к царю? Разве не видно, на что надеются бестии? Не выгорело раз — вряд ли выгорит в другой, после стольких лет волокиты в судах да в присутствиях.

XIV

Уха еще не закипела белым ключом, как в хибарку, пригибаясь в дверях, вошел Роман. Отблески пламени живым румянцем легли на его щеки, ярко окровавили топор.

— О, как у нас нынче рыбой пахнет! — Роман размашисто швырнул шапку на сундук, молодцевато тряхнул головой, и волнистый вихор, взлетев, приладился за ухом.

— Это я наловил! — весело крикнул с печи Максим.— Окуни хоть куда! А какую щуку рыбаки сачком вытащили!— Мальчишка собрался уже спрыгнуть с печи, но вовремя вспомнил, что его вымазанные в грязи, мокрехонькие штаны сушатся на лежанке, а в одной рубашке в его годы ходить неприлично.

— Много наловили? — Роман недоверчиво смотрит на озорника, а потом кладет топор под лавку.

— Да...— Мальчик замялся и смущенно глянул на мать.

— Наловить-то наловил, а что донес до дому? — отозвалась от печи Мария.

— Ну, принес же на две косарские ухи, мама? — совсем расстроился мальчуган.

— А самую лучшую рыбу перетаскал в корчму!

— В корчму? — Роман нахмурился и красноречиво положил руку на пряжку ремня.— Ох, кажется, давно я не учил тебя! Чего ты там не видал, в корчме?

— Граммофон там,— понурясь, ответил мальчик.

— И за этот граммофон отдал Кондре самую хорошую рыбу? А тот и рад надуть маленького: сыграет одну песенку и берет себе рыбину.

— За большие и по две играл,— уточнил Максим.

Роман расхохотался, и мальчик тоже повеселел.

— Что же, Максим, хороша музыка в корчме?

— Эх, и хороша: сами ноги ходят! — И Максим показал, как ему хотелось плясать.

— И ты плясал бы там, в корчме?

— Ну, нет! Это ведь корчма. Что я, порядка не знаю? — возразил Максим, не раскусив подвоха.— Да и больно забрызгался в реке,— и он показал глазами на штаны.— Эх, и улов же был сегодня...

— А я тоже кое-что поймал! — Роман подмигнул брату, сунул руку в карман и бросил на сундук пять серебряных полтинников.

— Ого! — вырвалось у Максима, но он даже и тут не спрыгнул с печи.

— Так много за неделю? — удивилась Мария, подходя к сундуку.

— Как же, за неделю! За две! Полтора рубля вперед взял. только полтинник отдал Шкапонду.

— Опять магарыч?

— Без магарыча, так отдал,— пусть подавится. Зато сегодня он поставил меня на лучшую делянку, а то на прежней, пока подтащишь дерево к штабелю, уйму времени теряешь.

Роман прикрыл серебряные царские головы ладонью и пододвинул деньги матери. Она смотрела на них, и не было радости в ее взгляде. В печи затрещали дрова. Мария поправила ухватом чугун, потом снова перевела задумчивый взгляд на полтинники.

— Что же теперь делать с ними? — вслух размышляла она.— Отдать долги? Или муки подкупить? Или достать хоть малость сала? Я уже и забыла, когда заправляла борщ.

— А может, мама, заказать столярам рамы и двери? — чуть насмешливо предложил Роман, а Максим, прыснув, так и покатился на печи.

Мария движением бровей отгоняет от себя насмешку над ее неизбывной заботой. Поживут побольше — меньше смеяться будут. Она, покачивая головой, подгребает ухватом жар и вздыхает не потому, что ей тяжко, а просто так, от дум. Даже у самого маленького человека голова целый день полна забот и мыслей.

Предвечерний мягкий свет из окон и порывистый отблеск печного огня причудливо скрещиваются на ее чуть удлиненном, нежно-смуглом лице, все еще красивом, несмотря на тень скорби, залегшую в карих выразительных глазах, в тонкой сетке височных морщинок и особенно в двойных коротких, но резких складках возле рта.

— Роман, а на хорошей делянке сколько ты за день заработаешь? — спрашивает Мария, подходя с ухватом к сыну.

— С дельным парнем вдвоем — копеек тридцать пять, сорок на брата, если от зари до зари.

— Что ж, и то деньги. А говорят, на гонте можно и больше выработать?

— Хороший мастер на гонте и целковый отхватит.

— Может, и ты помаленьку приглядывался бы к гонтарям?

— Постараюсь, мама, дело не больно мудреное. Только сейчас гонтарей ставят на другую работу — мало кто покупает гонт.

— Весна идет,— задумчиво произносит Мария.— Выходит, с хорошим напарником больше заработаешь?

— Известно, больше.

— Может, и в самом деле, сынок, стоит об окнах и дверях подумать?

— Отчего ж, можно,— весело соглашается Роман и отворачивается, чтобы скрыть улыбку.

Нет, дети не принимают близко к сердцу ее тревогу о родном гнезде. Один мал, другой молод, у них еще ветер в голове. И ей когда-то вечерняя песня была дороже родного дома.

— Пока отец проканителится, мы, глядишь, и навесим двери и окна,— и мать вопросительно посмотрела на сына.

— А он меня, не ровен час, воловодом не проучит? — Роман собирает губы в усмешливую оборочку, а Максим пищит, как мышонок, захлебываясь от смеха.

Мать грозит ему пальцем и еще тише говорит Роману:

— Да уж за все буду в ответе я. Посердится, посердится и перестанет. А весной нам, думаю, будет не до окон. Один в степь уйдет, другой — в экономию. Так, может, поднатужиться сейчас?

— Как хотите, мама.

— И жаль тебя, Роман, на постном держать. Хоть бы корова поскорей отелилась.

— А я буду подкармливать его рыбкой,— серьезно отозвался Максим.

— Держитесь, держитесь, дети, друг за друга, больше нам никто на свете не поможет.— Мать одобрительно кивнула головой младшему и перевела взгляд на Романа.— Сходил бы ты к Плачинде. Денег у него займи, или пусть продаст рамы и двери из тех, что валяются у него на дворе. Там есть из чего выбрать, да, может, и скинет копейку-другую, не новые ведь.

— Нет, мама, к Плачинде я не пойду,— хмурится Роман.— Сами знаете: он на меня зверем смотрит.

— А ты тоже стал больно умен! — сердится мать, вспомнив, как Роман разговаривал с Плачиндой на поляне.— Не рано ли?

— И сам не знаю, мама,— беззаботно отвечает сын.— Не стерпело сердце.

— Гляди, стерпит ли после спина? А теперь присмотрика за ухой, схожу сама.

Мария, смущенно улыбнувшись, быстренько надевает черный праздничный сачок [1], на него кожух и выпрямляется на пороге, как молодая.

— Нашей маме только саблю в руки — и настоящий казак,— высовывается из-за трубы Максим.

---

[1] Сачок — женская верхняя одежда.

— Гляди, я вместо сабли ухват припасу для тебя!

Мария грозит сынишке бровями и выходит из хибарки, сама еще путем не зная, дойдет ли до Плачинды и как ей надо с ним говорить. У людей о таких вещах полагается хлопотать мужу, да что поделаешь, если ее Григорий все домашние дела старается сбыть на руки ей. И она невольно бросает взгляд на свои натруженные чужой пряжей пальцы.

На западе над лесами стынет и тяжелеет медь облаков, столетние липы по обочинам потемнели, а между ними, словно голубой мост, изогнулся тракт; в колеях его угнездилась мгла, и весь он влажно сияет отпотевшим снегом. У погоста задумалась темная церковка, и Марии она кажется скорбной монашкой, которая стоит среди могил, подняв над головой четырехконечный крест...

Неподалеку от погоста, на пригорке, смотрит широкими окнами каменный дом Плачинды; дым кудрявится над высокой, крытой гонтом кровлей и стелется над островерхими полускирдами хлеба. Во дворе позвякивают цепями волкодавы, а из надворных построек доносится дыхание скота и сытое, довольное хрюканье.

Не успела Мария притворить калитку, а у крыльца уже зарычали, заплясали псы; они рвутся с цепей и так раскачивают головами, словно хотят швырнуть их к воротам. Из сеней выскочила батрачка Уляна Омельченко, накричала на собак и проворно подбежала к Марии.

— Вы, тетенька, верно, к Терентию Дорохтеевичу? Добрый вечер.

— К нему. Доброго здоровья, Уляна! Как тебе живется?

Марии вспоминается мать Уляны, с которой она дружила в девичестве. И вот нет уже приветливой, с тяжелыми косами, Наталки, а вместо нее точнехонько такая же, с тяжелыми косами, Уляна. И на миг показалось Марии, что это вернулись ее молодые годы.

— Как живется? В людях всяко бывает, а хорошего ничего нет,— отвечает Уляна таким же низким, как у матери, голосом.

— Дома ваш-то?

— Да, дома. Только как быть? Они ужинают. Правда, кончают уже.

— Побалакай со мной немного, а потом поведешь в дом.— Мария подходит к бревнам, возле которых аккуратно сложены вырванные из мужицких хат рамы с остатками погнутых гвоздей там, где были навесы.— Продает их твой хозяин?

— Продает и меняет. Может, себе думаете купить? Вы ведь, я знаю, строитесь.— Уляна вздыхает, ей тоже порой приходят в голову мысли о своей хате, о своем тихом уголке, пусть хоть в лачужке, куда, быть может, уведет ее Давыд.

— Нужно несколько рам. Да с этими что сделаешь? — Мария вдруг заколебалась, глядя на искривленные, как чья-то жизнь, гвозди: а не будут эти остывшие рамы тревожить ее, напоминая о чужом житье-бытье? Кто-то высматривал сквозь них свое счастье, надеялся, а потом орошал стекла слезами...

«Нет, не стану их покупать»,— твердо решает Мария, отводя руку от маленькой крестовины.

— Пойдемте, тетенька,— трогает ее за плечо девушка и первая идет в дом.

Мария, все еще колеблясь, следует за проворной, статной Уляной, а из чужих окон провожает ее глазами чужая печаль.

Дом у Плачинды просторный, городской, в пять комнат. В стенах возле всех окон сквозные отверстия. На ночь опасливый Терентий запирает ставни на железные болты не снаружи, а изнутри. В горнице от киота по обеим стенам тянутся старинные, писанные на кипарисе и белой жести образа; ниже, над самыми лавками, сверкают портреты генералов. Любя золотой генеральский блеск, Терентий охотно выменивает у тряпичников портреты то на рога, то на копыта, то на щетину — деньгами даже за генералов платить негоже.

В красном углу, под божницей, расселся Плачинда. На его остриженных в скобку волосах поблескивает деревянное масло.

Мария почтительно, однако с достоинством, здоровается, краешком глаза замечая сидящего в соседней комнате над книгами младшего брата хозяина — Якова.

— Садись! — властно произносит Терентий и лениво, не отрывая руки от стола, указывает пальцем на сосновую свежевыструганную лавку.

— Я могу и постоять. Спасибо.

— В ногах правды нет. Что скажешь хорошего?

— Хорошего ничего не скажу: мало его у нас. Если можете, выручите хоть немного деньгами.— Марии неловко, она не знает, куда девать руки, и еще ниже опускает голову.

— Хм? — удивленно произносит Плачинда; он твердо встает из-за стола, чуть покачивая грузным станом, подходит к порогу и плотно притворяет дверь.

«Не хочет, чтобы Яков слышал»,— догадывается Мария, зная, что Терентий недолюбливает брата и более всего за то, что не сегодня-завтра придется разделить с ним хозяйство. А это для Терентия все равно, что разодрать сердце надвое.

В черной пасти печки недобрым глазом светят угасающие угольки, перекатывая над собой синие язычки пламени.

Терентий молча прошелся по комнате, хмыкнул себе под нос, остановился перед кроватью, над которой красуется новый молдавский ковер «рябцун», и обернулся к Марии.

— Так, говоришь, денег одолжить? Верно, на хату?

— На хату.

— Приходится в долги залезать?

— Приходится.

Терентий снова хмыкнул, задумался и, вдруг повеселев, поправил старинный коломянковый пояс.

— А ты знаешь, что такое долг?

— Как не знать?

У Марии, надламываясь, шевельнулась бровь, а глаза подернулись тенью давней крестьянской печали.

— Долг, милая,— это скверная штука! Это значит — взять деньги на время, а вернуть навсегда! — Из груди его вырывается простуженный, кашляющий смешок, от которого разглаживаются не слежавшиеся еще, лоснящиеся жирком морщины на лбу.

Но эта шутка не веселит, а только еще больше удручает Марию, и она со вздохом говорит:

— Сама знаю, что долг — нелегкое дело, а без этого никак нельзя.

— Нельзя? — Глаза и нос Плачинды удивляются.— Что ж, занять — дело нехитрое, хитрее отдать,— покосившись на обе двери, Терентий подходит ближе к Марии, ощупывает ее пытливым, беспокойным взглядом с головы до ног.

Мария невольно ежится под бесстыдным взглядом богача и начинает сердиться.

— Одолжите, так отдам без хитростей. Мы люди простые, не мудрствуя живем,— говорит она с сердцем, но это нисколько не смущает Плачинду, а, наоборот, вызывает у него улыбку.

— Ты что обиделась? Уж не с мужем ли поругалась? — Он вкрадчиво ловит взгляд женщины, круглые, как пятнышки на щуке, зеницы сужаются, вытягиваются в два набухших зернышка овсюга.

Хорошо, что в комнату, позванивая янтарным монистом,

входит Плачиндиха. Взор Терентия становится спокойным и деловым.

Дарина, поздоровавшись с Марией, сочувственно качает головой, и, чтобы не мешать, деликатно выходит.

— Сколько же тебе? — спрашивает наконец Плачинда.

— Хоть бы рублей десять.

— Не так уж и много не дотянули,— удивляется богач.

— А тянем так, что жилы трещат.

— Тебе нечего бога гневить: и муж и Роман зарабатывают. А вот сын у тебя больно хитер стал.

— Какая уж у него хитрость!

— Ого, а ты спроси у него, как он на чужое добро глаза пялит да рот разевает,— одно непотребство, да и только! Леший знает, у кого теперь молодые учатся? Вы люди небольшого достатка, так не мешало бы и о почтительности подумать. Учи его, Мария, а то, может статься, и учить станет некого.— Угроза камнем ворочается в неторопливой речи богача.— Тебе ссудить на какой срок?

— А я знаю? — Женщина задумывается.— Хотя бы до покрова, если сможете.

— Могу и до покрова, могу и до Нового года — верю тебе.— Терентий бережно вынул из кармана кошелек, играючи, подбросил его, и деньги, ударившись о зачерствелую ладонь, глухо звякнули.— Могу и на целый год.

— Душевно благодарю.

— На здоровье, на здоровье, Мария,— голос Плачинды смягчился.— Отчего же не пособить доброму человеку, если можно?

У женщины просыпается признательность: что ни говорят в селе о Терентии, а без него не обойдешься.

— Мы даром не хотим, отработаем...

— Да как-нибудь сойдемся,— перебивает ее Терентий.— Ты деньги возьмешь под залог или писать бумажку?

— Нечего нам, Терентий, закладывать. Пишите бумажку. А понадобится — сразу на отработки придем, да и процент положите, какой там нужно.

Терентий одобрительно кивнул головой.

— Конечно, положу. А кое-что и отработаешь. Полотно, говорят, ты лучше всех белишь.

— Да, умею как будто.

— И нехитрая, кажется, наука, а не всякая баба выбелит тонкое, на сорочку,— расхваливает богач.— Как же это выходит у тебя?

— Я так белю, чтобы верх полотна был на солнце, а изнанка в воде.

— Ишь ты! — Богач снова одобрительно кивает головой.— А ты знаешь мой процент?

— Нет, не приходилось еще занимать у вас.

— В самом деле не знаешь? — изумляется Плачинда, косится овсюжинками глаз на дверь, за которой сидит Яков, и немного понижает голос: — Мой процент, милая, как у торговых людей,— рубль на рубль.

— Как?! — Мария, оторопев, смотрит на богача широко раскрытыми от ужаса глазами.

У Терентия на губах дрожит куцая, подрезанная кончиками круто свисающих усов улыбка.

— Хе-хе... Не уразумела? Берешь на год десять рублей, а возвращаешь на них еще десять.

— Терентий, что вы, побойтесь святой пятницы! — вскрикнула женщина.— Ведь это грех!

— Те-те-те,— злобно клокочет Терентий, проведя языком по кончикам зубов.— Бог еще терпит мои грехи. А разве я не по-божески?

— Да разве это по-божески? Подумайте сами...

— А чего думать? Лучше ты пошевели мозгами, если есть они у бабы,— перебивает Плачинда.— Что нам бог дает за год? А? Корова, сама знаешь, каждый год приносит теленка, лошадь — жеребеночка, овца — котится ягненком. Так почему же рубль не может принести хозяину рублик? Что, не так я говорю?— Кривая улыбка обнажает его словно отлитые из металла, закругленные зубы. И от этой улыбки все тело Марии обдает холодом.

Она качает головой, исподлобья смотрит на богача. А у того и улыбка и лицо добреют:

— Так поняла, что это правда?

— С такой правдой выходит, что раз свинья приносит в году двадцать поросят, стало быть, и вам, Терентий, надо на рубль двадцать требовать,— выпрямляясь, сердито ствечает Мария.

— Э, не равняй поганую свинью с божией скотинкой,— нетерпеливо машет рукой Плачинда. — Лучше скажи: писать тебе расписку на деньги или где-нибудь еще поищешь?

— Окунь берет на рубль полтинник.

— Так что ж ты, черт тебя побери, к нему не идешь? Может, он тебе и задаром вытрусит из кошелька деньги вместе

с сором?—Прищуренный глаз богача злится, и от него злость, словно круги по воде, расходится по всему лицу.— Я со своим добром набиваться не стану. Что ж ты думала, я тебе за так ссужу, да еще спасибо скажу? Голодранцы, как их ни выручай, как ни угождай им, всегда косо смотрят, обивают чужие пороги, а глядят чертом!

Богач режет словами, как ножом. Мария рукой защищает от них грудь, а затем и сама не выдерживает:

— Так пусть же к вам, Терентий, одна беда ходит, раз вы над нашей нуждой насмехаетесь!

— Вот у кого Роман учится! У родной маменьки! — ярится Плачинда.— Еще и голос подымает!

— А вы хотели и голос и сердце в кошелек упрятать? — бросает ему в лицо Мария, порывисто поворачивается и спешит к двери.

Уже в сенях, на пороге, она слышит шипение богача:

— Еще хорохорится!

Двор встречает ее звоном цепей и глухим ворчанием собак. Очевидно, псы разбудили в овчарне окотившуюся недавно овцу. Та жалобно заблеяла, ища ягненка, и, найдя, сразу успокоилась.

Когда за Марией затворяется дверь, из своей комнаты выходит Яков. На пороге он потягивается до хруста в костях, насмешливо и брезгливо смотрит на Терентия. Тот с одного взгляда раскусил мысли ученого брата, и его щеки краснеют и покрываются потом. Румянец заливает все его лицо от висков до подбородка, а Яков спокойно стоит на пороге и безжалостно колет Терентия презрительной улыбкой. В глазах у Якова злость гостит реже, чем у его брата, но зато они полны едкого презрения, которое бесит Терентия. Откуда оно? А все от книжечек, от этих проклятых книжечек. Выучил братца в семинарии на свою голову.

— Ну, чего уставился? Не видал меня, или больно я хорош стал?

— А ты не догадываешься, каким стал хорошим?

Бледное, в темных пятнах лицо Якова брезгливо морщится. На его массивном, упрямом подбородке подрагивают, проступая снизу, две продольные складочки, отчего подбородок все время неуловимо меняет форму.

— А ты мне кто — судья или начальник?

— Дождешься, брат, что и судьей тебе стану. Я не хочу, чтобы из-за тебя люди ошлевывали и меня.

— Ну и ступай, обнимайся, целуйся с ними, коли тебе мой хлеб не мил.

— Твой хлеб у меня давно поперек горла стоит, я не то что днем — ночью сквозь сон слышу про пакости моего братца.

— Это ты о чем? — Терентий пригибается, словно вот-вот вцепится в Якова.

— Сам догадайся: ты ведь у нас сметливый.

— Ты мне голову не морочь! Говори, что знаешь.

— Всего, что я о тебе знаю, и на воловьей шкуре не уписать.

— Ох, как бы я твою шкуру вдоль и поперек не расписал! — Желтые глаза Терентия темнеют от злобы.

— Как бы тебе самому не вытянуться вдоль лавки! — Яков сжал сухой кулак.— Ты уж лучше с мужиков шкуры сдирай. Как это у тебя выходит: корова каждый год приносит теленка, овца котится ягненочком, а рубль — рублем? — Яков сечет брата смехом, а тот просто задыхается от ярости.

— Начитался, стерва, всякой нечисти в книжонках своих, а теперь людям жить не даешь?!

— Да разве ты человек? — Яков от удивления даже руками развел.

— А кто же я? Кто? — На полу и на стенках заерзала его тень.— Кто?

— Живодер, барышник, обманщик, лиходей!

Яков отбивает каждое слово кулаком, и голова Терентия глубже уходит в плечи.

С каким наслаждением он разодрал бы своего брата, как жабу! Но сцепиться по-настоящему нельзя: у Терентия есть такие грешки, что за них и стыда не оберешься и в каталажку можно угодить. Боже правый, сколько раз он зарекался не водиться с темными людьми, а все не может устоять; то сам кое-что стащит из господского леса, то по дешевке скупит подозрительное добро, а потом трясется, точно сам украл.

— Яков, ну, не грех тебе так бесчестить брата?!

На пороге взмахнула широким рукавом Дарина. Из прорези вышитой сорочки выбивается высокая, волнующаяся грудь. Молодая женщина рукой стягивает пазуху и с умоляющим видом подходит к братьям. Боль в ее взгляде заставляет Якова угомониться. Он уступает невестке дорогу и отводит глаза от ее зажатой в пальцах пазухи.

— А что ж он, Дарина, шкуру дерет с людей? Где это видано, чтоб на рубль брать рубль процента?

— Ты хочешь, чтоб я деньги даром давал? — становится рядом с женой Терентий.— Купец думает, как бы не поменьше взять, а побольше.

— Не даром, но и не так, чтобы мне тобой глаза кололи.

— На чертовых голодранцев глядишь, а на Вараву молишься! Доведет он тебя до варшавской тюрьмы, а то и до Сибири. Попомнишь мое слово!

— Тише, Терентий, ну, неужто вы ладком не договоритесь? — успокаивает мужа Дарина.— В процентах я не больно разбираюсь, но вы-то кровные братья, это я знаю.— И глаза ее с Терентия переходят на Якова.

— Я же тебя, Яков, в учителя вывел,— пытается спокойно говорить Терентий.— Ты теперь можешь добывать и чистый кусок хлеба.

— Да ведь ты этот кусок хлеба вместе с душой моей втаптываешь в грязь. Неужели не можешь без обмана и надувательства покупать, продавать? Ну на что тебе было подсыпать в отцовский мед кукурузную муку? А теперь срам не оберешься и никто не покупает нашего меда.

— Ничего, купят, в Каменец свезу.— Терентий упрямо подымает кулак.

— Или для чего ты в пуд сала втираешь целых восемь фунтов соли? Думаешь, люди не видят, не называют что похуже плачиндиным салом или плачиндиным медом? Неужели нельзя торговать аккуратно, как немцы или англичане?

— Чего ты мне всякий раз своих немцев да англичан под нос тычешь? Не знаю я, как они торгуют, однако знаю: нет такого купца на свете, который захотел бы выручить меньше, чем можно. Стал бы на мое место — куда бы твои немцы да англичане подевались! Ты не обманешь — тебя обманут. Ступай уж, Яков, лучше в учителя. Детей еще, может, и обучишь чему-нибудь, а для таких, как я, не родились еще наставники.

Эти слова смутили Якова: в них была своя логика. Терентий сразу сообразил, что сумел подковырнуть брата, и уже почти добродушно проговорил:

— И в самом деле, Яков, почему бы тебе не пойти сейчас в учителя? Или, еще лучше, письмоводителем к приставу? Он как раз человека подыскивает. Работа чистая, и до чинов дослужиться можно.

— Я уже говорил тебе: из родного села — ни ногой.— Яков сердится на себя за выказанную слабость.

— А я, будь моя воля, убежал бы куда глаза глядят.

— Потому что ты насолил людям. А я хочу им сделать добро.

— Уж не баечками ли, которые ты записываешь курам на смех?

— А ты знаешь, что одна моя путная запись дороже всех твоих воровских денег?

— Я тебе покажу воровские деньги! Ты у меня лопнешь, как лягушка на огне!

Терентий замахнулся, но на руке его повисла с плачем Дарина.

— А, господи, бедная моя головушка!— запричитала она, отдирая мужа от Якова.

Ее горькие слезы смиряют братьев. Яков, отвернувшись, уходит в свою комнату и поспешно одевается, не слушая перешептываний за дверью. Заломив набекрень красноверхую смушковую шапку, он глядит в зеркало и криво, еще с остатками злобы на лице, улыбается. Казачий наряд чертовски идет ему. Чем не запорожец? Лицо пышет здоровым румянцем, брови черные, глаза хоть и серые, но смелые, не отступят ни перед кем, жаль только, что по-плачиндовски хищно подрезаны ноздри; он уже и вытягивал их в семинарии, однако нос не воловья шкура, на новый салтык не натянешь. Он еще покрутился перед зеркалом и как на пружинах вышел из дома, оттолкнул обрадовавшегося волкодава, бегом бросился в конюшню, отпер дверь и на ощупь пошел к жеребцу.

Одно наслаждение — оседлать лунным вечером коня, вывести на улицу, чертом вскочить на него и ощутить, как ветер обжигает тебе уши, как по обе стороны улицы выскакивают и сразу же остаются позади всё новые хаты.

— Ну, не чертов сын! — провожает Якова любовным взглядом Дорохтей Плачинда, как раз возвращающийся из церкви. Следя за всадником, он останавливается у плетня, согнутый, словно коромысло, и долго покачивает отяжелевшей головой...

XV

Старость подкралась неожиданно, как осень; она сразу подсушила дородного Дорохтея, изрезала лицо и шею тонкими морщинками, умерила шаг и пригасила жажду наживы. Теперь не столько хозяйство, сколько церковь тянет к себе старика. Прошлое часто кажется ему беспокойным сном. Про-

вел он его в тщете людской, в мирской суете и хлопотах. Как-никак, а нынешнее богатство Плачинд повелось от чумацких странствий Дорохтея, хотя из его денег, как из тела его, уже начисто выветрился дух вяленой рыбы. И Дон, и Крым, и рыба — это его прошлое, а настоящее — тихая церковь да пасека, запах и сияние восковых свечей, напоминающее, что и его, Дорохтеевой, душе недолго уже держаться в грешном теле. И теперь Плачинда не признает никакой иной работы, кроме пасеки. Там все проще и понятнее, чем дома, где нет мира между сыновьями, которым он отдал хозяйство, нет ладу и у Терентия с женой. Если на небе первый закон — порядок, так что уж говорить о грешной земле! Но у него в семье этот первый закон не блюдут, и это больше всего тревожит старика: ведь он всю жизнь все, что мог, тащил в семью. К его двору когда-то тянулись азовские, донские, одесские и крымские дороги, и все их изучил Дорохтей, а вот дороги своих детей он, выходит, изучить не сумел. Ох, не сумел, проглядел, пропустил их жизнь, как рыбу сквозь пальцы. Не веселит и другое. Его рубль, хоть и тяжко добывался на рыбе да на крымской соли-белозерке, а все же был чище, чем рубль Терентия. Как-то он сказал об этом сыну, но тот лишь засмеялся.

— Теперь, отец, иначе никак нельзя. Не я съем — так меня без соли съедят. Такое теперь нелегкое житье пошло, трудно удержаться.

Житье пошло нелегкое, и все же он, Дорохтей, не скупал у переселенцев хат и усадеб. Много было разговоров при покупке, а еще больше будет, как доведется продавать. Не лучше ли прикупить земельки у соседнего помещика? Он и об этом сказал Терентию, но сын только рукой махнул.

— На чужой роток не накинешь платок. Вы вот думаете живым до рая добраться, а ведь и про вас говорят всякое.

— Кто же говорит, сынок?

— Кто? А хотя бы дед Дунай.

— Ему Сибири не миновать! — В морщинках Дорохтея сразу зашевелилась злость.— Это мой враг заклятый.

— А про меня говорят не враги? Чудной вы для ваших лет,— пожал плечами Терентий.

Дорохтей возмутился:

— Что у тебя — полсела врагов?

— Полсела, а может, и побольше! — не удивился и не обиделся Терентий.— Вы думаете, одолженный рубль друзей растит? Вся бедпота — наши враги. Сегодня он валяется

у тебя в ногах — выручи, а завтра ножом по горлу полоснет. Идите лучше, отец, на свою пасеку, занимайтесь пчелами,— и вам будет спокойнее, и мне лучше...

Ну, пусть Терентий больше его не ужился с людьми, но надо же и для души иметь пристанище, надо, чтобы и она отдыхала на чем-то, чего-то боялась, чем-то тешилась. А у Терентия, кажется, и страха божьего нет. Вот и одолевают старика после вечерни всякие думы да размышления. Может, хоть дома святое писание успокоит.

Медленной и широкой, как у вола, походкой заходит Дорохтей во двор, угомоняет собачий лай и появляется на пороге своего дома. За столом над бумагами склонился Терентий. Верно, перебирает мужицкие расписки. Он, Дорохтей, все долги держал в голове, а Терентий так раскрутил колесо, что никакая память всего не удержит.

— Ужинать будете? — подходит к свекру Дарина.— Есть толокно из вьюнов.

— Нет, дочка,— отвечает Дорохтей, снимая кожух.— Ты лучше достань часослов... или нет, евангелие и почитай мне.

Дарина улыбается.

— Опять от Матфея?

— От святого Матфея,— торжественно подтверждает Дорохтей.— Моего деда тоже Матвием звали. И не смейся над теми, кто стоит на господнем пути.

— Вас еще киянкой не добьешь, а вы про господень путь талдычите,— бросает из-за стола Терентий, не отрываясь от своих бумаг.

— Цыц, анафема! — подымает голос старик.— Знаю, смерти моей ждешь?

— Ну чего вы разошлись на ночь глядя? Нужны вы, как муха в сметане! — Сын презрительно кривит губы и ниже склоняется над расписками.

Во дворе залаяли собаки, потом стихли, и раздался осторожный стук в окно. Дарина так и вздрогнула: не в первый раз слышит она этот воровской стук. Ох, не доведет он до добра и ее и Терентия... Муж быстро накидывает на плечи сборчатый кожух, берет шапку и выходит из дома.

Старик подходит к лампе, гасит ее,— он и поныне верит, что керосин — бесовское масло,— а на углу сундука, стоящего у кровати, зажигает свечку и, откинув дерюжку к стене, поудобнее располагается в постели.

— Грехи, грехи и суета сует,— вздыхает он и прикрывает глаза морщинистыми, посиневшими веками.

Дарина кладет на колени евангелие, листает шершавые, закапанные воском странички, монотонно читает:

—«Не судите, чтобы и вас не судили...»

— Верно, доченька, не суди, а то и тебя осудят.—На глазах у свекра слезы. Под старость глаза Дорохтея слезятся и на холоде и в тепле.

— «Не судите, чтобы и вас не судили,— повторяет Дарина и сама проникается прочитанным,— ибо какою мерой меряете, такою и вам отмеряют...»

Она хочет продолжать, но, взглянув на свекра, видит, что тот уже задремал и в уголках его глаз блестят две непролитых слезинки.

«Неужели это тот Плачинда, которого побаивалось чуть ли не все село?» Невестка присматривается к смягченным чертам старика. Как мало осталось от того властного и грозного мужика, который четырнадцать лет назад внезапно въехал к ним на хутор!

Тогда его примчала на таращанской бричке тройка молодых коней. Дорохтей молодцевато соскочил наземь и зорким оком углядел у колодца Дарину — она как раз белила на мягком солнце воск для монастырского свечного завода.

— Так это моя сноха? — Он засмеялся, подошел вплотную, придержал потной рукой за локоть и принялся осматривать ее, как барышник скотину, добираться пальцами до кости.— Хороша девка, ничего не скажу. Не знаю только, какова ты в работе — огонь или гнилая солома?

— Что вы, дяденька, делаете? — Дарина с испугом и отвращением выдернула руку.

— Силу, силу щупаю. Девка без силы — что корова без молока. А мне яловых не надо. Хе-хе-хе! Закраснелась, как пион... Может, хоть свежей воды подашь свекру?

Дарина стояла опустив голову, краснела, не знала, что и сказать, а под веками у нее щемило от слез.

— Что же, так и не достанешь водички? — смеялся Дорохтей, бесстыдно оглядывая девушку.

Доставала она ему воду, как смерть свою.

Гость, фыркая и обливаясь, напился прямо из бадьи, похвалил старый колодец, вспомнив, что он издавна притягивает на себя грозы, и потом пошел в хату. А Дарина, оскорбленная, не помня себя от тяжких слез, забилась в угол между хатой и плетнем, закрыла лицо согнутой в локте рукою. Сквозь раскрытое окно ей было слышно, как гость степенно кланялся хлебом-солью, как потекла спокойная беседа Дорохтея с

ее родными. Потом слова побежали быстрее, стали грубее, высунули жала и опять присмирели, чтобы затем снова добраться до печенок, стегануть, как кнутом.

— Пару волов даю за дочкой!— выдавил отец из горла, словно эти волы застряли там костью.

— Да кто же у нас чернозем на паре пашет? Или мышей будете припрягать?

— Ежели вам мыши по душе, дам и мышей.

— Давайте,— смеется Дорохтей.— А к ним еще пару волов прикиньте.

— Да где ж их взять?

— Из кошелька выколупать: он ведь у вас не порожний. А что положите в сундук?

— Все, что там и сейчас.

— Хе! Какова щедрость! — удивился Плачинда. Слышно было, как он подошел к сундуку, громыхнул крышкой.— Да тут же один табак!

— А табак — это золото!

— Зелье чертово, а дух райский.— Дорохтей засмеялся и решительно сказал: — Беру такой сундук.

Поняв наконец, что это продают ее молодость, девушка с плачем вбежала в хату, бросилась к отцу.

— Не гоните меня! Не пойду я от вас никуда. Ничего я не хочу...

— А это не твоего ума дело! Вон отсюда, а то так шугану, что полетишь через порог вверх тормашками.— Злой и багровый от торга отец вытолкал ее, хлопнув дверью, крикнул жене, чтоб затворила окна, и снова стал сбивать заломленное Плачиндой приданое.

Сватовство налетело, как вьюга, а свадьба вырвала Дарину из хутора в неполные шестнадцать лет, когда только мечталось выйти на греблю с девушками меж вечерними, затуманенными вербами, послать песню на росистые луга в ожидании своей неразгаданной доли.

Ее не расцветшая еще молодость в мыслях стыдливо льнула к бедному поденщику Мирону Велычку, который жил косой да цепом, а пропили ее за богача Плачинду, пропили со смехом, сперва под печальные, а потом под разгульные, срамные песни захмелевших богачек, толстых не то от жиру, не то от пяти-шести надетых юбок. Из темных ртов вырывались сальные намеки, несло похотливым бесстыдством. Пьяный скрипач, дергая струны, кричал с облупленного шестка: «Может, в подклеть пора?» — и косил глазом на дверь.

Бесстыдные, налитые жиром и водкой руки прощупывали ее полудетский стан в залихватском, бешеном подобии пляски. От всего этого на ее опущенных ресницах дрожали слезы беззащитности и хотелось голосить, как на похоронах.

В первую же ночь она прямо с брачного ложа убежала в лес к родителям, бросилась им в ноги. Но слезы не растрогали отца.

— Хочешь позором покрыть мою голову? Я тебя научу, как отца почитать, стерва! — заорал отец и принялся месить дочку, как тесто в квашне.

Потом бросил ее на телегу, пригрозил, что еще и рубелем [1] привяжет, и повез к Плачиндам. Там ее тоже оттрепали, как горсть конопли, а потом окунули голову в ведро с холодной водой, чтобы и слезы смылись и щеки порозовели,— все меньше будет в селе разговоров.

Трудно было привыкать к жадным, чужим объятиям, к чужим родителям и чужому миру, хоть и набитому богатством. Дарина выросла на лесном хуторе, где каждая дорожка пленяла новой, неизведанной прелестью, где за каждым перелеском, казалось, ждало что-то необычайное и заманчивое и где появление каждого нового человека становилось событием. Отец ее был зажиточный мужик, но богатство им приносили не батраки, а табак — бакун и турецкий остролист в рост человека, сады и пчелы, за которыми дети с малых лет учились ухаживать.

И вот этот мир розового цветения и горячего пчелиного звона с ужасающей быстротой сменился тяжелой, целодневной толкотней во дворе, звоном денег, шелестом расписок, вздохами должников-просителей и грызней мужа с бедняками. Это сперва пришибло ее. Детство и юность текли под птичье пение, а теперь ее отгородили от жизни желтая мгла всевидящих мужниных глаз и собачий лай, не смолкающий ни днем, ни ночью.

Сколько женщин завидуют ее достатку, а завидовать нечему. Здесь не с кем по-человечески словом перекинуться, не с кем ни повеселиться, ни погрустить, и богатство не очень тешит ее. Разве новый наряд иногда порадует душу. Вот и все ее бабье счастье. Может, было бы его больше, научись она смотреть на жизнь глазами мужа, но это не пришло к ней, хоть душа ее падает все ниже и никогда уже ей не взлететь

---

[1] Рубель — жердь, которой крепят сено на возу.

к той прозрачной чистоте, какую она зачерпнула в мире розового цветения и птичьих песен.

Скрипнула сенная дверь, возле каморки послышались шум, возня, и в комнату вошел Терентий. Подойдя к свече, он молча развязал желтый, из свиного пузыря, кошелек, вынул деньги, осветил их скупыми глазами, взвесил на ладони и снова ушел в сени шептаться с кем-то.

«Вот так и свекор прежде тянулся к богатству, а теперь всем, что осталось от души, тянется к богу, и не деньги, а две слезинки в глазах светят ему». Дарина посмотрела на Дорохтея, на еще не высохшие капельки его слез и вздохнула, затужила о чем-то, так и не изведанном в ее двадцать девять лет.

Дарина лишь иногда смутно догадывалась, что тревожит ее мятежное чаяние любви. Оно мало походило на то чувство, которое испытывала девочка-подросток при виде горячего Мирона, когда сердце само останавливалось в груди, хотелось радоваться и плакать. Пройдет, бывало, Мирон с косой, а она потом, как ребенок, широко шагает по его следам и стыдливо оглядывается, чтобы кто-нибудь не догадался, не посмеялся над ее доверчивой привязанностью. Раз рвала она в лесу черешни. Вокруг дымился рассвет,— казалось, деревья стряхивают с себя туман, пахнущий лесным щавелем и влажной земляникой. Дарина тихонько запела, не опуская песню с ветвей на землю; вдруг видит — по тропинке идет Мирон; за плечами сбитая коса, у пояса деревянная кушка и наострень, во рту трубка. Девочка так и застыла на дереве, не отрывая глаз от парня. А он, попыхивая трубкой, прошел по тяжелой от росы траве, даже не глянул на черешню. Она, Дарина, и поныне не знает, как тогда скатилась с дерева. Парень удивленно оглянулся, увидал ее, промокшую в росе, исцарапанную и смущенную, улыбнулся.

— Не ушиблась?

— Нет.— Она чуть покачала головой.

— Ягоды рвала?

— Ага. Может, вам отсыпать?

— А не жаль? — Мирон белозубо засмеялся, подошел.

— Нет.— Она прижалась спиной к черешне.

Мирон протянул руку.

— Вы развяжите котомку.

— Много будет.

— Я еще нарву. Развяжите.

Девочка так сказала это, словно не она, а он ее собирался одаривать.

Мирон, изумленно улыбаясь, развязал котомку, и она щедро насыпала ягод на густо посоленную краюшку хлеба с запекшимся желтым дубовым листом на исподней корочке.

— Хватит, девонька! — Мирон перехватил ее руки, а потом смущенно погладил по голове.— Спасибо, сердце! Расти большая...

И ушел. А она обхватила руками черешню, чувствуя, как отдается в стволе стук ее сердца. Щемило глаза, ныла душа; чтобы не расплакаться, она полезла на дерево, сорвалась и вдруг слышит:

— Может, подсадить?

— Ой нет!— Она подняла на парня влажные глаза.— А то... подсадите...

Он положил косу на траву и легко подхватил девочку. Прижавшись плечом к руке Мирона, она смущенно заглянула в его спокойные глаза.

— Мирон,— тихо прошептала она,— какой вы добрый...

Он засмеялся:

— Может, и так. Меня дети любят.— Он усадил девочку на ветку, нагнулся за косой и зашагал лесом, оставляя следы на шелковой с холодком траве.

А то еще она встретилась с Мироном в конце лета, когда уже косили отаву. Дарина по целым дням лист к листу перекладывала сеном турецкий табак, славно уродившийся в то лето на радость ее скуповатому отцу. И однажды утром в щель между бревнами овина увидала... своего Мирона. Она бросила табак, выбежала на огород, но парня и след простыл. Тоска не покидала ее весь день. Поздним вечером, усталая и грустная, она ужинала со всей семьей, и вдруг из-за окон, из-за темных придорожных деревьев вечер принес тихую молодецкую песню:

По деревне, по деревне
Везут с луга сено,
А ты, моя красавица,
Поужинать села.

— Ой! — тихо вскрикнула Дарина.

— Ты чего? — удивилась мать, ставя на стол большую миску с едой.

— Ничего.— Девочка застеснялась, сползла с лавки под стол, касаясь ног братьев, вылезла с другой стороны и выбежала из хаты.

— Очумела девка! — донеслись до нее брошенные вдогонку слова отца.

Братья засмеялись.

Во дворе вечерняя трава обжигала ноги росой, из овина доносился крепкий запах табака, а от леса все лился смущающий сердце голос парня:

Поужинай, красавица,
Отдохни маленько
Да подай мне голосочек
В вишневый садочек.

Песня все ближе, и вот уже Мирон прошел мимо частокола. Дарина не видела парня, только слышала его шаги и со всех ног побежала к воротам.

Ты думаешь, красавица,
Я сплю под копенкой,
А я слышу каждый вечер
Голосок твой звонкий.

В свете молодого месяца проплыла мимо фигура косаря, а ей казалось, что это проходит мимо ее судьба, озаренная далекими звездами. Но Дарина не отважилась даже словом остановить ее, только пальцы на сердце переплела. Так и прошла судьба ее мимо ворот, только мимо сердца не прошла.

Вот и вся ее любовь. Но когда становилось очень уж тяжело на душе, Дарина снова погружалась в тот купальский лес, в тот вечер ранней осени, в душистую мглу, освещенную молодым месяцем, и снова видела, как спокойно шагал с косой на плече стройный парень, не ведая, что косит он не траву, а ее любовь...

Но нельзя жить одними воспоминаниями: в самом смиренном сердце, если не с кем поделиться, зреют страсти, и у него есть право на свою судьбу, на тягу к душевной близости, к любви. И Дарина все годы стремилась к чему-то. Не раз в одиночестве казалось ей, что настанет нежданный час и она одним махом отбросит, как пелену, прожитые в чужом мире годы, и снова вернется к ней, приплывет под молодым месяцем стыдливое отрочество, а из глуби вечера придет милый косарь, ибо нет для него другой дороги, другого счастья.

Так она и носила в сердце боль, и воспоминания об искалеченной молодости, и туман затаенных надежд, леденевший, когда она встречала желтые, как пятнышки на щуке, глаза Терентия.

XVI

Влекут и манят кружащиеся перед глазами вечерние хаты, припорошенные лунным светом. Кажется, все село, как гигантское мельничное колесо, вращается вокруг сросшегося с конем всадника. Так, верно, в запале боя видели перед собой всю землю непокорные запорожцы, так и входили они в славу и в бессмертие.

Застоявшийся жеребец галопом летит по улицам, кровь молодого Плачинды весело бурлит, он не в силах удержаться от разбойничьего гиканья и видит себя то лыцарем-запорожцем, то прославленным старшиной, то самим паном гетманом. Вычитанная в книгах и привитая украинофилами старина бродит в нем, как свежие дрожжи в тесте, а душа рвется не к братнему копеечному лихоимству, а к величию деяний национального масштаба, к битвам с врагами и к любовному зелью, которое теперь бурлит в его крови днем и ночью, пьянит его в снах то святой девичьей красотой, то грязными страстями, ибо пора уже и ему пригубить любовный кубок, известный пока только из книг. «Любовный кубок»! Эти слова, найденные в стихах, поразили Якова, и он с тех пор носится с ними.

У опушки Яков нагоняет двух девушек. Не в венках и плахтах, как хотелось бы ему, а в простых платочках и узеньких бедняцких юбочках, из-под которых выглядывают подолы вышитых сорочек. Хорошо хоть так, а то скоро городская материя начисто вытопчет девичьи вышивки на крестьянском полотне.

Девушки отпрянули, а когда прошел первый страх, засмеялись.

— Гляди-ка! Мы думали — Стадницкий, а это Плачинда! — замечает, стоя в снегу, маленькая вострушка с удивленно-веселым лицом.

«Христина Гордиенко,— узнает Плачинда.— А другая чья же?»

Он сбивает норовистого коня вправо.

— Как тебя звать?

— Как хлеб жевать! — не задумываясь, отвечает та, и под ее красиво очерченными губами дрожат в улыбке ямочки.

Улыбка переходит на лицо Якова.

— Чья ж ты, умница, такая?

— Чья бы ни была, да не ваша,— задорно отвечает Христина и смеется.

— Пока не моя, а там увидим, сказал слепой,— бросает Яков Христине и снова косится на незнакомку: — Так чья же ты? Отцова да мамина?

— Нет, я вон того месяца дочка,— грустно отвечает девушка и выходит на дорогу.

— Сирота она, без отца, без матери,— шепчет Христина, подходя к всаднику.

— Как жаль! — тихо, с чувством говорит Яков и трогает коня, наезжая на тень стройной, горделивой девушки.— Стало быть, не скажешь, как тебя звать? — спрашивает он, нагибаясь к ней с седла.

— Нет, не скажу.— Она поворачивает к нему лицо, и в глазах у нее мерцают капельки лунного света.

«Красивая. Вот он, любовный кубок»,— думает Яков, а говорит насмешливо:

— А я подвез бы тебя, не будь ты такая гордая.

— На что вам, Яков Дорохтеевич, бедных девушек подвозить? Ищите себе богачек: они к этому привычнее, да и вам будет удобней.

— Ну и остра же ты на язык! — замечает Яков, любуясь девушкой.— Как нож!

— Такая уж уродилась.

— Люблю таких.

— Любите, кого хотите, а держитесь одной,— без улыбки глумится над ним девушка.

И смущенный Плачинда умолкает. Ему хотелось бы, чтобы красавица с чарующими славянскими чертами лица стыдливо краснела и молчала перед ним, являя собой истинный образец украинской молодой женщины. И вот на́ тебе! Хороша, да въедлива. Этому она, верно, в экономии научилась. Там девушке приходится отбиваться от зла и словами, и руками, и слезами. Ох, уж эти экономии, города! Как они калечат тихую крестьянскую душу, как рано там опускается темная завеса над девичьей жизнью! Если ему удастся достичь вершин национальной власти, он, как ведьмовское зелье, истребит на Украине поместья и экономии.

Яков ловит себя на мысли, что его рассуждения об экономиях сходны с рассуждениями старшего брата. Неужели их взгляды совпадают? Нет, в них есть и немалое различие: Терентий напирает не столько на моральную деградацию, сколько на то, что экономский батрак стоек и более дорог. И тут его старший брат, цепкий всюду, где пахнет барышом, совершенно прав.

Яков пытается подъехать к девушке вплотную, но та маленькой, однако сильной рукой бесцеремонно отводит от себя конскую морду и бросает неласково:

— Ехали бы поосторожнее. А то, может, повернете назад?

Яков напускает на лицо таинственную грусть.

— Не могу я, девушка, повернуть: притягивает меня твой приворотный корень.

Христина смеется, а Люба — это она — в изумлении всплескивает руками.

— А я думала, для Плачинд приворотный корень — чужая земля да чужие хаты!

— Ты говори, да не заговаривайся! — с сердцем бросает Яков.— Я тебе не Терентий.

В ответ — ни слова, и он замолкает, изредка поглядывая на гордую девушку, догадываясь, что ее презрительность и резкость — лишь защита от докучливых волокит, от грязи помещичьих лакейских.

Дойдя до двора Морозенок, подруги отворили калитку, обернулись к Плачинде и скрылись, словно их и не было. И только минуту спустя уже с крыльца донесся щебетливый, как весенний ручеек, голос Христинки:

— Доброй ночи, Яков Дорохтеевич! Не гневайтесь, а приезжайте за приворотным корешком.

«Кто же она? — Яков злился на гордую девушку и чувствовал, что, кроме злости и любопытства, вокруг сердца обвилось еще что-то.— Видно, и впрямь наскочил на приворотный корешок».

Он стегнул плетью жеребца, тот от неожиданности и обиды закружился на месте и, выравниваясь, ветром понесся к хутору Варавы. Там Яков надеялся услышать новости, тем более что Виталий Стратонович только вчера вернулся из Киева.

В лунном свете живописно раскинулись тополя, потом словно из-по земли вырос хутор, а за ним блеснули льдом пруды. На одном из них веселилась молодежь.

У ворот Яков увидел Тодоску. Подпирая плечами калитку, она мастерски грызла семечки и время от времени поглядывала на пруд, откуда долетал смех и веселый гомон. Увидев Якова, ключница засмеялась, оглаживая холеной рукой надетый внакидку кожушок.

— А я и не вижу, что к нам казак едет! — Она повела пышным станом, и двусмысленная улыбка пробежала по грубовато-красивому лицу, сохранившему что-то от девичьей чистоты, но исполненному греховного любопытства наложни-

цы. В ее вызывающих, с влажным блеском глазах тлел притушенный соблазн.— К нам, Яков Дорохтеевич?

— К вам, Тодоска. Как поживаете?

— Как мы поживаем... Есть люди, так хорошо, а нет— хоть волком вой, просто чахнешь на этом безлюдье.— Ее нижняя губка мило шевельнулась от обиды, шевельнулись и груди, но ключница не торопилась прикрыть их кожушком.

— Ты, верно, и в аду не зачахла бы.

Яков соскакивает с коня и шутя привлекает к себе одной рукой Варавину утешницу.

— Побойтесь бога, Яков Дорохтеевич. А вдруг барин увидит?..— Она, посмеиваясь, поворачивает голову к воротам, но не спешит вырваться: чем Плачинда хуже Варавы? Вокруг ее ног шуршит крахмальная, из кубового ситца юбка, и в этом шорохе тоже соблазн, притягивающий не одного мужчину.

— Дома Виталий Стратонович?

— Дома. Не знаю, пирует или уже спать пошел.— Тодоска загадочно улыбнулась, отвела руку гостя.— Погодите минутку.

Порывисто отворила калитку, под кожушком раздался перезвон ключей, и она так и понесла его в глубь двора, а перед глазами Якова, как только женщина скрылась, снова вырос иной образ — красивой и гордой незнакомой девушки.

Вскоре с крыльца донесся голос Варавы:

— Яков Дорохтеевич, прошу!

Плачинда ввел коня в ворота, передал Тодоске повод, а сам поспешил навстречу хозяину, от которого уже несло водкой и запеканкой.

— Добрый вечер, брат! — Варава обнял Плачинду.— А у меня гости собрались.

— Может быть, я не вовремя?..

— Как раз вовремя. У нас только свои. Из новых одного учителя пригласил.

— Левченка? — удивился Плачинда.

— Его. Зачем нам отгораживаться каменной стеной? Может, и он прибьется к нашему берегу.

— Вряд ли, Виталий Стратонович. Это ягода с чужого поля. Не косятся на него?

— Еще как косились бы, но я предупредил наших, что в Киеве кое-кто из наиболее государственно мыслящих людей предпочитает лучше иметь своих социалистов, даже свою

социалистическую партию, чем идти под крыло России и денационализоваться. Пусть и социалисты работают, но на нашей почве, у нас на глазах, а там увидим.

— И то верно,— согласился Яков, уже подходя к полупритворенным дверям комнаты, в которой были смешаны строгая мебель в украинском стиле и мягкие барские кресла, обтянутые цветистым кретоном.

За празднично убранным столом сидели разогретые хмелем гости. Был здесь судебный следователь Чернокнижный, старший помощник правителя канцелярии губернатора господин Воронец; рядом с ним сидели директор крестьянского банка Петро Васильевич Зубченко и деловод сиротского дома Прокоп Иванович Солуха, а напротив примостились двое молодых земцев-экономистов и статистик Гурий Хвост, брат которого давно уже стал Хвостовым; у последних троих на шеях красовались пестрые шелковые платки. Экономисты ловко расправлялись с запеченным окороком и посмеивались над статистиком, утверждая, что немцам и не снилось такое блюдо. Узколицый, с подтесанными скулами, статистик, поклонник всего немецкого, презрительно отмахивался от экономистов и всеми способами набивался на ученый разговор с учителем, который сидел рядом с Лисовским.

«И сейчас социализмом дышит»,— неприязненно подумал про учителя Плачинда и стал внимательно присматриваться к гостям. Его поразил старый помещик Олександр Гарматий, единственный здесь представитель украинского этнографизма. На этой пирушке недавний столп старины сидел как на похоронах: новейшее, исполненное политического брожения общество безжалостно растаптывало и хоронило его провинциальные окаменелые идеалы, хотя и само не могло прийти к какому-либо согласию. В остекленевших глазах Гарматия, в его прореженных годами, омертвевших волосах, в геологической морщинистости лица чувствовалось дыхание смерти. И он цеплялся за жизнь, воспринимая ее уже не столько зрением, сколько слухом, прикладывал к высохшим, похожим на раковины улиток, ушам длинные и желтые, как свечи, пальцы.

«И для чего было приглашать эту развалину?» — невольно подумал Плачинда, учтиво кланяясь и улыбаясь Гарматию. Яков и не подозревал, что глуховатым консерватором хитрец Варава прикрывал, как ширмой, все сборище. Времена, когда на Гарматия косилась жандармерия, давно миновали, его идеалы не страшили верных псов царизма.

— Как здоровье, Олександр Максимович? — осведомился Плачинда, подходя к старику.

— А-а-а, чумацкий сын! — мертвенно проскрипел Гарматий.— Как поживаешь?

— Слава богу.

— Живешь и хлеб жуешь?

— Да, жую помаленьку.

— Молодец, молодец! Казачина хоть куда, истинно чумацкая кровь! Учительствуешь уже?

— Пока нет.

— Неохота? — Геологические морщины шевельнулись от удивления.— Пора, пора просвещать неразумные головы словом божиим и человеческой правдой. А эти щеглята, лихоманка их тетку забери, не спрашивая брода, кидаются сломя голову в политику.— Он поднял восковую руку, и она задрожала над высокой миской с пампушками.— Все платформу да программу ищут. А все эти программы от собачьей мамы! — Его испещренные прожилками веки шевелились над мертвенно поблескивающими глазами.

— Какую программу? — присев рядом со стариком, спросил Яков.

— Какую же еще? Ту самую, за которую, лихоманка их тетку забери, отправляются туда, куда Макар телят не гонял.— Старик нагнулся над гусятиной.— Какой аромат! А от них сепаратизмом несет.— С остекленевших зениц неудовольствие перекатилось на студенистую желтизну белков, которые старость тоже затянула хрупкой паутиной прожилок.— Сепаратизм у них в программе!

Это уже было нечто новое. Выходит, всеобщая беспартийная Всеукраинская организация[1] ставит новые вехи на своем пути. Яков подошел к Вараве, потихоньку спросил, что за программа готовится. Варава чокнулся с ним, выпил, поморщился, засмеялся.

— И как ее пьяницы глушат!.. Видишь ли, брат, молодые члены совета Всеукраинской организации решительно настаивают на том, чтобы не ограничиваться культурно-просветительской деятельностью, а взяться за политическую работу, иначе, пользуясь нашей мужицкой вялостью, верх возьмут социалистические элементы, ведь теперь все кипит, шумит, клокочет, как в котле. Стало быть, надо всемерно бороться за то, чтобы наша передовая общественность не отталкива-

---

[1] Националистическая организация, основанная в 1897 году.

лась от украинского берега и не тянулась к чужим политическим маякам.

Варава объяснял охотно и со вкусом, поглядывая на учителя, которого горячо убеждал в чем-то узколицый, линяловолосый Гурий Хвост:

— Вы, Степан Васильевич, должны понять, что у интеллигенции это движение национальное, а у крестьянства — социальное.

— Интересные у вас мысли в голове,— учтиво отвечал учитель, а на его темных губах трепетала насмешливая улыбка.

Экономисты, предвкушая забавное зрелище, издевательски поглядывали на Гурия, а тот перешел на фальцет, стараясь привлечь к своим социологическим познаниям внимание присутствующих:

— Вдумайтесь, Степан Васильевич!

— Вдумываюсь.— Учитель обхватил голову руками и поднял на Гурия невинный взгляд.

— Реформа дала крестьянству землю, удовлетворила его социально,— статистик подчеркнул свои слова указательным пальцем. — Следовательно, чтобы у цвета нашей партии вызрела завязь возрождения, называемого у нас самостийностью, чтобы мы могли дождаться золотых плодов этой завязи, надо пропустить наше крестьянство сквозь фильтр национального самосознания и немецкого хозяйствования.

— Боюсь, что после такого фильтра крестьянство оставит в чужих цедилках и самую воду и душу,— коротко ответил Степан Васильевич.

— Я знаю, вы за кацапов, за московщину. Вам Германия и вся Европа ни к чему,— прибегнул к ламентации Хвост.— А что нам дала московщина? Ничего и ничегошеньки не обещает. А вот Бисмарк обещал нам самостоятельное украинское королевство.

— В которое, кстати сказать, входил бы только огрызок Украины. Я не советовал бы и вспоминать об этом самостийном ничтожестве, пусть во главе стал бы даже украинский король.

Мясистый нос на костлявом лице Хвоста покраснел.

— Вам, господин Левченко, наши национальные идеалы представляются ничтожеством?

— Ужели же Бисмарк — ваш национальный идеал? Что это — незрелость мысли или вы в самом деле лезете вон

из национальной кожи, чтобы на чужбине «искать нам доброго добра», как писал Шевченко?

Узкие глазки Хвоста налились гневом.

— Вы не так меня поняли! Я стою за то, чтобы наша мать Украина из хуторской глухомани выходила на простор европейских политических комбинаций, втягивалась в европейскую планетную систему.

— А солнце этой системы — Германия? — Учитель непримиримо посмотрел на оппонента.

— Хотя бы и так, хотя бы и так,— статистик оглянулся вокруг, ища поддержки.

— Ну и грейтесь под чужим солнцем, примеряйте чужие одежки, только не болтайте о национальных идеалах, в то время как сами бегом устремляетесь в ярмо социального и национального рабства. А я не хочу, господин Хвост, чтобы наша Украина была поместьем Германии. И без того треть Херсонщины, Екатеринославщины, Таврии, Волыни захватили немцы, а вы хотите отдать им все? Тогда от украинской планеты останется одна золотая пыль, да и та станет удобрением на чужой земле. Вы этого хотите?

— Это... это... ваши фракционные измышления...— Поклонник всего немецкого в растерянности стукнул вилкой по столу, а экономисты расхохотались.

— Что, съел?

— Не тянись к немцу, хоть он и черта выдумал.

Варава, чтобы унять спор, высоко поднял рюмку и окинул всех лукавым взором раскосых глаз.

— Милостивые государи! Прошу поднять бокалы за глубокоуважаемого Олександра Максимовича, нашего славного патриарха, посеявшего столько добра на широкой ниве нашей страдалицы матери Украины, за того, кто и поныне молится о доле родного народа. Капля долбит скалу, а доброе слово долбит каменные стены бесправия и темноты. Пусть же это доброе слово Олександра Максимовича, пусть записанные им памятники старины послужат нам и грядущим поколениям.

Гарматий растроганно приподнял над стулом обвисшее дряблое тело, кивнул головой, не расслышав, как рядом кто-то проговорил:

— Что же, выпьем за поколение белых горлиц, за тех, кто посеял в нашу почву чертову гибель мелких дел, взлелеял культ страха, насадил религию лояльности, рядил украинство в лохмотья этнографических теорий и тем временем дослужился до медалей и крестов.

— Брависсимо! — крикнули экономисты.

— Угомонитесь вы, желторотые! — заклекотал, закипел тенорок библиомана Солухи.— Перед богами не лают, а снимают шапки.

— И дьявол хотел в боги выскочить! — смело парировали экономисты.

Солуха поморщился, словно раскусил перчинку, презрительно посмотрел не на земцев, а на их пестрые платки и сердито крикнул:

— Отстегать вас некому, птенцы пестроперые!

— Га-га-га! — засмеялись земцы, словно Солуха срамил вовсе не их.

— Господа, господа! — Варава постучал вилкой по графину, пытаясь сгладить разногласия и как-нибудь сохранить рамки приличий.

Но «господа» расходились все больше, браня и поколение «белых горлиц», и Гринченка, и даже Чикаленка, который, ощущая веяние времени, советовал помещикам продавать землю.

— А что вы скажете об этом украинском феодале? — обратился к Левченку Плачинда, следивший за каждым произнесенным и напечатанным словом Чикаленка.

— Могу сказать только одно: он умнее других землевладельцев. Он понял, что земля все равно перейдет в руки народа, и решил лучше продать ее, чем отдавать даром.

— Нам надо сперва думать о свободе, а потом о земле! — крикнул через стол Варава.— До каких пор мы будем носиться, как дурень с писаной торбой, с идеалами серой свитки! Пора готовить из этой серой свитки культурного хозяина и хорошего солдата.

«Вот для чего он так тщательно изучает военное дело»,— с уважением подумал Плачинда, а Гарматий, выходя из полузабытья, подтянул нижнюю губу и зашамкал Якову испуганно:

— Щеглята. Неощипанные щеглята, которые дерутся перед силками. Тщетно их чириканье и тщетна возня, поймите, мой милый. Они еще не знают, что такое ответственность и где раки зимуют. Не торопитесь и вы к пятому акту украинской драмы.

Последние слова поразили Якова, он хотел ответить старику, но в это время скрипнула дверь, и на пороге картинно стала дородная Тодоска. Ее разгоревшееся на морозе лицо, полные губы и лукавые глаза выражали, однако, смущение и растерянность.

— Что тебе, Тодоска? — Варава с неудовольствием поднялся, по обе стороны его горбатого носа собрались маленькие косые морщинки.

— Отец Николай приехал,— тихо проговорила ключница.

— Отец Николай?! — вскрикнул от неожиданности Виталий Стратонович.— Какого черта здесь надо этому долгогривому?

— Откуда мне знать? — пожала плечами Тодоска.— Ему как будто известно, что у нас гости. Уж не проведал ли у кого из наших на пруду?

— Вот старый ярыжник! — презрительно процедил Варава.— Беги и скажи ему, что барин отдыхает! — И, отвернувшись к завешанным окнам, гневно добавил: — Дьявол в рясе.

Тодоска смиренно поклонилась спине барина, двинулась, протягивая руку к двери, но с удивлением задержала пальцы в воздухе: дверь сама отворилась в полутьму прихожей, а оттуда выплыл, сияя веселой улыбкой, тучный отец Николай.

— Добрый вечер добрым людям! — как ни в чем не бывало приветствовал он присутствующих и бережно снял камилавку.

Страх, растерянность, удивление отразились на лицах гостей, и в комнате улыбался теперь только отец Николай, который словно и не видел, что делается вокруг, хотя уже пересчитал мысленно всех сидящих и в голове у него блуждали догадки. «Хе-хе, и учитель здесь,— смеялся он в тайниках души.— Но почему же вместе с ним сидят Гарматий и Солуха? Неужели Варава после варшавской тюрьмы хитрить научился?» И он едва сдержался, чтобы не запеть по привычке: «Хвалите господа, хвалите...»

Виталий Стратонович, едва перемогая гнев, взял у попа пропахшую церковью и потом камилавку и держал ее в руке, не зная, куда деть,— его трясло от возмущения. А отцу Николаю хоть бы что. В тепле его веселые ноздреватые щеки отогрелись, и на них уже залоснился природный жирок.

— Хе-хе! А тут, вижу, тайная вечеря.— Отец Николай весело обвел присутствующих щелками глаз.— И сидят за тайной вечерей с чарками одиннадцать апостолов.

— Одиннадцать, батюшка,— Левченко поднялся, прикидываясь пьяным, в руке у него качнулась чарка.— Одиннадцать апостолов, как вы точно изволили пересчитать. Только Иуды не хватало.

Над столами словно ветер пролетел, и комната напряженно замерла.

На лице отца Николая от прилива крови потемнели жирные пятна, и только раз дернулись не то от боли, не то от злобы округлившиеся уголки рта. Но батюшка стойко выдержал внезапный разительный удар и, приветливо улыбаясь всем, ответил:

— И Спасителя не было... Разрешите и мне с мороза выпить рюмочку за здравие всех.— Он с достоинством понес изобилие телес и рясы к библиоману Солухе, которому не раз продавал древние библии, выпрошенные у старых людей. Солуха, ежась от змеиной улыбки отца Николая, налил ему бокал, и поп чокнулся со всеми, не обойдя и Левченка, даже сказал тому любезность, хотя мысленно стирал в порошок богохульника, призывая на него все беды. Овладев собой, и сам хозяин был вынужден провозгласить здравицу отцу Николаю. Поп учтиво, насколько позволяла ему полнота, поклонился Вараве, поблагодарил за честь и высказал надежду, что не помешал трапезе добросердечного и многоценного общества.

— О, что вы, что вы, отче, мы очень, очень рады вам,— поспешил заверить Варава, не забывая изображать пьяного.— Может, и вы святым словом поможете нам разрешить мирские споры. Мы целый вечер бьемся, не в силах найти общее решение одного научного вопроса.

— Это потому, что наука теперь пошла вразброд, как стадо по чужим пастбищам,— с достоинством возгласил отец Николай и поднял щепоть.—Ученые забывают великую силу сладчайшего слова господня, хранимого для тех, кто боится его, они, как купальские светлячки, хотят светить собственным светом. А с нас довольно и той науки, что была при Ярославле Мудром,-- церковная азбука, часослов и псалтырь. Так по какому же вопросу вы не сошлись во мнениях?

— По вопросу о буржуазии.

— О буржуазии? — Поп разочарованно выпятил губы и приподнял круглые, бабьи плечи.

— Ну да.— Варава покосился на гостей.— Большинство думает, что буржуазия — соль земли, что она, хотя и эксплуатирует рабочие слои общества, в то же время поставляет идеологов и поборников демократизма и науки, а также содержит школы, больницы, дает средства на образование. Поэтому ради подъема культуры нашего народа нам следует

желать пышного расцвета буржуазии и сближения противоположных экономических классов посредством просвещения. Через пропасть классового антагонизма необходимо перебросить мост общего блага, национальной идеи, сознательности. И тогда по этому мосту культура, которая не считается с разделением людей на классы и нации, перейдет от буржуазии к народу, станет общим достоянием всех слоев общества. Как вы на это смотрите, батюшка?

— «Где в доме согласье, там мир, тишина»[1].— Отец Николай тряхнул засаленной гривой, желая поскорей разобраться, какая же крамола скрывается под национальной идеей. Уж не сепаратизм ли?

— А как вы, Степан Васильевич, смотрите на буржуазию? Наверное, насколько я понял, неодобрительно? — улыбаясь, спросил Варава Левченка.

В комнате стало тихо. На Степане Васильевиче скрестились любопытные взгляды.

— Ну что же,— ответил он насмешливо,— если хотите знать мою мысль, извольте: я тоже думаю, что буржуазия — соль, только не соль земли, а соль в глазу.

Варава поморщился, отец Николай с интересом обвел взглядом гостей, а один из экономистов восторженно воскликнул: «Брависсимо!»

Степан Васильевич заторопился домой. За ним поднялся и Тадей Станиславович. Варава, потихоньку честя бранными словами долгогривого пакостника, проводил их до саней Лисовского и задумчиво попрощался, не решив еще, что ему делать с попом: играть ли перед ним дурака или наедине так пригрозить, чтобы у того надолго пропала охота строчить доносы в охранку?

Когда крохотные крылатые санки выскочили на дорогу, Тадей Станиславович тронул Левченка за плечо.

— Испортил обедню старый доносчик. Я и не допил по-человечески. Не поехать ли ко мне?

— Так поздно?

— А что нам, молодым да неженатым! У меня и свежая клубника найдется... Заберемся в теплицу и будем там пировать.

— Спасибо.

— Даже клубникой не соблазню вас? — Лисовский поднял брови.

---

[1] Строка из комедии И. Котляревского «Наталка Полтавка».

— Даже клубникой.

— Удивительно! А почему же, позволоте спросить? Сам царь, кажется, в такую пору не отказался бы от подобной роскоши.

— Так то царь. А я не имею права на такую роскошь,— покраснев, ответил учитель.

— Какое же тут право нужно? — удивился Лисовский.— Не таитесь, прошу вас!

— Я и не таюсь.— Учитель уже сердился на себя за смущение.— Какое же я имею право есть тепличную клубнику, когда у людей и черного хлеба нет?!

— Ах, это все народничество и рахметовщина! — засмеялся Лисовский.— Скучно вам будет жить на свете с такой постной романтикой.

— Как-нибудь проживу.— Левченко по-юношески сверкнул глазами и посмотрел на темную завесу дубравы, над которой уже колесом катилась луна.

XVII

Теперь, когда днем на снегу и в хмельных, пропахших цветущим орешником оврагах заворковали голубями ручьи, а вечера стали звонкими и чистыми, никто уже после работы не заглядывал в прокисшую сторожку. Добрые сыны леса расходились по домам, и кровь, бродившая в них, была крепче раннего березового сока. Лесорубы спешили на лужайки, под вербы, в сад, к влажным от весенних слез калинам, к реке. Там их ждал самый сладкий на свете шепот, там ждали их самые дорогие на свете глаза, там в завороженной тиши встречались они с любовью.

А лесной сторож Юхрим, оставаясь в одиночестве, варил свой неизменный кулиш со шкварками и, поднося к вялому рту ложку, всякий раз говорил с нею о том, как вкусен кулиш и как непочтительна стала теперь молодежь, и о том, что вообще свет не к добру идет: и земля не так родит, и на небе знамения. Роман как раз и подоспел к этой неизменной беседе. Сперва он в потемках никак не мог понять, кому это старик так бранит теперешнюю молодежь, уготовляя ей на том свете только одно — преисподнюю. А когда наконец сообразил, рассмеялся.

— Вы, дяденька, еще в другую руку чарку возьмите, и выйдет у вас беседа, как на сватовстве.

— Хи,— Юхрим по привычке выдавил из себя подобие смеха, но на его искорябанном лице не дрогнул ни один мускул.— У вас сватовство да свадьбы в голове, а о боге и подумать некому. Недаром на небе знамения.— И он, неопределенно пошевелив пальцами свободной руки, отхлебнул из ложки.

— Это верно,— поддержал сторожа Роман.

— И ты видал? — Выпученные, как у судака, глаза Юхрима расширились.

— А как же! Как выпью лишнюю косушку, всегда вижу,— ответил Роман и затрясся в беззвучном смехе.

Старик презрительно подождал, пока парень перестанет смеяться, и так же презрительно-монотонно проговорил:

— Я думал, хоть один из нынешних парней на человека похож, а выходит, и этот не лучше других.

— Вот видите, как можно ошибиться,— примирительно проговорил Роман, положил топор под лавку и вышел из сторожки.

Свежий, с холодком мартовский вечер все гуще сажал на небе звезды, в глубине прогалины мерцала красная пелена, и по ее полотнищу из-под земли подымался месяц. Тихо и славно было вокруг. И какой дурак может думать сейчас о каких-то там страшных небесных знамениях! Роман зашагал по лесной дороге.

С вершины дуба сорвалась сонная пичуга, испуганно пискнула, затрепыхалась, задевая крыльями за ствол, и снова взлетела на верхушку. В стороне по-утиному отозвался ручей: вуть-вуть-вуть... Спеша к Бугу, он пел негромкую, но торжествующую песню весны и размывал отражения звезд, прибивая их лепестки к берегу.

Роман сошел с дороги на тропку, и она по искристым клочкам снега повела его в чащу темных, заколдованных деревьев, которые ждут не дождутся своего праздника. Между стволами заиграл огонек. Ага, это месяц мерцает, заглядывая в окно деда Дуная! Вот и прогалинка раскрылась в своей пугливой вечерней красе, показались четкие очертания хаты; у загона для скота стоит телега, а рядом жуют жвачку и смотрят на месяц поседелые, грузные волы, на их полированных рогах тускло переливается отблеск звезд.

Из хаты выходит бабка Ганна, и при лунном свете даже издалека видно, какое у нее доброе и задумчивое лицо. Она поправила сено в телеге и, по старческой привычке, тут же, возле волов, творит свою бесхитростную молитву. Живя вда-

ли от села, редко заглядывая в церковь, она, верно, давно позабыла слова, которые кое-как вдолбили ей в голову дома, в шумливой, многодетной семье, и пусть бог не прогневается на нее, что она молится по-своему, не обходя в молениях ни людей, ни скотинку, ни былинку, ни пчел. Людям она желает земельки и здоровья, скотинке — доброго корма, траве — святой росы, а пчелкам — тепла и цветов. Волы смиренно слушают молитву и обогревают старуху своим теплом.

Роман не хочет мешать беседе бабки с богом и, ласково улыбаясь, выходит на узкую дорожку, а перед глазами его стоят, как нарисованные, и хата, и телега, и волы, и бабка Ганна. И снова лес переплетает ветки в вышине и у самой земли. Теперь уже и по теням видно, что идет весна,— и тени уже набрякли узелками почек.

Из глубины вечера, как вздох, донеслась, затосковала песня:

Ой, не стелись ты,
Зеленый барвинок,
Да по горе крутой!
Ой, вы не смейтесь,
Враги, лиходеи,
Да над моей бедой!

«Да это же дед Дунай!» Старого чумака можно узнать по голосу, хоть он и поет теперь только на свадьбах да когда взгрустнется. А грусти жизнь немало намела в его душу.

Старший сын его не вернулся с Балканских гор — навеки почил в Болгарии, под камнями братской могилы; младший погиб в мор; средний живет в Петербурге, возле самого царя. Такая уж, видно, судьба человеку, не захотел Василько ездить на волах, а работает на корабельном заводе,— видно, теперь людям не пристало уже волов погонять — не те времена:

Наехали баре
С арендаторами,
Возы, волов отымают...

Песня бередит душу, и Роман поворачивает навстречу старику. Они сходятся возле хаты Морозенка.

— Ох, и пели же вы, дедушка! — восторженно приветствует деда Роман, останавливаясь посреди дороги.

— Хорошо? — Старик подымает тяжелую голову.

— Никогда еще, кажется, не слыхал такого пения! Душа замирает.

— Это худо,— вздыхает Дунай.

— Что ж тут худого?

— Ежели так хорошо пел, как ты говоришь, то, верно, перед смертью.

— Что вы, дедушка! Доживите хоть до сотни.

— Верно, и прожил бы еще с десяток лет, да не дают. Вот-вот выживут господа из отцовских гнезд.

И Роман не может разобрать, что это — лунный свет или слезы мерцают в глазах старика.

— Как же так, дедушка? — Чужая боль острым ножом полоснула парня по сердцу; при мысли, что чьи-то безжалостные руки разрушат жилище и жизнь старого Дуная и его доброй Ганны, Роману становится страшно.— Это же беззаконие! Вы ведь свое право отсудили.

— Тогда отсудили, а теперь уж и не знаю, как будет. Натаскали, наскребли мировые посредники всяких там законов — и все против мужика. А кто же и когда за него стоял? Кто ему хоть раз доброе слово молвил за его кровавый пот, за его хлеб и соль?! Но коли этого нет, так уж ладно, ешьте мужицкий хлеб, только душу мужицкую не ешьте.

— И когда до господ дойдет, что не будь нас — и они без хлеба подохнут? И некому им втолковать. Нет на них ни гайдамацкого ножа, ни Кармалюка! — с яростью говорит Роман, до боли сжимая кулаки.

Перед глазами у него стоит черный, отгороженный железной решеткой господский мир, черные дворцы Стадницких, Потоцких, Маркозовых, Кочубеев, и высветлить их можно только одним — повстанческой искрой.

— Нет, говоришь, на них гайдамацкого ножа? — Дед Дунай невесело усмехнулся. Ненависть к пану Стадницкому охватывала его, как огонь охватывает сухие дрова.— Эх, Роман, Роман, славный бы вышел из тебя казак, да не в ту пору ты на свет родился. Прежде хоть была нашему брату дорога в Сечь, а теперь, кроме экономии да поместий, некуда деваться, повсюду законы да господа, будь они неладны. А своя десятинка не вывезет, только беды наживешь.

Роман покачал головой.

— Что же вы теперь будете делать?

— Придется в судах пороги обивать. А что ж иначе сделаешь? Тем и живем, что есть у нас земля да честь. А отнимут землю — так и чести не оставят, совсем согнут мужика нуждою да голодом.

И он, высокий, несломленный, ровным шагом уходит в лес, неся в груди гнев и скорбь.

А Роман даже жмурится от боли. Как хочется ему хоть чем-нибудь помочь людям! Но как им пособить, если он и сам с восьми лет знал одни горькие заработки да унижения? Душа его тянулась к учению, но учился он сперва возле чужого стада, а потом в мастерской жестокого и хитрого живоглота Шмалия.

Месяц поднялся выше, и капли, срываясь с деревьев, засверкали самоцветами, убаюкивая землю своим однообразным перестуком. На дорогу выбежал исхудавший за зиму косой, прыгнул раз-другой, остановился напротив Романа, насторожил уши, склонил голову набок, тут только заметил человека и сразу скрылся в кустах.

Роман встрепенулся, провел тяжелой рукой по лбу, чтобы отогнать думы, и пошел домой. С жалостью бросил он взгляд на двор Морозенок, на унизанные капелью вербы, на одинокий журавль, охранявший сон хозяев. Надолго ли?

Он уже миновал ворота, когда позади раздался серебристый смех. Оглянулся — никого. Уж не мерещится ли? Только двинулся дальше — снова перебор девичьего смеха. Оглянулся — один месяц на небе. Роман пошел на звук и вдруг остановился: у ворот, прислонясь к калитке, скрытая в тени вереи, стояла девушка и зажимала рукой рот, чтобы не рассмеяться.

— Люба, ты?— Роман удивленно остановился перед нею.

— Нет, не я.— Она оторвала руки от лица, и бусинки смеха раскатились по дороге. Словно кто держал несколько серебряных колокольчиков — позвонит, обождет минутку и опять позвонит.

Роман смотрел-смотрел на нее и сам засмеялся.

— Ну вот!— деланно удивилась Люба.— И вы смеетесь!

— А разве нельзя?

— Можно, да не всякий умеет.

Нет, эта девчонка с изменчивыми глазами и нежно очерченным подбородком без всякого стеснения смеялась над ним. А в тот раз лицо ее было соткано из стыдливости да смущения. Вот и разберись после этого, что такое девушки...

— Так, по-твоему, не всякий и засмеяться умеет?

— А разве не видно? — Колокольчики снова зазвонили, под губами задрожали ямочки, а светлые глаза смешливо посмотрели на парня.

— Что же тебе видно?

— Сейчас — ничего: вы месяц загородили.— У Любы смеялись и кончик носа, и глаза, и губы, и ямочки.

— Ой, девушка, больно ты весела сегодня!

От этих слов смех с ее лица как ветром сдуло. Люба потупилась, обиженно надула губки, а Роман подумал, что от этого она стала еще красивее. Он никогда не видел, чтоб так менялось лицо.

— Чего ж ты загрустила?

— Веселого мало,— ответила она, не поднимая головы.

Постояли, помолчали.

— И долго будем гневаться? — попытался расшевелить девушку Роман.

— Пока будете месяц заслонять.

— Так, может, мне уйти?

— Вольному воля.

— Ну, тогда всего доброго,— сказал он, сердясь и на себя и на девушку.

И не хотелось уходить, а надо. Он шагнул уже на дорожку, а сам всем телом прислушивался к тому, что делается позади. Проронит, девушка, хоть словечко! Но она стоит, прижавшись к калитке, смотрит вдаль. Глазам ее открылся месяц, но светлее от этого не стало. Шорох шагов затихает, а ей горько и жаль чего-то.

Когда стройная фигура скрылась за деревьями, Люба вышла на дорогу, посмотрела вслед парню и задумчиво пошла по тропочке к лесному озерку, блестевшему в лунном свете за двором Морозенка.

На озерке зеленовато-голубая вода вышла из-под ледяной корки, и месяц просыпал на нее пригоршню новеньких дукатов. На прихваченном морозом берегу лежало несколько чахлых стебельков прошлогодних незабудок, а кусты краснотала, как диковинные подсвечники, сияли уже крохотными свечками цветов. Девушка задумчиво погладила пушистые котики, на руку и наземь осыпался холод капели. Внизу, на лозине, что-то забелелось, словно комочек снега. Люба нагнулась и оторвала от прутика упругое гнездышко ремеза. Весь птичий домик, мастерски слепленный из вербного пуха, уместился на маленькой ладони. Девушка принялась расплетать ткань стенок и вскоре с удивлением вытащила продолговатое матовое яичко,— очевидно, птица снесла яичко в недостроенное гнездо и не заметила, как замуровала его мягким белым пухом. В птичьем жилище родились дети, под осень надели черные шапочки и улетели поближе к солнцу, оставив одинокое, легкое, как перышко, яичко, и вот оно лежит теперь на ладони. Девушке вдруг стало холодно. Отчего

так защемило сердце? Пора бы уже приучиться, привыкнуть ко всему, а оно и до сих пор как струна: налетит ветер — и заболит, или улыбнется, или так озлится, что и Черное Сало сторонится Любы, прикрывает толстыми веками масленные искорки в глазах. А кто же постоит за нее, если не она сама?..

На седьмом году Люба осталась сиротой. Община назначила ей опекунов, а землю и хату отдала родному дяде Гордию Шоломяку, которому не терпелось разбогатеть. Он надрывался на работе, не жалея ни себя, ни жены, ни детей. Самое страшное началось для Любы сразу же после похорон матери, когда дядя вошел к ней в хату и, словно дело делал, перекрестился широким крестом на образа. С образов он перевел тяжелый взгляд на девочку, и ее напугали глаза его и удивительные губы — верхняя, сердечком, вдавалась в нижнюю.

— Пойдем, Люба, ко мне.

— Я не хочу к вам.

Девочку пугали и дядин взгляд, и его ворчливая речь.

— Ты чего? — удивился Гордий и прикрыл нижней губой сердечко верхней.

— Не хочу— и все.

— А какого же ты дьявола хочешь? — Лицо у дяди сердилось само по себе, а губы сами по себе.— Думаешь, у меня есть время тебя уговаривать? Меня работа ждет. Собирайся живо.

— Не пойду.

Дядя шагнул к ней, а она уцепилась тонкими ручонками за угол сундука и заревела.

— Глупая девчонка. Кричит, словно с нее черти живьем лыко дерут.

Гордий еще раз окинул завистливым взглядом хату сестры и положил руку ковшом на плечо ребенка.

— Не трожьте меня, я не хочу к вам! — кричала она с плачем.

Гордий сердито отодрал Любу от сундука, взвалил на плечо и понес домой, то и дело нетерпеливо смахивая со своего лица детские слезы. Дома он сбросил племянницу на пол и, когда та прижалась к печи, долго и внимательно разглядывал ее, невесело покачивая головой.

— До чего ж никудышная: ни в поле пастух, ни в огороде полольщица, ни в доме помощница — одни упи торчат. К какому же тебя делу приставить? — И он задумался, выпятив свои причудливые губы.

Так и мыкалась девочка с семи лет в работницах. У род-

ных прожила недолго, дядя быстро и выгодно сбыл ее в няньки к Окую, а когда у того подросли дети, Люба уже сама нанялась к Октаву Пигловскому. И Октав и жена его были злые, как два черта и двадцать семь дьяволов, девушка убежала от них в экономию и работала там, пока не заметили, что она хорошенькая. Тогда барыня взяла ее на легкую работу, но на горшие муки — ведь какую только молву не распускают о горничных на господском дворе... Одно пристанище у Любы — семья Морозенка. И не родня они ей, а как родные. С ними и о доле своей погорюешь, и посмеешься, и песню споешь. Вот и все, что есть хорошего у бедной девушки, к которой, однако, никто не отважится бесстыдно протянуть руку.

Тихо и светло над лесным озерком. Маленькие волны ластятся к ногам Любы, а руку ее, обвитую краснотолом, освещают огоньки цветов. И чего-то недостает девушке. Беспокойство охватывает ее, а она то погружается в воспоминания, в марево неясных надежд, то возвращается мысленно к вечерней встрече с парнем.

«Противный, нехороший!!» — отталкивает она его, и он уходит, точь-в-точь как только что ушел, но тут же снова появляется перед ее глазами, растерянный, не знающий, что делать: удивляться, улыбаться или не отрываясь смотреть на нее?

«Смешной»,— сразу смягчается ее приговор.

Месяц все больше и больше завораживает леса, и они, как окаменелое море, застыли в мягком свете его, ждут весну. А у озерка стоит задумчивая девушка, перебирает руками цветы лозняка и тоже ждет и чувствует, как тает ее настороженная душа от неясных чаяний.

XVIII

Гервасий Салоган, возвращаясь домой, приметил у озерка женскую фигуру и повернул коня на узкую, извилистую стежку.

Уж не рыбу ли кто ловит? Не приведи господи, чтобы это была Морозенчиха. А то он распишет ей спину и за платок и за рыбу. Он даже взмахнул над головой нагайкой.

Женщина обернулась на топот, и Салоган узнал Любу.

— Ты что тут делаешь, девушка? — Брови его удивленно приподнялись и скрылись под платками.

Люба равнодушно посмотрела на управителя и презрительно промолчала.

— Может, хоть слово вымолвишь? Или они у тебя покупные? — начал уже сердиться Салоган.

— Не покупные, но и не продажные,— с сердцем ответила Люба.

Салоган обшарил злыми глазами озерко — нет ли где рыболовной снасти,— а потом уже насмешливо спросил:

— Может, ждешь милого-чернобрового?

— Вас поджидала,— отрезала Люба.

— Хе-хе-хе! — глуповато захохотал управитель.— Ну, я и прилетел!

Он обвел взглядом лозняк вокруг озерка — нет ли еще какого-нибудь лешего? — соскочил с коня, подошел к Любе и вздохнул.

— До чего же славно постоять у озерка с такой девушкой!

— А с вашей женой еще лучше. Привезли бы ее сюда — она бы вам и платки поправила. Спокойной ночи.— И Люба пустилась бегом от управителя.

— Погоди! Что скажу! — крикнул вдогонку Салоган.

— Жене своей говорите! — через плечо бросила девушка со злым смешком, пробегая мимо верб, окаймляющих живой рамкой лесную усадьбу.

Сухо щелкнула железная щеколда, и вокруг стало тихо, хоть мак сей.

«Такое добро, а досталось батрачке,— с сожалением подумал о красоте девушки Салоган, привыкший все, даже красу юности, измерять рублем.— Что же она здесь делала? Ждала кого-то? Но кого?» — рассуждал он. Только в беседах с самим собой слово его было однозначно, не раздваивалось. Перед барином Гервасий и его душа всегда стояли почтительно согбенные, перед крестьянами он сидел настороженным хозяином, которого все хотят обмануть и который всех должен перехитрить, с женой лежал, пересиливая отвращение,— взял за кошель денег мешок костей. Поэтому он и на свадьбе своей выглядел, как на поминках, и к губам невесты прикладывался, как к пересохшей губке, удивляясь, почему спешат замуж те, кто знает, что их не полюбят.

Он обошел озерко вокруг, попробовал сапогами крепость льда, посмотрел на двор Морозенка, словно врезанный в синюю, с лунными блестками вечернюю даль, и злоба его глыбами покатилась туда. Самые поганые слова, которые он собрал за все годы своей собачьей службы, закружились оса-

ми, безжалостно жаля круглолицую Морозенчиху, привязавшую его подарок к лошадиному хвосту.

«Не будь я Салоган, если не выкурю тебя из этого гнезда, ведьма конотопская! Придет еще коза к возу, скажет «ме-е». В этот момент он, укутанный в платки, был похож на каменную бабу, которую кто-то поставил возле озерка, чтобы оттенить красоту вечерней природы.

Конь тихонько заржал, и Гервасий направился к нему, посылая все новые и новые проклятия на голову Морозенчихи. В одном месте болотная почва прогнулась под ним. Салоган, перескакивая с кочки на кочку, выбрался на твердый грунт и вдруг радостно хлопнул себя по закрывавшим лоб платкам. Он вернулся к кочке, притопнул, словно готовясь плясать. Под кочкой тихо пискнуло — не то вода, не то болотные корни. Гервасий торжественно вытащил из кармана нож, полюбовался лезвием и нагнулся к земле. Он бережно вырезал небольшой, с ладонь, брусок, поднялся и стал внимательно разглядывать его при лунном свете. Потом с веселой улыбкой бросил брусок на прошлогоднюю траву, лихо сорвал с головы платки, положил их возле кочки и снова нагнулся к земле, запуская нож в ямку. Он вытащил ком земли поменьше, осторожно, как сокровище, завернул его в один из платков и довольный пошел к лошади.

«Посмотрим, что ты теперь запоешь, дорогая Устинка», — уже без ругани обратился он мысленно к Морозенчихе, и тут не изменяя своей натуре: чем безжалостнее хотел кого-нибудь наказать, тем ласковее говорил с ним.

На другой день Салоган с нетерпеливым волнением входил в кабинет Стадницкого.

— Как мужики, Гервасий? — спросил вместо приветствия Аркадий Валерьянович.

— А что им! Уперлись как пень— ни с места.

— Гайдамаки.

— Хуже гайдамаков. Похваляются, что ваша никогда не возьмет, говорят, и до сената и до самого царя доберутся. И доберутся, ежели кое-кому ребра не пересчитать.

— Скажи, какое упорство,— обеспокоился Аркадий Валерьянович, понимая, что в сенате может проиграть дело навсегда.— И никто, ни один лесовик на соглашается переехать?

— Ни один. А Мотря Кульбаба так сказала: «Пускай барин хоть закапывает нас живьем в землю, а мы не нарушим слова». Только разве нельзя, ваша милость, иначе скрутить их в бараний рог? — улыбнулся верный слуга.

Стадницкий пристально посмотрел на него.

— Что-нибудь придумал?

— Придумал, только не знаю, хорошо ли.— И Гервасий притворно вздохнул, чтобы не выказать свое торжество.

— Говори скорей!

— Мысль моя, ваша милость, очень проста: мужик больше всего держится за землю — вот мы и доконаем его землей!— Он бережно развернул платок и показал Стадницкому черный, ноздреватый брусок почвы.

— Это что? — Аркадий Валерьянович склонился над платком.— Торф?

— Торф! Самый доподлинный торф. Если построите или купите себе сахарный завод — лучшего топлива не надо. Не придется и лес жечь.

— Где нашел? — спросил барин, не догадываясь, что задумал управитель.

— На озерке, возле усадьбы Морозенка.

— А на что же он мне теперь? — Стадницкий выжидательно посмотрел на Гервасия.— Дворец окуривать?

— Нет,— управитель весь дрожал от едва сдерживаемой радости.— Судебное дело мы с ним выиграем раз и навсегда. Вспомните, что сказано в «Положении», во второй части, об обмене земли и угодий? Там черным по белому написано, что, независимо от полюбовного согласия, помещик может во всякое время требовать от крестьян обмена необходимой ему земли, если на ней обнаружится источник минеральной воды или полезные ископаемые, в том числе и торф. Вот мы и нашли торф возле озерка Морозенка. Сейчас мы будем его разрабатывать или на потом оставим и только для отвода глаз свезем несколько подвод в экономию, это все равно — теперь судебные крючкотворы выиграют нам дело безо всяких.

— Сам ты крючкотвор,— засмеялся Аркадий Валерьянович.

И Салоган изобразил на выглядывающем из-под платков клинышке лица улыбку.

— Попались теперь лесовики, как рыбина на крючок, пусть-ка покрутятся!

— Собирай завтра в экономию мужиков. Интересно, что они запоют! Зацепка хоть и небольшая, да есть.

— Почему же небольшая? — обеспокоился управитель.

— Не все же хаты стоят у озерка,— с сожалением проговорил Аркадий Валерьянович.

— И так и не так.— Глаза управителя лукаво блеснули.— Главное во всяком деле — за что-нибудь уцепиться. Лису хвост погубил — собаки за него уцепились, а для нас таким хвостом станет Морозенко, когда мы вырвем его из лесу.

Салоган надеялся, что его речь еще больше развеселит барина, однако этого не произошло. Аркадий Валерьянович внимательно выслушал управителя и нахмурился — ему не понравилось слово «собаки». В таких тонкостях Гервасий еще не умел разбираться.

XIX

После приторно-душистых барских покоев одна радость— выбежать без платка по воду. У колодца похудевшие за зиму воробьи шумливой стайкой окружили лужу, до краев наполненную солнечным золотом. Хорошо подхватить на круглое плечо коромысло с двумя ведрами и услышать тихие вздохи воды. Идет Люба с ведрами, жмурится на солнце и не видит, как задумчиво смотрит на нее господский возчик Евген Колосюк. Девушке невдомек, что где бы она ни появилась, всюду словно из-под земли вырастает Евген.

— Люба, перейди с полными! — кричит он от людской.

— Тогда выходи на дорожку.— Девушка, блеснув зубами, останавливается, распрямляет гибкие плечи.

Кучер с кнутом в руке подходит к колодцу. Темные, с веселой злобинкой в глубине глаза ласково улыбаются.

— Здоро́во!

— Доброго здоровья! — Люба кивает головой, и маленькие сережки качаются, касаясь свежих, разрумяненных холодком щек.

— Эх, Люба, здоровье-то нынче недоброе: готовит сатана людям погибель,— понизив голос, говорит парень.

— Ты о чем, Евген? — Сердце у девушки замирает: она понимает, что речь идет о лесовиках.

Возчик бросает быстрый взгляд на господский двор и тихо, монотонно говорит:

— Слышал сегодня, как Черное Сало хвалился скрутить всех лесовиков в бараний рог, а раньше всех Морозенка. Торф возле озерка нашел, и теперь выживет людей из лесу по какому-то очень старому и очень безжалостному к мужикам закону. Скажи, кому надо, пусть подумают, что делать.

— Спасибо.

Люба вздыхает и чуть не бегом возвращается во дворец, расплескивая воду на землю и на свою новую юбку. А парень словно окаменел: стоит с кнутом в руке и провожает девушку невеселым, задумчивым взглядом. «Ну и девка! Личико — прямо калина с молоком».

Со стороны людской донеслось ехидное хихиканье. Колосюк оглядывается. Две молодые служанки на пороге изображают, до чего Евген крепко влюбился в Любу. Парень грозит им кнутом, и они со смехом убегают в людскую.

Люба едва дождалась той минуты, когда барыня сладко зевнула и легла в постель, прижав к груди французскую книжку в раззолоченном переплете. Скорее из этого чада на улицу — и со всех ног в лес. В этот вечер она не только не слышала девичьих песен, но и дороги перед собой не видела. Запыхавшись, вбежала в хату Морозенок и, едва держась на ногах, хватаясь за сердце, спросила с порога:

— Где дяденька?

Морозенчиха пряла и босой ногой укачивала младшенького.

— После обеда уехал с извозом. В Каменец. Обещал купить тебе монисто.— Устина сердечно улыбнулась, поглядывая на девушку с ласковой грустью.

— Ой, горюшко! Что ж теперь будет! — воскликнула Люба и, едва переводя дух, рассказала все.

Из онемевших пальцев Устины выпало веретено.

— Чтоб ему этот торф камнем на сердце и на могилу лег.— Женщина встала над ребенком, и в ее сухих глазах замерцали красные отблески пламени, угасающего в печи.

Люба подняла смоченный губами початок, взвесила в руке, как свою боль.

— Что теперь делать, Устина? Разрази их гром, и барина и управителя!..

— Ты, милая, беги к деду Дунаю, а я — к Андрию Биленку.— Устина уже поспешно одевалась.— Неужто нам, Любонька, больше здесь не жить? — Она беспомощно прильнула к девушке, а та обхватила ее крепкими руками, поцеловала в щеку, и на глазах у нее заблестели слезы, и на подбородке жалобно дрогнули от сдерживаемого плача ямочки.

Люба первой выбежала из хаты, стремглав распахнула калитку и с разгона едва не влетела в объятия Романа.

— Люба, что с тобой?

Роман, забыв о вчерашнем прощании, удивленно стал посреди дороги.

— Ой, беда, Романко!

Девушка вздохнула и доверчиво посмотрела на парня. Она сама не заметила, как назвала его тем нежным именем, которое повторяла про себя то сердясь, то порываясь к нему.

— Что ж у тебя, Любонька? — сочувственно спросил Роман, непроизвольно касаясь пальцами ее обессиленной руки.

— Не у меня, у людей.

И Люба с тоской в глазах принялась рассказывать, голос ее обрывался, как нитка, и она все не могла связать эту нить.

Но Роман и без того все понял, чужое горе становилось его горем, рождало возмущение и гнев.

— И тут мужицкий кусок хлеба барину поперек горла стал,— заключила девушка, проведя по глазам кончиком платка.

— Он и у нищего отберет костыль, ему ведь и среди господ и в газетах надо похвастаться образцовым хозяйством. Коршун, а не человек. Не знаю, Любонька, помогу ли чем-нибудь, а попробовать — попробую.

Он осторожно берет девичью руку в свою, еще раз заглядывает Любе в лицо, и она, прощаясь с ним глазами, убегает в чащу леса.

Сердце Романа сжимается от услышанного, и одновременно в душу его по капельке просачивается что-то хорошее, а в ушах еще звучит перестук затихающих девичьих шагов. Постояв немного, Роман медленно бредет в село, не понимая, что с ним творится, не зная, что по извилистой лесной дороге несет вместе с не первой болью первые росинки любви.

Степан Васильевич встречает Романа радостно:

— А я думал, ты уж совсем пропал.

На столе ровными стопками лежат книги, ученические тетради, тут же приколот лист бумаги — недоконченный план села. Учитель внимательно расспрашивает Романа, потом долго молчит, и в комнате наступает такая тишина, что слышно, как снаружи по стеклам скатываются капли.

— Надо что-то придумать, Роман. В сутяжных делах я мало смыслю, но знаю: время обмена земель давно прошло. Потому барин и не выиграл процесс, когда первый раз судился. Однако затаскать по судам он сможет. Сумеет достать лжесвидетелей, перетянуть на свою сторону судей. Дело, стало быть, не из легких...— На лицо Степана Васильевича ложатся тени, высокий лоб морщится, брови тяжело нависают над сузившимися глазами.— Учись, Роман, изучай господ-

скую золотую лихорадку. Благодаря ей затянулась петля на мужицкой шее.

Учитель ходит и ходит по комнате, погруженный в думы о давней вражде между барином и мужиками, об истории села, которую он тщательно, по крохам копил в своих тетрадях, и морщинки на его лбу то подымаются к самым волосам, то опускаются до бровей.

Роман, забившись в угол, с тревогой и надеждой глядит на Степана Васильевича и думает одно: «Оскудела, ослабла правда на земле, до того ослабла, что и своего нельзя отстоять».

Перед ним проходят лесные уголки, хата деда Дуная, бабка Ганна со своей молитвой возле степных волов, Андрий Биленко с детьми, дружная семья Морозенка, земли всех лесовиков, которые не мудрствуя лукаво зарабатывают свой горький хлеб. В эту минуту Роману не приходит в голову, что сам он еще беднее этих людей, что неизвестно, пожалели бы они его, как он их. Нужда, от которой вспухли жилы на крепких руках, которая проглядывает в бедной одежде, не добралась еще до молодого сердца, не очерствила его своими мозолями.

Учитель остановился у стола.

— А не ударить ли по Стадницкому его же оружием? — Степан Васильевич бросил взгляд на план села.— Выйдет ли что — не знаю, а попытаться не мешает.

— А как же это сделать? — Парень даже дыхание затаил.

— Видишь ли, барин кричит, что крестьянская земля в лесу принадлежала ему еще со времен крепостничества. Но есть у нас в селе земля, которая никогда не принадлежала Стадницким, а они захватили ее. Может, напугаем барина этим выстрелом? — Он доверительно подмигивает Роману и приглашает его рукой к столу.— Вот давай-ка разберемся в плане.

Роман останавливается перед замысловатым чертежом учителя, как перед глубоким омутом.

XX

В маленькой березовой рощице, как в фонаре, догорает солнце, и каждая березка переливается всем богатством красок — от потемневшего серебра у корней и нежного румянца на стволе до темно-вишневого пурпура кроны.

Лошадь выносит Аркадия Валерьяновича из рощи в прибужские поля, на самый край его владений. И здесь на ози-

мых видны следы скота. Вот это и есть подлинное начало весны в деревне. Она начинается не с пения голосистых девушек, а с потравы на помещичьем поле. И только последыши сюсюкающих народолюбцев, мужикофилы, видят деревню такой, какова она в церкви. Для них весна — это девичьи песни, соловьиный щебет и пора любви. А для него весна — это новые слухи о разделе земли, потравы на его полях и лугах, застарелая вражда между ним и мужиками, которую, верно, и Страшный суд не прекратит.

Вот и сегодня день для барина начался ясным солнцем, а заканчивается темными тучами. По его отборной пшенице сандомирке бродила тощая мужицкая скотина. Правда, объездчик застиг ее, контора сдерет с мужиков за потраву, но как все это надоело, как все это раздражает!

Взъехав на пригорок, Стадницкий видит в долине, на ржаном поле, пару крестьянских кляч. Возле них на вьющейся по опушке тропе пляшет мальчуган. Вот он увидал барина, не докончив коленце, бросается к лошадям, кошкой вскакивает на пристяжную и мчится в лес. Стадницкий злобно грозит ему плетью, а мальчуган в ответ машет кулаком, скалит зубы и скрывается между деревьями. Ищи ветра в поле!

Вот и попробуй вести культурное хозяйство, когда кругом такая темнота и злоба! Правда, в самых потайных уголках памяти Аркадий Валерьянович находит и свою вину, и вину своих предков перед крестьянами, но всегда решает, что село виновато гораздо больше, чем помещики. Что ни говори, а его род славится служением отчизне и культурой. Прадед получил подольские пустоши от самой Екатерины Второй, но разве, когда он, Аркадий Валерьянович, затеял первый процесс, мужики не задели в жалобе сенату его родословную? Эти слова и поныне жгут Стадницкого, как клеймо. Только хлоп может так оскорбить пана: «Один бог знает, может, предок нашего барина и отчизну спасал, а может, кого и другим чем потешил». Да за одно это их пытать мало... Давние обиды, переплетаясь с нынешними, растравляют сердце, и оно болит.

Доро́гой Стадницкий решает заехать в экономию, где вечером предстоит разговор управителя с лесовиками. Может, кто-нибудь и клюнет на выдумку Салогана. Хорошо бы все уладить без новых судов. В воображении Аркадия Валерьяновича встают лесные сады, которые не дают ему покоя. При хорошем уходе они могут принести немалый барыш. А как они красивы, эти сады в лесу. Поистине райские кущи!

В экономию Аркадий Валерьянович приехал в сумерки и уже с крыльца услышал спор управителя с крестьянами. Это еще больше разозлило его.

«Бурлит мужицкое болото». И он, высокий и прямой, рванул на себя массивную дверь.

В конторе перед раскрасневшимся, уже без платков, Салоганом тесной кучкой стояли лесовики. Среди них выделялась единственная женщина с укутанным полой кожуха ребенком на руках. Это Устина Морозенко. Но почему сюда затесался Олександр Палийчук? Ах да, он сегодня, кажется, чинил в экономии сеялки, так разве без него обойдется хоть одно сборище? Ну, от этого баламута здесь добра не жди.

Барин свысока поздоровался с людьми, и его поразили их угрюмые, настороженные глаза. Крестьяне кивнули на господское приветствие, и живое, темное кольцо окаменело.

— Не хотят добром! — обратился к барину Салоган, опираясь плечами на деревянную решетку, за которой днем сидели эконом и конторщик.— Ни в какую не хотят, что им ни толкуй.

— Разве это добром: за ремешок — лыко? — бросил стоявший позади всех неказистый, серый, как перестоявшееся жнивье, Пилип Таранюк. Сказал и стушевался под господским взглядом.

— Мы по закону! — сразу зашумели остальные.

— А съезд мировых посредников для вас не закон? — огрызнулся Салоган.

— Съезд мировых посредников и прежде господскую руку держал, да ничего не вышло.

— Кто это там такой умный да наглый? — Салоган приподнялся на цыпочки.

— Я! — смело выступил вперед Демид Гончар. На нем еще и одежда, как на молодом парне, и шапка молодецки заломлена набекрень.

— Ты лучше с женой забавляйся, а людей не баламуть,— накинулся на него Салоган.

— А она еще на меня не в обиде, я платки из Каменца ей привожу, а не другому кому.

Взрыв хохота потряс всю контору. Живое кольцо задвигалось, раздалось, и Стадницкому вдруг показалось, что людей стало больше.

— Вот и беседуй с ними.— Салоган растерянно уставился на барина.

— А нам, Гервасий, беседовать не о чем,— отозвался Анд-

рей Биленко. В просторном кобеняке он был как тяжелая глыба.— Ты мою землю только тогда отнимешь, когда через мое тело перешагнешь.

Аркадий Валерьянович поморщился, выступил вперед и заслонил управителя. Все медленно повернулись к Стадницкому, на упрямых, словно из камня высеченных, лбах собрались складки.

— Я хочу, мужики, поговорить с вами как на духу,— холодно отчеканил первые слова барин.— Вы знаете, суд по закону присудил мою землю мне.

— Суд и закон, барин, начались у вас во дворце,—угрюмо перебил дед Дунай; седоголовый и седобородый, он смотрел не на барина, а в пол.

— Как у меня во дворце? — Стадницкий обжег старика грозным взглядом.— Ты что мелешь?

Дед Дунай поднял тяжелую голову.

— Спрашиваете — как? А зачем же вам спрашивать, ежели вы хотите говорить как на духу? Это вам, Аркадий Валерьянович, лучше известно, чем нам. А только мужики знают, что суд и закон начались у вас с еды да питья. Челядь сбилась, обнося винами ваш суд. Или, может, скажете мне, старику, что лгу я?

Дунай смотрел на помещика большими правдивыми глазами, и барин не выдержал этого взгляда, отвел глаза. Покусывая губы, но сдерживаясь, даже принужденно улыбаясь, Аркадий Валерьянович продолжал еще медленнее:

— Гости у меня бывают разные, и это вас не касается. А вот меня беспокоит, кто у вас гостит. Лесокрады у вас гостят! Но об этом после. Скажу вам по-хорошему: теперь вам судиться — это лишить себя всего. А у вас добра не так уж много. Лучше сейчас перебирайтесь со скотинкой на новую землю, а то позже безо всего придется переходить, с одной душою. А душою землю не вспашете и хлебом не засеете.— На упрямых губах барина заиграла саркастическая улыбка.

Тяжелые слова камнями падали в крестьянские души. Аркадий Валерьянович видел, как менялись лица, почувствовал, что сегодня можно будет сломить лесовиков, если не всех, то хоть часть, и голос его смягчился:

— Лучше вам забыть неприязнь, не тешить себя пустыми надеждами, а пойти на мировую. Переехать, если понадобится, помогу, даже лесу дам.

— Не надо нам ни вашего леса, ни вашей помощи. Она у нас и поныне сидит в печенках. — Демид Гончар строго

глянул на помещика, и люди зашумели, теснее сбиваясь вокруг молодого мужика.

Спокойно стоял только один широкоплечий Олександр Палийчук. От его полуприкрытых длинными ресницами глаз пучками разбежались морщинки, на темных губах змеилась недобрая улыбка.

— Если вы хотите слушать этого мальчишку,— Стадницкий презрительно ткнул пальцем в Гончара,— дело ваше. Только глядите, как бы после с сумой не пойти по селу. Прежде суд становился то на мою, то на вашу сторону, но теперь— зуб за зуб — я еще высужу исполнительный лист за все годы аренды моей земли. Ровно по девять рублей за десятину. Торф, как вы слышали, побил все ваши козыри и надежды. Думаю, больше не о чем говорить.

— Так ведь вы, барин, торф нашли возле Морозенка, а не возле нас,— высунул голову из-за чужих плеч Пилип Таранюк,— ну и выводите Морозенка на новую землю, а мы тут ни при чем, мы не на торфу, мы сами по себе. Так я говорю? — обернулся он к лесовикам, но те прятали глаза.

— Люди, да неужели вы нас и детей наших на произвол кинете? — застонала Устина, крепче прижимая к груди ребенка.

Но и она не нашла в угрюмых глазах соседей ни совета, ни утешения и с ужасом почувствовала, как невидимая, страшная граница пролегла между нею и другими лесовиками. А Салоган смотрел на молодую женщину, и губы его злобно шевелились.

«Первый клин забит». Стадницкий искоса наблюдал за людьми, не зная, уходить из конторы сейчас же или сказать еще несколько последних слов.

И тут тихо и спокойно заговорил Олександр Палийчук:

— Барин наш, Аркадий Валерьянович, говорил с нами как на духу, люди добрые, так я тоже хочу поговорить с барином. Не знаю только, смогу ли. Каких только бед не накликал он тут на мужицкие головы: и с земли нас сгонит, и аренду высудит, и по миру пустит. Только на что же, ваша милость, делать за один раз так много зла? Петлю надо помаленьку затягивать, по-господски.

— О какой петле ты болтаешь? — вскипел Стадницкий.— По каталажке соскучился?

Но и это не испугало Палийчука. Он с вызовом посмотрел на помещика, и снова улыбка тронула его нижнюю губу, открыв ряд крепких квадратных зубов.

— По холодной я, батюшка барин, не очень скучаю, и без того за зиму назябся возле всякого железа. Ну вот и сбили!— Он беспомощно развел руками, пряча в глазах лукавый блеск.— О чем это я хотел? Вот и позабыл,— он потянулся пятерней к затылку.— Тогда скажу хоть одно слово насчет аренды. Если люди захотят, так и вам, ваша милость, придется платить аренду.

Это уже была неслыханная наглость, и нервы Стадницкого не выдержали.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что я тебе должен аренду платить?

— Нет, этого я не скажу ясновельможному пану,— учтиво ответил Олександр, но разве не слышалась за этим величанием насмешка? Ах, чтоб ты провалился!

— Так какой же ты арендой морочишь голову людям? — Капризные губы барина кривились и дрожали.

— А вы, ваша милость, не знаете? — искренне удивился Палийчук.— Что ж, может быть. Так вам старые люди всегда напомнят: в год воли, когда одним наделяли землю цепью, а других на волю с одной душой пустили, был у нас старый благочестивый батюшка. Он по старости не о земле, о небе радел. Так ваш папенька и прихватил тогда восемьдесят десятин церковной земли, не побоялся ни бога, ни греха.

Лицо Стадницкого налилось кровью, но ответа он не нашел: ему было отлично известно об этих восьмидесяти десятинах, но он надеялся, что мужики давно забыли о них.

— Так сколько же выйдет арендной платы с барина за сорок три года, ежели считать по девять целковых с десятины? — Палийчук задумался, и его выпуклый, упрямый лоб покрылся частыми морщинками.— За год вроде семьсот тридцать, нет, семьсот двадцать рублей выходит. А сколько же это за сорок три? Верно, тысяч за тридцать набежит. Вон сколько деньжат надо выложить! Да еще придется нарезать землю церковному причту. А можно бы решить все тихо да мирно: барину — не судиться с людьми, а людям — махнуть рукой на церковную землю. Как говорится, богу — богово, а барину — барипово,— закончил, улыбаясь, Палийчук, и не из одной крестьянской груди вырвался вздох облегчения, и не один взгляд встретился с соседским и перешел на барина.

Благородное лицо Стадницкого покрылось пятнами, но, как назло, ничего сокрушительного, ничего, что могло бы разбить доводы Палийчука, не приходило в голову. Он понимал: теперь судиться станет еще труднее, потому что против его

иска могут вчинить встречный иск на церковную землю, но и не судиться уже нельзя. И барин горел в огне бессильной ярости, не зная, что отвечать Палийчуку и мужикам.

«Кто же научил его так укусить?» Стадницкий перебирал в памяти все село и не мог ни на ком остановиться, даже об учителе от волнения забыл.

Он бросил взгляд на кучку лесовиков, и она показалась ему колючей, как еж. Даже Таранюк теперь не боялся смотреть на барина. И Аркадий Валерьянович прикрыл свою растерянность ударом кулака по столу.

— Ты что, забыл, как тебя по этапу пригнали в село? — набросился он на Палийчука.

— Нет, не забыл, ваша милость. Разве такое забывается? — На губах Палийчука мелькнула не испуганная, а саркастическая улыбка.

— Так гляди, как бы тебя из села не отправили в Сибирь!

— И в Сибири живут люди! — Губы Палийчука еще улыбаются, а глаза налились разбойничьим блеском, чтоб ему навек погаснуть!

«Социал-демократ»,— решил Стадницкий и снова не нашелся, ибо все слова Аркадия Валерьяновича, придавленные этим здоровенным обломом, тускнели, и при этом падало в глазах мужиков шляхетское достоинство барина.

Крестьяне выходят из конторы и плечом к плечу всем скопом идут в лес. Барин так и не сказал им последнего слова. Норовисто повернулся и вышел. Салоган выбежал на крыльцо, во дворе раздался цокот копыт и вдогонку топот сапожищ управителя.

— Что ж теперь делать? — развел руками Таранюк.— Ждать кого-нибудь или гасить господский свет? — Он покосился на висячую лампу.

— Гаси, Пилип! Барин вернется не скоро, а с Черным Салом только из пустого в порожнее переливать,— улыбнулся Палийчук.

Таранюк стал на стул, пропуская мимо себя крестьян. А когда все вышли, набрал полную грудь воздуха и дунул изо всей силы на «господский свет». Огонь погас, и Таранюк вместе со своей неуклюжей тенью растаял в потемках.

И вот все на улице. Дед Дунай душевно благодарит Палийчука, долго не выпуская его руку:

— Спасибо, спасибо, Олександр, за помощь! Не знаю, подобреет ли барин, а задуматься задумается. Есть над чем.

— Испортили вы ему вечерю, Олександр Петрович,—

смеется Гончар, еще больше заламывая набекрень шапку. Черный вихор из-под шапки падает на веселые глаза и на торчащее, как рыжик, ухо.

— И ты, Демид, эконому плюнул в борщ,— замечает повеселевший Таранюк.— Он теперь к плетням жмется, боится Устину встретить.

— Не знаю, помог я вам или нет, знаю только, что если меня кто ударит, я в ответ наотмашь бью. Бывает, помогает.— Олександр усмехается, и Таранюк с почтением смотрит на громадные кулаки молотобойца.

Будь у него такая сила да чуть побольше смелости, и он бил бы наотмашь своих супостатов. Но ни того, ни другого у Таранюка нет, и он всегда гнется — и перед сборщиком, и перед сотским, и перед экономом, и даже перед собственной женой, хотя на словах ого-го как командует своей старухой и как она по струночке ходит перед ним!

Палийчук сворачивает в боковую улочку, а лесовики шагают к своим хатам, где их в тревоге ждут домашние. И хотя до радости далеко, но все же людям легче, чем несколько часов назад, когда они шли в экономию. Они впервые увидели, как с барина разом слетела, пусть хоть на минутку, спесь и даже его ум не помог ему выкрутиться.

Вот и двор Морозенка. Устина у своей калитки прощается с соседями, и все останавливаются на улице, провожая женщину и словом и подобревшими глазами. Так прощаются лесовики у каждого двора.

Только Устина взялась за сенную дверь, как из хаты выскочила полураздетая Люба, обняла, прижалась.

— Ну как, ну что, Устина? — спрашивает она, беря ребенка из усталых рук женщины.

— И сама не знаю как. Сперва было очень тяжко, живьем сердце вынимали. Потом полегчало.— И она принимается рассказывать.

Обе, не зажигая света, легли на широкие нары и долго разговаривали то с надеждой, то вздыхая, то проклиная и барина, и управителя, и Таранюка.

— Спи, Люба, скоро уж тебе пора к барыне.— Устина получше укрывает девушку.— Да и меня сон сморил.

— А мне что-то не хочется спать... Какой славный Палийчук!

— Смелый.

— И ведь не за себя, за людей не побоялся сцепиться с барином.

— Этот не побоится,— зевая, говорит Устина,— и, видно, дружит с Романом.

Девушка так и встрепенулась, услыхав о Романе,— стало быть, и он чем-то помог людям.

— С каким Романом?

— С каким? С Волошиным.— Устина еще слаще зевнула.— Они вместе к воротам экономии подошли, постояли, поговорили и разошлись. Спи уж, Любка.

А той хочется еще спросить о Романе, да боится, что Устина подумает лишнее.

— Гордый он какой-то,— говорит она для отвода глаз, а в душе улыбается.

— Кто гордый?

— Да Роман.

— И вовсе не гордый, а своенравный. Что это он нейдет у тебя из головы?

— Ну вот, уж и у меня! — удивляется Люба.— Ты же сама начала о нем. Спи, Устина.

— Сплю, сплю,— засыпая, вяло отвечает та.

Люба закрывает лицо руками, ей и в темноте стыдно своих мыслей, а сердце ее невесть от чего вызванивает, как жаворонок весной... Перед ней встает Роман, внимательно смотрит на девушку, улыбается ей... Какая славная у него улыбка, какие хорошие глаза. И молодой сон заливает их встречу синим утренним паводком.

XXI

С приходом весны ожили давние надежды и слухи. Теперь каждая хата словно колокол: только промолвит кто слово — и пойдет гуд на все село, собирая людей у ворот, возле колодцев, на улицах и даже на погосте.

Летят слухи перелетными птицами, собираются в стан, несут на своих крыльях заветное слово «земля». И ухо крестьянское становится большим и чутким, как у зайца.

И снова замирает в ожидании исстрадавшееся сердце земледельца, вынашивает робкие надежды, грезит тем ржаным колоском, тем маленьким, да своим зернышком, на котором держатся его жизнь и чаяния.

А слухи приходят в село, как долгожданные праздники, и расплескиваются наивными и прекрасными легендами, полными веры в то, что в верхах заботятся о земледельце. И люди ходят как во сне, поглядывая на господскую землю.

— Слыхали? На Полтавщине уже делят.
— На Харьковщине тоже!
— Значит, скоро дойдет и до нас.

Ворота Гната Щербины обрастают шумливой толпой.

— Гнат, так что же вы узнали в городе? — уже не в первый раз спрашивает приземистый Евдоким Юренко. Он хотя и хозяин, владеет целыми четырьмя десятинами, но последний слух и его задел за живое.— Слышите, Гнат?

— Да уж слышу! — Щербина озирается, нет ли где поблизости господских ушей.

— Расскажи еще, добрый человек,— просит и Григорий Волошин, которому и верится и не верится: ведь мошенники всю жизнь водят за нос мужика.

Крепко сбитая фигура старого Щербины упирается спиной в ворота, умные, с барышнической хитрецой и туманцем, глаза задумчиво смотрят на собравшихся.

— Ездил я вчера в город на ярмарку: надо было сбыть с рук одну клячонку. Ну, слава богу, сбыл я ее, и пошли мы с кумом запивать магарыч. Глядим, а людей возле ларьков тьма-тьмущая, как на пасху. Протискиваемся и мы. Видим, на сапожном стульчике стоит человек, из мужиков, видно, зовут агитатором.

— Как? Как?

— Агитатором, говорят.

— От царя человек?

— Откуда мне знать! Он со мной магарыча не пил... Так вот, стоит на сапожном стульчике и уже не говорит, а хрипит,— выкричался, видно. «Земля, говорит, должна быть у тех, кто ее обрабатывает, а кто не обрабатывает, пускай берет, что имеет,— и айда на царскую службу».

— Вот это по-божески! — восклицает Юренко, но на него со всех сторон цыкают, чтоб не мешал, и Евдоким виновато опускает голову.

А Щербина, сияя рыжей густой щетиной, и сам начинает говорить, как агитатор:

— Так что есть, слышь, уже и закон про передел. Чисто всю землю перемеряют, и на каждую семью — и мужицкую и даже господскую — приходится ровно по восьми десятин. Семь будут нарезать, а восьмую оставят в общине, для тех, кто после родится. Вот про какой закон рассказывал агитатор. Этот закон, говорят, и прежде был, да господа напугали царя и не дали золотой грамоте дойти до крестьянства.

— Они и теперь не дадут.

— Это собаки, а не люди. Из-за них, говорят, несколько дней назад царь бежал за границу — тут хотели убить его.

— Ишь, черти господа, и до царя добрались!

— А как же с землей?

— Брат будет раздавать, Михаил Александрович. Он уже ездит по селам на крестьянской подводе. Сам в шинели, а под ней царские медали так и блестят.

Тодор Гранчак просиял:

— Слава богу, что у нас богатый, а не захудалый помещик. Будет что делить.

— Гнат, а что же дальше этот а... агитатор говорил?

— Дальше он ничего не говорил. Тут наскочил урядник, засвистел как полоумный, пришлось тому бежать, прятаться между ларьками, возами и лошадьми. Кричал, кричал на нас урядник, почему не связали агитатора, чтобы, мол, не баламутил людей. А потом и говорит: «Глупые вы и бестолковые! И царь никуда не бежал, и земли помещичьей не видать вам как своих ушей. Разве может кто поравнять мужика с барином? Если уж сам бог создал мужика и барина, так думал же он тогда об чем-нибудь!»

— И бога к нужде нашей прицепил, стервец! — возмущается Гранчак.

— Семь десятин! Тогда я кум королю,— размышляет вслух Евдоким Юренко, а какой-то насмешник, откинувшись назад, тычет в него пальцем:

— Поглядите на кума королю.

— Молчи, яловый! — огрызается Евдоким, но это уже не помогает, вокруг подымается веселый смех, и к Юренку сразу, как смола, прилипает новое прозвище: «кум королю».

А Евдокиму вдруг становится тоскливо: ну можно ли в такой час плести языком всякое непотребство?! Обиженный, он выходит из толпы и встречает Олександра Палийчука.

— Ты о чем загрустил, Евдоким? — Темные губы и карие глаза Палийчука ласково улыбаются.

На голос Палийчука все оборачиваются, каждому хочется поскорее обрадовать его доброй вестью.

— Слышь, Олександр, землю будут переделять!

— Какую? Уж не ту ли, которой у меня нет? — насмешливо щурясь, говорит Палийчук, и к нему начинают прислушиваться.

— Господскую будут делить,— смущенно отвечает Гранчак.— Закон такой есть.

— А ты видел его?

— Не видал, но знаю,— упирается Тодор.

— И кто же подписал этот закон?

— Сам царь.

— Хороша басенка, да жаль, что у тебя под умной шапкой голова поглупела,— насмешливо замечает Олександр.

— Какая же это басенка? — хмурится Евдоким.— Сам агитатор сказал на ярмарке.

— Дурак твой агитатор, и дурак поп крестил его. Никогда помещики не отдадут своей земли. Слышите? Никогда! Они скорее разделят наши шкуры, чем свои поля!

Гневные слова Палийчука прибивают радужную дымку надежд, как весенний дождик прибивает пыль.

— Стало быть, ничего мне не нарежут? — дергает его за могучую руку вконец растерявшийся Евдоким.

— Нарежут, Евдоким, нарежут и заплатки положат, только не на поле, а пониже спины,— бросает через плечо Палийчук и уходит не оборачиваясь.

— Вот и узнай, кого теперь слушать! — разводит руками Грапчак и тянется к единственному пока что советчику — к лохматому затылку.

— Ничего, люди добрые, Олександр не знает, так несет черт-те что,— смелея, заявляет Евдоким. Он готов, как всегда, поверить Палийчуку, да нет сил распрощаться с новыми тремя десятинами, которые мысленно уже прирезал к своему полю.

Мужики теснятся вокруг старого Щербины.

— Что ты, Гнат, теперь скажешь?

Тот хмурится.

— А что я могу сказать? Недаром же умные люди толкуют про землю и про царскую грамоту. Надо и нам вызвать агитатора, а уж он все прочитает, как по бумаге.

— Вот это доброе слово!

— А не всыплют нам за этого агитатора?

— Так мы без баламутства, мы по закону: пойдем к старосте, потолкуем обо всем, а он пускай справится в городе. Мы хотим законного агитатора.

И все, сбившись в плотные черные соты, направляются к сборной.

На крыльцо сборной выходит староста Денис Окунь, сухой, невысокий мужик. Его изможденное лицо великомученика так и просится в божницу, если бы не злые и беспокойные глаза. Мужикам странно видеть на Денисе новый кожух, отороченный голубой смушкой,— до того, как стал ста-

ростой, Окунь и зимой и летом ходил в засаленном, облезшем до последней волосинки, еще холостяцком кожухе: от ветхости лопался уже не только сам кожух, но и заплатки на нем. Окунь старательно ставил новые, на которых, как на заклепках, и держались остатки истлевшей шкуры. Скупился Окунь не только на одежду, но и на харчи, глуша постным и собственную семью, и работников. Зато земельки у него с каждым годом прибавлялось, и его неспокойные глаза радовались. В старосты Окунь пошел неохотно: и работники дома распустятся, еще того и гляди обокрадут, да и одежду справляй совсем новую, пусть не для крестьян, так для земского или станового, и всегда мыкайся в сборной, как Марко в аду. Утешало одно: теперь не уплывет из рук земелька, которая могла бы перепасть другим.

— Что скажете, люди добрые? — Староста окидывает всех тревожным взглядом, а рукой неспокойно ощупывает бляху на груди.

— Мы, Денис Володимирович,— выступает вперед Гнат Щербина,— просим прислать из города агитатора — пусть растолкует нам насчет земли и золотой грамоты.

— Да ты в своем уме?!— Глаза у Окуня становятся круглыми. Самое слово «агитатор» пахнет для него Сибирью и преисподней.— Да за это тебя в холодную мало бросить! Это же бунт и крамола!

— А мы, Денис Володимирович, просим не бунтовщика прислать, а законного агитатора!

— Да разве бывают такие? — Староста окидывает Гната подозрительным взглядом. Хоть Щербина и спокойный человек, но теперь, когда в мужицких головах все перепуталось, и он может подложить старосте ого-го какую свинью!

— А как же! — уверенно отвечает Гнат.— Пусть нам расскажет про новый земельный закон.

— Э, нет, не будет этого! — кричит староста.— Нынче говорить про землю — это с одного боку крамола, а с другого Сибирь!

Люди начинают волноваться и роптать. Задние напирают на передних, те нажимают на старосту, и он пятится в глубь крыльца, как в клетку.

— Какая же это крамола?

— Сам царь хочет наделить нас землей!

— Какой землей? — Окунь холодеет. Хотя он и знает, что это вранье, но во всяком вранье может быть частица правды.

— Какой! Известно — помещичьей.

Это все-таки легче. Из помещичьего поля и он, будь на то закон, не отказался бы прирезать. Пусть не для себя, так хоть для детей. И когда уж он сбудет с рук Орину? Окунь и сейчас сердится, вспомнив упрямицу, но его ноздри чуют уже запах жирного помещичьего чернозема. Эх, и земелька же там! Хоть вместо масла на хлеб мажь!

— Так как же будет? — допытывается Щербина.— Село тревожится.

— Ну, это не первый раз! — бросает староста.

Вперед выдвигается неповоротливый Юренко. В его круглых, выпуклых, как два каштана, глазах и почтение и просьба.

— Правду, Денис Володимирович, не скроешь от людей и в самом море-океане. Не скажет ее законный агитатор — скажет другой, беззаконный, скажет, да еще, надо не надо, приврет. Так что привози к нам агитатора.

Слова о беззаконном агитаторе поражают Окуня, он в раздумье теребит свою бляху, а в это время на крыльцо едва протискиваются боком озабоченные Терентий Плачинда и Яков Шмалий.

— Денис, дело есть,— тихонько говорит Шмалий.

— Погодите немного! — кричит староста мужикам и уходит с богачами в сборную.

— Слыхал, Денис, про мужицкие сенаты? — едва заперев за собой дверь, спрашивает Терентий.

— Нет. А что такое?

— Если не вранье, то погибель на нашу голову. Этот сенат хочет поравнять голяка с зажиточным хозяином, который весь век копил на землю. Нарезать будут не то по семь, не то по восемь десятин. И не у одних помещиков, а у всех, у кого больше восьми десятин, отберут землю. Это же грабеж, разбой среди бела дня.

— Вранье! — кричит Окунь, но холод закрадывается и в его сухощавое тело.

— Наверно, вранье. А что, если правда? — спрашивает Шмалий.

— Такое вокруг баламутство, что никто уж и не поймет, где правда, а где ложь,— задумчиво тянет Окунь.— Что ж делать?

— Ехать к земскому либо к становому — пусть пришлет в село агитатора, который все знает...

— А не всыпят мне по одному месту за агитатора?

— Пусть хоть и всыпят, да земля дороже этого несподручного места.

Вскоре Окунь вышел на крыльцо и помертвевшим голосом сказал:

— Поеду, люди добрые, к начальству. Ежели вернусь с расквашенной рожей, так знайте, басурманы, за вас страдаю.

После полудня Окунь добрался до земского, низко поклонился.

— Ну, что у тебя, Денис? — спросил земский, удивляясь новому кожуху медвинского старосты.

— Благородия ваша высокая, дайте нам агитатора, а то, вот как перед богом говорю, рехнулись мужики.

Земский даже встал из-за стола.

— Ты что, пьяный приехал? Я тебе такого дам агитатора, что зубов не соберешь!

— Бейте или милуйте, благородия ваша высокая, а без агитатора не поеду — мужики растерзают.

И земский, верно, побил бы придурковатого старосту, не войди в это время в приемную становой. Он выслушал Окуня, подмигнул председателю управы и сказал:

— Если у вас в селе творится подобное, пришлем к вам агитатора...

— Вот за это спасибо, благородия ваша высокая! — возликовал Окунь, обрадованный, что и агитатор приедет, и несподручное место останется в целости...

К удивлению всего села на другой день в Медвин и в самом деле приехал на добрых конях агитатор, и не какой-нибудь захудалый, а настоящий ученый человек, живущий в Петербурге и даже пишущий книги о земле. Вечером мужики собрались в просторной хате столяра и плотника Данила Билоуса.

Давным-давно, когда лес был дешевле, Данило Билоус строил барину амбары, а остаток леса купил и поставил себе хату, как куколку. В новую хату он привел молодую жену, черноглазую Наталку, вырастили они пятерых сыновей, словно пять орлов. Какой ни выйдет на улицу — девушки заглядываются, какой ни пойдет на призыв — попадает в гвардию. Вот и сейчас рядом с отцом сидел русоволосый Марко, вчерашний унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка, и насмешливо поглядывал на узкоглазого и скуластого агитатора, у которого на молодом лице неведомо как выросла смолистая, побольше сапога бородища.

Пока мужики заполняли хату, сени, двор, агитатор поптичьи заглядывал в книжку. Метнет изредка взгляд на людей — и снова за чтение. Возле него, в углу под образами, сидел злобным мучеником Денис Окунь. Наконец агитатор вытряхнул из кармана сюртука последние бумажки, посмотрел на старосту, и тот, поднявшись, окинул взглядом всю хату, не пропустив и печь, где над головами сидевших на припечке виднелось еще несколько женских голов.

— Люди добрые,— громко заговорил Окунь,— мужики и бабы, все православные христиане, а с ними и поляки, все, кто пришел сюда послушать истинную, благодетельную правду про землю! Всяческие слухи и всякие люди баламутят теперь село, как рыбу в затоне. Один баламутит по дурости своей, другой — от большого ума, и не разберешь, где поп с кропилом, а где черт с кочергой. Так вот, чтоб у нас хоть малость прояснилось в глазах, земство прислало многоученого человека, господина Тугаевича. Послушайте его и намотайте на ус, что, как, почему и для чего.

В хате и в сенях наступила тишина, только со двора еще доносилось цыканье и топот сапог. Господин Тугаевич заговорил так учено и гладко, что сперва все только прислушивались к колокольчику его голоса и только уж потом постепенно стали добираться до сути самого звона. Но вот агитатор от старины перешел к нынешним делам, к разным слухам, лихорадившим село, и тут все вытянули шеи. А голос Тугаевича уже не кружил над лохматыми головами легкой пташкой, а принялся долбить эти головы, как дятел:

— Господа земледельцы, наши добрые и верные люди, не слушайте разных басен о наделе, о сказочных семи десятинах на каждый двор. Нет такого ни закона, ни указа! Это все выдумывают студенты и социал-демократы, чтобы сбить людей с пути, загнать в Сибирь. Да и здравый смысл говорит, что самому крестьянству нет расчета брать даже задаром помещичью землю.

— Как это нет расчета?

В толпе поднялся шум, ропот.

— Вот тебе и на́!

— А еще ученые книги пишет! — не сдержался Матвий Боцюн, тряхнув огнистым вихром.

Тугаевич, улыбаясь, переждал минутку и еще увереннее продолжал:

— Возможно, это кажется вам неискренним, легкомысленным. А между тем это уже доказано наукой, изучающей

общественную жизнь. Допустим, вы получите без выкупа, без единой копейки, помещичью землю, допустим, вам на некоторое время станет легче. Но что же тогда произойдет во всей стране? Во-первых, лопнет дворянский банк, и помещики станут нищими.

Но это крестьян не испугало.

— Пусть и они помаются в нашей шкуре,— вырвалось у Григория Волошина.

— Была бы земля, а мы проживем и без господ и без банка.

— И как же это они погибнут?

— Как погибнут? А очень просто. Думаете, помещики не сидят в долгах? На их плечах лежит больше миллиарда рублей долга. Вот, допустим, взяли вы себе землю без выкупа. А кто же тогда оплатит по закладным в банк? Вы не захотите, а государство не сможет — у него у самого целых восемь миллиардов долга.

— Это, наверно, очень много? — подал голос Евдоким Юренко.

— Давайте рассудим по порядку,— на лоснящихся губах агитатора заиграла тонкая улыбка.— Если бы эти деньги распределить на всех людей нашей империи, пришлось бы каждому, от столетнего старика до ребенка, который еще лежит в колыбели, платить по пятьдесят семь рублей.

— По пятьдесят семь! — прошло волной вокруг.

— Вот это нахозяйничали!

— Таким образом, господа земледельцы, во-первых, земля без выкупа — это паралич государственного кредита, а следовательно, прекращение иностранных займов, на которых держится наша промышленность. Мы ведь очень много должны, одних процентов платим ежегодно за границу целых сто миллионов рублей. А если заграница откажется вкладывать деньги в нашу промышленность, остановятся фабрики, заводы, железные дороги, наступит паралич промышленности и торговли, и вы нигде, ни за какие деньги не достанете ни плуга, ни бороны, ни ситца, ни керосина, ни спички, ни иголки и нигде не продадите своего святого хлебца, даже на подати. А без иностранного капитала государство вынуждено будет увеличить подати. Будет ли это для вас облегчением? Нет, не будет ни для вас, ни для грядущего поколения, которому придется вернуться к деревянному плугу. Но перейдем от промышленности к вашим наделам. Выгодно ли вам брать их у помещика? Есть такая мудрая наука — статистика. Она

ведет учет всего хозяйства страны, она подсчитала, что мелкое крестьянское хозяйство приносит крестьянину только беды. Так ли это? Допустим, вам дали, как вы желаете, круглых семь десятин на семью в пять душ. Что же вам принесет этот надел, на который вы молились богу?

— Лишь бы он был, а уж кое-что принесет,— отозвался сзади Мирон Велычко.

— Давайте посчитаем. С семи десятин, допустим, одна будет под сенокосом, полторы — под выгоном, а полдесятины — огород. Итак, под посев остается четыре. Сколько зерна даст вам десятина?

— Это когда как, в один год — больше, в другой, может, не вернет и семян,— вздохнул Данило Билоус.

— Я беру среднюю цифру,— Тугаевич нетерпеливо стукнул по столу ребром ладони.— Чтобы не сочли, будто я выдумываю, прочитаю, сколько и где собирают с десятины хлеба.— Он поднес к глазам бумажку.— «В Дании — сто восемьдесят семь пудов».

— Ого!

— Вот это средняя цифра! — вырвалось у мужиков.

Тугаевич улыбнулся и продолжал:

— «Бельгия — сто пятьдесят семь, Голландия — сто пятьдесят три, Великобритания — сто сорок восемь, Германия — сто тридцать, Швеция — сто двадцать пять, Франция — девяносто, Румыния — семьдесят девять, Италия — шестьдесят два, Россия — сорок пять» — и то, насколько известно, эта цифра для России выше истинной! Сколько у вас стоит пуд ржи?

— Бедняцкой, помещичьей или кулацкой? — насмешливо спросил Палийчук, в котором уже давно все кипело.

— А какая разница? — пожал узкими, округлыми плечами Тугаевич.

В ответ раздался невеселый смех.

— Разница большая! Бедняку осенью, чтобы наскрести на подати да на долги, приходится продавать свой хлеб по сорок — пятьдесят копеек, а кулак и помещик в предновье требуют и по целковому. Тоже наука.

Тугаевич на миг смутился, развел снизу обеими руками свою пышную бороду. Он досадовал и на мужиков и на себя. Ну как он мог попасться на таком простом вопросе? Разве он не знает досконально разницы в ценах и на внутреннем и на международном рынке? Америка, Вест-Индия, Аргентина и Канада, как правило, выбрасывают хлеб на внешние рынки

не осенью, а позднее,— они не торопятся, у них есть время подождать повышения цен. А хлеб России продается в самых невыгодных условиях — подати да недоимки не ждут. Сегодня еще перепелка пела в пшенице, а завтра эта пшеница навалом плывет в Англию, Францию, Германию, и туманный Лондон сразу же сбивает цены на золото мужицких надежд. Вспомнив об этом, господин Тугаевич продолжал уже не так уверенно:

— Допустим, что вы ежегодно собираете по сорок пять пудов с десятины. Что же вы делаете со своим урожаем? На посев оставляете тридцать два пуда — шестнадцать рублей; на прокорм семьи — семьдесят пять пудов, тридцать семь с полтиной; для скотинки худо-бедно понадобится двадцать пять пудов — двенадцать рублей пятьдесят копеек. На обувь и одежду надо хоть по восемь рублей на душу? Значит, скиньте еще сорок целковых.

— Да вы уже сто шесть рублей насчитали! — со страхом воскликнул Евдоким.

— Сто шесть,— одобрительно кивнул господин Тугаевич.— А считал я по-божески, бедненько. Прикинем еще подати да взносы на волость, на земство, на стан, на сельскую управу, прибавим на самое необходимое из инвентаря и на разные хозяйственные потребности. Где же вам брать денег? На фабрике не заработаете, а у помещиков уже экономий не будет. Выходит, господа, надел не принесет вам добра.

— Что ж, стало быть, куда ни кинь — все клин, кругом один паралич? — возмущенно хлестнул Юрий Звонарь.

— Нет, не кругом, молодой человек! — повысил голос Тугаевич.

Он настороженно и зорко, изучающим взглядом посмотрел на красавца парня, потом перевел взгляд на Палийчука, Якубенка, Поляруша, Велычка, Волошина, и его убеждение, что он находится среди представителей класса, обреченного историей на гибель, на миг пошатнулось. Как же в горькой нужде и темноте могут вырастать такие яркие и могучие индивидуумы? Уж не преувеличена ли учеными физическая и экономическая деградация деревни? Или это просто исключительное селение, где и жизненный и умственный уровень мужиков отошел от среднего уровня? Заинтересовавшись этой научной проблемой, он сразу же, чтобы не забыть, осведомился у крестьян:

— Насколько мне известно, здесь сидят беднейшие поселяне?

— Беднейшие, что правда, то правда,— согласились мужики.

— Те, что живут на воде да беде? — тонко улыбаясь, припомнил Тугаевич народную поговорку.

— И это правда.

— Но откуда же тогда берутся такие здоровяки? — Он показал глазами на Палийчука, Волошина, Поляруша.

Таким глупым словам все удивились и сперва не могли сообразить, издевается барин или в самом деле не доварил его ученый котелок. Но он гнул свое:

— Как же в таких скверных условиях вырастают такие силачи?

Палийчук презрительно поглядел на барина и проговорил, темнея от гнева:

— Лучше бы вы не спрашивали этого, господин. Разве вы не знаете, что на мужицких харчах слабые да хилые мрут, как осенние мухи? У нас к больному ребенку никто не подойдет с белым хлебцем или с лекарством. Выживет на мужицком хлебе — живет, а нет — на погост несут.

Крестьяне молча закивали головами, и не один вспомнил своих детей, отнесенных на кладбище, и не один назвал в душе ученого барина дурнем.

А после долгого молчания неожиданно для всех заговорил Марьян Поляруш:

— Значит, наука высчитала, что и семь десятин принесут крестьянину одни убытки. Так как же ему, черному мужику, прожить на белом свете? Об этом наука ничего не говорит?

— Говорит, говорит! — встрепенулся господин Тугаевич, и борода его тоже встрепенулась.— Для крестьянства пока есть единственный выход: трудиться на культурной земле, в экономиях. Там вы всегда больше заработаете, чем в своем хозяйстве. Возьму для примера хозяйство господина Стадницкого. У него мужчина зарабатывает до Семена пятьдесят рублей, а женщина — тридцать четыре. Эти двое получают почти столько, сколько вся семья в пять человек на своем наделе. При этом вы не тратите тридцать два пуда на посев, не скармливаете двадцать пять пудов скотине, не платите податей за землю и не мучаетесь с инвентарем. И тогда выходит всем хорошо: и вам, и барину, и государству, которое держится не на вашем, а на помещичьем хлебе.

— Вот привезли пустобреха, этот забьет баки навек,— бросил из-за спин Роман Волошин.

И все зашевелились, загалдели разом, не слушая друг друга.

— От его господского слова золотые вербы растут.

— Тише, да тише вы! — обернулся от стола Лесь Якубенко и, когда все немного угомонились, настороженно обратился к Тугаевичу: — Как же это выходит, господин агитатор? Послушать вас — так надо не у помещика землю брать, а еще ему отдать свою последнюю?

— Я этого не говорил,— поморщился Тугаевич, блеснув острыми, мелкими зубами.

— Истинно так говорили,— поднимаясь, сказал Палийчук.—Я, люди добрые, ни слова не пропустил и понял все так: нам, крестьянам, землю можно иметь только под ногтями, и то не свою, а господскую. Этого хотят господа, да мы-то не хотим этого.

И все снова грозно зашумели, пока не цыкнул Окунь:

— Что вам тут — ярмарка или базар?! А ну, заткните глотки, отсохни у вас язык!

Глотки затыкались медленно, с неудовольствием, и только чуть поутихло, как раздался неторопливый голос Гната Щербины:

— Слушал я господское, а думал о мужицком, и знаю одно: крестьянин без земли — что рыба без воды!

— Наука говорит другое! — сердито крикнул господин Тугаевич и стал собирать свои бумажки.

— Это господская наука, а нам нужна своя,— отрубил Роман под одобрительные выкрики.

— И на что этому Гнату вздумалось черт-те какого агитатора привозить? — удивлялся кто-то в сенях.

— Да разве я знал, каков он будет? — огрызнулся Гнат под невеселый смех всей хаты.— Вот послезавтра поеду на ярмарку, может, привезу получше.

— Не надо нам теперь никаких агитаторов. Хватит! — возмущались мужики.

— Разойдись! Шабаш! Поразевали рты и гавкают, будто что смыслят! — грозно крикнул Окунь, показывая одной рукой на дверь, а другой ощупывая свою начальническую бляху.

— Так мы еще хотели малость поговорить меж собою.

— Про что? Про сон рябой кобылы? — вскинулся Окунь.— Надо не болтать языком, а слушать, что умные люди говорят,— кивнул он на господина Тугаевича, и тот кисло усмехнулся.

— Услышали господскую правду — и по домам! — задиристо скомандовал в сенях кто-то из молодых, и все повалили к выходу.

— Ну, как агитатор? — допытывался Евдоким Юренко у задумчивого Велычка.

— Попел он к черту! — с сердцем отрезал тот.— Как еще он не сказал, что с нас и штаны надо стащить. Адам-то ходил без штанов!

— А еще книжки пишет...

— Прячут мужицкую правду, за семью замками держат,— вздохнул кто-то у ворот.

— Хоть он и ученый, а господские рожки торчат.

— Ишь, Люциферов сын, всех нас норовит спровадить в экономии! Недаром знает, сколько мужик и сколько баба зарабатывает до Семена.

— И что же из того?

— У самого экономия!— уверенно заявил Лесь Якубенко.

— Нападал он тут на студентов и социал-демократов. Что такое студенты — это мы знаем, а кто такие социал-демократы? — допытывался Марьян Поляруш, и Лесь с изумлением увидел, что у лучшего косаря на переносье залегли две морщины, похожие на маленькую косу с косьем.

— Кто такие социал-демократы? — задумался Гончар.— Люди.

— Сам знаю, что люди. А какие? — не унимался Марьян.— Знаешь, Демид?

— Как не знать! Это люди, которые землю и мужика понимают. Хотят нам дать надел.

— Гляди-ка! Откуда ж ты знаешь?

— Как откуда? Слышал же,— господин Тугаевич их ругал. А кого ругают господа, те стоят за земледельца. Иначе и быть не может.

К Роману подошел Юрко Звонарь, положил на плечо тяжелую руку.

— Домой, Роман?

— Домой.

— А может, к девушкам? Слышишь, как поют?

— Да нет, не получится нынче.

— Верно, ждут на другом краю?

— Было бы кого.

— Нету, нету у тебя таланта по женской части. Спокойной ночи! — И Звонарь неторопливо ушел в туман, затянув молодецкую песню.

XXII

Серый туман угнездился на полях наседкой и высиживает тишину.

Идет человек в сырой мгле, остановится на дороге, вздохнет — и туман отзовется вздохом. И Марьяну кажется, что и туман живое существо, что и он, как Марьян, любит землю, прикрывает ее от дурного глаза ночи, а выглянет солнце — и покатится, побредет туман по низинам и лесам, умывая своими чистыми слезами каждый комочек, каждую былинку.

Как тихо в поле! Словно земля думает свою думу перед тем, как взойти всходам; думает и прислушивается к чему-то, как прислушивается ко всему и к себе женщина, ожидающая ребенка. В стороне раздался трепетный перестук. Это невидимая лесная груша говорит о чем-то земле своей капелью и тоже прислушивается — то ли к набрякшим почкам, то ли к спеленатым цветам.

Земля немного успокаивает вечернюю боль, и Марьян помаленьку отгоняет от себя скользкие, как жабы, слова господина Тугаевича. Марьяну кажется, что и душа у этого господина скользкая, бесчестная,— а то разве мог бы он так обижать людей? Глупый ты, господин, глупый, хоть и ученый: как же ты можешь книжки писать, если и на маковое зерно не смыслишь, что для крестьянина земля? Тебе бы все от мужицких ворот грести к господским. Да не бывать этому. Получит все-таки мужик свою ниву и без страха засеет ее, без страха будет растить детей. «Дети»,— слово это полоснуло по сердцу извечного батрака, напомнило о его несчастье, но вскоре где-то за туманом запела ему ярая пшеничка, склоняясь к белой гречихе, и защебетали голоса чьих-то деток, которые не разбрелись по экономиям да по чужим краям, а несут родителям немудреный обед на поле... Вот как может быть...

Добрая, смущенная улыбка трогает морщинки вокруг глаз, и Марьян забывает и господина Тугаевича, и Стадницкого, и всех псов, которые только и знают, что рычать да рвать в клочья мужицкое тело. Дорожка подымается на пригорок и, перевалив через него, незаметно втягивается в рощицу. Сквозь туман едва просвечивают стволы молодых березок, которые уже проснулись и наливаются земною силой. Они тоже засевают землю зерном капель, вобравших в себя хмель первого сока.

В лесу прибавилось порохов, они разгоняют во все стороны мысли, кроме одной, извечной, самой цепкой. Марьян подходит к Бугу и оттуда ровными шагами начинает мерять господское поле. Он идет без дороги, вдоль опушки, едва слышно шевеля губами, и теперь земля прислушивается уже не только к перестуку капели, но и к счету, который ведет человек. Он меряет землю не сплошь, а по урочищам, держа в памяти все цифры в длину и в ширину.

В старых, растоптанных сапогах хлюпает вода, мокрые ноги дубеют, но человек не замечает этого; тихо, словно сеятель, переходит он с одного урочища на другое, торжественно, как молитву, считая шепотом аршины. Это только господа в кокардах, бессовестные межевики, могут со смехом и руганью мерять землю железными цепями — им ведь не работать на ней. Подумать только — цепями! Все равно, что мать ковать в кандалы...

И вдруг к Марьяну приближается кто-то другой, тоже подсчитывая что-то вполголоса.

— Мирон, ты?! — восклицает пораженный Марьян.

Стало тихо, потом раздался смущенный голос Велычка:

— Ах, сучий сын, как перепугал! Курица тебя забодай! И что ты только делаешь ночью? — Мирон подходит к Марьяну и, чтобы рассеять неловкость, трясет за плечи.

— Точь-в-точь то же, что и ты.

На лице Марьяна довольная улыбка: не один он такой чудак.

— Неужто и ты перемеряешь господскую землю?

— И я! — даже с гордостью говорит Марьян.

— Шагами?

— А чем же?

— И весь счет держишь в голове?

— А где ж больше держать его темному человеку?

— Вот комедия! Собрались два чудака и бродят ночью по господскому полю, а барин храпит и не чует, кто его землю кроит...— Мирон смеется, и к нему присоединяется Марьян.

— Выйдет ли что из этого раскроя?

— Непременно выйдет,— убежденно говорит Велычко.

— А если барин упрется, как кол в плетне?

— Тогда лупи его по голове обухом! — И Велычко махнул кулаком.

Обремененный цифрами, как тяжелой ношей, Мирон глухой ночью возвращается к своей обветшалой хате. Как

хорошо потрогать запотевшую щеколду, а в ответ услышать внутри возню и топот босых ног жены!

— Это ты? — спрашивает она с порога.

— А ты ждала другого?

— Бессовестный! — Широкая, вся в белом, Василина отпирает сенную дверь, ежится от холода и от холодной руки мужа, обвивающейся вокруг ее шеи, опускающейся в теплынь большой, сонной груди.— Где так долго валандался? Скоро утренние петухи запоют.

Василину тянет в хату, а муж крепче прижимает жену к себе.

— А тебе не все равно? — говорит он.

— Не все равно... Задушишь, окаянный!

— Да уж если до сих пор не задушил, так как-нибудь обойдется,— и он наклоняется над знакомым и все еще милым лицом со злыми глазами.

— Ну вот, словно маленький! — Василина, будто откупаясь, целует мужа и отворачивается.— Щетина у тебя как проволока.

— А прежде она была гусиным пушком?

— Ну, и не такая колючая.

— Въедлива ты, как господский агитатор,— роняет Мирон и улыбается, довольный, что нашел самое едкое слово.— Как школьница наша? Не кашляла?

— Ей сегодня совсем хорошо. И вот скажи — и сапожки ей справили, не босиком бегает по снегу, а простудилась. Не диво ли?

— Нежная уродилась, не в тебя.— Мирон еще крепче обнимает Василину, а та отталкивает его.

— Отцепись. Ровно маленький,— повторяет она.

— То-то и есть, что не маленький,— подсмеивается Мирон.— Что Ксеня делала вечером?

— Вышивала немного, а потом читала всем сказку. Ну и читает же! А как скучает без школы! Завтра собирается идти. Я хотела оставить еще дома — так надулась, как ты иногда. И спать легла поздно, тебя ждала, насилу уложила.

— Все ей знать надо,— вздыхает Мирон.— А задачи решает, как орешки щелкает. Ей поучиться бы еще лет пять-шесть — ей-богу, стала бы учительницей.

Мирон подходит к кровати, поперек которой вповалку лежат его дети, поправляет дерюжку, прикрывает босые ножонки семилетнего верхолаза Гнатка, который, не допросившись у отца сапог и коньков, выбегает на пруд босиком,

катается на маленьком деревянном корытце, что стоит возле жорен, и упрямо, без единой слезинки, сносит мамины затрещины.

— У тебя на ужин есть что-нибудь?

— Картошка.

— Поумней не придумала?

— А ты заработал на умное?

— Задаток взяли ведь в экономии? Кому я его до копеечки принес?

— Какую бы только дырку им залатать? — вздыхает Василина.— Наплодили детей себе на беду...

— И с каждыми родами теряешь зубы,— с притворным сочувствием подхватывает Мирон.

Василина сердится:

— А тебе, ирод, смешно?

— Какой уж смех, печалюсь, чем стану кормить беззубую — киселем или половой... Картошка-то задубела?

— А ты пришел бы попозже. Я тебе капустных листьев принесу.

И Василина спешит к двери.

Мирон хочет отойти от кровати, но его обнимают тонкие ручонки девятилетней дочки.

— Вы уже пришли? — спрашивает Ксеня, прижимаясь к отцу.

— Нет, не пришел еще,— серьезно отвечает Мирон, и девочка смеется.

— А почему же я тогда вас вижу?

— Этого я уж не знаю. Ты чего не спишь, полуночница?— пытается прикрикнуть на дочку Мирон, но она ни чуточки не боится.

— Не хочу.

— А ремешка хочешь?

— И ремешка не хочу,— смеется веселым, чистым смехом девочка.— Вам засветить огонь?

Она спрыгивает на холодный пол, зайчишкой катится к печке, выгребает кочергой жар и принимается вздувать огонь. Угольки оживают, их яркий красный отблеск освещает оттопыренные губы, округленный носик и прищуренные, прикрытые гребешочками ресниц глаза. Из-под печи Ксеня берет лучину, зажигает светец и с этим беспомощным огоньком идет к столу. И плошка, словно в благодарность девочке за жизнь, освещает ее сосредоточенное, милое, чуть скуластое, как у отца, лицо.

— О, доброе утро, не полежавши повставали! — раздается с порога голос Василины, и Ксеня бежит под защиту отца, которому тоже достается от матери.— А ты и рад потакать ей!— Низкий лоб и черные крылатые брови Василины хмурятся.— И что только из вас обоих будет?

Мирон плотно прикрывает дочку полами свитки и шепчет ей в самое ухо:

— Вот так стой и нишкни, а то обоим перепадет скалкой или веником.

В ответ из-под свитки вырывается смех.

— Дурите, дурите. Один ум, что у отца, что у дочки, обоих надо послать в один класс,— сердится Василина.

— Так она есть хочет,— примирительно говорит жене Мирон и, нагибаясь, шепчет Ксене: — Правда, есть хочешь?

— Не хочу, но буду, только бы мама не сердилась,— отвечает девочка.

Мирон раскрывает свитку; отец и дочка с серьезным видом идут к столу, боясь поднять глаза на мать, чтобы не рассмеяться.

На столе лежит накрытый узенькой, в одну полу, скатеркой хлеб, а рядом — несколько стеблей барвинка с полированными листочками. Василина ставит еще миску с картошкой и капустным листом и, вздыхая, берет из рук Мирона краюху. Ее больше, чем мужа, тревожит, что у них осталось всего полмешочка ржи. Обдирает она зерно понемногу, на жорнах, и не раз на камень вместе с зернышками капали ее слезы. Хорошо, что хоть картошка еще есть, без нее давно бы погиб мужик. Мирон видит, как переменилось лицо жены, и начинает хвалить капустные листья:

— Таких, жена, нигде не едал. Еще бы маслица капельку, так был бы я, как говорит Евдоким, кум королю.

Василина, хотя и видит мужа насквозь, но улыбается своему пересмешнику, приносит бутылочку и долго смотрит на свет.

— Тут уже не масло, один осадок на дне.

— Все равно лей, хоть запахнет достатком.

— Может, сделать каплуна?

— Каплуна, говоришь? Сделай. Вот уж хитрое блюдо,— смеется Мирон.

Василина вносит из чулана мисочку капустного рассола и осторожно наклоняет над ним бутылочку с маслом. Желтые капельки растекаются на поверхности рассола, и в них целят-

ся картофелинами Ксеня и Мирон. Капельки масла разбиваются на меньшие, и в результате к картофелинам что-то прилипает.

После ужина, пока жена поправляет солому на постели, Мирон шепотом говорит Ксене:

— Возьми-ка, дочка, клочок бумаги и порешай мне задачки.

Девочка с готовностью бросается к книжкам, берет тетрадь, карандаш и гордо садится за стол, ловя на себе почтительный взгляд отца. Мирон гордится, что его дочурка и на бумаге и даже в уме отлично справляется с арифметикой. А мать, если в хате заводится копейка, берет на ярмарку Ксеню, и тогда уж ни барышникам, ни перекупщикам не выцыганить у них ни гроша. Бывало, какой-нибудь дошлый лотошник быстро-быстро насчитает, сколько надо платить, а Ксеня и отзывается из-за материнской юбки:

— Дяденька, а на что же прибавлять?

— Как прибавлять? Я еще скинул малость.

— А накинули сколько?

И «дяденьке» приходилось еще раз подсчитывать и под смех людей сознаваться, что в самом деле сбился со счета...

— Я готова.

— Запиши: «Березина»,— диктует Мирон.— А под ней задачка: «Тысячу двадцать пять помножить на пятьсот двадцать и поделить на две тысячи четыреста».

— «И поделить на две тысячи четыреста»,— повторяет Ксеня.— А почему во всех ваших задачках всегда делится на две тысячи четыреста?

— Все будешь знать — состаришься, и зубы выпадут.

Дочка решает задачу, а отец топчется вокруг стола, присматриваясь, как белая бумага покрывается таинственной и страшноватой мошкарой цифр.

— Двести двадцать и два в остатке! — торжественно объявляет Ксеня.

— Сходится, гляди-ка,— удивляется отец.

— А что с остатком делать?

— С остатком? Отдадим его барину.

— Барину? — Теперь уже удивляется Ксеня.

— А чего ж, хватит с него и остатка, еще и того много будет,— говорит Мирон, складывая в уме все урочища и все «остатки».

— Вы скоро уляжетесь или до свету будете полуночничать? — кричит Василина, и Ксеня бросается в кровать.

А Мирон складывает вчетверо листок с задачей и, повертев его в руках, осторожно кладет на треугольную полочку — косынчик — возле Николы-угодника, которому ближе всего мужицкая нужда.

XXIII

Казенный дом! Никогда он не сулил добра земледельцу — ни в картах, ни в жизни — не сулит его и теперь.

Дед Дунай останавливается перед просторным красным, словно высосавшим кровь из земли, каменным домом и смотрит на его высокие двери, как на свою погибель. Мало ли людей входили в эти двери хозяевами, а выходили, именем закона, нищими. Мало ли людей входили сюда, еще чувствуя за спиной свою землю, а выходили, пошатываясь, с судебными бумагами, где подписи и печати отымали землю и навек раздирали человеческое сердце. Потому-то и боится так земледелец каждой бумажки и даже на бумажные деньги смотрит с затаенным страхом, подозрительно.

Перед каменными ступенями дед Дунай тщательно вытирает ноги и тяжело переводит дух. Не путь, а думы утомили его. Все время в голове метались и бились одни и те же раздумья, снегом заметали землю его отцов. Старик догадывался, зачем его вызывают к председателю уездного съезда мировых посредников. Но почему только его?

Перед ним отворяются высокие, как виселица, двери, и возле них на миг замирает, весь в позументах, лакей, затем распахиваются еще двери. И вот в просторном, со сверкающим полом кабинете встречаются сын лесов и бумажный распорядитель земель всего уезда. Строгий, темный и неприступный, чиновник стоит перед дедом Дунаем как холодное воплощение закона.

Старик по привычке сразу замечает, что крупная зеленоватая голова начальства разительно похожа на глянцевитый кочан капусты, даже вздыбленные остатки волос, кое-как окаймляющие плешь, напоминают верхние капустные листы. Но — и в этом самое страшное! — от кочана веет каменным холодом, и живыми на нем кажутся лишь золотые ободки да выпуклые стеклышки очков. За ними не видно глаз, только поверх очков, в нависших бровях, лениво шевелятся брезгливая строгость и недовольство — признаки скверного настроения и дурного самочувствия страдающего желудочными болями председателя, от которого пахнет духами, турецким табаком и ваксой.

В глаза деда Дуная затекает грусть, а в груди вымерзают остатки надежды на то, что все как-нибудь обойдется.

За последние дни в глубочайших тайниках души старика, бывало, нет-нет да и проскочит искорка надежды: опомнятся господа, отступят перед истлевшими мужицкими бумагами, по счастью, чудом уцелевшими со времен Палия...

— Дед, а, дед! — Председатель нацеливается в старого стеклышками очков, а на золотых ободках искрятся отблески света.— Тебе известен акт о выводе?

Старик берет себя в руки, в душе его ломаются ледяные иглы страха: надо и с грозным законом встретиться достойно.

— Слышал, господин председатель, про наше несчастье. В этом же доме слышал.

— Так что же ты и все остальные не ставите подписей под актом?

— Не дадим, господин председатель, наших подписей, убейте, а не дадим! — вырывается у старика из груди стон упорства и боли.

— Бунтуете против барина, чей род отечество спасал?

И дед Дунай не стыдится высказать председателю то, о чем не раз уже шумели в селе:

— Один бог знает, может, прадед нашего барина и отечество спасал, а может, иным чем кое-кого потешил...

На горшечных, прогнутых щеках начальства блеснуло, как глазурь, любопытство, но щеки сразу же снова затвердели.

— Глупости говоришь, бунтуешь против закона!

— Мы не бунтуем, мы правды добиваемся.— Увядшие веки старика дрожат.

— А «Положение» и закон от четвертого апреля тысяча восемьсот шестьдесят пятого года для вас не правда?— Очки прыгают, и под ними прыгают злые, верно законом замороженные, глаза.

— Когда-то,— вы, может, этого и не знаете,— сенат защитил нас, потому что земля за нами записана еще при первой листрации. Так разве теперь переменился закон?

— Не слишком ли ты умен? — злобно отчеканивает председатель.— Гляди, как бы тебе не пришлось кормить тюремных вшей! Ты бунтуешь лесовиков, подбиваешь их не подписывать акт. Пока не поздно, откажись от своей затеи! Надо покончить миром.

Дед Дунай уже видит перед собой не грозный закон, а только барина и теперь, выпрямясь, сам спрашивает:

— Отказаться, говорите? А вы, если скажут вам, откажетесь от царя?

— Это крамола, мерзавец! — Глаза за очками хищно блеснули.

— Не фыркайте, ваша милость, господин председатель! Не фыркайте! — Сухое, как грецкий орех, лицо старика становится грозным.

— Как ты смеешь говорить такие вещи про царя? — Зеленоватая глазурь на щеках председателя потемнела.

— Смею, барин, потому что вас кормит царь, а нас — земля. Вы не можете отказаться от царя, а мы — от земли.

— Вон отсюда! — Председателя трясет от гнева, и на груди у него трясутся все его «законные» награды.— Я эту землю на ваших спинах распишу! Хамы! Гайдамаки!

Дед Дунай меряет чиновника ненавидящим взглядом, а потом спокойно поднимает правую руку и крестит его. Тот удивленно вскидывает глаза на старика и уже тише спрашивает:

— Это что за новости? Чего ты вздумал меня крестить?

— Вы меня хамом, гайдамаком назвали, так я хочу узнать: не черт ли вы, не ровен час? — спокойно отвечает дед.

От прилива крови щеки председателя пошли полосами, он, захлебываясь, пытается что-то крикнуть, но вместо крика из горла у него вырывается хриплый клекот.

А дед Дунай быстро, не затворяя за собою дверей, выходит из здания земства, неся в глазах неостывший гнев, а в голове пчелиное гудение мыслей.

Только на окраине города дед остановился и по привычке полез в карман за трубкой. Чертово зелье и чертов дым немного утешили старика. А в глазах неотступно стояли родные жилища в лесу, сады и люди, с которыми прожил век. Чем он порадует, утешит Морозенок, Гончаров, Биленок и Кульбаб? Он им всегда говорил: «Живите с правдой и по правде». Так они и жили, выращивая пшеницу и яблони, скотинку и пчел. Но теперь новая кривда угрожает старой правде гибелью, если не защитить ее. А как защитить ее там, где вокруг камень, каменные дома и сердца каменные? Среди них старый чумак чувствовал себя маленьким, беспомощным. И все же снова придется обивать каменные пороги и задабривать мужицким серебром эту непонятную породу людей, которые не сеют, не косят, не жнут, не мелют, проводят всю жизнь в роскошных каменных хоромах.

Но даже в самые тоскливые думы старика то и дело врывались видения светлых лет, не даром прожитых им на земле. И снова перед ним вставал весенний сад и сквозь табачный дым пробивались запахи яблоневого цвета, несказанно тонкие, чуть печальные, с едва уловимой горечью.

И сад тоже просил защиты у старого чумака, которому придется, верно, ехать к самому царю. Царь, ясное дело, чумака не примет, но бумаги должен принять. Кто же их напишет так, чтобы царь понял мужицкое горе? Чтобы пожалел мужицкую землю?

Ранним вечером дед добрался до старосветской усадьбы Тадея Лисовского, который записал от старика немало песен и на бумагу и на машинку с восковыми валиками. Молодой барин, увидав в окно медвинского чумака, вышел на порог, радостно приветствовал деда, пригласил в дом.

— Вот кто споет нам сегодня!

— Я уж, Тадей Станиславович, отпелся,— горько ответил Дунай.

— Отчего же, дедушка?

— Злые люди подсекли и голос и житье,— проговорил дед, входя в просторную комнату с небольшими окнами, на которых красовались глиняные куманцы и игрушки.

За столом с бумагами и фонографом сидел судебный следователь Чернокнижный. Лисовский познакомил его с дедом Дунаем, подошел к фонографу, повозился с машиной, заложил валик, и в комнате зазвучала протяжная чумацкая песня о соловье, который свил гнездышко на лужке, вывел птенцов, а их спалило безжалостным огнем. И где бы ни вил соловей гнезда, на лугу или в роще, высоко или низко,— нигде не удавалось ему вырастить птенцов, ибо «никто доли наперед не знает».

Дед Дунай сразу распознал свой голос, хоть он и шипел и прерывался, выбираясь из воскового и железного нутра машины.

— Я не встречал лучшего исполнителя чумацких песен, чем дед Ярош,— обратился Лисовский к Чернокнижному.— Талант, ничего не скажешь! Какая же у вас печаль, дедушка?

Старик рассказал грустную повесть о лесовиках. Тадей Станиславович с возмущением спросил следователя:

— И вы не можете прекратить это беззаконие?

— Я не знаю, беззаконие ли это,— сухо ответил жуковатый судейский, встал из-за стола и выразительно повел гла-

зами на старика, давая понять хозяину дома, что при просителе разговаривать неудобно.

Господа вышли в соседнюю комнату.

— Кость Иванович, неужели вы ничего не знаете об этом деле? — С лица Лисовского не сходило возмущение.

— Ну нет, немного знаю! — неохотно ответил Чернокнижный и помбрщился, словно от зубной боли.

— Так помогите людям.

— Я не бог, всем помочь не могу.

— Я прошу вас от имени всей нашей общины.

— А община будет кормить меня, если я останусь без должности? — тихо загудел Чернокнижный.— Не могу я лбом пробить такую стену, как воля съезда мировых посредников, навсегда стать их врагом: у меня должность и старики родители.

— Вот так мы все: любим людей до глубины души, но не до глубины кармана. И это рано или поздно погубит нас,— понуро проговорил Лисовский.

— Вам, Тадей Станиславович, хорошо говорить,— обиженно гудел Чернокнижный.— И я носился с вольнолюбивыми идеалами, пока не получил дисциплинарного выговора.

— Значит, вы ничем не сможете помочь людям?

— Не горячитесь, Тадей Станиславович...

— Вы знаете, если бы не песни, записанные у деда Дуная, вряд ли Академия присудила бы мне звание лауреата. Я обязан помочь старику.

— Так уж и обязаны! — хмыкнул чиновник.— Сколько же вы записали песен?

— На подводе не увезешь.

— Ого! — засмеялся Чернокнижный и замотал головой.

— Вы не удивляйтесь. Когда я впервые спросил старика, сколько он знает песен, он ответил: «Да, верно, сто». А я записал и сто, и двести, и пятьсот, и тысячу, а он все сыпал ими, как осенними листьями. И как у него столько может удержаться в голове?

— Мне бы такую память — я бы в сенате сидел! — Лицо чиновника оживилось.— Что ж, если уж вы так хотите помочь вашему певцу, что-нибудь придумаем... Ишь, до царя хочет добраться,— улыбнулся своим мыслям следователь.— В Петербурге в Кредитном департаменте контроля служит мой добрый знакомый, он вот-вот должен занять пост товарища генерал-контролера. В сущности, его благословили туда как украинского посла по издательским делам Ефремов, Матушев-

ский и Дурдуковский. Господин Лятошенко тесно связан с Петербургской громадой, филиалом украинской организации, имеет обширные знакомства, и, кроме того, он деловой чиновник, не чуждающийся и мелких, частных дел. Надеюсь, он нам поможет. На всякий случай можно еще написать прошение его высокопревосходительству Сергею Юльевичу Витте...

— Напишите и Лятошенку, и Витте, и всем, кого знаете, лишь бы только помогло,— засуетился Лисовский.

Через час дед Дунай с двумя письмами в руке выходил из дома Лисовского. Перед глазами старика расстилался неведомый путь, вставали незнакомые люди, а сзади хлестнула его по спине песня о соловье, который не знал наперед своего счастья-доли.

Это из усадьбы догонял старого чумака его же голос, мечась, как искалеченная душа, между воском и железом машины.

На столе в глиняных мисках и мисочках стоит постный ужин: вареники с дикими грушами, гречишные, на подсолнечном масле блины, разломанные соты и лежалые, с блеклым румянцем яблоки. Но напрасно сегодня старая Дунаиха возилась у печи: никто из лесовиков даже и не думает браться за ложку, и удивленные боги впервые видят в этом жилище, как ужин стоит сам по себе, а люди сидят сами по себе.

Молчаливо и угрюмо входят лесовики в хату, молча вынимают из карманов и кошелей серебряные целковые или смятые бумажки, бросают их в дедову шапку, в которую уже зашиты письма. Кинул свое серебро и Петро Морозенко и невесело пошутил при этом:

Соберем по золотому,
Купим лошадь кошевому.

И сразу же послышался голос Биленка:

— Похоже, что и атамановы и наши лошади да волы уплывут господам в карман.

— Пускай уплывают, лишь бы земля не уплыла,— вздыхая, отозвалась с порога Мотря Кульбаба, полногрудая вдова с красивыми глазами, на которую при случае заглядывался украдкой не один лесовик.

Мотря вынула из-за пазухи тугой узелок, зубами развязала его и вытряхнула деду в шапку свое серебро и медь.

— Возьмите и мой горшок под капусту.

— Спасибо, Мотря. Пускай твоя вдовья копейка обернется счастьем,— тихо проговорил дед Дунай.

Мотря поклонилась ему, села возле бабки Ганны, и в хате наступила такая тишина, что все с удивлением услышали, как под матицей тонко зазвенел и затих комар.

— Откуда он взялся? — встрепенулась Мотря. В ее больших лесных глазах росло удивление.

— К теплу проснулся,— проговорил Биленко.

И снова тяжкие думы мужиков перекинулись на неведомых жителей столицы, которым предстоит своей бумажкой решить судьбу детей земли. Потом лесовики поклонились богам и старому Дунаю и пошли через молчаливый лес в село на исповедь.

И снова отец Викентий спрашивал их о здоровье, о скотине, о земле, а люди не знали, что сказать, ибо как на исповеди отделяется душа от тела, так отделялась от них земля — она и принадлежала и не принадлежала им больше.

XXIV

Еще только начинало рассветать, а слух быстроногим зайчишкой катился уже от хаты к хате, через луга и левады, забегал в самые глухие закоулки села и в лес.

— Слыхали?

И тот, кто даже ничего не слышал, сразу же догадывался: что-то новое о земле. И тут же бросал топор, цеп, недоструганное топорище или грабли и, светлея, волнуясь, глотал воздух.

— Говорите скорей, а то душа болит.

— Ну и пусть поболит немного.

— Да что ж там?

— Евген Колосюк поехал в город. За землемерами.

— Ой!

— Да не может быть,— сомневались маловеры.— Чтобы сам барин послал кучера?..

— Как не может быть? Своими глазами видел, своими ушами слышал, не померещилось же мне!

— Дождались, слава богу!

— Что было — видели, а что будет — увидим...

— Вы хоть не каркайте. Не смыслите ничего — ну и не распускайте язык...

— Кто же это додумался теперь, как раз перед пахотой, наделять? Ах, умница...

Надежды забурлили с новой силой, растапливая последние сомнения.

— Хоть бы где гречихой разжиться, чтоб детям испечь блинцов или сварить кашу.

— В экономии будут давать по пять пудов зерна на семью.

— Ну-у?

— А что, не заработали мы и отцы наши за век эти пять пудов?

— Так-то так, да все же...

— Что все же?! Возьмешь свои пудики на плечи как миленький.

— Барину все равно не сеять больше.

— А может, и он уцепится еще за мужицкий надел и будет, как цыган сказал, пахать, молоть да есть.

Мужики раскачивались от смеха, глаза наливались веселыми слезами. В этот день никто и завтракать не садился.

Все село высыпало на тракт, под липы, как на пасху к церкви. Даже те старики, которым землю давно уже заменила печь, ковыляли нетвердым шагом, опираясь на грушевые или яблоневые посохи; в тумане они и сами были как туман, и даже мутные слезы на глазах у них, казалось, натекли из предвешней мглы.

Ждали долго. Наконец в серой дали зазвенел колокольчик, замолк и снова зазвенел, а от распятия помчались к селу мальчишки, выкрикивая одно слово:

— Едут, едут!

Рассыпая серебряный звон, мимо мужиков шустро промчали лошади. В лакированной коляске покачивались двое немолодых господ, удивленно и с беспокойством поглядывавших на толпу, а сердитый Колосюк гнал лошадей как на пожар. И это на миг озаботило Мирона Велычка: «Неспроста злится Евген».

Но тревожная мысль сразу же и растаяла, как сосулька на солнце.

Когда мужики подошли к ограде помещичьего дома, землемеров уже не было. Только на миг возле людской мелькнула фигура Колосюка и скрылась в дверях. Норовистый парень так и не вышел порадовать людей добрым словом, и мужики терпеливо ждали землемеров возле высокой железной ограды. Когда на господской груше в саду каркнул ворон, Евдоким Юренко в сердцах швырнул в него палкой.

— Раскаркался, холера!

Палка толстым концом зацепила плоское гнездо на груше, и ворон как ошпаренный подпрыгнул на целый аршин, каркнул, захлопал крыльями и только после этого полетел в туман.

Не скоро вышли землемеры из господского дома. Подъехал Колосюк, и господа принялись поудобнее устраиваться в легонькой венской коляске. Не успели раствориться ворота, как, здороваясь и снимая шапки, землемеров окружили мужики.

— Сделайте милость, скажите: скоро будете наделять нас землей?

— Послезавтра начнем,— ответил долговязый узколицый чиновник, отрывая сутулую спину от черных, обшитых кожей подушек ландо и неуверенно посматривая на крестьян.

— А может, ваша милость, завтра бы начали? — клонились перед ним обнаженные головы.

У долговязого землемера от удивления округлились глаза.

— Нам надо как следует ознакомиться с урочищами.

— Спасибо вам, соколики. Дай боже здоровья вам и детям вашим.

И чем больше благодарили крестьяне, тем сильнее удивлялись и тем более недоуменно переглядывались между собой чиновники.

— А почему вас так много? — спросил наконец долговязый.

В ответ прозвучал удивленный смех, посыпались шутки.

— Земля всем нужна!

— Что за мужик — без земли?

— Каждый пришел за своим наделом. Всем хватит.

Плечи землемера подпрыгнули вверх.

— Но постойте. Вы все живете в лесу?

— Зачем нам всем в лесу жить? — недоуменно переспросил Марко Билоус, молодцевато вытянувшийся перед землемерами.— Лесовики не приходили еще, разве что вон один,— он повел локтем в сторону, где стоял Гончар.

— Ничего не понимаю.— Землемер вынул беленький платочек и отер на покрасневшем лбу невидимый пот.— Мы ведь будем обмерять землю только тех крестьян, которые живут в помещичьем лесу, а взамен нарежем помещичьей...

Все так и остолбенели. Кажется, гром с ясного неба так не оглушил бы мужиков, как эти слова. Воцарилась мертвая тишина, а к испуганным землемерам приблизились грозные глаза Гончара.

— Не трожьте, господа, нашей земли! Не трожьте, а то и костей вам не собрать! — И он поднял кулак.

Землемеры разом наклонились к неподвижному Колосюку, тот тяжело отвел руку с кнутом, и лошади с места взяли галопом, обдавая грязью понурых мужиков.

...Медленно, как с погоста, расходились люди от господского двора, унося в сердцах боль и погребенные надежды. Молча разбрелись по туманным дорогам и тропинкам. Лишь несколько, сбившись кучей, шагали к батюшке. Это Лесь Якубенко подговорил церковный причт пойти за советом к отцу Викентию и, если можно будет, ответить барину злом за зло, хоть как-нибудь отомстить за соседское горе...

Отец Викентий встречает крестьян во дворе, приглашает в дом, но они не хотят следить в чистых комнатах и тут же, окружив его, изливают свое горе и просьбу.

— Это ведь по закону, батюшка,— убеждает священника расстроенный Якубенко.— Отнял старый барин землю у причта, так пусть молодой, раз он такой ненасытный, вернет хоть ее.

— Да пускай, матери его сто чертей, аренду заплатит за сорок два года,— смелея, вставляет Евдоким Юренко.

На него цыкают, и он сразу робеет, виновато моргает круглыми глазами.

Отец Викентий постигает мужицкую печаль, морщится и молчит. Чем он сегодня может утешить земледельца? Какую молитву прочитать ему? Какой проповедью унять боль, вызванную утратой надежд? Чем он может помочь лесовикам? Верно сказал Степан Васильевич: «Ангелом на грешной земле не проживешь». Не поможет он сейчас мужикам — поможет Стадницкому. Выходит, в неумолимой логике учителя есть доля истины. И это не утешает отца Викентия. Священник печально вздыхает и смотрит поверх собравшихся на серый небосвод, словно хочет там прочитать наилучший ответ крестьянам.

— Так что же вы, батюшка, скажете на это?

— Правда на вашей стороне,— неожиданно для себя говорит отец Викентий, чувствуя, как щемит сердце.— Может быть, ваше письмо к барину и поможет лесовикам.

— Вот бы его сейчас написать,— вырывается у Леся Якубенка.

— Пишите хоть сейчас... Только без меня...— Отец Викентий невольно краснеет и, глядя на растерянные лица крестьян, добавляет: — Мне, понимаете ли, неловко начинать тяжбу

с барином. Пусть это идет не от меня, а от людей. Так будет лучше. А напишите все — и про землю и про аренду...

— Напишем, батюшка, все напишем. Спасибо вам,— заверяет Лесь и обращается к мужикам: — Пойдемте, не будем больше мешать.

Отец Викентий провожает крестьян долгим взглядом и вздыхает. Как будто выкрутился из неприятной истории, но как выкрутиться, как уйти от упреков совести?.. Становится противно и тоскливо. Он входит в дом, опускается на колени и обращает молитву своей неискупенной души к молчаливому Христу...

— Кто же напишет нам приговор причта? — спросил у Леся на улице Мирон Велычко, самый большой враг церковного старосты.— Тут все такие грамотеи, что, кроме крестика, ничего не измыслят.

Лесь на минуту задумался, а потом, улыбаясь, подмигнул Велычку.

— Твой грамотей напишет — Ксеня.

— Ксеня? — удивляется Мирон.

— Сам же говорил, что маленькая, а так падка на ученье, что только держись! Пишет — прямо как муха дышит...

— И хорошо, если напишут детские руки,— согласился Мирон,— от детей все чистое идет. Может, детское писание и барину тронет сердце...

Но детское писание не тронуло сердце барина. Когда Аркадий Валерьянович получил приговор причта, возмущению его не было границ. Выходит, война с мужиками не утихает, а разгорается? Может быть, и в самом деле плюнуть на лесные урочища и покончить с тяжбой? А то, кажется, лесовики и после голодных лет готовы упираться до последнего. Но попика следует проучить. Хотя и не он писал, но — Салоган уже все пронюхал! — он не удержал мужиков от преступного покушения на помещичьи земли.

Аркадий Валерьянович еще раз перечитывает письмо, красным карандашом жирно подчеркивает ошибки и ставит внизу отметку — двойку. Потом красивым, закругленным почерком пишет записку, вкладывает все это в конверт и громко кричит:

— Никанор!

Когда лакей появляется на пороге, барин передает ему письмо и коротко приказывает:

— Отдашь Салогану. Пусть сегодня же отправит в консисторию.

XXV

В тумане между деревьями, как лесные тени, бредут женщины с детьми. Бредет с ними и Устина Морозенко. Старшие держатся за ее кожух, а самый маленький лежит на груди, агукает и смешно морщит носик. Молодая женщина пытается улыбнуться малютке, но мешают слезы. Она утирает их, а они — откуда только берутся? — текут и текут; упадет капелька на щечку малыша — и он испуганно моргает, а потом снова улыбается матери смешными морщинками и голубенькими цветочками глаз.

У опушки женщин перегоняет Салоган. Вдавливая рукой донце шапки, он придерживает лошадь и наигранно веселым голосом кричит:

— Добрый день, бабоньки! Куда ведете своих выродков? Уж не в экономию ли наниматься? — И хохочет. От смеха дергаются его толстые веки, жирные губы, перекашивается ямка на подбородке, там, где гуще кустится щетина.

— Чтоб ты засмеялся на Страшном суде, — со вздохом вырывается у Марты Биленко. — Сгинь, пропади навек, паскуда!

— Это я паскуда? — Гервасий закусил нижнюю губу, рванул вверх плеть, но, опомнясь, сразу же опустил ее на гриву лошади и усмехнулся. — Еще будешь валяться у меня в ногах, будешь лизать мне сапоги, просить, чтоб взял в экономию. Тогда я тебе припомню «паскуду». А ты, Устина, чего такая гордая стала? Даже не глянешь!

Салоган злорадно смотрит на скорбное лицо Морозенчихи. А она невольно окинула взглядом темную, налитую жиром физиономию управителя, хищный оскал, подрагивающий кадык, и в прозрачных от слез глазах женщины блеснула ненависть.

— Даже слова не хочешь вымолвить? — торжествующе допытывается Салоган.

Морозенчиха стискивает зубы, чтобы не закричать, не расплакаться, и отворачивается от Гервасия. Сколько злобы в этом куске черного сала! Что ему горе людское, что ему невинные дети и скорбь матерей?! Вырос на муках людских, как дурман-зелье, муками и тешится. Скажет барин — сердце живьем вынет из человека и не поморщится, да еще похвалится. И оттого, что открылись ей черные тайники чужой души, становится еще противнее и тоскливее.

Салоган оттирает лошадью сынишку Устины, вплотную наезжает на женщину, наклоняется к ней.

— Ну, чья взяла? А приголубила бы меня, может, все было бы иначе! — Управитель рассыпает похотливый смешок.

— Чтоб тебя сырая земля приголубила!

Устина отталкивает рукой морду лошади. Но проклятия Морозенчихи не смущают Салогана.

— Поглядим еще, кого раньше приголубит! — захохотал управитель, огрел нагайкой жеребца и растаял в тумане, прежде чем утих топот.

— Боже праведный, как ты держишь на свете таких иродов! — с мукой вырывается у Марты Биленко.

Ее трое детей, все в полотняных катанках и вязовых лапотках, взявшись за руки, тянутся по обочине дороги. Неужели они не разжалобят барина? Это она, Марта, подбила женщин пойти к Стадницкому, умолить его смилостивиться над детьми, если нет у него жалости к родителям. Муж хотя и прикрикнул, что бабьи слезы не растопят господского сердца, но больше ничего не сказал и в отдалении шел за нею и за детьми до самого двора Морозенка...

Как нескончаемый сон, тянутся вытканные на тумане деревья, зябко ежатся набрякшие влагой хаты. И хотя глаза крестьян провожают лесовичек сочувственно, сердца еще больше тревожатся и отчего-то хочется стать меньше, незаметней. И убитые горем женщины сжимаются, горбятся, но оттого только больше бросаются в глаза.

Вот наконец и железные ворота, за которыми высятся гордые колонны и золоченые капители, подчеркивая величие дворца. И совсем некстати эту холодную красоту разрушает лай собак, несущихся к ограде. От людской бежит молодой псарь Микита Грек, но его опережает Никанор. Он, кажется, с каждым шагом теряет свою заученную почтительность и к воротам подходит уже надутый как сыч.

— Вы к барыне или к барину? — спрашивает лакей, не здороваясь и прощупывая глазами женщин, к которым, как грибки, жмутся дети.

— К барину, Никанор. Сделай милость, допусти к нему или позови.

— Так вот и позову! Завтра с мешочком! — презрительно хмыкает Никанор.

— Нам к нему очень надо.

— Подождите. Аркадия Валерьяновича нет дома,— равнодушно бубнит лакей.

— Как нет? — удивляется молодой псарь.— Он только что любовался на псарне щенятами и прошел задней дверью...

— А не померещилось тебе? — огрызается Никанор.— Я состою при барине или ты?

Микита Грек уходит в людскую.

— Никанор, тогда скажи барину, как вернется, чтобы вышел к нам,— просит Устина Морозенко.

— На что он тебе? — Слуга подозрительно и холодно смотрит на женщину.

— Ой, нужен он нам, как жизнь! — заголосили женщины.— Просим его милости...

— Милости на паперти просят, с протянутой рукой,— поучительно произносит Никанор, и подобие улыбки кривит его губы под припухшим носом.

— Ой, Никанор, не смейся над чужим горем; никто доли наперед не знает! — качая головой, отвечает Уляна Таранюк.

Теперь вокруг носа лакея собрались морщинки уже от злости.

— Держите, тетенька, язык за зубами! Кто виноват, что вы все такие стали умные — вздумали с барином тягаться! Не слушались его по-хорошему, а теперь идите, ничто вам не поможет.

— Нет, мы будем ждать барина.

— Как хотите,— пожал плечами лакей.— Ждите хоть до Страшного суда.

— А сейчас, думаешь, не Страшный суд для нас?

— Это еще не суд,— улыбается Никанор.— Вот как полетит солома с крыш, тогда будет суд! — И он, довольный, направляется во дворец.

— Спрятался от нас барин,— обернувшись к женщинам, говорит Устина.

— А может, и вправду пошел куда-нибудь?

— Спрятался или ушел, а все одно будем ждать,— хмуро заявляет Марта, застегивая катаночку на самом младшем сынке.

Она дотрагивается рукой до груди ребенка и ощущает тревожный перестук маленького сердца — бьется, как птичка в силках.

«Неужели и этот, самый маленький, чует наше горе?» Мать склоняется к своему Федьку, вытирает ему носик и задумывается, придерживая ребенка.

На землю опускался серый, угрюмый вечер, на господском дворе умолкли собаки, но света во дворце все еще не зажигали. Холодом веяло от его колонн, неприступных, как все Стадницкие. Во мраке сумерек женщины и дети каза-

лись меньше, как стали меньше их надежды разжалобить барина.

Когда во тьме зашелестел дождь, к лесовикам прибежала Люба, приголубила детей Устины, настороженно посмотрела на дворец.

— Любонька, барин дома?

— А где же ему быть! — ответила горничная, взяла ребенка из онемевших рук женщины и принялась его тетешкать.

— А он знает, что мы ждем его здесь?

— Знает и злится, а выходить к вам не хочет. «Страх, говорит, не люблю бабьих слез».

У жены Таранюка жалобно сморщилось лицо.

— Что ты ему сделаешь? Пойдем, бабы, в лес. Ничего хорошего не дождемся.

— А я не пойду! — крикнула Марта.

— Ночевать здесь будешь?

— Перестою на холоду с детьми, а не уйду. Не вышел сегодня — так завтра выйдет.

— И я не уйду! — Устина подалась к воротам и, раскинув руки крестом, прижалась к холодному железу. Оно опалило ей лицо, но не смогло унять гнев.

Что-то говорили женщины, шуршала чья-то одежда, кто-то молча ушел в лес, но все это миновало ее. Она видела только неясные очертания дворца и барина — таким, каким он был последний раз в экономии. К Устине подошла Люба, стала уговаривать, и Морозенчиха даже в темноте заметила, что у девушки влажные глаза и губы.

— Ступай, Любонька, домой,— Устина погладила ее по щеке,— ужин Петру сготовь.

— А может, вместе пойдем? Ничего у вас не выйдет.

— Нет, Любонька, — отрицательно покачала головой Устина и забрала ребенка из рук девушки.

...Медленно, как капель с деревьев, стекала мартовская ночь, медленно появилась на востоке красная полоса и пропала в сером тумане. Женщины прикорнули под тыном против господской ограды и теперь не могли добудиться детей, которые спали на полах кожухов или прямо на затекших материнских ногах.

На улицах замычала скотина, заскрипели колодезные журавли, запахло молоком и дымом. Просыпался и господский двор. Возле людской засуетилась прислуга, конюхи повели лошадей к приколодезным желобам, а из сада вышел с длинной лестницей в руках садовник. Он приладил ее к

белоснежной колонне и грузно полез вверх. Вот его руки вцепились в золотые листочки капители, и он принялся выколупывать прошлогодние ласточкины гнезда.

Застывшими глазами смотрела Устина на землю, на развалины птичьих жилищ. Вот так же рушится ее гнездо. Не жалеет барин ласточек, не пожалеет и ее детей.

Наконец, после завтрака, на дворе появился Аркадий Валерьянович, и десятки измученных глаз остановились на нем.

— Чего ждете здесь? — спросил барин, стоя за оградой, как в огромной черной клетке. От него пахло дорогими духами, свежим бельем и псарней.

— Смилуйтесь, барин!

— Не гоните из усадеб!

— Вы ведь наш барин...

— Век будем за вас бога молить! И господь не обойдет вас милостью своей! — со стоном вырвалось у Морозенчихи.

Раздались просьбы и всхлипывания.

— Нельзя! — коротко отрезал Стадницкий и оглянулся.

К нему легкой походкой охотника шел плосколицый и весь лохматый, словно поставленное на ребро воронье гнездо, доезжачий Адам Чирва, прозванный в селе зайцепасом. За плечами у него болталось старое шомпольное ружье, на поясе висел окровавленный заяц с жалобно скошенным глазом.

— Ну что, Адам? — оживившись, спросил Стадницкий.

— Обложили бирюка.— В зарослях бороды егеря шевельнулась улыбка.— Можно хоть сейчас выезжать на охоту.

— Отлично, отлично, Адам! — повеселел барин.— Сразу же и поедем. Распорядись-ка... А вы, бабы, по домам! Что у вас, работы нет?

— Ой, не обижайте нас, барин!

— Какие же тут обиды? Разве это обида, что я столько времени терпел на своей земле вас, неблагодарных лесокрадов, если не сказать хуже? — Серые с прозеленью холодные глаза Стадницкого расширились и замкнулись, как стальные замки. Теперь их не отпереть ни слезами, ни муками.

— Только и всего, Аркадий Валерьянович?— вскрикнула Морозенчиха, припав к железным воротам. Рот ее свело, припухшие уголки губ судорожно подрагивали.

— Только и всего, Устина! А ты чего же еще желала? — Барин оглянулся, прищурился в двусмысленной улыбке, которой он теперь все реже награждал молодых женщин, и пошел прочь.

— Так будьте ж вы прокляты! И пусть ваши дети доживут до того, до чего вы довели наших! — как крик ненависти вырвалось из груди Устины.

Стадницкий порывисто обернулся, посмотрел на женщину, и она увидела у него в глазах не гнев, а слабый отблеск не то страха, не то боли.

Хуже проклятия поразили его слова «ваши дети». Для Аркадия Валерьяновича дети почти всю жизнь были мукой. В дни бурной молодости он больше всего боялся опозорить себя внебрачными детьми и потому довольно часто заглядывал в дома, где продавалась любовь. Женитьба на легкомысленной красавице была словно расплатой за грехи его юности: он постоянно мучился, не будучи уверен, что ее дети были и его детьми. Женившись вторично, на безупречно честной Лизе, он мог быть спокоен за свои отцовские права, но тут эти права отобрала у него мстительная природа.

Уже отойдя от Устины, Аркадий Валерьянович ощутил, как в душе у него подымается гнев против этой мужички, против всего мужицкого рода. К черту бирюка, к черту охотничьи забавы, есть другие звери, которых следует проучить раз навсегда!

— Адам!.. Сегодня не поедем на охоту.

Барин бросил на доезжачего резкий взгляд, а у того физиономия выражала сожаление.

— Да ведь...

— Сегодня придется снести хату этой мерзавки, которая сыплет проклятиями. Собирай лесников, а я с Гервасием скоро подъеду...

— Да ведь, ваша милость, такой бирюк...— чуть не плакал доезжачий.— Хату и завтра в щепы разнесем.

— Будь по-твоему! Хату разнесем и завтра...— милостиво согласился барин. Он чуть ли не больше всех слуг любил неутомимого егеря.

XXVI

Стоит тихая и по-своему волнующая пора. Сверху на вершины деревьев опускается сизый сумрак, а снизу из-под каждого куста выползает туман, и потому кажется, что над землей колышутся два неба: внизу — серое, вверху — сизое.

В лесу затихает чавканье продольных пил, предсмертный хруст свалепных деревьев и шипение рубанков. Лесорубы, перекликаясь, складывают в штабели последние, влажные от

сока кряжи, гонтари досортировывают шпунтованный гонт, а возчики в черных кобеняках выводят на лигах голландские брусья и шестигранные, тесанные из столетних дубов платсоны.

Туман и сумерки, смыкаясь все плотнее, наконец слились в вечер, и всюду крепче запахло березовым дегтем.

— Роман, ты домой? — спрашивает возле сторожки Юрий Звонарь, вытаскивая из пальца глубоко загнанную занозу.

— Да нет, зайду к лесовикам,— уклончиво отвечает Роман.

— Может, нашел лесовичку? — Юрко лукаво подмигнул смолистой бровью.— Пора уже, дитятко.

— Где мне за тобой угнаться!

Юрий, блеснув белыми зубами, засмеялся: ему и в самом деле приятно, что по нем всюду убиваются девушки. Он вытащил из пальца занозу, высосал и выплюнул кровь и снова подмигивает Роману.

— А ты знаешь, что от тебя Орина Окунь без памяти?

— А, иди ты!..— отмахивается Роман.

— Все девушки болтают об этом.

— Сороки, вот и болтают.

— Может, и сороки,— соглашается Юрко и, лихо сбив фуражку, поправляет свои подкурчавленные гвоздем вихры, перекидывает пиджак на одно плечо и молодцевато шагает к одной из щебетух, к какой именно — он решит по дороге.

Роман задумчиво улыбается вслед парню и неторопливо идет по лесной тропе.

Лес полон таинственных шорохов, под ногами перешептывается туман; невидимые крылья чирят прошуршали над верхушками деревьев и вскоре отозвались всплеском в лесном озерке. Легко идется молодым натруженным ногам по весенней земле. А сердце все к чему-то прислушивается, тревожится и ждет чего-то. Прибой чувств, и радостных и тоскливых, заливает парня, хочется узнать, как прожить на свете, где искать свою любовь и что ей надо сказать, когда найдешь, и как в глаза посмотреть. То, что Роман прочитал в немногих книгах, не подходит ему, а рассказы парней о любви всегда грубы; им кажется, что стыдливость лучше всего прикрыть от чужого глаза скорлупой насмешки, а то и забористым словцом, чтобы никто не подумал, будто у парня мягкое сердце и он не разбирается в любовных делах. И потому для Романа мир любви полнее всего раскрывается в песнях. Но в них любовь всегда несчастная, с печалью раз-

луки, с горем утрат. А хочется безмерного счастья, того, на что надеются по вечерам доверчиво расцветшие глаза девушек, горюющих в песнях над судьбой Бондаривны, над ее безвременно увядшей любовью, и все-таки ожидающих своей прекрасной любви.

В задумчивости Роман, сам того не замечая, сворачивает на дорогу, ведущую к Морозенкам. «Не все равно, по какой тропе идти?» — уговаривает он себя, понимая, впрочем, что это обман. В мыслях он уже встречается с Любой. В воображении неясно проступают очертания девичьего стана, беспокойно мерцают большие глаза, загадочно улыбаются по-детски пухлые губки. Но весь облик девушки все же ускользает от него, потому что он видел ее только при лунном свете, изменяющем и лесной мир и девичью красоту. Вот ямочки под губами он хорошо знает, а какие глаза у девушки, не может сказать. При луне показались темными. Но чьи глаза не покажутся вечером темными?

В тумане едва видна хата Морозенок. Вокруг нее изредка перестукивается вербная капель, из трухлявых дупел несет хмельною прелью. Вот и калитка, у которой стояла Люба. Роман трогает сырые доски, словно они должны и до сих пор хранить тепло девушки. Но почему-то и калитка кажется ему не такой, и от двора веет печалью.

«Здесь ли она?» Роман ловит себя на том, что заглядывает через плетень, кружит возле двора. Ему хочется пошутить над собой, посмеяться над этими прогулками вокруг чужого жилища, но вместо смеха из груди вырывается вздох. Вот и тает, как вешний снег, юношеская независимость, но это теперь не очень смущает его.

Из тумана донесся мягкий топот коня. Парень сошел с тропинки и притаился под вербой возле овина. Топот все ближе, неясно доносится говор, и через минуту Роман, холодея, узнает голоса Любы и Якова Плачинды. Он подкрадывается к ним, и фигура его сливается с деревом. По лесу разносится молодой смех девушки, сыплется жаром в душу Романа. Он отяжелевшей ладонью проводит по лбу и зажмуривает глаза. Только теперь он понимает, насколько дорога ему эта девушка. И вот прозевал ее. И сам, дурак, виноват — ведь ни слова не сказал ей, ни слова! Чего ж ты ждал? Да и она хороша: позарилась на достаток Плачинды. В злой тоске он сваливает вину на девушку, а новая россыпь смеха обволакивает его паутиной, и вот уже голоса доносятся до него словно процеженные сквозь ледяную воду.

«А еще Романком назвала и так доверчиво посмотрела, словно у ней и нет никого»,— злится парень, и кончики его пальцев вдавливаются в кору вербы, срывают омертвелые наросты. На озерке захлопал крыльями крыжень, плеснула вода, и стало так тихо, что кажется, стук собственного сердца отдается за озерком.

— Люба! — тихо повисает в тумане взволнованный голос Плачинды.

В ответ раздается смех, правда не радостный, даже, как будто злой, но все-таки смех для Плачинды, а не для него.

Роман онемелой рукой сбивает шапку на лоб и словно не своими ногами выходит на дорогу. И сразу же натыкается на Любу, рядом с которой гарцует на коне Плачинда.

— Роман! — удивленно и обрадованно вскрикивает девушка.

Она тянется к нему, а он сторонится, бормочет что-то себе под нос и, затаивая боль, проходит мимо. От боли его шатает и щемит сердце. На миг Роману показалось, что Люба обернулась к нему, вздохнула, но гордость и гнев не позволяют ему ни оглянуться, ни остановиться. Да и что пустые вздохи? Обман, и только. Чтобы хоть немного унять боль, он вспоминает Христинку, тянется душой к ней, но только еще больше расстраивается.

Это глупость, будто клин клином вышибают. Это только для дерева, а из человеческого сердца ничего клином не вышибешь...

Яков Плачинда посмотрел вслед Роману, небрежно махнул нагайкой.

— Диковатый парень.

— Зато вы вежливый да липучий,— с сердцем говорит Люба, догадываясь, на что рассердился Роман. Не будь тут Плачинды, она бросилась бы вслед, сказала бы... Только что бы она сказала? Даже сейчас у нее нет слов.

— Люба, ну отчего ты такая? — В словах Якова звучат мольба и укор.

— Какая — такая? — неприязненно спрашивает девушка.

— Я и сам не знаю, какая! — Теперь в голосе Якова печаль.— Неприветливая, сердитая.

— А с чего мне быть с вами доброй?

— Разве я не заслужил?

— Что вы ко мне пристали? Мало вам богачек у нас в селе?

— Ты... лучше всех.

— И давно я стала такая? — удивляется Люба.

— С первого взгляда...

— Даже с первого взгляда? — недоверчиво смеется девушка.

— Да ведь ты самая лучшая...— вздыхает Яков.

— Уж какая ни на есть, а поворачивайте назад, нечего вам, Яков Дорохтеевич, ездить по этой дороге. Не хочу я, чтобы люди говорили про нас с вами. Вам это все равно, а для бедной девушки один стыд да дурная слава. А я не хочу ни дурной славы, ни пареканий вашего богатого брата.

— Опять ты к моим чувствам примешиваешь богатство. Чем оно так мешает тебе?

— Это оно, может, вам мешает, у вас его много,— отрезает Люба.— А мое все богатство — руки да честь. Так что поезжайте себе к богачкам.

— Ну, хоть постой немного.

— Боюсь, ноги простою.

— Не хочешь даже поговорить со мной?

— Не хочу. На пасху среди девушек ищите меня — поговорим, а наедине не стану.

— Неужели я такой противный?

— Этого я не говорила.

— Так что же, Любонька?

— Все будете знать — скоро состаритесь. Спокойной ночи, барчук! — Она хлопнула калиткой и пошла по двору. Торопливый перестук ее каблучков мягко поплыл к сонному жилищу, не знавшему, что доживает оно последнюю ночь.

XXVII

За эти дни гневная душа Ивана Дуная притихла, и в столицу он вез одну только тяжкую скорбь, но по ночам в короткие сны врывались видения жестокой расплаты, над помещичьими хоромами носились и кипели чертовы круги дыма и огня.

Правда, иногда под стук колес наплывали совсем иные картины: кто-то вырезал в стене вешнего тумана гигантские отверстия, и сквозь них виднелась щедрая лесная земля, по ней нежно-голубой росой разбрызганы подснежники, а вверху звенела торжественная лебединая песня. А то лебеди садились

на лесное озеро, бороздя солнечные блики, либо пролетали над его хатой, белеющей, как люлька, между двумя дубами и, казалось, тоже готовой улететь куда-то. На пороге стояла с маленьким Васильком его молодая еще Ганна, оба они всматривались в лесную дорогу, ожидая хозяина. А он из-за живой изгороди леса смотрел на них и не мог постичь, почему же к семье вернулись далекие годы, а к нему, старику, не вернулись. Вот Василько увидел его, бежит, кричит «папа», а он в деды ему годится... Как же так случилось?

Шум колес разрывал непрочную нить сна, старик припадал к окну, за которым стояла непроглядная ночь, и чаще думал о сыне. Давно ли он весь умещался на самой маленькой подушечке, давно ли жалобно тянулся к материнской груди, к отцовским рукам? За что их так любило дитя? Сидя на руках у отца, Василько уже в семь месяцев отбивался даже от матери, выговаривая упрямо и воинственно: «Эээ...» У него расширялись серые глаза, трогательно торчали едва заметные, словно зернышками мака усеянные, нежные ресницы...

Петербург не удивил Дуная. В новой свитке, в барашковой шапке, с котомкой за плечами, он шел по городу, словно сквозь каменный сон. И люди суетились здесь, словно во сне. Правда, они были более вежливы и учтивы с дедом, чем в Каменце или Виннице, не воротили носа от его свитки и не ощупывали руками котомку, где лежали харчи и материнский гостинец Василю — пирожки с маком и медовые коржики, спеченные из первача. За дорогу пирожки и коржики затвердели и поседели, словно покрылись инеем, да ладно: разве не напомнят они Василю лесную землю и мамины руки? И, расспрашивая о Васильевском острове, старик не раз с волнением и теплотой возвращался мыслью к сыну и жене.

И вот, порядком приустав, он подходит к небольшому двухэтажному дому. Дед тянет дверь за ручку, но не может отворить. Тогда старик принимается дергать за кольцо. За дверью сперва дребезжит звонок, затем слышно, как кто-то идет по сеням, и вскоре на пороге появляется женщина, немолодая, голубоглазая, с высоко вскинутыми ресницами.

Она смотрит на старика и, охая, испуганно всплескивает руками:

— Иван Петрович?!

— Иван Петрович. А вы как узнали? — удивляется старик.

— Таким вас всегда описывал Василь Иванович. Да и очень вы похожи на сына...— На улыбающиеся глаза

женщины набегают слезы.— Идите же к нам, в комнату Василя.

— Спасибо, милая. Как вас величать?

— Гликерия, Гликерия Михайловна.

— Тут и живете?

— Тут, к сыну из села переехала.

— А Василько дома или на работе? — поправляя котомку на плече, спрашивает Дунай.

— А вы ничего не знаете? — удивляется сквозь слезы Гликерия Михайловна.

И только теперь в душу старика заползает страх. Он останавливается посреди коридора, пристально и взволнованно смотрит на женщину.

— Что случилось? Что с Василем? — спрашивает он сразу охрипшим, одеревеневшим голосом.

— Не пугайтесь,— Гликерия Михайловна пытается улыбнуться,— самое тяжелое позади. Арестовали было вашего Василька...

— А теперь он где? — перебивает старик, не в силах дождаться ответа.

— А теперь выпустили из Крестов — тюрьма такая. На воле будет. На воле!

— За что ж его? — Дунай хватается за сердце, с его плеч падает на пол котомка, и в ней стучат засохшие коржики — гостинец сыну.— За разбой или, не дай бог, злодейство какое?

— Да что вы, Иван Петрович! Разве такой парень пойдет на разбой?

— А за что?

— За политику, за политику,— успокаивает Гликерия Михайловна.

— Когда же он до политики дорос? — спрашивает Дунай, не в состоянии поверить, что ребенок, который умещался на самой маленькой подушечке, уже встрял в какую-то неведомую и страшную политику.— Когда? — допытывается он всей печалью души и глаз.

— Они про то родителям не говорят, они от родителей таятся.— Гликерия Михайловна провела указательным пальцем по глазам, но на них снова набежали слезы и, как живые, шевельнулись в сетке широко распахнутых ресниц.— Дети думают, что оберегают наш покой, а потом родители хоть головой об стенку бейся.— Женщина положила руку на стену, припала к ней головой и зарыдала.

Дед Дунай придержал ее, затем ввел в комнатку, и там со стены сразу же весело глянул на него вихрастый Василько. Открытое лицо сына светилось смехом. Старик усадил женщину на городской стул и грустно спросил:

— Выходит, и ваш дорос до политики?

— Дорос,— вздохнула Гликерия Михайловна.— Второй месяц сидит в тюрьме, и неведомо, что с ним будет дальше. А вашего без суда выслали по этапу в село. Разминулись вы с ним.

— И как это выходит, что люди живут возле самого царя, а встревают в политику? — насупился Дунай.

Гликерия Михайловна подняла на него грустные глаза, над которыми мелко вздрагивали непросохшие ресницы.

— Эх, Иван Петрович, и я так молилась на царя, когда только из села приехала, думала, он не человек — ангел небесный, и живет не на земле, а в хрустальном дворце, на воздусях. Не раз мне, хоть сын и посмеивался, хотелось повидать нашего императора. Ну, и увидела, как он проезжал по Измайловскому проспекту. Увидела царский поезд, и царя, и его рыженькую бородку, и гордую царицу. Один человек чуть выбился вперед из толпы — так его полицейские на глазах у царя как возьмут в нагайки! По мостовой цокают царские лошади, а по спине бедного человека — нагайки, кромсают тело и одежу. А царь, гляжу, покосился на это и отвернулся.

— Вот так повидал человек царя,— только и проговорил старик.

В тот же день дед Дунай пошел к господину Лятошенку. Молоденький холоднoглазый лакей подозрительно осмотрел старика, забрал у него письма и скрылся за высокими, украшенными разным зверьем дверями. Через некоторое время он вернулся и уже мягче проговорил:

— Раздевайтесь, дедушка.

И, морща нос, повесил на крайний колышек вешалки крестьянскую свитку.

Господин Лятошенко, лохматый, длиннощекий барин с чудны́м веером тоненьких бачков вокруг всего лица, обрывающихся на пухлом пятачке подбородка, встретил старика приветливо.

— Садитесь, садитесь, землячок! Выходит, вы из самого Медвина? — Большие, выпуклые глаза его улыбались.

— Из Медвина, ваша милость.

— Зовите меня Володимиром Поликарповичем: Я хоть из господ, но дворянством не горжусь. Стало быть, вы из самого сердца Подолья? Что за дивный, что за роскошный край! Земля плодородная, реки полноводные, даже жемчуг когда-то вылавливали в протоках Днестра. Недаром здесь был найден и Святовид [1] — главное божество, которому поклонялись наши пращуры, и бронзовый Ярило — бог света, тепла и любви. Вы про них, случаем, не слыхали?

— Про Святовида не слыхал, а про Ярилу в детстве приходилось слышать.

— В самом деле? — обрадовался господин Лятошенко, придвинул к себе листок бумаги и взялся за карандаш. — Что же вы слышали о нем?

— Еще мой отец-покойник говорил, что Ярило — это молодой парень и едет он по земле на белом коне. На голове у него венок из вешних полевых цветов, из васильков, верно, а в левой руке — пучок ржаных колосьев.

— Не пшеничных? — встревожился Лятошенко.

— Нет, ржаных.

— Удивительно! Подолье — это же край пшеницы. В древности подоляне торговали пшеницей даже с Грецией или через Аккерман вывозили за Дунай... Что вы еще слышали о Яриле?

— Еще слышал: где станет Ярило босыми ногами, там тотчас вырастает густая рожь, а куда глянет — там цветут колосья.

Лятошенко записал еще что-то и отодвинул бумагу.

— Спасибо... Так обижает вас пан Стадницкий?

— И не спрашивайте, Володимир Поликарпович. Прямо живьем в землю загоняет.

— Какой ненасытный, сто чертей ему в бок! Не ел он еще печеного луку, матери его ковынька! — Барин с наслаждением говорил так, как, по его мнению, следует говорить с простым народом.— С ляхами у нас один счет — всегда они обкрадывали украинскую землю, истощали наши силы. Но мы захотим, так до неба долетим! Правда, старый чумак?

— Да я уж и сам не знаю, где теперь правда.

— «Что, чумак, невесел, в чем твои печали? Потерял дорогу иль волы устали?»— речитативом затянул господин

---

[1] Святовид — божество о четырех лицах, символизировавших страны света. Очевидно, был сброшен в реку одновременно с Перуном. Найден в реке Збруче, близ Гусятина, в 1851 году. *(Прим. автора.)*

Лятошенко, засмеялся, обнажая округлые и зеленоватые, как горох, зубы, и только после этого заговорил серьезно: — Письма я прочитал. Если вашему делу дать верный ход, вы непременно выиграете. Но я сейчас не очень могу помочь. Пойти сейчас с вашими бумагами к его высокопревосходительству Сергею Юльевичу Витте — это значит погубить дело, чрезвычайно важное для всей Украины. Мы уже несколько лет бьемся над тем, чтобы разрешили читать церковные проповеди на украинском языке. И как раз теперь мы обратились с этим и с еще некоторыми украинскими делами к Сергею Юльевичу... Вы только подумайте — на семидесяти языках, во всех странах издано святое писание, а на Украине его и поныне нет. А какая это будет радость для народа, когда, назло врагам, на счастье нам, слово божие зазвучит с высоты церковного амвона на родном языке?! Как вы думаете?

Старик понуро кивнул головой.

— Радостнее было бы, если б повсюду зазвучало слово правды.

— А это уже, дедушка, политика! — шутливо погрозил Дунаю пальцем господин Лятошенко и, перегнувшись через стол, дотронулся до рукава старика.— Но вы не больно горюйте. Мой вам искренний совет: ступайте сами к Сергею Юльевичу.

— А пустят к нему?

— Если его высокопревосходительство встанет в хорошем настроении — примет,— засмеялся господин Лятошенко, и два крыла его бороды на миг прикрыли обнаженный пятачок подбородка.— А нет — даст ответ через чиновника. Вот вам мой самый искренний совет...

На другой день после завтрака старик отправился на Каменноостровский проспект, где в двухэтажном белом дворце жил хитроумный российский царедворец. Еще не доходя до роскошного дома за чугунной оградой, Дунай увидел на лестнице черного, бородатого здоровяка с длинным лицом и высоким лбом. Тот на миг остановил свой взор на фигуре старого чумака, как будто удивился и сел в лакированный экипаж. Лошади взяли с места рысью и унесли куда-то представительного господина... На том и кончилась встреча деда Дуная с Сергеем Юльевичем Витте, едва ли не единственным из сановников, постигшим, что на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков нельзя держаться политики средневековья. Глубоко понимая гнилостность российского неограниченного самодержавия и зная интеллектуальную

ограниченность царя, он, как мог, со всем своим творческим темпераментом, ловкостью и умом, спасал их, но на его идеи и реформы ожесточенно обрушивалась царская челядь, называвшая Витте то опасным либералом, то даже социалистом.

Через два дня дед Дунай снова пришел в белый дворец Витте и получил ответ:

— Его высокопревосходительство изволили сказать, что ваше дело будет разрешено положительно.

— Как, как? — переспросил дед Дунай.

— Положительно,— повторил чиновник.

— Это, выходит, земля будет наша или барина?

— Ваша, ваша,— улыбнулся чиновник,— можете благодарить его высокопревосходительство и ехать домой.

— Слава тебе боже! Спасибо вам.— Старик поклонился чиновнику и, повеселевший, вышел из дворца, чтобы скорее добраться домой; у него сердце готово было выскочить из груди — так хотелось повидать сына.

XXVIII

Под окнами с грохотом останавливается телега на железном ходу, и с нее осторожно, словно боясь себя расплескать, сползает отец Николай. Чем ближе его ноги к земле, тем выше задирается, цепляясь за грядку, подол рясы, бесстыдно оголяя пестрядь штанов, в которые еле вмещается широкий зад. Кучер покосился на отца Николая, прыснул и, закусив губу, отвернулся в сторону.

Раздутая фигура, едва коснувшись земли, сразу же приобретает комично воинствующий вид. Даже не отряхнув рясу, отец Николай гигантским темно-синим яйцом вкатывается в дом, не стучась, рвет на себя дверь в комнату, задев за притолоку камилавкой, перекатывается через порог и сразу же налетает гусаком на Викентия Петровича:

— Вы что, как бы сказать, думаете, отче Викентий? Есть у вас царь в голове и бог в животе? Или вы потеряли страх божий и доверились сатанинской хитрости крамольников-смутьянов?

На затылке у отца Николая пляшут остатки засаленных патл, а на рясе ощетиниваются все несчищенные соломинки.

— Позвольте, позвольте! — На лице отца Викентия вспыхивают пятна румянца, затекая в гущу смоляной бороды.

— И не подумаю! Это вы позвольте! — отец Николай подымает растопыренную пятерню.— Ради вашего, как бы сказать, вечного спасения берегитесь соблазна и лукавого дьявольского наваждения! — Рука его пауком вцепляется в наперсный крест.

— Послушайте, отец Николай,— отец Викентий пожимает плечами и растерянно смотрит на ноздреватые щеки батюшки, меж которыми лесной грушкой небрежно висит подвижной, расшитый прожилками нос.

— Не послушаю, и не просите! Вы лучше свою, как бы сказать, совесть послушайте.

Отец Николай стоит перед медвинским священником как воплощение разгневанной добродетели. И это окончательно выводит из себя Викентия Петровича.

— Совесть моя пока чиста,— сухо отрезает тот и отворачивается.

Отец Николай забегает вперед, снова становится перед глазами отца Викентия.

— Дух гордыни, отче Викентий, сбивает вас с пути истины.— Морща жирный лоб, гутянский поп старается подыскать слово пострашнее, чтобы ошеломить молодого священника.— Потщися, погибаешь от мнозих прегрешений! — Напуская на свое достаточно земное лицо святость, отец Николай воздевает руки, словно собирается покинуть грешную землю и вознестись на небо.

Внезапно в ответ раздается рокот басистого смеха. Отец Викентий, откинувшись назад могучим станом, так хохочет, что на глазах у него показываются слезы. Отец Николай теряется, с изумлением таращит глаза на соседа и только теперь замечает на своей рясе солому и вымолоченные колоски. Он срывает один, нервно теребит его куцыми пальцами. Но в колоске нет ни одного зернышка, так же как у отца Николая нет слов для достойной отповеди.

— Чего вы, как бы сказать, зубы скалите? — переходит он на обычный язык, окончательно растеряв слова священных книг.

— Очень уж вы комичны, отче Николай, в своем гневе.

— Комичен? — не поверив ушам своим, переспрашивает тот, и в его узких зрачках зажигаются колючие искорки злости.— Вы еще смеете насмехаться? Кайтесь, отче, кайтесь, пока не поздно.

— Попробую, пока не поздно.

Этот ответ окончательно возмущает отца Николая, и колыханье живота его приводит в движение всю пышную громаду его тела и рясы.

— Не богохульствуйте, отче Викентий! Вы и не догадываетесь, какая беда нависла над вашей головой!

— За что?

— За предерзостное письмо пану Стадницкому. Я вчера был в консистории и слышал, как вас там честили на все корки. Боюсь, об этом пойдет речь даже на епархиальном съезде. Сам преосвященный прогневался на вас.

— Что же гневаться? Земля церковная! Крестьяне по закону требуют ее.

— Не по закону, а по молодости своей, зеленой и безрассудной, влезли вы в это дело. Скажите мне спасибо, что заступился за вас. Перед секретарем отстаивал! По правде сказать, он консисторию вот как держит в руках,— отец Николай сжал кулак.— Молил его за вас.

— И напрасно! — сердито возражает отец Викентий.— Земля наша, а не помещичья.

— Дитя вы малое, неразумное. Никто не сомневается, что земля принадлежит церкви. Но разве можно требовать ее в такую тревожную пору, после бунтов на Полтавщине и Харьковщине? Письма из консистории не получали?

— Нет.

Глаза и лицо отца Викентия омрачаются.

— Может, еще пронесет грозу. Я говорил о вас и много сказал хорошего, так что мне велели помочь вам разобраться в житейской суете. Слышите?

— Не оглох, отче.

— Советую вам от души — съездите к секретарю консистории. Только без гонора и не с пустыми руками.

— И там берут взятки?

— Вы просто ребенок! Все в эмпиреях витаете! — Отец Николай покрутил пальцами возле лба и рассмеялся.— Ужели вас отец не научил, как надо жить на свете? Влипли по самые уши в эту скверную историю — так кто же вас станет даром вытаскивать оттуда? Это не учитель подбил причт?

— Нет, не учитель.

— Стало быть, за ним ничего не замечали?

— Не замечал.

— Хитрая, хитрая бестия. Но ваше письмо, как бы это сказать, круги на воде от его черного камня.

— Откуда вы знаете?

— Чутье, чутье подсказывает! — Отец Николай выпячивает губы, и лесная груша его носа шевелится, вбирая воздух.— Что же, поедем ко мне!— предлагает он безапелляционно.

— Неужели это необходимо?

— Надо, надо, чтобы люди видели, как я...

— Наблюдаете за мной,— подсказывает отец Викентий.

— Хоть бы и так, хоть бы и так. Вы ведь очень молоды.

Вскоре телега выкатывается на улицу, и на полок долго усаживается отец Николай. Глубоко ныряя в застланную дерюгой солому, он вертится, как наседка в решете, и смиренно, с достоинством раздает мужикам благословения.

С тракта сворачивают на полевую дорогу, спускающуюся к Бугу. Морщинистый плес реки то ослепительно блестит, то матово переливается солнечной пылью. У казацкого брода на пароме стоят два немолодых, коренастых мужика. Они молча пропускают мимо себя подводу с попами и неторопливо берутся большими, шершавыми от ветра и воды руками за канат. Отец Викентий соскакивает с телеги и помогает. Паромщики только поднимают брови и не произносят ни слова.

Река вздохнула, затрепетала, ударилась о берег, и паром поплыл, оставляя позади себя всхлипывание закурчавившейся воды.

На другом берегу отец Николай, нагнув голову, долго роется в кошельке, выбирая монету помельче, а паромщики молча смотрят поверх его головы, в их спокойных глазах искрится насмешка.

Подвода весело катится по свежей луговой дороге, под шинами шипят влажная земля и обнаженные розоватые корешки молодой травы. Вокруг пахнет горьким соком краснотала и сладким цветом осокорей.

Село, где благоденствует отец Николай, начинаясь изломанной линией упирающихся в луг плетней, постепенно поднимается на бугор, и там гнет старые плечи сутулая, с зампелыми притворами церковь запорожского типа. Давно уже пора хотя бы отремонтировать божий дом. И деньги общинные давно лежат в консистории, но отец Николай не очень торопится с этим — он пока по своему усмотрению использует проценты с капитала прихожан.

— Батюшка, мы дождемся, что наша церковь со всеми людьми и с вами уйдет в землю,— не раз деликатно намекали священнику попечители.

— Как будет богу угодно,— смиренно отвечал поп, задирая кверху бороду.

Потрепанная ветрами и непогодой, с покосившимся, облезлым крестом, церковь не тешит взора и самого батюшки, но при одной мысли, что надо будет распрощаться с консисторскими процентами, он сразу же принимается успокаивать себя и попечителей, что храм еще перезимует.

Зато дом у отца Николая как куколка. Его плотно окружают высокие стога соломы и сена, а дальше, за садом, у самой хатки дьячка, ютится в вишеннике людская. Когда-то здесь была епархиальная богадельня-больница. Но отцу нынешнего батюшки без больших затруднений удалось ее закрыть: нищих сытнее накормят односельчане, а больных лучше вылечат в уездной больнице.

Из хаты дьячка, очевидно увидав отца Николая, выходят дьякон в засаленном подряснике и ктитор с церковными кружками.

— Ко мне, в пекарню! — нетерпеливо кричит отец Николай, подъезжая к своему просторному обиталищу.

Из дома выбегает тощая, проворная матушка. Увидав на телеге отца Викентия, она всплескивает руками, и ее черные злющие глаза, насколько могут, медовеют, а губы расплываются в морщинистую, слащавую улыбку.

— Отец Викентий?! Наконец-то, наконец-то! Это просто праздник для нас! — Она прячет руки под передник, и они шевелятся, бьются там, как зверьки.

— Видите, как матушка обрадовалась? То-то! — говорит довольный отец Николай, слезая с подводы.

Отец Викентий, отряхиваясь, бормочет в ответ что-то неразборчивое.

— Мы вас в комнате отряхнем, не беспокойтесь! — причитает матушка, суетясь вокруг гостя и так орудуя руками, что под платьем у ней ходят косячки костлявых лопаток.

— А где же дети? — спрашивает отец Николай.

— На луг пошли, на луг,— виновато отвечает матушка.— Я сейчас пошлю за ними Федору.

— Пусть только не канителится,— тихо роняет отец Николай.

— Может, и писаря крикнуть, чтоб поиграл романсы на гитаре?

— Э, не хватало только писаря! — Отец Николай незаметно для гостя с укором смотрит на матушку и стучит пальцем по лбу.

В просторном, пахнущем домашней птицей доме семь комнат, и выстроен он по плану отца Николая. Батюшка с удовольствием вспоминает, как измучился с постройкой: мужики попались развращенные и никак не хотели строить для попа по-человечески. Пришлось даже обратиться к мировому и, уже не спуская глаз, следить за каждой мелочью. Потому и приятно теперь зайти и в гостиную, и в девичьи светелки, и в чулан, и в пекарню, и даже на кухню. Одного только не угадал — места для постройки. Дом стоит на таком звонком пригорке, что даже с улицы доносятся все разговоры.

— Приходится и самому поменьше грешить языком,— смеется отец Николай.— Вы пока побудьте здесь один, а я отпущу дьякона и ктитора,— предлагает он гостю, закрыв рясой, как занавеской, широкую дверь.

Стены светлицы напоминают иконостас. Четыре ряда икон в старых фигурных окладах нависают над кленовыми лавками, и, очевидно, гости, садясь за стол, вытирают с образов пыль своей одеждой. В углу на круглом столике разложено мелкое литургийное серебро: евангелие, украшенное золоченым прорезным орнаментом, два высоких потира, крест, над столиком висит крашеная треугольная полочка — косынчик, на ней, как солдаты, выстроились просфоры.

Однако, кроме евангелия, в комнате нет ни одной книги, ни богослужебной, ни духовной, только на столе лежат «Епархиальные ведомости». Отец Викентий берет их и стоя начинает читать: ему почему-то не хочется садиться на стулья, обитые дорогой, но уже засаленной материей. Он отчетливо слышит звон церковных кружек за стеною, в пекарне; вот из них посыпались на стол крестьянские медяки, и отец Николай недовольно проворчал:

— Забывают анциболоты святую церковь.

— Весна, батюшка, весна,-- со вздохом поясняет дребезжащий тенорок,— весна.

— А весной нам надо меньше есть? Не накинуть ли на требы?

— Лучше после жатвы. И так уже кое-кто из нашего прихода подешевле ищет.

— Составь, составь мне список этих богоотступников. Боятся кинуть лишнюю копейку. Забывают, какое нынче дорогое время.

— Истинно так, дорогое время,— сочувственно дребезжит тенорок.

Отец Викентий, прислушиваясь к разговору, подходит к окну, заставленному просвирками и вазонами с фуксией и геранью.

Из курятника бежит матушка с двумя окровавленными курицами, а в калитку робко протискивается невысокий мрачный крестьянин. Матушка на ходу машет ему курицей, и крестьянин торопливо идет мимо цветника на крыльцо. Вот заскрипела дверь, и опечаленный голос приветствует находящихся в пекарне.

— Ты опять, Гнат?— неласково роняет отец Николай.

— Опять, батюшка, к вашей милости.

— Одумался?

— Э, батюшка, что мне одумываться? Да будь у меня деньги, разве я торговался бы с вами?

— Не достал?

— Никак, батюшка, не...

— Ты скажи, как ты хочешь похоронить жену? — перебивая его, шипит отец Николай. Одновременно по-змеиному шипят старинные часы и раздается их тупой бой.

— Известно, по-божески, с проводами.

— Вот видишь, с проводами. Хочешь, чтобы и в церкви отслужили, чтобы и колокол божий печалился, чтобы и люди шли с крестом и хоругвями, а даешь всего три рубля.

— Четыре дам, батюшка,— через силу произносит Гнат.— Еще рубль раздобыл. Обошел полсела...

Отец Викентий швыряет на стол газету и чувствует, как его лицо заливает гневный румянец. Подходя к двери, он слышит скользкий смешок отца Николая:

— Хе-хе-хе! Плохо просил. Если уж так скупишься, то лучше приноси жену на погост, и я там похороню ее задаром, по-казенному.

— Она же мне жена. Как же ее по-казенному, точно арестанта? — звенит голос Гната.

— Тогда раздобудь, раздобудь что надо. Вторую половину села обойди — ноги не купленные.

— И никак, батюшка, нельзя?

— Не могу, никак не могу, Гнат. Тебе уступлю — тогда и всем придется уступать, а у меня дети.

— Ну, тогда, как хотите, отче,— решительно говорит Гнат.— Пусть простит мне душа покойницы, погребем по-казенному. Сам бог видит, какие мы бедные! — И он хлопает дверью.

В пекарне становится совсем тихо, потом скрипит дверь, и скрипит недовольный голос отца Николая:

— Погоди, погоди, Гнат! Ишь какой ты горячий! Прямо огонь без дыма. Похороню уж за четыре, что с тобой делать! Только, слышь, никому ни слова, а то пойдет новая цена, как сплетня по деревне. Еще переберешь мне садовый плетень...

Согласился ли Гнат перебрать отцу Николаю плетень, медвинский поп уже не слышал. Он быстро вышел из дома, проскочил мимо цветника к калитке и со всех ног пустился по улице в свое село.

На лугу, где тянется изломанная линия плетней, навстречу ему попадаются три девушки в новехоньких платьях: посредине высокая и худощавая, а к ней, как обливные горшки-близнецы, прилипли низенькие, полные сестры. Позади поповен спешит женщина в потрепанной одежде.

Запыхавшиеся девушки удивленно враз поворачивают головы к отцу Викентию. Он кланяется им, а они, как по команде, приседают, и перед глазами молодого попа проплывает мешанина черт, повторяющих в той или иной степени облик отца Николая.

Увидав священника, паромщики удивленно переглядываются.

— То-то,— говорит один.

— А как же! — отвечает другой.

И отцу Викентию кажется, что они понимают, почему ему не гостилось у соседа.

Дома его ждет письмо из консистории. Отец Викентий разрывает конверт и нетерпеливо впивается в первые слова: «Милостивый государь, Викентий Петрович...»

Секретарь консистории прикрывает жало своего послания велеречивыми оборотами, свойственными стилю обер-прокурора святейшего синода Победоносцева.

«Милостивый государь» с изумлением узнает, что он чуть ли не государственный преступник, который в смутное время позабыл укреплять трон самодержавного монарха, выкорчевывать крамолу и, в сущности, помогает подпольным искусителям сеять свои плевелы в сердца возлюбленной, но не в меру легковерной братии.

Ага, вот наконец и о народе:

«Великое, святое благо — освобождение крестьян — дало темному народу волю, но он, лишившись надлежащей власти, не сумел воспользоваться свободою и предался пьянству, лености, стал внимать крамольникам...»

— Неужели так могла писать консистория? — с гневом перечитывает эти строки поп.— О крепостничестве пожалел, крыса!

Отец Викентий комкает письмо, швыряет его на пол, но затем подымает и, крикнув служанке, что идет к учителю, хмурой тенью среди ясного дня бредет к бывшей церковной сторожке.

«Где же тогда правда и свет на земле? Или мой удел — темень слепых Метерлинка?» — мечутся в литературном и жизненном тумане мысли отца Викентия. Его тревожная и впечатлительная душа ущемлена. Выходит, он только слышал слово правды, но не видел ее ни среди своих наставников, ни среди попов, ни среди помещиков, ни среди богачей. Неужели остается поверить лирникам, к которым на каждой ярмарке склоняются задумчивые мужики, слушая грустный перебор струн и слов:

Нет на свете правды, не ищи, не сыщешь...
Нынче наша правда у господ в темнице,
Кривда, братцы, кривда у господ в светлице;
Нынче наша правда гибнет, умирает,
Кривда, братцы, кривда весь мир пожирает.

В комнатке учителя пахнет красками и недавно оттаявшей землей — это аромат скромных лесных невест, белой пеной покрывающих землю в рощах вслед за голубым рястом. Они пахнут едва прогретым лесом и землей, но для Степана Васильевича это едва ли не самые лучшие цветы: глянешь на живые звездочки и вспомнишь свое детство, протекшее в дубравах, где теперь среди пней орудует плуг. А тогда казалось, что леса эти — сама вечность. И вот остались от этой вечности одни воспоминания, волнующие картины прошлого, когда видишь себя маленьким и улыбаешься самому себе.

— Раздевайтесь, отче.

Учитель встает из-за стола, отрываясь от ученических тетрадей.

Сегодня отец Викентий сбрасывает с себя рясу, как грех: кажется, и к ней пристали слова отца Николая и секретаря консистории.

— Что-то вы грустны, отче?

— Зовите меня теперь «милостивым государем» — я получил повышение,— невесело шутит отец Викентий и передает учителю консисторское послание.

XXIX

В поле, недалеко от села, деда Дуная захватили мохнатые, ленивые сумерки. Они ползли, неровно изгибаясь над влажной землей, пересекали размытые дороги, оседая, перекатывались через буераки, пятнали и затягивали своей куделью темные водянистые марева бóров и дубрав.

Старик шел не по тракту, а по высокой обочине, где в два ряда росли старые дуплистые липы. Кое-где из земли тянулись их черные и узловатые, как руки земледельца, корни, на которые тоже лег тяжкий груз лет и несправедливости.

И хотя Иван Ярош нес домой радостную весть, покоя в душе его не было: сердце то и дело сжимала невидимая рука. Больше всего беспокоила и удручала судьба Василя. Хорошо, конечно, что возвращается сын к земле, только как же он угодил в политические? Приведут или привели уже парня в село, как разбойника, и все станут поглядывать на него с опаской и в поле и в церкви. Такая уж, видно, неспокойная у Ярошей кровь. Против господ бунтовали и дед, и отец, и он, Иван, но в политику из них никто не лез, на что она хлеборобу? Ему бы только поле да скотинку, а уж он найдет, к чему руки приложить и над чем мозгами раскинуть... Ну, да на земле угомонится парень; может, женится, пойдут дети — вот и позабудет страшную напасть. Где волы да рожь, там политика не родится. Старик вспомнил своих степных волов, улыбнулся и снова загрустил. Вскоре он вышел на край села, к трем недостроенным еще хаткам. Над одной вился дым, и сквозь щелки мерцал огонь.

«Это еще что за беда? Кто это хозяйничает в недостроенной хате Волошиных? Может, цыгане какие-нибудь или бродяги?»

Дед в раздумье подошел к постройке, окна и двери которой были закрыты соломенными матами, потоптался у порога и чуть приоткрыл мат на окне. То, что он увидел, надолго запало ему в память. В хате у печи, темные челюсти которой лизали языки пламени, сидел Марьян Полярош и внимательно, шевеля губами и морща лоб, читал книжку. Ну, не чертовщина ли это? Кто же не знает, что Марьян не смыслит по-печатному ни бе, ни ме, ни кукареку! А тут нà тебе — заглядывает в книгу, да еще и шепчет, словно рак в котомке. Старик протер глаза, пожал плечами,— но нет, ему не мерещилось.

— Марьян, это ты или тень твоя? — наконец крикнул Иван.

Тот испуганно вскочил с чурбана, сунул книгу на лежанку, оглянулся и, узнав деда, смущенно и приветливо закивал:

— Заходите, заходите, дедушка... Из дальних странствий?

— Да, вернулся, ровно из Сибири: ни гроша за душой, все проездил.

Марьян оторвал легко прибитый к притолоке камышовый мат, и старик вошел в жилище, где и понизу, и поверху сновали ветерки.

— Не тепло здесь, милый человек, изо всех углов дует.

— Не тепло,— согласился Марьян.

— Что же делаешь тут?

— Ночую, дедушка,— смущенно и грустно ответил Полярош, уставясь в растрескавшийся, промерзший земляной пол.

— Где же ты ночуешь? — Дунай обвел взглядом хату и не увидел ни кровати, ни топчана.

— На печи. Мне Григорий разрешил. Добрый он человек. А я столяру двери заказал на свой задаток из экономии.

— Вот как, еще и хаты нет, а постоялец нашелся... Давно стал грамотеем? — кивнул дед на книжку.

— Какой из меня грамотей! — Марьян махнул рукой.— Еле букву к букве приставляю: так и норовят выскользнуть из головы, как батрацкий грош из рук.

— Однако приставляешь? — все больше удивлялся старик.— Кто же научил тебя?

— Наш учитель. Сам после смерти Фросины захотел возиться со мной.

— И придет же такое на ум! — пожал плечами старик.— Что ж ты, платишь ему?

— Куда там, не берет ни гроша! И Леся Якубенка учит, тоже задаром.

— Бывает.—Дед Дунай уселся на чурбан, лицо его озарилось огнем, а в морщинках залегли тени.— Гляди, выучитесь на писарей и пойдете обдирать нашего брата.

Марьян усмехнулся.

— У губернии вся надежда на нашу мужицкую науку.

— Что в селе нового?

— Ничего хорошего,— Марьян помрачнел.— Сегодня барские подручные разобрали хату Морозенка.

— Как разобрали? — Старик вскочил с чурбана, не веря своим ушам.— Как же так? Еще суд идет!

— А что им до суда и мужицкого добра? — Марьян сжал кулаки.— Налетели господские приспешники с Салоганом и раскидали хату до самых завалинок. Больше всех старался Октав Пигловский. Первым залез на конек, да так и заплясал на нем.

— Ну, он еще допляшется,— угрюмо пообещал дед Дунай, и лицо его на глазах у Марьяна постарело, морщинки стали глубже, и в них резче обозначились тени.

— А Матвий Боцюн и не зашел во двор к Морозенку. Так его Стадницкий со службы прогнал.

— Ирод проклятый! — застонал в отчаянии старик и, не попрощавшись с Марьяном, вышел. Увязая в грязи, дошел околицами до барского дома, но тот был темен, как грешная душа, не светилось ни одно окно. Старик бессильно ударил кулаками в чугунную, перевитую змеями ограду и повернул в лес.

Назавтра только в полдень допустили Ивана Яроша к пану Стадницкому. Под глумливый смешок раздобревшего Никанора старик вошел в кабинет и остановился на пороге.

— Ну как, дед, съездил в столицу? — едко и презрительно осведомился Аркадий Валерьянович, не вставая из-за палисандрового стола.— Привез что-нибудь?

— Земля, барин, и по закону и по правде остается за нами. Напрасно вы начали ломать хаты,— твердо сказал старик, глядя в непреклонное лицо помещика.

Стадницкий так и подскочил в кресле.

— Кто тебе сказал? Кто ?— Недоверие и ярость скрестились на высоком лбу, складка, охватывающая лицо подковой от уголков рта до висков, дрогнула.

— Сам Сергей Юльевич Витте сказал!

— Высоко ты залетел! — изумился Стадницкий.— И до него добрался?!

— Добрался. барин.— Старик ответил спокойно, но гнев уже рвался наружу изо всех тайников его души.

— Может, и бумажка есть?

— Бумажка скоро придет.

— Ну, пока она придет, я вас всех вымету из лесу. Пусть тогда сам Витте ставит вам хаты! Он Витте в Петербурге, а я здесь Витте! — Серые с прозеленью глаза Стадницкого округлились, и над краями зрачков желтовато блеснули две

черточки решимости и злобы.— Я здесь Витте! Я Витте! Слышишь?!

— Не оглох еще, барин. Только глядите, может случиться, что вы приметесь рушить наши хаты, а кое-кто закончит вашим дворцом. Никто доли наперед не знает...

Лицо Стадницкого стало хищным.

— Ты еще угрожаешь?!

В душе старика переплелись гнев и мука.

— Нет, я прошу вас, барин,— в голосе его звучала мольба,— не делайте худа ни нам, ни себе. Уж поверьте, наша беда не принесет вам добра, хоть с ножом к нам в душу залезьте! Не множьте, барин, зло на свете... Мы с Морозенком когда-то спасли вас, так пожалейте людей,— подавляя гордость и гнев, проговорил старик, в надежде еще поладить миром.

Сизый, недобрый румянец тенью набежал на зеленоватые щеки Стадницкого:

— Вспомнил все-таки, старый скрипун? Не утерпел?! Я тебе могу заплатить за спасение! — Он вынул из кармана и бросил на стол золотой.— Бери и не коли мне больше глаза тем, что было, да сплыло.

Глаза старика вспыхнули от гнева:

— Дешевенько, барин, оценили свою душу, дешевенько! Да больше она и не стоит. Ведь что ваша душа? Мошна, в которую вы деньги сбирали, а плодили только нищих да разврат. Вот и все, что вы сделали на земле...

— Вон, разбойник! — захрипел Стадницкий и так стукнул кулаком по столу, что на нем подскочил и зазвенел червонец, которым барин хотел откупиться.— Никанор, гони его в шею! — Глаза, сотканные из зеленых капель, расширились, каждая капелька словно разгорелась от злости, и ни в одной не было человечности.— Никанор! Гони! — задыхаясь, повторил барин.

— Я сам уйду! Но я еще приду к вам, если не бросите своего.— Дед Дунай устремил на Стадницкого полный ненависти взгляд, ожидая ответа на сказанное и недоговоренное.

— Запомни мое последнее слово! — свирепо бросил барин.— Тотчас же перебирайся в село! Не переберешься — завтра и твою хату раскидаю, как мусор.

— Не дождешься, барин! Подавишься! — Дед Дунай поднял кулак и быстро вышел из дворца.

XXX

Только на миг, на один краткий миг старику показалось, что мглистые капельки ослепительной сердцевины солнца ударили его под самые веки и выбили слезы. Нет, это просто потемнело в глазах — солнце и его остистый пшеничный венец по-прежнему мерцали мягким золотом и поили им еще не прогретую землю, с сиреневыми кустами испарений.

Великий гнев и великая скорбь, как два мельничных жернова, сдавили напряженную до предела душу старика, перемалывая в ней все хорошее и дурное, собравшееся за долгий век,— все, что звалось крестьянским житьем-бытьем. А что такое крестьянское житье-бытье? Вечная до беспамятства работа, вечное унижение, вечное сознание того, что ты не человек, а скотина, постоянный страх за свою нивку — и перед суховеем, и перед градом, и перед холодом, и даже перед самым солнцем, да неизбывный клубок муки в душе. Но и на этой, казалось бы безнадежной, почве вырастали и добрые надежды, и чистая любовь, и человечность, и мудрость, и песня. Выходит, не умирает мужицкая мать, а только год от году чахнет.

И почему-то именно теперь вспомнилась деду его мать, вспомнилось то, что лежало в самом дальнем, самом потайном и до горючих слез теплом уголке памяти... Они тогда еще крепостными были, но жилось им чуть получше, чем обыкновенно жилось невольникам земли,— барин отпускал отца чумаковать. За это Петро Ярош платил подать наравне с оброчными безземельными шляхтичами, давал еще с вола по корцу зерна, отбывал три дня косильного и каждый год привозил в подарок барину и управителю по бочонку икры. Барщина же, свое хозяйство и дети всей тяжестью ложились на плечи матери. Иван и поныне удивлялся, как она, надрываясь, успевала и господскую повинность отбыть, и свое поле, огород обработать, и дома управиться: хату побелить, хлеб испечь, тряпье постирать и детям на ночь про котика промурлыкать, склоняя над люлькой смуглое, светящееся улыбкой лицо. Кажется, мать никогда не знала ни отдыха, ни устали. И только раз увидел Иван, как она не выдержала каторжного труда. Весной они сеяли на своем поле яровое. И вдруг мать остановилась, приложила руку к грубой, из мешковины торбе—туда, где было сердце,—пошатнулась, тихонько, изумленно ойкнула и упала ничком на мягкую борозду. Он бросил

лошадей, запряженных в бороны, и со всех ног помчался к матери, которая, казалось, вросла в обветренную, сизоватую землю. И что тогда его больше всего поразило, так это ноги матери, вернее — не ноги, а пятки: черные и растрескавшиеся, как поле в засуху, они были забиты землей, а из земли выглядывала пара зернышек пшеницы. И тогда, припав к неподвижному телу матери, к ее темным, пересохшим, обведенным землей губам, он с ужасом подумал, что на таких ногах и хлеб может взойти...

И снова его мысли возвратились к разговору с барином, и снова в оледенелой душе жерновами заворочались великий гнев и великая скорбь. Сталкиваясь, они, как искру, высекали одну и ту же мысль: «Не дождешься, живодер, своего! Не дождешься!»

Вот уже и лес зашумел впереди, и он, казалось, тоже шептал: «Не дождешься...» Старик поднял изумленные глаза и видит: ласковая, с лодочками облаков, синь окружает деревья, это, верно, она, разбрызгиваясь на земле, зацветает синим рястом, а среди него склоняются задумчивые головки стыдливых подснежников. Что-то по-девичьи привлекательное, стыдливое и грустное есть в этих первенцах весны. Кому вздумается, тот и вырывает их из земли, как барин теперь вырывает мужиков из лесу.

— Не дождешься, живодер! — душой и губами шептал старик, и в согласии с ним повторяли это родные дубравы, молоденькие, тронутые оспой осинки и крохотные понурые платочки подснежников. И теперь словно на край земли отодвинулся от него господский дворец и сам барин, на которого он должен поднять руку.

И вот, когда решение созрело и укоренилось, когда отлетели последние сомнения, старик другим, прощальным взглядом увидел и прожитое и то, что раскинулось вокруг. Он поправил под веткой сухостоя распускающийся подснежник в отороченной зеленью рубашечке, отер с надтреснутой коры березы слезинку сока, грустно улыбнулся красноголовому дятлу, упорно повторявшему свое: так-так-так...

Мир воспоминаний и мир действительности сошлись краями, как небо с землей, и не мешают один другому. Из затянутых туманом далей памяти, из глубины лет выходят его родители, друзья, дети, перед глазами вперемежку встают тени минувшего и нынешние хаты лесовиков, нарядно белеющие меж деревьями, словно над ними не нависла тень разгрома.

«Не дождешься своего, живодер!» — как дятел, долбила мозг все та же мысль.

Так-так-так,— повторял березовый сок, капающий в чей-то ветхий, перевязанный бечевкой глиняный горшок — макитру.

Старик пошел к озеру, на котором покачивались предвечерние дукаты солнца и первая вязь молоденькой, мелкой, как просо, ряски. Сырой берег уже проколот иголками тоненькой луговой травки, ею проросла и забитая землей щель в челноке. Дед и ей грустно улыбнулся, вскочил в челнок и стоя поехал к затопленным вентерям. Он бережно поднял из глубины озера сплетенную из прутьев корзинку. На дне ее трепетали золотистые караси и медно-зеленые лини. Старик засунул руку в горловину, вынул самого большого, фунта на три, линя, полюбовался им, положив его вдоль руки и придерживая другою. Рыбина, выворотив ободок глаза, угрюмо смотрела на немилый ей мир. Старик опустил руку, и линь тяжело шлепнулся в воду, а за ним пошел в озеро и весь улов. Во втором вентере было две щуки и три линя. Дед линей выпустил, а щук оставил в челноке. Их только и принес домой.

— Больше ничего не было? — вслух удивилась на пороге бабка Ганна, спрашивая в то же время глазами: «С чем пришел от барина?»

В хате было прибрано, как на пасху, перед образами теплилась лампадка, на столе в горшочке белели подснежники— ждали Василя.

— Ничего больше не выловил... Василько не явился?— спросил старик, передавая жене рыбу.

— Нет еще. Когда уж дождемся его? — Бабка присматривалась к мужу, к непривычному выражению его лица.— Ты что, Иван? Случилось что? — Ганна остановилась перед мужем посреди хаты.

— Да нет.— Старик попытался улыбнуться и ласково взял жену за руки повыше локтя. А это уже кое-что значило.

Когда-то, еще в пору их знакомства, Иван держал в своих руках ее пальцы, грел их на холоду, ласкал в тепле и говорил ей самые лучшие на свете слова, каких она и от матери не слыхала. После женитьбы, если ему хотелось утешить жену, он сжимал ей руки у самых плеч и шутил, что она обманула его, что он, мол, и получше мог выбрать невесту. А под старость он уже не говорил самых лучших слов и не шутил, как

после свадьбы, а изредка трогал ее руки повыше локтей, там, где прежде была сила.

— Может, поел бы, Иван? Целый день постишься, а ведь скоро и ужинать пора.

— Не хочется, Ганна.

— Ой, что-то у тебя душа не на месте...

— Может, к богу просится,— невесело пошутил он и вышел в другую, холодную половину хаты, к сундучку с инструментом.

Долго перебирал разные железинки и достал плоский сапожный нож, обтянутый ремешком вместо ручки; потрогал пальцами лезвие, задумался, а потом, хмурясь, коротко махнул ножом раз-другой, заткнул его за голенище и прошелся из угла в угол. Нож славно улегся вдоль тела, не мешая Ивану, который ходил как лунатик, не находя себе места. Минувшее все наступало и наступало на него, как оно всегда наступает на человека перед смертью или в тяжелую минуту...

Во дворе кто-то понукал волов. Ага, это молодой Гончар пригнал их деду — брал сегодня на помощь. Старуха вышла из хаты, говорит что-то. Что ж она может сказать?.. Для чего-то хочется знать и об этом. Потом бабка взяла налыгач, подвела волов к телеге, где осталось еще вчерашнее недоеденное сено, и пошла в овин — верно, за кормом. Дед вышел во двор. Волы, вытягивая шеи, тепло дыша, подались к нему, в их косых, умно-печальных глазах мерцал отблеск молодого месяца, а на губах блестели большие капли пота. Пот у них такой же солоноватый и теплый, как у человека. Старик вытер пальцами воловьи губы, думая: кто ж их оботрет завтра? Ганна не догадается, а Василько, верно, позабыл, как надо присматривать за волами. А ведь они, как человек, любят ласку. Недаром говорят — перед Новым годом волы разговаривают по-человечески. На Новый год земледелец кладет на свою скотинку праздничный пояс, убирает ее пучком колосьев и ведет в хату: пусть и волы отведают святого хлеба— ведь и они трудились, добывая его.

Старик смотрел прощальным взглядом на своих тружеников и снова видел у них в глазах крохотный челнок молодого месяца. Месяц разминулся со звездами и все ниже клонился к земле. Дед попрощался с ним, взял с телеги ярмо, пошел в сени. Там он и повесил над чуланом старое-престарое ярмо, унаследованное от деда... Добрую сотню лет тащили волы это расписное ярмо, а другое, еще более тяжелое, плетью

расписанное ярмо тащил род Ярошей, ломал его, а сломать не мог.

Старик подошел к двери в горницу, отворил ее, погладил большими руками косяки, меж которыми столько людей приходило к нему, дотронулся пальцами до матицы, где был вырезан год постройки его жилища, оглядел и лавки, и печь, и стол, и кровать, и божницу. Все здесь сделано его руками, кроме стекла, горшков и богов.

В хате его жили боги и люди. Боги, как и подобало им, занимали красный угол, люди — жилище. Здесь люди рождались, становились на ноги, вырастали, а умирали уж там, где было им суждено. Люди жили меньше богов, которым не доводилось ни на барщине трудиться, ни гнуться над плугом и цепом, ни воевать, ни платить подати да выкупные. Когда же село посещал голод, мор, лихолетье, в осиротелых хатах оставались одни запыленные боги. В хорошее время перед богами всякий праздник теплились лампадки, а над человеком лишь раз в жизни, когда он умирал, трепетал огонек грошовой или пятикопеечной свечи. Люди жили тяжелее, но и веселее богов: люди справляли крестины и свадьбы, затягивали веселые и тоскливые песни, плясали и не чуждались чарки, выпивая за близких и неблизких, за тех, кто сидел здесь, и за тех, кто был в поле, в дороге, пили за земельку, чтобы на ней все уродилось, и за скотинку, чтобы хорошо работала. И надеялись на счастье. Надеялся на него до седых волос и дед Дунай. А счастье так и не пришло к нему. Не принесли ему счастья за весь век ни люди, ни боги...

К деду шагнул аист, затрепыхал здоровым крылом, потерся о ногу старика. Иван погладил птицу, а она, ожидая подачки, закинула голову на спину, а потом ущипнула хозяина за палец.

— Ты будто сбираешься куда-то? — спросила старика жена.

— Собираюсь, Ганна.

Старик запер за женой дверь, и это еще больше насторожило ее.

— Далеко?

— Очень далеко.

Ивану вспомнились слова Дорохтея Плачинды: «Все равно не миновать тебе Сибири. Дождусь, когда пойдешь под холодное солнце!» Как в воду глядел богатей.

Ганна похолодела:

— Опять в Петербург?

— Еще дальше. Сядь рядом.— Он посадил жену на топчан, одной рукой обнял ее плечи, как бывало в молодости.— Ну вот, Ганна, прожили мы с тобой век, как один день. А теперь попрощаемся.

— Ой, что ты, Иван!— застонала старуха и всем телом подалась к нему, предчувствуя страшное горе.

— Не тревожься, Ганна.— Иван снова обнял ее.— Скоро приедет к тебе Василько...

— Чего ж ты живьем хоронишь себя?

Старуха заплакала и скорбно подняла глаза на молчаливых богов.

Старик провел по щекам жены рукой, на которой только что просох пот скотины.

— Не убивайся, не надо. Придется идти в Сибирь за гнилую господскую душу. Зато, может, спасу людей.

— Иван, Иванко, опомнись, бог с тобой! Опомнись и одумайся. Не делай худа нам и людям...— Ганна обхватила колени мужа, упала перед ним, хотя знала уже, что его не остановишь.

— Не надо, жена, падать передо мной. Я тебе не святой,— Иван поднял старуху с пола, поцеловал в морщинистые, орошенные слезами щеки.— Ну, цыц! Не люблю я этого.

Да, она знала, что ее Иван не терпит слез, они не трогали, а раздражали его.

— Брось, Иванко, свою затею,— старуха давилась рыданиями, стараясь сдержать слезы.— Неужели ты станешь душегубом?

— Нет, Ганна душегубом я никогда не стану,— убежденно ответил старик.— Раз я спас поганую господскую душу, дал ей натешиться и житьем и нашим горем, а теперь придется мне отнять ее. Это не душегубство. Иначе нельзя.— Он встал, большой, сильный, неумолимый, поклонился жене.— Прости меня, Ганна, если обидел чем.

— Бог простит, Иванко.

Как странно слышать это «Иванко»,— словно из далеких лет молодости пришло оно.

— Ой, не ходи, Иванко! Ты — моя защита и спасение. Кто ж теперь приглядит за мною?..

— Сын приглядит. И в другой раз прости, и в третий прости.

Иван еще раз поклонился жене и пошел к выходу. Но в дверях остановился, заглушая женин плач, велел:

— Придет Василько — по-хорошему, моими словами, поговори с ним, чтобы никогда больше не лез в политику. Это не мужицкое дело. А волов не продавайте никому. Подохнут — шкур с них не сдирайте. Ну, а там хозяйствуйте, как знаете... Будут у Василя сыновья — может, назовет которого-нибудь Иваном...— У старика впервые задрожали губы: это он мысленно увидел внуков, которых уже не видать ему наяву.

— Иванко, не ходи к проклятому, не стоит он тебя...

Ганна снова с криком опустилась на колени, но он вновь поднял ее, хмуро проронил:

— Вот не люблю я этого. Знал бы — ничего бы тебе не говорил.

— Побудь хоть немного со мной! — Ганна с мольбой протянула к нему руки.— Ведь еще рано...

— А я еще на исповедь пойду.

Он склонился над женой и вышел, оставив позади отчаянный, надрывный плач. Старик еще раз, как сквозь туман, увидел волов, которые у телеги жевали жвачку, окинул долгим взглядом свою хату, покоящуюся, как люлька, меж двумя дубами, поправил нож за голенищем и пошел в село. Он не слышал, как тихо скрипнула дверь, как из хаты вышла жена и крадучись последовала за ним.

XXXI

Когда в отворенных дверях церкви замерцали свечки, старик остановился у тына, примыкавшего к церковной ограде, оглянулся, бережно вынул из-за голенища нож, воткнул его в землю возле самой нижней хворостины и пошел на исповедь. Под колокольней тихо шумели и смеялись парни, кто-то даже приплясывал, залихватски отстукивая каблуками по сырой, липко ляскающей земле.

— Петро, не пляши — пост.

— Пост задрал хвост,— беззаботно ответил глубокий басок, и оба закатились раскатистым смехом.

А с улицы тихо-тихо, словно из далеких краев, донеслись девичьи голоса:

У мельницы калина,
Там девушка ходила,
Тайком траву копала,
Все матери шептала:
— Кого знаю, приласкаю,
Кого знаю, приласкаю...

Последние слова песни донеслись и в церковь, и казалось, это от них повеяло молодым, горьковатым духом вербы и сладким осокоревым цветом.

В церкви осталось уже мало говеющих. В полумраке невидимые старческие уста ревностно шептали молитву, а рослая фигура отца Викентия шевелилась меж икон, как грозная тень. Иван Ярош возвел измученные глаза к богам. Боги ровно, без осуждения смотрели на него, а Николай-угодник даже щепоть поднял, словно для благословения. Старик долго прощался с богами и седыми, босоногими святыми и только напоследок подошел к отцу Викентию. Тот улыбнулся ему одними глазами, положил на голову пропахшую человеческим телом и ладаном епитрахиль и тихо заговорил о Петербурге, о хозяйстве, вспомнил и лесное озеро, и волов, и пасеку: в церковь снова, как сон, возвращалось то, что жило за ее стенами.

Вот он и отдал богу свои грехи, чтобы сегодня взять на душу самый тяжкий, отдал поклоны земле, и когда поднялся, то церковь была уже пуста и ктитор пошел запирать ее изнутри. Отец Викентий с сочувствием смотрел на своего исповедника, скорбел над горем, постигшим лесовиков.

— Что же дальше будет, Иван Петрович?

В глазах старика сразу вспыхнул гнев, словно и не было в них только что ни раскаяния, ни видений далекого рая и ада.

— Что дальше будет? — переспросил он и строго посмотрел на батюшку.— Одно из двух: либо нас не будет, либо барина не станет.

— Иван Петрович, опомнитесь! Вы же только что исповедались. Бог не простит...

— Так, может, люди простят...— И старик тряхнул сединами, словно перешедшими на него со святых.

Не дав попу прийти в себя, он, как разгневанный пророк, быстро вышел из холодного сумрака церкви, оседающего с вышины на богов и отца Викентия...

Сырая мартовская мгла висит над селом, порой спросонья, как утенок, всплеснет в луже ветер да по соседней улице девушки несут тихую песню про любовь. Вот уже повеяло холодом от чугунной ограды, но старый все еще не видит дворца, словно его заколдовала неведомая сила. Как жалок теперь в глазах Ивана мир! Весь он за спиной, а впереди одно лишь господское логово, все сошлось на нем, словно вся жизнь только ради него и прожита. И когда это

пришло в голову, стало жутко. Разве для этого, для убийства, жил он на свете? Разве еще и сейчас не тоскует его душа по любой работе, по земле, по полям, по пчелам, по озеру, на которое каждую весну прилетают лебеди? Теперь их увидит не он, а Василько. Сын тоже любит птицу и в детстве мастерил себе крылья, а теперь зачем-то подался в неведомую политику. Или это такая штука, от которой у человека крылья отрастают?

Старик обеими руками обхватывает прутья решетки, подтягивается, с отвращением касаясь чугунных змей, и тут обрываются все его прежние мысли. Тихо на господском дворе, даже собак не слыхать,— верно, у барина или у барыни гости. Старик осторожно перелезает ограду и уверенно, словно дело делая, идет к окнам господского кабинета, перед которым темнеет высокая, густая стена венгерской сирени. И вдруг сиреневая изгородь шевельнулась, затрещала, от нее отделились несколько темных фигур с ружьями.

— Стой! Стрелять буду! — высоко, до визга, взлетает голос Октава Пигловского.

«Что же случилось?» Мысль молниеносно разветвилась в поисках истока измены.

— Стой! Стрелять буду!— снова визжит Пигловский, делая шаг вперед.

— А я и не собираюсь бежать,— глухо отвечает старик, и скупые слезы бессилия дрожат у него на глазах. «Неужели так по-дурацки пропадать?»

Господские слуги накинулись на него, скрутили, связали ему руки, и тогда уже торжествующе загалдели, даже в этом стараясь кому-то угодить.

— Что же, он с голыми руками шел? — удивляется доезжачий Адам Чирва, вторично выворачивая карманы старика.

— Он мог бы задушить и руками! — не скрывает радости Октав Пигловский.

И только после этих слов из-за угла дворца выходит с двустволкой барин.

— Обыскали? — коротко спрашивает слуг.

— Обыскали, ясновельможный пане,— почтительно кланяется Пигловский, доставая пальцами до носков сапог.— И ничего не нашли. На руки, верно, надеялся.

Стадницкий подходит ближе, долго смотрит на Дуная и торжествующе спрашивает:

— Попался?

Но старик не падает перед ним на колени, не просит, а спокойно говорит:

— Не радуйся, барин. Настанет час, падет кара на тебя!

— Да он и не раскаивается! — возмущается Стадницкий. Но в душе у него шевелится страх — не перед стариком, а перед теми, кто притаился в лесу.— Ведите его в холодную. Пусть староста составит протокол, и завтра же к приставу.

— Слушаемся, ясновельможный пане.— Пигловский весь изогнулся перед барином.

Господская стража вывела старика на улицу, и там к нему вдруг с криком бросилась жена:

— Иван, Иванко, куда ж ведут тебя?..

— Отойди, рвань старая! — заорал на нее Пигловский, замахиваясь прикладом.

Но она не отошла.

— Я же просила барина, чтобы все было по-хорошему!— кричала она, протягивая руки к мужу.

Сильный удар приклада свалил старуху на раскисшую дорогу; земля в темноте откликнулась стоном, и на ней зашевелился темный узел, то, что еще было женой старика.

Так вот кто отдал его в руки барину! Дед остановился, потрясенный, обернулся на стон жены, но дула ружей безжалостно оттолкнули его. Когда-то он шутил, что жена его обманула — мог бы и получше выбрать невесту. Но не в молодости, а теперь обманула она мужа, надеясь спасти. Так он и понесет напрасно в Сибирь железные оковы. Эх, Ганна, Ганна! Он повернул голову туда, где обессиленно голосила темень. А за огородами, словно сама молодость, снова тихо отозвалась девичья песня:

У мельницы калина,
Там девушка ходила,
Тайком траву копала...

Когда-то эту веснянку пела и Ганна, поглядывая из хоровода на своего суженого... Неужели все это было?..

В облупленной хате помещались и сборная и холодная. В сборной все еще светились окна. Это никак не мог уснуть в чужом доме Матвий Боцюн. Сторожа́, он занялся делом — выреза́л ножом весло, все не зря проходило время! С тех пор

как барин прогнал Матвия из лесу, тот нашел себе пристанище у реки, ведь кто же лучше его знал повадки птицы и рыбы?

Когда господские подручные ввели в сборную связанного деда Дуная, у Матвия от изумления выпало из рук весло.

— Дедушка, что с вами?..

— А ну, отпирай холодную!— скомандовал Пигловский, еще раз ощупывая одежду старика.

Матвий, прислушиваясь к разговору, подошел к железному калачу большого замка, дернул его, отпер дверь, и в сборную пополз дух прелой соломы.

В холодной Пигловский развязал старику руки, брезгливо поморщился, вышел, сам запер замок, потрогал его, а ключ отдал Боцюну.

— Стереги крамольника. Ишь старый мосол, пана убить собрался! Был бы ты, дед, помоложе, я бы надрал с тебя лыка!

На синей физиономии Пигловского застыло выражение злобы. Впрочем, сейчас Октав вовсе не так зол, просто он хочет, чтобы все видели, как ему дорог его ясновельможный...

Когда помещичьи приспешники вышли из сборной, Матвий, прислушиваясь, запер наружную дверь, погасил плошку, подошел к холодной.

— Дедушка, вы еще живы?

— Пока жив.

Матвий отпер замок, отворил дверь.

— Выходите сюда, тут получше, потеплее.

— А не боишься?

— Чего же бояться? Человек должен быть человеком. Да и не сбежите...

— Уж верно, не сбегу.

Оба уселись на порог и некоторое время молчали,— каждый думал о своем.

— Вот как бывает,— наконец через силу произнес Матвий.

— Бывает,— согласился старик.

— И за что только люд мучится?

— За все понемногу.

— Выходит, снова повезло барину.

— Ага.

— Нож выкинули или они не нашли? — Матвий кивнул на окна.

— Не нашли.

— Ну и хорошо. Отдайте его мне.

— Бери.— Старик вынул из-за голенища сапожный нож, отдал Матвию.

Тот взвесил его на руке и тронул пальцем лезвие.

— Ничего ножичек. Острый.

— Сам точил.

— Так я уж оставлю себе.

— Оставь.

— А вернетесь из каталажки — отдам.

— Навряд ли вернусь.

— А чего вам долго быть на казенных харчах? Раз ничего не нашли, можно будет отбрехаться...— Матвий встал, ощупью нашел весло, струганул рукоятку дедовским ножом.— Хозяйская штуковина.

— Ничего ножичек,— согласился старик.— Дай, я весло построгаю.

Матвий отдал старику нож и весло, тот уселся поудобнее, и вскоре и по сборной и по холодной полетели стружки.

XXXII

— Зарабатывать — так зарабатывать! — тихонько бросил Максим Костю Романовскому, на ощупь отпирая гвоздем замок на чужой лодке. Правда, эта новая лодка не совсем чужая, Максим несколько раз ездил на ней с Ориной Окунь. Как-то девушка сама позвала его. А мальчишке что? Вскочил в недавно сработанную посудину, уселся напротив Орины и принялся грести к островку, откуда разносилась над водой птичья разноголосица.

— Как ты, Максим, на Романа похож...

Орина присматривалась к маленькому озорнику.

— Это потому, что я его брат,— рассудительно ответил мальчик.

— А что он делает теперь?

— В Синяве господский лес рубит.

— Любит тебя Роман?

— А кто его знает.

— Как так? Что же ты, не знаешь, любит тебя Роман или нет?

Черные диковатые глаза девушки расширились.

— А что ж, и не знаю. То бывает такой добрый, что хоть к ране прикладывай, а то ни с того ни с сего за ремень. А разве бывает любовь с ремнем?

— Бывает, бывает, Максим! — рассмеялась Орина.— Баловался, верно?

— Ну, баловался — погрози мне пальцем, и ладно.

— Ох, и озорник ты! — покачала головой Орина.

И во второй раз девушка заговорила о Романе, словно больше не о ком было спрашивать. И Максим тогда же догадался, что Орина влюбилась в брата. Он возьми да и ляпни брату свои догадки, а тот цыкнул на него, вытаращил глаза и за ремень. Вот и разберись после этого, что такое любовь.

Максим отпер замок и следом за Костем спрыгнул в лодку. Под веслом пугливо плеснула вода, и мальчики сразу повеселели: пускай теперь Окунь, хоть он и староста, насыплет им соли на хвост. Подъезжая к запруде, Максим притерся почти к самому берегу: иначе нельзя — ведь в глубоких местах живет Вернивод, самый страшный водяной. Ему ничего не стоит затащить лодку в омут.

Только за перевозом, неподалеку от казацкого брода, мальчуганы зажгли смолистую лучину в сплетенной из проволоки сетке, приделанной на носу челнока.

— Ну, ни пуха ни пера! — Максим сплюнул через левое плечо и взялся за острогу.

Над рекой закачалось взъерошенное гнездо пламени, выхватывая из тьмы рваные края берегов, а вода просветилась до самого дна, где, задыхаясь, росли кудри затопленной травы и краснотала. Опустив голову к воде, Максим зорко смотрел в глубину, словно читал книгу. И обычная картина дна затопленной поймы под его взглядом преображалась в стройные чертоги подводного царства. Вон раскрывает свои хоромы золотая рыбка, там блестят серебро и золото, слышатся мелодичное пение реки и звуки граммофона. Максим обязательно послушает граммофон, если будет хороший улов. Только теперь он будет умнее: пусть Кондра ставит за стóящую рыбину не две, а три или четыре песни. Да и вообще Максим отдаст на это всего одну рыбину, надо принести матери деньжат — пусть знает, что он не какой-нибудь гультяй, а помощник.

Над лодкой пролетали вечерние птицы, невдалеке грузно плеснул сом, а вода тихонько пела и хлюпала под веслами, и на дне снова выстроились каменные чертоги золотой рыбки. И вдруг они разбились вдребезги — это под берегом сонно качнулась не то рыбина, не то колода. У Максима замерла душа, а руки сами метнули острогу в глубину. И вот сухое

древко мелко задрожало между пальцами и рывком устремилось под лодку.

— Держи, держи, Максим! — испуганно вскрикнул Кость и оттолкнулся к середине реки.

Теперь рыбина бешено метнулась в сторону, и Максим едва не выпустил острогу. Кость положил весло в лодку и подполз к другу. Мальчики ухватились за острогу и стали подтягивать ее к себе. Вскоре в глаза им раз и другой плеснула волна: рыба, извиваясь, рвалась в глубину и тащила за собой рыболовов. Но вот они, покряхтывая от натуги, подважили ее, подняли над водой и бросили в лодку. На желтовато-ржавой чешуе щуки заиграли кровавые отблески, огонь осветил большую темную голову и страшные, частые зубы.

— Вот так рыба! — вырвалось у Костя.— Такой удачи у нас еще не было! — Он поднялся в лодке, и мальчики радостно обнялись над распластанной щукой, тяжело вздымавшей полумесяцы жабер.— Это, Максим, тебе на хату!

— Пополам!

— Нет,— крутнул головой Кость.— Сегодняшний улов— твой, а завтра — моя доля.

— Пусть так! — охотно согласился Максим.— Сегодня больше не станем бить рыбу.

— Надо скорее везти эту щуку Кондре, а то еще опрокинемся или прицепится Вернивод...— И Кость погнал лодку обратно.

Когда мальчики вошли в корчму, то даже больные, вечно заплаканные глаза шинкаря блеснули радостью. Он вышел из-за стойки, потрогал щуку обеими руками, пощупал живот, и, сразу сбивая цену, заявил:

— Хороша, хороша щукенция, только с икрой.

— Ну и что, если с икрой? — насторожился Максим.

— Стоит меньше,— отвечал худущий шинкарь, изгибаясь над рыбой, как смычок.— Сколько же просите за нее?

— Полтинник! — небрежно проговорил Кость.

— Ты одурел, малый? — налитые слезами глаза Кондры округлились.— Что она у тебя, золотая?

Но Костя не легко сбить с толку: разве не ясно, что шинкарь хочет надуть его? На то и Кондра, чтоб надувать.

— Может, и не золотая, да серебряная! — с достоинством ответил он корчмарю и обеими руками, покрякивая от тяжести, поднял рыбину, чтобы все видели, что это за товар.

Вокруг мальчиков собрались люди, все хвалили рыбу и рыболовов, и душа Максима плескалась в теплых волнах радости.

— Два злотых и ни копейки больше! — объявил свою цену Лукаш.

— За два семигривенника, дяденька, отдадим! Вы этой рыбиной будете три дня кормить всю корчму,— вступил в торг и Максим.

Вокруг поднялся хохот.

— Давай, Лукаш, два семигривенника.

— Ребятишки честно заработали.

— За такую рыбину господский повар и полтинника не пожалеет.

— Может, скажешь — рубля? — огрызнулся Кондра на подвыпившего мужика.— Бери, Максим, два злотых, и — где уж моя не пропадала! — сыграю тебе два раза на граммофоне.

— Нужна мне эта игра! — презрительно отвечает Максим, словно у него вовсе и не запрыгали в каблуках чертики.

В это время открылась дверь, и в корчму шумливой гурьбой ввалились дворовые с Октавом Пигловским. Лесник ловко швырнул на стойку полтинник, монета, двоясь в глазах, завертелась в воздухе и со звоном шлепнулась возле самого Кондры.

— Наливай, Лукаш, за упокой деда Дуная.

— А что с ним, Октав? Несчастье? — зашумели вокруг.

— Дяденька, что с дедушкой? — вскрикнул Максим, уронив щуку, и бросился к леснику.

— В кутузке сидит, душегуб. Барина хотел убить!— обернулся к мужикам Октав, подымая длинные руки.

На миг вся корчма вздохнула и замерла, только на полу шевельнулась рыбина. Максим подхватил ее, положил на стойку. Шинкарь сунул мальчику два злотых и, стараясь не пропустить, что скажут о старике Дунае, пообещал поиграть потом. Но Максиму было не до музыки. Он не помня себя выбежал из корчмы и на пороге стал прощаться с Костем.

— Куда ты, Максим?

— Выручать деда Дуная,—ответил тот со слезами в голосе.

— И я с тобой,— шепнул Кость.— Возьмешь?

— Пойдем.

— А как мы будем выручать его?

— Там увидим. Наверно, подкоп сделаем под холодную.

Мальчики бросились бежать по притихшей улице. Вскоре они были уже возле сборной, осторожно обошли ее, перелезли через плетень и, дрожа, стали возле глухой стены холодной.

Тихо было вокруг, и за стеной было тихо, как в могиле. Максим припал ухом к сырой стене, из глаз его катились слезы, а из груди вырывались всхлипывания.

— Не плачь. Может, обойдется все,— утешал его Кость.

— Добро бы обошлось.

— Я сбегаю за лопатой,— шепнул Кость.

— А где же ты ее возьмешь? — Максим старался говорить так, чтобы в голосе не слышно было слез.

— Под навесом у Евдокима Юренка. Я знаю, где у него лежит инструмент.

— Вали!

Кость полез на плетень, мячиком скатился наружу, и вот уже шаги его затихали в темноте. А Максим еще крепче прижался к стене и тихонько позвал:

— Дедушка! Дедушка Иван!

И вдруг в стене что-то шевельнулось, заскрипело, и послышался голос деда Ивана:

— Максим, дитятко, это ты?

— Дедушка, ой, дедушка!

Максим протянул руку к крохотной волоковой щели в стене, сквозь которую не пролезет даже детский кулак, и не знал, что сказать.

— Ты чего пришел сюда?

— Мы с Костем хотим вас выручить... Кость пошел за лопатой. Мы подкопаем снизу...

— Не надо, Максим.

— Отчего же не надо? Вы убежите в лес, а я вам буду носить еду.

— Спасибо, дитятко,— растроганно проговорил старик.— Только не подобает мне бежать.

— Отчего же не подобает? — Голос у мальчика дрожал от слез.

— Стар уж я.

— Э, дедушка, бежать никогда не поздно... Вон и Кость несет лопату...

— Нет, Максим, не побегу я. Ты лучше проведай бабку Ганну...

Степан Васильевич просыпается и как ужаленный соскакивает с постели — в дверь барабанят. «Неужели полиция? Неужели провал?» Еще теплые клочья сновидений бросаются врассыпную, а на их место в душу просачивается противный холод. Учитель на ощупь, нервничая, находит пачку листовок, разделяет ее на две и укладывает в сапоги. Затем быстро обувается на босу ногу, накидывает на плечи пиджак, выходит в класс и уже на пороге спокойно, даже позевывая, спрашивает:

— Кто там взбесился? С чего это ломиться в дверь?

— Степан Васильевич, это я! — раздается голос Романа Волошина.

Учитель с облегчением вздыхает и только теперь чувствует, как под ногами расползаются листовки, а руки слабнут, словно он целый день махал косой.

— Что случилось, Роман?

— Беда...— доносится стон из темноты.

Учитель отворяет дверь, пропускает парня в класс, берет его за руки.

— Рассказывай.

Давясь словами и захлебываясь от возмущения, Роман рассказывает историю Дуная и под конец просит:

— Пособите чем-нибудь, Степан Васильевич. Мы ведь темные мужики. Невдомек нам, куда и податься.

— Надо подумать, парень.

Сердце учителя сжимается от боли. Он входит с Романом в комнату, потихоньку снимает сапоги, достает из них листовки, впервые попавшие в Медвин, и прячет под подушку, еще хранящую теплый след головы.

— Подумайте, Степан Васильевич. На вас вся надежда.— В голосе Романа тоска.

Учитель зажигает лампу, и его поражают глаза гостя, черные, с беспокойной дичинкой, и губы — совсем белые.

— Успокойся.— Он подает Роману стакан воды.

Тот пьет, и стекло жалобно позванивает у него на зубах.

«Надо идти к Лисовскому. Он хорошо знает Чернокнижного, а тот, если захочет, с помощью закона может за одно и то же и голову снять и праведником выставить».

Роман ставит стакан на стол, зябко поводит плечами и собирается уходить.

— Так помогите, Степан Васильевич, деду. А я тем временем разделаюсь с барином.

Он сжал кулаки, и за неспокойной дичинкой в глазах его вспыхнула злобная решимость.

— Что ты надумал? — насторожился учитель.

— Раздавлю, раздавлю, как змею подколодную,— и Роман показал, как разделается со Стадницким.

— Пустое мелешь, парень.

— Какое есть.— Роман отвел налитые злобой глаза.

— Сам захотел в Сибирь?

Учитель стал перед Романом в надежде погасить его злобу.

— Потом хоть в ад, зато буду знать: меньше слез прольется на земле.

— Навряд ли меньше, навряд ли,— покачал головой учитель.— Сколько их твоя мать прольет?

— Так то мать.— Косая морщинка между бровями у Романа стала глубже.— А люди — меньше.

— Ты думаешь, сын Стадницкого будет лучше отца? Не с того конца берешься, не с того.

— С какого ни берусь, а не жить барину. Пусть по нем колокола звонят! — проговорил Роман с такой злобой, что Степан Васильевич понял: тщетно сейчас переубеждать его.

— Как же ты думаешь расправиться с барином?

— Как придется! Смогу—прикончу в лесу обухом, а нет—задушу голыми руками.— Он поднял руки к груди, и учитель физически ощутил их неукротимую силу.

— Ладно, Роман. Об этом поразмыслим позже. Может, что получше придумаем. Барина ты порешишь или нет, а деду Дунаю повредишь. Слышишь?

— Слышу,— понуро ответил тот.

— Приходи завтра. А сегодня сделаешь не менее важное дело.— Степан Васильевич вынул из-под подушки листовки.— Посеешь их по селу. Не побоишься?

— Чего же правды бояться?.. Но я разнесу их тоже завтра, сегодня ночью мне уголь надо выжигать,— ответил Роман и потянулся к листовкам.

XXXIII

Утром чуть ли не весь Медвин пришел прощаться с дедом Дунаем. Не пришли одни больные да злые и завистливые, те, кто рад чужому горю. Были ведь среди мужиков и такие,

кого радовало, что барин выгоняет лесовиков из старых гнезд: пусть, мол, и эти победуют, как мы.

Когда десятские и вооруженные дробовиками дворовые вывели из сборной Ивана Яроша, люди со всех сторон подались к нему. Октав Пигловский огрызнулся было на гайдамацкое сборище, поднял ружье, чтобы двинуть ближайшего прикладом, но кто-то сзади так саданул лесника под бок, что у того искры посыпались из глаз. Он было вскинулся, да пальцы его, как клещами, перехватил Марьян Полярyш.

— Не дергайся, не дергайся, Октав, не вводи мою душу во искушение.

— Это ты, Марьян?! — взъярился лесник, удивленный, что такой бедняк-неудачник поднял на него руку.— А ну, кыш на насест, пока ребра не затрещали!

— На жену покричи! Ишь напыжился, весь в пене, как кабан! Хоть губы вытри!

Марьян, презрительно глядя на лесника, еще больнее, до хруста, сдавил его раздутые в суставах пальцы. В злобной душе Пигловского проснулись боль и страх. Моргая жабьими глазами, он опустил ружье и дал мужикам попрощаться с дедом.

Все, вздыхая, обнимали своего деда Дуная, жали ему руку или просто касались его одежды, его седой с прозеленью бороды. И сизые от печали, за одну ночь ввалившиеся глаза старика подобрели. А он-то еще недавно опасался, не отвернется ли от него село, не скует ли мужиков страх! Выходит, недаром он поднял руки на барина, недаром прожил на свете: люди не осуждали его, а сокрушались по нем.

— Прощай, Иван!

— Прощайте, дедушка!

— Прощай, милый человек!

И он, постаревший, но не сломленный, твердой поступью пролагал свой каторжный путь между крестьянской силой и бессилием.

Стадницкого, когда он подъехал к сборной, больше всего поразило, что чуть ли не все сочувствовали старику, только кучка богатеев стояла в стороне, не присоединяясь к людям. Кто-то из них, очевидно для барина, проронил:

— Ну, теперь пиши Дуная в поминальник.

Несколько мужиков посмотрели на Стадницкого, и он прочитал у них в глазах сперва удивление, затем ненависть.

— Чтоб ему обеднять, гнилоеду...— донесся до него обрывок фразы.

— Прожорлив до черта!

— Не насытится никак.

— Терпит люд от господ, как Иисус на кресте.

Ого, до чего дошло! Его хотели убить, а сочувствуют не ему, а убийце. Что только делается с селом? Аркадий Валерьянович подъехал к старосте, вертевшемуся вокруг конвоя и десятских, хмуро процедил:

— Отпусти подводу. Пусть убийцу пешком ведут в уезд.

— Далеко ведь, барин! — удивился Окунь, вынимая из-за пояса пакет для станового.

— К вечеру поспеют.— Барин поднял руку с плетью и уехал на прогулку в лес.

Неяркое солнце уже подтянуло за собой тучки к зениту, когда Стадницкий, отягощенный злобными мыслями о мужиках, возвращался в село. Издалека он заметил на тракте старую Чайчиху. Она брела с пустой сумой за плечами по непросохшей колее, ореховый посошок осторожно прощупывал дорогу. Барин поравнялся со старухой, поздоровался, остановил лошадь движением руки.

— Куда идешь, Катерина?

— По селам, батюшка барин, за подаянием по селам.— Старуха, тяжело дыша, сунула руку под старенькую кацавейку.

— Тяжелый у тебя хлеб, Катерина,— пожалел барин нищенку, подумав даже, что стоило бы ей помочь.

Но в это утро Чайчиха не поклонилась ему, не всхлипнула, не вздохнула, а подошла поближе и с горькой строгостью сказала:

— Легкого хлеба теперь, батюшка барин, нигде нет. И ваш тяжелый, как камень. Молва про вас пошла, что вы бедны. Так возьмите у меня свой подарок, может, хоть на нем разбогатеете — для иных у меня легкая рука.—И она сунула барину в руку то, что получила от него за подсвечники.

— Это еще что?

При взгляде на двугривенный вся кровь бросилась в голову Стадницкому, заливая «подкову счастья». Он замахнулся плетью, но не ударил старую, а только в ярости швырнул ей в лицо монету. Двугривенный, едва задев платок Чайчихи, упал в жирную грязь и до половины увяз в ней. Но луч солнца нашел незамаранную блестку серебра, и она засверкала, как слезинка.

Левко Щербина, приехав с ярмарки, только к вечеру узнал страшную новость, да и то не дома, а во дворе Лукаша Кондры, которому подряжался за два с полтиной привезти из Щедровой водку и рыбу. Тяжелая весть потрясла парня, только теперь понял он свою вину перед лесовиками и дедом Дунаем. Выходит, не врал Матвий Боцюн, говоря, что из-за дурацких выходок Щербин барин может выселить из лесу и Морозенок, и Гончаров, и деда Дуная. Ну, ей-богу, никогда не угадаешь, откуда свалится беда!

Левко вдруг рассердился на лошадей, сунул пристяжной зуботычину, а потом сцепился с Кондрой и отказался укладывать на телегу пустые бутылки.

— Ты, парень, не белены ли объелся с утра?— прикрикнул не него шинкарь.— Я за тебя стану посуду укладывать?

— Пусть вам леший укладывает! — Левко выхватил из кармана задаток, швырнул его оторопевшему шинкарю, вскочил в телегу и погнал лошадей на хутор Варавы.

Варава встретил Левка приветливо, подал руку, а потом сильно стукнул по дюжему плечу:

— Ну, как живешь?

— Часом с квасом, а порою с водою,— смело ответил парень.

— Поедем сегодня на рассвете щук бить?

— Поедем, барин. А хотите — сам с братьями набью вам щук, только помогите ради бога.

— Что же случилось с тобой?

— Не со мной, а с дедом Дунаем.

На лице Варавы сразу простыло тепло улыбки, а взгляд раскосых глаз помрачнел.

— Ты что же, за душегуба заступаешься?

Барин смотрел куда-то мимо парня, вдаль, словно разыскивая там образ старого чумака.

— Какой он, барин, душегуб? У него господская челядь даже ножа не нашла.

— Выбросил.

— Все следы обыскали, не нашли. Верно, напугать хотел Стадницкого. Что человек не сделает с горя.

— Чего ж ты хочешь?

На морщинки по бокам горбатого носа Варавы легла печать неприступности.

— Чтобы вы заступились за деда.— В светло-желудевых глазах Левка светилась мольба, и даже темные крапинки зрачков влажно мерцали.

— Как же я могу заступиться? — развел руками Варава.— Что я, судья?

— Можете, барин. Вы же, дай вам бог здоровья, не первый год знаете следователя Чернокнижного... Поговорите с ним как на духу. Разве можно запаковать в тюрьму такого человека, как дед Дунай?

— Нет, Левко, из этого пива не выйдет дива! — решительно проговорил Варава.— Ни своего, ни чужого имени я не свяжу одной веревочкой с неблагонадежными людьми. Да и тебе не советую...

— Эх, барин, барин! — Левко укоризненно покачал опущенной головой.

Вараву удивило и обидело упрямство парня, он встрепенулся, и в его раскосых глазах засверкали злые искорки.

— Ты считаешь, что я рассудил неверно?

Левко, не желая обижать барина, промолчал.

— Думаешь, дед Дунай такой уж удалец, герой? Напрасно. Не так это все.— Варава подошел к стене, бережно тронул пальцем лоскут старого, потертого бархата, в который было воткнуто шестнадцать наконечников стрел.— Вот кого можно назвать героем. Шестнадцать вражеских стрел попало в тело казака!..

Невежа Левко даже не дослушал Виталия Стратоновича, приложил к груди кулак и, глядя исподлобья, упрямо проговорил:

— А кто считал, сколько господских стрел попало в сердце деда Дуная? В том сердце, верно, и живого места нет.

Виталий Стратонович застыл от удивления: он и до сей поры не мог разобраться, что собою представляет этот похожий на вола парень.

А Левко поклонился барину и понуро, вразвалку пошел из господских покоев.

В прихожей Тодоска, которая как будто ждала там Левка, смерила его злорадным взглядом и сладенько спросила:

— Ну что, облизнулся? — Ее полные губы были обметаны едва заметной оборкой морщинок.— То-то...

— Цыц, вертихвостка! Я тебе, чертова потаскуха, выполю бессовестные лохмы! — гусаком зашипел парень и занес над головой ключницы растопыренную пятерню.

Тодоска отпрянула, оборочка морщинок вокруг ее рта сразу распустилась, а складка, отделяющая нежный подбородок от шеи, дернулась.

— Тю, полоумный! — прошептала она, боясь, что Варава услышит перебранку.— Полоумный...

— От сумасшедшей слышу,— так же тихо проговорил Левко, хлопнул дверью и выбежал из барского дома.

Едва коснувшись рукой грядки, он вскочил в подводу, крепко стал на полок и погнал лошадей домой. За плечами колыхался груз пережитого, его вина перед дедом Дунаем; порою она хищной птицей впивалась в плечи, и тогда Левко бешено гнал лошадей, словно пытался оторваться от своего непокоя.

На вырубке, недалеко от крайней улицы села, высились два помещичьих стога сена. Левко не раз видел их, не раз проплывали они перед его озабоченным взором. А тут глянул и даже лошадей придержал. Вспомнилось, что в прошедший сенокос вершил эти стога дед Дунай, — ведь в селе мало кто еще мог так искусно вывершить стог или скирду. Вот и сейчас еще высилось до неба красивое дело человека, а его самого запрятали в тесную, вонючую клетку тюрьмы. И во всем виноват только один барин. Ей-богу, он один... Левко еще больше нахмурился и ниже опустил упрямую голову.

Предзакатное солнце, выскочив из-за облака, сразу вычернило под пнями обрубки теней. Вокруг этих пеньков каждый год лето рассыпало коралловым монистом душистую землянику. Здесь ее брали и люди и скот, в косовицу даже молоко пахло лесной ягодой. Отчего же все это вспомнилось? Ага, оттого, что он видел, как дед Дунай, спустившись со стога, нагнулся к пеньку за земляникой, а рядом позванивала колокольчиком чья-то костлявая коровка. А в этом году деду не собирать уже ягод... Мысли, как вон те обрубки теней, сползались и расползались в голове Левка, разжигая гнев. «Обеднел бы ты, барин, если б остались лесовики на месте? Обираешь людей, как татары обирали. Падаль ты, барин, падаль!..— Но ведь то же самое сказал Матвий Боцюн про него, Левка... Мысли споткнулись в беге, парень тряхнул головой.— И все равно, падаль — это барин»,— упрямо решил Левко, глядя на высокие стога, чтоб им сгореть! Он нащупал в кармане спички, но сразу же отдернул пальцы, словно по ним пополз не пробужденный еще огонь.

— Ты чего это, Левко, так на господское добро загляделся? — вдруг раздался позади него насмешливый голос.

Он испуганно оглянулся и увидал на дороге Юрия Звонаря с топором на плече.

— Захотелось — вот и загляделся,— неохотно буркнул Левко и насупился.

— А в карман не за спичками полез? — подсмеивался Юрко.

— А тебе какое дело? — рассердился Левко.— Полез за таким чертом, как ты.

Звонарь подошел ближе и доверчиво посмотрел на Щербину.

— Так вот, я лазил в свой карман за тем же. Разве не стоит поставить барину за душегубство такие две свечи? — Он показал на стога.

— Стоит,— сразу согласился Левко.

— Так, может, и поставим разом? — Юрко заглянул Щербине в глаза.

Душа у Левка замерла.

— А как узнают?

— Не узнают... Знаешь, как сделаем? — Звонарь вскочил на полок.— Ночью ты подожжешь, а я буду стеречь. Только пробьется огонь — ударю в набат. Ну, и ты сразу катай ко мне, будем вместе бить в колокол.

— Хорошо придумано,— улыбнулся Левко.— Ей-богу! Что ж, так и сделаем,— он подал руку Звонарю, тот крепко пожал ее и ушел в село.

А к Левку спешили уже, размахивая руками, близнецы, и на их тугодумных, недоверчивых лицах написано было величайшее изумление: как мог их старшенький поссориться с Кондрой и даже вернуть задаток?

— Ой, Левко, что ты наделал? — в один голос спросили они, с обеих сторон вскакивая на подводу.

— А что?

— Кондра к нам приходил. Отец гневается: это же два с полтиной на ветер. Сказал, отстегает кнутом.

— Это он может.— Левко передал вожжи Григорию, а сам спрыгнул на землю.— Поезжайте домой, а я вечером приду, когда отец простынет.

Близнецы одобрительно склонили широкие шеи, погнали лошадей, а Левко обернулся к стогам, свел брови и тихо проговорил:

— Падаль ты, барин, завистливая падаль, гореть тебе ярким огнем. Ей-богу, гореть!

XXXIV

Франтоватый господин Чернокнижный всегда на ночь смазывал поредевшие волосы молодыми сливками, а курчавые клинышки раздвоенной бороды вкладывал, чтобы не помялись, в чистенький мешочек с тесемочками. В эти часы он походил на лошадь, вложившую голову в торбу с овсом. Молодые горничные, которых холостой следователь часто менял, сперва прыскали, а потом либо привыкали к этим причудам (привыкали и к худшему), либо через несколько дней уходили, спасаясь от назойливых приставаний судейского. Он и ухаживал чудашливо. После вкусного обеда или ужина мягкими шагами подходил к новой горничной, сладко щурился.

— Милочка, вы откуда родом?

— Из Бруслинова, барин.

— Из Бруслинова? Хорошее село. Отец, мать есть?

— Нету, Померли, барин,— со вздохом отвечала девушка.

— Отлично,— отвечал своим мыслям Чернокнижный.— Отлично. А кто-нибудь из вашей родни под судом и следствием бывал?

— Да нет, бог миловал...

— Отлично. А вот вы, милочка, наверно попадете под суд.

— Да что вы, барин! Помилуй бог от такой напасти,— ужасалась девушка, а барин улыбался, и меж черных зарослей его усов и бороды раскрывалась красная ракушка мягких, сладких губ.

— За такой ужин, милочка, придется вам нести ответственность по статье двести шестьдесят девятой, часть вторая Уложения о наказаниях. Наказываю вас в первый раз тремя поцелуями.

Затем с каждым днем повышался номер статьи и повышалась степень наказания. А потом наступал другой суд: барин, уже не называя ни одной статьи, вежливо, обращаясь только на «вы», возвращал девушке паспорт, бросал ей рубля два «на слезы», а тертую сводню-кухарку посылал на базар подыскивать новую горничную. Даже Варава иногда говорил с неприязнью: «Этот украинофил видит в народе только одно хорошее — наложниц. Он и на землю ложится, как на любовницу».

В этот день Чернокнижный был в прескверном настроении: новая горничная не оценила шутки о суде и вместо трех поцелуев отвесила ему одну пощечину. Сладенькие глаза барина сразу налились болью и бешеной злостью, и перед ним вихрем закружились все статьи, по которым можно было бы судить эту глупую дикарку, пулей вылетевшую из его дома. В то же время его не оставляло видение соблазнительно очерченных бедер, на которые он мысленно клал руку.

Чтобы немного успокоиться, Кость Иванович стоя осушил бокал бессарабского мерло, заглянул в свой труд об украинских народных судах в древности, но тщетно пытался добыть из головы хоть одну дельную мысль. Он небрежно, по привычке, перекрестился на роскошный, красного дерева киот, потер левой ладонью щеку, которая все еще ярко алела, и принялся потихоньку укладывать в мешочек клинышки бороды. Но тут на крыльце послышались шаги, потом бешено задребезжал звонок, вскоре постучали в дверь, и в комнату просунулось полинявшее лицо немолодой франтихи кухарки.

— Костянтын Иванович, к вам, на ночь глядя, принесло Тадея Станиславовича. Вот не знает человек ни совести ни покоя,— понизив голос, добавила она.

Чернокнижный свирепо содрал с бороды мешочек, чертыхнулся, плюнул с досады и только после этого недовольно загудел:

— Чего зенки выпялила? Проси...

Через минуту в комнату вошли озабоченные Лисовский и Левченко. Чернокнижный, мысленно браня гостей на все корки, приветствовал их благодушнейшей, сладкой до липкости улыбкой.

— Поздние, поздние птицы. Уж не от женщин ли? — И осекся, вспомнив только что полученный отпор.— Садитесь, садитесь, дорогие друзья. Что же вас принесло: седелышко иль весло?

— Беда принесла,— коротко проговорил нахмуренный медвинский учитель.

Лисовский рассказал о случае с дедом Дунаем.

— Выходит, старик не только песни поет? — удивился Чернокнижный и задумался.— Ну, и что же из этого вытекает?

— Помогите, Кость Иванович.— Подбородок Тадея Станиславовича дрожал.

— Я уже раз помогал ему.— Темное лицо чиновника отвердевает, и только вокруг рта шевелятся влажные волоски,— а он за гайдамацкий нож хватается.

— Не было у него никакого ножа. Просто с горя потерялся человек.

— Но его жена засвидетельствовала, что он хотел убить помещика. А за это знаете, что?

— Нет, не знаем.

— Каторжные работы.

— Он же старик! — горестно воскликнул учитель.

— Тогда вечное поселение, Сибирь.

— Спасите, Кость Иванович, старика. Всю жизнь буду вам благодарен. Всю жизнь! — взволнованно просил Лисовский.

— Наше крестьянство — темное море,— глубокомысленно изрек Чернокнижный.

— А по этому морю,— прибавил Левченко,— снуют корсарские корабли с сетями и тянут все, что можно: и шкуру, и душу, и деньги, и свитку, а в море выбрасывают одни нечистоты... Сделайте, Кость Иванович, доброе дело, снимите у смерти с крючка невинную душу.

И хотя от слов Левченка, кажется, веяло социализмом, они поразили Чернокнижного, не чуждого возвышенных и замысловатых, как резьба, оборотов. И у чиновника изменилось настроение.

— Достанется мне за этого деда, однако попробую еще раз помочь ему.

— Спасибо,— Левченко поклонился.

— Старик в канцелярии станового или в тюрьме?

— В тюрьме. Повели туда без решения — пристав куда-то уехал.

— Это даже лучше,— жуковатое лицо следователя оживляется.— Но единственного свидетеля, жену старика, надо как следует подготовить. Вот старая ворона, растрещалась, как колесо без втулки!

— Спасибо, Кость Иванович, я возьмусь за нее,— заверил просветлевший Лисовский.

— Лауреат Академии пробует свои силы во лжи,— засмеялся Чернокнижный.— Ну, а теперь спокойной ночи. Мне еще надо обмозговать это дело, а к завтраку,— он понизил голос,— незаметно приходите ко мне... Там я уже буду не Костем Ивановичем, а вашим благородием...

XXXV

Утром тюремный конвоир с винтовкой наперевес привел деда Дуная к следователю, а сам вытянулся у двери. Чернокнижный озабоченно посмотрел на тюремщика, спросил, кого он привел, неодобрительно покачал головой и велел протоколисту занести в арестантскую книгу имя и фамилию старика. А потом, вдруг вспомнив о чем-то, послал протоколиста в суд.

Дед Дунай молча скорбно смотрел на судейского и вспоминал времена, когда видел его у Тадея Станиславовича. Так недавно это было, а кажется, прошла целая вечность. К удивлению старика, в камеру вскоре вошли Левченко и Лисовский. Кость Иванович деловито проводил их в другую комнату, а конвоиру приказал выйти на крыльцо.

— Расписочку, расписочку, ваше благородие, на арестанта,— проговорил коротколицый и мелконосый конвоир, переводя взгляд с деда на чиновника.

Старик вздрогнул, а Чернокнижный размашисто и красиво черкнул несколько слов, дал бумажку конвоиру, тот прочитал, сунул за обшлаг шинели, по уставу щелкнул каблуками, повернулся кругом и затопал из казенного дома.

Теперь Чернокнижный смерял старика внимательным взглядом.

— Узнаете меня?

— Узнаю, барин.

— Отлично... Садитесь, дедушка. В ногах правды нет.— Следователь показал на стул. — Вас вчера допрашивали?

— Нет.

Лицо Чернокнижного повеселело.

— Вы, должно быть, родились в сорочке.

— Оно и видно,— понуро ответил старик, подумав, что над ним смеются.

— Знаете, слышали, что вам угрожает?

— Знаю: ночью арестанты рассказали.

— Отлично. И страшно, дедушка?

— Не весело,— вздохнул старик.— Мне уж приходилось умирать, а все не так тяжко было, как теперь.

— Покаялись в душе?

— Нет.

— Как нет? — удивился Чернокнижный.

— А в чем мне каяться, добрый человек? Виновен барин,

а не я,— спокойно, словно перед ним не следователь сидел, проговорил дед и перевел правдивые глаза на окно, за которым, колыша мягкий весенний венец, подымалось солнце.

— С такими мыслями, дедушка, не только на каторгу, и на виселицу попасть недолго,— неодобрительно наморщив лоб, проговорил Чернокнижный.— Однако вам дважды повезло. Первое — при вас не было оружия для убийства. И второе — о вас заботятся ученые люди,— он кивнул на дверь в соседнюю комнату.— Не знаю, чем вы им так пришлись по душе.

— Спасибо добрым людям.

— Спасибо не спасет,— двусмысленно проговорил Чернокнижный и понизил голос.— Так вот, дедушка, беру на себя великий грех, впервые беру! Зарубите себе на носу: всюду, где бы вас ни допрашивали, говорите одно: вы хотели только попугать барина, стукнуть, выбить ему от злости окна. Только окна! — И следователь даже показал рукой на переплет рамы, по которому капелькой крови ползла божья коровка.— Поняли?

— Понял, ваша милость.— Старик гордо встал.— И прошу вас, не берите великий грех на душу. Я всюду скажу, как было: хотел убить барина!

— Вы с ума сошли! — Чернокнижный растерянно поднялся, не веря своим ушам.— Я хочу спасти вас, понимаете— спасти!

— Ложью не спасешься. Никогда я не цеплялся за неправду, что же мне теперь цепляться за нее?

Из соседней комнаты вышли взволнованные Лисовский и учитель.

— Кому, Иван Петрович, нужна такая правда?! — возмущенно проговорил Лисовский.— Кому?

— Мне она нужна! — убежденно заявил старик.— Все наши люди знают: я собирался убить барина.Так разве теперь, когда мне пришлось туго, я могу сказать, что обманул их, что приходил в жмурки играть?

— Одумайтесь, дедушка, пока есть время! — схватился за голову учитель.

— Не одумаюсь, сынок.

Дунай твердо посмотрел на Степана Васильевича и провел пальцами по глазам — он снова увидел на раме, словно каплю крови, божью коровку, тоже попавшую в неволю.

— Конвойный! — крикнул Чернокнижный, отворяя настежь дверь.

На крыльце загремел приклад, затопали тяжелые сапожищи.

Коротколицый тюремщик молча переступил порог, поднял на следователя свиные глазки.

— Уведите его! — приказал Чернокнижный, махнув рукой на старика.

Тюремщик вынул из-за обшлага расписочку, почтительно отдал ее следователю и, обернувшись к старику, коротко, ледяным тоном бросил:

— Айда на царскую квартиру!

Пораженные, растерянные Левченко и Лисовский вышли следом. Они стали на крыльце, с жалостью глядя, как гордая, непокоренная сила шла под конвоем равнодушного, отупевшего от человеческих страданий тюремщика. Вдруг старик остановился посреди улицы, подняв лицо к небу.

С высокого расписанного облаками небосвода донесся отзвук не то серебряного колокола, не то удивительной скрипки.

Дед Дунай приложил руку к глазам, посмотрел на небо, что-то отыскал в нем, улыбнулся и заплакал. Коротколицый конвойный зашипел, разразился заученными обрывками тюремных команд, слегка подтолкнул старика прикладом в спину. Дед пошатнулся, как слепой, шагнул по мостовой, но глаза его были обращены ввысь, откуда лилось на землю серебро дальнего колокола.

— Лебединая песня! — тихо, с болью в голосе проговорил молодой учитель, постигая в этот миг новую, жестокую страницу жизни, учившую только одному: любить человека и до смерти бороться за его судьбу.

XXXVI

Второй день над Медвином пролетают лебеди. Второй день над лиловым маревом леса, над серо-зеленым туманцем прибрежных верб и яворов, над зеленоглазым беспорядочным нагромождением замшелых крыш льется и льется серебряный двуголосный перезвон. Быть может, это не только птицы, но и вербное солнце раскачивает свой предпраздничный колокол и стряхивает с него наземь певучее золото росинок? Оно, это солнечное золото, неровными бликами легло на гребни волн, до краев налиты им тихие, с выбеленными мостками водоемы, а каждая лужа вмещает в себе ни много ни мало, а все светило целиком.

Солнечные капельки успели уже раскатиться веснушками по лицу и рукам Матвия Боцюна и пока что не уселись только на веках, но и те уже подозрительно порыжели, готовые вот-вот принять неизбежный весенний посев. Но это меньше всего тревожит молчаливого властелина реки, который снует от одного островка к другому, ставит вентеря и маленькую пересыпную сеть, освещенный огнем лучины, бьет по ночам чуткую щуку, а устав, дремлет в челноке. Сейчас Матвий нарубил вербных побегов и топором забивает их в берег: над рекой повсюду должны расти деревья — так хорошо, когда они, молодые и цветущие, стоят в воде, словно невесты в лентах.

По мягкой, непросохшей тропке идет его Явдоха с увязанным горшочком. Она подходит к мужу, долго смотрит на его работу и вздыхает.

— Чего так тяжко? — Матвий глянул через плечо на жену и продолжает забивать вербный побег.

— Скажи на милость, нечего делать человеку — ставит кому-то задаром изгородь.

— Не кому-то, а себе,— спокойно поясняет Матвий.

— Еще что выдумай!

— И что ты, баба, понимаешь? — насмешливо отвечает Матвий, снимает шапку, и огнистая копенка влажных волос сыплется ему на глаза и на затылок.

— Скажи, может, пойму, а то я у тебя никогда ничего не знаю.

— И не знаешь,— убежденно говорит Матвий.— Понимаешь, есть земля, что с неба упала, а есть та, что в воде пропала. Вот наша-то и лежит под водой. Ну, я и отмеряю ее колышками — что выйдет из воды, то и наше.

— Ох, и глупый же ты, Матвий! — Явдоха присаживается возле лодки и развязывает горшок, на котором лежит краюха хлеба.— Прогнали тебя с земли — перешел на воду. А как отсюда прогонят, что станешь делать?

— В землю пойду,— так же спокойно отвечает муж.

— В могилу? — ужасается Явдоха.

— Чего я там, в могиле, не видал? На шахты подамся. Говорят, под землей правды больше, чем на земле: там люди под смертью ходят.

— Перед смертью человек всегда правдивее,— успокоившись, рассудительно говорит Явдоха.— Поди перекуси.

— Я потом. Возьми в корзинке рыбу.

— Поймал?

— Да есть кое-что.

Явдоха разгребает нарезанный с котиками краснотал и радостно вскрикивает:

— Ой, какой сом! С полпуда потянет!.. А отчего он такой изрезанный?

— Это я его выхватил у выдры.

— Как у выдры? — с любопытством спрашивает жена, любящая слушать россказни мужа.

— Заснул я в лодке, вдруг слышу — поднялась возле берега возня. Поднимаю голову, а под вербой выдра дерет этого сома. Я как заору, выдра прыснула, как кошка,— и бух в воду. Вот и досталась добыча мне.

— Сома я сейчас снесу Кондре, у нас на жарку муки не хватит.

— Ты гляди, нету счастья рыбе: от одной выдры к другой угодит... Как наш пастушок?

При воспоминании о старшем сыне на лице Матвия шевельнулись тронутые улыбкой веснушки.

— Мал он еще, мал,— Явдоха жалостно подперла щеку ладонью.— Так за день натомится, намашется кнутом, что через перелаз не может переползти.

— Вот нарежут землю, тогда заживем иначе.

В глазах Боцюна вспыхивает отблеск далекой надежды. Встрепенулась и Явдоха, подошла к мужу.

— Есть новости, Матвий?

— Да нет, все то же.— Боцюн гасит глаза золотым венцом длинных ресниц и достает на носу лодки маленькие лапотки.— Дашь Пилипку, после, может, и сапожки кожаные сошьем ему. А разбогатеем, глядишь, и в школу пошлем.

— Куда уж там нашему думать о школе,— махнула рукой Явдоха.— Ты когда домой придешь?

— Верно, утром. Ступай, свари детям ухи, а то уж вечер скоро.

Явдоха, оставляя на сырой стежке след, идет в село, а Матвий забивает в берег последние колышки, и ему в самом деле верится, что когда-нибудь за частоколом верб подымется из воды его земля и он посеет на ней хлебушек и овощи посадит. Бывают же чудные мысли у человека, нижутся, нижутся они, а в пряжу эту вплетается незаметно мелодичный звон. Матвий поднимает голову и сразу находит в небе трех лебедей, которые, не размахивая крыльями, наискось

опускаются на плес. Какое же горе обрушилось на лебединую стаю, если на воду садятся лишь три птицы? Они грузно падают на реку, плывут к острову и скрываются за ним...

Вечером, когда Матвий собирался ужинать, подошел Марьян Поляруш. Боцюн зазвал его в лодку.

— Садись, Марьян, перекусим.

— Да этого ужина и тебе мало будет,— сказал тот, посмотрев на маленький горшок.

— Мало не мало, а поделимся. Ты ведь не ужинал?

— Нет.

— Вот видишь. А то, знаешь, давай устроим господский бал. Ты разложи костер, а я потрясу вентеря. Может, какая-нибудь дура щука залезла, так мы ее изжарим.

Матвий поставил горшочек на землю, спрыгнул в лодку и поехал к вентерям.

Над водой горько и пьяняще пахнуло осиновыми сережками, вербными котиками и соком, пробивающимся сквозь молодую кору. Молодой месяц с серебряной каемкой склонился над круглым, словно чаша, островком, будто и месяцу хочется упасть на теплую грудь земли, а не на холодную воду. Возле острова вскинулся сом, испуганно запели сквозь сон лебеди. Матвий и в самом деле добыл двух глупых щук и поехал на огонек костра, у которого на корточках сидел Марьян.

И ужин и беседа удались на славу, хотя мужики перекинулись всего двумя-тремя словами. Месяц уже опустился на остров, когда на другом берегу раздался мужской голос:

— Ого-го-о! Давай перевоз!

— Я, Матвий, съезжу, ты и так намахался за день веслом.

— Поезжай, коли хочешь.

Марьян спрыгнул в лодку и стоя повел ее к другому берегу. За веслом то тихо бурлила, то бухала вода, и за островом снова спросонья отозвались лебеди. На берегу из сумерек выступала фигура человека. Лодка мягко ткнулась в песок, с куста лозняка сорвалось несколько росинок. Марьян пригляделся к незнакомцу и вдруг услышал радостный возглас:

— Марьян, это вы?

— Михайло Прохорович?

Марьян узнал Нагорного.

— Откуда?

За плечами у гостя ружье.

— Прямо с завода. Хотел подстрелить хоть крыжня, да запоздал. Такой уж из меня охотник. А как поживает ваш Плачинда?

— Черти еще не взяли,— хмуро ответил Марьян.

— Экономия не выдумывает новых каверз? — спросил Нагорный, осторожно садясь в лодку.

— Пока не слыхать.

Марьян оттолкнулся от берега. Стоя во весь рост над водой, он казался в темноте молчаливым великаном, и Нагорный залюбовался им, глядя, как он умело орудует веслом, под которым влюбленной голубкой воркует река.

— О земле, Михайло Прохорович, ничего новенького не слышно? — уже на середине реки спросил Марьян.— Будут наделять нас или нет?

— Пока сами себя не наделите — никто не позаботится о вас. Земля будет для барина, а для вас — экономия.

Марьян помолчал, придержал весло, подумал.

— Легко сказать — сами наделите. А что у нас есть? Одни пальцы. Ими и земли не отколупнешь. А вся сила у господ.

— Что вам сказать на это, Марьян? Был когда-то умный человек Тарас Шевченко...

— Шевченка я знаю,— Марьян оживился.— «Как умру— похороните» писал.

— И не только это. «Схоронив меня, вставайте, цепи разорвите и злодейской вражьей кровью волю окропите». Так, Марьян?

— Так.

— Вот и спросили однажды его люди, как им господ одолеть. Он положил на стол горсточку пшеницы и говорит: «Вот это господа». Потом набрал пригоршню зерна. «А это — народ. Захочет он — вот что сделает с господами». Да и засыпал зерном те зернышки, что лежали на столе. Вот и подумайте, Марьян: у кого больше силы?

Лодка пристала к берегу. Нагорный первым спрыгнул на землю, подал руку Марьяну и сразу стал прощаться.

— Может, посидели бы у костра? Мы бы щучку испекли.

— Спасибо, Марьян. Еще приеду к вам, а сейчас нет времени.

— К учителю идете?

— К учителю. Только не больно звоните об этом.— На-

горный посмотрел на Поляруша внимательным взглядом и пошел берегом к селу.

В этот вечер он не зашел в школу, только условным стуком вызвал учителя из тесной комнатки. Перекинувшись несколькими словами, они молча направились к господскому пруду, где был спрятан челнок учителя. Там Нагорный сжал руки Левченка и тихо проговорил:

— Степан Васильевич, сегодня уездный исправник получил от губернского начальника жандармского управления такое письмо: «За учителем села Медвин вверенного вам уезда Степаном Левченком установить наблюдение, и в случае получения о нем неблагоприятных сведений произвести у него обыск, поступив по результатам такового». Понятно?

— Как будто понятно,— усмехнулся учитель.— Буду готовиться ко второму обыску да понемногу сушить сухари.

— Листовки, говорите, в надежных руках?

— В надежных.

— Я знаю кого-нибудь из этих людей?

— Палийчука знаете, а с Романом Волошиным еще не встречались.

— Что же нам теперь делать с вами? Эти листовки могут ускорить ваш арест.

— А может быть, они как-нибудь оттянут его? — засмеялся Степан Васильевич, не слишком еще веря в перспективу попасть в казенный дом.

— Как это понять? — с удивлением спросил Нагорный.

— Утром село и экономия прочитают листовки, а я в это же утро с соответствующими письмами пошлю две: одну — становому, другую — исправнику. Пусть знают, кто следит за крамолой.

— Что ж, попробуйте, не повредит,— одобрительно кивнул Нагорный.— Только не держите дома никакой подозрительной литературы. Загрузите свои полочки монархическим и церковным хламом, положите, например, на стол «Подольские епархиальные ведомости» и заглядывайте в них при случае. Приучайтесь к конспирации. Пока к нам не показывайтесь, это время к вам будут наведываться наши.

— Спасибо, Михайло Прохорович. Не забывайте раба божьего, над которым столько потрудился отец Николай.

— Думаете, его работа?

— Его, чья же еще,— учитель хмурится.— Леший в рясе. Кружит над душой, словно ворон.

Нагорный тронул его за плечо.

— Не горюй, козачина. Кто сеет с грустью, пожнет печаль. Ну, я пошел.

— Я перевезу вас на тот берег.

— Лучше бы самому, да не знаю, где искать лодку...

В затоне возле острова Степан Васильевич нашел чей-то челнок, надломленное весло и оттолкнулся от берега; перед носом лодки мелодично всхлипнула волна: хли-гли, хли-ли...

— Прибывает вода.— Нагорный окинул взглядом безмерный, усеянный звездами плес и вздохнул.

— Что вспомнили? — тихо спросил учитель.

— Сибирь,— коротко ответил Нагорный, глядя, как перед лодкой, словно сказочный великан, не падая в воду, во весь рост проплыла верба.

— Ой, верба, верба, где ты росла, куда твои листья вода занесла? — спросил учитель словами песни.— А тут не одни листья, тут и самое вербу унесло.

— Однако хороший корень не дает ей упасть,— значительно проговорил Нагорный.

— И не даст. Прибьется верба где-нибудь к островку или к берегу и будет расти на новом месте.

— А сколько вы, Степан Васильевич, знаете песен, где поминается про вербу?

— Не считал.

— Так давайте посчитаем.— И Нагорный тихонько запел:

На лугу-лужочке
Верба зелена,
Почему зелена?
Рядышком вода.

Учитель перебил его веснянкой:

Ой, вербная досточка, досточка,
Бежит в поле Настечка, Настечка.

— Ох, и хитрый же хохол!— засмеялся Нагорный.— Я ему про вербу, а он про досточку.

— Так ведь про вербную же!..

Когда подплыли к острову, на воде неожиданно запели лебеди.

— Лебединая песня,— задумчиво проговорил Нагорный.— Слышал я ее и здесь и в Сибири. А в Тобольске рас-

сказали мне о лебединой песне одного поэта. Гнали его с колодниками по этапу, а за ним пошла и его любовь — девушка. И всю дорогу он на стенах этапных тюрем писал ей стихи, в тщетной надежде, что девушка прочитает их. Так и умерли его стихи на стенах тюрем, но слава о нем передается людям и делает их лучше. Мне кажется, что у каждого человека, если он человек, должна быть хорошая песня...

Утром после посвета [1] Марьян Полярош и Матвий Боцюн возвращались с рыбой в село. На распутье возле церкви им повстречался бывший господский чабан Сергий Майборода. Старик, опираясь на костыль, едва волок в церковь искривленные недугом ноги. Он увидел рыболовов, приветливо закивал им головой, вынул из кармана маленькую бумажку.

— Ребята, никто из вас не прочитает, что тут написано?— проскрипел он старческим, совсем слабым голосом.— Верно, хорошее что-нибудь: ведь какой же басурман в вербное воскресенье плохое напишет?

Марьян взял бумажку, подошел ближе к церковной ограде и стал по складам читать.

— Вот это написали! — вырвалось у Матвия Боцюна.

— Говорил же я, что в вербное воскресенье плохое не напишут,— покачал головой Майборода, и перед его старыми, слезящимися глазами поплыли вековечные марева.— А ну, сынок, прочитай еще раз, что про землю сказано.

И Марьян, пропустив первые строки, снова прочитал:

— «Никто из людей не сотворил земли, никто не должен и присваивать ее. Она должна принадлежать всему народу и раздаваться поровну в пользование тем, кто ее обрабатывает».

— Вот где истинная правда,— вырвалось у Матвия Боцюна. И в груди его ожили новые надежды, и вчерашние мысли о земле, которая выйдет из воды, показались нелепыми.— Вспомнили все-таки про мужика.

— Спасибо, детки, что есть правда на свете. Пойду помолюсь за нее,— проговорил старый чабан и заковылял к церкви.

— Дай, Марьян, мне эту бумажку,— попросил Матвий.— Я другим дам почитать.— И он бережно спрятал листовку на сердце, во внутренний карман.

---

[1] П о с в е т — лов рыбы с острогой на свет фонаря.

Не прошли они по селу и несколько десятков шагов, как позади раздался топот. Оглянулись, а это их нагоняет урядник. Поравнялся, придержал коня, нагнулся к людям.

— Вы ничего не находили сегодня? — спрашивает, а сам ест глазами и Марьяна и Матвия.

— Ничего. А вы потеряли что-нибудь? — спросил в свою очередь Марьян.

Урядник еще зорче уставился на крестьян.

— Совсем ничего не видали?

— Что мы видали, Матвий? — стал вспоминать Марьян.— Идем от самой реки...

— С реки идете? — Лицо урядника оживилось.— И ничегошеньки не нашли?

— Я нашел мелочишку одну, да не знаю, пригодится ли она вам,— проговорил Матвий.

Марьяна бросило в жар.

— Пригодится, пригодится, голубчик! — Урядник соскочил на землю и, придерживая длинную, не по росту, саблю, подошел к Матвию.

Тот вынул из внутреннего кармана большое белое перо.

— Это что?! — заорал урядник, и кровь бросилась ему в лицо, а глаза потемнели.

— Лебединое перо. Глядите, какое славное. Тысячи верст к нам летело.

— Дурак! Вот стегану, так будешь знать!

Урядник замахнулся нагайкой, потом вскочил на коня, всадил ему в бока шпоры и чертом понесся от церковной ограды.

Марьян и Матвий переглянулись, засмеялись.

— Ишь как носом закрутил,— проговорил довольный Матвий.— А кто из нас дурак — это еще надо подумать.— Он положил лебединое перо в карман, где лежала листовка, потрогал ее заскорузлыми, пропахшими рыбой пальцами и спокойно пошел домой, озарив многозначительной улыбкой все свои накрапленные солнцем веснушки.

XXXVII

И бедность и богатство не дают уснуть.

Не спится тихой мартовской ночью злосчастным батракам, которые каждый год едят хлеб из чужих печей, не дремлется бедным рыбакам на волнах и сукновалам в плавнях;

никак не может уснуть и Терентий Плачинда, прикупивший днем у шляхтича-однодворца шесть десятин славного луга. Кажется, надо радоваться, но вместо радости на душе у Терентия черная тоска. Напрасно он поторопился с покупкой — через несколько дней шляхтич уступил бы еще малость, это видно было по его глазам и по руке, которая мелко задрожала, коснувшись денег... Да бес с ним, с этим шляхтичем в мужицком серяке,— тут отец родной сидит в печенках. Старость, что ни говори, сушит не только тело, но и мозги. Терентий молчал, когда отец сколотил себе гроб, засыпал его зерном и оттуда стал понемногу раздавать нищим. Не больно роптал он и на то, что отец покупает для церкви то хоругвь, то плащаницу. Но сейчас старик совсем потерял голову: надумал купить колокол, чтоб люди и после смерти поминали чумака. Подумать только — ухлопает на эту выдумку уйму денег, а какой из нее толк? Посудачат люди день-два, потом забудут и про старика, и про его колокол, а хозяйству непоправимый урон. Когда Терентий сказал все это отцу, тот насупился, а потом стукнул кулаком по столу:

— Если у меня такой сын, обойдусь и без него, а сделаю по-своему...

Так вот оно что: выходит, родной папенька утаил от детей немалую толику денег! Но где же он их прячет? Терентий обшарил все углы и закоулки, перевернул чердак, овин и сарай, но нигде добром и не пахло. Где же он спрятал деньги на колокол? Ходит Терентий по двору, перебирает в голове все закутки и ничего не может придумать. А между тем на улице посветлело, вдали на облаках появился неясный отблеск пожара, и сразу же ударили в набат. Потом к небу поднялись два кровавых столба пламени, а над ними золотыми узорами летали пучки не то соломы, не то сена.

«Должно быть, господские стога горят... Ну и пес с ними!» Терентий недолюбливал барина и, когда шла речь о разделе помещичьей земли, держал сторону мужиков: насытятся дворянским — меньше станут заглядываться на соседское.

А огонь тем временем делал свое дело — согревал низкие тучи, отбрасывал яркие блики на село. Кто же мог поджечь барина? Скорей всего лесовики. Насолил барин им — не пожалеют и его. Терентий вышел на улицу и не торопясь направился к пожару. Вдруг мимо него, держась поближе к плетню, прошмыгнула неясная мужская фигура. С чего бы человеку бежать не на пожар, а от него? Кто бы это мог быть?

Плачинда порывисто обернулся, поглядел вслед неизвестному и уловил в его очертаниях что-то напоминающее Романа Волошина. И в угрюмой душе богача вихрем закружились приятные догадки.

«Он, Роман, он и есть! Ого, куда ты, орел, залетел!» И Терентий заторопился на край села, куда уже бежали люди с ведрами и лопатами.

За какой-нибудь час помещичьи стога сгорели, как свечи. Не смогли их спасти ни угрозы, ни щедрые посулы Стадницкого.

Терентий походил, походил вокруг выжженных кругов пожарища, где то тускнели, то светились хлопья пепла, несколько раз многозначительно посмотрел на барина, на Салогана, однако не сказал о своей догадке ни слова — на след поджигателя могли напасть и без него. Но этого не случилось, только подозрение легло на лесовиков, и поэтому после завтрака Терентий бодро зашагал к Салогану.

«Теперь ты, разбойник, попляшешь у меня!» — грозил он мысленно Роману, и под клешнями его усов таилось и томилось злорадство.

Гервасий Салоган, выслушав Плачинду, сразу же вскипел:

— Так и есть, Роман поджег барина! Отомстил за деда Дуная! И как я этого вчера не сообразил? — Салоган так мастерски замкнул круг догадок, что Плачинде ради осторожности пришлось даже заронить сомнение:

— Ручаться, Гервасий Никодимович, нельзя: не пойман — не вор.

Но это лишь еще более распалило управителя.

— Нет, Терентий Дорохтеевич, это дело рук Романа! Другого я ничего не признаю.

— Может быть, может быть,— как бы все еще сомневаясь тянул Терентий.

Но Гервасий поспешно попрощался с ним, вскочил на коня и во весь дух помчался к Окуню. Перед воротами старосты он остановил жеребца и бросил во двор приказ:

— Денис, тотчас бери десятских, и тащите в сборную Романа Волошина, живого или мертвого! Это он, стервец, поджег господские стога.

— И вы поверите этим наговорам? — бледнея, бросилась к отцу Орина.— Кто же в селе не знает Романа?

— А тебе что за дело? — огрызнулся отец.— Уж не замуж ли за этого голодранца собралась?

Когда молчаливые, словно каменные, десятские привели в сборную Романа, там за столом неумолимыми судьями сидели Окунь, Салоган и Октав Пигловский. Больше всего обеспокоило Романа присутствие лесника. Октава звали, когда надо было кого-нибудь увечить, и он шел охотно. Этот урод как будто мстил людям, укорачивая им век за то, что сам явился на свет на две недели позже, чем следовало.

«Неужто какой-то пес дознался про листовки?» Роман мгновенно перебрал в памяти все тропки и дороги, исхоженные ночью. Нет, нигде не было ни души. Только когда за селом загорелись господские стога, он увидел Плачинду. Но тогда все листовки были уже разбросаны.

Первым встал и подошел к Роману Гервасий Салоган. Под беспокойными веками управителя притворно смеялись, перекатываясь, злорадные глаза. Он широко расставил грузные, раздутые ноги, вывернул ладонью вверх лоснящуюся пятерню, на которой виднелись коготки мозолей, натертых рукояткой плети.

— Ты где, парень, был ночью? — Салоган прошил Романа взглядом, но спросил сладким голосом, машинально покачивая рукой, словно взвешивая на ладони цепочку зачерствелых мозолей.— Где был?

— А вам на что это знать?

Роман прислонился к двери холодной и вдруг увидел за окном Орину.

— Да что нам нянчиться с поджигателем? — взорвался нетерпеливый Октав Пигловский.— Говори: сам жег господские стога или с кем в компании? — Лесник выпучил глаза.

— Какие стога? Перекрестись, дяденька! — Роман облегченно вздохнул: стало быть, о листовках не дознались.

— Я тебе перекрещусь! Еще и зенки вылупил!

Синее, похожее на восьмерку лицо лесника с красным стручком носа исказилось от ярости.

— Живей признавайся, парень, а то ведь и зубы выбить недолго,— с улыбочкой сказал Гервасий и снова взвесил свою руку, выбившую и выкрошившую зубы не одному хлеборобу.

— Не в чем мне признаваться,— понуро ответил Роман, и по лицу его пробежали тени.

— Так, может, ты слышал, кто жег барские стога?

— Не слыхал.

— И не слыхал? — изумленно переспросил управитель, шагнув к Роману. Взгляд его сразу потяжелел, и капельки

смеха в глазах превратились в огоньки злости.— Так, может, сейчас услышишь!

И он изо всей силы саданул Романа в ухо.

Роман пошатнулся, а Гервасий еще крепче ударил его в другое ухо. И снова парень пошатнулся, темнея от боли и гнева, а управитель увидел на своей ладони кровь.

Он полез в карман за платком, и в этот миг Роман дал ему в челюсть тяжелым, как киянка, кулаком. Гервасий черным мешком повалился на десятских, а из его вспухшего от крови и слюны рта брызнули на пол два зуба.

— Боженька мой! — истошно заголосил управитель, впервые в жизни расплачивающийся за свое зверство.— Боже мой!

К Роману крадучись потянулся Пигловский, но и он отлетел к притолоке.

— Разом, разом надо брать его! — закричал лесник и набросился на парня уже вместе с десятскими и управителем.

В сборной затрещали стулья и стол. Пигловский снова отлетел к окну, но один из десятских схватил Романа за ноги, тот упал, и на полу заметался клубок задыхающихся окровавленных тел.

Орина, услыхав крик Пигловского, вбежала в сборную и увидела, как десятские вязали окровавленного Романа.

— Да это же самосуд! За это и вы пойдете в Сибирь! — отчаянно закричала она отцу.

Староста растерялся, не зная, что делать.

— А чего же он не признается, где был ночью?

— Так пусть узнают в уезде. А на что вам отвечать за дурака Пигловского?

— И то правда,— согласился отец, а Пигловский так заорал на Орину, что с уголков его темно-синих губ полетели крохотные брызги пены:

— Ты что, ведьма недокопченная, распустила язык, как голенище? Что, тебе Пигловский в борщ плюнул?! А ну, прочь отсюда, а то и тебя пришпандорим, сукина дочь!

— Свою жену так обзывайте! Слышите? Отец, чего же вы молчите? Гоните этого зверя!

— Ты что поносишь мою дочку? — вскипел Окунь.— А ну, катись в свой лес, пока у тебя в глазах не потемнело!

— Больше ни слова не скажу, это я со злости на поджигателя,— вывернулся лесник.— Я еще его измолочу!

Орина со страдальчески искаженным лицом прислонилась к косяку, а Пигловский ткнул связанного Романа носком

сапога в подреберье и с помощью десятских взвалил ему на грудь вверх ножками измызганную скамью.

— Держите, ребята, а я пройдусь по этому мостику, узнаю, крепки ли у поджигателя кости.

Десятские с двух сторон держали скамью за ножки, а лесник стал обеими ногами на доску и, стараясь удержать равновесие, засеменил по ней. Под скамьей хрустом отозвалось молодое тело. Роман заметался, лесник спрыгнул на пол и снова поставил ногу на скамью. Вот он уже стал на нее обеими ногами.

Орина в ужасе, с плачем выбежала из сборной, не зная, как отвести беду от Романа и от своего отца.

— Ты чего плачешь? — удивленно спросила ее подошедшая к сборной Люба.

— Ой, не спрашивай, Любонька! Что там творится! — Она махнула рукой на сборную.— Сердце разрывается.

— А Черное Сало там? — осведомилась ничего не подозревавшая горничная.— Меня барин послал за ним.

— Ой, там... Он и Пигловский до смерти забьют Романа.

— Какого Романа? — опешила девушка, и ее синие глаза округлились.

— Волошина. Какого ж еще!

— За что же они его?! — застонала Люба, вцепившись в Орину обеими руками.

— Думают, он поджег господские стога. Спрашивали, где был ночью, он не признается. Уперся, как камень...

Из сборной донесся стон. И Люба, не раздумывая, бросилась туда.

— Что вы делаете? Люди вы или не люди?! — заголосила девушка, увидав, как ходит по Роману Октав Пигловский.

Но скамья вдруг покосилась, лесник спрыгнул с доски, отшатнулся к столу, а с полу поднялся окровавленный Роман. Нечеловеческим усилием он разорвал ремень, покачиваясь, швырнул его в Октава и уже снова готов был драться с палачами, которые в страхе отскочили от него.

— Романко, что же ты не скажешь, где был ночью?! — крикнула девушка.— Чего же ты стыдишься, раз на то пошло?

Роман, полуоглохший от побоев, не понимая, смотрел на нее, но Окунь живо спросил:

— А ты, Любка, знаешь, где он был?

— Как не знать? — потупилась девушка и снова оглянулась на Романа.

Парень даже застонал, испугавшись, что Люба видела его с листовками.

— Так где? Не тяни! — крикнул Окунь.

— У меня, дяденька, в лесу.

— У тебя? — прохрипел свирепо Гервасий, и на его губах вздулись кровавые пузырьки. — Ты что с таким шалопутом водишься, вражья дочка?

— Какой же он шалопут? Он лучше всех! — с вызовом ответила девушка, и десятские дружно расхохотались.

Подобие радостной улыбки мелькнуло на лице Романа, хотя он расслышал не все, что сказала Люба.

— Везет же ему! — покачал головой Окунь, радуясь в душе, что больше не придется ни допрашивать парня, ни отвечать за него. А что малость прибили, так это пустяки, не впервой старосте учить молодых. Окунь насмешливо поглядывал на Романа.— Что ж, за любовь не судят. Ступай, парень, ко всем чертям, да гляди не попадайся!

— Ну и дурила же ты! Тьфу на твоего отца, и на мать, и на тебя, оглашенного! — напустился на Романа Салоган.— Чего ж ты сразу не сказал про свою дурацкую любовь?! Воистину, нет на свете никого упрямее мужика!

И он в ярости вышел из сборной.

За ним, жалобно и смущенно кивнув Роману, вышла Люба.

— Ну, расходитесь теперь кто куда! — проговорил повеселевший Окунь и спокойно, с достоинством положил руку на свою бляху.

XXXVIII

Роман, пошатываясь, идет в лес. И как ни отяжелело его налитое болью тело, как ни гудит в голове и затекших глухотою ушах, а на губах у парня нет-нет да и дрогнет ласковая улыбка. Это перед ним снова встает образ девушки. Неужели она любит его? Или только пожалела?

И тогда облачко набегает на лоб, тревожится в межбровье глубокая, как челнок, морщина и еще более темнеют глаза на избитом лице. Но это лишь на миг, затем лицо снова озаряется улыбкой, а перед глазами встает образ девушки.

По дороге проехала подвода. Незнакомый крестьянин заговорил с Романом, тот кивнул наугад головой, но не разобрал ни одного слова. Он даже остановился, чтобы услышать топот. Но копыта мертво, без звука, опускались на землю, не

стучали колеса, не скрипел широкий, на деревянном ходу полок. И это все больше тревожит и пугает парня. Он дотрагивается до ушей, они разбухли, как вареники, и все томительнее и томительнее жгучий трезвон боли.

Лес радостно принимает Романа в свои объятия, но деревья только бесшумно покачиваются, словно из них вынули добрую душу вешнего шума. И большой мир в глазах парня тускнеет, печалятся распустившиеся подснежники, и березовый сок уже без ласкового «тьоп-тьоп» капает в старенький, без ушка, кувшин. Как черная молния, врезался в небо напоенный мартовской силой любви ворон, но Роман не услышал ни посвиста, ни скрипа его крыльев. Прикусив краешек нижней губы, он подходит ко двору Морозенка, трогает руками вербу, под которой стоял, ревнуя Любу к Плачинде.

Около развалин хаты играет в свинку детвора. Рыжий шерстяной мяч взлетает вверх, и малыши, как заведенные, то бегут к нему, то разбегаются «в поле». Дети успели уже привыкнуть к тому, что во дворе на месте хаты понуро торчит облупленная труба, а вокруг нее кружится пестрый рой шершней. Великая несправедливость темной завесой опускается перед глазами Романа, и на фоне ее он видит и тех, кто разорял хату Морозенка, и тех, кто недавно в сборной ломал ему кости. Ярость, как живое существо, просыпается в душе, и только избитое тело тянет к земле.

Роман долго смотрит на детей, на колокольчики юбок босоногих девочек, которые ловят в подолы падающий с неба мяч, и уходит в лес. Там возле безухого, с блестящим от глазури нутром кувшина он опускается на землю, поудобнее кладет голову на корневище, ловит глазами красную, веснушчатую сетку березовых ветвей, меж которыми величественно проплывают льдины облаков и пробиваются волоконца солнечных лучей. Земля, словно желая помочь человеку, жадно впитывает часть боли из его искалеченного тела, солнце ласково смыкает ему веки, а из потемневшей дали приближается смуглое личико, на котором густым вечерним небом синеют испуганные глаза. Неужели она так любит?

Ему хочется, позабыв обо всем, думать и думать только о Любе, но сон и радость, убаюкивают его, как в детстве, кладут ему на губы по-детски радостную и по-детски обиженную улыбку и только изредка трогают сгустившуюся темень черных ресниц.

Во сне к Роману приходят люди и звери, над ним пролетают верхушки деревьев и птицы, и возвращаются к нему

утраченные звуки. Сперва он услышал детскую речь, и смех девочек, ловивших в подолы, как счастье, мяч с неба. Потом к деревьям вернулась веселая душа вешнего шума, а затем мелодично закапал березовый сок: «тьоп-тьоп, тьоп-тьоп...» Но, может быть, это не сок, а девичьи ноги, касаясь прошлогодней листвы, шепчут: «тьоп-тьоп»?

Роман просыпается, еще полусонными глазами всматривается в лес и в самом деле видит, как по земле семенят маленькие сапожки, а над ними колышется колокольчик красной юбочки. Не чувствуя боли, он вскакивает и замирает перед приближающимся чудом.

— Люба? — спрашивает он, вне себя от волнения, не веря, что по лесу идет любовь его, а не сон.

— Романко! — Вечеровые, юные, доверчивые глаза улыбаются.

Но Роман не слышит, что она сказала.

— Люба, Любонька! — испуганно зовет он, чтобы скорее услышать ее ответ.

— Романко, что с тобой? — Она испуганно останавливается перед ним, стройная и тонкая, как та березка, которую ночью писал учитель.

Но Роман и теперь не слышит ее. Неужели, когда желанное счастье само пришло к нему, он больше ничего не услышит?

И на ресницах его, как две капельки березового сока, выступают слезы бессилия и горя.

— Романко, бедный мой... Как они тебя изувечили.

Девушка вглядывается в его страдальческие глаза, в набухшие жилы на висках и приникает к нему. Роман прижимает к груди самое дорогое, что у него есть, боясь, что сейчас потеряет его. Люба, согретая его руками, доверчиво поднимает голову, ясно и нежно, с затаенной в уголках глаз болью, смотрит на него, и он порывисто припадает к ее красивым влажным губам. Девушка не отстраняется, она только беспомощно и жалостно сомкнула губы, словно просит перед своим первым любовным поцелуем, чтобы не обижали ее. И Роман понимает это лучше слов. Задыхаясь, он целует девушку, еще крепче обнимает ее и поднимает к небу хмельную, гудящую от боли голову, все еще не зная, во сне это или наяву. И вдруг, неведомо почему и как, высокое небо откликается ему лебединою песней. Он сперва не поверил себе, но вот снова зазвенели серебряные колокола, словно в небо подняли пасхальную колокольню и торжественно зазвонили.

Над Медвином вновь летели лебеди, на своих промытых солнцем крыльях несли они влажное еще, с мохнатым туманцем тепло и добрые надежды.

— Любонька! — кричит Роман, пораженный, и вдруг слышит, помимо лебединой песни, еще и тихий оклик березового сока: «тьоп-тьоп, тьоп-тьоп...»

— Что, милый? — Самые лучшие на свете глаза улыбаются ему.

— Это ты сделала?..

— Что? — удивленно, не понимая, спрашивает Люба.

— Слышишь? — Он хочет сказать, что она вернула ему слух, счастье слышать песню, голоса людей, шум ветра и шепот деревьев, но почему-то вместо всего этого смущенно, словно она и до того не слышала, повторяет: — Слышишь?

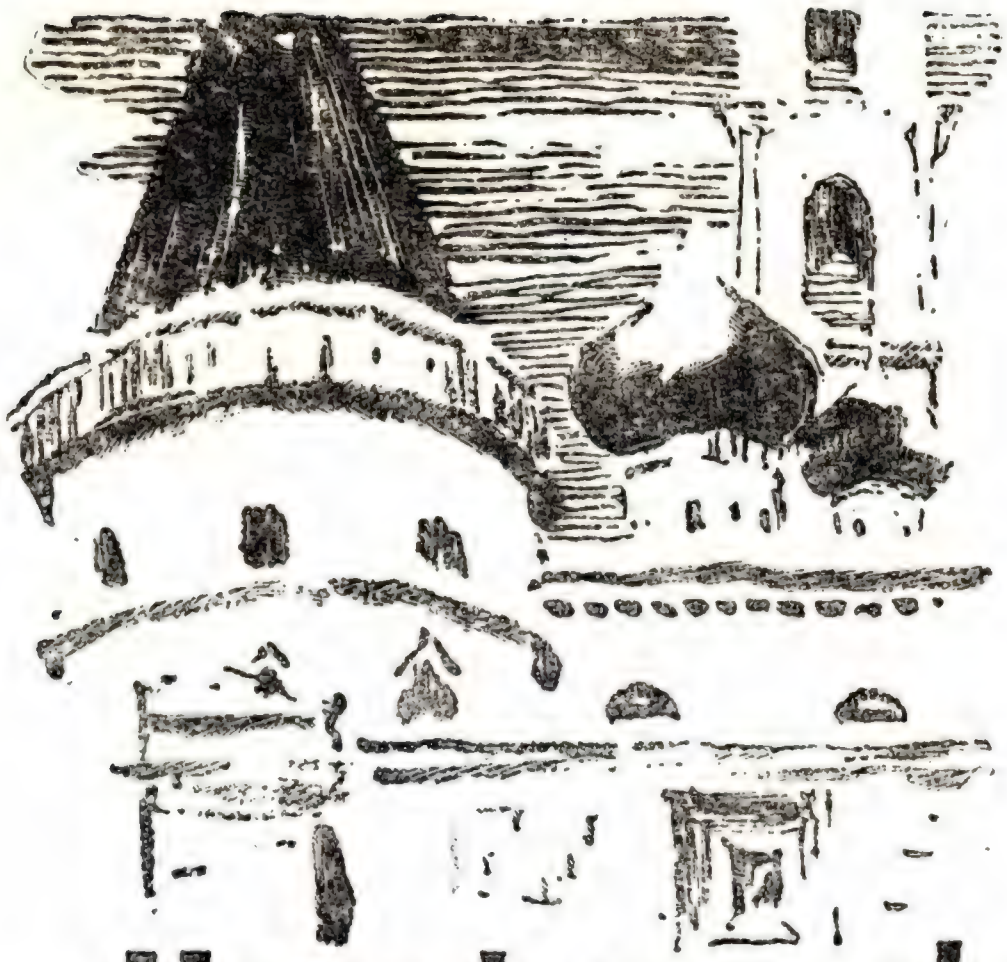
— Слышу. Лебеди поют...

— Лебеди... А ты лебедушка моя.

— Твоя? — Люба изумляется, изумляется и вечеровая синь ее глаз, где еще не растаяли две капельки боли. Он целует ее в глаза, чтобы растопить боль, но девушка отстраняется. — Нельзя, Романко, целовать в глаза — поссоримся.

— Никогда на свете, никогда! — говорит он, привлекая ее к себе.

Так и замирают двое счастливых людей. А над ними все звенит, удаляясь, лебединая песня, одним краем касаясь их, а другим — ласкового солнца, отороченного остистым венцом лучей. И кто, посмотрев на эту пару, скажет, что много надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым? Дайте ему на стол добрый, как солнце, хлеб, любимую работу в руки да любовь в сердце — и он не понурой тенью, а полубогом пойдет по земле.



Часть третья

КОГДА ПЛАЧУТ БОГИ

I

просонья не разберешь, человек это, или ветерок, или месяц стучит в стекло золотыми пальцами.

Девушка широко раскрывает, глаза: размытую темень хаты заливает лунное марево, мягко оседающее на лавку, на пол. От этого сразу приходит на память детство,— проснешься, бывало, и не знаешь, что творится вокруг, и месяц за окном как человек с пучком спелых колосьев. Воспоминание на миг унесло ее в прошлое, перед глазами мелькнула далекая жатва и та ржица, над которой склонялась еще мать. Ой, когда это было!.. Люба соскакивает с нар и, пока в сердце еще отдается разбудивший ее стук, босиком спешит к окну, стыдливо, с терпким страхом, прикрыв рукой прорезь сорочки. Теплые хлопья сна тают, и девушка понимает уже: не Роман к ней стучался, ой, не Роман! А все-таки с надеждой глядит на милое и волнующее оконце: не мелькнет ли в нем знакомая фигура, не постучит ли тихонько пальцами в раму? И в самом деле, кто-то снова стукнул в стекло и обиженно-обиженно загудел. Это пчела залетела в хату и теперь, не донеся до своего жилища кроху добычи, билась головой о стекло, как бьется в нужде человек. Люба подняла скрипучий шпингалет, отворила оконце настежь; пчела оторвалась от рамы, со звоном вылетела в мир и растворилась в нем, как темная капелька.

Лес за хатой всколыхнулся и подступил ближе ко двору Морозенка. Дом его поднялся из руин после того, как барин, за полной безнадежностью, бросил дело «о выводе». По вечерам Любе кажется, будто лес оживает и приближается к жилью. Недаром говорят, что в купальские ночи деревья ходят, как люди, и даже раскрывают словом-шепотом свои тайны. Тогда тетка Василина днюет и ночует в лесу, прислушивается, чтобы узнать, какой цветок, лист или корень возвращает человеку здоровье. Сколько чудес на свете... И где теперь на этом свете бродит Роман? Как ему косится, что думается? А может быть... может быть, он выйдет нежданно из лесу, по-молодецки перепрыгнет с разгону через плетень и подойдет к тому окошечку, которое и без него стучится ей в сердце... Ох, и чудная же ты, девушка! Ну как он теперь, в косовицу, придет из Таврии? Жди его только с первыми заморозками, а то и с первым снежком.

Мысли кружатся холодные, как осыпающийся иней, а в их неверном вихре все появляется и пропадает Роман... Еще так недавно и уже так давно провожали его в дальнюю дорогу и Мария, и замученный лихорадкой Григорий, и присмиревший Максим. Мать положила в суму батрака буханку ржаного хлеба, кусок взятого в долг сала, две головки чеснока, кусок каменной соли и, утирая слезу, склонилась к сыну.

— Счастливо тебе, сынок,— хотя какое уж в войну счастье! Береги здоровье в чужих краях, нас помни да возвращайся скорей: везде хорошо, а дома лучше.

А изнуренный болезнью Григорий улыбнулся изжелта-красными, словно из ольховой коры вырезанными губами, обхватил руками голову сына, поцеловал, как маленького.

— Жаль, Роман, что не могу с тобой идти. Придется побездельничать дома. Помни: больше всего можно заработать у немцев-колонистов, но зато они и силу твою выколотят, как пучок конопли. У них и бог перед копейкой на колени становится. Ну, как бы там ни было, а без денег домой не возвращайся, мы ведь по уши в долгах.— Григорий окинул глазами новую хату, возле которой понуро стояли и Максим, и Марьян Поляруш, и родня Волошиных, и молодежь.

Роман кивнул отцу, попрощался со всеми, а ей значительно и ласково улыбнулся, вспрыгнул на подводу Щербины, и через миг утренняя пыль закрыла и телегу и его. И жди теперь его, девушка, во сне и наяву, отбивайся от сальных намеков управителя и Пигловского да бегай от Якова Плачинды,

который словно нанялся ходить за тобой. И что только ему надо? Разве не видит, что она и смотреть не хочет на него? Видит. А все липнет, то как чертова смола, то как растопленный воск, все готов для нее сделать, будь ты неладен...

Неспокойная и впечатлительная Люба даже на влюбленного парня смотрела не с улыбкой или снисходительной насмешкой, а с укором и возмущением, словно Яков приносил ей несчастье уже одним тем, что был влюблен. И как это иные девушки могут радоваться, тешиться, даже гордиться, что за ними увиваются разом несколько парней? Неужели в сердцах у них любовь и легкомыслие перемешаны, как зерно и полова?

А лес подошел ко двору еще ближе и словно заговорил с Любой о Романе. И что только не припомнилось ей! И вечерние, с живыми голубыми тенями дорожки, и весенние стыдливые подснежники, и золотые, как хоругви, осенние деревья, и обмерзшие колодцы, возле которых она не раз с ним стояла. Точно боясь, чтобы все это не исчезло, как сон, Люба поспешно накидывает поверх сорочки юбку, заплетает косу и тихонько выходит из хаты, хоть и знает, что иначе, как глупостью, это не назовешь.

Над лесным земледельческим краем, где и пшеничный хлеб пахнет зеленью дубрав, стоит в своей совершенной красе тихая и сияющая ночь. С верб, обступивших двор Морозенка, накрапывает роса и лунное сияние, а за двором легким паром курится озеро — там без устали выводит свою незамысловатую песенку неутомимый коростель. Сколько он в страду скрасил им купальских вечеров! Ну как не помянуть эту птицу добрым словом.

Люба, задумчиво улыбаясь, идет мимо лежащей на траве коровы; от животного исходит крепкий запах молока и спелой земляники. Корова пристально посмотрела на девушку и тяжело вздохнула, а та, почесав ей меж рогов, выходит на дорогу и бредет к озерку — туда, где не раз мечтала о своем еще не разгаданном счастье, не раз поджидала Романа, тянулась к нему и вырывалась испуганно из его объятий.

Справа от озерка уже лежат прибитые росой валки, но копенок еще нигде не видно. Это завтра или послезавтра они станут над водой, как гурьба молодых парней, напоминая людям, что уже и жатва не за горами. Коростель, услыхав шаги, умолк, притаился в аире, а потом снова задергал, словно спеша расклевать непрочную пелену ночи. Поет птица, как и прежде пела, а того не знает, что Романа нет.

У бугорка, к которому тянется из воды густо унизанный ягодами куст калины, девушка испуганно остановилась: на купе травы, раскинувшись, спит под свиткой человек, а рядом лежат коса, наострень и котомка.

«Да это же Марьян Поляруш!» Страх прошел, и сразу же проснулась женская жалость. Может, вот так же под открытым небом ночует и ее Роман.

И уже потому, что вспомнила о Романе, Люба внимательнее приглядывается к лучшему на селе косарю. Какая мощь, красота, ладность во всей его сильной фигуре, в согнутых руках, на которых покоится голова, в чертах удлиненного лица и даже в той скорбинке, что притаилась в углублениях возле прямого носа и в выразительных линиях продолговатых ноздрей, похожих на две дольки чеснока. И только теперь Люба замечает, что в глазных впадинах у Марьяна блестит роса. Это снова пугает девушку, и она едва не протягивает руку к спящему — стереть с его глаз холодные небесные слезы.

Под босой ногой неожиданно треснул хрупкий корешок ольхи. Люба вздрогнула, на цыпочках отошла от Марьяна и снова подумала о своем косаре: хоть бы повезло ему да не загляделась бы на него какая-нибудь... Кто знает, что за чаровницы там, в чужом краю.

А Марьяну снилась Фросина. Она по высокому, сизому от ветра лугу несла ему обед. Проснувшись, он и наяву увидел у озерка женщину, похожую на его жену. Спросонок хотел броситься к ней, но тут же с удивлением узнал Любу. Вот и следы ее босых ног на росистой траве, у его Фросины ступни были попире. Растревоженный воспоминаниями, косарь подымает с земли облепленную травой и лепестками цветов косу, добывает из нее серебряный перезвон и так принимается косить, что в зарослях затихает изумленный коростель: может, и в самом деле уже наступило утро?..

Промокнув до колен в росе, Люба по скользким, студеным тропкам добежала до двора Морозенка, выскочила на затененную дорогу и прижалась испуганно к тыну: у ворот, как темные призраки, стояли человек и лошадь.

— Люба, ты? — удивленно, не веря своим глазам, спросил Яков Плачинда и развел длинными руками. — А мне сердце подсказывало, что увижу тебя. И вот — не обмануло...

Высокий, неотвязный и как будто смущенный, он подошел к девушке; за ним, пощипывая траву, брел жеребец.

Люба упрямо наклонила голову, угрюмая неприязнь

замкнула ей губы и душу. Яков заметил это и тоже нахмурился, взор его затуманился от боли... «Что сказать, какие слова исторгнуть из сердца, если девушка уже заранее готова отбиваться от всех твоих речей? И чем только этот ненавистный Роман вскружил ей голову, какими речами вспахал и засеял ее сердце? Тоже мне, Ромео в отрепьях... Где же это видано, чтобы крестьянская девушка при всех, да еще в сборной, сказала, кого она любит? А эта не постыдилась. Но может быть, она потому только и остерегается другого,что таит в глубине души девичью хитрость?» В груди Якова крохотной искоркой затеплилась надежда, и он смущенно понес девушке свою умоляющую улыбку.

— Люба...

Она только брови нахмурила.

— Слышишь, Люба?..

— Чего вам? — Она равнодушно взглянула на него исподлобья и снова насупилась.

— Я хоть раз хочу по-человечески поговорить с тобой — слышишь? — не на бегу, как прежде, а по-человечески...

— Говорите, если есть время.— Люба равнодушно опустила ресницы, а рукой смахнула несколько былинок с мокрой от росы юбочки. Что кроется за этими пугливыми ресницами, которые трепещут, словно возле них всегда ветерок?

— Ты не знаешь, как я люблю тебя, как мучаюсь без тебя,— горячо, с болью заговорил Яков, дивясь тому, что девушка притихла, не оборвала его сразу же, как бывало.— Я мог бы сказать, что ты загубила мне жизнь, но это не так. А вот не мило мне жить, все словно в тумане. И сам не знаю, что со мной делается.

— Это пройдет, Яков Дорохтеевич, пройдет,— тихо ответила девушка и даже с сочувствием посмотрела на него.— Сбежит, как вешняя вода с лугов.— Она повернула голову к озерку, над которым все еще колыхалось теплое марево, пеленая, будто младенца, кусты лозняка.

— И я так думал.— Яков даже приложил руку к сердцу.— Всю гордость собрал, чтобы тебя из груди вырвать, обеими руками вырывал. К другим было с горя повадился, к одной учительнице пристал, чтобы забыть о тебе. Не помогло. Бывало, стою с учительницей у колодца, а вижу тебя. Не знаю, так ли тебя любит Роман, но знаю,— что теперь, что в четверг, а погибать тебе с ним в нужде. Скажи слово, только одно слово — я завтра же пришлю сватов... На руках тебя всю жизнь буду носить.

Любе вспомнилось, как брал ее на руки Роман, и в сердце сошлись радость и печаль.

— Слышишь, девушка?

— Нельзя, Яков Дорохтеевич, переманивать человека, нельзя, — задумчиво ответила она, глядя куда-то поверх Плачинды.

— Отчего же нельзя?— Яков даже болезненно поморщился.— Ты еще не знаешь, с кем тебя какая судьба ждет.

— Этого, почитай, и никто не знает. А переманивать даже птицу нельзя, а то не станет верности на свете.

— Я не так думаю, Люба...

— И мои господа тоже не так думают, да не переходить же нам в ихнюю веру.— И вдруг девушка, ощутив беспричинную тревогу, смущенно улыбнулась, под губами, причудливо изгибаясь, задрожали ямочки.— Вот послушайте, Яков Дорохтеевич, что мне рассказал Матвий Боцюн... Заметил он раз, что одинокий аист полюбил чужую аистиху. Только ее пара улетит из гнезда, полюбовник уж тут как тут, спускается к своей милой. И отбил-таки, увел из чужого гнезда, и полетели они любиться на новое место. А через несколько дней, когда полюбовник ее прилетел на луг, его большим кольцом окружила вся птичья стая и давай клекотать, отчитывать. Метнулся он туда-сюда, а вокруг, как стража, стоят хмурые чернокрылые товарищи. И притих он, оробел, а те творят над ним свой суд. Стоит посредине одинокий аист и все жмется да жмется от аистиного крика. А когда затихли птичьи речи, когда чернокрылые обступили виновного еще теснее, он поднял голову, тяжело взмахнул крыльями и одиноко поднялся в небо. Взлетел высоко-высоко, а там вдруг вздрогнул всем телом, сложил крылья — и камнем вниз. Так и закончилась аистиная любовь. В тот год ни один чернокрылый не спустился на этот луг, а к убившемуся полюбовнику даже переманенная аистиха не прилетела — то ли с горя, то ли побоялась птичьей хулы... Видите, птицы и те разбираются, как надо беречь верность.

— Это Боцюн тебе сказку рассказал,— с сердцем проговорил Плачинда, думая о своем.

— Навряд ли, Яков Дорохтеевич, не таков Матвий. А не верите — спросите сами, и слова не прибавит. Еще и не то услышите от него.

— Мне бы от тебя услышать доброе слово,— с болью вырвалось у Якова.—Неужто так тянет тебя к этой нужде? Ведь у вас на две семьи будет одна десятина. У аистов и то луг боль-

ше. Ну, пойдешь ты в экономию, а там за год-два и красота облетит, будто ее и не было.

— Уж будь что будет,— вздохнула девушка. Ей и самой подчас думалось и о единственной десятине Романа, и о том, как придется им жить. Что и говорить, достаток не ждал ее.

— А ведь все может быть по-другому. Скажи только слово — я завтра же отделюсь от Терентия, и ты станешь хозяйкой. Не Романова десятинка, а полсотни десятин лягут тебе под ноги. Завтра же станешь хозяйкой...

Девушка подняла пугливые глаза, над которыми дрожали длинные ресницы, и просительно, со вздохом сказала:

— Яков Дорохтеевич, вы очень ученый человек, учитель даже. Вы всякие высокие науки проходили, а мы люди простые, темные, как сама земля. Так разве вы не знаете, что грех губить душу за деньги или за десятины, пусть их будет и больше полусотни? Души не прикупишь, и она, простите меня, не коняга, которого все равно кому продать на ярмарке. Разве не так?

— Все это, девушка, правда,— согласился Яков, собирая морщинки над переносьем.— Но разве мало бывает, что любит человек одного, как свою душу, а потом, глядишь, полюбит другого, и прошлое отойдет, как забытый сон. Так и с тобой может случиться.

— Нет, Яков Дорохтеевич, со мной так никогда не случится, если сам Роман не изменит,— убежденно ответила девушка.— Кто бы чего ни сказал и ни выдумал, я знаю одно: раз человек родится и раз суждено ему любить... А все другое, что бывает, я не назову любовью. Так я думаю, в это верю, такая уж я есть... И очень прошу вас, не говорите больше со мной и не приезжайте ко мне. Пусть я стану для вас забытым сном, о котором вы поминали.

Она пожала ему руку, на миг поднесла ее к своей груди и порхнула ласточкой во двор, вокруг которого сияли обновленные ветви на старых вербах.

II

Бог, когда сотворял землю, забыл о мужике и тяжко изобидел земледельцев. Даже черт, на что уж нечистая сила, и тот умудрился украсть у бога земли, спрятать во рту, а когда она стала разрастаться, выплюнул и нагромоздил

вокруг себя всяких там бугров да гор. А мужику и такого черствого угодья не досталось, за каждый клочок земли он расплачивается деньгами, пóтом и непосильным трудом своим и своих детей, родившихся, не рожденных еще и даже тех, кому не суждено родиться, кого еще в материнской утробе раздавила трудом земля. И все-таки в праздник мужик несет богу свою молитву и свечку, даром что Спаситель не будет уже переделять поля.

Изобидел бог мужика и тогда, когда сотворял день и ночь. Господам что — они и днем летнюю ночь досыпают, а мужик день трудится, как черный вол, а на ночь гонит в поле скотину, да еще добро бы свою. Но и в такой беде мужик норовит объегорить и ночь, и хозяина, и скотину, а самому не поддаться, потому что умен мужик до чертиков.

Так поступает теперь и Давыд Левенец. Днем он пакосился вволю, вечером погнал волов Плачинды на перелог, спутал их, как лошадей, а сам с веревкой подался в лес, где лежат его уже очищенные от коры бревна для хаты — все его трудом нажитое, заработанное у хозяина. В лесу он озабоченно пересчитывает глазами и руками колоды — не обокрал ли его какой-нибудь леший? — потом заарканивает веревкой березу и, поплевав на руки, волочит ее к сгорбленной халупе тетки Василины. Хорошо, что от домика до лесу всего верста с небольшим, хорошо и то, что по ночам выпадают росы: все легче тащить бревно, только страх берет, как бы скотина Плачинды не потравила чужую ниву. Тогда Давыд заработает на своем перевозе, как Берко на перце.

Батрак даже теперь не прочь посмеяться над собой.

В эту ночь бревно кажется отчего-то тяжелее обычного, и Давыд уже с полдороги почувствовал мелкую дрожь под коленками. А ведь это по росе, что же будет на пыльной улице? Он остановился, бросил на спорыш веревку, удивленно присвистнул и — чтоб оно сгорело! — сел на бревно: может же и он по-господски понежиться хоть ночью! Вот, назло Плачинде, и звездами полюбуется, и на месяц наглядится, и перепелку послушает. А она, лукавая, словно знает, что ему спать хочется, так и зовет, так и манит: «Спать подём, спать подём...» Давыд, отгоняя сон, мотает головой и улыбается невидимой птице, шуршащей крыльями в туманной прозелени ржи. До чего же славная птаха перепелка! Так и кажется, что своим «спать подём» она жалеет усталого мужика. И больше всего любит она ржицу,— верно, и в птице есть что-то от мужицкого рода...

Через минуту Давыду кажется, что месяц вдруг раздвоился, а звезды принялись толкаться, порхать, как золотистая мошкара. Вот и любуйся ими, когда и они смеются над тобой! Давыд, потягиваясь, встает, и все в природе сразу становится на свои места, и уже снова только один месяц смотрит, как человек впрягается в ярмо и, пригибаясь, так стремительно волочит колоду, что тонкий конец ее дребезжит.

«Ишь распелась! — изумляется Давыд.— Глядишь, еще ночей восемнадцать потружусь— вся хата уляжется возле лачуги тетки Василины. А вот дубовые подвалины пришлось перевезти — на них не хватило сил. Может, как-нибудь на Михаила-архангела влезу в свою хату. А к тому времени, глядишь, начнут делить и барскую землю: этим весь народ живет. Тогда — чтоб оно сгорело! — и я стану хозяином! И с болотом брошу возиться».

И вдруг его как кипятком ошпаривают слова:

— Давыд, ты что делаешь?

Батрак, сердясь, снимает с себя петлю, выпрямляется, оборачивается к Якову Плачинде (и носят же его черти в этакую пору!) и с невинным видом хохочет.

— Что делаю, спрашиваете? Силу пробую, Яков Дорохтеевич, чтоб оно сгорело!

— Силу пробуешь? На бревне? Ничего не понимаю: или я дурак, или ты дурак.

На затененном и подернутом печалью лице Якова удивление и настороженность.

— А что же тут понимать, Яков Дорохтеевич? — посмеивается Давыд.— На чем у нас в досужую пору простые люди меряют силу? На каменном жернове — подымают его у водяной мельницы или возле ветряка, а не то подваживают вола плечами. А я побился с ребятами об заклад, что притащу бревно из лесу. Конечно, спор — глупое дело, да ведь не нарушать же слово: назад только раки пятятся.

— И это ты из самого леса тащишь такую тяжесть? — ужасается Яков.

— Ясно, не с луга!

— И не боишься надорваться?

— Почему это я должен надорваться из-за одного бревна? Оно не из камня, не из железа,— хитрит Давыд. Не признаваться же, в самом деле, что уж чуть ли не полхаты лежит на пропахшем зельями дворе тетки Василины!

— Выкинул бы ты дурь из своей умной головы, а то надорвешься и на всю жизнь раскорячатся ноги таганом,—

хмуро говорит Яков.— Плюнь сейчас же на это озорство! — И он злобно хлестнул плеткой по бревну.

— Так вот и брошу, как раз! — упрямится Давыд.— Вы еще не знаете меня.

— Давно знаю, какой ты упрямый. Вот скажу Уляне, чтоб хоть попилила тебя.

— Она не станет,— улыбается Давыд.— Она у меня тихая, как травка.

— Хорошо живете с ней? — просветлев, спрашивает Яков.

— Не обижаюсь.

— А на кого же ты оставил нашу скотину?

— Ночлежане приглядывают, — не сморгнув, солгал Давыд.

— Вот и бросай эту дурацкую игрушку да сыпь к ночлежанам.

Яков тронул уздечку, и жеребец унес его в село, а Давыд, усмехаясь при мысли, что надул хозяйского сына, снова — чтоб оно сгорело! — лезет в сырую от росы и пота петлю и, покряхтывая, тащит свою игрушку дальше.

А из хлебов опять отозвалась перепелка: «спать подём, спать подём». Так и Уляна говорит, когда он приходит в теткину халупку. От одного воспоминания об Уляне веселеет и душа и тело. Послал ему бог не жену, а золото: и работать с ней хорошо, и петь, а миловаться и того лучше. Давыд и до сей поры не может нацеловаться, ему все еще не верится, что Уляна совсем, ну совсем его. Вот поставит он хату, перекопает трясину по датскому способу, вырастит из телушки корову, а осенью, может, и из господских угодий перепадет кое-что,— и, глядишь, заживут они не хуже людей. Жаль только, летом ночи коротки — ни тебе выспаться, ни поработать для себя. Хорошо еще, что хоть Уляна немного больше поспит, все-таки в экономии работа только до сумерек.

Когда он, весь в поту, втаскивает бревно во двор, из халупки выходит в одной сорочке Уляна. От ее теплых, родных рук пахнет ржаным хлебом и свежим сеном. Она отирает мужу пот со лба и грустно покачивает головой:

— Ой, Давыд, до каких же пор ты будешь так мучиться?

— Пока к берегу не прибьемся, чтоб оно сгорело! — отвечает он, подтащив колоду к штабелю и снимая с нее веревку.

— Лучше бы нанять волов.

— Нанять — не штука, а чем потом за хату платить?—

Он кладет руку на плечо жены, такое округлое и славное, что так и хочется склониться к нему.

— Послушай меня, Давыд!

— Послушать послушаю, а сделаю по-своему,—смеется он.

— Может, выкрутимся без этого? Видеть не могу, как ты мучаешься с лесом.

— Выкручиваться тоже надо с толком. — Он обнимает жену, садится с ней на завалинку, заглядывает в глаза.— Хороша ты, Уляна, при луне.

— Ну что ты выдумываешь? — смущенно возражает жена, а в уголках ее пухлых губ покоится счастливая улыбка.

— Убей меня бог, хороша. И ноженьки у тебя хороши.— Он касается руками ее ног.— И колени.— Он целует ее в прорезь сорочки и опускает отяжелевшую голову на женины колени: надо же человеку понежиться хоть немного.— Тебе не тяжело?

— Нет. Может, поспишь? — Она вплетает руку в его взмокшие волосы. — Поспи, милый.

— Эх, если бы не плачиндина скотина, чтоб она сгорела!.. Уляна, а ты меня любишь?

— Ой, Давыд, ты как маленький!

Он улыбается.

— Маленький не спрашивал бы про это. Так любишь? Говори как на духу, а то я ревнивый.

— Очень! — с чувством отвечает, улыбаясь, Уляна. Она не перестает удивляться, откуда у ее насмешливого и горячего Давыда такая нежность.— Очень люблю.

— Хм. Даже очень? — удивляется он.— А я тебя, Уляна, не очень.

— Ты, Давыд, ей-богу, пустомеля,— играет глазами Уляна,— вечно выдумаешь что-нибудь.

— Уж какой ни на есть, а тебе понравился.— Он привлекает к себе жену и снова целует ее в прорезь сорочки.— Какая ты красивая! Так и не отходил бы, так и вертелся бы весь день у тебя перед глазами...

— Правда, милый? — У нее снова екнуло сердце. Ну могла ли батрачка мечтать о таком счастье?

— Правда, убей меня бог.

Он хочет еще раз обнять жену, но отяжелевшие руки сползают с ее стана, и Уляна видит на его ладонях большие, как фасолины, мозоли. Она склоняется над мужем, целует его в брови, а он, засыпая, ворчит:

— Чтоб оно сгорело...

Это Давыд закрытыми уже глазами видит, как толкутся золотистой мошкарой звезды, как месяц раздваивается и падает прямо на землю, перед спутанными волами Плачинды.

III

В серебристо-зеленоватых глубинах летней ночи месяц ткет над землей свои легкие, причудливые шелка, они струятся и маревом ниспадают на тусклые очертания холмов и долин. И сам месяц кажется золотым челноком в руках невидимого ткача... Кто же это ему, Якову, говорил, что молодой месяц похож на ткацкий челнок? Он с болью ворочает в душе былые годы, как может, перемешивает их со своей неудачной любовью, и перед его глазами встает тихий образ матери. Это ведь она, прирожденная ткачиха, научила его любить и простое крестьянское полотно, и валовое, и шерсть для ковров, и травы, из которых добывались красители, и скрипучий стан, и стук веретена, и грациозное перемещение тонколучистых берд, и посвист челнока, который в руках у нее не бегал, а летал по основе. Мать его не гналась за богатством, и за это ей попадало от отца, который не раз ворчал и ругался:

— Не умеешь сама жить на свете, так хоть детей не порть! Ты только и годишься на то, чтобы нищенские сумы ткать с разными цветочками!

— Глупый ты, Дорохтей,— ровным голосом отвечала мать.— Вот раскатятся твои чистые и нечистые деньги — я и тебя прокормлю этим полотном. Ступай уж к своей скотине.

И Дорохтей, выплескивая все, что накипело в его темной душе, кричал про лихо, которое сидит у него на шее, и уходил доругиваться с работниками. А мать клала на основу новый узор и тихонько колдовала над ним, напевая о том, как разливалось сине море или как росла ромашка вровень со плетнем. Отец даже песен ее не любил — ведь песни отрывают человека от дела. Так и жили в доме два врага, навек связанные свадебным венцом и брачным ложем, а теперь так живут Дарина и Терентий. Даже смерть младенца, сгоревшего в три дня ранней весной, не сблизила супругов. Неужто и ему, Якову, как пророчит Терентий, суждено погрязнуть в той же мерзости? Для чего же тогда и учиться было? Лучше бы уж сразу зачерпнуть грязи из братней лужи...

И отчего в такой час на сердце налипает всякая погань? Неужели этот лесной цветок по имени Люба расцвел для нищего оборвыша, который за весь век и черного хлеба не наестся?

Образ гордой девушки заслоняет улыбку матери, только вспоминается, что на полузабытой материнской могиле, быть может из ее праха, сама собой стремительно выросла черешня. Так и стоит она, то в белых цветах, то в красных ягодах, то в осенней позолоте, как удивительный узор, не дотканный матерью при жизни.

Яков, перемогая боль, подносит руку к лицу и не знает, слезы или роса у него на щеках. В голову даже приходят мысли о тщете бытия, но он отмахивается от них, как от болотных чертей. Вот и столкнулись в нем любовь и национальная идея. И побеждает чувство, а не разум. В этом, очевидно, и состоит беда нашей интеллигенции. Славянщина побеждает. Недостает англосаксонской методичности, холодности...

С луговой дороги легко вынеслась подвода близнецов Щербин.

— Здравствуйте, Яков Дорохтеевич. На луга ездили?— крикнул Левко, который правил лошадьми красиво и легко.

— На луга. А вы господский лес воровали? — заметив на полке обрывки коры, спросил в свою очередь Яков.

— Брали, Яков Дорохтеевич, был грех,— покаянно покачал головой Левко.

— И снова не попались?

— Бог миловал.

— Ой, берегись, Левко! Больно уж и барин и лесники взъелись на тебя: намозолил ты им глаза.

— Господский глаз и пылинка намозолит, — согласился Левко. — Может, поедем к нам, позавтракаем? Мы вчера вечером наловили славных карасей.

— Ешьте уж сами.

— А вы, Яков Дорохтеевич, загрустили вроде? — приглядывается к Плачинде Левко.— Уж не потрава ли у вас?

— Потрава, Левко.

— Вот злодеи! — чистосердечно возмутился парень.— Да им головы надо оторвать, как щукам!

Яков едва сдержал улыбку.

— Здорово ты других ругаешь. А сам?

— Что вы, Яков Дорохтеевич, сравниваете: то лес, а то потрава! — убежденно возразил Левко.— Лес никто не

пахал, не сеял, не полол. Он людской и божий! Только господа да те, у кого голова босая, думают, что взять какое-нибудь там бревнышко — воровство. А за потраву надо бить ворюгу нещадно!

Левко взмахнул вожжами, и приученные к воровству лошади с места взяли в галоп.

Яков, вздыхая, сворачивает с луга на холм и полевой дорогой подъезжает к своей земле, на которой колышутся еще не пригнувшиеся колосья пшеницы. Чернозем поднял на своей могучей груди зеленое богатство и, кажется, сам заслушался, внимая дремотному шепоту хлебов. Яков тоже прислушивается к шороху нивы и впервые в жизни замечает, что у каждого колоска шейка перехвачена капелькой росы. Вот бы Любе такое ожерелье! И перед ним мелькает Любина шейка, перехваченная алмазным сиянием.

В голову черт знает почему лезут барышни с полузабытого бала, он отгоняет мысли о них и о Любе. Как, однако, жестока любовь! Земля породила ее, но ему и землей не удалось привлечь сердце девушки. А сколько их пошло бы за него, скажи он то, что сказал Любе! Но это уже будет не любовь, а купля, как у брата. Яков запускает руку в пшеницу, стебли ссыпают на пальцы холодок росы, и вот уже колоски скинули свой алмазный убор, кончилась сказка. Так когда-нибудь и его сердце утратит и чистоту и муки любви.

Но это будет еще не скоро.

«Это пройдет, сбежит, как вешняя вода с лугов»,— преследуют его слова девушки. И откуда она их взяла? Может быть, и сама уже любила кого-нибудь? Горничные скоры на любовь... Он рад бы забросать девушку грязью, лишь бы меньше мучиться из-за нее.

Конь, словно чуя, что сегодня ему не дождаться от хозяина ничего путного, незаметно поворачивает в село, и вскоре Яков останавливается у старого кладбища, сквозь буйную зелень которого едва виднеется деревянная церковь. Здесь уже по-своему хозяйствует ненасытный отец Николай, выживший из прихода Викентия Петровича.

После Кровавого воскресенья мужики долго горевали у Степана Васильевича, который рассказал им все, и тогда впервые по-другому, исподлобья, стали поглядывать на хитроглазого царя, презрительно смотревшего с портрета на противоположную стену. С тяжелым сердцем разошлись мужики по домам, а на следующий день пришли к батюшке и попросили его отслужить панихиду по невинно убиенным ходо-

кам к царю. И священник совершил богослужение, за что и поплатился, как за крамолу. А когда он уехал из села, отец Николай в церкви прочитал из «Епархиальных ведомостей», что «священник Викентий из села Медвин по распоряжению епархиального начальства отрешен от места».

Яков спрыгивает с лошади, пускает ее пастись в ров, под липы, а сам через ветхую калитку входит на кладбище. Там, словно в настороженном ожидании, жутковато сплелись кресты, деревья и тени. Вымокший в росе, он подходит к могиле матери. Над неровным, заросшим холмиком, как тополек, высится краснокорая черешня. В ее зеленой листве пробиваются кисточки ягод, на которые солнце положило уже первый загар.

Яков перекрестился не то на крест, не то на узор черешни, склонил голову, собираясь заговорить с матерью, и в этот момент до него донесся страшный крик. Плачинда был не из трусливых, и все же волосы у него на голове зашевелились. Он испуганно обернулся, поднял руку ко лбу и у ограды, доходившей до школы, увидел грузную фигуру отца Николая. Неуклюжий, в широком подряснике, поп, переваливаясь, пятился, натыкался на могилы, дико мотал чугунком головы.

— Отец Николай, что с вами? — Яков поспешил к попу, хотя все еще не мог избавиться от страха.

— А-а-а... Это вы, Яков Дорохтеевич? — смущенно и радостно воскликнул отец Николай, косясь то на Плачинду, то на примятую траву возле ограды.— А я — представьте, какой ужас!— сидел возле гадюки.— И он ухватился обеими руками за полы свитки Якова.

Тот уставился на попа недоумевающими глазами, задавая себе вопрос: уж не рехнулся ли батюшка?

— Возле гадюки?

— Ох, подле гадины... И не видел ее, и не подозревал об этакой мерзости. Гляжу, лежит страшилище около меня, спросонья пасть раскрыло, перекосило ее этак, словно зевать собирается... Я, поверите ли, чуть богу душу не отдал. До чего же отвратительно и страшно... Понимаете, пасть раззявила...— И отец Николай попытался изобразить, как перекосила во сне пасть напугавшая его тварь.

— А зачем же вы, отче, сидели здесь ночью? Лучшего места не нашли? Или любовались природой?

Якову все еще казалось, что с попом творится что-то неладное.

Отец Николай проворно огляделся вокруг, неприязненно покосился на школу и нацелился на Плачинду взлохмаченными, как две гусеницы, рыжими бровями.

— Зачем я сидел? Хе-хе-хе... Это деликатное дело. Да вы уже и так, я вижу, догадываетесь. Что ж, скрывать не стану: у нашего учителя в это смутное время бывают подозрительные гости. Следить, следить за ним надо, как за государственным преступником. Вот и сейчас сидит там гость, а чего ему, спрашивается в задаче, сидеть в школе? Может быть, он брошюрки, а может, и бомбы принес,—еще тише говорит отец Николай.— Вот и должно царево око, хотя и на погосте, хотя и возле гадюки, а должно мучиться.

«Гадюка возле гадюки сидела»,— с отвращением подумал Яков, хотя и сам недолюбливал Левченка, как всех, от кого веяло социализмом.

Пресса и деятели национализма давно уже убедили молодого Плачинду, что социалистический интернационализм убивает ферменты нации, подавляет самобытность особи.

— Что же, это похвально, батюшка,— пробормотал он, пожимая плечами и не зная, что сказать.

Узенькие глаза и лесная груша носа на физиономии попа сразу повеселели.

— Я так и знал, что найду в вашем лице благожелательного союзника. Может, и вы бы, голубчик, последили, кто просиживает у него ночи? — заглядывая в глаза Якову, предложил отец Николай.— Если не выпорхнет пташка до света, вы можете заглянуть и в школу. Я бы и сам наведался, да учитель духу моего не терпит. Как-то заметил, что иду к нему, и не успел я взойти на порог, как хлопнет дверью,— у меня просто потемнело в глазах. Богохульник он! Антихрист! Так побудете со мной?

— Я, отче, пока еще шпионским ремеслом не занимаюсь!— Яков отвесил учтивый поклон и быстро пошел с кладбища.

«Ах ты чертова сына выродок!» — выругался мысленно отец Николай. Синеватая, недобрая кровь залила лицо попа от подбородка до висков, а в голове всплыли обрывки фраз из его привычной писанины. Он обнаружил в них повторяющиеся обороты и в заботах о слоге стал придумывать другие выражения, от которых и Плачинда, как гадюка, свернется в кольцо. Недаром дружит с Варавой, а теперь вот еще и с Левченком связался. Разве не видно, что оба они у черта на одной веревочке? А вдруг Плачинда следил нынче за ним, за отцом Николаем? Отец Николай сразу, безоговорочно, пове-

рил в собственную догадку, даже удивился, как это он прежде проморгал Плачинду. Догадка подбодрила попа, и он уже с удовольствием залюбовался неутомимым месяцем, который все ткал и ткал над сонным селом свою тонкую паутину.

Когда Яков подъехал к дому, небо уже меняло ночной наряд. Он напоил коня, завел в стойло, бросил в ясли охапку красного клевера и тихонько отворил сенную дверь; боясь разбудить невестку, которая теперь, в тоске, спала так, словно бы и не спала. Яков на цыпочках вошел в залитую лунным светом комнату и остановился на пороге.

Перед ним, положив голову и руки на пустую люльку, спала Дарина. Расплетенная коса ее перевесилась через спинку желтой прутяной зыбки, только по волосам было видно, что колыбель покачивается от неспокойного, прерывистого дыхания женщины. Какая мука, какие думы и слезы тяготили мать, когда она украдкой припадала к тому месту, где еще так недавно лежал и агукал ее ребенок? Ведь ничем же, ничем не утешит опустелая зыбка материнское сердце, а вот припадает она к ней, и горюет, и прислушивается сквозь сон: не позовет ли ее детским голоском скрипучее дерево, поглотившее последний вздох сыночка?

Яков долго с жалостью смотрел на невестку, входил в ее мир, и его собственная беда казалась ему полбеды — у него еще не все потеряно... Теперь Яков другими глазами видел согнутую фигуру Дарины, ее спину, руки, голову, удивительную косу, казалось сплетенную не то из лунного сияния, не то из цветов подсолнуха. Ему захотелось поцеловать эти руки, на которых неловко лежала упавшая в безнадежности голова, поблагодарить за что-то женщину, ставшую для него только теперь, в этом смутном предрассветном мареве, дорогой и близкой. А чертов Терентий еще смеет бить и грызть ее! Стервец, дикарь, вот он кто!

Яков, боясь дышать, направился к своей комнате, осторожно нажал пальцами на щеколду, но тут зыбка заскрипела и над ней поднялась голова женщины.

— Это ты, Яков?

Дарина вскочила, по-девичьи, движением головы, закинула на спину сияние расплетенной косы и растерянно посмотрела на деверя большими-большими глазами, из которых еще не ушел сон.

— Спи, спи, Дарина! — успокоил он движением руки невестку, которая отошла от колыбели и отвернулась, чтобы незаметным движением поправить сорочку и юбку.— Спи!

— Скажешь тоже: «Спи!» Уже и ночь кончается... Где же ты бродил до сих пор?

Дарина проворно надела очипок,— не пристало замужней женщине ходить простоволосой.

— Да уж где пришлось.

Яков, не удержавшись, все-таки поцеловал ее, правда, не руку, а в щеку.

— Да что с тобой?

Молодая женщина даже глазами заморгала и отерла ладонью поцелованное место.

— Ничего, ничего, Дарина. Я вот тут увидал...— он взялся за веревки, на которых висела зыбка,— и так мне стало жаль тебя...

— Хоть одна живая душа пожалела... — Дарина вздохнула, провела пальцами по глазам и улыбнулась сквозь не видимые еще слезы.— Вот я и размякла перед тобой, как воск. Одно слово сказал — и размякла... Может, хоть ты с женой не таков будешь, как... — она не договорила.

Яков, сжимая шершавые веки, внимательно, с грустным сочувствием, глядел на нее.

— По тебе вижу, что жену надо жалеть.

— Ох, надо! — Дарина с болью посмотрела на люльку, где уже разглаживался след ее рук, поправила дорожку, которой была покрыта лавка, и повернула к Якову миловидное, круглое, как подсолнух, лицо. —Ведь что наше житье женское? С одного боку — люлька для детей, с другого — их же могилка, а посредине — вековечный труд.

— Как ты тяжко и мудро заговорила, невестушка! — Пораженный Яков смотрел на Дарину, мысленно дорисовывая все не договоренное ею о женской судьбе.

— Как могла... Вы ведь всегда думаете, что мы глупее вас. Затолкаете в пятнадцать лет замуж, в шестнадцать наградите ребенком — и давай показывать свой ум затрещинами да матюгами. От такого житья и умница станет дурочкой... Я тебе поесть соберу.

— Не хочется, Дарина.

— Ты ведь не ужинал.

— Пустое.

— Ох, приворожила тебя какая-нибудь... —Дарина заглянула ему в глаза.

Яков невесело усмехнулся.

— А что, видно?

— Еще бы! Любовь не утаишь. Хоть славная девушка?

— Славная, да не моя.

— Отчего же? За тебя любая пойдет.

— А эта не хочет.

— Тогда, верно, сирота.

— Почему так думаешь?— еще больше изумился Яков.

— Потому, что будь у нее родители — кнутом заставили бы выйти не за тебя, так за богатство твое, за твои десятины... И очень тоскуешь? — Дарина доверчиво, с сочувствием подошла к деверю, и ее грубоватая, подточенная горем краса и крепкая, стройная фигура снова восхитили его.

— Тоской девичье сердце не приворожишь.— Яков безнадежно махнул рукой.— А где же Терентий?

— Кто знает, ангелы его носят или черти,— сразу нахмурилась Дарина.

Яков насторожился:

— Снова случилось что?

— Ездил сегодня к игуменье, узнавал, сколько пудов и по какой цене купит монастырь небеленого воска. Ну, это святое дело. А вечером не то цыган, не то валах привел лошадей. Терентий сразу запер их в конюшне, пошептался с этим конокрадом или бродягой, спровадил его куда-то огородами, а мне сказал, что поедет на Медоборзские[1] горы, к пасечникам, покупать загодя воск. И умчался на чужих лошадях.

Яков нахмурился и рассерженно бросил в сторону:

— Дождется еще мой родимый братец, отобьют печенки, как конокраду!

— Хоть бы ты, Яков, путем, без грызни, поговорил с ним. Ведь я что ни скажу, выходит, и слова мои глупые, и я с ними. Может, отцу Николаю шепнуть — пусть пострашает Терентия наказанием на том и на этом свете.

— Этот, пожалуй, пострашает! — криво усмехнулся Яков.— Оба одного поля ягоды.

— И что ты только говоришь? — всплеснула руками Дарина.— Как же ты равняешь батюшку с Терентием?

Яков рассказал, как встретился с попом на кладбище. Дарина вздохнула:

---

[1] Горный кряж на Подолье, идущий через Гусятин, Иванковцы, Ланцкорун, Белую, Гуменцы. В народе этот край зовут пчелиным. *(Прим. автора.)*

— Такой славный учитель, а у нас по пятам за ним ходят...

— Какой там славный! — презрительно махнул рукой Яков. Он все не мог простить Степану Васильевичу, что тот в споре назвал его недозрелым сердцем, которое мечется между гетманской булавой, хуторскими идеалами и мелким культурничеством.— Только и славы, что баламутит людей.

— Э, не говори! За Степана Васильевича все село стоит. Все село.

— А он того и гляди подведет это самое село под казачью нагайку. С бунтовщиками снюхался, с врагами разными.

— Как плохо, Яков, что даже между вами, учеными людьми, нет согласия! А ведь вы детей учите,— поморщилась Дарина.— Вот как прикину своим бабьим умом, больно часто люди выставляют друг дружку врагами. И японцы у нас враги, и китайцы, и англичане, и евреи, и еще какие-то... не знаю, как их и назвать. А в селе что делается? Стадницкий — враг, Терентий — тоже, и Варава за что-то в тюрьме сидел, и деда Дуная, и даже отца Викентия записали во враги. А теперь вот добираются до учителя. Да еще хуже того: поросенок в чужой огород забежит — и соседи становятся лютыми врагами. За яйцо тетка тетке глаза выцарапает, и вот уж враги по гроб. На что же вам-то, ученым людям, эта вражда? Неужели и вы завидущие, как поповские глаза? Не хотите пособить себе и людям?

Яков поражался все более. Вон какие мысли забредают в эту, казалось бы замороченную, голову... Он любовался невесткой, восхищался ее глазами, из которых грусть проливалась и в ее душу и вовне, в потускневший мир. Но на облик невестки легла тень Любы. Чтобы отогнать этот образ, Яков заговорил:

— Немалую ты мне задала задачу, столько напутала всего, что и самый ученый человек не распутает.

— Может, и так,— согласилась невестка, плеснув грустью из-под ресниц. — Только до каких же пор грызться людям? Грызня — не хлеб, без нее можно и обойтись.

— Я и не думал над этим,— чистосердечно признался Яков.— Ну, пойду отдыхать.

— Так-то лучше,— не то с насмешкой, не то с укором сказала Дарина, и он неясно ощутил ее превосходство.

«Странная женщина! И откуда у ней такие мысли? Ведь никаких книг не читает, кроме евангелия, и то лишь, когда попросит отец».

Притворив за собой дверь, Яков окинул взглядом книж-

ный шкаф, некоторое время всматривался в полку и наконец с горя вынул переплетенную в корки от молитвенника книгу Маркса, за которую просто из любопытства брался уже несколько раз, не в силах раскусить ее. А пора бы хоть что-нибудь знать оттуда, хотя бы потому, что на это пошла мода. Говорят, Маркс вдохнул великую веру в племя социалистов. Это признает и Варава, твердо стоящий на том, что не интернационализм, но лишь могучее единение духа земли с духом нации возродит Украину и что вообще нация без веры, национальной идеи, организованности будет плодить, с одной стороны, идеалистов-литераторов, а с другой — платных агентов и шпионов, для господствующих слоев чужих наций. Если это не игра словами, то как это страшно!

Яков лег на кровать, и перед ним снова встал двор Морозенка и Люба, озаренная месяцем...

Что летнее утро возвещают птицы, это и отец Николай знал. Но которые из них просыпаются раньше, а которые позже и как они живут или щебечут, этого батюшке, очевидно, не суждено было постигнуть и до конца дней. Да и незачем ему заботиться об этом — сколько есть дел поважнее! Не все ли равно, кто раньше запоет, чижик-пыжик или горихвостка?

По голосу отец Николай мог распознать только соловья, петуха, ворону и сороку, а есть больше всего любил гусятину да индюшатину, и то мяконькую-мяконькую, чуть пальцем падавишь — сразу отзовется нежным попискиванием сладенький жирок. Слышал еще батюшка, что болотная курочка— камышник — умеет передразнивать других птиц, читал, что из соловьиных язычков выходит божественное, королевское блюдо. На том и заканчивались его познания о певчих птицах. Но в это утро он встретился на погосте и с гадами и с птицами. Даже заметил, что змеи спят с разинутой пастью, а какие-то пташки вывели птенцов прямо на запавшей могиле,— верно, там был похоронен богоугодный человек.

Не сегодня-завтра надо обходить с молитвой поля, вот он и скажет об этом в проповеди мужикам: пусть знают, чертовы неучи и бунтовщики, что на грешной могиле змеи гнездятся, а на праведной божьи голуби выводят птенцов. Правда, он видел на могиле вовсе не голубей, а какую-то мелюзгу, но как хорошо будет сказать слово истины о сизокрылых

пташках — ведь сам святой дух носится над грешной землей голубем...

Пока отец Николай размышлял над своей будущей проповедью и писулькой, которую он адресует исправнику, совсем рассвело, за церковной оградой уже молились на восход заспанные подсолнухи. Ишь какое богоугодное растение, еще и ресницы не разомкнуло, а уже молится на солнце! Не лгут, видно, разные писаки, что в природе можно найти кое-что интересное. И хотя отец Николай вымок по пояс в росе и до сих пор морщился от страха и отвращения при воспоминании о гадюке, но благодушно-нетерпеливое настроение не покидало его колышущегося от жира естества. «Как долго ни тянется ночь, миленький Степан Васильевич, а к утру бутон должен раскрыться! Раскроются и двери школы! Тогда посмотрим, какие посланцы посещали вас года от рождества Христова тысяча девятьсот пятого. Хорошо, что так посчастливилось сегодня! Как тот ученый писал?.. «В жизни редко представляется счастливый случай, поэтому мудрец никогда не упустит его».

Отец Николай собрал на лбу запотевшие жирные складки, вспоминая, у кого он вычитал эту житейскую мудрость, но тут отворилась дверь школы, и на улицу вышел учитель со своим гостем. По телу попа пробежал заячий холодок.

«Господи, хоть бы они не пошли к пруду... Смилуйся, господи!» — молил он всем существом.

Милосердный бог, верно, услышал молитву своего смиренного слуги: учитель и незнакомец не торопясь пошли вдоль церковной ограды и, беседуя, приближались к удачно выбранной попом засаде.

«О чем же они разговаривают? Господи, хоть бы услыхать что-нибудь, чтобы можно было кое-как связать концы...»

До господа, очевидно, дошла и эта молитва батюшки, который, не дыша, прирос ухом и щекой к церковной ограде. Но что он слышит?! Что он только слышит?! Нет, этого не может быть! Мир перевернулся вверх дном, или он, отец Николай, превратился под старость в дурака набитого? Неужели свой своего не познаша?! Как же теперь похитрее повернуть оглобли? Ведь этак и куры в сор загребут!

— На мое счастье, в село приехал отец Николай,— неторопливо рассказывал учитель незнакомцу, который, верно, тоже принадлежал к людям честным и достойным, а не шаромыжникам, как сперва показалось.

— Слышал, слышал о нем,— отвечал гость.

А учитель продолжал:

— Отец Николай — очень энергичный и разумный человек, хотя не всякий сразу в нем разберется. А проповеди говорит, как златоуст. Не то что у баб, у черствых мужиков выступают на глазах слезы доброты и раскаяния. А какой он любящий отец, как печется о своих дочерях! Не всякая мать так заботится о приданом, как наш батюшка.

— Похвально, похвально, — согласился незнакомец, отворачиваясь зачем-то в сторону.

Отец Николай чуть не крякнул в своей засаде от удовольствия и удивления. Ну кто мог предположить, что учитель такой благородный человек? Сегодня, сегодня же он пойдет с ним на мировую и напьется до положения риз! Вот и разберись в человеческой натуре! В глаза учитель едок, как толченый перец, почтения к сану и на щербатый грош не выкажет, а зато каков за глаза! Теперь его надо так приголубить, чтобы непременно окрутился с одной из дочек. Лучше женить на старшей, а то она уже перезрела. А может, Степанида выскочит за этого неизвестного — он, верно, тоже из ученых людей? Тогда Левченко пусть берет среднюю. Ну, а потом, глядишь, и младшая вылетит из гнездышка... И как он опростоволосился с этим достойным человеком?

Когда безумный и радостный поток мыслей донес отца Николая до самой свадьбы, когда он увидел уже своих дочерей под венцом и лошадей в лентах, учитель как раз поравнялся с ним, посмотрел на ограду, подмигнул незнакомцу и стукнул изо всей силы по доске, к которой приложил голову батюшка. От страха и неожиданности поп присел до самой земли, и тут его как обухом ударил по голове голос Степана Васильевича:

— Как самочувствие, отец Николай? Живы-здоровы? Не замерзли?.. Я хотел было принести вам ночью одеяло, да постеснялся! — Он засмеялся, а незнакомец зажал рот ладонью, но не удержался и тоже захохотал.

Сладкие надежды разлетелись вдребезги, разлетелся весь так славно разубранный свадебный поезд, и к чертям унеслись венцы с округлых голов его чад.

— Что же вы молчите, отче? Может, думаете, что мы вас не видим? — безжалостно добавил учитель. — Или у вас от холода язык отнялся? Вставайте, не стыдитесь — тут все свои. Честное слово, свои!

И поп встал, бледный, с перекошенным лицом, жалкий в своем падении и гневе. Он хотел остановить взор на незна-

комце, но испуганные глаза разбегались, они утратили всю свою прежнюю цепкость, ничего не запоминали, хоть убей. И все же через минуту отец Николай криво улыбнулся.

— Какая благодать летом на кладбище, какая благодать! Все живет, растет и бога славит. Люблю бывать ночами в тиши крестов и усопших...

— И присматривать за теми, кто живет поблизости,— снова безжалостно, словно иголкой, уколол его учитель и кивнул головой на школу.— Что ж, пошли,— обратился он к спутнику.— Я, батюшка, из учтивости познакомил бы вас с этим достойным человеком, но пусть неизвестность помучит вашу душу. Может, еще ночку позябнете на кладбищенской росе.

— Не испытывайте судьбу, Степан Васильевич.— Поп изменился в лице, но все еще старался наложить на него заплатки благочестия.— Не гневайтесь, ибо в гневе человек теряет достоинство, и бога, и счастье.

— Великий Шекспир, отче, писал, что небеса сокрыли перед всеми живущими книгу их судеб. Сокрыта она и от вас, хоть вы и заглядываете во все уголки,— проговорил учитель, изумляясь быстроте, с какой отец Николай пришел в себя и принял благочестивый вид.

— И вы, Степан Васильевич, в самом деле думаете, что я следил за вами? Побойтесь бога! — Батюшка поднял к небу глаза и правую руку, сложенную щепотью;. неподдельное возмущение сквозило во всех складках его физиономии.

Это было уже чересчур.

— А что же вы здесь делали ночью?

— Советовался со своей совестью в церкви и на кладбище.— В заплывших глазах отца Николая непроницаемая святость. — Здесь, в правом притворе, — он махнул рукой на церковку,— святитель причащает апостолов, одетых в запорожское платье. Понимаете, до какого святотатства дожил отец Викентий? Есть и другие гайдамацкие иконы.

— Почему же они, отче, гайдамацкие? Это, говорят, дар от самого Богуна.

— А Богун, по-вашему, не бунтовщик? Не гайдамак? Ведь это он не захотел брать шубу с царского плеча. Подумать только — царь ему шубу дарует, а он насмехается над самодержцем!

— Что же вы думаете делать с этими иконами?

— Снять, чтобы не мутили народ.

— Иезуит вы, отче, иезуит и невежда!

Учитель с незнакомцем повернулись и пошли прочь, а поп тупо стоял между могилами и сыпал запоздалые громы и проклятия на крамольников.

Его ничтожную душонку противно стегал публичный позор.

«Ну, дорогой Степан Васильевич, посмотрим еще, кто посмеется последним. Посмотрим. У бога все впереди...»

IV

Порода так и звенела в лошадях. Недаром вертлявый, со скрипкой за плечами цыган бесом увивался вокруг норовистых жеребцов, хлопал рукой то одного, то другого и, ворочая горячими белками, так и выпевал и словами и всем телом, проглядывавшим повсюду сквозь пестрые лохмотья:

— Хозяин сладкий, благодетель медовый! Ты только послушай, и погляди, и полюбуйся! Разве это лошади?! Это музыка, зашитая богом в шкуру! Проведи по ним смычком, и они заиграют, как первейшие скрипки.

— Как бы мне эти скрипки бубнами не заиграли,— Терентий почесал за ухом, с равнодушным видом поглядывая на чистокровных жеребцов, которые играли глазами и копытами.— Неизвестно еще, откуда и какая это музыка.

— Ты боишься, хозяин золотой? Не бойся, сладкий, не бойся, медовый! Они из-за Прута приведены!

Терентий подозрительно посмотрел на продавца.

— Уж прямо из-за Прута!

— Побей меня святой Георгий со своего белого коня, а Илья-пророк — с колесницы! Говорят, их ночью вывели из конюшни самого турецкого султана!

— Зачем же так издалека? — расхохотался Плачинда. Ему нравился этот немилосердный враль, у которого за вертлявыми плечами тихо позванивали струны скрипки.

— Зачем издалека? — трепетал натянутый, как смычок, цыган.— Потому что добрых коней, сладкий мой хозяин, близко не крадут.

— Что правда то правда, — согласился Терентий, кое-что смысливший в воровском промысле.— Только из-за этих красавцев угодишь, пожалуй, как жаба в перемет,— ни взад, ни вперед.

Цыган сразу же поспешил успокоить хозяина, гибко изогнулся перед ним, а на спине запрыгала и зазвучала скрипка.

— Хозяин-душенька, голова у тебя, как маковка, до самого венчика умом набита. Ты посуди: какой же дурак, богатый или бедный, станет из-за покражи переходить Прут? Это же не свиной брод, а граница!

— Еще кто знает, откуда они. А ты тоже из-за Прута?

— А как же, сладкий мой! Разве здесь есть такие цыгане, как там? — убеждал тот, а горячие, словно в синьке выполосканные, белки так и сверкали ложью.— Разве здешние цыгане выхватят такое счастье на четырех ногах? Они только и пригодны на то, чтоб у старухи слепую курицу выкрасть!

— Может, и так, может, наши цыгане вашим и в подметки не годятся.

Терентий заглянул жеребцу в зубы и, чтобы совсем сбить цену, незаметным движением, по-конокрадски, забил в ноздрю коренника щепотку тертого табака.

— Хозяин сладкий, мои кони, ей-богу, не нюхают табаку!

Цыган не обиделся и рассмеялся всем своим лукавым узким лицом, к которому, как две ниточки, пристали тонкие усики.

— Верно, не нюхают? — усмехнулся и Терентий.— Чудные дела творятся у вас за Прутом! Ну, скинь еще пятерку, и будем сватами.

Цыган искренне опечалился.

— Не могу, никак не могу, сладкий мой! И без того на душе горько: таких лошадей я и у бога в раю, перед золотым престолом, вряд ли увижу. Была бы жена — и жены не пожалел бы за них.

— Умеешь ты зубы заговаривать, да гляди, как бы после колики не схватили...

Терентий еще весной зарекся иметь дело с краденым, но эти лошади соблазнили его и породой и низкой ценой. Он, как и всегда, с жалостью отсчитал деньги, все серебряными полтинниками, потом завел покупку в конюшню, а сам в раздумье остановился посреди двора. Когда фигура конокрада со скрипочкой за плечами замелькала уже на огороде, к сердцу Терентия подкатила холодная волна страха. А что, если на этот раз фортуна изменит ему? Найдут у него какие-нибудь пролазы покупку — и не оберешься разговоров да хло-

пот, хоть он и купил лошадей за свои деньги. Один братец чего стоит! И так уж чуть ли не ежедневно заводит речь о разделе. Это ведь половину земли ему отдай! Половину! Даже подумать страшно. И никак не избавишься от него; учительствует в чужом селе, а живет здесь, и нет на него чумы! Еще и в каждую щель заглядывает, чтоб ему ослепнуть! Может наткнуться и на этих лошадей...

Вот так и начинаешь мучиться невесть ради чего! Терентий побродил по двору, обдумывая, куда лучше сбыть покупку, посмотрел, как над селом колыхалась вечерняя малиновая пороша, вошел в хату, что-то буркнул Дарине, которая все кисла после смерти ребенка, и поехал не на Медоборзский кряж, а к Халимону Буцику — одному знакомому, полубарышнику-полуконокраду. Когда Буцику везло, он становился барышником, а как разойдутся деньги, брался за конокрадство.

Выехав за село в поле, Терентий неподалеку от распутья услышал звуки скрипки. Нагнувшись, он всмотрелся и на фоне высоких хлебов увидел темную фигуру цыгана, всучившего ему лошадей. «Ну, не чертов нехристь?! Избавился от забот и пиликает на радостях до поздней ночи, так весь ходуном и ходит. А ты тут ломай голову да дрожи от страха...» Терентий подъехал к цыгану, перед которым на разостланном платке возле шкалика монополькн лежали хлеб, сало и луковица, прислушался к музыке.

«Ишь как выводит!» Терентий заметил, что шейка шкалика отбита неровно и по горлышку бежит кривая трещина.

— Что, весело стало? — насмешливо спросил он музыканта.

Цыган, водя смычком, презрительно посмотрел на Плачинду, перевел печальный взгляд на лошадей и отвернулся. То «сладкий» да «медовый» пел, а теперь, выцыганив денежки, воротит свой паскудный нос. Ну, не чертов выродок? Терентия разобрала злость, и он, еще немного послушав музыку, извлекаемую из инструмента темными цыганскими руками, свернул налево. Цыган, поднявшись, зорко следил за всадником...

Минуя людные места, Терентий ехал полевыми дорогами, затерявшимися меж тихих хлебов, проезжал мимо кудрявых груш, одиноко грустящих в полях, спускался в буераки, укрывшиеся на ночь мягкой пеленой тумана.

Только к рассвету он въехал в маленькое село, охвачен-

ное с тыла подковой леса. Здесь на крайней улице, в запущенной, полной блох лачужке, и жил здоровенный, как колода, Халимон Буцик. Не раз и не два били его смертным боем, но он был живуч, словно хорек, и вскоре после избиения его круглая, как у бычка, голова снова мелькала среди коней и конокрадов, и снова его изувеченный глаз, до половины затянутый кровавыми прожилками, мастерски выбирал чистую породу и косился на то, что стоило украсть.

Терентий, приглядываясь к улице и к неясным очертаниям строений, над которыми серебряными полтинниками сияли звезды, подъехал к раскрытой хате Халимона, остановился у полуразваленных ворот, собрался уже соскочить с коня, и тут его оглушил трепетный от радостного волнения голос:

— Иван, ей-богу, господская пропажа сама явилась! Я же говорил тебе, где надо засаду держать...

И на Терентия, как две страшные тени, набросились двое крестьян.

— Вы что? — вырвалось у растерянного Плачинды.— Вы что?

— А вот мы покажем, что! Сейчас, песий сын, узнаешь!— шипел раскаленный от злобы голос.

В воздухе свистнула дубинка, и Терентия так огрели по спине, что у него нутро квакнуло, а в ушах тонко запела цыганская скрипка, чтоб этому скрипачу вместе с ней провалиться!

«Ну, теперь пан или пропал! Нужны мне были эти чертовы лошади!.. Господи, помоги! И больше никогда, никогда...»

Терентий со страху бьет коней и плетью и ногами. От боли, от обиды они взвились на дыбы, прянули в сторону, едва не сбросив седока.

«Разве можно так бить чистопородных?..— испуганно подумал Терентий.— Господи, помоги!» — молил он, выправляя лошадей поводьями.

Встревоженные голоса, казалось, громами гремели вокруг, заполняя всю окрестность. Терентий уже вылетел в поле, но кто-то спереди бросился между лошадьми и повис черным клубком на поводьях, под храпящими мордами.

— Пусти, стерва! — взмолился, хрипя, Плачинда и что есть силы двинул незнакомца сапогом в грудь. У того под разодранным воротом растеклось темное пятно, и Терентию стало страшно.— Пусти, убью!

Незнакомец, передернув обессиленными плечами, со стоном свалился под копыта, на пыльную дорогу. А Терентий различил среди настигающих его мужицких голосов низкий бас Халимона Буцика:

— Не уйдет он из наших рук! Дайте мне только вывести Валета — королем стану!

— Хоть тузом становись, только догони конокрада! Только догони! — молил кто-то Халимона.

Господи, это уже он, Терентий, конокрад! Вот сатанинское наваждение! В Плачинде нарастала глухая обида. «Свои же собственные деньги платил! Из своего кошелька отсчитывал!» И он, пригибаясь, так гнал лошадей навстречу заре, что озимь по обе стороны раскачивалась, как от ветра.

Уже перед самым восходом солнца он добрался до Синявы, завел лошадей в глубокий овраг, крепко привязал их к дереву, а сам, злой, как бес, пешком отправился в село, угрюмо размышляя: что же будет с его добром? Нападут мужики на след или, бог даст, обойдется? Ну и ночка была! До сих пор левая рука не подымается без стона. Еще раза два так съездят по спине — и душа от тела отлетит... А может, послать за лошадьми Давыда, пока эти недотепы к следам принюхиваются? Нет, ему только скажи — он и начнет допытываться, как в судный день. Нету настоящего помощника в доме!

Терентий раздавил на щеке комара и, только глядя, как останки насекомого купаются в поту на пальце, сообразил, что это у него с лица льет. «Вот как страх выжимает из человека силу. Ты дрожи, словно заячий хвост, а кто-то пропивает деньги да играет на скрипочке. Показал бы я тебе сейчас и скрипочку и бубен!»

Весь день не выходила из головы Терентия эта цыганская скрипка. Она раздражала его, словно августовская муха, и она же во сне играла ему свадебную, когда он после обеда прикорнул в холодке.

Поздно вечером, когда уснули и домашние и работники, Плачинда тайком, чтоб никто не услыхал, выпустил из загона на улицу плохонькую телушку, а сам пошел в Синяву. Боясь напороться возле коней на засаду, он решил сделать вид, будто ищет телушку в лесу. А что ж! Идет мужик по лесу и кличет свою пропажу: «Мань-Мань-Мань...» А потом вместо коровы случайно натыкается на лошадей.

Не доходя до оврага, он заметил в чаще неподалеку от

смолокурни золотой кустик огня. Не обрадовал его этот огонек: «Жулики там греются или, может, мужики, которые гнались за мною?»

Сплюнув в сердцах, он собрался уже повернуть домой, но в голове мысли затеяли торг. Домой вернуться не штука, только как же с лошадьми? Так им и пропадать?.. А если там с ними беда какая? Или стоят себе, бедненькие, голодные, ненапоенные? Кто ж их пожалеет, если он к ним не подойдет?.. И Терентий, как завороженный, осторожно крался к огоньку. Треснет сухая веточка — и сердце екнет, зашелестит роса на листе — и Терентий срастается с деревом, долго выдыхая страх,— и откуда его столько в теле?! И вдруг до него долетел спокойный голос медвинского учителя. Левченко стоял перед людьми, обступившими костер живым частоколом.

«Крамольники!»— догадался Плачинда. Ну разве не повезло ему?! Теперь не страшно и на засаду наскочить — отговорится, выкрутится перед мужиками и перед приставом, который давно следит за учителем. Еще, глядишь, получит награду. Э-ге-ге, да тут среди чужих и Лесь Якубенко, и Олександр Палийчук... А это уж не Марьян ли? Ей-богу, он! Вот и жди после этого добра на свете!

— Сейчас на это одной экономией идти нельзя,— говорил Левченко, — надо сговориться со всеми окрестными селами, чтобы люди помогали людям, а не вырывали друг у друга из рук горькую копейку... Чтобы согнуть помещиков, нужна сила, чтобы поставить их на колени, нужно единение.

«Как славно говорит, будто на скрипке играет, — мысленно похвалил учителя Терентий.— И в самом деле, надо поставить чертовых бар на колени, чтобы мужики стали барами. Ну, Степан Васильевич, теперь твоя и твоих при́спешников судьба у меня в горсти: найду лошадей или не найду — промолчу о вас, а, спаси боже, попадусь с ними — пойдете в тюрьму кормить казенных клопов: каждый спасается по-своему».

Терентия больше уже не интересовало, что творится у костра. Пусть себе разглагольствуют про господ да арендаторов, пусть и стачку затевают, — может, тогда помещики дешевле станут продавать землю настоящим хозяевам. Он отошел подальше от костра и вскоре тихонько спустился в овраг. Должно быть заслышав шаги, лошади издалека приветствовали его ржанием.

«Какие чуткие! Верно, пропадают, бедненькие, от жажды, и некому пожалеть несчастную скотину». Терентий, прислушиваясь к каждому шороху, все не решался подойти к лошадям. А что, если рядом засели мужики? И в самом деле, впереди началась возня. Кони снова заржали, кто-то по-конокрадски присвистнул, затрещали ветки, затопали копыта.

«Крадут!» Догадка ударила Терентия киянкой по голове, и он, забывая осторожность, бросился туда, где только что стояли лошади. Под деревом что-то блеснуло. Терентий нагнулся, поднял с земли надтреснутый с отбитой шейкой шкалик и, поняв все, яростно швырнул его вслед невидимому конокраду.

«Вот и пропала музыка, зашитая чертом в шкуру...»

V

Стало известно, что не только Медвин, но и окрестные села двух уездов снова готовятся к забастовке. Весенняя стачка мало что дала крестьянам. Перепуганные помещики и арендаторы сперва набавили цену, а когда зерно легло в грунт, отменили надбавку. Люди попробовали было проучить господ, но те сразу же вызвали из Балты оренбургских казаков, и казачьи нагайки разорвали еще непрочные нити крестьянского единения. А отдельные вспышки были легко подавлены местной полицией. Казаки, стражники да двадцать первая статья «Положения», казалось, на некоторое время пригасили пламя бунта, но так только казалось. Бунтарский дух зажигал новые села и новые души, подымали головы даже те, кто всю жизнь смотрел только вниз, в землю.

Труднее всего было объединить людей, чтобы разом подорвать помещичью силу. Села еще не привыкли к этому: с незапамятных времен их учили не дружить, а враждовать, выходить на кровавые побоища или досаждать соседям. И теперь Степану Васильевичу пришлось истоптать немало незнакомых тропок и дорог, встречаясь в ночной тиши с новыми друзьями. В дубравах, и над Бугом, и на островах сходился усталый, изнуренный люд. Казалось, он выходил не из тумана, а из недр вековечного горя, туманом окутавшего землю; казалось, из грудей вырывались не слова, а сгустки запекшейся крови, казалось, в глазах сверкали сама беда и гнев.

Кто ни приходил, приносил с собой нужду, и чуть ли не каждый желал бороться с ней по-своему. Одному хотелось, чтобы у них в экономии не работали сезонники из других сел, другой требовал не менее семидесяти пяти копеек поденно, третий желал платить за десятину аренды не двенадцать, а шесть рублей, четвертый предлагал так поравнять богача и бедного, чтобы у всех был средний достаток, пятый — сровнять с землей помещичьи гнезда, шестой — разделить землю подушно, седьмой — посемейно, а восьмой стоял за мужицкое царство без имений, городов и заводов, да чтобы и сам царь жил в деревне и ходил за плугом, как ходил за ним когда-то бог.

— А что ж, и это, наверное, можно устроить,— мягко посмеивался Степан Васильевич.— Только как царю ходить за плугом — босым или обутым?

Сторонник мужицкого царства задумывался, поглядывая на свои исцарапанные, заскорузлые ноги, а потом твердо решал:

— Царю можно и обутым!

— Так, стало быть, и запишем: обутым. А в сапогах или в лаптях? — допытывался Степан Васильевич.

Тут вокруг подымался такой хохот, что мужицкое царство сдувало, как ветром, и люди переходили к более будничным и важным делам.

Наконец согласились, что первым днем стачки будут зажинки — начало жатвы. Условия всюду должны быть одинаковые: жать за пятый сноп, мужчина в день должен заработать семьдесят пять копеек, женщина — пятьдесят, подросток — тридцать пять, ребенок — двадцать, а сезонникам — удвоить заработок.

— Наши бы слова да богу в уши,— подумал вслух Марьян Поляруш и, увидав устремленные на него взгляды, так смутился, что даже ноздри у него зашевелились.

— Так и будет, если не пойдем на уступки, если не раздробят нашу силу на куски,— сказал Олександр Палийчук.

— Должно так быть, — отозвался с кожушка пожилой мужик, затянутый пастушьим поясом.

Несколько дней назад его спросили, откуда на его кожушке следы теста, и пастух чистосердечно признался:

— Мы пасем овец далеко-далеко от своего села. А барин у нас такой, что у него зимой снега не выпросишь, не то что облегчения для чабанов. Ну, а на чем-нибудь надо же месить галушки? Вот я и замешиваю их, ребята, на своем

кожушке. Ничего, едим и такие, лишь было бы вдосталь...

После единодушного решения все сразу притихли. Степан Васильевич обвел взглядом весь круг. Осененные замыслами и надеждами, как крестьянские пророки, сидели сыны земли вокруг костра и додумывали свои думы. И необычными казались в эту ночь крестьянские глаза, в уголках которых и теперь еще темнела занесенная ветром земля. А ведь придет время, когда она будет у мужика не только в уголках глаз да в морщинках шершавых, мозолистых рук, а вся станет своя, расстелется перед глазами.

— Затревожатся господа, затревожатся, как услышат про эти речи,—проговорил Лесь Якубенко, выкатывая уголек из костра и засовывая пальцем в трубку.

— Они и весной затревожились. Вот прочитаю вам, что его превосходительство подольский губернатор писал тогда министру внутренних дел о наших стачках.— И Степан Васильевич полез во внутренний карман.

— Про нас, про мужиков, писал самому министру? — изумился Марьян.

— Погодите, про вас еще и не так напишут! И не министрам, а потомкам.— Учитель внимательно посмотрел на Марьяна и принялся читать:

— «Доношу вашему превосходительству, что в конце минувшего марта месяца и в первой половине текущего апреля сего года почти одновременно во многих селениях (ста десяти) Каменецкого, Проскуровского и Ушицкого уездов произошли крестьянские беспорядки, выразившиеся в том, что крестьяне, собравшись толпой, отправляются в экономический двор, где предъявляют арендатору или эконому требование о повышении заработной платы как поденным рабочим, так и сроковым, а также об устранении стеснений со стороны арендаторов в пользовании толоками, общественными пастбищами, прогонами и водопоями, засим своих односельчан-рабочих они забирают домой, а рабочих, нанятых в других местностях, удаляют с работ иногда силою и угрозами, а в большинстве случаев по молчаливому соглашению с ними, предупреждая владельцев, что своих рабочих они не дадут, а посторонних будут выгонять, пока не будет увеличена заработная плата до 50—75 коп. и даже до 1 рубля в день, а годовым по 120 руб. в год с полным содержанием. Дальше этого самоуправство не идет, и только в одном случае (в местечке Городке, в имении владельца Виноградского)

оно сопровождалось разрушением канавы при каменоломне и избы-сторожки, в которой проживал сторож. Протоколы местной полицейской власти о всех происшествиях направлены к мировым судьям и судебным следователям по принадлежности; в административном порядке главные зачинщики и подстрекатели (в числе свыше семидесяти человек) были подвергнуты аресту местной полицией на основании 21 ст. Положения об усиленной охране.

Я командировал во все места беспорядков двух членов губернского по крестьянским делам присутствия, а в некоторых селениях Каменецкого и Проскуровского уездов побывал лично и, на основании собранных сведений, прихожу к заключению, что толчок для этого движения был дан извне как путем распространения прокламаций в связи с чтением крестьянами газетных листовок, так и беседами разных проходимцев, тайно побывавших в деревнях под видом странников, точильщиков, продавцов картин и так далее. Но причины этого явления и поводы к нему коренятся гораздо глубже и слагаются из многолетних ненормальных отношений экономических и аграрных между помещиками и крестьянами, вызванных хищническими арендами.

Со времени наделения крестьян землей народонаселение больше чем удвоилось, земли же сверх надельной прикуплено крестьянами слишком мало, вследствие чего теснота и малоземелье проявляются ныне уже в формах настоящего бедствия. Дробление надельных участков достигло за 45 лет своих крайних пределов и дальше уже идти не может. В обследованных местностях средний душевой размер земли едва достигает полудесятины вместо прежних полутора-двух десятин. Вследствие этого образовался многочисленный разряд безземельных в буквальном смысле слова сельских пролетариев, не только лишенных земельного обеспечения, но и не имеющих ни средств, ни даже места для постройки жилища; они ютятся в избах своих родственников и односельцев. Весь этот класс крестьянского населения при его косности и нежелании искать заработков в отхожих промыслах единственное средство к существованию полагает в сельскохозяйственных работах в помещичьих экономиях; последствием сего явилось превышение предложения рабочих рук над спросом и как неизбежный результат — понижение заработной платы до минимума, не дающего средства к ежедневному пропитанию. Цены упали до 14 копеек — мужчине, 10 — женщине, а девкам и подросткам до 7, 5 и даже до 5 копеек

(сс. Тростянец, Мудриголовы и Солобковцы); в то же время средства для необходимого существования крестьянина, как-то: корм для скота и дрова для отопления, значительно вздорожали...»

— Хоть боком, а дошла и до господ наша правда! — снова вырвалось у Марьяна.— Куда только они денут ее?

— В тюрьму, куда же больше? — ответил Иван Куценко, молодой крестьянин из Мудриголов, и встал над костром. — Ведь вот я сбежал от своего барина сюда. Тут хоть кондёр варят из пшена, не из проса. Да и галушек небритых нет.

— Каких это небритых?

— С остью в полпальца. В нашей экономии никогда муку не просевают: мужик не скотина — все съест. Вот я думаю, кто же теперь лучше живет: нищий или я? У своего барина я зарабатывал пятнадцать копеек, здесь — двадцать пять, а нищий, постоялец моего соседа, хвалился, что выпрашивает по тридцать — сорок копеек в день. Это кроме кусков святого хлебушка. Чем же я виноват перед богом и людьми, что я мужик? Вот потому и надо нам слушать демократию. Они за мужика стоят без хитростей и обмана. Ну, а с мужицким царством еще подождем: кто знает, не захочется ли царю и в мужиков стрелять, как в рабочих...

Степан Васильевич улыбнулся про себя: с этим поденщиком надо познакомиться ближе.

Незадолго до рассвета все, поодиночке и по двое, разошлись. Степан Васильевич пошел с Марьяном по одной тропке, а Якубенко с Палийчуком — по другой. У самого Буга Марьян нашел лодку.

— А знаете, что я думаю? — спросил он учителя.

— Знаю,— весело ответил тот.

— В самом деле?

— Думаешь, как бы получать в экономии по сто рублей в год да как бы купить себе хату с огородом.

— И то правда,— согласился Марьян.— А все же вы не угадали кое-чего.

— Чего же именно?

— Я вот нынче так рассудил: допустим, в этом году господа повысят нам плату, на тот год мы потребуем еще больше, а потом так прижмем их своими ценами, так схватим за жабры, что земля не станет давать Стадницким никакой прибыли. Тогда господа бросят землю и подадутся на службу, а поля оставят нам.

Учитель внимательно выслушал, усмехнулся, покачал головой.

— Нет, дорогой Марьян, это ты уже сказки начал сказывать. Не такой ценой народ возьмет землю у помещиков, не такой ценой...

— Дороже? — Лицо сезонника омрачилось.

— Дороже.

Учитель со вздохом положил руку на плечо Марьяну.

— Что же, мужик и подороже заплатить готов,— задумчиво проговорил Марьян.— Иначе не проживешь.

И вдруг насторожился, услыхав в кустах шорох.

— Не птица? — спросил учитель.

— Птица, да, верно, в рясе,— нахмурился Поляруш.

— Отец Николай?

— Кто ж еще! Уж не нанялся ли этот пузан следить за нами?

— Может, и нанялся,— согласился учитель и тихонько запел над самой водой, которая слегка шевелила, словно со дна выплескивала, тени прибрежных деревьев:

Плывет лодка посередке —
Да все хлёп-хлёп-хлёп.
Идет парень к своей милой —
Да все топ-топ-топ.

Марьян тихонько подхватил песню, с нею они сели в лодку и оттолкнулись от берега. Подъезжая к острову, оба услышали осторожный плеск весла.

«Наверняка он». Марьян, насупясь, притерся лодкой к лозняку, а учитель удивленно взглянул на него, но ничего не сказал. Вскоре почти вплотную к ним подошла маленькая лодка, на которой высилась огромная туша попа. Не успел учитель опомниться, как Марьян загреб изо всей силы, и лодка с разгону врезалась в лодку. Над рекой раздался отчаянный вопль отца Николая, неуклюже бултыхнувшегося в воду.

— Спасите, люди, кто в бога верует... Спасите, христиане... Тону!..

— На здоровьице, толстобрюхий,— сказал сквозь зубы Марьян и, обойдя опрокинутую лодку, повел свою дальше.

— Может, пособим? Ведь тонет... — Учитель смотрел на Марьяна во все глаза: и откуда такая злоба у человека?

— Не бойтесь, не потонет, от этой пакости откажется и водяной.—Меж бровей у Полярупа залегла упрямая складочка.

— И когда ты, Марьян, стал таким?

— Хотите знать? — спросил тот, прислушиваясь, как уже спокойнее, очевидно достав дно, стонал, чертыхался и барахтался в реке поп.

— Хочу.

— Давненько это было, Степан Васильевич,— задумчиво протянул Марьян.— Тогда я смирный, как теленок, был, да пронял меня Терентий Плачинда до самых печенок. Ну и ударил я его в своей бывшей хате. Ударил, и после этого не раскаяние, а что-то новое вошло в меня. В тот вечер я и у вас был. Помните, в метель? Вот с той поры я и стал смелее смотреть на свет и в глаза людям. Да будет об этом, давайте лучше запоем.— И он затянул на весь плес:

Плывет лодка посередке —
Да все хлёп-хлёп-хлёп...

И лодка в самом деле плыла к знакомому и как будто незнакомому берегу, окаймленному зарей.

VI

Троица прошла, но в хате все еще пахло аиром и речкой.

И по сей день чудно: своя хата! Это ведь, люди добрые, не у чужих жить, не ютиться в чужом закутке, где даже дышать боишься и слезинку удерживаешь в сердце, не давая ей выкатиться из глаз...

Подумать только: сколько пришлось сушить своими костями чужие, заплесневелые углы, а вот и детей выходили не хуже, чем у людей, и хату поставили на собственной десятине. Хоть Плачинда и вырывал у них надел в голодный год, но она, мать, уперлась: «Доведется умирать — умрем на своей земле». И отстояла-таки весь царский надел — единственную десятину, доставшуюся им в наследство от крепостного права. Мария даже знала, сколько отвалов на этой десятине оставляет плуг, сколько борозд прокладывает скоропашка.

И вот стоит ее хата на краю села, веселая и нарядная, словно девушка в белой сорочке, а вокруг колышутся и колышутся хлеба и творят из росы и солнца диво, которое зовется зерном. Ей-ей, такая роскошь вокруг, словно в песне, если бы только не экономия да не нужда. Но от них теперь и на краю света не спрячешься; уходит человек в экономию, а то и в Таврию либо на Дон с косой и возвращается с косой же,

да еще приносит на руках столько мозолей, словно их на каждой ладони, как хлеб, сеяли. На чужой земле у хозяев родятся белые караваи, а у батраков — одни мозоли да волдыри.

И Мария невольно посмотрела на свои ладони. Потрескавшиеся чуть не до кости, пропахшие травами, черные, они, однако, были такие же чистые, какими лежали на теплой материнской груди: не притронулись ни к одному чужому колоску, ни к мужицкому, ни к господскому. А ведь нужда и к этому приучит: пальцы-то не угрызешь. Вон хоть бы Василину Велычко взять — как только не мучается она! Когда прогнали ее Мирона из экономии, он тоже подался на заработки, еще прежде Романа. Ушел с косой да с котомкой за плечами, а дети его с голодухи сохнут, как сено. Надо им хоть ложку молока занести. Мария покосилась на хлев, откуда выглядывала голова их костлявой коровенки, которая так гордо носила рога, словно выставляла их напоказ. А как же, мужицкая кормилица!

Да, что ни говори, а их семья понемножку встает на ноги. Не всегда хлеб на столе, зато в молоке не нуждаются и хата своя. И мать любовно оглядывает стены, завалинку, молоденькие вишенки, подсолнухи, которые так и нагибаются к хозяйке, словно хотят шепнуть что-то на ушко.

В хлебах отозвалась перепелка, жаворонки подымались все выше и выше в расписную синеву и вдруг притихли: верно, первыми увидели, как в колосках зашевелилось солнце, умылось росой и разостлало дорожку по реке, а на той багряной пропше показалась крохотная лодочка. И эта утренняя праздничная обнова заслонила будничные заботы, повседневные думы все об одном и том же — о куске хлеба. Мария снова перевела взор на хату, и оттуда повеяло на нее теплом ее детей и ее собственным полузабытым детством, когда можно было прильнуть к ногам матери или увидеть с отцовского плеча, как внезапно расширяется перед тобою земля. И кажется, еще так недавно она пела со сверстниками перед занесенными снегом святочными окнами соседей:

А в чистом поле ярая пшеница,
Серебряный стебель, золотой колос.
Там стоит светелка свежесрубленная,
А во той светелке — три окошечка,
В первом окошечке — ясный месяц,
Во втором окошечке — ясное солнце,
В третьем окошечке — ясные звезды.

А теперь соседские дети впервые запоют под окнами ее хаты, и снова поверишь, что стебель из серебра, а колос из золота и что нет на нем людских слез, а одна утренняя роса... Хоть бы дети были при ней. «Романко, где ж ты теперь? Как тебе там, в дальнем краю?..» Она мысленно летела к сыну и звала его к себе.

— Тетушка Мария, вы дома? Со святым воскресеньем вас!

В воротах стоял, весь в белом, десятский Хома. В высокой молдавской шапке-качуле он казался длинным, как утренняя тень.

У Марии сразу оледенела душа: это долговязое начальство, верно, снова за недоимками. Хома поднялся на приступку перелаза, спрыгнул на траву, шагнул длинными ногами, и во дворе стало тесно.

— Ставьте, тетушка Мария, магарыч! — подмигнул он бровями, изогнув тонкие, как у сома, усы.

— Было бы за что.— У Марии отлегло от сердца, и она вопросительно посмотрела на долгощекого десятского.

— То-то и дело, что есть за что: письмо вам! Со всеми печатями да с двумя марками.

— Письмо? От кого же, Хома?

— Слышно, будто от Романа. Стало быть, привалило ему деньжат, не то не клеил бы на письмо целых две марки!— И Хома многозначительно поднял палец, длинный и тонкий, как грошовая свеча.

— Так покажи, покажи скорей! — Мать даже руки сложила, как на молитве. Вот бы, в самом деле, посчастливилось старшенькому! Уж как ей не хотелось отпускать его на чужбину! Это для матери нож острый.

Десятский сунул руку в свой единственный бездонный карман, бережно тряхнул его и вытащил разом огниво, нож из обломка косы и смятое письмо.

— Вот оно, со всеми законными печатями и царскими марками.

Мать посмотрела на маленькие царские головы, обведенные черными каемками, со страхом и надеждой взяла письмо, покрутила его в руках, вздохнула.

— Может, прочитаешь, Хома?

— Отчего же! Если по-людски написано, прочитаю!

Огниво и нож мигом влетают в карман и, звякнув где-то у самого колена, укладываются среди другого добра. Хома осторожно разрывает конверт, для чего-то подозрительно

нюхает листок бумаги и вертит его во все стороны. На узком лице десятского шевелятся тонкие губы и тонкие усы, а глаза глуповато разбегаются по черному частоколу строк.

— «До-ро-ги-е о-о-тец, ма-а-ма и брат-и-и-к Ма-ак-сим...»— начинает более или менее бодро Хома, но потом сбивается, застревает, вытягивает из себя такое же длинное, как он сам, эканье и наконец, краснея, машет рукой:— Писал такой писака, что не разберет и собака!

Мать, улыбаясь, подняла глаза на Хому, который и не заметил, как сам себя выругал.

— А ты, Хома, начни сначала.

— Зачем?

— Ну, когда воз в луже застрянет, его малость подают назад — так легче вытащить.

— Так то воз, а это письмо! — возмущаясь бабьей глупостью, возражает десятский.

— Все равно надо попытаться с разгона. Как там: «дорогие отец, мама и братик Максим»? — подсказывает она.

Десятский принимается читать с разгона и снова безнадежно застревает.

— Тут и леший не стронет ни взад, ни вперед! — уже сердится десятский.— Да и что ваш Роман может нового написать! Жив-здоров, чего и вам желает, шлет всем поклоны от высокого неба до сырой земли да ждет ответа, как соловей лета. Вот увидите, и сам поп не прочитает лучше Хомы.

— Может, и так.

— Уж не иначе. Ну, а теперь, тетка Мария, после трудов праведных, не грех бы и чарочку опрокинуть. — Начальство, чуть пригибаясь, бесцеремонно заглядывает в дверь.

— Ох, придется обождать, Хома, пока от Романа придут деньги! — вздыхает Мария.— Тогда и полбутылки не пожалею для тебя. Тогда и приходи.

— Может, и приду.

Необыкновенные усы Хомы медленно шевелятся,— один ушел уже за щеку, а другой притирается к самым губам. Десятский, недовольный, однако исполненный самоуважения, выходит на дорогу, и двор снова становится больше и красивее. На полях потускневшее и еще сверкающее серебро росы подергивается синим туманцем; он плывет к самому горизонту, подмывая вереницу легких облаков, таких прозрач-

ных, что сквозь них просвечивает небо. Мария в сомнении перекладывает письмо с руки на руку, не зная, идти с ним к отцу Николаю или дожидаться Максима, упедшего с отцом к бабке Гапне. Взор матери устремляется все дальше и дальше, в поля, за которыми не раз скрывался муж, а теперь пропал и Роман.

Шумят хлеба, и они вдруг стали таинственными, как и черная вязь строк в письме сына. Шумят поля — живые строки земли, и какая голова нужна, чтобы прочитать их? То на них серебряный стебель, золотой колос, а то такое перегоревшее на солнце былье, что голодная душа с бедным телом разлучается. Не потешили хлеба ни ее, ни мужа ее, ни Романа... Мать отыскала взглядом на поле господские ветряки, где Роман работал после Синявы.

Ветряки стоят на пригорках среди хлебов, стоят понурые, недвижимые, словно кто вынул из них живую душу. Верно, и до сих пор тоскуют по Роману, который сжился с ними и с ветром, как она с землей. И как слушались его скрипучие снасти! У него даже на спаса, в разгар ленивого зноя, вертелись крылья ветряков.

— Роман, да чем же ты мелешь сегодня? — спрашивали удивленные мужики.

— Прошлогодним ветром. Приберег немножко под крыльями,— смеялся Роман, и все на мельнице веселели.

Все любили ее старшенького, только один Корнюша Безбородько вцепился в него, словно ведьмовское помело в живое дерево. Роман, когда стал присматривать за всеми тремя ветряками, заметил, как уменьшались мужицкие пуды, пропущенные через господский короб.

— Как же это получается? — спросил он стареющего мельника, догадываясь, что тот так же плутует на ветряках, как Шмалий на крупорушках.

— Как получается, спрашиваешь? На обметки, на обметки горсть зерна уходит,— засмеялся Корнюша, пряча от парня бегающие, шельмовские глаза.

— Добро бы горсть...

— Ну, чуть побольше, — не смутился Безбородько. — И чего у тебя из-за всякого пустяка голова болит? Захочешь — и к себе домой снесешь сумочку обмола. Это законный мельницкий хлеб.

Но Роман не польстился на «законный» хлеб, и это сразу насторожило и озлобило Безбородька.

— Ты, парень, не больно, не больно высоко залетай, не

ровен час, низко сядешь. Не твоя тут воля. И я, было время, хотел в двадцать лет стать умником, да обломали крылья, еще и благодарить за науку пришлось.— Корнюша стоял перед Романом, широкий и неуклюжий, словно куль муки, на который положили еще кулек, поменьше.— Обломали так, что я теперь экономовой головой думаю.

Роман насмешливо и брезгливо смерил ежистую физиономию мельника.

— Не всем, дяденька, такое счастье.

— Ты о чем?— обеспокоился тот, неприязненно округляя глаза.— О чем?

— Да все о том же: о ветряках да обмоле,— неясно намекнул Роман.

— Все о том же? — переспросил Безбородько, да так и зашипел: — Мужиков слушаешь? Они теперь не то что на барина да на управителя — на самого царя наговаривают. Все они свиньи.

Роман возмутился:

— А вы не из мужиков?

— И я свинья, — убежденно ответил Безбородько. — А думаешь, нет? И ты походишь возле господского добра — вымажешься, как свинья в луже. Иначе нельзя. Помянешь мое слово!

— Не дождаться вам, дяденька, такого моего позора!— вскипел парень.— До смерти не дождаться!

— Еще как дождусь!—Мельник упрямо замотал головой, и с волос его посыпалась мука.— На господских харчах святые не вырастают, такого не бывало еще. На господских хлебах и из самых наисвятейших девок выходят покрытки.

Эти слова поразили Романа. Сказано ли это просто так, к слову, или Корнюша нарочно кинул тень на Любу, которая и до сих пор служила у барыни горничной?

Поразили эти слова и Марию, которая как раз принесла Роману обед и ненароком подслушала разговор сына с мельником...

Словно вчера все это было, а сколько времени прошло...

...На улице звонко щелкнул пеньковый кнут пастуха, замычало разномастное стадо, раздались женские голоса. Мария выгнала со двора корову, и та, покачивая кадыком, боками и розовым пальчатым выменем, с достоинством понесла свою голову к рогатым подругам, у которых на влажные губы

уже оседала пыль. Вернувшись в хату, Мария проворно убрала у себя и на другой половине, где жил Марьян, повязалась праздничным платком, положила за пазуху письмо и пошла с крынкой молока к Василине.

Ее удивило, что по двору Велычек не носилась детвора да и в хате не слышно было крика и плача. Мария даже обеспокоилась: не приключилась ли беда какая? Но уже в сенях услышала бодрый стук ложек о миску, немилосердное чавканье и улыбнулась.

В хате вокруг миски сбились, как скворцы, загорелые и худущие, оборванные ребятишки, на совесть, вперегонки орудуя ложками. На столе и в руках у детей не было ни крошки хлеба. Мария пожалела, что не принесла малышам хоть краюшку «от зайчика». Осунувшаяся, изможденная Василина, склонив голову, сидела у окна, только изредка покрикивая на свой выводок:

— Не плескайтесь, чтоб вас плескало и не переставало!

— Ксеня, хлопни его, разумника, ложкой по голове,— может, еще поумнеет...

— Демид, чего летишь как на пожар?! Не поспеешь натрескаться?

— Да, сегодня за ними поспеешь! — обиженно отозвался черноголовый пятилетний Демид, который тоже старался не отстать от больших, даже выхватил кусок вьюна и положил возле себя про запас. — Это ведь не лободянка, а настоящая косарская уха! — И после этого многозначительного объяснения еще проворнее заработал ложкой.

Василина улыбнулась Марии, в глубине ее диковатых глаз зажглись радость и печаль.

— Спасибо, любушка, что не забываешь! — Она поцеловала подругу и прижалась к ней.— Как тебе живется в новой хате?

— Славно, Василина, — улыбнулась Мария.— После каморки кажется, и свет просторнее стал.

— А для меня стал теснее и темнее,—лучики смеха вокруг влажных, диковатых глаз разом стерлись. — Вот видишь,— кивнула она головой на детей,— наловили в болоте вьюнов и пируют. А так — хоть хату подожги: ни пылинки муки, ни крошки хлеба, ни крупиночки.

— А вы, мама, не больно горюйте: мы еще в болоте наловим вьюнов! — беззаботно крикнул кто-то от миски, где ничего уже не оставалось.

— Ловите, ловите, только на глубокое место не лезьте — потонете.

Василина достала из шкафчика, источенного шашелем, глиняную, с подкрашенными боками кружку и стала делить детям молоко. Ребятишки по старшинству подходили к матери, жмурясь от удовольствия, выпивали каждый свою долю и смачно вытирали губы худыми, черными от солнца и грязи ручонками.

Но вот Василина заметила непорядок, бросилась в сени, и там загремел ее возмущенный голос:

— Ты чего, нечистая сила, решето хватаешь? Я тебя, поскребыш недоваренный, так хвачу, что дверь и ворота своим лбом отопрешь! На что оно тебе?

— А я тозе хоцу ловить лыбу и вьюнов. На уху наловлю,— с плачем зашепелявил пятилетний Демид, неохотно возвращая матери худое решето.

— Я тебе, водяной, так наловлю, что волчком завертишься! Тоже нашелся рыболов!

— А я хоцу ловить,— захныкал малыш.

— Ты не дуйся, как господский волдырь! Надоел. Нос-то хоть утри! — Василина повесила на колышек решето и тихонько, чтоб не услыхали дети, сказала Марии: — Теперь оно только и годится, что детям на забаву. Когда еще дождешься муки? Хоть пишет Роман?

— Написал. Почитай-ка, Ксеня,— окликнула Мария старшую дочку Велычка и вынула из-за пазухи письмо.

Девочка взяла листок бумаги, подошла с ним к окну, а Мария заранее вздохнула, и в голове у нее пронесся вихрь мыслей. Вот и зазвенел в тишине детский голосок. Что-то он напоет матери?.. Утешение или горе?

— «Дорогие отец, мама и братик Максим.

Кланяюсь вам всем от высокого неба до сырой земли. Я теперь нахожусь и проживаю в Таврии, служу у богатого немца-менонита. Тут на косьбе я иду атаманом, как у нас Марьян. В этом году в Таврии хороший косарь зарабатывал в день пятьдесят копеек, а теперь мы устроили большую забастовку, хозяева перепугались, что трава перестоится, и стали платить, как захотели люди, по рублю. Так что есть надежда вернуться домой не с пустыми руками. Правда, работаем, как в пекле,— некогда и на солнце глянуть. В нашей экономии, бывало, когда косишь, сам и косу отбиваешь, а тут всем подряд заранее отбивает один слабосильный работник. Вот и машешь косой безо всякого отдыха от зари до сумерек,

так что ребра скрипят и за ребра заходят, а потом свалишься на валки и спишь без задних ног до самого утра, даже на ужин не глядишь. Те, кто послабже здоровьем, никак не выдерживают такой косовицы: либо надрываются, либо истекают кровью, либо ноги на плечи — и ходу на другую работу. А как живете вы? Как здоровье отца? Передайте поклон Степану Васильевичу, Марьяну, бабке Ганне и Любе. Видаете ли ее? Максим, ты не ленись, напиши мне все, как есть...»

— Господи, хоть бы и у нас сделали забастовку, а то совсем подохнем с голоду!— вырвалось у Василины, когда Ксения дочитала до конца.— Посчастливилось, выходит, твоему Роману. А как там живется-горюется моему? — И она подняла глаза на икону богоматери, в серебряных ризах, которую весной изобидел Мирон: когда жены не было дома, он вынул из иконы стекло и вставил в оконную раму на место разбитого. Ну есть ли соображение у человека? Басурман, да и только!

Василина привычно кляла в мыслях мужа, а сама тосковала по нем. Только был бы жив, здоров, только повезло бы ему хоть чуточку. А свою драгоценную икону она застеклит, как только Мирон передаст первые деньги.

Дети с криком вынесли со двора небольшой рыбачий сак и побежали к речке.

— Мама, и я с ними,— попросилась Ксеня.— Может, что-нибудь поймаем на ужин.

— Беги, да пригляди за выводком,— Василина кивнула головой на ребятишек.— И щавеля на борщ нарви.

Ксеня сорвала с лавки полотняную суму и, приплясывая, выбежала из хаты.

— Еще и пляшет! — грустно удивляется Василина. — А я уж, Мария, чую: скоро с ног свалюсь — не могу, никак не могу без хлеба... Вот уже, слава богу, и свеколки на борщ дождались, и щавель есть, а без хлеба не могу. Кажется, уж не руками полю, а самой болью, так все в груди и переворачивается.

— И занять негде? — Мария с сожалением смотрит на Василину, на темные тени голода у нее под глазами.

— Ох, негде... Одно — то, что нужде нашей не верят, а другое — язык Мирона им хуже острого ножа. Он, видишь ли, говорил, что надо поравнять богатых с бедными. Ну вот, куда ни сунусь, мне и колют глаза: «Нет ни хлеба, ни денег, все теперь равняются на голодранцев, как твой Мирон хотел. Посмотрим, каково жить в бедняцкой шкуре». И до того

дошло, что ни одна душа ничем пособить не хочет... кроме управителя,— взгляд Василины злеет, а вокруг рта двумя полумесяцами западает горестная скорбь.

Мария оторопело подняла на нее глаза.

— Что ты, милая, плетешь?! Салоган... Черное Сало хочет пособить тебе?

— Черное Сало, чтоб оно и перед Страшным судом не побелело! — с мукой выдохнула Василина и снова посмотрела на образ своей заступницы.

— Пристает Гервасий? — догадалась Мария.

— Ой, пристает и липнет, как вонючий клейстер.— От волнения на измученном, все еще красивом лице Василины выступили зернышки пота, а злые глаза беспомощно дрогнули.— И с платком набивается, и деньги сулит, если нужны, а позавчера прислал Корнюшу Безбородька сказать, чтоб взяла себе муки на ветряке.

— А ты что?

— Отругала, вытурила старого сводника, а сама всю ночь проплакала перед богородицей. Отымает она у меня после каждых родов зубы, пусть отымет и врагов... И бессовестный же этот Салоган. Как-то захватил меня в темноте, когда с поля возвращалась, полез слюнявым ртом целоваться. «Отойди, говорю, паскудник, а то сапкой голову раскрою!» А он трясется весь, как жаба: «Василинка, золотенькая, люблю...» — «И когда успели?» — удивилась я, а он знаешь что ответил? «Видел, говорит, раз, как ты ребенка кормила. Посмотрел на твои груди и с тех пор жить без тебя не могу».

— Вот стервец! — Мария даже сплюнула.

— Такое бесстыдство в глаза говорит и не стесняется ни капельки. Да мне Мирон, мой муж, ни разу так не сказал... Я уж теперь и домой возвращаюсь только с людьми. Так ведь хватило совести — притащился в хату. Пришел и давай задабривать голодных детей конфетками. Так я его живо выпроводила и конфетки ему вслед побросала. Такой рев из-за этого в доме поднялся, что не приведи господи! — И Василина сама заголосила, припав головой к плечу Марии.

VII

Летом и солнце живет, как поденщица: раненько, с росою, встает и поздно ложится. А еще позже ложатся девушки,— как ни устанут за день, а надо же, хоть украдкой, постоять

под звездами, подумать о своей доле и, может быть, хоть немножко поговорить с кем-то.

Разве Олена не слышит, кто воркует теперь с ее Христинкой? И не на воротах, как, бывало, Левко Щербина, а в укромном уголку, чтоб никто не видал. И Олена притворяется, будто ничего не видит, не замечает даже, как Христинка, сдерживаясь и не умея сдержаться, несет счастье в глазах, как сама себе улыбается и даже посмеивается, вспомнив что-то... Вскружил-таки ей голову Юрко Звонарь, а теперь и Левко Щербина уже по-настоящему увязался. Вот и разберись, девушка: где твоя судьба? У Юрия как будто любовь, а у Левка до сих пор не было ее, зато земли больше.

Мать задумчиво подходит к топчану, сперва смотрит на лицо, потом на раскрытые ноги дочки, исцарапанные до самых колен. И жаль ее будить, а надо.

— Христинка, вставай! Поднимайся, соня!

Сперва дрогнули длинные ресницы и в темных полукружьях под веками забился страх, потом по лицу побежала легонькая улыбка.

— Это вы, мама?

— А кто же, ты думала? — удивляется Олена. — Приснился бездельник какой-нибудь?

— Очень он мне нужен!

Христина проворно вскакивает, поправляет разметавшуюся косу, а сама незаметно следит за матерью. Что-то она уж очень въедлива последнее время. Не догадывается ли о Юрке? И девушке даже спросонья становится жутко при одной мысли, что мать знает о ее любви. Правда, ей все равно придется узнать об этом, но пусть это будет позднее, позднее!

— Куда сегодня идете работать?

Мать режет на груди черствый, скрипучий хлеб, ставит на стол кринку молока, которое пенится и, словно вьюн, попискивает.

— Идем сено ворошить.

Христина одевается, заглядывает в зеркальце и тихонько запевает:

А я сено ворошила,
Семерых приворожила...,

— Не слишком ли много?

Мать снова говорит таким тоном, что в голове у Христинки шевелятся догадки. Она задумывается, обеспокоенно

морщит невысокий лоб и задорный носик. А матери хоть бы что: заронила, словно невзначай, уголек в душу и хлопочет возле посудного шкафчика готовит дочке полдник на поле. Хитрит она или не хитрит? Знает или не знает? На досуге надо будет осторожно выпытать, так, чтоб мама не догадалась. И Христинка уже прикидывает, с какого боку лучше подступиться к такому разговору.

С граблями на плече, с белым узелком в руке она выбегает на улицу, и на девичьей груди, словно на лугу, цветет и колышется мелкая вышивка.

«Невеста!» Мать смотрит с порога на дочку, вздыхает и улыбается, замечая на нежном лице своей любимицы налет смятения и радости. Что ей теперь? Только одно в голове, не заглядывает вперед девка... С Левком лучше бы жилось: у него и земли больше, и лошади сразу будут. Только что за чудной парень? Сколько времени ничего не говорил, все набивал себе цену — боялся продешевить,— а теперь спохватился, мечется, как ошпаренный, и похваляется пересчитать Юрку ребра.

Мимо двора, гремя, проехала подвода. Экономский возчик Евген Колосюк придержал взнузданных лошадей, окликнул Христину, та оглянулась, проворно взобралась на телегу, примостилась на поперечине и вот уже трясется, словно трясогузка, пересмеиваясь с парнем. Вот некому отстегать озорницу, так и скачет, как воробей по сухой дороге! Олена готова крикнуть вслед, да голос ее уже не долетит до Христины.

По улице, в шапках и брылях, прошли косари, от их трубок запахло табаком и губкой. И о чем бы, казалось, грустить, глядя на косарей, идущих по улице?.. О том разве, что ее косарь не пройдет и не придет... А приходил ведь в своем золотистом брыле, как подсолнух в цвету. Он и голову клонил к ней, как подсолнух. И молчал, как подсолнух, только ласково улыбался веселыми темными глазами... Хоть бы уж поскорее явился Христинин жених... Тогда и у них в хате запахло бы табаком и губкой.

На господском лугу девушки и женщины еще не начали сгребать: ждут, пока утреннее солнце соберет росу. А косари уже ведут первый покос, и вокруг смачно, как всегда росным утром, шаркают косы.

Впереди — Марьян Полярош. Перед ним с шипением и посвистом расступается трава, а на гребне валка дрожат и безутешно плачут последними слезами тонкие, словно из

неба сотканные, колокольчики. Что-то волнующее есть в откинувшейся сильной фигуре косаря, в широких взмахах его косы, возле черенка которой собираются роса, лепестки цветов и зеленая кровь травы.

— Доброе утро, дяденька! — Христина, легко покачивая станом, подходит к Марьяну; она питает к нему большое доверие и не стыдится пошутить с ним.

— А-а-а, это ты, баламутка? — улыбается белозубо Полярущ и опирается на косье.

— Почему это я баламутка? — удивилась Христина и обиженно выпятила нижнюю губу.

— А кто же у нас теперь больше всех баламутит парней? — смеется Марьян.

— Скажете тоже, лучше-то не могли придумать... Нужны мне ваши парни...— Христина зарделась и принялась с досады уминать ногой подрезанную кротовью кочку.

— Может, и не нужны,— соглашается Марьян.— Может, не ты баламутишь, а они сами из-за тебя баламутятся?

— Ну, кто баламутится? Выдумаете, даже слушать неохота.— Христина обиженно смотрит невинными глазами на косаря, а самой становится страшно: выходит, даже пожилые люди знают о том, что она скрывает ото всех? — Нечего делать кое-кому — вот и чешут языками.

— Может, и так, язык человеку на базаре не покупать,— снова соглашается Марьян.— Только Левко похваляется как следует пощекотать Звонарю ребра.

— На что другое, а на это у него ума довольно. Он еще и братьев подобьет.— И чтобы как-нибудь переменить неприятный разговор, Христина потихоньку спрашивает: — Дядя Марьян, а скоро у нас будет забастовка?

— Гляди-ка, и тебе захотелось бастовать? — удивляется Марьян и оглядывается назад.

— А как же, захотелось.— Христина лукаво покачивает головой, нисколько не смущаясь: разве она не знает, с кем теперь водится Марьян и о чем говорит с сезонниками?

— А ты не боишься получить за эту забастовку по одному месту?

— Не боюсь,— отвечает она, однако невольно косится на юбку.

— Хм,— Марьян не знает, что сказать девушке.— Чего же ты хочешь от забастовки?

Христина удивляется:

— Чего хочу? Будто вы не знаете?

— А я и в самом деле не знаю, чего хотят девушки.

— Того же, что и все: чтобы платили больше.

— А на что тебе деньги?

— Только пусть зазвенят, а уж я с ними управлюсь, как бы еще мало не было.

— Вон ты какая, а я и не знал,— улыбается Марьян. — Что ж ты купила бы первым делом?

— Что купила бы? Кораллы,— не поймешь, в шутку или всерьез отвечает Христинка.— Кораллы с дукатом.

— Кому что! — Марьян безнадежно махнул рукой.

— А нам, дядя Марьян, и это надо,— Христина смешливо поморщилась.— Идешь и так славно позваниваешь. Так когда же забастовка?

— Погоди немножко, скоро уж,— приветливо говорит Поляруш и, заговорщически кивнув, принимается отбивать косу — его уже догоняют другие.

— Что ж, подожду,— Христина кланяется Марьяну и направляется к женщинам.

Слова девушки удивили и обрадовали Поляруша, даже косить стало легче. Такая молоденькая, а и та уже кумекает насчет забастовки! Что ж, слухи о переделе теперь вырастают будто из самой земли, как трáвы, как хлебá. Такая пора пришла: и трудная и полная надежд. Ох, придется и тебе, барин, тряхнуть мошной и малость рассупонить ее! Того и гляди придется отрезать и земли, чтобы мужику хоть как-нибудь можно было прожить на свете.

Марьяну невольно вспоминается его полуразваленная хатка, которую и поныне никто не купил у Плачинды, даром что тот уже дважды сбавлял цену. И косарь мысленно благодарит неизвестных людей, которые пожалели его: он уверен, что только его горе удержало покупателей. Потому и стоит его халупка, потрепанная ветрами да непогодами, оплывает размытой глиной. Понурилось в тоске его жилище, как человек без земли, и косится пустыми глазницами. Может, и дождется еще Марьяна — недаром он откладывает денежку к денежке, выгадывая на каждом куске хлеба.

К косарю прямо по лугу, топча траву, подъезжает эконом, каждая складочка его изрезанного морщинами и скрепленного бородавками лица источает недовольство.

— Го, Марьян, что я нынче вижу?! — кричит он, гарцуя вокруг косаря.— И ты машешь косой, лишь бы день до вечера? С девками застаиваешься. Го, вот так хваленый

работник! Похоже, перехвалили его! — Глаза и бородавки глядят вниз, а мешочки раздвоенного подбородка шевелятся, даже когда эконом замолкает.

Марьян поднимает на эконома сосредоточенный взгляд и, отчеканивая слова, говорит:

— А кто просил хвалить меня? Хвалили бы вон тех вертлявых приспешников, которые увиваются вокруг вас днем и ночью. А я не нуждаюсь и не желаю ваших похвал: их в карман не положишь и душу ими не согреешь.

— Тебя что, слепень укусил или сибирская муха? — взъярился эконом и накинул на Марьяна свою тень.

— Чтоб она вас укусила! И дождетесь — укусит! — грозно хмурясь, отвечает Марьян.

— Тьфу на тебя и на твоего отца! Ты ему — слово, а он тебе — десять! И когда только выучился так огрызаться?— Эконом в сердцах отъезжает, и его длинная, как уж, тень, подрагивая, извивается на выкупанной солнцем траве. Скажи Марьян так год назад — на плечах его заплясала бы нагайка, а теперь и эконом понимает: не надо дразнить мужиков, и без того они злющие, словно осы.

— Поболтали, Марьян? — подает голос идущий за Полярушем меднолицый Лесь Якубенко и смеется.

— А как же! Наговорились — как меду напились.

— Не сказал ему, чтоб кинул наземь плеть да сам помахал косою?

— Придет время — еще как помашет! — обещает Марьян и пристально смотрит на свою косу, где в зеленоватой крови трав купаются слова: «Благослови, боже, царя и жатву...»

Марьян уже который раз читает эти слова, выбитые на косе, а только сейчас хмуро вспоминает, что царь благословил пришедших к нему людей пулями...

Пьянящий и душистый полдень навис над лугами. Кажется, кто-то развесил над землей невидимые облака запахов, а все властно покрывает настой чабреца и нежный дух переспелой земляники. Кругом подымаются стога, а девушки топчутся на них, как аисты, утаптывают сено крепкими, расцарапанными до крови ногами. Вот уже и у Христины на икре земляничкой задрожала кровь, вокруг ранки закружился слепень, а девушка знай подхватывает, расправляет охапки сена и топчет его до боли в ступнях. Меж тем струйка крови

тихонько спускается ниже по ноге и ее присыпают семена трав.

Со стога девушке видно, как зной накидывает на Синяву дымку, и кажется, вместе с маревом дрожат и колышутся леса. Там, в чаще, на смолокурне трудится Юрко. Вспоминает ли он ее, как она его? Христина улыбается и своим мыслям и Синяве, откуда так нежданно пришла ее любовь. Ну, виновата ли она, что все так вышло? И пускай Юрко по вечерам врет, что она лучше всех на свете,— ей и это хочется слушать. Вот оно как!

Еще несколько взмахов руки — и под небом стоит уже славненький, нарядный стожок, просто любо глянуть и с боков и сверху. Тетка Василина подставляет девушке древко вил, и она спрыгивает на землю.

— Спасибо!

— Расти большая.— Василина опирается на вилы и видит: кругом зашевелились бабы и косари. — О, полевой подал знак полдничать!

— Вот и хорошо, поедим вместе.

— Полдничай сама.

— А я хочу с вами.— Христина знает, отчего Василина не хочет полдничать вместе с другими: у нее вместо хлеба в котомке лежат черные травяные оладьи, а из какой травы, неведомо. — У меня, тетенька, есть хлебец и масло,— упрашивает девушка.

— А у меня первая картошечка, еще мелкая, как бобы,— грустно говорит Василина, а про свои оладьи молчит: думает, никто не знает.

— Вы вот тут посидите, отдохните, а я махну за своим узелком.

Христина стряхнула с платка семена, низко повязалась, чтобы лицо не очень загорало на солнце, и, пританцовывая, отправилась туда, где утром еще зеленела трава. Там среди вянущих валков она увидела ворону, настойчиво долбившую землю клювом.

«И что она там нашла?» — остановилась удивленная девушка.

Вот ворона сильным ударом вонзила в почву толстый клюв, а из-под него выпорхнуло несколько шмелей.

«Ишь пакостница, это она разоряет шмелиное гнездо!»

Христина шикнула и звонко хлопнула в ладоши. Ворона обеспокоенно повернула к ней голову, угрюмо посмотрела темным глазом, недовольно каркнула и только после этого

отскочила, неохотно подняв на черных крыльях тяжелое пепельное туловище. Девушка подбежала к тому месту, где разбойничал хищник, и в лунке под сухой травой увидела краешек шмелиного гнезда. Оно, точно заплаканными глазами, смотрело на нее двумя большими надломленными ячейками сот, из которых сочился мед.

Но не соты со слезами меда больше всего поразили девушку. Она увидела, как по траве, возле своего жилища, содрогаясь, прополз на подогнутых лапках шмель. Ворона ли его ударила или горе пришибло, а только он прижался к земле у искалеченных сот, повернул голову, обхватил ее двумя лапками и заныл, заплакал, как безутешное дитя. Рыдания сотрясали его осмоленную головку, светлую шейку, сгорбленную спину труженика и все перехваченное оранжевыми тесемочками тельце.

К гнезду, не боясь девушки, с гудением слетались другие шмели, а этот все тосковал и тосковал шмелиной тоской, в которой так много было от человеческого горя...

VIII

Скоро ль солнце сядет
И повечереет?
Может, мое сердце
Вновь повеселеет?

(Песня.)

Верно, и самой земле приятно, когда по ней легонько ступают босые девичьи ноги, а над нею звенит и стелется девичья песня. Земля прислушивается к придорожным песням, слушают их и ушастые подсолнухи, и усатый ячмень, и усталая рожь, которой все никак не под силу накормить род людской. А девушки так поют, что на небо торопятся звезды и где-то у самого первого вздоха тумана поднимается с постели заспанный месяц, готовый, кажется, зевнуть во весь рот.

Христина улыбается месяцу, а песня сама рвется у нее из сердца и летит далеко-далеко, чтобы найти пристанище в другом, дорогом сердце. Юрий говорит, что везде узнает ее по голосу. И Христина уже улыбается не месяцу, а невидимому Юрию. Где бы он ни работал, как бы ни устал, а вечером придет к ней, даром что она бьет его по лапищам, как шкодливого кота. Он обиженно дует на руки и покачивает головой.

— Имей же хоть совесть!
— Уж кто бы про совесть говорил...
— Ты скоро мне и слова не дашь сказать.
— Ах ты, бедненький...

Чудные дела творятся на свете. Ну думала ли она когда-нибудь о Юрке? Ее потянуло было к Роману, а потом сердце словно заледенело. Равнодушна стала ко всем парням. Приходил к ней Левко, заглядывал и Юрий. Когда встречались вместе, Левко хмурился, а Юрий подсмеивался над ним, называл хозяйским сынком и все выбирал ему богатых невест, чтобы и волы были, и десятины отошли в приданое. Потом Юрко вдруг как в прорубь провалился — месяца два не показывался на глаза, и на душе у нее стало неспокойно. Весной он снова пришел к ним на улицу, хмурый и молчаливый.

— Где так долго пропадал? — удивляясь перемене в нем, спросила Христина.

— Где был, там нету,— загадочно ответил парень и вздохнул.

Это совсем развеселило Христину: где же это видано, чтобы такой сорвиголова, как Юрко, вздыхал?

— Ты чего прыскаешь?
— Очень уж ты смешной.
— Нашла смешного.
— Что с тобой, Юрий? — уже сочувственно спросила Христина. — Может, наконец приворожила какая-нибудь?

Он снова вздохнул.

— И приворожила.
— Кто же?
— Да нашлась такая, — неохотно проговорил Юрко и замолчал.

Молчала и она, однако чувствовала, что в этом молчании нарождается что-то большое и тревожное.

Так прошло еще несколько наполненных ожиданием дней. Однажды вечером к ней прибежала Люба, сказала, что Морозенки уехали в Каменец, а ей одной ночевать боязно. И она пошла с Любой в лес. Дорогой их нагнал Яков Плачинда. Так Любе что? Первая вбежала во двор и затопала к недавно выстроенной хате, а ей пришлось городить Якову разные небылицы, даже стращать Романом. И когда уже шла в хату, из-под верб вдруг прикатилось к ней одно слово:

— Христинка...
— О, а это еще из каких краев? — остановилась она как вкопанная, узнав голос Юрия.

— Из приозерных,— ответил он, и над тонкой изгородью выросла его голова в высокой шапке.

— Из приозерных? Ты что, купался ночью или лягушек дразнил? — Грудь ее все больше наполнялась удивлением, радостью, сладким непокоем.

— Эх, не спрашивай, Христина,— он безнадежно махнул рукой, усаживаясь на ловко сплетенном тыне.

— Почему же? — Христина подошла ближе.

— Почему? — Парень смотрел своими цыганскими глазами прямо ей в душу.— Думал, помру сегодня.

— Ой, горюшко, что ж с тобой? — вскрикнула Христина. — Уж не объелся ли чего? Да спрыгни ты во двор, плетень обломишь. Будет тогда от Морозенок и мне, и тебе, и обоим вместе.

Юрия не надо было просить дважды, он мигом соскочил на землю и стал перед Христиной, высокий, красивый, жгучеглазый.

— Так что же сделалось с тобой?

— Что сделалось? — словно спросонья, переспросил он.— Боюсь и говорить.

— Какой стал пугливый! — засмеялась она.— Отчего бы это? Говори, не задавайся. Больше всего на свете не люблю задавак.

— А кого больше всего любишь?

— Таких любопытных, как ты! — задорно выпалила она, сама не зная, смеяться ей после этих слов или печалиться...

Юрий в третий раз вздохнул и умолк. Она внимательно посмотрела на него и тоже притихла. За вербами, за туманом в озерке тревожилась птица, плескалась рыба, а за дорогой совсем неожиданно запел лесной жаворонок: ли-ли-ли-ля, ю-ля...

Так, кажется, и век можно было простоять, со страхом и надеждой ожидая, что будет дальше. Смотрит она на парня и не узнает: неужели это Юрко, тот самый, какого она видела несколько дней назад? Как он подобрел, похорошел, как светятся в темноте глаза, как он славно... молчит.

— Так что же случилось с тобой? — Она доверчиво, словно это был не Юрко, потянулась к нему, и за этими словами трепетала ее раскрытая душа.

Юрий посмотрел на нее и тихо ответил:

— Вот хочешь верь, хочешь не верь, Христинка: полюбил я тебя, ей-ей, не вру.

— Ой!.. Когда ж ты успел? — Девушка испуганно отстранилась от парня, веря и не веря его словам.

— Думаешь, я знаю?.. Еще когда-то Роману говорил, чтобы он пригляделся к тебе и проводил бы до ветряка. А теперь, видишь, сам пришел, потому что не могу иначе. И где только мои глаза раньше были, я так мало смотрел на тебя!

— Можно подумать, теперь больше смотришь.

— Теперь хоть и не вижу, а все время смотрю: стоишь и стоишь перед глазами. Потому что люблю.

— Ой, как страшно! — Христина закрыла лицо руками, и плечи ее задрожали, как от плача.

— Что ж тут страшного? — растерялся Юрий, и сам пугаясь чего-то. Он дотронулся пальцем до ее плеча.— Отчего ж тебе страшно?

Руки у девушки беспомощно опустились.

— Оттого, что я ни с кем, ни с кем никогда не говорила об этом.

Юрко посмотрел на нее правдивыми глазами.

— А я говорил, да все в шутку. Молол, лишь бы мололось, сватался на пруду при всех то к одной, то к другой, чтоб веселее было, а по-настоящему никогда...

— Правда? — встрепенулась Христина, радуясь и сомневаясь: парень-то озорной, девушки так и липнут к нему.— Правда?

— Побей меня бог! — Он взял ее за руку.

Она вдруг притихла, опустила глаза, а потом снова покосилась на Юрка, не зная, говорить ему что-нибудь или нет... И не было уже вокруг ни верб, ни озерка, ни леса, ни хаты. Были только двое смущенных и счастливых людей на земле...

Сколько они так простояли, молча беседуя и млея от дум, она не помнила, но когда подняла голову, у нее от испуга похолодело в груди.

— Ой, Юрий, скоро заря...

— Да что ты, Христинка? — удивился он.— Только вечер настал.

— Какой там вечер! Слушай! Утки перелетают.

Низко, должно быть над самыми вербами, едва-едва видными в темноте, пролетели невидимые крыжни, словно убаюкивая крыльями предутреннюю тишину: тиш-тих, тиш-тих!

— Неужели утро? — Юрий прислушался к шелесту птичьих крыльев и недоверчиво посмотрел на небо.

Христина даже закрыла лицо руками.

— Утро. Ой, и сказать стыдно! Разве еще вчера я поверила бы, что могу простоять до свету?

— До чего же теперь ночи коротки.— Юрий успокаивающе взял ее за руку.

В душе он, конечно, говорил вовсе не эти слова, и девушка понимала все, что он хотел сказать.

— Пусти, Юрий!

— Еще хоть немножко постой.

— Люба проснется. Что она только скажет мне?

— А что ей говорить? И Роман простаивал с нею до утра, это уж такое дело.

— Роман? — сама не зная зачем, переспросила она и вспомнила тот вечер, когда встретила его по дороге на мельницу. Он еще хвалился посадить ее на плечо...

Юрий довел девушку до крыльца. Она взбежала по ступенькам, еще раз оглянулась на пороге, заперла за собой дверь и уже сквозь замочную скважину тихо проговорила:

— Доброй ночи, Юрий!

— Доброй ночи, Христинка! — Парень одним прыжком очутился на крыльце, но уловил только пугливое «ой» и скрип двери.

Ну можно ли позабыть такой вечер и ночь?

— Христинка!

Воспоминания бросаются врассыпную спугнутыми зайчатами, руки на древке грабель немеют, а глаза, радостно расцветая теплотой и доверием, находят Юрка, который уже вступает в круг поющих девушек...

IX

Левко даже потемнел за эту весну и — надо не надо — безжалостно показывал свой нрав. Родных братьев— и тех не жалел. Ни за что ни про что награждал их подзатыльниками да затрещинами. И как-то в поле, ранним вечером, когда он очень уж разошелся, близнецы в первый раз взбунтовались, подняли на старшего кулаки.

— А ну, братец, повоевал — и будет! — стал перед ним упрямый Григорий.

— Это ты, жидкоплечий, против меня?! — в изумлении остановился Левко, от обиды и ярости его светло-желудевые глаза потемнели и широкая, негибкая шея по-воловьи

напряглась. — Против меня? — зарычал он, готовясь к драке.

— Можем и против тебя, не такая уж ты великая шишка, чтобы лупить нас. Чего ж из-за паршивой юбки и самому терзаться и нас терзать? — понуро бросил из-за спины Григория Данило, тоже сжав кулаки.

— Из-за какой еще юбки? — вскипел Левко и, не помня себя, двинулся на Данила.

— Знаем, из-за какой! — Данило, самый слабый из близнецов, настороженно вытянулся и еще крепче сжал кулаки.

Левко пожирал брата ненавидящими глазами.

— Нет, ты мне скажи! А то прибью, как шелудивого щенка. Из-за какой юбки?

— Из-за Христининой!— не слишком испугавшись угрозы, ответил Данило.— Думаешь, мы не понимаем?

— Из-за Христининой? — удивился Левко.

А Данило подсказал:

— Если уж решил бить, так бей Звонаря. И мы пособим, даже магарыча не стребуем.

И вдруг вся злость Левка погасла, как болотный огонек. Он круто повернулся и ушел от братьев в сырую глубь сумерек, дрожащих и, казалось, медленно круживших на крыльях весеннего ветерка.

Так вот оно как! То, в чем он, Левко, и себе не признавался, то, что давил в душе, как гадину, уже известно братьям... Да неужели он и в самом деле так... привык к Христине? Левко и теперь не хотел признаться себе, что к нему пришла любовь. Кто еще знает, что такое эта любовь и с чем ее едят... А привыкнуть можно даже к пеньку. Взять хоть Матвия Боцюна: как свои пять пальцев знает мужик все окрестные леса, все закоулки, все укромные уголки, а отдыхает только на одном дубовом пенечке, там, где под корнями, запыхавшись, неровно дышит родничок. Вот и он, Левко, походил немного к Христине и привык к ней. Девушка она и впрямь славная.

Но, вспомнив, как холодно встречает его теперь Христина и какими улыбками дарит Юрка, Левко заскрежетал зубами. И с чего бы ему думать о ней? Что там, у этой невесты? Один хвост в хлеву да клочок поля, на котором из-за осота и хлебов не видно. Зато как похорошела сама Христина! И выросла, окрепла — сила для хозяйства есть. Еще, глядишь, выхватит Юрий хозяюшку...

И при этой мысли Левку чуть ли не впервые за всю юность стало тоскливо. Может, и в самом деле обмолотить Юрка, как сноп? Не он же первый пришел к Христине! Придется, верно, как-нибудь вечером вздрючить, хоть за длинный язык. Ну, а дальше что?

Думы раздирали душу Левка, все время, как бабочки вокруг огня, носились вокруг Христины, то приближали, то отдаляли ее, то бросали в объятия Юрия. И тогда Левко даже кулак заносил, словно перед ним вот-вот должен был появиться противный и языкатый Звонарь — и откуда он только взялся, Левку на беду? Вон Зося Романовская, верно, из-за Юрка скоро с ног свалится, а ему хоть бы что. А ведь у Зоси и приданого больше, у старого Кароля даже хуторок есть. Да и с лица Зося не хуже Христины. Другой бы вприпрыжку пустился к такой девушке...

Прошло еще несколько тяжких дней и ночей. Левко и так и сяк шевелил мозгами,— ворочались они теперь, как мельничные жернова. Он торговался со своими мыслями, как с цыганами на ярмарке, но что он мог выторговать? Парень наделял Христину изъянами, чтобы отвязаться от нее, а она всякий раз вставала перед глазами все более красивая и милая. И с чего бы? Однажды он даже задумался: не подсыпала ли она ему приворотного? Ведь пакостницы девки как только не измываются над нашим братом, какими только зельями да кореньями не присушивают парней!

Перед самой троицей старый Щербина с женой поехали на ярмарку в уездный город. С ярмарки старики вернулись навеселе. Гнат еще с порога улыбнулся Левку, залюбовался его медлительными движениями, хмурым лицом и произнес одно только слово:

— Жених!

— Какой жених? — удивленно глядя на отца, спросил Левко, ощутив гадкий холодок в груди, словно ему за пазуху положили лягушку.

— А он, старуха, и не знает, какую мы ему кралю высватали!— Гнат, у которого светилось улыбкой все лицо и даже подвижной полумесяц бороды, подмигнул лукаво своей Ганне.

— И век бы не догадался... Вот, сынок, кажется, счастье само плывет тебе в руки! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!— Мать сплюнула через левое плечо и припала к Левку. От нее пахло ярмарочной водкой.

— Одевайся, дитятко, да живо к невесте! Мешкать

нечего,— приказал Гнат, прощупывая рукой спину сына, словно шкуру коня.

— К какой невесте? — спросил Левко, подозрительно глядя на отца и в душе браня его за торопливость: «Поспели бы еще с козами на торг...»

— К какой? К самой Орине Окунь! — Гнат торжественно поднял растопыренную, пропахшую конским пóтом пятерню и доверительно улыбнулся сыну.— Вот какую нашли тебе пару! Пусть теперь все богачонки грызут себе локти от злости. Щербина и тут обскакал их. Это ведь Щербина, не кто-нибудь.

— Нужна мне ваша Орина, как зайцу бубен! — презрительно фыркнул Левко и отвернулся к окну.

— Ты что, лоботряс, говоришь? Тебе уже и Орина Окунь не пара? — Гнат даже отпрянул в изумлении.— Так какой же тебе леший нужен? Голодранка в одной задрипанной юбчонке или нищенка с базара?

Левко сразу же огрызнулся:

— А вы, бедненький, и не знаете, что Орина уже несколько лет провожает женихов тыквами? Хотите, чтобы и мне поднесли печеную или сырую тыкву?

Отец засмеялся.

— Дурак! Тебе не поднесут.

— Это с какой же радости? Что я, богаче прежних женихов?

— Не богаче, а беднее! Потому и пристраиваю тебя к ней, дурака! Мы с Окунями уж и магарыч запили. Им тоже надоело морочиться с дочкой.

— Проворны вы насчет магарыча!

— Ты мне поучи отца! Я знаю, что делаю!— в голосе Гната послышалась угроза.

— Вы все знаете. А у девки спросили?

— Нечего и спрашивать. Заартачится — так родители связанную поведут под венец.

— И что вы только говорите?! Это Орину-то — связанную под венец?

— Ты меньше мели языком, а живо, пока ночь не настала, беги к невесте! Ей, верно, и самой надоело перебирать... Окуни дают за нею три с половиной десятины, волов-третьяков, плуг, культиватор, борону и такой сундук приданого, что на паре коней с места не сдвинешь.

— Не хочу ни их земли, ни их сундука! — неожиданно для родителей и для самого себя выпалил Левко, хотя перед

глазами, как живые, мелькнули Оринины волы, и земля, и сундук — кому бы они не пригодились!

— Это еще что за новости? — вскипел отец.

— Какие там новости? — Левко невинными глазами посмотрел на отца.— Что я, не знаю натуру этой бессовестной? Не желаю быть посмешищем — и все. Вот увидите, завтра же по всему селу зазвонят: «Полез Левко за десятины, как вол в ярмо...»

— За десятины не только в ярмо, и в ад можно полезть,— поучительно сказал Гнат.— Только там, у чертей, кроме смолы, ничего нету. Одевайся, будет болтать!

— Глядите, из этого пива и кваса не выйдет,— сердито ответил Левко.

— Ну, пусть даже и не выйдет! Много ты от этого потеряешь? Голова с плеч не слетит, а что скажет какой дурень, словом больше или меньше — так это пустое. Окунь уж так обещал... И сам не знаю, чего он так раздобрился? — В голове у Гната только теперь мелькнула противная догадка: «А вдруг Орина согрешила, как и мать ее в молодости?.. Нет, навряд ли. Просто Окуни боятся, чтоб дочь не засиделась в девках. Кому она будет нужна после двадцати лет?»

Просьбами и угрозами родители все же спровадили сына к Окуням. Левко, чертыхаясь, долго ходил вокруг хаты старосты. Все обдумывал это неожиданное сватовство, но перед глазами его стояла не Орина, а Христинка. Вот бы ей эти три с половиной десятины! Наконец парень подошел к калитке, вошел во двор и тут же, на перелазе возле старого сада, увидел Орину, которая как будто нарочно ждала его. Еще, глядишь, и вправду захочет за него выйти... И даже земля Окуней сегодня стала Левку поперек горла. Что он, продался за те десятины, которые Окунь с кровью вырывал у мужиков? Может, осенью ему, Левку, еще больше нарежут от господского поля. К тому идет.

— Добрый вечер, Орина.— Левко неохотно подошел к девушке и уставился на нее недобрым взглядом: пусть видит, что женишок не из деликатных да жалостливых.

— Здравствуй, Левко, если не шутишь,— отрывисто ответила Орина, спрыгнув с перелаза, и тоже неприязненно, даже насмешливо, посмотрела на гостя.

«Ну и леший с тобой!» Левко нахально поставил ногу на перелаз, положил на колено руку, подпер ладонью щеку и долго смотрел на старый сад.

— Уродилось у вас в этом году?

— Уродилось. Сразу видно хозяйского сына! — с издевкой ответила девушка.

— Ну и ладно. А что еще видно?

— Кудри твои, гвоздем завитые.

— Врешь. Они у меня сроду так.

Снова долго молчали. Наконец Орина первая спросила:

— Левко, ты меня сватать пришел?

Он сплюнул и неохотно ответил:

— Больно ты мне нужна, стану я еще такое счастье сватать!

Орина даже вскрикнула от неожиданности:

— Ой, в самом деле не нужна?

— А на что мне врать? Какая мне от того выгода? — пожал плечами Левко.

— Так зачем же ты пришел? — все еще не веря, спросила Орина.

— Да, видишь, и твои и мои старики взбесились на ярмарке, напились или белены объелись, и сам не знаю. Ну, и погнали меня силой к вам. Не воевать же мне с ними!

— А ты не хочешь сватать меня? — В голосе девушки зазвенела радость.

Левко вскипел:

— Да что ты прицепилась со своим сватовством? Нужно оно мне, как собаке печеная луковица!

— Левко, да ведь ты лучше всех! Никогда бы не подумала, что ты такой! — Орина привлекла к себе упрямую голову парня и влепила ему в щеку поцелуй.— Слышишь, лучше всех!

— Да, ничего, для себя недурен.

— Спасибо, Левко! — Орина счастливо улыбнулась.

— Ну вот, поговорили и поженихались, на радость родителям,— улыбнулся и Левко.— А кого же ты, Орина, дожидаешься и дождаться не можешь? Бову-королевича или принца заморского?

— Кого жду, тот не придет,— помрачнела девушка.— Еще раз спасибо тебе.

— Спасибо-то спасибо, а что я своим скажу? — Левко почесал в затылке.

— Вали все на мою голову. Про меня в селе и без того немало болтают всякой всячины. Ну, и ты добавь от себя: мне хуже не станет.

— Ну и ладно. Ты тоже, Орина, молодец.

Левко обнял девушку, отдал ей поцелуй, взамен получил затрещину, игриво хохотнул и, повеселевший, вышел на улицу, удивляясь женскому полу и думая про свое. Вот теперь он покажет родителям свое право. Дважды они сватали его, и ничего не вышло, а в третий раз посватается сам... И пусть теперь отец хоть пальцы грызет — Левко сделает, как задумал.

Сам пью, веселюся,
Сам стелю и сам ложуся...

У парня посветлело на душе от собственного решения и от своего неожиданного великодушия: ведь не кто-нибудь, а он, хозяйский сын, осчастливит Христину. Ей и во сне, верно, не снилось ничего подобного. Сама не раз говорила, что он не посватает ее. А он взял да и посватал. Ведь у Левка так: думать так думать, а уж сказал — сноп связал!

Левко выпятил грудь, любуясь собой, и с гордой улыбкой свернул в переулок. С каждым шагом он все больше поднимал себе цену, и только одного ему было жаль: нет у Христины трех с половиной десятин, а то он, как говорит Юренко, был бы кум королю. «Ну да ладно, полторы десятины даст отец, десятину я подкуплю, десятина за невестой, а там, глядишь, еще на клочок сколотим, ну и будем жить не богачами, однако не хуже людей».

Над ним в ночной темени весело и таинственно шелестели придорожные вербы, словно и в их истлевшие души проникали обнадеживающие мысли Левка. Он прислушивался к шелесту деревьев, а перед глазами стояло удивленное лицо Христины. Что она скажет ему? Или, может, онемеет от радости? Вот, девка, ты и не знаешь, что к тебе счастье идет!

Войдя в сонный двор Гордиенчихи, он не постеснялся вызвать девушку из хаты — он уже и на хату смотрел по-хозяйски, как на свою. А что ж? Разве они втроем не проживут здесь? Хата не так уж и стара. Гордиенчиху можно и в постоялки куда-нибудь спровадить, посмотрим еще, что к чему...

Когда встревоженная Христина стала на пороге, он сразу обнял ее.

— Ты что, Левко, не в своем уме? — зашипела девушка, выскальзывая из рук.

Парень засмеялся.

— Еще как в своем! Это прежде он у меня малость не дошел до метки.

Невольно рассмеялась и девушка.

— А теперь подошел, как тесто?

— Как пшеничное тесто,— подтвердил он и снова потянулся к девушке.

— Поди ты, бешеный, со своим тестом! Чего липнешь, как смола?

Левко лукаво и весело улыбнулся.

— Знаю чего. Я тебе, Христина, скажу кое-что, интересное-преинтересное.

— Затем и притащился?

— Не притащился, а прилетел.

— Так хотелось свое «преинтересное» сказать?

— А что ж! — гордо выпрямился Левко.

— Ну, говори.

— Сразу?

— Можешь и по частям!

— Ну, так держись за стену, чтоб не упасть.

— Держусь. Говори!

И Левко, прищурясь, выпалил:

— Решил я, Христина, сватать тебя.

Девушка вскрикнула от неожиданности.

— Что ты, Левко? Или пьян? Чего плетешь на ночь глядя? — И она подалась в сени.

Левко счастливо засмеялся.

— Не плету, а чистую, как слеза, правду говорю, не кому-нибудь, а тебе принес ее. Хотели женить меня на Орине Окунь, на богатство ее позарились, а я перевернул все по-своему и пришел к тебе. Вот как бывает.

— Да ведь у меня нет приданого, как тебе надо,— удивилась и забеспокоилась девушка.

— Пустяки, наживем!

Левко, вырастая в собственных глазах от своей щедрости, снова протянул руки к Христине. Но та отошла от него и вздохнула.

— Ступай, Левко, к Орине, как родители велели.

— Ты что, девка? — не веря своим ушам, спросил он.— Ты что?

— Ничего. Так будет лучше.

— Неужели не пойдешь за меня? — с ужасом спросил Левко, только теперь сообразив, что никогда не заикался ей о женитьбе.— Не пойдешь?

— Не пойду.

— Да почему? Другой есть?

— Есть,— твердо ответила девушка.

— Звонарь тебе голову вскружил?

— Звонарь.

— И на что он тебе сдался? — чуть не застонал Левко.— Он же беден, как церковная крыса! И потом — разве ты забыла, что я раньше пришел к тебе, когда Звонаря еще не было и в помине? Передумай, пока не поздно.

— Не передумаю.

— Ни за что?

— Ни за что и никогда,— ответила Христина.

— Ну, я ему! — Левко погрозил кому-то кулаком и, нагнувшись, как пришпоренный, выскочил со двора, не зная, что ему делать: криком кричать с отчаяния или идти бить Юрка?

Он остановился в тяжком раздумье под вербой, и она противно заскрипела шершавым, старческим стволом.

X

Под луной задремала земля, задремал на теплой груди ее и маленький хуторок, самое большое утешение Кароля Романовского. Как, бывало, ни утомишься, как ни измучаешься, как ни иссушит сердце забота, а придешь сюда, походишь под деревьями, полюбуешься на пруд, прислушаешься к мирному плеску рыбы, потрогаешь молоденькие, еще покрытые пушком яблоки — и в душу прольются тихое раздумье и покой; поверишь даже, что дальше в жизни ждет тебя только хорошее. Вот и сейчас, накосившись, Кароль бродит и бродит под деревьями, хотя давно пора ему ехать домой, к не слишком ласковой жене.

На пруду все еще полощется Зося: стоит, нагнувшись, на гибких мостках и стирает какие-то тряпки. Отец подходит к дочке, она выпрямляется, закидывает косу за спину и чуть-чуть улыбается грустными глазами, на которые месяц стряхнул две росинки. Все печалится и печалится девка. Ей замуж пора, а не идет, хотя и попадались хорошие люди. Мать порой принимается пилить ее:

— Пора, девка, перебираться на свой насест, а то и оглянуться не успеешь, как назовут перестарком.

— Я еще, кажется, вашего хлеба не переела,— бросит Зося, вспыхнув, как пион, схватит платок — и вон из хаты.

Хлеба она и в самом деле не переела — работящая и хорошая дочь а только что грызет ее? Может, любит кого, а он и усом не ведет? Не может этого быть! Девушка красивая, даже мелкопоместные шляхтичи сватались, да и приданое не хуже, чем у других... Не разберешь их, теперешних. А жаль дочку. Другая мать разузнала бы, откуда печалью повеяло, а его Ягна только отчитывать умеет, бранить да корить. Кароль кладет свою сильную костлявую руку на хрупкое плечо Зоси, заглядывает ей в глаза и сам мрачнеет.

— Чего ты, дочка, все грустишь? Не больна ли?

— Нет, папа.— Зося встрепенулась, посмотрела на отца и отряхнула с рук капельки воды.

— Может, к Василине тебе пойти, даст какого-нибудь зелья.

Зося вздрогнула и снова внимательно посмотрела на отца: не узнал ли, что она и в самом деле ходила к Василине за зельем и советом, только по другой причине?

— Не надо, папа.

— А что же с тобой? Может, я помогу?

— Ничего у меня нет. Откуда вы взяли? — у Зоси дрожат влажные, блестящие губы и тоненькие, подвижные складочки под узкими глазами.

— В самом деле?

— Ничегошеньки.— Она виновато опускает глаза. Значит, все-таки что-то скрывает от него. Но силой девичью душу не разворошишь, как траву, где затаено соловьиное гнездышко. Только какая в это гнездышко напасть забралась?

Кароль гладит дочку по голове, как маленькую, обнимает, касаясь губами пропахшей сеном и земляникой косы.

— Пусть у тебя все будет по-хорошему.

Зося по-детски припала к отцовской руке и едва сдерживает слезы.

Кароль, чуя недоброе, задумчиво посматривает на свою любимицу.

— А может, доченька, вместе домой поедем? Чего тебе тут скучать? Тогда буди Костя.

— Нет, папа, мы останемся: надо утром сено переворошить, сгрести.

— Ну, как хочешь, воля твоя. Будь здорова.— Он сжал руками плечи дочки и пошел к лошадям, стоявшим у камышовой изгороди, из-за которой доносится нежная музыка полусонных ульев. Пчелы-труженицы не отдыхают и ночью — просушивают крыльями мед.

Вот по дороге затарахтела деревянная разбитая телега, а на ней замелькала статная фигура отца, по-юношески прямо стоявшего на полке. Зося испуганно оглянулась, не в силах разгадать, что в этот вечер творится вокруг нее.

Необычайна вечерняя синева над хутором: кажется, что можно подойти к ней вплотную, раздвинуть руками, словно вон те кусты жасмина, и увидеть что-то совсем неожиданное. Под луной, то темнея, то светлея, движутся сизые тучи, волнуются темные хлеба, а тени деревьев дрожат, как чьи-то заколдованные души. А может быть, это и в самом деле чьи-то души или видения теснятся вокруг Зоси, с тех пор как она, затаив страх и тревогу, стала ворожить?

Две луны — одна с синего неба, другая из темного пруда — смотрят на нее и хотят ей что-то сказать. Неужели они знают, что она собралась вымаливать у месяца свою любовь? Истома и страх охватывают девушку, она снова словно не своими глазами смотрит вокруг, и ее поражает даже пасека. Небольшие нарядные ульи кажутся жилищами ее неведомых союзников в колдовстве. Из овражков выползает таинственный мрак и тоже приближается к девушке. Она тревожится, ей боязно теперь идти в сторожку, где в омшанике стоит девятидневный навар волчьего лыка. Чтобы отогнать страх, Зося подходит к крайнему улью, дотрагивается пальцами до пасхального яичка, к которому не пристанет ничто дурное.

В тихих полях протарахтела подвода, и до хутора долетела девичья песня:

— А что тебя принесло —
Седелышко аль весло?
— Принес меня вороной
Прямо к девице в покой...

Песня перебила страх, и девушка снова подумала все о нем же, о Юрке. Хоть бы раз принесло его к ней, хоть бы раз, чтобы она могла открыться ему; тогда Юрко поймет, что никто, ни одна душа на свете, не любит его, как она. Но парень никогда и не глядит в ее сторону. Так, может, теперь поглядит? И Зося с тоской и непогасшими надеждами видит вдали его, свое горе и свою любовь.

Она тихо заходит в сторожку, смотрит на простенькую, кое-как сбитую кровать, на которой сладко, раскрыв рот, спит Кость. У ног мальчика гнездом сбилось пахучее холмовое сено, девушка поправляет его и, вновь охваченная стра-

хом, идет в свой тайник. Там она ощупью находит кринку с отваром и осторожно, как лунатик, выходит из хутора.

На тропинке ее встречают дремлющие колосья, всхлипы росы и пение перепелки. Как славно и страшно вокруг! Приближается пора, когда Купала сеет любовные чары, а месяц выбеливает хлеба. Хоть бы капелька этих чар пала на Юрка и приворожила его! Какое это было бы счастье, какое счастье!..

Зося с опаской крадется к лачужке знахарки Василины. На трясине и до сей поры кто-то возится. Ага, это Давыд копает рвы, чтобы выгнать из болота кислую воду. Вот мучится же человек, а как любит свою Уляну! Хоть бы малая толика любви перепала ей, Зосе, больше ничего на свете не надо... Страшнее всего идти через село. Ведь надо, чтобы никто не увидел ее с этой кринкой, которая шевелится, словно живая, и чуть не выскакивает из рук. Зося осторожно, как птица, идет мимо хат, готовая пуститься наутек при первом шуме. На размытой плотине ее напугал лошадиный череп; он полуистлевшей глазной впадиной жутко смотрит на девушку, словно знает о ворожбе. И только миновав череп, она вспоминает: его закопали, чтобы черти не прорвали плотину. Но почему именно теперь понадобилось ему высунуться из земли?

Вот и Христинин переулок — теперь сюда чаще всего ходит Юрко. Девушка оглядывается по сторонам и, слыша, как стучит сердце, подымает кринку и лицо к месяцу и обращается к нему с заклинанием:

— Месяц-сударик, я — девушка, ты — парень, не дай в девках век вековать, любви не узнать, приворожи его, Юрка, ко мне...

Месяц смотрит на девушку и не то хмурится, не то улыбается, а возле него пролетают облачка, как растрепанные, потревоженные духи, и Зося боится распознать в них страшилища, которые после будут мучить ее во сне. После заклинания она, пригнувшись, крест-накрест поливает отваром дорогу. Струйки зелья журчат в глубоких колеях, шелестят в курчавом шпорыше. Пусть по торной тропе или по зеленой мураве, а придет к ней любовь!

Не успела Зося вылить последнюю каплю зелья, как под вербами раздались чьи-то шаги. Девушка испуганно прижалась к плетню, глянула и, обомлев, увидела Юрка.

«Неужели и вправду чары так быстро приворожили его?»

Зося, зажмурясь, так и вросла в плетень, позабыв перебросить через него кринку из-под зелья.

Юрко удивленно останавливается перед ворожеей, внимательно смотрит на нее:

— Зося, ты чего здесь в такую пору?

— Ничего,— шепчет она, поднимая на парня глаза, налитые печалью, страхом и невидимыми слезами.

— А-а-а, верно, кому-нибудь молоко носила? — говорит Юрко, увидав прижатую к груди девушки кринку.

— Носила.

— Хорошая у вас корова?

От такого неожиданного вопроса на губы Зоси ложится тень бледной улыбки.

— Хорошая. И молоко густое.

— Даже теперь, в косовицу?

— Даже теперь.

— Поздненько ты,— покачивает головой парень.— Не побоишься одна домой идти?

— Нет.

— А то, может, проводить?

Вот и пришло то, чего она так мучительно долго и напрасно ждала. Вот она может до самого дома идти с Юрком и раскрыться перед ним, как об этом думалось на хуторе, но ее губы помимо воли шепчут другое:

— Сама дойду.

— Ну, как хочешь. Будь здорова.

И он ушел, а она так и осталась возле плетня, не зная, горевать ей или радоваться...

Девушка снова поднимает голову к месяцу, шепотом благодарит его за то, что уже приворожил Юрия, но ее беседу с месяцем вдруг обрывают крики. На улице, кажется, подрались, кого-то вроде бьют. Она различает голоса Юрка и Щербины. Девушка крепче прижимает кринку к груди и стремглав бросается на шум.

Посреди узенькой улицы, взбивая пыль, катаются неистовым клубком парни. Трое Щербин, как могут, безжалостно колошматят и лупцуют Юрка, а он, увертываясь, отбивается от них молниеносными ударами.

— Ломай, ребята, плетень! — запыхавшись, командует Левко и размазывает по лицу кровь.

— Я тебе выломаю! — наскакивает на него Юрко, но его с двух сторон отбрасывают кулаками Григорий и Данило.

— Левко, Григорий, Данило, что это вы надумали?

Втроем на одного! Где ж у вас стыд? — бросается к Левку Зося.

Тот воровато отводит от нее глаза.

— А что же он...— Левко запинается, не придумав, в чем обвинить Звонаря.

— Что он? — допытывается Зося.— Межу запахал или хлеб потравил?

— А тебе все знать надо! — сердится Левко.— Ну, счастье твое, только не минуешь наших рук! — грозит он Звонарю кулаком и круто поворачивает домой. За ним молча, оправляя одежду, бредут братья...

На другой день Левко в Синяве, недалеко от парильни, встретил Юрка, смерил его с головы до ног и тихо буркнул:

— Поговорить нужно.

Юрко, как раз собравшийся шпунтовать осиновый гонт, встал.

— Вчера не наговорился?

— Да вчера больше кулаки беседовали,— ничуть не смущаясь, ответил Левко.— А в кулаке ума немного.

— Ну, домеливай языком, поглядим, сколько в нем ума: может, больше, чем в голове,— едко заметил Юрко, сразу переходя в наступление.

— Отойдем-ка подальше,— Левко сердито кивнул головой на гонтарей,— мешают.

Оба молча отошли за парильню, стали друг против друга, скрестили угрюмые взгляды.

— Говори, что у тебя? — Звонарь ожег глазами Щербину и невольно сжал кулаки.

Левко тоже насторожился, готовясь к драке, хотя у него еще ныли вчерашние синяки.

— Слышишь, Юрий, чтобы не было меж нами потасовки и всяких таких штук, отступись от Христины.

Юрко присвистнул:

— Ох, и дурак же ты, Левко, а еще ездишь на ярмарки. Докупил бы там ложки две того, чего у тебя недостает.

— Кто из нас дурак, а кто умник — это еще видно будет.— Левко сразу и побледнел, и покраснел.— А не отступишься — укокошим и греха не побоимся. Вот тут в Синяве и найдут тебя, а уж где похоронят, не знаю.

Юрко криво улыбнулся.

— Славную песню поешь, Левко, даже ворону лучше не спеть.

— Какое умение, такое и пение... Так стоишь на своем или, может, отступишься?

— От счастья не отступаются, Левко.

— Ну, а совесть у тебя есть?

Юрко засмеялся.

— Кому бы говорить про совесть...

— А кто первым к Христине пришел — я или ты?

— Ты, Левко. А кто первый сказал, что не станет ее сватать?

— Так ведь я пошутил, а в голове другое было.

— У тебя, Левко, голова вроде горшков-близнецов: в одном — борщ, а в другом — каша.

— Отступись, Юрко, а то заколотим до смерти.

— Ты бы хоть другую затянул.

— И затяну!

— Какую же?

Левко хмуро отрезал:

— Пойду к начальству и скажу, что ты поджег господские стога.

От такой наглости Юрко сперва оторопел, а потом, позеленев, заметил:

— Из тебя, Левко, ничего дорогой не вытрясло? Ты что, забыл, что это ты поджег стога?

— Не забыл, а только ты вспомни: кто меня подговорил, когда увидал спички? Стало быть, вина твоя, а я, выходит, в стороне... Так слышишь: отступись от Христины — буду молчать, как земля!

Юрко яростно махнул кулаком.

— Ступай, мразь, хоть сейчас говори! Беги, стерва, бегом! Вприпрыжку лети к барину!

— Да не ори ты, полоумный, услышат еще,— вдруг боязливо зашипел Левко, озираясь.— Это я тебя на испуг хотел взять... Слышишь, на испуг...

XI

За эти дни близнецы прозвали своего старшего нелюдьком, и прозвище очень им понравилось,— уж больно хорошо выговаривалось: Левко-нелюдько. Теперь даже старый Гнат заметил, что с сыном творится неладное, и когда тот совсем по-дурацки проторговался на ярмарке, отец накинулся на него.

— Похоже, поубавилось у тебя тут,— постучав пальцем по лбу, заметил Гнат.

Левко вспыхнул, и слова его заклокотали, как кипяток в чугуне:

— Когда кое-кого цыгане надувают, я не говорю, что у него в котелке поубавилось.

Отец понял намек, отвел руку и тут же, на торгу, в сутолоке людей и лошадей, огрел сына ременным кнутом, приговаривая:

— А нас, дитятко, бывало, и так учили, чтоб не больно задавались.

Но второй раз стегануть парня по плечам не удалось: Левко выхватил кнут, переломил о колено кнутовище, бросил обломки под ноги оторопевшему отцу и ушел к лоточникам.

— Чумовой! Тьфу на твою тупую голову! — выругался Гнат и сердитым кивком головы приказал близнецам приглядеть за паршивым остолопом.

Данило и Григорий сразу же весело нырнули в толпу и пошли за старшим. А тот понуро остановился возле лотков, где нежно трепетали девичьи ленты, цвел в свертках пестрый ситец, поблескивали золотом и камешками сережки и алели недозрелым шиповником те самые кораллы, которые не дают подольским девушкам спать по ночам.

И тут братья убедились, что у Левка и в самом деле поубавилось под черепком: он, словно щеголиха какая, внимательно разглядывал ленты, по-барышнически прощупывал материю, смотрел на солнце кораллы и наконец купил черный терновый платок, свернул его, сунул в карман, и не успели братья опомниться от таких чудес, старшего как водой смыло.

Данило и Григорий с ног сбились, разыскивая брата, потом поплелись обратно, рассуждая, что должен же Левко наконец явиться к подводе. Но он не явился до самого конца ярмарки, когда лучи солнца стали уже цепляться за гребни поседевших кровель.

Гнат, браня в душе своевольного упрямца, запряг лошадей и так гнал их до села, что они из шкуры вон лезли. Однако Левка не было и дома. Отец уже не только оставил мысль поучить сына плетью, но и сам не находил себе места, дожидаясь своего любимца,— и в кого он только пошел такой! В кого же, как не в отца? И сердце Гната все смягчалось и смягчалось. «Нет, этот норовистый кудряш не пропадет!»— думал Гнат, глядя, как на западе гасли две красные ленты,

как синяя мгла подступала к жилищам и зажигала над ними первые звезды.

А между тем Левко, добравшись вечером до села, украдкой бродил по переулкам вокруг хаты Христины. Здесь он укрощал юношескую гордость, здесь, как мог, пытался вычерпать хоть немного боли из души,— но тщетно, боль снова натекала в душу, и сердце противно сжималось.

Если бы кто-нибудь зимой сказал Левку, что он будет вот так мучиться из-за девушки, парень только расхохотался бы, а теперь того и гляди до слез дойдет. И главное — по ком страдать? Еще каких-нибудь два года назад он кнутом постегивал Христину, чтоб не насмешничала, а теперь она его петлей захлестнула, будь ты неладна... Оскорбленное чувство и остатки гнева, как враги, бились в его душе, и не было от них ни спасения, ни просвета.

Когда потемневшие хаты вытолкнули месяц на чистый небесный плес, Левко увидел возвращавшуюся с работы Олену. Он переждал, пока она войдет в дом, и проворно, чтобы никого не встретить, последовал за ней. Олена, увидав его на пороге, так удивилась, что и слова не могла выговорить, а потом засуетилась, обмахнула передником лавку.

— Садись, Левко.

— Да я постою, тетушка Олена,— замялся парень, приглядываясь к женщине и улавливая в ее лице черты, перешедшие к Христине. Только глаза у Олены были грустные и глубже, чем у дочки, а руки так потрескались, как будто на них остался след дратвы.— Славная еще у вас хата,— Левко смущенно перевел взгляд на стены и потолок.

— Хата теплая, люди добрые, — улыбнулась Олена.

— Что верно то верно, добрые, потому я и пришел к вам, тетушка Олена.— И он с болью посмотрел ей в глаза.

— Спасибо, Левко, на добром слове,— ответила Олена, догадываясь уже, зачем пришел парень.

— Хотел я поговорить с вами насчет того, о чем никогда и говорить не доводилось.

— А может, тебе сперва с Христиной перемолвиться? — деликатно спросила Олена.

— Нет, с вами.

— Тогда, Левко, погоди малость, я корову подою, а то она у меня такая вредная, что мигом нашкодит. Подождешь? Не торопишься?

Левко покосился на Олену — не смеется ли над ним?— но тут же успокоился.

— А что ж, подожду.

Олена схватила с лавки подойник, проворно, как и Христина, выбежала во двор, где, топоча возле выполотых васильков, блаженствовала корова. Цветы свисали с ее губ, покачивались на рогах и на спине.

«Вот эта коровка — и все Христинино приданое,— думает Левко.— Телушка была, весной продали. А она пригодилась бы в хозяйстве... Тьфу, и теперь еще все это в голову лезет!»

Левко прошелся по хате, остановился перед жердочкой, на которой висела голубенькая юбка с приставшим надломленным стебельком колокольчика. Видно, Христина принесла цветок прямо с луга. Левко, сам не зная для чего, смял рукой юбку вместе со стебельком и постоял так, в раздумье. А когда на дворе раздались шаги, он разжал руку, подошел, как пьяный, к лавке и присел у стола.

Вошла Олена, поставила подойник возле ведра с водой, вытерла руки.

— Ну, теперь, Левко, говори, с чем пришел.

— И сам не знаю, с чего начать,— с тоской посмотрел он на Олену.

— Начинай сначала,— сердечно посоветовала она, подсаживаясь.

Парень с угрюмой благодарностью кивнул головой, подбадривая самого себя, сказал:

— Так вот, вы, верно, и не знаете, что я первый из парней пришел зимою к вашей Христине? Ну, то было так просто... А теперь я полюбил ее, как душу, и не могу без нее, побей меня гром, не могу! Если бы не Звонарь, она вышла бы за меня. Да он, чертов юбочник, перешел дорогу. А какой он девчатник — это знает все село. Так что отдайте за меня Христину.

Олена вздохнула.

— Что ж тебе ответить, Левко! Я с радостью отдала бы свою дочку за тебя — парень ты славный, хозяйственный,— да как теперь отдашь?

— А вы ее уговорите и словами и слезами. Вы же мать. А я вас так стану почитать, как никого на свете, побей меня гром!— И Левку стало стыдно, что он всего несколько дней назад собирался спровадить Олену в постоялки.

— Кто ж ее, Левко, уговорит? Она хоть и маленькая, а характер у нее как камень.

— Тетенька, вода и камень долбит, неужели не дойдет материнское слово до родной дочки? И что ей за радость с Юр-

ком? В батрачестве ни солнца, ни лета красного не увидит. А со мной станет хозяйкой. Отец даст мне сразу полторы десятины, а десятину обещает докупить, ну, и ваш надел подверстаем, а скотинка будет. Вот и заживем, как люди. Разве не так я рассудил?

— Истинно так, Левко,— сердце Олены уже склонялось к хозяйственному парню. — Поговорить с девкой поговорю. Ну, а не поможет — принуждать не стану: силой ее не возьмешь.

Левко кивнул головой,

— Спасибо и за это. Так вы сегодня и поговорите?

— Как только придет с работы. Что-то долго ее нет.

Левко встает, мнется, топчется, наконец вынимает из кармана платок и подает Олене.

— Вот и передадите Христине мой первый подарок.

— Что ты, Левко! На что он?! — вскрикнула Олена и отошла подальше.

— Пусть будет, — пробормотал парень. — Пригодится.

— А если не возьмет?

— Тогда себе оставьте.

— Ой, нет, бери-ка ты его, Левко,— сокрушенно отказалась Олена.— Этак нехорошо выходит.

— Тогда я, тетенька, выброшу его в пруд. Пусть наряжаются раки. А лучше положите где-нибудь.

— Выдумал ты — и самому неловко, и мне не того.— Олена смущенно положила платок на самый край стола.— Может, выпьешь молока?

— Налейте,— охотно согласился он, рассчитывая посидеть подольше и, может быть, дождаться Христины.— А то я, как с ярмарки приехал, еще и домой не заходил.

— Так я тебе поесть приготовлю.

— Приготовьте, если уж так добры.

Олена бросается в чулан, выносит яйца, на припечке разводит огонек и при лунном свете принимается жарить яичницу. А Левко с тревогой и благодарностью присматривается к женщине, которую ему так и хочется назвать матерью. И отчего он, дуралей, раньше не подумал обо всем этом? Э, разве у него голова на плечах? Чугун пустой, а не голова!

— Что-то долго нашей девки нету. — Олена ставит кушанье на стол и заглядывает в окно.

— Долгонько. Может, копнит еще?— отзывается Левко, сам думает: «А что, если Христина встретилась с Юрком и стоит под звездами, льнет к этому оглашенному?»

После ужина Олена забеспокоилась еще больше:

— Может, она пошла почевать к Любе? Частенько ходит туда. Да ведь с утра ничего не сказала.

— Может, и у Любы,— соглашается Левко, а сам уже весь кипит: ясно, это он, Юрко, зорюет с девушкой.

Еще посидели, поговорили о всякой всячине, а Христина все не показывалась.

— Знаете, тетушка Олена, я сбегаю к Морозенкам, узнаю, там она или нет,— а то вы беспокоитесь.

— Да ведь далеко.

— А я вприпрыжку, через огороды да в лес,— дорога известная.

Левко схватил шапку и выскочил из хаты. Олена сочувственно проводила его взглядом: а ведь в самом дело, чем плохой зять? И вовсе не такой чудной, как о нем люди говорят. И то сказать — чего от людей не услышишь?

...Люба не знала, что и думать, когда, соскочив с нар, увидела в окне приплюснутое лицо Левка. Сперва, услыхав стук в стекло, она снова подумала, что это Роман. Но и нынче, и завтра, и много-много еще дней будет обманывать ее чужой стук. Одевшись, она вышла на крыльцо, встревоженно спросила:

— Чего тебе, Левко? Случилось что?

— Да ничего такого,— запыхавшись, ответил парень.— Христина у тебя ночует?

— Нет. А что? — забеспокоилась Люба, приглядываясь к осунувшемуся и от этого похорошевшему лицу Левка.

— Да ничего. Замешкалась она где-то.

Люба удивилась:

— А тебе что за печаль?

— Печаль, да еще какая! — откровенно признался Левко, повернулся и быстро пошел в село.

Месяц уже бледнел и звезд стало меньше, когда он снова пришел к Олене.

— Ой, Левко, нету? — бросилась к нему женщина, прижав руки к груди.

— Нету,— хмуро ответил он, едва сдерживая злость: где же это видано — шататься девушке до зари? Нет, и впрямь надо прибить Юрка, не то сведет с ума девку.

— Господи, хоть бы беды какой не случилось! Ведь никогда, никогда она не приходила так поздно,— затужила Олена, припав головой к стеклу.

И тут привычно, словно сердясь, заскрипели старенькие ворота и возле них показались двое — Христина и учитель.

— Вот тебе и раз! — вырвалось у Левка.— Тут чего не передумаешь, а она еще и с благородными ходит...

Не успела Христина переступить порог, как мать набросилась на нее с бранью и слезами:

— Где ты до зари бродишь? Тут вся душа переворачивается! И что это учитель с тобой?

— Ну, не надо, чего ж вы плачете? — Девушка поцеловала мать, удивленно и сдержанно поздоровалась с Левком.

— Можешь ты, наконец, сказать, где была? — допытывалась Олена, незаметно смахивая слезы.

— Могу.

— Так говори скорей.

— Сегодня после работы собрались все девушки и женщины из экономии.

— Барин собрал?

— Какой там барин! Сами собрались, чтобы в жатву бастовать. Ну, мне и пришлось бежать на господский двор — созывать челядь и тех, кто в лесу работает.

— И ты обегала все закутки?

— А что ж, ноги не купленные,— улыбнулась Христина.— Так что, мама, скоро будем бастовать.

— И учитель был с вами?

— И учитель.

— Что только выйдет из этой затеи?

— Что-нибудь должно выйти. Уже теперь Салоган обещает тем, кто на экономском котле, кормить лучше. Пронюхала, лиса, вот и подлащивается.

— А к нам Левко пришел поговорить с тобой. Послушайся его, доченька.

— Поздно,— только и проговорила Христина.

— Отчего же поздно? — По лицу Олены скользнула тень недовольства.— Ты ведь не просватана! Может, передумаешь? Левко — славный малый...

— Поздно. Я, мама, уже говорила с ним,— упрямо и устало сказала Христина.

И тогда Левко, весь кипя от несправедливости и обиды, подошел к девушке.

— Поздно, Христина, только для тех, кто умер. Как ни суди меня, а я не отступлюсь! Хоть в тюрьму пойду, хоть в могилу, а не отступлюсь! Вот и думай, что хочешь и

как хочешь! Не заставляй меня принести и себе и другим горе!

Он, пригнувшись, быстро вышел. На дворе его тень с разгона ударилась в ворота, взлетела вверх и пропала.

Ворота долго ворчливо покачивались, словно вобрали в себя частицу гнева Левка.

Мать и дочь испуганно смотрели на них, потом Олена вскинула на Христину растерянные глаза.

— Что ж ты теперь скажешь?

— А что же мне говорить? Наглец он, каких свет не видел,— ответила та, задумчиво всматриваясь, как за огородами над самым краем земли изменчиво колышется зорька.

— Однако как любит тебя, даром что сердце у него еще незрелое. Может, передумаешь? Или на своего Юрка уповаешь?

— Ой, мамочка, и вы уж знаете?..— Христина удивленно, жалобно и радостно посмотрела на мать и, ласкаясь, положила голову ей на грудь.

— Да знаю как будто.

— И давно?

— С весны.

— И до сих пор молчали?

— А ты говорила?

— Я — другое дело...— Христина отошла от матери и уже смущенно спросила: — А правда, славный Юрко?

— Кому что нравится!

— Ну, скажите: славный?

— Да ничего цыган: руки есть, ноги тоже, и голова на шее торчит.

— Ну, можно ли так о Юрке говорить? — обиделась Христина.

— Мне — можно, а ты говори как знаешь, только хоть немного вперед загляни... Любовь разойдется, как утренний туман, а нужда как войдет в хату, так и не выйдет до похоронного звона, еще и на панихиду потянется... Вдвоем, если Юрко тебя не бросит, вы перебьетесь и на экономских хлебах, а если посыплются дети, словно роса? Видала, как Василина живет?..

— Что говорить, видала,— пригорюнилась Христина.— А может, осенью наделят нас барской землей?

— Не первую осень ее делят, а нарезают полосы все только на мужицких плечах, да так нарезают, что кровь течет от родной хаты до Сибири.— Олена скорбно обняла Христи-

ну, как будто боясь, как бы и на дочку не пала крестьянская беда.

— Все равно, мама, в этом году что-то переменится! — уверенно заявила Христина.— Теперь у всех, только скажи про барина, искры из глаз так и прыщут.

— Гляди, как бы кровавые слезы не брызнули. И не больно суетись, не больно скликай людей на всякие ночные сходки — не девичье это дело. А то носишься неведомо зачем, как гулена. Знаешь, какая слава может пойти по селу?

Христина спокойно посмотрела на мать правдивыми глазами.

— Теперь, мама, нельзя сидеть кротом в норе.

— Что-то больно ты поумнела за эти дни,— недовольно поморщилась мать.— Лучше скажи: как быть с Левком?

— А, видно, понравился он вам. Чем не хозяйский сын?— Христина презрительно передразнила Левка.— Я уже дала слово Юрку.

— Только душу заранее не отдавай, а то они после этого все становятся свиньями,— впервые так строго сказала мать и угрюмо пошла стелить постель.

— И я сегодня с вами. — Христина снова подошла к матери.

Они вместе улеглись, накрылись одним рядном, дочка, подлащиваясь к матери, потерлась головой о ее грудь и тотчас уснула.

А мать все думала и думала, вздыхая, присматривалась к дочке и к тому, как рассвет на цыпочках подкрался к окну, зашелестел росой в георгинах и принялся грунтовать стены хаты под свою живопись.

XII

Отяжелевшая туча несла свое невыдоенное вымя к разомлевшим лесам, и из недр ее неохотно вылетал слабый гром. Цепляясь за края тучи, погромыхивая, он повис между небом и землей. Снова ведьмы запродали кому-то дождь, и он обошел село, а как был нужен картошке!

— И не брызнуло, зря гнали нас, словно пришпоренных,— сказала Христина, обернувшись к полевому, который, не отрывая глаз от шелестящих юбок, небрежно сбивал нагайкой нескошенные стебли ромашек и колокольчиков.

— Вас только не подгони! Привыкли бездельничать на господском поле. Одна гульба снится. Вот если бы вы поработали, как на себя! — Полевой строго смотрел не на Христину, а на ее ноги.

— Работай мы, как на себя, так и вас тут не было бы. На ком бы вы тогда зарабатывали свое холуйское жалованье?— Христина, аккуратно подгребая валок, покосилась на ленивую, разомлевшую фигуру господского подручного.

— Хм... Остра ты стала на язык,— недовольно хмыкнул полевой.— Гляди, как бы моя нагайка не прогулялась по твоим плечам.

Он сбил с ромашки желтую головку, и она в своем белом веночке упала к ногам девушки.

В это время подъехал эконом; глаза его и все бородавки злобно нацелились на полевого.

— Ты как смотришь за работой?!

— Как могу, так и стараюсь. — Облупленное лицо полевого присмирело и расплылось в льстивой улыбке, так что в складках потонул маленький обожженный нос.

— Стараешься — на баб да на девок заглядываться! Так зенки и бегают. А мне посторонние люди говорят, что в Круглике не сгребли сено.

Полевой так хлопнул себя ладонью по лбу, что с головы его слетел зубчатый брыль.

— Вот глупая голова! Забыл ведь про Круглик. Там, правда, и сена осталось на стожок либо на два.

— Хоть на охапку, а надо так хозяйствовать, чтоб люди не смеялись над нами,— поучительно проговорил эконом.

— Я тотчас пошлю туда.— Полевой пробежал круглыми глазами по веренице женщин.

Эконом недоверчиво смотрел на него, не зная, что делать: оставить его на работе или подыскать другого, не такого бабника?

— Пошли одну девушку, из самых проворных. До сумерек управится,— приказал он, поворачивая лошадь.

— Христина! — крикнул полевой.— Бери грабли — и со всех ног на Круглик. Слышишь?

— Ой, дяденька, я не хочу туда,— встрепенулась девушка. Голубенькая юбочка крутнулась вокруг ее ног, и вся она стала удивительно похожа на луговой колокольчик.

— Отчего это? — полевой подозрительно поморщился.— Там что, сено хуже?

Христина жалобно сморщила лоб и нос.

— Это ведь у опушки. Вечером страшно.

— Глупая! В этом лесу нечисть не водится — там часовенка стояла... Сгребешь сено, искупаешься в речке... Беги.

— Лучше послали бы кого из ребят.

— А может, и тебя с парнем послать? Уж не того ли ждешь? — вспылил полевой.

— Что уж с вами говорить.— Христина тяжело вздохнула, подошла к копенке, взяла свой узелок и с граблями на плече, покачиваясь нарядным голубым колокольчиком, пошла к дороге. Скоро хлеба прикрыли ее юбку, и над ними виднелись только белый платок и грабли.

Недалеко от леса живописной долинкой расположился Круглик — урочище, где всегда хорошо родились подосиновики. От Круглика до самой опушки тянулся луг, окаймленный извилистой речкой; по берегам ее росла уже не трава, а патлама — болотное разнотравье, которое никогда не косили.

Христина окинула взглядом луг, увидела, что ей хватит работы до почи, и споро принялась сгребать высохшее, хрупкое сено. Подбивая ногами, она гребла его в валки, складывала в копны, а вокруг в искристой тишине ласково реяли девичьи надежды, забирались в сердце, и оно трепыхалось, как рыбка на удочке.

Снова стоял перед ее глазами Юрко, бессовестно лгал ей, что она лучше всех на свете, и Христина улыбалась у копны, а из рук у нее валилось сено.

— Оглашенный! — вслух ругала она Юрка, словно он и в самом деле стоял перед нею, и тут же испуганно оглядывалась: не услышал ли кто, как она, будто дряхлый старик, разговаривает сама с собою? А то вдруг видела себя замужней, стыдливо произносила «и-и-и» и поводила плечом, сама удивляясь, как могло ей такое взбрести в голову. И землю видела, ту, что им наделят. Тогда уж девушка не поводила плечом, а молча останавливалась, и ее расширенные глаза ничего не видели, словно их ослепляла далекая мечта.

Христина и оглянуться не успела, как на лес надвинулся вечер и Круглик по колено окутался легкой кисеей тумана. Возле речки прошел с косой Лесь Якубенко, он узнал девушку, остановился, весело крикнул:

— Христинка, айда по домам!

— Мне еще надо копенку довершить.

— Завтра успеешь!

— Ну да, еще отведаешь нагаек. Наш махамет-полевой все выслуживается перед барином.

— Ну, довершай. Счастливо тебе.

— Спасибо.

Христина закончила работу уже при луне. Только теперь она почувствовала, что семена трав пощипывают тело. Положив грабли у копенки, она подошла к речке, в которой плескался месяц; сверкающий, с росинкой посередине, глазок лютика, будто живой, зло смотрел на девушку.

«С чего бы ему злиться?» — удивилась Христина, искоса поглядывая на лютик, и по колена вошла в теплую, илистую воду. «Надо выкупаться»,— и она осторожно посмотрела на лес, но оттуда только выползал туман, а в нем позванивали комары. Христинка вышла на берег, одно привычное движение — и голубой колокольчик юбки, сразу увяв, падает к ногам. Девушка приподняла сорочку, но, увидев себя в воде, застыдилась, опустила подол и проворно надела юбку. Что-то пугало ее, а что именно — не могла понять. Совсем низко пролетела летучая мышь, неся на груди темного, как комочек, детеныша. И это тоже поразило девушку.

Испуганная, она вернулась к копне, взяла узелок, грабли, поправила под коленом тесемку и вдруг ощутила на спине чей-то взгляд. У нее перехватило дух. Но как ни страшно было оглядываться, оглянулась. К ней, нагнув голову, быстро и осторожно шел Левко. В лунном свете коса над его головой светилась холодным сиянием. Парень подошел к Христине, бросил косу на землю и глухо вздохнул. Глаз его не было видно, только глазные впадины темнели на лице, словно забитые клочьями мглы.

И в этой мгле прочитала Христина свое девичье горе. Она подалась назад, оперлась спиной на копенку, хотела рвануться в сторону, но Левко перехватил ее.

— Ну вот я и пришел тебя сватать... Пусть теперь месяц будет нам первым попом! — хрипло, не своим голосом, проговорил Левко и сильными руками, на которых дрожали набухшие мышцы, обхватил девушку.

— Левко, что ты надумал?.. Опомнись, Левко!.. — вне себя закричала Христина и забилась, вырываясь.

А Левко прикрыл ей рот ладонью.

— Не хотела по-хорошему — выйдешь по-худому... Будешь моей женой... Я не виноват. Как хочешь...

— Левко... Пусти, Левко...

— Поздно...— добил он ее ею же сказанным словом.

— А-а-а...— застонала Христина, и слезы ее обожгли ему руку, но не смягчили одурманенное сердце.

И девушка, надломившись, упала на скошенную траву, как нежный голубой колокольчик...

XIII

Левка всю дорогу противно бил озноб. В ушах у него до сих пор звенел девичий плач, и до сих пор перед его одичалыми глазами билась у копенки Христина, бились волосы на ее плечах, словно и в них вошло горе девушки...

Господи, что же он наделал?! Зажмурясь, Левко остановился, сердце его екало и обрывалось в пустоту, боль живым червем ворочалась в голове и разъедала мозг.

Вот теперь он узнал, что такое любовь. Это не земля, не приданое, не те доступные объятия, которые нетрудно сыскать вечерами у доверчиво-покорных девушек, сразу выходящих замуж по указу родителей или из боязни, что потом лучше не встретишь. Великой болью и страхом преступника расплачивался он за свою любовь. Не с волами и не с землей пришла она к нему, а с теми горькими слезами, которые, верно, никогда не высохнут в душе Христины.

Он проклинал себя, проклинал этот вечер и жалел девушку, давал зарок, если все будет хорошо, на руках носить ее, и с отвращением смотрел на свои руки, сломившие Христину. Ужас невидимыми кулаками колотил его по плечам, по груди, сбивал его с полевых дорог и все-таки вел к дому, вел к самому страшному. Как он явится к Гордиенчихе, как покажется на глаза той, кого еще недавно хотел сбыть в постоялки? Он сам готов прожить век постояльцем, лишь бы все как-нибудь уладилось, ему легче в огонь пойти, чем стать сегодня перед своей второй матерью.

И когда он в мыслях назвал Олену матерью, в душе у него, на всей его мерзости, как на могильном камне, задрожала первая капелька неясной надежды и благодарности к той женщине, которая посочувствовала ему... А что, если и Гордиенчиха не простит? Он застонал в бессилии, в муке, нащупывая рукою сердце, все глубже падавшее в холодную бездну.

А над полями величественно плыл месяц, озаряя своим сиянием каждое деревцо, каждую травинку, и выбеленные хлеба покрылись такой серебристой голубизной, что кажет-

ся, ее можно было зачерпнуть пригоршней и пить, как родниковую воду.

Дома у ворот Левка ждали Данило и Григорий.

— Ты где пропадал? Давно пора ехать в лес. Утро застанет в дороге,— приветствовал старшенького Григорий, отворяя ворота.

Левко непонимающе взглянул на братьев и словно спросонья проговорил:

— Поедете сегодня одни.

— А ты чего? — удивился Данило.

— Знобит меня,— содрогнулся Левко и передал косу Григорию.

— Гляди не захворай, — помрачнел Данило.

— Может, пройдет... Данило, сбегай потихоньку в хату, вынеси каравай. Да не разбуди стариков.

— Каравай? — удивился Данило.

— Целый каравай. Непочатый,— повторил Левко, морщась: и как это брат не понимает простых вещей?

— Для чего ж тебе целый каравай?

— Экий ты неотвязный!

Братья внимательно посмотрели на старшенького, их поразили его бледное, болезненное лицо и спина, сгорбившаяся словно под непосильным грузом.

«И в самом деле захворал. Но для чего ему целая буханка? Может, думает ею болезнь отогнать?»

Данило прокрался к хате, осторожно отворил первую и вторую дверь, ощупью нашел на шкафчике каравай.

— Кто там? — спросонья окликнула мать.

— Это я.

— Левко пришел?

— Эге.

— Докосил?

— Я не спрашивал.

— Может, не ехать вам нынче? Поздно.

— Спите, мама.

Данило на цыпочках, боясь разбудить отца, вышел во двор, отдал брату каравай. Теперь лицо Левка показалось ему еще бледнее, словно из него выпустили всю кровь.

— Что с тобой, братец? Несчастье? Ты не таись,— зорко и жалостливо глядя на брата, спросил он.

Тот кивнул головой.

— Несчастье. Такое несчастье...

Близнецы окаменели, словно воочию увидели горе, а их

руки, заранее готовясь защитить старшенького, сами собою напрягались и сжались в кулаки.

— Расскажи, брат. Мы отведем от тебя беду.—Григорий погрозил неведомо кому кулаком.

— Этого, пожалуй, не отведешь,— проговорил Левко, глядя на каравай, на котором в лунном свете искрились золотистые капельки. Мать умела очень ловко смазывать свежую корочку желтком.

— А может, Левко, отведем? Что там у тебя?

— С Христиной нехорошо вышло... Теперь я и сам не знаю, как это случилось. Нечистый, верно, попутал.— И Левко, дрожа и косясь то на братьев, то на каравай, рассказал с пятого на десятое обо всем.

Не успел он закончить, как Григорий с размаху хватил его кулаком по одной щеке, а Данило по другой. Первый раз в жизни братья били его. Парень оторопел — не от обиды, скорее от удивления, стоял, ища глазами, куда бы положить каравай.

— Ирод! Сволочь! — прохрипел Григорий и еще раз яростно стукнул брата. У того из носа брызнула кровь, и он бережно прикрыл буханку рукою.

— Братцы, не бейте, на святой хлеб кровь упадет,— попросил он близнецов.— А я с ним иду к Христине.

— Иди, прод, чтоб ты на тот свет ушел! На все село осрамил нас...— кипел Григорий, норовя еще раз да побольнее двинуть старшего.

Левко вышел за ворота, насухо вытер с лица кровь и поклонился братьям.

— За дело били. Так дурака и учат. А теперь пожелайте мне, чтобы все сошло хорошо.

— Желаем,— процедил сквозь зубы Данило, а Григорий пробормотал что-то неразборчивое...

— Не серчай, Григорий, скажи свое доброе слово.

— Ступай ко всем чертям и пропади ты пропадом! Вот тебе мое слово! — вспылил Григорий.— И ежели ничего у тебя не выйдет, домой не приходи — убью!

— Спасибо и на том,— растерянно ответил Левко, взял каравай под мышку и пошел по тихим, завороженным улицам села к Гордиенкам.

Пока он дошел, в нем дотла выгорела сила, а на ее месте остались лишь мука да боль.

Он тупо разглядывал темные пятна крови на рубахе, снова рукавом отер лицо, на котором кожа стянулась от лип-

кой сукровицы. Возле чьего-то колодца он положил каравай на сруб, вытянул бадью воды, старательно умылся и некоторое время сох под нестерпимым, пронизывающим насквозь лунным светом.

Вот и хата Гордиенок. Левко останавливается у тына, и его пугает глубокий стон, донесшийся со двора. Кто это? Ага, это корова вздохнула в хлеву. Левко будто не своими руками отпирает ворота, подходит к двери, дергает щеколду. Она так звонко звякает, что парень вздрагивает... За дверью шуршат шаги, гремит задвижка, и перед Левком появляется заплаканная, в одной сорочке мать. Он испуганно подымает на нее глаза, а сам сквозь растворенную настежь дверь прислушивается к тишине хаты.

— Это ты? — с ужасом спрашивает Олена, вскидывает руку к груди, но тут же бессильно опускает ее.

— Я, мама...

— Левко, как же ты мог?.. Как ты мог?.. — Олена отступает, отводя назад опущенные руки. Подбородок и складки возле носа содрогаются от рыданий, а по щекам, догоняя одна другую, бегут крупные слезы.

— Простите, мама... Чему быть, того не миновать. Разве я хотел обидеть вас? И теперь ввек не обижу. Святым хлебом клянусь.

И он, не помня себя, с хлебом в руках падает Олене в ноги.

— Левко, что ты?.. Кто же кладет хлеб под ноги? — Олена нагибается, берет хлеб, и на него капают, разбрызгиваясь, тяжелые материнские слезы.

XIV

Полевой дорогой, как черт в облаке пыли, промчался Салоган. С коня летели клочья грязного мыла, с управителя лил пот. Спелые колоски сухо царапали его запыленную обувь, словно напоминали: «Спеши жать, спеши жать...»

И это тоже раздражало Гервасия. Он уже и на ниву смотрел как на забастовщиков и злобно хлестал ее нагайкой. Стебелек хлеба зацепился за ременную плеть, и его с корнем вырвало из земли. Люди видели, как бушевал управитель, и провожали его злорадными улыбками.

— И в Медведевке черпнул шилом патоки! А теперь чешет к барину порожняком.

— И там бастуют мужики, хотя и помещик у них захудалый — всего десятин двести.

— Тот и сам с семьей управится. Наденет полотняные штаны, брыль — и давай косой махать. Как вы думаете, Марьян?— посмеивается черный, как головешка, сезонник.

— Может статься,— серьезно отвечает Поляруш.

— Да что вы, Марьян! Где же это видано, чтобы барин брался за мужицкую работу?

— Видано уже. В Лемешевке барин пастухом стал: пасет за милую душу своих коров, а жена и сестры доят — больше-то некому.

— Да не может быть, — удивляются и смеются батраки, привольно разлегшиеся на травке возле экономии. Теперь им хоть не сытно, да зато не хлопотно.

— Вот бы, люди добрые, нашего барина увидать у стада с кнутиком в руке, услышать, как он закричит: «Эй, рябуха, куда пошла, чтоб ты сдохла!» —очень похоже передразнивает кто-то барина.

Все снова хохочут и принимаются рассуждать:

— Что-то он нынче запоет?

— Выйдет ли еще поговорить с нами?

— Придет коза к возу, скажет «ме-е-е».

— Ой, глядите, ребята, как бы с нас за это «ме-е-е» шкуру не спустили,— вставляет кто-то из осторожных.— Сдерут да еще и солью присыплют. Это ведь господа — сила!

— Пойдем вместе — так и господа не лезьте, в порошок сотрем! — уверенно бросает Марьян.

— Попрыгают, как карась на сковороде, а без мужика, хоть головой об стенку бейся, ничего не сделаешь.

В воздухе снова повисает мучительный рев скотины, и мужики поворачивают головы к господским хлевам.

— Ревет скотина,— с сочувствием говорит Марьян.

— Даст бог, и господа вот так заревут,— отзывается Григорий Волошин.

— Надо бы, братцы, напоить, накормить ее,— господа господами, а скот скотом.

— Пусть господа потрудятся хоть раз, пусть и им коромысло натрет белые плечики.

— И откуда эти господа взялись на нашу голову?— спрашивает поденщик Иван Куценко, глядя большими глазами на Леся Якубенка.

— А ты, милый человек, и до сей поры не знаешь, откуда

взялись господа? — с преувеличенным удивлением спрашивает в свою очередь Лесь.

— Ей-богу, не знаю,— морща лоб, отвечает батрак.— Говорят, будто из собачьего хвоста.

— Ну нет, это вранье! — твердо заявляет Лесь.— И мужики и господа ведут свой род от Адамова ребра. А когда господа захотели стать хитрее дьявола — править всеми, черт выловил их всех ночью на балах, засунул в свой мешок, завязал и понес в море топить. Почуяли они свою погибель и давай проситься: «Не топи нас, черт, станем тебе верно служить!» Черт подумал, заколебался: «Правда, будете служить?» — «Честное слово, по гроб будем стоять горой за тебя!» Ну, а черти тоже любят, чтобы им всякие ублюдки поклонялись. Вот и давай дьявол понемногу высыпать добро, которым он набил мешок по самую завязку. Упал наш барин на стадо и стал Стадницким. А вашего как величают?

— Помётский.

— А он, стало быть, упал на коровий помет, вот и стал Помётским.

Сезонники так расхохотались, что из конторы испуганно выскочил эконом, поглядел на них, презрительно сплюнул себе под ноги и спросил:

— Почем зубы продаете?

— По прежней цене.

— Эх, ребята, ребята, нет у вас совести ни на маковое зернышко,— укоризненно покачал головой эконом.

— Совесть осталась только у бога да у нашего эконома немного,— смиренно проговорил Лесь Якубенко.

Все снова покатились со смеху, а на лице у эконома, как черные жучки, сердито шевельнулись бородавки.

— Смейся, смейся, поплачешь еще, дождусь я этого дня!

— Правду про вас говорят: голосок — как цимбалы, а сам хуже шакала.

— Я тебе еще припомню этого шакала! — Затрясшись от злости, эконом направился в конюшню: теперь придется самому запрягать лошадей в бегунки, а это быдло будет до вечера гоготать у самых дверей конторы, и его уже не проучишь нагайками...

В ожидании день тянется, как год. Солнце, остановившись посреди неба, широко высевает на землю лучи и никак не хочет сдвинуться с зенита. Кое-кто забирается в холодок, другие идут в поле, где тихо грустят спелые хлеба. И хотя они

помещичьи, но мужицкое сердце все равно сжимается, щемит, а рука ласково ложится на седые колоски, из которых вот-вот посыплются зерна. А тут еще и скотина бередит душу своим ревом. Видно, не выйдет из их барина пастуха, не крикнет он чабанским голосом: «Эй, рябуха, куда пошла, чтоб ты сдохла!» И выдумают же люди! Не хочешь, да улыбнешься.

От белоснежного дворца к экономии скачет на лошади управитель. Он весь взмок от жары, но на лице широкая улыбка. С чего бы ему смеяться? Не пахнет ли здесь какой подлостью? Мужики затревожились.

Не доехав еще до экономии, Гервасий подымает руку с нагайкой и кричит через забор:

— Радуйтесь, веселитесь, мужики! Наш милостивый барин дает надбавку! Где уж его не пропадало!

Люди проворно подымаются с земли, подходят ближе, и теперь только острозубый, как пила, забор отделяет их от управителя.

— Какую же надбавку дает барин? — первым спрашивает Лесь Якубенко.

— Такую, какая иным и не снилась! — Салоган обводит торжествующим взглядом загорелых, почерневших мужиков и так улыбается им, словно и сам радуется, что они вырвали у барина надбавку.— Косарь получит целый полтинник, а женщины — по тридцать копеек! Слышите? Вот каков у нас барин!

Мужики глухо зашумели. Что и говорить, надбавка кое-кого радует: за такие деньги можно работать,— ведь кто знает, что будет дальше. Множество глаз в молчании уставилось на Леся Якубенка.

— Так что вы скажете теперь? — Расплывшееся книзу лицо управителя сияет от радости, а злость затаилась под толстыми веками.— Сегодня же, где наше не пропадало, получите: кто — полтинник, а кто — тридцать копеек.

— И то деньги,— щелкнул кнутиком Якубенко, равнодушно наблюдая, как ремешок обвивается вокруг кнутовища.

Ну не черт этот Лесь? Ему такую цену предлагают, а он забавляется и ухом не ведет.

— И ты, Лесь, не соглашаешься на такую цену?! — ужасается управитель, и на его короткой шее возмущенно вздувается зоб.— Да кто знает, заплатят ли вам столько даже в раю!

— А что, мужика пустят в рай? — шутливо спрашивает один из поденщиков.

— Ежели там будет много тяжелой работы, так пустят.

— Будет вам богохульничать! — возмущается управитель.— Пора за дело приниматься. Командуй уж ты, Лесь, до конца,— уколол он Якубенка.

— И покомандовал бы, да нет расчета,— отвечает тот, все еще не спуская глаз с кнутика.

— Да ты что, спятил? Где же теперь получишь целых пятьдесят копеек в день? В самой Таврии редко платят такую цену.

— Славно вы играете, да что-то не тянет плясать под вашу дудку.

— Гляди, не пришлось бы тебе поплясать, как рыбе на сковороде! — Салоган сердито вскидывает густые брови, и Лесь видит, что отдельные волоски этих бровей разбрелись даже по верхним векам.

— Не стращайте меня, Гервасий, я пуганый с давних пор,— отрезает он, пронзительно глядя на управителя.— А вот кого мы припугнем, тот не на коне поскачет, а на четвереньках поползет. А ну, не баламутьте людей, поворачивайте оглобли, мы народ спокойный.

Салоган выругался, отер пот рукавом и некоторое время молчал, не находя слов. А в воздухе снова повис густой рев скотины, и опять люди повернули головы к барским коровникам. Наконец управитель, укротив свой нрав, уже с укором обращается к Якубенку:

— Лесь, пожалей хоть скотину.

— А вы наших детей жалели, когда они с голода пухли, пожалели хоть раз? — как кнутом стегает его Лесь и поднимает длинное, высоколобое, будто из меди отлитое лицо, исполненное решимости и гнева.

И эти слова снова привлекают к Лесю даже тех осторожных мужиков, которые уже готовы были отделиться, смекнув, что полтинник на земле не валяется, а заплатят ли больше— кто его знает.

Но тут прибегают из коровника расстроенные девушки и наперебой обращаются к Якубенку:

— Дядюшка Лесь, что же нам со скотиной делать? Мучится так, что не приведи господи.

— У дойных коров вымя ноги распирает. Прямо плачет скотина.

— Плачет, говорите?— задумался Лесь.

— Горше людей. А у иных из сосцов каплет молоко и на вымя садятся мухи.

— Ишь погань! Тут у малышей сыворотки нету, а молоко мухи сосут! — возмущается Лесь. Потом спрашивает мужиков: — Что же со скотиной будем делать? Пожалеем?

— Пожалеем,— отвечают ему.

И девушки наперегонки бегут спасать скот. А спелый хлеб клонится к ним и тоже ищет спасения у человека.

XV

Теперь и Аркадию Валерьяновичу стало жарко, и его дворянский, щедрый на выдумки ум беспомощно забился в тенетах, выплетенных узловатой мужицкой рукой. Только от одного этого оскорбления на мозгах, кажется, выступает кровавая роса. Где же это видано, где слыхано, чтобы быдло, хлопы, не раз валявшиеся у него в ногах, ставили на колени самого барина? А они ставили — своим проклятым выжиданием и упорством. Даже Марьян Поляруш в такую пору стал верховодить! И что только делается с деревней?!

Управитель уже трех жеребцов загнал, два уезда изъездил вдоль и поперек, но никто не пришел с косами и серпами на поле. Правда, Гервасий выцарапал было откуда-то из-под Литына кочевых цыган, чтобы хоть они послужили приманкой. Те с невообразимым криком въехали на своих крытых подводах в село, закололи на поляне барского поросенка, а потом с не меньшим гамом отправились дальше, не позабыв прихватить остатки свинины с собой.

Когда Гервасий бросился вслед, они, блестя лживыми глазами, закудахтали в один голос:

— А, боженька, а, Исусе Христе! Разве мы не работали бы, разве не трудились бы? Да ваши мужики напугали нас до смерти, и детей напугали, и скотину. Убьют, говорят, убьют и лошадей раскрадут. Что же это за село, где не цыгане у мужиков, а мужики у цыган собираются красть лошадей? В таком селе и сам господь не сможет трудиться... Но-о... Вишта!..

Что же это творится на свете? Чья рука подняла темную крестьянскую стихию на бунт? Кто по ночам выковывал кольцо за кольцом тяжелую цепь упорства и ненависти? А теперь, тоже по ночам и тоже кольцо за кольцом, надо вырывать эти звенья, как больные зубы, чтобы не заразилась вся

империя. Несчастная страна со своим безвольным царем и тупыми правителями! Над бездной кренится золотой трон, а вокруг калейдоскоп бездарностей: казнокрады и карьеристы, загадочные апостолы мистицизма из чужих краев и свои распутники с хлыстовского «корабля».

Оценивая мысленно трагедию империи, Аркадий Валерьянович сдерживает своего жеребца на сизом пригорке. Вокруг уже дозревает усатый, ломкий ячмень, а за ним печалится перестоявшаяся рожь. Пройдет еще дня два — и из нее по зернышку высыплется на землю вся сила. За рекой темнеет сахарный завод. В этом году Аркадий Валерьянович надеялся приобрести его. Наконец он собрал — сам, только сам! — деньги на эту покупку. Он с трепетом ждал того часа, когда въедет на лошади в свои новые владения, которые так живописно высятся над серыми ульями хат и так славно заглядывают в огромный пруд. Но при такой «погоде» придется еще крепко пораздумать над этой покупкой. И сердце невольно сжимается, словно от него отдирают этого стоящего над водой красавца, который не раз глубоко волновал Аркадия Валерьяновича.

Однако где же взять жнецов? Где? И снова мозг бьется в тщетных попытках вырваться из капкана, в который зажала его узловатая мужицкая рука.

Вечером в кабинете Аркадия Валерьяновича собрались самые зажиточные мужики. Пришел с начищенной бляхой Окунь, пришел и Терентий Плачинда, давно уже убежденный, что земле не надо барина, ей нужен мужик, который выбьется в господа. Стадницкий знал об этом, но не время было сейчас припоминать давние обиды. Речь барина была краткой, весомой, убедительной:

— Я созвал своих добрых соседей и честных хозяев, чтобы они мне помогли. Выручите меня — выручите и себя!

Терентий встрепенулся на чудном господском стульчике и спрятал в клешни усов улыбку. «Ишь как хитро выкручивается барин! Ничего, выбирайся на берег сам, выцарапывайся, как можешь, я тебе вряд ли подам и гнилую соломинку». Но Стадницкий сразу же подсек эту мысль, словно разгадал ее:

— Подумайте — что будет, если я заплачу, сколько хотят забастовщики? Заартачатся и ваши батраки: одни сразу же потребуют прибавки, другие уйдут в экономию.

И правда! Терентию стало жутко, и он сразу же ясно представил себе, как Давыд выдирает у него надбавку. И хотя

эта картина пока только мыслилась, Терентий заранее озлился на своего работника. Этот доберется и до хозяйской мошны и до хозяйской печенки.

— Я прошу вас на день-два дать мне свою рабочую силу,— продолжал Стадницкий,— и за эти два дня я сломлю забастовщиков.

— Надо помочь нашему барину! — первым решительно сказал Окунь.— Завтра же мои батраки и я с ними утром выедем на господское поле.

— Спасибо.— Стадницкий кивком головы поблагодарил старосту и вопросительно посмотрел на остальных.

— На поле выехать — не штука,— поднялся со стула Терентий.— И я могу дать на день своих работников, хотя теперь и горячая пора. Да что выйдет из этого?

— Все выйдет!— хмуро проронил Аркадий Валерьянович. Его передернуло от слов Плачинды.

— Нет, ваша милость, не все. Не при вас будь сказано, вы еще нашего мужика и до сей поры по косточкам не разобрали,— понизил голос Терентий.— Вот пошлем мы завтра батраков, а люди им дубинками ребра переломают. Тогда не будет уборки ни у вас, ни у нас.

— И это может статься,— отозвался Шмалий.

— Так что ж тогда прикажете делать? — Аркадий Валерьянович остановил неприязненный взгляд на полном лице Плачинды. От этого добра не жди: верно, давно уж видит себя хозяином помещичьих угодий.

— Вот что! — веско заявил Терентий. — Сегодня же пошлите к исправнику или к становому за стражниками. А завтра мы дадим батраков. Когда на поле забренчит солдатская шашка, наши работники спокойно возьмутся за косы. А уж за ними потянутся на ниву те, кто и рад бы работать за полтину, да не идут, боясь своих главарей.

— Спасибо, Терентий Дорохтеевич, спасибо,— растроганно проговорил Стадницкий, тут же простив Плачинде все его глупые слова и даже кражу смолы.— Тотчас пошлю за стражниками.

XVI

Кто к богатству идет, у того и петух яйца несет, а у бедняка и курица не хочет. Так и у Евдокима Юренка. Сколько он ни бьется на своих четырех десятинах, сколько ни надрывается, а не может выскочить в настоящие хозяева. Все

какая-нибудь неудача держит его за полы: то скотинка захворает, то неурожай, то град побьет, то солнце сожжет. И взлелеянные в душе надежды помаленьку рассеиваются да рассеиваются, как легкая дымка, подымающаяся летом от росы.

Вот уже и на пятый десяток повернуло, а кумом королю так и не удалось стать ни на один день. За все свои сорок лет и радости не испытал, а уж довольства и подавно. Еще в юности засветились было ему ясные глаза Марии, нежно, как сон, прильнул к нему тонкий девичий стан, но хозяйкой в хату пришла не милая любушка, а злоязычная, толстая, как ступа, Олена. Правда, с нею пришли полторы десятины, сундук, увязший колесиками в земляном полу, да пара круторогих. За это он отдал и свою молодость и всю жизнь, запрягся в ярмо, как скотина, лишь бы сводить концы с концами.

Дома ни посоветоваться, ни поговорить ему было не с кем, и беседовал он по большей части со своими волами. Он и скотину подбирал такую, чтобы глазами понимала человеческую речь. А у чьих волов рога самые большие? Только у его! Он бы мог уложить копну не на телегу, а на рога, и волы шутя принесли бы ее с луга. Но в этот день волы втянули его в беду. На ночь он погнал их пасти на перелог и, устав за день, ненароком уснул на меже. А тем временем круторогие забрались в господское просо и блаженствовали там до тех пор, пока их не увидел полевой. Проснулся Евдоким от чужого сердитого «гей» и, вскочив на ноги, холодея, увидел, как его волы уносили на красивых рогах лунные отблески в экономию.

Будь полевой человеком, а не господским псом, Евдоким бросился бы к нему, но лучше было переждать, а то еще отведаешь плетки. Юренко в тяжком раздумье поплелся домой и, не заходя в хату, где чертовы блохи подымали «на ура» жену и детей, забрался на сено в овине. Но ему не спалось: перед глазами все еще стояли волы, за которых теперь в экономии полшкуры сдерут. Скотина, может, и урону-то нанесла на двугривенный, но с него потянут пять рублей, а где их взять, когда они круглые — так и раскатываются как живые?

На рассвете Евдоким пришел в хату, где уже зевала, потягивалась и крестила рот спросонья растрепанная, словно пеньковая кукла, жена.

— А где же, милый мой, наши пегие? Что это их во дворе не видно? — Олена уставилась на мужа недоверчиво и обеспокоенно.

— К барину в гости пошли: давно Ананаса не видали, соскучились,— рассудительно ответил тот.

— Увели? — Олена звонко шлепнула себя по толстым бедрам и ненавидящими глазами воззрилась на мужа.— Проспал скотину?

— Говорю же тебе — в гости пошли.

— А, чтоб ты сам на тот свет к чертям в гости пошел да никогда бы не возвращался, чтоб они тебя на кузнечный уголь пережгли! — разом стряхнув остатки сна, завопила Олена.— Господи милосердный, до чего же ты мне в печенки въелся!

— А ты мне, думаешь, меньше въелась? — сказал Евдоким беззлобно, не повышая голоса, и взял из-под лавки топор, собираясь заняться плетнем.

— Ой, господи, господи, кому я только отдала голову и десятины! — Олена вцепилась в свои растрепанные волосы и так страдальчески закатила глаза, что виднелись одни белки.— Как я у отца была, так словно роза пышная цвела.

— Была бы из тебя роза, кабы не вырос лопух. Одевайся уж, не носись растрепой.— Евдоким презрительно отвернулся от жены и, не выпуская из рук топора, подошел к столу, где стояли мисочка с земляникой и кружка козьего молока.

На лице Евдокима заиграла добрая улыбка: кто же, как не его Марийка, позаботился об отце? Знает ведь, маленькая, что он очень любит землянику с козьим молоком, вот и старается угодить. Будь у него и жена, как дети, он и в самом деле был бы кум королю, не меньше. Евдоким положил топор, достал из шкафчика ложку и сел к столу.

— Трескаешь? — злобно зашипела Олена.— И не разопрет тебя, ирода? А кто же пойдет за волами?

— Тебя и пошлю, пышную розу. Может, кто залюбуется, подешевле волов отпустит.

Олена сроду не понимала шуток.

— И это ты, зенки твои бессовестные, хочешь, чтоб на меня, как на какую-нибудь, таращилась барская челядь?

— Не все же только мне любоваться тобой: жирно будет для одного человека,— ответил Евдоким, спокойно продолжая есть и даже не глядя на жену.

Олена выхватила у него из-под носа миску, зашипела и выплеснула землянику в помойное ведро.

— Вот ума палата! — сказал муж и спокойно встал.

— Сколько ни есть, а все больше твоего! — И Олена

вновь мастерски закатила глаза. — Сию же минуту ступай за волами! На чем в поле выедем?

— Тебя запряжем. Может, хоть немного подобреешь, не так станешь на мужа накидываться.

— Чтоб на тебя хворь накинулась! Скоро ты к барину пойдешь?

— Не раньше обеда!

— Не раньше обеда? — ужаснулась Олена.— А что же ты будешь делать до обеда?

— Пока ты со мной, работа найдется.

— За что же ты примешься?

— Тобой стану любоваться, а то все недосуг.

Евдоким вышел из хаты, отгородился закрытыми дверями от женипой ругани и принялся чинит плетень, поддетый рогами его волов. Вот рога, чтоб им пусто было! На такие можно и хату поддеть. Вот было бы на что посмотреть, если бы поддели ее вместе с Оленой!

И как ни чудна была забредшая в голову мысль, а он улыбался, представляя, как Олена, чертыхаясь, летит из одного угла в другой. Но через миг Евдоким нахмурился: сколько же отступного запросят в экономии? Хоть бы раз произошло чудо: посмотрел бы человек на улицу, а по ней, покачиваясь, плывут его волы и заглядывают во двор — нет ли там хозяина? Вот когда бы он хоть на час почувствовал себя кумом королю.

Евдоким посмотрел через плетень на огород, где уже густо, синим и белым, цвела картошка, дремал розовый, с подкрашенными щечками мак и оживали в золотистом уборе поникшие подсолнухи. Потом он повернулся, раскрыл от удивления рот, и топор сам собою выскользнул у него из руки: по улице, покачиваясь, точнехонько так, как он только что представил себе, плывут его волы, лишь глаза их смотрят не во двор, а по-мужицки, в землю. Ну как не бывает после этого чудес на свете?! Евдоким, оставив топор, пригибаясь, побежал отворять ворота. Но только он взялся за потемневший засов, как услышал из-за плетня глуховатый голос:

— Здорово, здорово, Евдоким! Не ждал, не надеялся увидеть так скоро свою скотинку?

К воротам тяжелой походкой приближается полевой и — чем не новое чудо? — протягивает руку, с которой свисает влажная от росы плеть, та самая, что чуть не поплясала ночью на плечах у Евдокима.

— Доброе утро,— смущенно отвечает Юренко, не зная, что и думать. А тем временем волы, слюняво пофыркивая, тянут к нему из-за ворот головы.

— Не думал, что увидишь их так скоро? — посмеивается полевой, и на лице его ни росинки злости или гнева.

«Что же это такое?»

Но раздумывать некогда, и Евдоким почтительно кланяется.

— И в самом деле не думал. Спасибо.

— Бога и барина благодари: пожалел тебя! — Полевой многозначительно поднял руку с плетью.

— Сам барин пожалел? — еще более изумляется Евдоким, а вместе с ним и жена, вышедшая из дома и готовая упасть в ноги полевому.

А тот рассудительно, по-человечески объясняет:

— Думаете, наш барин не разбирается, кто нарочно шкодит, а у кого скотина нечаянно забралась в хлеб? Он все знает, до последней крошки. Ого, у нашего барина голова как у царского министра!

— Дай бог здоровья и ему и вам,— Олена низко кланяется полевому, и с нею вместе кланяется ее пышная грудь, которой тесно в широкой пазухе.— Спасибо, что потрудили свои ножки, сами пришли к нам.

— Не за что.— Полевой косится на пазуху Олены и говорит в пространство между нею и Евдокимом: — Ну, экономия не будет брать с вас штраф, так барин велел. Но сегодня же выходите оба жать господскую рожь. Пожнете два дня, да не задаром, за плату, — и барин простит вам потраву.

— Как же выходить жать, когда мужики бастуют?— усомнился Евдоким и, не понимая, посмотрел на полевого.

Но Олена, тряся зобом и грудью, сразу же неистово накинулась на мужа:

— Какое тебе дело, оглашенный, до забастовщиков?! Что тебе с ними, детей крестить? Уважил нас барин — спасибо ему, золотенькому, уважим и мы его.

Евдоким смерил супругу презрительным взглядом.

— Уважить — не штука, а ежели сезонники возьмут нас в дубье? Что тогда запоешь?

— Не возьмут. Побунтовали — и аминь, миновало их дурацкое голодное царство: утром в село приехали стражники. Они пойдут на помещичье поле, и пусть только

кто разинет рот — дадут такого боба, что после ни лечь, ни встать!

— Так нас придут охранять стражники? — насторожился Евдоким. — Где же это видано? Ох, не к добру все это!

— Ну, как хочешь, Евдоким,— нахмурился полевой.— Я набиваться не стану. Думал, тебе пригодятся и волы и живая копейка,— и он замахнулся плетью на круторогих, отгоняя их от ворот.

— И не слушайте его, полоумного! Что он смыслит? Мелет без памяти, как в белой горячке! — затараторила Олена.— Вот управлюсь на скорую руку с завтраком, и тотчас пойдем на поле: я — с серпом, а он — с косой. Не знаю, как он, а я буду жать, как огонь!

Евдоким только вздохнул, поглядывая на свою скотину, снова подошедшую к воротам.

— Так пойдешь? — Полевой пронзительно глянул на мужика, который, колеблясь, мялся у плетня и по привычке тянул руку к волам.

— Что ж теперь поделаешь? Придется. Только что получится из этого?

— Заработаете вдвоем целковый за день, и за волов не придется платить ни гроша. Еще и чарку выпьешь и будешь кум королю,— лукаво улыбаясь одними глазами, ответил полевой. — Вот что получится! Я тоже сегодня посылаю своих. Не часто перепадает такой заработок. Даже Окупи выходят с батраками. И Шкапонд отбивает косу... Ну, будьте здоровы! Да не мешкайте!

Полевой грузной походкой отправляется на другой край села, а Евдоким распахивает ворота, и его волы вносят во двор свои роскошные рога, которые подчас так гудят, словно в них ветер притаился.

— Слава богу, слава богу, что все так кончилось! — Олена перекрестилась тут же, возле волов: ее тоже скотина заботила больше, чем муж.

— Конца-то, положим, еще не видать,— обронил с сомнением Евдоким.

Олена сразу же обозвала его и вороной, и чучелом, и мурлом, и шкваркой, и недоваренной кишкой, а все же после этих прозвищ на душе у Евдокима стало чуть веселее.

Долго и неохотно собирался Юренко в поле. Жена несколько раз набрасывалась на него с криком, пока наконец он не взвалил на плечо грабки и не взял в другую руку бан-

ку с водой, заткнутую неспелым яблоком. Потом он попрощался с детьми, глянул на огород, где маки как раз открывали свои венчики, и только после этого нехотя поплелся за ворота.

Выйдя за село, он пошел не по прямой дороге, а по извилистой, унизанной росой тропке, чтобы реже попадаться людям на глаза. Так он впервые в жизни шел жать, таясь от людей, так и дошел до господского поля, где собрались уже десятка три жнецов и косарей. Увидав их, Евдоким немного успокоился, но куда меньше обрадовало его то, что в сторонке на серой дороге стояла кучка вооруженных охранников; среди них выделялся немолодой старший стражник с клыкастыми усами.

«Что-то будет?» — с тоской подумал Евдоким, не зная, куда поставить банку с водой. Однако занял свое место и принялся невесело косить.

Но едва прошел один гон, как позади поднялся шум.

По дороге серой волной катились поденщики и сезонники, впереди Григорий Волошин, Лесь Якубенко и Марьян Полярун. Вот мужики подошли вплотную к стражникам. От тех, придерживая шашку, отделился старший, перетянутый свежими, искрящимися на солнце ремнями. Он поднял руку, что-то сказал. Толпа загудела, двинулась к нему, и в это время стражники приложили к плечам винтовки, а старший проворно отскочил в сторону.

Люди, увидав наведенные на них черные зрачки ружей, испуганно попятились в хлеба. Перед старшим стражником остались только Лесь, Марьян и Григорий. Но вот и они отступили к остальным, и тогда внезапно из толпы высыпали женщины, девушки, дети. Они с плачем и криками побежали к стражникам, а те растерянно опустили винтовки. Женщины и детвора тотчас кинулась к жнецам. Среди баб Евдоким заметил и Уляну, и грустную, как монашка, Христину, и злобноглазую Василину со своим выводком, и даже Марию. Это так смутило его, что он бросил грабки на валок и проворно присел во ржи, даже брыль скинул.

— Люди добрые! — заплакала, заголосила Василина Велычко, прижимая к себе малышей.— Что же вы делаете? За что караете своих? Не жалеете нас— так пожалейте детей наших, не вырывайте у них последний кусок изо рта. Спасите, люди,— ведь и вам, может, придется туго...

Но Василине не дали договорить. К ней хищником подско-

чил длинноногий стражник, схватил женщину за руку, чуть не бегом поволок ее и швырнул, как сноп, в толпу. В воздухе засвистели нагайки, разнесся женский визг, и над землей высоко взлетело чье-то «ой!». Через несколько минут возле жнецов не осталось ни одной женщины, только забытый белый платок тихо покачивался на колосках.

Евдоким, оглядываясь, подошел к нему, постоял немного, подумал: «Не Мариин ли?» — и загрустил. Потом бережно снял с колосьев платок, влажный не то от слез, не то от росы.

— Эй, не манежься, Евдоким! — донесся издалека голос Окуня, а рядом гусыней зашипела Олена, и он, сутулясь, снова взялся за грабки.

Молча трудились в этот день господские жнецы и косари. Не развеселила их даже вечерняя чарка, щедро предложенная экономом. Только он один и смеялся на поле, да еще изредка подхихикивал полевой, обещая, что завтра-послезавтра на работу выйдет все село. После чарки эконом тут же, на поле, выдал всем по серебряному полтиннику и задорно тряхнул звонким мешочком.

— Приходите, люди добрые, завтра и соседей приводите! У барина для вас злата-серебра хватит.

Но Юренко даже от серебра отвернулся, не больно-то оно тешило его. Заработал полтину, а совести загубил на червонец. Это только его умная половина, как пенек, ни черта не смыслит, ей бы языком трепать да пазухой трясти перед теми, кто поднялся хоть на вершок выше простого мужика.

Евдоким спал в овине как убитый, и только на рассвете его разбудили вопли жены. И когда у нее хоть маленько притупится язык?.. Одевшись, он неохотно вышел во двор и с порога через плетень увидел, что по огороду, голося и проклиная кого-то, как очумелая носилась Олена.

— Ты чего это завела ни свет ни заря? — закричал он было на жену и осекся: его растерянный взгляд блуждал по огороду, а по плечам пополз щемящий холодок.

Что сделалось с огородом? Какой колдун так изменил его? Там, где красовались подмалеванными щечками маки, не стало маков. Вся картошка, до единого куста, безжалостно выворочена с корнем, и молодая завязь страдальчески белеет на земле. Тыквенная ботва и табак лежат скомканные, перепутанные. Словно молящиеся грешники, распластались почерневшие подсолнухи. Неизувеченной осталась одна-единственная грядка легкокосой моркови... Господи, кто же так тяжко покарал его землю? И за какие грехи?

С другого конца огорода тоже донеслись крики. Там не своим голосом вопила и кляла сезонников Окуниха, которая вчера наперегонки с Оленой жала на господском поле. Евдоким, сам не зная для чего, сунул руку в карман и нащупал серебряный полтинник — вчерашний заработок. Он выхватил монету и с силой швырнул ее на землю. Серебро ударилось о черепок, зазвенело, и Евдоким мельком увидел на нем улыбающееся лицо царя. С чего бы ему теперь улыбаться?..

В этот день на господское поле не вышел ни один жнец, ни один косарь, и вооруженные стражники зря проторчали на дороге до обеда. Потом, когда над полями задрожал зной, они отправились в село, браво распевая:

Барыня, барыня,
Сударыня, барыня,
За шо Ваню вдарила,
Вдарила, вшпарила,
Три раза, три раза
У Ванюшины глаза?

Вечером Аркадий Валерьянович согласился на цену забастовщиков. А уже на следующее утро все поле покрылось жнецами и косарями, ожило от шума и смеха.

Мужики и в этом году успели вовремя убрать господское жито, но на этот раз никто не принес барину ни зажиночного, ни обжиночного снопа.

XVII

Когда скорбь сосет душу, как змея сердце, от глаз бежит сон. И чего только не передумает в такую пору человек, сжимая то голову, то сердце! И по боли его, как по шатким мосткам, бредет пережитое, не радуя, не утешая, как не радуют, не утешают холодные сгустки теней: под ними можно постоять, укрыться на короткое время, но с ними не проживешь. И какая боль, какое горе ни согнули бы человека, а выпрямляться приходится ему самому, да еще нередко так, чтобы посторонние не видели ни разразившейся беды, ни тех костылей, на которые опирается измученная жизнь.

— Что с тобой? — спросят люди.

И надо им ответить:

— Ничего. Нездоровится.

— Что ж у тебя болит?

И не скажешь: «Все-все болит», а — «голова» или «грудь».

И даже притворишься, что это именно они болят, а вовсе не изувеченная душа, тлеющая и дымящаяся, как головешка.

Вот так и поступает теперь Христинка, оплакав свое девичество. А может, и не было его у ней? Может, не было той лунной ночи, когда Роман сказал, что донесет ее на плече, может, не было того вечера, когда возле морозенковских верб ее окликнул Юрко и когда над их любовью прошуршали птичьи крылья: тиш-тих, тиш-тих? Теперь у нее точно так же стучит о ребра сердце: тиш-тих, тиш-тих,— и гонит по телу не кровь, а слезы. Вот и сейчас смотрит Христина на звездное поле, на Большую Медведицу, а слезы сами катятся и катятся. Отчего их так много в жизни? И когда их поуменьшится? Ведь и Большая Медведица — тоже девичьи слезы.

И она вспоминает, как еще дед Дунай рассказывал ей об этом большом семизвездье... Давным-давно была раз страшная засуха. Вокруг пересохли пруды, колодцы, родники, ручьи, сама земля горела от безводья. И в эту пору заболела у одной девушки мать, того и гляди умрет. Взяла дочка кувшин и пошла искать для матери воду. Три дня и три ночи бродила она по лесам и полям и нашла наконец родничок, едва перебивающийся с капли на каплю. За полдня набрала девушка кувшин и побежала домой. Неподалеку от своей деревни встретились ей семеро больных. Стали они просить у девушки воды. Она и дала им напиться, а потом поставила кувшин на землю, а к нему подползла собака. Напилась и собака, да и опрокинула кувшин. И тут заплакала девушка над пустой посудиной. Слезы пали на дно кувшина и сразу взлетели на небо семью большими звездами. А потом пошел такой дождь, что напились и земля и люди...

Сказка на миг отвлекает мысли Христины от действительности, но когда она рассеивается, как туман, становится еще хуже.

А по улице и до сих пор бродит чья-то тень. Это Юрко ждет ее. Парень, верно, все еще думает, что она больна. Христина отстраняется от окна, а за ним тихонько, как вздох, тоскует песня:

Ржица, мама, ржица,
Ржица — не полова,
Как девушку не любить,
Если черноброва!

Хоть бы он разлюбил ее, ведь иначе не сегодня-завтра придется с ним встретиться. И что только говорить ему?.. Ведь ходил же Юрко ко многим, шутил со многими, а потом чудномило едва здоровался с ними. Вот бы и теперь так. Но нет, бродит по улице, останавливается у ворот, вызывает и песней и свистом. Но уже не для нее его песни, не для нее слова о том, что она лучше всех на свете... Может, выйти сейчас и все-все сказать ему со слезами, чтобы не мучить ни себя, ни его? От этой мысли девушку бросает в дрожь, лоб покрывается холодным потом. А в окна снова стрепетом бьется песня, и от нее тихо звенят нижние стекла:

Ржица, мама, ржица,
Ржица — не пшеница,
Как девушку не любить,
Если чаровница!

И еще совсем недавно он назвал ее чаровницей, на том самом лугу, где безутешно плакал над разоренным гнездом сгорбленный шмель... Может, и вправду выйти к Юрку? Но она опускается на топчан, обхватывает голову руками, и ее снова сотрясают рыдания.

А еще через вечер, когда мать была у соседей, Юрко сам пришел, и Христина, как неживая, замерла у стола, не зная, что сказать ему.

— Христинка, что с тобой? Отчего тебя нигде не видно? Или прячешься от меня? — Он взял ее безвольную руку, поднес к губам и этим вывел Христину из забытья.

— Не целуй меня, Юрий,— тихо попросила она и закрыла лицо этой же рукой.

— Отчего, любушка? — забеспокоился парень.

— Я уже не твоя.

— Христинка, родная, что ты говоришь?! Опомнись! Что с тобой? — Он испуганно посмотрел на нее, привлек к себе и положил ладонь ей на грудь.

И она впервые не оттолкнула его, не назвала бессовестным, не ударила по руке. И это поразило и насторожило Юрка: верно, и в самом деле беда ждала его. Он поцеловал Христину в безвольные, мягкие губы. Но когда поднял девушку на руки, она, упираясь, твердо сказала:

— Не трогай меня, Юрий, не трогай. Так лучше будет.

— Да что с тобой?

— Лучше не спрашивай...

— Нет, ты скажи! — нахмурился парень.— Если хочешь ударить в сердце, бей сразу.

И Христина, покусывая губы, рассказала ему все.

— Я убью его! Сегодня же убью, как бешеного пса!— Юрко повернулся и бросился к дверям.

Но Христина остановила его:

— Не надо, Юрий, не надо. Уже ничего не сделаешь. Он — моя судьба.

— А кто же я?— воскликнул Юрко.

— А ты — любовь.— Христина с грустью и болью посмотрела на него.

— И ты выйдешь замуж за этого пакостника?!— застонал Юрко.

— Придется.

— Нет, не делай этого. Как мне ни тяжело, а выходи за меня,— и Юрко сжал виски руками.

— Нельзя, Юрий, нельзя,— сказала с невыразимой тоской Христина и оперлась на стол.

— Отчего же нельзя?— темнея от горя и гнева, допытывался Юрко.— Ты скажи: истинно любишь меня?

Девушка доверчиво посмотрела на него.

— И ты еще спрашиваешь... Люблю, Юрий, как душу до сей поры любила.

— И я тебя так же. Ну и плюнь на Левка, хотя он и этого не заслужил... Что ж, не так думалось, не так гадалось, да уж как-нибудь проживем. Слышишь?

Христина покачала головой.

— Нет, Юрий, ты не забудешь этого...

— И ты не забудешь. Но попробуем забыть... Может, что-нибудь и выйдет. Ох, и гадина же он!

— Легко сказать: «попробуем забыть»... А если родится ребенок? Он тебя не радовать — мучить будет. Я не хочу этого.

И Юрко вдруг увидел перед собою не девушку, а мать, женщину, которая сквозь слезы смотрела на жизнь тяжелым и мудрым взглядом. И когда она успела стать такой? Он обнял ее, снова положил ей руки на грудь, а она отдала ему последний поцелуй.

— Иди, любимый, и, если можешь, не суди меня. И еще прошу тебя: никому ни слова об этом... Перед тобой я чиста, как лебедь...

Юрий, держась за Христину, как слепой, вышел из хаты, еще раз поцеловал девушку и очутился на улице. Неистовая ярость распирала ему грудь. Он нащупал в кармане спички, перепрыгнул через плетень и огородами на-

правился к хате Щербин. Как вор, подкрался он к высокому овину, насквозь пропахшему сеном и свежими ржаными снопами. Притаившись у ворот, осторожно выглянул на улицу, вынул коробок, чиркнул сразу двумя спичками и поднес дрожащий огонек под стреху.

Но вдруг в душе Звонаря что-то перевернулось. За этим огоньком, которому предстояло испепелить гнездо Щербин, он увидел печальное лицо Христины. В одну ночь сгорело их счастье, так для чего же палить еще и ту частицу добра, которая достанется ей и ее ребенку?

Юрий опустил руку, с болью посмотрел на желтый, как цветок одуванчика, огонек, дунул, и он сразу же погас, а глаза не то тьма застлала, не то слезы. Юрко, через силу отрывая ноги от земли, пошел домой, упал, как сноп, в овине на сено и долго корчился от боли. Но и там нашла его песня:

По деревне, по деревне
Возят с луга сено,
А уж моя хорошая
Поужинать села.

С кем же его хорошая поужинать сядет? С проклятым Левком?.. Юрий снова рванулся к Щербинам и снова с мукой упал на свою колючую постель.

XVIII

Что-то несказанно чарующее и трогательное таится в природе, когда под луной темнеют или искрятся размывчатым отливом лохматые копенки. Тогда кажется: вот-вот увидишь на ржаном жнивье само лето, бредет оно, словно усталая жница, и само себе удивляется — чего только оно не сделало, чего только не народило вокруг!

Как тихо и славно в поле! От жнивья и снопов тянет влажным хлебом, а сверху нижется сладкая теплынь липового цвета. А может быть, этот дух не от лип на тракте, а из лунной пороши, которая дрожит над тобой, собирается на каждом зернышке пшеничного колоса и, набрякнув капельками, радостно и трепетно падает на землю?

Сможет ли художник изобразить вот такой петровский вечер? Чтобы и невидимое лето шло по жнивью, чтобы и копенки, как живые надежды земледельца, дышали ржаным хлебом, чтобы и лунная завязь завязывалась на ярой пшенице, чтобы и росица падала с колосьев, как светлая слеза?

Нет, такое не изобразишь, только увидеть можешь. Вот и смотри, пока сердце молодо и стены великой тюрьмы, называемой империею, не сомкнулись вокруг тебя. А они рано или поздно сомкнутся.

На днях вызывал становой, бушевал, побагровев, стучал кулаком по столу. А он обиженно пожимал плечами и удивлялся: как можно к его увлечению живописью приплести действия забастовщиков? Правда, Леся Якубенка и Марьяна Поляруша он написал — небезынтересные типы,— но о забастовке у них не было и речи. На что она ему сдалась? Да и мужики, откровенно говоря, не требовали от помещика ничего незаконного, только хотели получить больше денег за свою работу. Что же, вольному воля, а спасенному рай. Разве их благородие не согласилось бы получать больше?..

И их благородие, пересказав учителю все доносы отца Николая, под конец буркнуло:

— Мне очень надоела ваша особа.

— Кому что нравится: одному — поп, другому — попадья, а третьему — попова дочка.

— Вы мастер выкручиваться и дурно влиять на мужиков. Но самая большая ваша вина в том, что вас ни на чем не поймаешь. Однако до поры кувшин воду носит! Отечество ждет от вас помощи, а вы заставляете еще и на вас тратить силы. Одумайтесь, пока не поздно!

Степан Васильевич, вспомнив этот разговор, показывает кому-то язык и беззвучно смеется. С чего бы, кажется? Другой волосы на себе рвал бы, попав к становому, а ему, ей-богу, смешно,— у служаки была такая глупая рожа, что сразу захотелось написать портрет. Да и вообще природа наделила пристава четвертого стана не́ слишком большим умом: бедняга тут же, в собственной резиденции, жаловался на то, как трудно стало ему теперь работать. Парадокс. Приставу — и тому трудно.

Степан Васильевич улыбается. Где это он читал о том, что в империи все, в сущности, арестанты — те, кто сидит в тюрьмах, и те, кто их стережет? Небезынтересная мысль!.. Но чего ради пристав и всякая погань суют нос в такой прекрасный вечер? Степан Васильевич отмахивается от всего этого ничтожества, снова присматривается к копенкам, с которых прямо в воздух течет чистое золото, и запевает:

Ой, Петровочки кончаются,
И кукушка забирается
Во садочек, под листочек,

Под барвиночек-цветочек,
Под пахучий василечек,
Во зеленую дубраву.

Какие же он еще знает песни про василек и барвинок? Вспоминается ночь, когда они переправлялись с Нагорным через Буг и он пел про вербную досточку. От песни петровского поста Степан Васильевич переходит к купальской:

— Что ж ты, барвинок, не стелешься,
Что ж ты, Микола, не женишься?
— Я еще зеленый — постелюся.
Я еще молоденький — женюся.
— Что же ты, руточка, вверх не растешь?
Что же ты, Ганнуся, замуж не идешь?
— Я еще зеленая — вырасту.
Я еще молоденькая — замуж пойду.

И ведь пойдет замуж! Отчего же не пойти, если попадутся добрые люди? Степан Васильевич тихонечко стелет песню над пшеницей, и его незаметно пленяют чары и видения праздника Ивана Купалы... На речку летят перевитые огнем колеса, девушки поют над волнами, поглядывая на свои венки, в лесу в полночь расцветает папоротник, а под его цветами раскрываются выношенные в мечтах сокровища.

— Ой, ты, Микола, так не стой,
Жупаном Ганнусеньку прикрой.
— Нету жупана со мною.
Я Ганнусю свиткой прикрою.
Черная свитка, что галка,
Мне для Ганнуси не жалко...

— Ну, не чертов парень? Не растерялся, что нет у него жупана,— он свою подруженьку и свиткой прикроет. И правильно сделает. Чем ей будет хуже под свиткой?— уже вслух спрашивает учитель и сам удивляется тому, что заговорил с природой. А разве не говорил так с нею тот, кто слагал песни? Наверное, так же беседовал, как беседует мать с не родившимся еще ребенком, называя его и маленьким, и хорошеньким, и чернобровым, и кареглазым. Вот как бывает на свете!

Учитель останавливается на тропинке и с наслаждением пьет ржаной, липовый и лунный настой вечера.

«А придет время — еще лучше станут вечера эти: ведь должны же люди когда-нибудь вырвать у господ не только надбавку за работу, но и само счастье... Что же мы тогда

будем делать? Прежде всего, в каждой бедняцкой хате выкопаем горшки с духами нужды — «злыднями» [1], разобьем их вдребезги, сложим в гроб и понесем на кладбище...»

Но Степану Васильевичу не удалось дорисовать картину грядущего — из низинки донесся до него возмущенный женский крик:

— Отойди, ненавистный!

— Василинка, голубушка, умоляю...— ныл сластолюбивый мужской голос.— Что хочешь дам. Самый лучший платок привезу.

— За ваши платки не одна девка лишилась чести. Отойдите — закричу!

— Не могу, Василина... Не могу без тебя... Что хочешь сделаю. Ты ведь без хлеба сидишь.

— Зато не без совести.

— И дети мучаются. Разве я не помогу им?

— И пусть мучаются,— с болью вырвалось у женщины.— Я их грудью кормила, а срамом — не стану.

— А грудь у тебя какая!..

— Господи, до чего ж вы распутный! И глаза злые, по-бесовски горят.

— Это моя любовь горит. Пожалей меня, дай хоть обниму, приголублю...

— Пусть вас, Гервасий, беда приголубит! Вы уж и со счету сбились, сколько обесчестили баб.

— Э, что ты выдумываешь! Правда, и я не без греха, но не таков, как болтают про меня...

— Как только вас жена и земля терпят?

— Уж, стало быть, терпят,— дурашливо засмеялся управитель.— Ну, хоть раз поцелуй.

— Отстаньте! Слышите?

— Вот и не отстану, никак не отстану,— наглеет Гервасий.— И чего тебе кобениться?

— Пропади ты пропадом, дьявол!

— Ой, не мучь меня, Василина! Что хочешь кину тебе под ноги. Хоть недолго поживешь по-людски. Или надеешься на своего Мирона? А он, думаешь, там, на заработках, не заглядывается на чужих?

— Пускай, лишь бы я перед ним была чиста.

---

[1] По народному украинскому поверью, духи нужды (нечто вроде русского «горя-злосчастья») зарыты в горшке у порога бедняцкой хаты, и, пока они там, нужда преследует хозяина.

— В рай все равно не попадешь. Грехом больше, грехом меньше — это не страшно.

— Какой вы бессовестный, Гервасий! Завтра, ей-богу, пойду к вашей жене.

— То завтра. А сегодня побудешь со мной.

— Ой, люди!..— отчаянно завопила Василина.— Ой, спасите!

В низине послышалась возня.

— Молчи, дура. Тебе же лучше будет: кошель с деньгами понесешь домой...

— Будь ты проклят с ними... Пусти, гад...

Когда Степан Васильевич добежал до низинки, там под черными осокорями боролись, гнулись к земле двое, а неподалеку спокойно пасся конь, и на его крепких зубах смачно хрустела трава.

— Не царапайся, киска,— отстраняя голову и сплевывая, приговаривал управитель.

— Пусти, ирод, пусти же...— Василина, уже падая, вырвалась из объятий, но крепкие руки управителя снова обхватили ее. — Смилуйся, Гервасий,— заплакала женщина, видно чувствуя, что силы покидают ее.

— Глупая! Ну что тебе?.. Что я, хуже всех? Я же не забуду тебя, вот увидишь...

— Чтоб тебя смерть не забыла!

И тут Степан Васильевич изо всей силы ударил Салогана по лицу.

— Кто это?!— испуганно вырвалось у того.— Кто это?!

Он выпустил женщину и уже обеими руками слепо защищался от ударов, градом сыпавшихся на него.

— Мерзавец! Получай еще! Ешь на здоровье!— Левченко с яростным наслаждением колошматил управителя.

Гервасий наконец опомнился и, не защищаясь, пригнувшись, побежал к лошади. И только вскочив в седло, наконец подал голос:

— Я еще доберусь до твоих зубов и ребер! Попадет бычок на веревочку! — злобно орал он. — Бунтовщик! — В воздухе свистнула нагайка, и конь с места пошел галопом.

А к учителю, стыдясь, всхлипывая и дрожа, припала Василина.

— Вот спасибо вам, Степан Васильевич. Не кануло еще мое счастье в синее море. Спаситель вы мой! — Она

торопливо оправила юбку и сбившийся платок и уже смущенно улыбнулась заплаканными глазами.— И без того жизнь пропащая, а эта погань добила бы так, что и на людей глаз не поднять. Спасибо вам, барин!

— Не называйте меня этим отвратным словом!— возмутился учитель.— Какой я вам барин?

— Больше не буду,— с готовностью согласилась женщина.— Правда, что вы из нашего брата, из мужиков?

— Нет, подымай выше,— засмеялся Степан Васильевич, чтобы как-нибудь подбодрить женщину, которую все еще била дрожь.

— Куда же выше?— успокаиваясь, спросила Василина.

— Из сапожников. Но мой отец был не гордый человек. Он всегда просил: «Я хоть и сапожник, но говорите со мной как с простым».

— Какой вы добрый, ба... Степан Васильевич. Вы меня и домой проводите?— осмелев, спросила Василина.

— Если вы так просите,— улыбнулся учитель,— могу хоть домой, хоть на край света.

— Ой, для чего же так далеко?— Женщина вздрогнула, вспомнив пережитое, но ее красивое, с диковатыми глазами лицо светилось добротой и лаской.

Полями и огородами они добрались до жилища Василины, и тут ее снова затрясло.

— Не дрожите, а то замерзнете в петровки,— пытался успокоить ее учитель.

— Да ведь страшно, ох, как страшно...

— Возле своей-то хаты?

— А если он ворвется ночью?— Глаза Василины расширяются.— Что я тогда стану делать?

— Выдумаете тоже!

— Не знаете вы этого ирода, Степан Васильевич. А может, побудете немного у меня? А то так страшно, что душа леденеет.— Она умоляюще смотрит на учителя, и в глазах ее дрожат капельки страха.

— Если уж так боитесь — побуду.

— Вот спасибо, золотой вы мой!— Василина отодвигает деревянным ключом засов и за руку ведет учителя на другую половину хаты.— Садитесь, Степан Васильевич. Не знаю, варили дети ужин или нет?— морщит она лоб.

— Я ужинал.

— А земляники хотите? Мои каждый день приносят из лесу.

— Поем.

Василина ощупью находит землянику, пододвигает гостю миску, достает из шкафчика ложку и, как всегда, вытирает ее рукой, но тут же спохватывается и спешит сполоснуть.

— Не надо,— остановил ее Степан Васильевич и взял ложку.— А вы что же?

— Я на вас погляжу.— Она подпирает щеку ладонью и задумчиво смотрит, как учитель ест ее немудреный ужин, вглядывается в скуластое лицо, в темные, как вороново крыло, волосы, в пухлые, еще мальчишеские губы.

«Неужели ему придется в тюрьме гнить?— подумала она, вспомнив болтовню господских приспешников.— За что? Разве он может обидеть человека? Золотенький мой, мальчик еще»,— мысленно она обращалась к нему, как к своему старшему сыну.

Поев, Степан Васильевич поблагодарил, прошелся по хате и увидел на сундуке возле ступы папоротник.

«Что же с ним делают после Ивана Купалы?» — удивился он и обернулся к Василине:

— А для чего у вас папоротник?

— Так, лежит и лежит... — замялась, краснея, женщина.

— Колдуете? Клад ищете?— Учитель посмотрел на женщину с улыбкой.

Та только горестно вздохнула.

— Какое там колдовство, помилуй бог людей от него...

— Да уж не скрывайте, скажите, Василина... Это мне для науки надо знать...

— Для какой науки? Кому она нужна? — И женщина вдруг всхлипнула.— Может, думаете: ворожея Василина, бегает на Ивана Купала в лес за кладами? А я толку это зелье в ступе, а потом из муки пеку детям и себе лепешки, чтоб не подохнуть с голоду.

Учитель поразился:

— Из папоротника — лепешки?!

— Ну да. Видите теперь, какие наши клады мужицкие?

Это было неслыханно. Сколько Степан Васильевич ни перечитал книг, сколько ни слыхал легенд, но чтобы так уродливо смыкались поэтический вымысел и жестокая жизнь, такого он еще не встречал. До последнего дня не забудет он этого и до последнего вздоха отдаст жизнь, только

бы не ели папоротник люди, называемые хлеборобами. Он подошел к Василине и поцеловал ее исцарапанную, исколотую жнивьем, порезанную серпом руку.

— Что вы, Степан Васильевич, как можно?!— Женщина с укором вырывает руку, испуганно прикрывает ее передником.

— Можно, Василина,— уверенно говорит Левченко.— Вы — мать, да еще такая, каких, может, и на свете мало.

— И что выдумываете? Не надо так, а то, ей-богу, разревусь. Кто же еще так жалел меня? — И на ресницах ее повисают слезы.— Не выдумывайте.

— Я не выдумываю. Вот взять богородицу,— он посмотрел на икону.— Она одного родила, а вы — пятерых. И растите их на воде да на беде и честь свою бережете. Так разве вы не лучше?

— Ой, и не говорите! Вы еще не знаете, как я порой кляну свой выводок, как ругаю Мирона и всех, кто под руку попадется, а потом и себя. Такое непотребство иной раз сорвется с языка, что не дай бог...

— Так зато у вас в душе непотребства нету. Это главное.— Он снова посмотрел на папоротник.— Продайте мне эту ступку.

— На что она вам? — удивилась Василина.

— Пусть стоит у меня на столе и каждый день напоминает о том, как живут люди и как надо их любить и жалеть.

— Такую печальную памятку хотите иметь?

— Именно!— Между бровями учителя пролегла складка.— Хочу, чтобы никогда-никогда не очерствело сердце.

— Так возьмите ее себе.

— Я заплачу.

— Не обижайте меня.

— Ну, спасибо.

— Не за что.

Учитель выгреб из ступки горсть крупно размолотой муки из таинственного растения, приносящего людям клады... Вот оно и принесло клад.

Он попрощался с Василиной и вышел, а женщина проводила его глазами до ворот и опустилась на колени перед богородицей в едва поблескивающем серебряном окладе.

Долго Василина вымаливала у своей заступницы долю и для учителя, и для Мирона, и для своих детей, и для себя,

наконец поднялась и ушла спать на другую половину хаты.

После тяжелого дня ей приснился фантастический сон. Будто в поле, дожиная господскую рожь, она встретила богородицу. Оторопела женщина, выпрямилась, прижимая к ноге серп, потом испуганно глянула на свои вконец искорябанные, все в ссадинах, ноги, на растрескавшуюся кожу рук, не зная, куда их спрятать от взора богоматери. Но та зорко посмотрела на нее и просто, как обыкновенная женщина, сказала:

— Вижу, как ты мучаешься. Вижу, как дети одолели тебя. А чем пособить — не знаю. Может, сделать так, чтобы в лесу родилось больше папоротников?

— Пусть родится хлеба больше,— осмелилась попросить Василина.

Богородица кивнула головой и протянула Василине что-то завернутое в белую тряпицу.

— Возьми от меня.

Василина развернула тряпицу и увидела в ней все зубы, выпавшие у нее при рождении детей.

Она проснулась, дрожа от страха, когда в маленькие окна заглянул темно-синими глазами рассвет. К добру ли такой сон? И как она отважилась просить у богородицы хлеба? Ох, наверное, гневается матерь божия за то, что Мирон вынул из образа стекло! Непременно надо вставить новое.

Она быстро причесалась, умылась над бадьей и задумалась: что приготовить на утро? Уж до того въелась в печенки эта нужда, пропади она пропадом! Если бы не жил человек надеждой, давно бы удавился. Под лавкой что-то хлюпнуло, и Василина с радостью достала оттуда большой горшок — в нем плескались живые вьюны, маленький налим и несколько линей.

«Рыбаки мои»,— подумала она, переведя взгляд на ребятишек, вповалку спавших на голых нарах.

Рыбку можно бы поджарить, но для этого надо масла, и Василина принялась готовить уху, с улыбкой вспоминая учителя. Славный он и крепкий, как дубок. Ох, и бил же проклятущего Салогана, побей его Илья-пророк громами своими!

Солнце еще только-только вполглаза глянуло на землю, а у Василины уже вкусно дымилась на припечке уха. Эх, жаль, не угостила она ею учителя!

XIX

На окраине города Левченко неожиданно встречает Нагорного. Тот равнодушно, усталой походкой приближается к Степану Васильевичу и, прикрыв рот в притворном зевке, выдыхает несколько слов:

— Провал. На старой квартире ждут филеры из летучего отряда Спиридовича. Будь хитрым, яко змей. До свидания.

И, потягиваясь от зевоты, шагает к торговой площади, а Степан Васильевич невольно подносит руку к груди, где дышат еще пахнущие свежей краской и керосином листовки.

Провал... Он еще неделю назад слышал о старшем филере Лашкуне, раскрывшем боевую организацию эсеров. А теперь, выходит, и до социал-демократов добрались? Недаром сегодня были у него дурные предчувствия... У Лашкуна, говорят, совершенно идиотские глаза, но за ними кроется дьявольская ловкость... Провал. В замостье он почувствовал на себе чей-то взгляд. Уж не собираются ли в самом деле черные тени вокруг? Может, зайти в чей-нибудь двор и выбросить листовки? Но их жаль, как детей.

Что же, надо поскорей уносить ноги из города. Хорошо, что на улицы уже входит неслышными шагами вечер. Степан Васильевич спускается в хаос еврейских кварталов,— так и кажется, будто какой-то гигант уставил здесь все лачужки и халупки в одно решето и так тряхнул, что они рассыпались во все стороны и покосились, налезая одна на другую.

По захламленным улицам слоняются худущие, ободранные козы, на крылечках сидят старые еврейки с копеечным товаром и неизменными селедками, из которых сочатся рассол и смрад. Степан Васильевич петляет, как заяц, из улочки в улочку, делая неожиданные повороты, и понемножку выбирается из причудливого решета извечной городской нищеты.

И тут ему преграждает дорогу человек в котелке. Из-под котелка выбивается черный вихор, а под ним сверкают широко расставленные идиотские глаза.

«Лашкун!» Сердце екнуло и сразу коснулось тонкой ледяной пленки. Но неужели опытные филеры не понимают, что этот паршивый котелок их выдает? Словно улитка в раковине! А что, если это и в самом деле просто подвыпивший приказчик, пробирающийся восвояси?

Тело Степана Васильевича напрягается до звона. Неизвестный, пошатываясь, подходит к учителю, не сводя с него неподвижного, змеиного взгляда. И вдруг Степан Васильевич замечает, что в глазах человека под пленкой идиотизма бегают искорки торжества. Последние сомнения рассеиваются: нет, это не подвыпивший приказчик, это шпик. «Что ж, посмотрим, какой из тебя игрок!»

Неизвестный поравнялся с Левченком, повернулся к нему — и куда подевалась его пьяная расслабленность! Филер обеими руками хватает учителя и тихо, словно доверительно сообщая приятную новость, говорит:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Вы арестованы.

Степан Васильевич заранее продуманным ударом изо всей силы бьет шпика по переносице и возмущенно восклицает:

— Ах ты, пьяная свинья! Ты что пристаешь к честным людям? Я тебе шею сверну!— и в самом деле новым ударом сшибает на сторону голову охранника.

Ярость и боль искажают физиономию Лашкуна. Он пытается снова вцепиться в учителя, но на него обрушиваются подряд еще два удара. Филер, весь в крови, неловко валится на мостовую, царапая булыжник растопыренными пальцами.

— Протрезвись, мурло, а потом лезь к людям!

Учитель напоследок пинает скорченное тело ногой и торопливо скрывается во тьме, сам удивляясь, как ему удалось столь блистательно разыграть эту почти комическую сцену, которой по замыслу предстояло стать трагической. Позади раздаются жалобные вопли филера и старушечьи причитания.

«Теперь зализывай себе лапы»,— думает Левченко, спеша выбраться из города.

Дорогой он пытается сообразить, когда же его выследили. Тогда ли, когда он брал листовки, или раньше? Нет, вероятно, сегодня,— иначе он давно бы уже кормил в тюрьме клопов... Надо хоть запастись арагацем...

Перед самым рассветом учитель добирается до школы; оглядывается вокруг — нет ли чего подозрительного? — и, успокоившись, отпирает дверь. В классе он засовывает прокламации за портрет царя: усталость валит с ног — не хочется идти на берег.

«Да и чем плохой тайник?» Он глянул на темное пятно портрета и остался доволен своей выдумкой. А пережитое все кружит перед его глазами; Степан Васильевич отмахи-

вается от него и зевает, чувствуя, как во все клеточки организма входит сон и тело становится легким и звонким.

Учитель на ощупь добирается до своей комнатки, быстро раздевается и падает на кровать. На память снова приходит идиотическая физиономия шпика, затем — ступа с папоротником, грустное лицо Василины... Сознание заволакивает сладкий чад, и вот уже нет на свете ничего, кроме темноты. Но постепенно в темноту прорываются мелодичные колокольчики: обронят гроздь звона и затихнут, дрогнут, всколыхнут эхо — и тишина. Потом в дверь застучали, да так, словно кто-то старался выбить всю ее дервеянную душу.

Степан Васильевич вскакивает с постели. Его слепит солнечный свет и оглушает стук. Что происходит? В одном белье он подходит к окну и видит возле церковной ограды воплощенную беду — тарантас пристава.

Так вот кого черти принесли. Вот кто изо всех сил барабанит в дверь. А он еще и арагаца не успел купить.

А дверь уже едва не слетает с петель. Учителю приходится сердито крикнуть в сени:

— Погодите, господа, не утруждайте золотые руки! Еще успеете — сейчас оденусь.

— Мы вас и неодетым узнаем. Отворяйте, не деликатничайте!— весело отвечает снаружи становой, и его смешок струйкой льется сквозь рассохшуюся дверь.

Одевшись, Степан Васильевич отпирает дверь и впускает пристава, урядника, Окуня и Плачинду. На лице Терентия он замечает даже смущение: должно быть, ему не очень хотелось идти к учителю понятым.

— Как спали-отдыхали, Степан Васильевич? — совершенно не сердясь, спрашивает пристав и с профессиональным вниманием шарит глазами по комнате.

Учитель спокойно отвечает:

— Как после макового отвара. Не разбудили бы — понежился бы еще часок.

— Значит, спали сном праведника? И не ждали таких дорогих гостей? — В глазах пристава насмешка, сквозь нее он и смотрит на все, что может его заинтересовать.

— Не ждал таких дорогих гостей,— учитель подчеркивает последние слова, хотя у него уже начинается нечто вроде нервного озноба.

— Что это у вас? — спрашивает пристав, присматриваясь к ступе, из которой торчат несколько стеблей папоротника.

— Самая обыкновенная ступа.

— У учителя — ступа? И для чего же она вам?

— Для научных целей.

— Для какой же науки?

— Для той, что зовется этнографией.

— Этнографией? А что в этой ступе? — Профессиональная подозрительность сразу сбрасывает маску доброжелательного удивления. Пристав осторожно, то с одной, то с другой стороны, заглядывает в черное жерло ступы, еще осторожнее засовывает туда палец и вынимает крупинку муки грубого помола.— Это что же за этнография? — Он снова подымает на учителя подозрительный взгляд.

Степан Васильевич округляет глаза и шепчет испуганно:

— А это динамит!

У пристава непроизвольно вздрагивает рука, но он сразу же соображает, что это шутка, и смеется.

— Ну, какой же это динамит? Когда в доме есть динамит, я его носом чую. Толченый папоротник?

— Совершенно верно.

— Собираете легенды? Это возвращает вас к временам детских сказок?

— Мое время сказок закончилось в шесть лет.

— Это как же прикажете понимать?

— Я с шести лет пошел пасти чужих гусей, хозяйский кнут сразу выбил из меня все сказки.

— Понимаю, понимаю.— И только теперь пристав показывает ордер на обыск.

В ордере не сказано об аресте независимо от обыска. Что ж, и то хорошо.

Непрошеные гости перерывают всю комнату, просматривают и треплют книги, бумаги, приглядываются к картинам, распарывают матрац, прощупывают подушки. Не найдя ничего в комнате, они выходят в класс, шарят под скамьями, заглядывают в печь и наконец направляются в сени.

В классе остается один Терентий Плачинда. Что заставило его протянуть руку за царский портрет? Вот богач бережно вынул пакетик с листовками, удивленно и растерянно покосился на них, прочитал какие-то слова, глянул на учителя и остановился в нерешимости. Потом нахмурился, прикусил губу, а листовки засунул в карман и вышел из класса. Все это произошло так внезапно и быстро, что Степан Васильевич не мог прийти в себя от изумления.

«Что же это значит? Совесть в нем проснулась или он потом отдаст листовки приставу? Но какая может быть совесть у Терентия Плачинды, которого даже родной брат называет «мой живодер»?»

Но каких чудес не бывает на свете! Через час-полтора пристав написал в комнате учителя краткий протокол, где значилось, что при обыске «ничего предосудительного не найдено», извинился и вышел к тарантасу. Там перед начальством почтительно согнулись Окунь и Плачинда.

— Не побрезгуйте откушать нашего хлеба-соли. После трудов праведных...

— Просим, очень просим. Я как раз чернятинского пива [1] привез,— с достоинством приглашал Терентий.

— Ну, разве что чернятинского, его не грех пить!— милостиво согласилось начальство.

Вскоре в доме Плачинды засуетились, словно перед пасхой. Между тем становой осматривал горницы, заглянул в комнату Якова, даже раскрыл несколько книг и, посмеиваясь, спросил Терентия:

— И за вашим братом водятся грешки. Не слыхали?

— Кто его знает, может, и водятся. Я его книжек не читаю, а дружба с Варавой не доведет до добра.

Пристав нахмурился.

— Пусть лучше не знается с ним.

— Да разве я не говорил? Только теперь все больно поумнели, вроде нашего учителя. Вы ведь у него крамолу искали?

— Крамолу.

— Книжонки, листовки разные?

— И листовки.

Терентий покачал головой.

— Кто-то разбрасывает их у нас в селе, будоражит людей. А что за них может быть?

— Может быть и три месяца, может быть и три года, а бывает, и еще больше.

— Закон!— понимающе причмокнул Терентий и поежился, представив себе, как закон приближается к его жилищу.— Просим к столу. Извините, если что не так,— за вкус не поручусь, а горячо будет.

---

[1] Чернятинское пиво в то время было лучшим на Подолье. *(Прим. автора.)*.

XX

Ежедневная грызня и свара утомили наконец и неутомимого Терентия, он пошел на уступки. Стал даже добрее, ласковее с братом. Как-то вечером по-барышнически хлопнул Якова по руке, многозначительно прищурился.

— Что ж, братец родимый, как ни крутись, а, видно, нам в одной упряжке не идти — будем делиться. Только и это надо делать по-божески.

— Тебе — побольше, мне — поменьше? — сразу настороженно отрезал Яков.

— Угадал. Недаром разные науки проходил,— спокойно ответил Терентий.— А как же иначе? Не стану же я отдавать тебе то, что нажил без отца, своими руками и своей головой? Или ты по-другому думаешь?

— Хорошо, поделим только то, что отец приобрел,— сразу соглашается Яков.

— Давно бы так,— Терентий улыбается в усы.— Так что будем все дробить на три части.

— Отчего же на три?

— А как же иначе? На тебя, на меня и на отца. Он ведь еще не помер.

Яков изменился в лице.

— И ты думаешь оставить себе две доли?

— А что ж такого?— удивляется братней недогадливости Терентий.— Отца-то я кормлю?

— Тогда сделаем иначе: я возьму две доли и отца с ними, пусть он еще и моего хлеба поест.

— Э, нет, так не пойдет,— сразу нахмурился Терентий.— Слишком много будет для тебя.

— А для тебя не много?

Яков припер брата к стене. В пору рассердиться, накричать на меньшого, что, мол, забыл, кто его в учителя вывел. Но на этот раз обходится без крика. Терентий вздыхает и неохотно говорит:

— Ладно, где мое не пропадало, делим на две части. Только ты сразу бери отца к себе и читай ему евангелие, как Дарина.

— Возьму, и с пасекой вместе.

— Может быть, еще и с прошлогодним медом? — огрызается Терентий.— Пару ульев дам на развод.

— Какой щедрый! И не жаль будет двух ульев?

— Ульи мои.

— И дуплянки?

— Дуплянки разделим пополам: это отцовское добро.

— Спасибо и за это.

— Кушай на здоровье. Только осенью замени в ульях несколько рамок с белой вощиной на темные,— по-хозяйски советует Терентий.

— Это для чего же?

— На темной вощине пчелы меньше меда потребляют.

Яков колюче улыбнулся.

— А у тебя нет такой вощины, чтобы пчелы совсем не ели ничего?

— Ты же ученая голова, придумай.

Подкалывая и покусывая друг друга, они сели за стол, продолжая упорный, настороженный торг. Все выторгованное Яков записывал в книжечку, а Терентий держал в памяти.

Дарина из другой горницы прислушивалась к перебранке братьев и грустно радовалась, что прекратится наконец постоянная вражда между ними. Пусть еще одна душа вырвется из этого ада, будь он неладен.

Раскромсав отцовское наследство, братья поморщили лбы, чтоб чего не позабыть, а потом Терентий позвал Дарину.

— Ставь, жена, что-нибудь повкуснее на стол: ублаготворил я все-таки этого молодца,— кивнул он на брата, улыбаясь.

— Уж так ублаготворил, что и ума не приложу: с какого боку меня родной брат объехал? — Яков недоверчиво поглядывал на старшего, догадываясь, что тот объегорил его. С чего бы ему иначе быть таким хорошим?

Терентий не обиделся, а рассмеялся.

— Вот Фома неверующий! Ну, не стану нынче сердиться — не такой день.

— Что это ты такой мягкий, хоть к ране прикладывай? Где-нибудь повезло?

— Не без того. Купил себе у одного захудалого барина хлеб в копнах по божеской цене.

— Своего хлеба не хватает?

— Вот станешь сам хозяином — бросишь зря трепать языком... Выпьешь, чтобы все было к лучшему?

— За это не грех.

Терентий достал с верхней полки шкафчика бутылку и, выбивая пробку, рассуждал:

— Теперь бы тебе славную девушку с хорошим приданым отыскать, сыграть свадьбу, и живи, как бог даст. Не вздумай только сдуру к Любе засылать сватов.

— К какой Любе? — Яков вспыхнул.

— Знаем, к какой.

— Ты уж пронюхал и об этом?

— Любви да кашля не утаить. За твое здоровье!

— И за твое, мудрый и лукавый брат мой!

Терентий и тут не обиделся:

— Язык у тебя как цеп — славно молотишь меня. На ком-то он запляшет после раздела?

— А он станет ласковый, как ягненок. За тебя, невестушка, за твою красоту, которая невесть кому досталась!

Шутка поразила Дарину в самое сердце. Она едва удержалась от крика, да и Терентий сразу насупился, но ничего не сказал, уминая мясные клецки.

С улицы донесся звон колокольчиков. Терентий, услышав его, побледнел. Дарина выглянула в окно и забеспокоилась.

— Похоже, пристав приехал. И Окунь в калитку лезет. Что это они, на ночь глядя?

— Опять потащат к кому-нибудь понятым,— недовольно буркнул Терентий, не вставая из-за стола.

Вскоре в дом вошли пристав, его помощник, Окунь и десятский Хома, который сразу же столбом стал у двери. Пристав поздоровался со всеми и обратился к Якову:

— Как ни неприятно портить настроение, но, исполняя служебную обязанность, вынужден произвести у вас обыск,— и он показал бумагу.

Яков поморщился, вздрогнул и глухо проговорил:

— Ну что же, действуйте.

— Ой!— Дарина схватилась рукой за грудь, переводя недоумевающий взгляд с пристава на деверя.

Лампу сразу перенесли в комнату Якова. Пристав и его помощник сперва принялись за сундук и ящики, а потом перешли к книгам. Не миновала рук пристава и книжка, переплетенная в корки молитвенника. Он удивленно перелистал несколько страниц, а потом укоризненно и злорадно спросил Якова:

— Так вы вот какому богу молитесь?

— Нет, это не мой бог,— спокойно ответил Яков, побледнев, однако, как мел.

— Маркс не ваш бог?

— Нет, не мой.

— А где же вы взяли эту... эту напасть?

— Она попала ко мне случайно.— Яков нервно облизнул пересохшие губы.

— И вы случайно вложили ее в переплет молитвенника? Это конспирация или кощунство?

— Я так и получил ее.

— Разрешите спросить: у кого?

— На рынке.

— А фамилию продавца не помните?

— Нет.

— Хотя бы в лицо запомнили?

— Не запоминал.

Пристав укоризненно и едко улыбнулся.

— Старая песня, голубчик, старая, как мир. Может, запоете поновее? Это пойдет вам только на пользу.

Яков пожал плечами, в тяжелой задумчивости прислонился к стене, а пристав продолжал рыться в книгах, не пропуская ни святого, ни грешного. Вот он вытащил маленький, не больше ладони, пакетик, внимательно посмотрел на него, округлил глаза и даже присвистнул.

— А это, молодой человек, где вы достали? — сверля глазами Якова, спросил он.— Тоже на базаре?

Яков удивленно посмотрел на пакетик, заволновался:

— Что это?

— Вы не знаете, что? — круглое лицо служаки стало злым.— Листовки! Листовочки! Их чья-то черная рука разбрасывает по вашему селу. Этого вы тоже не знаете?

— Листовки? Откуда же они взялись? — растерянно, с ужасом спросил Яков.

— Это мы у вас спросим, откуда они взялись! Не думал, не ожидал, что вы социал-демократ. Значит, хотите наделять мужиков землею?!— Он показал Якову верхнюю листовку.

— Этого не может быть!— Яков заметался, и голос его поднялся до визга.— Я никогда их не видел! Если хотите знать, я по своим убеждениям стою ближе всего к украинофилам, может быть даже к украинским националистам, а к социал-демократии никогда не был причастен, этот путь никогда не привлекал меня.

— Голубчик, националисты не делят землю!— Пристав постучал ногтем по листовкам.— Националисты говорят только про волю да родной язык. Не прикидывайтесь овечкой.

— Я не прикидываюсь!— Яков с ужасом обратился к Терентию: — Брат, как же это случилось?

— А я откуда знаю? Чего ты у меня спрашиваешь? — Терентий удивленно развел руками.

— Ты не знаешь? — Взгляд Якова стал хищным.

— Да разве я разбираюсь в твоей науке? Ты же проходил ее в семинарии, а доучивался у Варавы. Сколько я говорил тебе: «Не дружи с ним, он в варшавской тюрьме сидел!» А теперь видишь, что выходит... Эх, брат, брат...— Желтые глаза Терентия подернулись печалью.

— Не лицемерь! Это ты мне их подбросил! — закричал Яков и пошел на брата.

— Свят-свят! Он рехнулся! — Терентий в притворном ужасе подался назад, подрезанные ноздри его задрожали.— Вот что бывает от большого ума... Еще и меня потащит к своим демократам...

— Кроме тебя, некому было их подбросить!— еще громче закричал Яков.— Побоялся раздела? Испугался, что придется дробить землю и хозяйство?.. Каин ты, а не брат! Будь ты трижды проклят со своим богатством! — И он бросился с кулаками на Терентия.

Но братьев разнял курчавый, похожий на молодого черта с навеки изумленными глазами помощник пристава. Он изогнулся всем телом и преградил Якову дорогу.

— Не ерепеньтесь, молодой человек, не кидайтесь на добрых людей! Ваша карта бита! Тут вам не улица, тут закон!.. Ваши ручки!

И не успела Дарина постичь, какое горе ворвалось в дом, как вокруг рук деверя замелькала веревка.

Дарина ахнула, забилась в дрожи,— эта веревка захлестнула ей сердце петлей.

— Ой, люди, что же вы делаете?! Побойтесь бога, если людей не боитесь!

Она бросилась к помощнику пристава, схватила его за обшлаг, но не разжалобила служаку. Только глаза на лице молодого черта округлились, а изумление стало осмысленным.

— Пикантно!— проговорил он и, обернувшись к приставу, жестом и взглядом объяснил ему свои нескромные догадки.

— Как же так можно? И за что? За какую-то бумажку? Так ведь на бумаге и слово божье пишется,— пыталась

Дарина с мукой в глазах втолковать приставу и его помощнику.

— Пошла вон, лярва! — Терентий свирепо выпучил глаза, перехватив масленый взгляд помощника пристава.

Похабное слово, как камень, повисло на сердце Дарины. За что же, вдобавок ко всему, этот палач обливает ее грязью? Она собралась ответить, но муж, не помня себя от ярости, добавил еще:

— Вон, сука! И стыд весь растеряла. Что про тебя люди подумают?!

— Хуже, чем про тебя, не подумают.

Дарина посмотрела на мужа сквозь не пролитые еще слезы, но тот так стукнул ее, что слезы сразу брызнули на пол.

— Пошла с глаз долой, да живо!

— И пойду, провались ты в преисподнюю!

Она посмотрела невидящими глазами на мечущиеся по дому тени и, унося в измученном теле боль, выбежала из своего, но уже чужого ей дома, побрела на затерянный в лесу хутор, где, как сон, реял над ее детством мир цветов и знойного пчелиного звона... Да полно, было ли это? Было ли у нее детство? Было!.. Если бы можно было его вернуть, человек знал бы, что такое счастье на земле.

Утром после долгого молчания и раздумья на пороге вырос хмурый отец. Запутавшись в его седой бороде, сердито, словно частица его гнева, жужжала пчела.

— Ну что ж, не идешь к своему? — спросил он, впившись глазами в согбенную болью дочку.

— Не иду. И не пойду.

— Упряма ты стала.

— Пришлось.

— Отчего же не пойдешь? — еще спокойно спросил отец, закипая гневом.

— Чертям, говорят, и в аду хорошо. А я не хочу туда.

Отец поднес руку к бороде, чтобы вытащить пчелу, а Дарина загадала: раздавит насекомое — пропадет и она, Дарина.

— А думаешь, разойдешься с Терентием — так в рай угодишь?

— На том свете пусть хоть в ад, да здесь-то за что мне мучиться, за какие грехи? Пожалейте меня, я ведь вам дочь.

Старик заколебался:

— А что ж о нас с тобой люди скажут?

— А что они теперь о Терентии говорят?

— Что говорят про мужчину — это одно дело, а что про женщину — совсем другое.

— Да ведь он родного брата запрятал в тюрьму.

— Это только ты так думаешь... И что написано в тех листовках? — Старик сводит разметные брови так, что они едва не заглядывают в глаза.

— Написано, чтоб наделять землей тех, кто на ней работает.

— Хорошо написано,— вздохнул отец. Выдав замуж и женив детей, он сам остался на бедняцком клочке земли. Уже и на сходе не жался к зажиточным, но и бедняком боялся назвать себя даже в мыслях.— Ну вот что, дочка. Я тебе не палач, но и дурной славы терпеть не стану. Если Терентий на самом деле виноват перед братом, будешь у меня жить, а нет — поступлю, как делали в прежнее время с непокорными женами: сниму со звонницы веревку от колокола, намочу в колодце, привяжу тебя к столбу и собственной рукой буду лупить до тех пор, пока и Терентий не станет тебе милым.— Он вынул наконец пчелу из бороды, и она, то ли придавленная, то ли измученная, поползла по его руке, на которой бледно синели узлы вен.

В тот же день на хутор пришел Степан Васильевич, и Дарина заметила, что он чем-то обеспокоен. Даже сотового меда учитель отведал со вздохом. Когда старик отлучился в сад, Левченко внимательно посмотрел на женщину, вышел из-за стола, стал перед нею.

— Тяжело вам, Дарина?

Она вздрогнула.

— И не спрашивайте, Степан Васильевич!

Учитель помолчал, стараясь понять, что творится с Дариной, и смущенно спросил:

— А правда, что Яков говорил, будто листовки ему подбросил Терентий?

— Правда.

— А вы случайно не видели их? — Учитель, казалось, и дыхание затаил в ожидании ответа.

Дарина, морща лоб, думала, к чему он клонит.

— Видела.

— Интересно, как же они выглядят? — продолжал расспрашивать учитель, не спуская глаз с молодой женщины

и все больше бледнея, словно ее не сказанные еще слова высасывали из него кровь.

— Маленькие. В пакетике были.

У Степана Васильевича болезненно дрогнули веки.

— Замотаны во что-нибудь?

— Нет, перевязаны.

— Чем?

— Фабричной бечевочкой. В них написано про землю, чтобы разделить ее мужикам. За это пристав больше всего ругал Якова.

— Ну, спасибо вам,— грустно улыбнулся учитель.

И тут в голове Дарины впервые мелькнула догадка:

— Степан Васильевич, а вы, может, знаете что про эти листовки?

— Как не знать! Они были у меня. Это мое добро, только попало в чужие руки,— неохотно ответил он, направляясь к выходу.

— Так они были у вас? — воплем вырвалось из груди Дарины.

— Я же говорю — у меня.

Женщина обеими руками ухватилась за рукав учителя.

— И Терентий их нашел, когда у вас был обыск?

— Конечно. А я никак не мог сообразить, почему ваш муж не выдал меня. Думал, у него совесть проснулась.

— Да разве у него есть совесть? Ее ведь не купишь за деньги.

— Я и вашему отцу скажу об этом: пусть его не мучит то, что вы ушли от мужа.

— Скажите, Степан Васильевич. Ему главное — чтоб не было людского поговора, а что со мной станет — не важно. И спасибо вам,— она на миг припала головой к его плечу.— А что же теперь будет с Яковом?

— Вернется. Не плачьте, Дарина. Я знаю, без Терентия вам будет легче. Вы добрая душа.

— Степан Васильевич, родненький,— Дарина с плачем обняла его, прильнула, не смея поцеловать.— Укоротил мой ирод мне век, укоротит и вам...

Так их и застал отец. Он сперва рассердился, хотел было дать волю гневу, но его остановили слезы дочери. Нет, видно, это не баловство, а другое что-то. Но что же другое может быть между этими двумя? Светопреставление, да и только!..

И старик тихонько вышел на пасеку, где пчелы звенели и разговаривали так же, как пятьдесят лет назад. А вот в людях нет этого постоянства,— верно, за то и карает их бог и засухой, и неурожаем, и злобой.

В это время до них донесся противный звон колокольчика — к хутору подъезжал пристав со своим помощником.

— Вот явились и по мою душу.

Степан Васильевич поцеловал Дарину в лоб и пошел к дверям.

XXI

В полях уже угасала гречиха.

Приближалась та драматическая пора, когда лето схватывается с осенью в невидимом поединке, когда первые студеные утренники подмывают подолы ярче подмалеванного синевой неба или дышат на него туманом, когда незавидные лесные грушки становятся похожими на комочки солнца и наливаются терпким медом. В такое время кажется, что природа чутко, тревожно прислушивается ко всему и отчетливо доносит каждый звук — и девичью песню, и скрип воза, и клекот аиста, и стрекотанье кузнечиков, которые трудятся, как нанятые, соткав над лугами живую, хоть и невидимую, сетку своей музыки.

Идет Христина по лугу, раздвигает эту дрожащую сетку, а вокруг нее, словно зеленая роса, разбрызгиваются кузнечики и снова неутомимо водят смычками по струнам своих крохотных скрипок. Молодая женщина закончила работу еще до сумерек, но ей вовсе не хочется идти домой. Теперь для нее все-все потускнело, собственная хата стала как пустырь. Не любимый вошел в ее жилище, а дебелый крепыш, в присутствии которого жмутся и мать и дочка. А Левку что! Он будто и не замечает. Молча хозяйничает, ездит на ярмарки, иногда советуется с тещей и почти совсем не говорит с женой. Зато порой привозит ей подарки. Ох, и горьки же они ей! Христина не надевает их, не любуется ими, а, едва сдерживая вздох, складывает в сундук или в боковой ящичек. Левко и на это ничего не говорит, только по временам тяжелое раздумье входит в его светло-желудевые глаза, гасит в них яркие крапинки. И тогда в Христине просыпается то злорадство, то неуловимая женская жалость.

Однажды мать обмолвилась, что когда-то дочка мечтала о настоящих кораллах с большим дукатом. Левко внимательно выслушал тещу, задумался, что-то прикидывая:

— Это дорогая игрушка, не по моим пока деньгам.

— Да я только к слову. Кто об этом всерьез думает?..

— А отчего ж не подумать?!— вдруг вскипел Левко.— Наша барыня такие носит мониста, что за них можно купить полсела. А моя жена за тридцать четыре целковых все лето в экономии мучается.

— Так ведь то барыня, Левко, а это простой человек.

— Для барина его жена барыня, а для меня моя тоже барыня, а не скотина. И я хочу, чтоб моя жена была не в рубище да отрепьях, а как на картинке. Разве не заработала она за все свои годы на игрушку с дукатом? Уху надо варить из господ! Уху!— И злой вышел во двор, к лошадям, стоявшим в новой, еще не покрытой конюшне.

Вот и разберись после этого в Левке! То слова не вымолвит, то хочет, чтобы его жена была как на картинке... Теперь Левко больше, чем когда-либо, толкается среди людей, прислушивается ко всяким слухам о земле и в кружке единомышленников хмуро твердит свое:

— Сварим из господ уху — дадут нам землю, не спрячут за пазуху. А тогда пусть себе с богом или с дьяволом идут на царскую службу либо квасом торговать.

— Почему же квасом, а не чем-нибудь еще? — удивилась как-то Олена.

— А это деликатная работа, господская, тут и побездельничать можно,— уверенно ответил Левко.— Не станет же барин, как, скажем, я, заглядывать коню в зубы, не станет пускать кровь скотине, не захочет выхаживать ее, лечить от коросты, пачкаться в дегте да в навозе. Ну и пусть себе торгует квасом.

И удивительное дело — эти слова Левка весело покатились по селу. Олена слышала их уже не от одного человека. Люди рады бы видеть господ и в квасном ларьке, и за кабацкой стойкой, и на царской службе,— лишь бы не на земле...

...Христина пришла домой поздно, мать подогрела ужин, и обе сели за стол.

— Куда поехал?-— кивнула дочка головой на окно, за которым не видно было воза.

— Сказал — в господский лес.

— И вы пустили его?

— Левка только ты можешь не пустить,— вздохнула мать.— Скажи ему хоть раз об этом.

Христина презрительно поджала губы.

— Что мне с ним говорить!

— Он, вижу, просто молится на тебя.

— А я думаю — он может молиться только на своих лошадей.

— Не греши, дочка. Поглядеть только, как он грустит, тоскует, когда тебя нет! Боюсь — потоскует, погорюет, а потом сорвется либо в пьянство, либо в разбой какой-нибудь. Такой неистовый в сердцах все может сделать.

— Этого только недоставало,— нахмурилась Христина.

Она встала, задумалась.

А Олена посмотрела в окошко и заговорила, словно про себя:

— Только бы он с этим лесом не попал в беду. Встретила я тут Октава Пигловского, засмеялся кровопийца, скривил синие губы, хлопнул рукой по ружью: «Вот тут, в стволе, припасен у меня для вашего зятя славный гостинец. Я уже не одну ночь недосыпаю, чтобы приструнить и утихомирить его. Готовьте чистую лавку...»

— Это же зверь, а не человек. Вы Левку-то говорили?

— А как же!

— А он что?

— Свое заладил, как молитву: «Кровь надо пускать не только из господ — из них прихвостней...» Поговорила бы ты с Левком, отвадила бы его от господского леса. Слышишь?

— Слышу, мама. Да только поможет ли это?

Христина вышла во двор, где пахло свежеобструганным деревом, увядшей корой и подсолнухами, которые сутулились в предосеннем раздумье над тыном. Молодая женщина невольно выпрямилась: подсолнухи напоминали, что и она стала сутулиться в тоске.

По огороду, плутая в арбузной ботве, искал себе ночлега ветерок, и тихо-тихо шуршали спелые маки. На улице галдели мужские голоса, и только два слова донеслись до Христины — «земля» да «господа». Одно у всех людей на устах и в голове. Одно. А разве не сказал ей недавно Марьян Полярош, что в этом году счастье повернется к земледельцу: получит он землю и в Крыму, и на Дону, и в Сибири, и у них

в селе... А Марьян не бросает слов на ветер. Поднялся человек, все экономские слушают его. А учитель как-то перед арестом занес ему книги. И читает их Марьян,— бывает, такое скажет, что мужики рты разевают... И зачем только Левко поехал в лес? Совсем не бережется.

Вдруг Христину кольнула догадка, что муж, может быть, нарочно нарывается,— он ведь такой, его сам дьявол не разберет... Догадка обеспокоила ее, потом отошла и опять вернулась, когда она уже ложилась спать.

Ночью Христину разбудил неровный скрип воза. Было в этом скрипе что-то не такое, как всегда. Потом воз мягко вкатился во двор, зафыркали лошади, загремела дверь, и с порога раздался глуховатый голос мужа:

— Христинка, слышишь?

— Чего тебе? — Она удивленно соскочила с топчана: Левко никогда еще не будил ее.

— Выйди к лошадям, посмотри.

— Несчастье?! Скажи,— холодея, она подошла к мужу.

— Не без этого.

— Ой, горюшко!

— Не кричи, мать разбудишь.

Христина стремглав выбежала во двор, а Левко медленно вышел за ней. В темноте видно было, как над мокрыми, словно выкупанными лошадьми подымался пар. Верно, немало проскакали, бедняги, по дорогам и бездорожью. А вот и кровь на бедре у пристяжной. Христина положила руку на лошадь, а та сторожко фыркнула и отпрянула.

— Дробью ранили,— сказала Христина Левку, словно тот не знал.

— К счастью, издали. Выпряги их.

Левко устало опускается на ступеньки крыльца и в тоске обхватывает большими руками опущенную голову.

— Левко, а что с тобой? — Христина встревоженно подходит к мужу, и ее поражает страшная бледность его.— Что с тобой? — в ужасе повторяет она.

— И мне досталось немного,— криво улыбается Левко и, стиснув зубы, с трудом встает.

На ступеньках темнеет пятно.

— Ой, Левко!— Слышно, как от каждого движения на нем влажно шелестит сорочка.— Ой, Левко...— всхлипывает Христина.

— Не надо, Христинка,— утешает он ее.— На мне все заживет, как на собаке.

— Ой, Левко, Левко...

Не находя слов, она обеими руками обхватывает мужа, пошатываясь, входит с ним в хату, где Олена уже проснулась и затеплила коптилку. Теща, увидев зятя, схватилась за сердце:

— Ой, горе! Искалечили...

— Не горюйте, мама! — улыбнулся Левко бескровными губами, которые обметало новыми морщинками,— а ты, Христинка, возьми шпильку и выколупай из меня эту проклятую дробь, а то как зарубцуется в спине, тяжело ходить будет.

— Может, отвезти тебя к фельдшеру? — заплакала Христинка.— Как же это — шпилькой?

— К какому там фельдшеру... Говорю, засохнет, как на собаке,— и он стаскивает сорочку, разбрызгивая кровь.— Водочкой спину натри: говорят, пользительно.

Левко, покряхтывая, чтоб сдержать стон, лег на широкую скамью, подложил под голову руки.

И Христина, то и дело совсем по-женски — подолом — отирая глаза, натерла водкой мужу развороченную, набухшую уже спину и принялась вытаскивать самодельные дробинки. Левко ни разу не вскрикнул, не застонал, только дважды попросил пить. И тут женская жалость стала растапливать застарелую боль и обиду в душе Христины. Боль и обида, оторвавшись от берега, уже поднялись, словно льдины, готовые выплыть из наболевшей души. Вот и последняя дробинка упала на деревянную тарелочку, которую держала Олена.

— Все? — сквозь зубы спросил Левко.

— Все.

— Покажи, сколько выбрала.

Мать поднесла к его глазам тарелочку и коптилку.

— Ого! — удивился Левко.— Пожалуй, и на галушки хватило бы.

— Господи, он еще шутит!

Когда Христина обмотала мужа чистым полотенцем, ей бросилось в глаза что-то свисающее у него из кармана. Она потянула к себе темную нитку бус и с удивлением увидела кораллы с золотым дукатом. Христинка, онемев, посмотрела на мужа, а тот, словно в полузабытьи, устало проговорил:

— Купил тебе все-таки... Носил с собой... Ждал... когда подобреешь...

— Ой, Левко, Левко, какой ты глупый!— Христина склонилась к нему и не руками — всей жалостью своей обняла его вихрастую голову, чувствуя, как из ее души с болью выплеснулся застарелый лед, и заплакала, находя в слезах облегчение.— Как тебя, Левко, искалечили...

— Не плачь, это еще не велика беда. Трудно будет только первые дни, да вот сейчас добраться до постели... Пустили господа из меня кровь, ну, ничего, мы ужо их пустим на мясо.— И он прижался головой к руке жены.

XXII

Мне не спалось, а ночь, как море...
Т. Шевченко.

Кому бы, кажется, и поспать ночью, как не сезонникам, а вот поди ты, не спят. Набилось их в вагон, как серых пчел в улей, и гудят да гудят о своем: о забастовках, о земле, о помещиках, которых надо теперь сгонять с насиженных гнезд. Что же, повластвовали, попили заморских вин да человеческой крови, пора и честь знать. И под эти слова во всех закоулках вагона тонко позванивали сбитые батрацкие косы, притупленные и сточенные в чужих, кондёром пропахших степях.

Роман, припав к открытому окну, жадно вбирал в себя и натруженные, как батрацкие руки, слова мужиков, и терпкий дух осенней земли, что и сейчас дышала жаждой жизни, пресноватой влажностью озимых и долинным настоем отав. За беспредельностью ночи, которую рассекал надвое поезд, парню виделись очертания родного села, лесов и возле хаты Морозенок Люба... Когда же наконец он увидит ее, когда заглянет в вечеровые глаза, самые лучшие на свете, когда для него ласково затрепещут прихотливые маленькие ямочки пониже губ? Как ни странно, а в разлуке Роман открывал в Любе все больше нового и хорошего. Теперь ему нравилось даже, как девушка хмурилась или сердилась. Что же, и это у нее выходит до чертиков славно! А как она льнет к нему! Ласточка, да и только...

— Ну, и сбежал ваш барин? — допытывается кто-то в углу вагона.

— А что ему оставалось? Ночью хвать шкатулку, да и пустился за границу.

— Хо-хо-хо! Далеконько махнул!

— С перепугу и не то бывает.

— А потом что?

— Казаки усмиряли. Кровь из-под шомполов так и брызгала на стены сборной.

— Господская тоже польется, как из поросят на рождество.

Роман хотел подойти к сезонникам, что разговаривали в углу, но у соседнего окна раздался низкий, простуженный голос:

— Похоже, Петро, месяц всходит.

— У тебя, Лександр, месяц дважды за вечер всходит,— насмешливо и весело зазвенел в ответ такой тенор, на который, казалось, песни сами должны нанизываться, как бусы на нить.

— А что ж там такое?

— Мужицкий петух будит какого-то барина,— еще веселее зазвенел тенор.

Крестьяне потянулись к окнам, присматриваясь, как в далеком поле все ярче разгоралось и росло зарево.

— Хорошо, когда у людей есть огонь: вот и наварят господам каши,— заметил Роман, и по вагону раскатился хохот.

Не проехали, верно, и десяти верст, как снова от окна весело и насмешливо отозвался Петро:

— Лександр, а во-он там не третий ли месяц всходит?

— Где ты его видишь?

— Э, у тебя глаза петушиные, а не соколиные. Гляди, вон звезда падает, а под нею...

— Ага, ага, вижу...

И снова на земле, как провозвестник крестьянской надежды, подымался и разрастался огонь. Рожденный в наболевшей мужицкой груди, он птицей перекинулся на господское добро и, как мог, расклевывал его.

В Жмеринке к поезду подошла толпа железнодорожников. Галдя, они облепили паровоз и приказали машинисту выпустить пар.

— Забастовка? — спросил усатый, промасленный до черного блеска машинист.

— Забастовка. Даже телеграфисты бросили работу. В депо выпустили пар изо всех паровозов.

— Тогда нате и мой кувшин под капусту...

И как ни возмущались «благородные», машинист выпустил пар и беззаботно присоединился к стачечникам.

Рабочие, пересмеиваясь, посочувствовали мужикам, поболтали с ними о жизни, о том, что творится вокруг и что надо делать, и сезонники, собрав свои косы да нехитрые пожитки, разошлись изведанными и неизведанными путями по домам.

Роман, охваченный радостными чаяниями и любовью, не шел, а летел домой. Теперь он и днем и ночью видел, как ломится наконец господская сила, чтоб она сгорела на чистом огне! И до сей поры на иных помещичьих полях чернели копенки, а возле них зеленели осыпающиеся хлеба. Зеленеют ли они так же и у Стадницких, Маркозовых, Колчаков? На вторую ночь он встретил крестьян, которые везли зерно из помещичьих закромов. А в Медвине — там тоже вывозят зерно из амбаров пана Стадницкого?

«Спешат люди — стало быть, и нам надо»,— и он уже видел себя в толпе односельчан и Любу рядом.

Вот наконец и вечерняя Синява встретила парня печальным осенним шумом. Знакомыми тропинками Роман подошел к жилищу деда Дуная, поклонился хате и хотел было обойти ее, чтобы поскорее добраться к Морозенкам. Но вдруг остановился, пораженный: так же, как когда-то весной, перед ним раскрылась во всей своей полохливой вечерней красе прогалинка, и на ней хата; у загона для скота стоит телега, вздыхая, переминаются грузные волы, а на их отполированных рогах тускло переливается свет звезд. Вот выплыла, как тень, бабка Ганна, поправила сено на телеге, подошла к дороге, остановилась, вглядываясь во тьму, и тоже тяжко вздохнула.

Роман с жалостью и болью подумал, что старуха, видно, все ждет своего Ивана, и, как в детстве, поспешил к ней.

— Ой, кто там? — испуганно и все же с надеждой вскрикнула старуха.

— Это я, Роман. Возвращаюсь из Таврии.— Он поцеловал бабку в щеку и в руку.— Добрый вечер.

— Добрый вечер, дитятко... Какой ты большой стал!

— Правда?

— Правда. Может, зайдешь, поужинаешь?

— Спасибо. Хочу поскорей добраться до своих. Как они?

— Живы-здоровы. Мать в воскресенье заходила. Ждет тебя не дождется... А деда все нет.— Ганна снова повернулась к дороге и приложила ладонь к глазам.

— Хоть шлет весточки?

— Приходят письма. Утешает, будто вернется, а письма эти тяжелые, словно и на них кандалы. Так в душе потом и звенит казенное железо.

— А Василько приезжал?

— Приезжал, сынок, приезжал,— Ганна понизила голос.— Только одну ночку и побыл.

— Что ж так мало?

— Что мало? Да оттого, что мало на свете радости. Живет мой Василько под чужим именем, из тюрьмы уж два раза бежал. Я ему передала, как наказывал отец, чтобы не лез в политику, а он смеется: «Как же мне не лезть, когда у меня и отец политический!» Всю ночь утешал меня, рассказывал, как люди будут жить без господ, и только перед самым рассветом задремал, а потом подался в город, к рабочим. Так что я и сама не знаю, есть у меня сын или нету.

— Есть у вас, бабушка, сын, да еще какой! Таких зовут революционерами.

— Вот-вот, так и он себя трудно назвал. Имя носит трудное, и жизнь у него такая же.

Роман долго утешал старуху, а она внимала ему и то оживала в надежде, то снова поникала в тоске: ведь одна-одинешенька осталась на белом свете, теперь только у нее и разговору что с этими волами, да и они захворали, когда старика увели в тюрьму.

Попрощался он со старухой поздно и, уже не надеясь увидеть Любу в тот вечер, задумчивый подошел ко двору Морозенок. И вдруг от старых верб, и от леса, и от озера надвинулось столько воспоминаний, что он едва не задохнулся, а пересохшие губы сами вымолвили девичье имя. Сам не зная для чего, Роман широко растворил калитку, и первое, что ему бросилось в глаза, была женская фигура. Он не сразу понял, что это Люба. А она тихонько вскрикнула, упала Роману на грудь и замерла.

— Это ты? — растерянно спросил он.

— Я,— не шевелясь, выдохнула ему в рубашку.

— Чего же ты здесь, у калитки? — проговорил он, окончательно растеряв все заранее припасенные слова.

— Тебя ждала.

— Меня? В такую пору?

— А кого же?.. Сперва ждала, что вот-вот в окно постучишь. После жатвы поджидала на завалинке. А теперь у калитки каждый вечер сторожу... Это ты? — Люба выпрямилась и подняла на него счастливые глаза.

— Я, дорогая, хорошая, милая моя.
— И в Таврии лучше не нашел?
— И в Таврии, и во всем свете.
— Ой, Романко, как хорошо, что ты пришел! — Она вздохнула, засмеялась, снова вздохнула и замерла в его объятьях.
— Дай хоть положу косу.
— Погоди, Романко, увериться хочу, что ты пришел...
Он склоняется к ней и с невыразимой благодарностью целует ее волосы, которые тоже пахнут пресноватой влажностью озими и тихими стожками осеннего сена.

XXIII

Осенью, перед отлетом на юг, волнуются и собираются в стаи птицы.

Так в эту осень волновались и сходились толпами люди. Их тоже, как и птиц, звала к себе взлелеянная в мечтах земля, та, что родит вдосталь хлеба, а не та, что пускает земледельца по́ миру. Люди грезили, бредили и жили землей, они каждый день мерили ее и мыслью, и глазом, и босыми, потрескавшимися до самых колен ногами. Правда, мерили еще тайком, но понимали уже, что не за горами тот день, когда не землемеры с кокардами да цепями, а свои же мужики с легкими саженками пойдут делить помещичьи угодья. Даже прикидывали в голове, каким праведникам выпадет такая честь.

В глубинах этой осени нарождались и темный гнев, и светлые надежды. У одних они как орел, подымались к самому солнцу, у других малюткой жаворонком реяли только над своим желанным клочком земли, у третьих стонали чайкой: выйдет что-нибудь из этого чуда или не выйдет? Что же, не будем суровы к тем, у кого мысли были как мутная вода. В неискушенную, придавленную голодом душу сразу ворвались и слово революционера, и бомба террориста, и восковой трепет церковной свечи, предостерегавшей христиан от бунта.

Но теперь не восковую свечу зажигали христиане перед седым богом, они грели небо огнями — буйными цветами людского гнева. И напрасно по ночам скрипели, звонили с медной мольбой колокола звонниц, призывая мужиков спасать помещичий хлеб и жилища. Мужики оставались

сами по себе, а огонь — тоже сам по себе, словно его вовсе и не человеческие руки в мир пустили. А немного спустя, привыкнув к пожарам, земледельцы собирались вокруг новых пожарищ, стояли, черные, как глыбы вывороченной земли, но не гасили, а только смотрели.

— Горит! — замечали они философски рассудительно, кратко, а иногда брали уголек, чтобы раскурить трубочку.

— И славно горит.

— С чего бы это? — удивлялся какой-нибудь детина, словно он не деревенский.

— Праведная искра знает, где упасть.

— Часу не пройдет — одна зола от всего добра останется.

Тщетно бесновались управители, экономы, бурмистры и вся шайка барских прихвостней — люди не видели, не слышали их, люди смотрели и прислушивались к веселой музыке огня: пусть играет господам попутную — из села — или отходную.

— Даже аист, если причинить ему зло, поджигает злодея! — будоражил в Медвине молодых мужиков и парней Левко Щербина.— До каких же пор нам ждать? Или у аиста больше ума, чем у нас с вами?

— Сам ты аист.

— Не прыгай, Левко, козликом, не торопись прежде отца в ад,— угомоняли его Палийчук, Якубенко и Полярош.— Огонь ничего не оставляет, кроме углей да золы.

— И пускай барин собирает себе эти угли в суму да отправляется торговать квасом.

— О барине ты, Левко, подумал — так подумай и о вдовах и сиротах, которые сидят без хлеба.

— По-вашему, барин им своим хлебом поможет? — кипел Левко.

— Мы поможем, когда отберем у барина все скирды: пусть люди увидят хлеб на столе, а не огонь в поле.

— Ну, тогда давайте сожжем дворец, там не жить вдовам и сиротам,— не отступал Левко.

— Глупый тебя, Левко, поп крестил!— возмущался Лесь.— Схватился за спички, как ребенок за игрушку, и носишься с ними.

— А что ж, дворец и в самом деле можно сжечь,— заступались за Левка иные мужики.— Пусть не мозолит глаза. Тогда и барин как миленький в одних штанах выскочит из села.

— Дворец пригодится нам под школу,— горячо убеждал односельчан Палийчук.— Разве это школа, та, что возле погоста?

— На попа или на дьякона сына учить думаешь? — срезал его Евдоким Юренко.

— Не на попа и не на дьякона, а на чуть меньшего дурака, чем кум королю,— огрызнулся Палийчук, и все рассмеялись.

Этот смех и продлил жизнь дворцу, который теперь притих, словно за чугунной оградой побывала чума. Правда, по ночам он оживал: в эту пору из него вывозили в город самые дорогие вещи. И это тоже приводило Щербину в ярость.

— Оберегайте, лелейте барина, как болячку,— он и вас так же отблагодарит, как меня.

И он, поводя израненной спиной, отправлялся уже среди бела дня брать господский лес или разыскивать Пиговского. Но объездчик как в воду канул. Лесники говорили, что Октав скрывается в соседних селах, у жениных родичей, и по его синей роже со страха поползла желтизна.

— А попадется мне в руки, так и желтизна побелеет!— похвалялся Левко.

Его радовал каждый пожар, каждый слух о мести крестьян помещикам. Даже медлительность его куда-то подевалась. Он поспевал всюду и всюду подбивал крестьян либо жечь господ, либо щипать с них лучину.

Теперь Левко ездил не только в леса, но и в те села, где мужики рассчитывались с помещиками. Оттуда он возвращался с новым запасом ненависти и не таясь привозил кое-какое добро, нарочито дразня им мужиков. А когда из села Заливанщины приехал свояк Щербин и сказал, что тамошние мужики не только разобрали господское имение, но и распоряжаются, как хотят, во дворце, а помещик и супруга его пляшут «барыню», Левко обезумел от радости, вскочил на коня и умчался. Вернулся он хмельной и от разведенного спирта и от крепкой радости.

— Ну, что там, Левко? Пляшут господа? — окружили его частоколом мужики.

И он, не слезая с коня, впервые произнес длинную речь о своих странствиях:

— Прежде, бывало, барин давал мужикам расчет, а теперь они ему расчет дали. Да еще как! За одну ночь очистили и чуланы и амбары под метелочку, забрали у него все и хотели по-мирному отпустить в монастырь — пусть, де-

скать, грехи замаливает. Да кто-то нашел в помещичьем доме старый шкаф, где хранились розги, которыми еще отец нынешнего барина сек крепостных. Были там розги и из краснотала, и из желтой лозы, и вербные прутья, и дубинки. Ну, люди вспомнили былое, все свои обиды, решили сразу покончить с барином, уже и приговор стали писать. Однако один музыкант отвел смерть от него: «На что нам марать руки об эту погань: они ведь сеют зерно! Пусть лучше нам господа для потехи спляшут «барыню»!» И провел смычком по господской скрипке.

— И что же, Левко, плясали господа под мужицкую музыку? — хохотали мужики.

— Плясали и сейчас пляшут.

— Да не может быть!

— Побей меня гром — пляшут!

— И не валятся с ног?

— Падают и пóтом обливаются, как в страду. Но им дают передохнуть и снова просят плясать. И так они выучились «барыню» откалывать, что пляшут и под скрипку, и под бубен, а теперь уже и под печную заслонку с вальком приноровились.

— Вот бы с нашим барином так!

— До каких пор с ним нянчиться?

— Что, его Якубенко на семена оставляет, что ли?

— Якубенко — голова, он плохого не выдумает. Не о себе заботится,— обо всех.

— Так-то так, а господское добро все же надо делить, а то как бы из других сел не наехали...

— И то...— Мужиков охватывает боязнь, и они идут к охрипшим Палийчуку и Якубенку.

Когда в село вернулся из Таврии Роман Волошин, люди валом повалили к нему, и хата сразу потонула в едком дыму самосада.

— Что на свете слышно, Роман?

— Скоро господа на казенное довольствие перейдут?

— Казачьи разъезды все еще лютуют в Виннице?

Роман отвечал неторопливо, взвешивая каждое слово, и потому каждое слово его врезывалось в память и долго звучало в ушах.

— Не только в деревнях — и в городах дрожат большие да высокие чины. На железных дорогах паровозы стали, как мертвые. И в самом Петербурге-столице нет света, не ходят конки, остановилась железная дорога. К самому царю

министры добираются пароходом. Повсюду народ всколыхнулся, нечего и нам ловить ворон...

И это была истинная правда: великое народное море всколыхнулось. Всколыхнулось неровно, не сразу и не разом, но так, что задрожали барин, и палач, и царь. Еще совсем недавно правда горбилась, как нищенка у чужих порогов, а теперь она, прорывая хитросплетенные сети и трухлявые плотины, выходила на волю, могуче бросалась на кривду, а та извивалась, как змея, и жалила, тоже как змея.

От озаренного солнцем Крыма до заледенелого Соловецкого монастыря подымались с надеждой обездоленные люди черной работы и черной земли. И чтобы приструнить, укротить их, ночей не спали и царь, и палач, и сановник...

XXIV

Затихает неосвещенный город, затихает и белоснежный, как корабль, дворец графа Витте. В прихожей чиновник, позевывая, крестит кривящийся рот, неловко поворачивается в мягком кресле, и твердая кобура, поскрипывая, врезается в его натертый бок.

— Че-ерт!— Чиновник морщит желто-зеленое, в тенях от свечи, лицо и с неудовольствием прислушивается к отзвуку грузных шагов председателя кабинета министров.

«Сам не спишь и другим не даешь,— лениво обращается он мысленно к графу.— Если это историческая эпоха, так можно взять себе охрану из жандармского корпуса, а не играть и тут в либерализм: «Меня никто не охраняет...» Я вас, граф, охраняю. Да-с, да-с, светлейший Сергей Юльевич, вы о России думаете, а о моих детях не подумали? Они, бедненькие, спят, а я тут, словно на часах. Да-с, да-с, как на часах. И не сплю».

И он сразу же засыпает заячьим сном и уже во сне продолжает беседу с графом, побаиваясь, как бы тот не спустился вниз.

Вооруженный курьер трогает чиновника за плечо.

— Вы о России думаете? — просыпаясь, бормочет тот, окидывая вытаращенными глазами крепкую фигуру, контурно очерченную сиянием свечи.

— О России,— твердо отвечает курьер.

Этот неожиданный ответ вызывает на широком лице чиновника полусонную улыбку.

— И вы о России? О чем же тогда думает граф? — И он показывает пальцем на потолок.

— А граф думает о царе.

Граф готовился к завтрашней встрече с его величеством. Что эта встреча принесет ему? Новые разочарования в августейшей особе, еще бóльшую ненависть к дворцовой камарилье или пост первого президента российской конституционной монархии? Два года без живого дела, два года, в сущности, почетного изгнания на посту председателя кабинета министров сделали графа еще более резким в суждениях о высшем свете и еще более упорным в стремлении к полноте власти. Она в этот момент была нужна не только ему, но и хитрому, недоверчивому императору.

Но нужен ум, государственный ум, чтобы постичь это, чтобы твердо положить на свою ладонь неспокойную землю империи, посмотреть на нее глазами правителя, а не Трепова и Распутина: для первого империя — казарма, а для второго — вертеп.

Но где же взять ум августейшему монарху? Не принесет его безвольный Сольский, не займешь его у великого князя Николая Николаевича, больше интересующегося спиритизмом, чем государственными делами, не родился ум и в постели жестокой Алисы Дармштадтской. Все они, вместе взятые, могут быть в лучшем случае домашними советчиками бедного императора. А Русь — это не дом и не Петергофский дворец.

Русь!

Что он знал о ней? Очень много и, выходит, очень мало. Он знал ее царей и лукавую челядь царской псарни. Он знал, как грешные останки плоти святейший синод причислял «к лику святых».

Вначале он был влюблен в самодержавие, как в чистую фею, но потом оказалось, что это была не фея, а подмалеванная кокотка. Что же, он и при ней готов стоять верным пажем, согласен быть верным советником царя, но ему уже не придется советовать, хотя для приличия царь при выходе из зала милостиво подает ему руку. Безвольная рука. Безвольная и лукавая!

О положении России говорили графу и запавшие глаза матерей, и донесения отделов охранки. Бог финансов, гений большой наживы, государственный банкир России, он мог

бы определить ее цену по рыночному курсу. Но кто может оценить маленькую листовку, которая расшатывает царский трон? Восемь лет назад он осуществил финансовую реформу, но какую надо провести реформу, чтобы успокоить народ? И золотой рубль поддается девальвации, но как произвести девальвацию закопченного люда предместий? Миллиарды франков, занятые во Франции, снова обеспечат устойчивость золотой валюты. Но как сломить стойкость черных, как земля, мужиков, иллюминирующих пожарами помещичью Русь? И в этой Руси даже царь вынужден ныне освещать свой дворец восковой свечой.

Русь!

Поэтический дух нации назвал тебя тройкой. Но если ты тройка — что делать с тобой: опустить вожжи или без жалости стрелять в вороных?!

На Каменноостровском раздался шум, и граф, вздрогнув, подошел к окну. Над Петербургом небрежно рассыпала свои сокровища туманная луна, и в ее тусклом сиянии, пересмеиваясь, шли трое молодых рабочих. Вот они дошли до дворца графа и разом положили один другому руки на плечи.

«Конечно, сейчас запоют под моими окнами «Марсельезу»,— криво улыбнулся граф, привыкнув за эти ночи к песне, донесшейся через век из Франции, к песне, которой теперь побаивались и сами французы. Но рабочие неожиданно огласили проспект задушевной любовной песней. В ней шумела метелица, а сквозь метелицу шел парень, догоняя свою любовь, на которую все не мог наглядеться.

И неожиданно эти отзвуки молодости в революционном Петербурге, в Петербурге стачек и жандармских застенков, в Петербурге надежд и провокаторских тенет, на миг задели за живое практичного и волевого графа. И ему захотелось овеять песней хмурые листочки верноподданнейшего доклада.

Песня ушла с рабочими, а к графу вернулась его собранность, вернулись надежды. Он нагнулся над столом и, не присаживаясь, принялся наносить на бумагу два выхода для российского самодержца в пору великой смуты.

— Ты еще не спишь, мой друг? — В кабинет тихо вошла графиня, и ее болезненное лицо исказилось от муки.— Боже мой, боже мой, в какое время мы живем?

— Снова граф Сольский?!— Сергей Юльевич встал и зорко посмотрел на графиню, у которой каждый день хныкал председатель Государственного совета и совета министров.

— Да,— кивнула головой жена.— Как он упал духом... Передо мной, перед женщиной, плачет и пророчит, что всем нам грозит гибель. Почему мы не выехали из России? Почему? Здесь нам не видать ничего хорошего. Ничего.

Граф и в этот вечер не мог ничем успокоить жену: ведь кто-кто, а она хорошо знала, что в его груди теперь боролись две души, что и его ум раздирал ту крепкую скорлупу веры, которая была для него незыблемой в царствование Александра Третьего. А теперь он думал, как бы своими руками подтесать, а то и подрубить неограниченную монархию, чтобы спасти ее. Поможет ли это? Поможет ли?

— Мой друг, это правда, что в Финском заливе стоит под парами английский корабль, чтобы в нужный час вывезти из России нашего доброго царя и его семью?

— Правда, — кивнул граф и зашагал по просторному полупустому кабинету, где все было не для роскоши, а для занятий государственными делами.

— Боже мой, боже мой, в каких муках умирает Россия!

— Она еще не умирает,— поправил жену граф,— она лишь тяжело больна анархией.

— Когда же и как покончить с этим?

Граф остановился перед портретом Александра Третьего, висевшим над столом, и твердо ответил:

— Есть верный способ покончить с анархией в России: воскресить покойника — хоть на три месяца!

И он театрально протянул полные, налитые немолодой кровью руки к мертвому царю.

* * *

Милушку всегда нужно
подтолкнуть и напоминать ему,
что он есть император.

Из переписки Александры Федоровны.

За окнами Новопетергофского дворца шуршали снег и дождь. Серенький, промокший день положил свои тени и на серо-землистые щеки царя и на тонкогубое, с нервными пятнами на щеках лицо царицы. Царь слушал Витте совершенно спокойно, чуть наклонив голову, а болезненная душа царицы содрогалась в ее болезненном теле.

Сергей Юльевич знал, что Александра Федоровна его самый большой враг, что душа ее сплетена из темных суеверий

и фанатизма. Не двадцатым, а семнадцатым веком живет она и в семнадцатый век тащит царя. В тягчайшие для империи дни ее августейший супруг и она красуются на грандиозных придворных балах в одеждах Алексея Михайловича и царицы, а сановники — в нарядах средневековых бояр. Маскарад скудоумных шутов, безнадежно оторвавшихся от древа истории... Но величайшая мечта Александры Федоровны — сделать из Николая Второго что-либо подобное Николаю Первому. Было бы из кого!..

В это утро Сергей Юльевич, как никогда, чувствует, что его судьба брошена на весы. После Портсмута Вильгельм Второй пророчил, что Витте — будущий президент республиканской России. А чем обернется это пророчество года через два-три? Царица уже сейчас едва сдерживает ярость. Ее глаза окончательно заледенели, тонкие губы подергиваются в нервной судороге. Страшно, конечно, слушать о 1905 годе тем, кто прибился к берегам спиритизма и семнадцатого века. Но мало выслушать правду. Необходимо немедленно действовать, пока с головы императора не упала корона,— ведь за короной может последовать и голова.

И Сергей Юльевич своим густым, немного гнусавым голосом раскрывает всю опасность, нависшую над империей и над царской головой:

— Недовольство общества ширится концентрическими кругами, революция, которую насадили интернационалисты различных оттенков, из-под земли пробилась в щели, и щели эти стали уже огненными воротами. Сам генерал Трепов сказал, что в Петербурге достаточно войск, чтобы подавить восстание, но даже в столице нет силы, которая могла бы оживить движение на железной дороге хотя бы от Петербурга до Петергофа. Чтобы унять смуту, чтобы выйти из тяжелого внутреннего положения, на мой взгляд, есть два выхода: диктатура и конституция.

При последнем слове царицу передернуло, царь покосился на нее узкими глазами, а Витте продолжал:

— В первом случае надо предоставить неограниченную диктаторскую власть доверенному лицу, чтобы в корне, энергично и бесповоротно подавить малейшие признаки противодействия, подавить хотя бы ценой кровопролития. Для такой деятельности я считаю себя неподготовленным. Другой выход — стать на путь уступок общественной мысли, стать на путь конституции и утвердить разработанную мною программу. Своей моральной обязанностью я считаю обра-

тить внимание вашего величества на все значение второго пути. Он приносит вашему величеству некоторое самоограничение, причем возвращение к прежнему порядку, очевидно, будет немыслимо.

По губам царицы снова пробежала судорога, и тонкогубое лицо с застывшим привычным выражением злости, которую не в состоянии была скрыть ни улыбка, ни выдержка, исказилось. Однако императрица промолчала: она считала ниже своего достоинства бросить хоть слово этому неуклюжему бородачу, который вырывает власть из рук ее возлюбленного Ники.

Царь робкими, грустными глазами посмотрел на графа, тронул рукой всеподданнейшую записку и тихо спросил:

— Быть может, лучше было бы основу вашей записки опубликовать в виде манифеста?

— О нет!— оживился Сергей Юльевич.— Пусть лучше вся ответственность ляжет на мои плечи, а ваше величество останется несвязанным.— Он физически ощутил груз, который был готов принять на свои крепкие плечи.

— Хорошо, я подумаю.— Его величество кивком головы дал понять, что аудиенция закончена.

Не успели закрыться за графом массивные двери, как Александра Федоровна поднесла к губам измятый платочек и затряслась в нервных рыданиях.

— Ники, он изменник и масон, подкупленный жидами! Он вырывает царство из твоих рук... Ты должен показать всем, что у тебя есть собственные решения и железная воля! Ты должен стукнуть кулаком по столу и сказать, что мы не конституционное государство и не смеем быть им. Наш народ не подготовлен к этому,— и слава богу. Наш император — самодержец,— и слава богу! До сих пор твое царствование было царствованием мягкости, а теперь оно должно стать царствованием власти и твердости. Дикая Россия должна лежать у твоих ног.

— Успокойся, мой ангел,— Николай нежно привлек к себе императрицу,— не проливай своих драгоценных слез. Я вполне понимаю всю величественность данной минуты... Вполне понимаю. Я сейчас же, сейчас же посоветуюсь...

— Ники,— с болью и мольбой сказала царица,— ты должен не советоваться, а решать! Ты — император и можешь делать все, что тебе хочется. Григорий Ефимович говорил: пока он молится за нас, с цесаревичем и с нами не случится никакого несчастья.

— Так сказал Григорий Ефимович? — по серо-землистому лицу императора проскользнула улыбка.— Так пусть теперь Григорий Ефимович присматривает у нас за неугасимыми лампадками,— решил император и самодержец всероссийский.

XXV

Ночью на опушке березняка загорелись господские ожереды. Высокие и длинные, красиво вывершенные скирдовщиками, они вырисовывались на волнах просветленной ночной мглы, как сказочные корабли, которым вздумалось подняться на золотых парусах в небо.

Над селом заметался тревожный звон большого колокола, и под его медные вопли густой кровавый паводок заливал хаты, улицы, деревья и колодезные журавли. Вокруг заскрипели двери, ворота; люди, освещенные огнем, жадно всматривались в обычную осеннюю живопись, но никто, кроме господской челяди, не побежал к ожередам. Ведь горело не свое, помещичье.

— Уж не Левко ли со своими озорниками подарил барину красного петуха? — размышляли мужики.

— Может, и Левко. Барин угостил его свинцом, а он отблагодарил огнем — не оставаться же в долгу?

— Кто бы ни поджег, а горит славно.

— Эх, жаль, столько было бы подстилки для скота! Надо слушаться комитетчиков: скоро каждая былинка будет наша.

— Завтра или послезавтра пойдем делить?

— Как будто завтра.

— Поскорей бы...

— Слыхали, теперь и Терентий Плачинда кружит вокруг своих скирд, как ворон.

— И он дождется красного петуха. С ружьем кружит?

— С берданкой. А за поясом топор.

— Яков не вернулся еще из тюрьмы?

— Туда ворота широкие, да обратно узкие.

— Глядите, барин все-таки вышел во двор. Идет к бассейну.

— Захотелось и ему посмотреть. Комедия, да и только.

В самом деле, Аркадий Валерьянович горделивой походкой, словно и не его добро, чернея, пересевалось на золотых решетах, подошел к бассейну, из которого поднимал широ-

кую окровавленную пасть чугунный змей. Барин скрестил руки на груди и долго-долго смотрел на пожар, потом так же, ровным шагом, направился к веранде и скрылся за ее переливчатыми, словно расплавленными стеклами.

А немного погодя, когда от пожара остались только красные отблески на тучах, с тракта донесся неистовый трезвон колокольчика. Это из стана мчались на пожар пристав и судебный следователь, а за ними, давясь пылью, неслись четверо конных стражников.

— Ну и мчит становой, прямо оси горят,— заметили мужики.

— Того и гляди, примутся пристав со следователем костер гасить!

Но только начальство и стражники добрались до места пожара, как на другом краю села загорелся новый ожеред. И это совсем развеселило крестьян.

— Освещают дорожку начальству, чтоб не заблудилось.

— А в Заливанщине мужики порешили помощника пристава и двух урядников.

— Туда им и дорога. Может, и этих накроет земля...

По селу снова бешено промчался тарантас в сопровождении всадников. Они доскакали до нового пожара, закружились вокруг него, а в это время на берегу Буга вздохнул огнем стог сена — пламя играло в пятнашки со своими врагами.

На рассвете, когда пожары наконец погасли и жители разошлись по домам, становой, следователь и стражники ворвались в хату Левка Щербины. Они сразу же накинулись на хозяина, обнюхивая его, как собаки.

— Что это от тебя так дымом несет? — сразу же заорал становой.

Левко улыбнулся, неторопливо ответил:

— Копченому везде пахнет огнем да дымом.

Пристав вскипел:

— Ты чего плетешь, сукин сын?

Левко гордо поднял голову.

— Я не сукин сын, у меня есть отец с матерью.

— Ты мне баки не забивай. Почему от тебя несет дымом?

— Вы его принесли в мою хату,— смело ответил Левко.— Лучше обнюхайте себя.

Пристав и следователь переглянулись: от них, и правда, тянуло дымом, как из трубы. Но через миг, ни о чем больше не расспрашивая, не составляя протокола, начальство свя-

зало Щербину и потащило на улицу. Христина, причитая, бросилась за Левком, а он, подняв связанные руки, опустил их через голову на шею жене и неловко привлек ее к себе.

— Не горюй, любушка, такая уж, верно, мужицкая доля... Где бы я ни был и как бы мне ни было, а ты все будешь стоять у меня перед глазами. Слышишь, Христинка? — проговорил он почти шепотом.

— Слышу, Левко!..— И она забилась у него на груди.

Муж зорко посмотрел на жену, прищурил глаза и ласково, печально улыбнулся.

Стражники с двух сторон рванули его за плечи, Левко упрямо потупился и побрел к чужим людям и лошадям, неторопливо обдумывая, как надуть их на самой страшной из своих ярмарок.

А утром крестьяне облепили сборную, как пчелы леток улья. Только на крыльце на этот раз стояли не Окунь с сотскими и десятскими, а комитетчики — Олександр Палийчук, Лесь Якубенко и Марьян Полярyш. Над ними и над ближайшими к ним мужиками трепетало от ветра и людского дыхания красное знамя.

Рослый Палийчук стал на верхнюю ступеньку крыльца, поднял большую, железом и огнем изрубцованную и обожженную руку, и вокруг стало тихо.

— Люди добрые, сход!— Палийчук окинул долгим взглядом односельчан, и у него вдруг перехватило дыхание, пропали все слова. Не один день, не одну ночь вынашивал он их, а они вот раскатились или замерли на сердце. И Палийчуку стало страшно: что ж сказать?

А сход смотрел сотнями глаз и ждал теперь от него, как ждали прадеды, деды и отцы, одного чуда — земли.

— Говори, Олександр, не стесняйся, люди ждут,— подбодрил его Марьян, чувствуя, что и у него самого щиплет под веками.

Палийчук повел плечами, и тут только стали приходить ему на память слова, которые вязью вязались в голове все последние дни. Правда, кое-что позабылось, но пустяки, вспомнится после.

— Люди добрые, хотим мы поговорить с вами про жизнь, что она такое. У рыбы, чтобы жить, есть вода, у птицы — небо, а человеку нужна земля. Вот она и лежит перед нами,— он показал рукой на осеннюю даль.— Но она не ваша,

а одного человека, кого зовем барином. Так было до нынешнего дня, но так не будет, если вы пожелаете, с нынешнего же дня больше не будет. Если все согласны, то сейчас и подпишем общинный приговор.— И он поднял над головой листы бумаги.

Люди всколыхнулись бурливым потоком, заговорили, загалдели:

— Согласны, Олександр! Согласны!

— Все даем согласие.

— Читай приговор!

А потом, когда сход немного поутих, на крыльцо протиснулся Григорий Волошин, сбросил старую шапку и прерывисто заговорил:

— Люди, община — великое слово. Но приговор надо писать по закону, чтобы и комар носа не подточил. Пусть наш приговор подписывают и комитетчики, и община, и староста — законная власть,— чтобы он потом не кусал нас, как пес, за икры и не раздирал бы нам души. Вот как я думаю.

— Пусть и он подписывает!

— Салом каши не испортишь!

— А есть он здесь или сбежал?

— Я здесь,— откликнулся побелевший Окунь.— Но такой приговор подписывать не стану.

— Как не станешь? — снова всколыхнулись люди.

— Подпишешь, голубчик, не то и до дому не доползешь— с грязью смешаем!

— А то, гляди, доберемся и до твоей земельки!— пригрозил сход, и Окуня стали выталкивать на крыльцо.

Потный, растрепанный и жалкий в своем латаном-перелатанном кожухе, он добрался до крыльца, ухватился обеими руками за растреснутый столб и низко опустил голову, как грешник с церковной росписи.

Палийчук презрительно посмотрел на Окуня, на его воспаленный глаз, который, казалось, держался на сетке прожилок, сплюнул в сердцах, дописал что-то в приговор и начал читать. Слова, как добрые птицы, кружились над людьми, трепеща крыльями надежд, и расстилали перед крестьянами нивки и наделы, а Окуня клевали в голову неумолимыми клювами.

— «Тысяча девятьсот пятого года... октября месяца, мы, нижеподписавшиеся, крестьяне-собственники села Медвин, собравшиеся на сельский сход по общинным делам, в

присутствии своего законного старосты Окуня Дениса сына Володимирова, постановили: отобрать у нашего помещика Стадницкого Аркадия сына Валерьянова всю землю, пахотную и непахотную, и разделить ее поровну между людьми. Еще постановили: отнять у помещика имение и экономию, а также движимое и недвижимое имущество, потребное для обработки земли. Если же барин сам пожелает трудиться на земле в нашем селе, то дать ему пайку, как всем земледельцам, а также инвентарь и скот...»

Слова, как волшебные зерна, падали в души земледельцев и прорастали ярким блеском в глазах, добрым туманцем видений, раздумьем. Палийчук закончил чтение, а люди все еще прислушивались. Прислушивался к этому молчанию и Палийчук, видя, как переливается и играет перед ним народная волна.

— Олександр, ты прочитай еще про землю,— тихо попросил Матвий Боцюн, пришедший на сход с веслом.

— Прочитай, прочитай про землю!— сразу же поддержало несколько голосов.

— Так здесь же все про землю.

— Ну и катай все!

Он снова прочитал приговор, и крестьянские головы и голоса всколыхнулись еще оживленнее:

— Вот это и по-людски и по-божески!..

— Когда же будем делить землю?

— И барина мы не обижаем, как он обижал нас.

— Пусть и он теперь похозяйствует не на тысячах, а на десятинках.

— Ой, похозяйствует он розгами по нашим спинам!

— Не каркай!

— Миновалось господское царство, мужицкое настает...

Люди, склонив головы, словно к причастию подходили к приговору, снимали шапки, руками и грудью выдавливали под ним похожие на корни закорючки или ставили крестик и облегченно вздыхали, словно после тяжелой работы.

А потом снова в подсиненном воздухе зареяло красное знамя — крестьяне пошли к помещичьему дому. Насмерть перепуганный Никанор долго не мог попасть ключом в скважину. Наконец железо лязгнуло. Лакей угодливо, словно перед большими чинами, растворил чугунные ворота и, холодея, побежал во дворец.

Пока возле бассейна ставили принесенный из людской замызганный стол и ободранные стулья, во двор, сопровож-

даемый сотнями любопытных, хмурых и серьезных взглядов, вышел Аркадий Валерьянович. На бледном лице барина чуть подрагивала его неверная подкова счастья. Стадницкий чувствовал это, не в силах овладеть собой, то и дело тянулся пальцами к щекам, но и пальцы не могли сдержать их дрожь.

Не зная, куда девать беспокойные руки, помещик в подчеркнуто изысканном платье стал перед серыми и черными, плохо одетыми, по большей части, несмотря на утренник, босыми мужиками. Барин уже не в состоянии был выхватить своим зеленоватым взором отдельные лица из этой толпы, перед ним стояли словно бы не крестьяне, а их грозные тени.

Чего они хотят от него? Души его или земли? Скорее земли... Что ж, еще придется им грызть ее, как камень, а запивать своей кровью... Впрочем, грех сейчас думать о крови — собственная жизнь держится на ниточке.

Стадницкий не выдержал колючих взглядов крестьян, прищурился, опустил голову и увидел темные, иссушенные землей ноги, искалеченные пальцы, сбитые ногти. Куда же ему девать глаза? К нему подошли Палийчук, Якубенко, даже Полярушн. Неужели и лучший косарь пошел в бунтовщики? Или Марьян сменил косу на нож?.. Лица главарей не предвещают смерти, не требуют крови. И от этого легче.

Палийчук подошел вплотную, но не поклонился, а стоя, как равному, отчеканил:

— Барин, община единодушно решила отобрать у вас землю...

— Отобрать? — как будто удивился Аркадий Валерьянович.— По какому это закону, Олександр? — И он, дрожа душой и телом, опустился на стул.

— Вот послушайте, по какому.— И Палийчук громко, для людей и барина, стал снова читать приговор.

Но его внезапно перебил Лесь.

Он возмущенным взглядом смерил Стадницкого, который от волнения ерзал на простом лакейском стуле.

— Встаньте, барин, когда с вами община говорит.

— И верно, встаньте!— подтвердил и Матвий Боцюн, все еще держа уже добела высохшее весло с налипшими рыбьими чешуйками.

— Даже встать надо? — снова удивился Аркадий Валерьянович, дрожа теперь уже от обиды. Кровь прилила к его лицу, но он встал перед общиной, держась обеими руками за стол.

Палийчук прочитал приговор и спросил барина:

— Все слышали?

— Все.

— Оставить вам пайку земли? Может, будете жить с нами?

— Не надо,— глухо ответил Стадницкий, не видя ни крестьян, ни Палийчука — перед глазами у него плыла серая муть.

— Тогда подпишите вот здесь, барин, что вы согласны и добровольно отрекаетесь от земли и от имущества.

Стадницкий подумал, слепо посмотрел на людей, закусил прихотливые, от боли сжатые в ниточку губы и, еще ниже нагнувшись над столом, красиво вывел свою фамилию. Она, единственная, выделялась изящным почерком среди неуклюжих крестьянских закорючек.

— Ну вот и все, барин,— без насмешки и злобы посмотрел ему в глаза Палийчук.

Стадницкий вздохнул, чувствуя, как невидимый груз противно сгибает его.

— Мне можно идти?

— Как желаете. Не препятствуем.

И барин, словно в тумане, боясь наскочить на что-нибудь, прошел мимо крестьян, которые уже растекались по двору, людской и нетерпеливо заглядывали во дворец. Возле чугунных ворот Аркадий Валерьянович увидел Чайчиху, стоявшую на этот раз без сумы. Барин полез в кошелек, но тут же передумал: еще примет ли нищенка сегодня деньги от него? Она, быть может, и о нем уже думает как о нищем? И это паскудное слово, упавшее камнем в опустошенную душу помещика, разбило лед оцепенения и пробудило ярость. Стадницкий стиснул в кармане кулак и чуть не бегом выскочил на улицу, раздумывая, как бы поскорей добраться до губернатора и вымолить у него казаков или драгун. Он еще покажет этому быдлу и землю и подписи... И вдруг у ограды его догнали крестьянские голоса:

— А надо ли, ребята, выпускать барина? Ей-богу, он еще привезет котомку горя и мешок беды.

— Может, и верно остановить?

— Пусть хоть «барыню» напоследок спляшет!

Поднялся хохот, кто-то затопал ногами, словно хотел погнаться за помещиком, а он, сутулясь, зашагал к Салогану, в конюшне у которого на всякий случай стояли лучшие жеребцы. Только бы вскочить на верховую лошадь...

XXVI

Люди пашут землю, а годы — душу. Ох, и перепахана же она, эта мужицкая душа, и вдоль и поперек, искромсана в такие клочья, что не всякий уразумеет, как она еще в теле держится. Однако держится, как искра в кремне, потому что дрожат на ее изболевшей, растоптанной основе несколько росинок надежды. И всю жизнь они то всходят тихой пшеничкой, то дрожат туманцем, то леденеют слезами. И нужды нет, что у другого на поле растет хлеб, а у тебя от труда на чужих полях вырастает горб,— ты все надеешься, что жизнь переменится и ты получишь свою нивку и хоть какое-нибудь счастье.

И вот извечная твоя надежда — твоя земля — лежит перед тобой и чуть звенит потемневшим жнивьем. Лучшей музыки никогда не слыхал Марьян. И в церкви пасхальные хоры не восхищали его, как шелест жнивья: это земля беседовала с ним, широко в оба конца разматывала полотно его жизни — то, что было, и то, что будет... Если бы Фросина дожила до этого дня! Как бы она радовалась и плакала, положив голову во впадинку на его груди.

Марьян добрыми и печальными глазами окидывает вереющий простор, опускается на землю, припадает к ней. Он чувствует ее лицом, руками, сердцем и долго-долго молчит, а потом начинает разговаривать со жнивьем, утешает его, что на будущий год здесь вырастет ярая пшеничка,— он сам ее посеет, сам будет смотреть за ней и косить. Он увидел себя косарем на своем поле, и по небритой щеке побежала слеза. С чего бы теперь? Люди выбрали его комитетчиком, а он сырость в суму сбирает... А может, это его душа чистой девичьей слезой скатилась на землю?.. И снова разматывается перед ним полотно жизни, и лучше всего видеть себя в ней косарем.

Вот уже и вечер осенний, неровно перевешиваясь подбитыми тучей краями, опустился на поле, а Марьян все не уходил со своего надела, словно душа его приросла к этому клочку земли. Сквозь думы и видения он прислушивался, как над трактом шелестели последней листвой старые липы, как в дуплах у них пел ветер, как по ту сторону сизой дороги покрикивал на волов мужик — там между небом и землей двигались два живых огонька. Это Евдоким Юренко прилепил на роскошные рога своих волов две свечки и при

их дрожащем свете пахал под зябь свое поле, ибо чем же он теперь не кум королю?

Потом Марьян услыхал, как полетел через пашню радостный и печальный голос Василины Велычко:

— Вот это, детишки, наша земля. Глядите, любуйтесь нашей кормилицей.

— Насовсем наша? — спросил один из малышей.

— Насовсем, дитятко. А вашего шального отца нет как нет.

— Отчего же он, мама, шальной?

— Все по Адессам шатается, точно и не знает, что у нас уже свой надел.

— Мама, а сладкий горох посадим?

— Кому что, а тебе горох,— засмеялась женщина.— Посадим, все теперь посадим.

Марьян, улыбнувшись, весело поднялся с земли, еще раз осмотрел ее, перешел дорогу и направился к Евдокиму. Как славно запахли перестоявшейся полынью пашня и потревоженное жнивье, как до боли сладко заскрипело теперь вербовое ярмо и заколебались два легоньких огонька, плача восковыми слезами...

— Гов-гов, быки! — останавливает скотину Юренко и выходит из борозды, степенный, с праздничным, хоть и по-прежнему заросшим, лицом.— Ты, Марьян?

— Вроде я.

Евдоким подходит ближе, в его глазах тепло мерцают огоньки свечей.

— Не хочется, Марьян, домой идти? — значительно и добродушно улыбается он.

— Не хочется, Евдоким.

— Что и говорить... Земля.

— Земля.

Так и стоят двое людей возле двух огоньков, дрожащих на воловьих рогах, приглядываются к черному разливу пашни и молчат, но каждому понятно все, о чем думает другой.

— Тебе, верно, скотинка нужна? — переждав, спрашивает Евдоким.

— Еще бы!

— Вспашу свое, а потом пособлю тебе и Давыду.

— Спасибо!

— Не за что. А что же ты из экономии не взял себе жеребят или бычков?

— Мне телушка досталась, породистая. Может, дождусь когда-нибудь ложки молока.

— И то недурно. Тебе, как комитетчику, можно было взять и волов.

— Мы не хотели, чтоб про комитет болтали лишнее.

— Гляди-ка, с правды начинаете. Так и должно быть. Жаль, раньше не взяли землю: теперь бы уж посеяли.

— Дядя Евдоким, вы еще воск переводите? — весело окликает с тракта Давыд Левенец.— Не гаснут свечи?

— Не гаснут. А ты что там делаешь? Табачок есть — так давай в компанию.

— Чужой табак и я курить мастак!— и вскоре перед волами вырастают из темноты Давыд и Уляна.

— Ты, Давыд, словно и до сей поры растешь,— здороваясь, удивляется Евдоким.

— А что вы думаете? Надо измерить прутом,— смеется Уляна.

— Наделили вам землю уже во всех трех руках?

— Во всех трех,— не пряча улыбки, отвечает Давыд.

— А как же будет теперь с твоим датским способом? — не сдержался, чтобы не подколоть, Евдоким.

— Чтоб он сгорел! Добарахтался в этом болоте, как жаба, до того, что в груди от простуды лягушата заквакали.

— Ну, теперь не будешь так мучиться.

— Лишь бы ничего не стряслось.

— Что же может случиться? — Евдоким сразу встревожился и положил руку на прогретый воском рог вола.

— Говорят, в Проскуровском уезде казаки уже нарезают мужикам свои наделы.

— Нас не должны тронуть: мы по закону, без всякого там разбоя да убийства, взяли у барина землю,— обеспокоенно проговорил Евдоким.— Стадницкий сам на приговор, как на евангелие, руку положил.

— Это со страху, чтоб не порешили его... Казачью, перед тем как пошли убивать, начальство выдало по три рубля деньгами и по паре казенных сапог... задаток, стало быть, за мужицкие души.

— Вот это задаток...

И крестьяне после великих упований погрустнели, притихли, прислушиваясь к тому, как со свечей тихо капали восковые слезы, а в дуплах лип изредка отзывался ветер. Когда Марьян и Давыд собрались домой, Евдоким погасил свечи на волах.

— Это зачем же? — пораженный, спросил Марьян.

— А чего даром воск переводить? Может, завтра придется вернуть барину землю,— со вздохом ответил Юренко, подошел к плугу и выворотил его на жнивье, решив отправляться в село.

Через день в Медвин примчались исправник, земский начальник, становой и стражники. Последние сразу же разлетелись по всем закоулкам, забарабанили нагайками в окна.

— На сход, мужичье!

— На сход, крамола!

Первыми на сходку пришли Терентий Плачинда, Денис Окунь, Омелян Шмалий и еще кучка их единомышленников. Перед собой они почтительно несли портрет Николая Второго. Исправник встретил богачей благосклонно, пальцем показал, где повесить царский портрет, и принялся рассуждать с Окунем о событиях в селе.

Когда собрались мужики, а позади них подковой расположились стражники, исправник с пролетки захрипел, залаял на всех сорванным голосом,— видно, теперь каждый день приходилось надрывать горло:

— Я приехал предупредить, чтобы вы, пока шкура цела, бросили играть с огнем, а то после поздно будет. Ваше счастье, что не натворили большого бесчинства. Приказываю сегодня же до сумерек вернуть все взятое в экономии и во дворце, а за каждую запаханную десятину, помещичью или казенную, внести штраф по двадцать пять рублей. Иначе его из вас выбьют казаки. А они не только деньги выбьют, но и душу...

В это время к собравшимся подлетел на взмыленном коне урядник и, козырнув, подал исправнику пакет. Тот разорвал его, прочитал, побледнел, сказал что-то становому, и через минуту все начальство и стражники, как на пожар, понеслись из села.

— Припекло где-то...

— Теперь повсюду печет!

— Иначе не так бы разговаривали с нами!— зашумели люди.

Но наговориться им не дал Окунь. Он занял место исправника и крикнул поверх голов:

— Так слышали, люди, что нас ждет? Казаки. А уж те пропишут нагайками закон! Так пропишут, что семь шкур слезет, а восьмой не на чем будет нарасти.

— С нас уже двенадцать содрали, не пугай!— крикнул кто-то.

— А он дрожит за свою — она у него не латаная.

— Ишь раскапустился во все крыльцо! Грознее исправника.

— Поговорил, Денис, дай сказать и другим,— оттер Окуня Палийчук, а рядом встали комитетчики.— Что же, мужики, может, и правда, понесем да повезем барину свое добро, да еще и штраф заплатим за то, что вспахали поле?

— Пусть ему бес угольями платит!

— А что, Олександр, теперь делают в других деревнях? Скажи, будь добрый!

— Не знаю, как везде, а в иных готовятся к обороне: припасают оружие, топоры, а села так огораживают, чтобы не проползла никакая змея.

— Это бунт!— закричал Омелян Шмалий.— Это пахнет Сибирью!

— Чего стращаешь! Заткни глотку, мы не из пугливых!— прикрикнул на него Лесь Якубенко.— Пусть люди сами, без таких советчиков, решат.

— Нам теперь тут и Сибирь и каторга...

Мужики совещались до самого вечера, прикидывали и так и сяк и решили обороняться: выкопать рвы, перегородить улицы плетнями и боронами, поделать загородки и завалы, чтобы не пустить в село ни драгун, ни казаков, ни стражников, ни урядников, ни черта, ни барина.

XXVII

Крестьянин почти не чувствует запаха пота — он всякий день купается в поту. Одежда земледельца истлевает не столько от времени, сколько от горячей росы. Вот и на Марьяне разлезлась от соленого пота рубаха из десятки. Она, может, и носилась бы еще несколько недель, не трудись он так на постройке огорож.

У околицы на твердую, как камень, дорогу мужики ставили дубовые или вязовые столбы, а Марьян вбивал их в землю, что есть силы ударяя деревянной кувалдой. Кувалда взлетала в воздух, била по столбу, Марьян выдыхал «гех» и снова страшно раскручивал кувалду, под которой так и стонало дерево. Крестьяне только покачивали головами: и откуда берется у человека такая бешеная сила? Ведь

мается теперь день и ночь, словно разбогатеть собрался... Взмокнув от пота, Марьян бросал на время свою кувалду и принимался проверять загородки и завалы руками. Мужики делали их на совесть, хотелось верить, что и в самом деле никакому войску, никакой погани не перебраться через эти завалы. Марьян, если б мог, огородил бы от дурного помысла и глаза не только село — всю землю.

Когда на плечах у него разлезлась рубаха, он удивленно потрогал рукой мокрую спину, рукавом отер пот со лба, пакинул свитку, передал кувалду Левенцу, а сам устало поплелся в степь, к своему наделу.

Осенняя степь, покачивая свет и тени, лежала теперь в черных ранах, и только над ними едва-едва курился туман. А может быть, это испарялась темная кровь перепаханной земли?

Марьян тоскливо посмотрел на казацкий и турецкий курганы, на которых играли и наблюдали за трактом пастушата, и с сожалением подумал: сколько зря пропало людей на белом свете! Ну чего было туркам искать смерти в чужой степи? Чужую землю можно опустошить, а жить на ней не станешь, это уж как есть. Вот так и господа сложат когда-нибудь головы за эту землю — иначе, верно, нельзя.

Марьян остановился над своим еще не запаханным наделом, отколупнул пальцами комок земли, размял ее в руке, понюхал и незаметно для себя запел:

Черна пашня распахана, гей-гей!
И пулями засеяна, гей-гей!
Белым телом заборонена, гей-гей!
Алой кровушкой сполоснута.

Так оно было, так, верно, и должно быть. То земля обороняет человека от смерти, то человек должен оборонять ее от гибели.

Хмурый, как осенний день, Марьян вошел в жилище Волошиных, снял висевшую в сенях над дверью в чулан свою косу, внимательно осмотрел, сбил с косья и принялся по-новому править.

— Дядя Марьян, что это вы делаете? — удивился Максим, присев перед ним на корточки и глядя на косу, которая теперь надета была вдоль косья и как бы продолжала его.

— Что делаю? — переспросил Марьян.— Игрушку для господ и драгун.

— Колоть их будете? — догадался Максим.

— Придется — так и колоть буду. Ничего, малый, не сделаешь,— ответил тот, собрав морщинки на лбу и вздохнув: лучше косить траву или хлеба, чем проливать кровь, хотя бы и поганую.

...В сумерки рабочие сахаро-рафинадного завода передали в Медвин, что на рассвете должны прибыть драгуны. Эта весть сразу же облетела все хаты. Засветились скорбные свечки, заплакали женщины и дети, а крестьяне стали, как перед смертью, переодеваться в чистые рубахи. С плохонькими, заплатанными жестью или перевязанными бечевкой ружьями, с топорами, косами, вилами, а то и просто с дубинами они готовились оборонять свою землю и свои убогие хаты.

Перед тем как идти к своим загородкам, засадам и завалам, мужики заходили к родне, друзьям, на всякий случай прощались с ними, трижды, крест-накрест, целовались и просили забыть обиды. В ту ночь много пролилось восковых слез, а еще больше женских.

Одна только несчастная Домаха, батрачка Шмалия, не горевала, а даже с доверчивой радостью лепетала: «Моткали плидут...» На что надеялась, чего ждала от них ее забитая душа?

На рассвете Звонарь ударил в большой колокол, и все всполошились. Драгуны рысью въезжали в село не по тракту, а из лесу. В темноте жутко лязгало оружие, лошади тревожились. Вот первые всадники доскакали до околицы, и вдруг ряды смешались. Лошади с диким ржанием поднимались на дыбы, бросались на плетни, падали, сбрасывая всадников. К нестерпимому ржанию прибавились вопли, проклятия и ругань драгун, налетевших на прикопанные вверх зубьями бороны. Потом послышалась команда, и над невидимой целью печально запели пули, пробивая крестьянские тыны и загородки.

На другом краю села драгун встретил выстрелами отряд Романа Волошина. Солдаты отступили, оставив перед завалом трех убитых лошадей — крестьяне сперва стреляли по лошадям, боясь проливать человеческую кровь. И тогда Роман увидел среди драгун пана Стадницкого. В сердце парня закипела злость. Он ужом пролез под тыном, чтобы приблизиться к барину, но тот, словно почуяв опасность, отъехал подальше.

Встретив неожиданный отпор, полуэскадрон растерялся, отошел от села и расположился на вырубке. А после полудня

на подмогу драгунам серой лавой, с примкнутыми штыками пришла пехота. Теперь солдаты, разделившись на отряды, попытались окружить село. И это сразу же обеспокоило мужиков.

— Люди добрые, в петлю нас берут!

— Зажмут вот так — и каюк.

— Надо хоть семьи спасать...

Кто-то подал мысль, что, пока не затянулась петля на шее, надо бежать в лес или в монастырь. И мужики ухватились за это, а Евдоким Юренко первый пошел запрягать волов, чтобы скорее выехать в монастырь.

— Все пропало, все,— как в горячке, твердил он соседям.— Стало быть, надо поживее выезжать, а там видно будет...

До вечера обороняющиеся редкой стрельбой держали солдат в отдалении. А в сумерки заскрипели подводы, заревел скот, заголосили женщины, дети, и все в беспорядке покинули село, оставляя родные гнезда.

В Синяве, возле господской парильни, обоз разделился на два рукава: одни, с комитетчиками во главе, остались в лесу, а другие подались в женский монастырь — старики, женщины, дети и самые смирные, запуганные и богобоязненные крестьяне искали защиты у богов.

Вскоре эта вереница подвод, скрипя, докатилась до белокаменных, с башнями стен монастыря. И навстречу крестьянской печали поплыло церковное пение. Оно чисто звучало в чуткой прохладе вечера, вливало покой в людские души.

В прорези железных ворот испуганно замерла худенькая послушница с фонариком в руке, потом она пошла к матушке игуменье, а на людей все лилось и лилось неземное пение, окропляя их горе росинками надежд. Вскоре вышла матушка игуменья в скромной рясе, побеседовала с женщинами, велела отпереть железные ворота, и крестьяне постепенно заполнили огромный двор, на котором по-хозяйски стояли копенки отавы, дышащие теплом осени и воска. Подъехал к воротам и Евдоким Юренко, который перед тем снова зажег свечи на рогах волов. Матушка игуменья строго посмотрела на него и спросила коротко:

— А это что?

— Святой огонь,— смутился Евдоким.— У нас чумаки всегда зажигали, выезжая в дорогу.

— А у нас свечи зажигаются перед богом, а не перед волом.

— Так я задую...

Мужики сразу же пошли в церковь, под защиту богов, понесли им свои слезы, мольбы и самодельные свечи. А матушка игуменья еще долго ходила по двору между копнами и скотиной и думала о своем: хорошо ли она сделала, что впустила в святую обитель столько грешных мирян? Игуменью тревожила не совесть. Она с опаской ждала, что скажет высшее духовенство. А из дверей троицкой церкви неслось прекрасное пение, молящиеся просили, чтобы святой, крепкий и бессмертный бог помиловал их.

Весь следующий день люди искали защиты у богов. Хорошо, что боги в этом белоснежном, похожем на сказочный град Китеж, монастыре жили повсюду, начиная от самых ворот. Схимницы-монашки и послушницы не обижали крестьян, а с любопытством присматривались к ним, только матушка казначейша, хлопая недобрыми глазами, тихо бранила детей и скотину непонятной бранью, где были перемешаны и церковное и ярмарочное. Матери прятали от нее малышей, а мужики остерегались, как бы с лошадьми да волами не случилось чего «от дурного глаза».

Когда все пошли к вечерне, в монастырь легко вкатился роскошный, лакированный экипаж. Перед ним почтительно застыли черницы. Из пролетки вылез немолодой, костлявый, как смерть, церковнослужитель в дорогой черной рясе. Ряса на нем трепыхалась, как крылья летучей мыши. Небрежно раздавая благословения, гость направился по выложенной камнем дорожке к матушке игуменье, которая и в праздник носила простенькую рясу из черного кашемира. Увидав гостя, матушка, внутренне содрогнувшись, по-монашески отдала поясной поклон, а ее золотой наперсный крест поклонился еще ниже, до самой земли.

Через полчаса игуменья, опираясь на патерицу, пришла в троицкую церковь, в которую она вложила всю свою душу и семьдесят тысяч рублей, и тихо обратилась к притихшим крестьянам:

— Люди, в это нелегкое время житейской смуты святой монастырь не может защитить вас. Надейтесь и уповайте на бога. В нем наша сила, и вера, и защита. Прошу вас, сейчас же уезжайте восвояси. Да хранит вас всевышний,— и она перекрестила мужиков.

В церкви стало так тихо, что слышно было, как плакали перед богами самодельные крестьянские свечи, потом раздались вздохи, у кого-то вырвался стон. Дети земли рас-

терянными, горькими глазами посмотрели на игуменью, на расписанные стены храма и пошли из этого тихого рая, омраченного черными одеждами.

Люди оставляли богов.

XXVIII

Уйдя из монастыря, медвинцы с неделю прожили в тревожных и знобких лесах, изредка по ночам заскакивая в село. Туда уже вернулся барин, правда, без жены. На ее половине поселился драгунский штаб-ротмистр, а людскую заняли драгуны. В экономии они изнасиловали несколько сезонниц из других сел, на помещичьих полях убили четырех крестьянских коров, а потом принялись объедать и богачей, и те, сетуя, пришли к Стадницкому с просьбой избавить их от постояльцев, потому что село, дескать, может уже обойтись без войска.

— А завтра снова придет комитет выселять помещика, а может, присудит и убить его!— Аркадий Валерьянович резко глянул на Окуня.

— Нет, ваша милость, этого уже вовек не будет.— На смиренной физиономии старосты хищно поблескивали темные, с разбегающимися прожилками глаза; цепкие, они походили на черных мохнатых пауков, во все стороны раскинувших свои лапки.— Мы теперь управимся с главарями. Да и люди сперва наварили пива, а теперь и от пены отказываются. В лесу началась грызня. Мужики — что солома, споро горят, скоро и гаснут. А тут еще и на детей напала хворь... Бабы стали словно осы и все домой тянутся, только боятся драгун.

— Комитетчиков мы славненько упечем в каталажку — вот и притихнет село. — У Омеляна Шмалия заходили возле носа острые, как гречишные зерна, оспинки.

— Уйдут драгуны — так вернутся и люди, сразу же вернутся, и уж тут мужикам станет не до бунта — с поклоном понесут барину и добро и штраф. Только оставьте, ваша милость, в экономии несколько чеченцев, эти не помешают,— осторожно посоветовал Терентий Плачинда, исхудавший за эти дни: работы было до зеленой тоски, а батраки гуляли по лесам.

— Даже если все принесут, безнаказанными их оставить нельзя,— строго ответил помещик.

— А кто же говорит — безнаказанными?!— зашумели все разом.— Наказание будет — и большое,— только зачем же нас-то карают солдаты?

— Хорошо, я поразмыслю над этим,— задумчиво сказал Стадницкий, которому тоже надоели драгуны: из-за них разбежались из людской и экономии все девушки и женщины, даже обед некому сварить.

Он отпустил богачей, а сам вышел на грязный, давно не метенный двор, пропахший конским навозом и пóтом.

К нему, позванивая шпорами и волоча по земле шашку, подходил на кривых ногах мокрогубый, с утиным носом штаб-ротмистр Бобров. Стадницкий, подавляя отвращение, протянул своему защитнику руку.

— Аркадий Валерьянович, вы знаете Христину Щербиниху? — закартавил штаб-ротмистр, улыбаясь водянистыми глазами с наглинкой.— Говорят, это прекраснейший цветок вашего села?

Стадницкий невольно содрогнулся.

— Ну, не прекраснейший, положим.

— Разве? А я хотел послать за ней в лес своих орлов,— расхохотался штаб-ротмистр, давно потерявший представление о границах приличия.— Вы, кажется, сегодня не в духе?

— Нет, я все думаю над одним вопросом, ваше благородие.

— Все над тем же? — засмеялся «ваше благородие», который уже и в снах видел себя произведенным за экспедиции по деревням в «ваше высокоблагородие».

— Да, все над тем же, — сухо ответил Стадницкий, не терпевший наглого смеха Боброва.

— Сжечь все мужицкие хаты — меньше было бы у вас причин для размышлений,— снова расхохотался офицер.— Хотите, я сегодня же возьмусь за это дело? Такой фейерверк устроим, что любо будет глянуть.— Штаб-ротмистр уже устраивал такие фейерверки в других деревнях, а убивать ему еще не приходилось, и он не знал, как это у него получится,— его мутило при виде крови. Вот жечь — милое дело.

— Все сжечь — много будет. Надо придумать другое.— Аркадий Валерьянович собрал складки на лбу и увел штаб-ротмистра в кабинет, на деловую беседу...

В тот же день по первопутку драгуны выехали из Медвина, а к вечеру в село уже входили и въезжали измученные жители. Радостно замычала скотина, спеша к своим яслям,

закружились собаки, даже куры обрадовались, и у порогов замелькали их гребешки. Меньше всего радовались люди: они не знали, чем встретит их завтрашний день.

Однако на улицах и огородах сразу потянуло дымом, ожили, засветились окна, и в лучах света красной мошкарой закружили снежинки: зимний вечер все ткал и ткал над селом свои полотна, и они нежно спадали с невидимых станков на прихваченную морозцем землю. Как славно выделялись на ней хаты в новых, белых уборах, как расцвели белым цветом сады, как по-молодецки сбиты набекрень смушковые шапки высоких столбов, стоящих у ворот, словно молодые парни! Ткачиха зима не жалела своего добра, и под тихий шелест ее ткацкого стана измученное село уснуло глубоким сном.

И вдруг в его сны ворвался гулкий звон. То в руках Юрка Звонаря колотилось большое сердце набатного колокола. Он бил тревогу, призывал людей спасаться от нового несчастья.

В ту ночь парню почему-то не спалось. Раздумывая обо всем на свете, а пуще всего о Христине, он вышел за околицу и там услыхал топот и звон оружия на тракте. Юрий догадался обо всем и что было сил пустился на колокольню. По дороге он обронил шапку, но даже не нагнулся за ней. Пока он добежал до церковной ограды, драгуны уже с нескольких сторон окружили село. Парень так бил в набат, словно это его собственное встревоженное сердце билось о стенки колокола. Звон вывел из себя штаб-ротмистра, он поднял глаза на колокольню, придержал коня, обернулся к драгунам:

— По колокольне огонь!

— Ваше благородие, это же святое место! Звонница!— вытаращился пучеглазый, заснеженный унтер-офицер.

— Там засели крамольники! Огонь!

Недружно прозвучал залп, другой, третий.

И колокольня словно застонала, а колокол печально трепыхнулся, как подбитая птица. Юрий тихонько вскрикнул, вздохнул, прижал руку к груди и почувствовал, что сквозь пальцы сочится кровь. Он хотел еще раз потянуть за веревку, напрягся и в самом деле потянул, но металлическое сердце едва дошло до ободка колокола.

«Вот оно как»,— с сожалением подумал парень, и голова его поникла, как колос. Он оседал, наваливаясь всей тяжестью на веревку, и колокол почти не чуял своего певучего

сердца, не звонил, а стонал. И между стонами слышалось, как сквозь рассохшийся настил звонницы на нижний этаж капала кровь...

Зося Романовская по стону колокола поняла, какое горе несут ей эти притихшие медные звуки. Девушка вскрикнула, оглянулась вокруг и бросилась к звоннице, а следом за ней побежал и Кость...

Когда сонные люди выскочили из жилищ во дворы и на улицы, они увидели на этот раз не за селом, а в самом селе несколько зарев. Теперь пылали не господские ожереды, а крестьянские хаты, те, что стояли поближе к сборной. Уже можно было разглядеть, что горели Олександр Палийчук, Лесь Якубенко и прежняя хата Марьяна Поляруша. Не дождалась она покупателя, а дождалась поджигателя. Очевидно, кто-то показал на Марьяна, а драгуны не разобрались, что хата давно уже принадлежит не ему, а Плачинде.

По улицам сломя голову носились десятские, барская челядь и сотский.

— Эй, живо к сборной!

— И не думайте бежать — вокруг драгуны!

— Кто не выйдет — прощайся с жизнью!

— По спискам будут вызывать!

Выбежала со двора и Василина Велычко. На только что сотканной снежной сорочке земли метались кровавые и черные тени, а в глазах женщины замерли боль и страх.

— Василина, к сборной!— крикнул из-за ворот длинный десятский Хома, перед которым распростерлась еще более длинная тень.

Женщина вскрикнула, забежала в хату, посмотрела на постель, где еще спокойно спали ее дети, сняла со стены икону богородицы и с нею вышла. Снежинки запуршали по серебряному окладу образа, который Василина так и не собралась застеклить. Подошла потемневшая от печали Христина.

— Пойдем вместе, Христинка. Пусть нас божия матерь оборонит от беды и погибели,— и Василина подняла повыше икону, тонко звеневшую под снежинками.

Как на Страшный суд, с плачем и причитаниями сходились люди к сборной, вокруг которой, охватывая толпу, гарцевали драгуны. К ним жалась кучка богатеев во главе с Окунем, который в этот день, словно на празднике, красовался в новом кожухе.

Ближе всех к драгунам стояли Палийчук, Якубенко, Полярут и Роман Волошин. Еще в лесу, когда мужики

решили возвращаться, эти положили взять на себя всю вину, чтобы как-нибудь отвести беду от села. Вскоре от помещичьего дома со взводом драгун молодцевато прискакал штаб-ротмистр. Он с лошади театрально наклонился к Окуню, что-то картаво спросил. Староста утвердительно кивнул головой.

И тогда штаб-ротмистр выпрямился, заученным движением бросил руку на эфес шашки, вырвал ее из ножен. Шашка свистнула, вишневый отблеск скользнул по ее щучьему телу. Люди на площади похолодели... В ушах у них к потрескиванию огня, вспарывающего, казалось, каждое бревнышко в хатах, прибавился короткий стальной свист.

— На колени, сволочи!— пронзительно крикнул штаб-ротмистр.

— Почему же, барин, мы сволочи? — неожиданно для всех вырвалось у Марьяна Поляруша, и он шагнул к офицеру.

— Ты еще спрашивать будешь, мерзавец?!—Штаб-ротмистр пришпорил лошадь и занес шашку над головой Марьяна.

Поднялся вопль, а Марьян увернулся от удара и что было мочи хватил кулаком по голове офицерскую лошадь. И нечеловеческая сила его сделала свое дело, из ушей лошади брызнула кровь, она попятнулась и осела на задние ноги. В тот же миг пучеглазый унтер-офицер сбоку подскочил к Марьяну с занесенным клинком, по которому сочился отблеск пламени. Поляруш не успел отпрянуть; чуя смертельную угрозу, он прикрыл руками голову, нагнулся. Сталь с посвистом опустилась, и в снег упали три пальца — мизинец, безымянный и средний.

Палийчук голыми руками схватил унтер-офицера в охапку, стащил его с лошади и ударил сапогом в грудь. А штаб-ротмистр выкрикнул команду. Крестьяне разобрали из его слов только одно:

— Пли!..

По-собачьи щелкнули затворы, раздались выстрелы, и с воплями, стонами всколыхнулась темная масса людей.

— Ой, что это, тетушка Васи...— испуганно вырвалось у Христины, когда она увидала на своем платке кровь.

Но Василина уже безвольно, без единого крика, опускалась наземь, где, покачиваясь, стояла занесенная снегом богоматерь со своим младенцем. Вокруг иконы на снегу сверкали алые лунки.

— Ой, тет...— еще успела всхлипнуть не голосом, а кровью Христина, потянулась рукой к шее, рванула корал-

лы, и они, рассыпаясь, загудели, словно шмели, а в глазах молодой женщины возник по одну сторону луг со шмелиным гнездом, а по другую — красные снега. Что же это творится с нею? И Христина погрузилась в жаркий мрак...

Верно, и прогнившая душа штаб-ротмистра содрогнулась, когда он увидел возле образа богородицы двух женщин в крови. Офицер отвернулся в другую сторону, но и там корчились, стонали на снегу несколько человек, а вокруг них, теперь без команды, опускалось на колени село. Штаб-ротмистра мутило от зрелища крови. Он вскочил на свежего, подведенного адъютантом, коня и молча поскакал в усадьбу. За ним, словно выполосканное в огне марево, летели драгуны, а на площади остались разобщенные люди и кучка богачей, которая только что жалась к карателям.

Роман первый склонился над Христиной. Она неловко лежала на утоптанном снегу, подтаявшем от ее крови. Голова молодой женщины неподвижно покоилась на подогнутом локте, и только снежинки, набиваясь под веки, шевелили ее длинные ресницы, на которых заледенели капли слез.

Неужто перед ним та же Христина, что еще недавно так беззаботно каталась на подковках по льду в лунном сиянии? Неужели это ее он зимней ночью хвалился посадить на плечо? За какие же грехи она растапливает снег своей кровью? И вся-то вина и ее, и Василины, и его, и всех людей лишь в том, что они родились земледельцами, что они кормят всех хлебом, а сами не имеют его...

Тупая боль безжалостной лапой сдавила сердце парня. Роман стал на колени, бережно поднял на руки Христину, положил ее голову себе на плечо и понес подальше от этой огнем и кровью залитой площади. Рядом другие несли Василину и образ, который не помог ей, быть может потому, что она так и не собралась застеклить его.

Обеих женщин снерва занесли в хату Велычек. Роман уложил Христину на лавку, и по его руке медленно сползла ее холодная коса. Когда в хате под плач детей и женщин зажглись скорбные свечи, он вдруг со страхом заметил слезы на образе богородицы. Они дрожали на ее лике и на серебряном окладе. «Да это же тает снег». Роман сжал руками голову и снова подошел к Христине, поправил ей волосы, поправил руки, на которых выступали рубцы от нелегкой работы в экономии.

А в хате рыдали женщины, надрывно голосили над матерью дети и тихо роняла ледяные слезки богородица.

XXIX

На искристом снежном полотне, окаймленном по краям подвижными тенями, высится хуторок Кароля Романовского. Степан Васильевич припоминает, как он здесь еще в прошлом году ловил в водорослях карасей и щучек, и в грудь его возвращается тепло, казалось навек отнятое каменными стенами тюремной камеры.

Пробивая посошком хрустящую, подрумяненную лунным светом корочку снега, Степан Васильевич бодрее шагает на хутор. Оттуда уже рукой подать до Медвина. Как там теперь живут? На лоб ложатся морщины, в памяти мелькают обрывки пережитого, и тепло, только что согревшее душу, вновь покидает ее.

На месяц набежало прозрачное облачко, он разрезал его своим лемехом, и еще ярче заблестели тополя, спешащие, кажется, навстречу человеку. С их коры и певучих веточек уже слетает предвесеннее дыхание.

Вот и прудок заискрился кружочками льда. Эге, да на нем кто-то недавно ловил рыбу... Степан Васильевич, присматриваясь, осторожно склоняется над прорубью, которую только что затянуло тонкой пленочкой льда. Под нею наискось стоит щука, едва заметно шевеля плавниками и пастью, в темном глазу рыбы холодной пылинкой дрожит отблеск не то месяца, не то ледяной пленки.

Степан Васильевич осторожно кладет на снег свой грушевый посошок, опускается на колени, легонько приближает руки к проруби. Молниеносный удар, руки обожгла ледяная корочка, но пальцы крепко зажали рыбу и выбросили ее из воды. Щука забилась, затрепыхала хвостом, раскрыла острозубую пасть, а учитель радостно засмеялся,

— Не все же хищникам править!— Присев на корточки. он, как на чудо, посматривает на рыбину и только теперь окончательно убеждается, что темная громада тюрьмы, будь она трижды проклята, осталась позади.

Потом Степан Васильевич вновь подходит к проруби, косится на нее, но там, кроме осколков льда по краям, ничего нет.

Что ж, не помешало бы спечь щучку на угольках, как это умеет делать Матвий Боцюн. Где-то он теперь? Ловит рыбу на Буге или бьет вшей в тюрьме за то, что сказал барину — встать перед людьми?.. Как хочется поскорее увидеть знакомых, близких людей, вволю наговориться

с ними, может быть, кое-кого подбодрить, а с иным и песню спеть, если еще не разучились в селе петь за это время...

Степан Васильевич бросает запорошенную снегом щуку прямо в карман старенького, на рыбьем меху, пальтишка, поправляет на голове островерхую смушковую шапку и по протоптанным, глубоким, как дупла, следам поднимается к хутору. Справа к нему тянется раскидистый куст орешника, в ветвях тихо шевелятся продолговатые, раздвоенные сережки, в которых еще дремлют цветы. Не доходя до первых деревьев сада, учитель удивленно останавливается: в хуторской сторожке у Кароля горит свет. Очевидно, рыболовы не успели еще уйти домой, и это очень хорошо. Учитель подходит к покосившейся двери, нажимает на щеколду. Она щелкает, точь-в-точь как тюремный ключ,— Левченко даже вздрагивает от неожиданности. В сторожке затопали, с порога раздался испуганный девичий голос:

— Кто там?

— Это ты, Зося? — дивится учитель.

— Ой, Степан Васильевич! — испуганно и радостно вскрикивает Зося.— Вы?!

— Я. Может, пустишь на ночь, а то вся душа перезябла.

— Сейчас, сейчас, Степан Васильевич! — Зося бросается к двери, гремит деревянным засовом и впускает учителя в сторожку.— Заходите, заходите к нам.

— А сколько же вас тут?— смеется учитель.

— Двое,— стыдливо, нараспев отвечает Зося.

— Ты и Кость?

— Нет, я и... Юрко.

— Какой Юрко?

— Мой, Степан Васильевич,— тихонько шепчет девушка и прикладывает к губам палец.

Учитель только глазами захлопал, а из сторожки навстречу ему уже выходит, улыбаясь, буйноволосый Юрий Звонарь. Как побледнел, исхудал парень, как осели его крутые плечи!

— Юрий, ты жив? — Учитель бережно обнимает Звонаря, и они трижды, крест-накрест, целуются.— Живой, разбойник?

— Зося выходила,— Звонарь тряхнул волосами в сторону девушки.— Дал бы дуба на колокольне, если бы она с Костем не вытащили меня. Вот и скриплю помаленьку благодаря ей. Видите, даже вырезаю ложки,— он показы-

вает на покрытый стружками земляной пол, где лежат свежевыструганные ложки, простые и с рыбой на черенке,— тяжелее пока что не осилю.

— Молодец, Зося.— Учитель почтительно смотрит на красавицу, которая, нагнувшись к печке, помешивает что-то в той кринке, в которой настаивала свое приворотное зелье.

— Да что вы, Степан Васильевич...— зарделась Зося.— Правда, я тогда чуть не обмерла, пока тащила его сюда: больно уж тяжел мой муж. Вы уху станете есть?

— Если примешь мою дань,— учитель протягивает Зосе щуку.

За ужином потекла тихая и печальная беседа. Во всех подробностях вспоминали страшную ночь, принесшую людям столько горя. Пять свежих могил выросло на погосте, а сколько калек стонут в хатах! Христина и поныне мечется в больнице между жизнью и смертью. Отец Левка даже лошадей продал, чтобы спасти невестку,— очень уж полюбилась она ему. Юрий после этих слов вздохнул, посмотрел на Зосю и продолжал:

— Леся Якубенка богачи загнали на три года в Сибирь, а Олександр Палийчук и Роман Волошин подались чуть ли не в Керчь на заводы. Теперь мать Романа каждый вечер ставит на столбик у ворот горшок с едою и ломоть хлеба: может, какой-нибудь страдалец утолит голод. Марьян все еще живет у Волошиных, горюет: как без трех пальцев косить?

Зося, широко раскрыв глаза, словно впервые слушала тяжкую повесть села, и нежный румянец сползал с ее лица, как тень.

— Ну, да ничего,— хмуро закончил Юрий.— Наш мужик не забыл и не забудет, что он уже владел клочком помещичьей земли. Эта земля в один узел связала мужицкие души, и ни драгунской шашке, ни пуле не разрубить его. И вовек не забудет мужик, что кровь лилась и на снег и в душу. На снегу замерзла, а в душе клокочет, как огонь. Так я кумекаю?

— Верно, Юрий. Наше все впереди: и земля, и свобода, и счастье.— Степан Васильевич легко пожал пальцы Звонаря, пропахшие соком увядшей древесины.

— А вы снова к нам учителем?

Левченко грустно улыбнулся.

— Не пускают меня, Юрий, на порог школы: страшен стал.

— Вон как? А наша школа пустует, даже дверь забили досками... Что ж думаете делать?

— Пока что возьмусь за отцовское ремесло. Буду шить людям сапоги такие, чтоб воду не пропускали и не жали.

— Вы — шить сапоги?!— удивилась и возмутилась Зося.

— А что ж, отцовское ремесло не следует забывать! Вот, Зося, и будем трудиться на пару с твоим чернобровым: он — резать ложки, я — стучать молотком: стук-гряк, дай пятак!

— Он еще и смеется!— с тоской проговорила Зося.

— А я отчего-то не умею плакать,— доверчиво признался учитель.— Еще маленьким, когда меня били, молчал, как пенек. А дед все гневался на меня: «Хоть всхлипни, черт болотный,— все меньше достанется».

После ужина Степан Васильевич попрощался с молодыми и пошел ночевать к Волошиным,— в сторожке спать было и негде и не на чем: Зосина мать со злости отступилась от дочки, не дала ей ни перышка, а на голову Юрия, приворожившего ее дочь бесстыдными цыганскими глазами, призывала всех святых и всех чертей.

С обсаженного липами тракта учитель сворачивает к крайнему двору, за которым начинаются поля. На столбе меж воротами и калиткой стоит маленький пузатый горшок, прикрытый еще не промерзшей краюшкой хлеба. Этот хлеб вынесли не богу, а людям, и в этом Степан Васильевич увидел новые приметы времени. Он берет краюшку, почтительно целует ее, кладет на место и входит в простой крестьянский двор. Здесь не слышно неистового лая собак, сопения скотины, только два ясенька и несколько вишен скромно украшают усадьбу. Зато как нарядно белеет сама хата, как славно подведена красной глиной завалинка, как стройно стоят высокие стебли мальвы, унизанные пуговками семян до самой верхушки, как молодцевато сбились набекрень горшки, висят и тихо посвистывают, словно и они рады, что есть в бедном жилище ложка молока!

Учитель тихонько постучал в окно, и через минуту раздался голос Марии:

— Романко, ты?

— Нет, мама, это другой сын,— ответил он, чувствуя, как дыхание перехватило от жалости и волнения.

— Степан Васильевич!— воскликнула женщина, хлопнула дверью и босиком вышла на порог; на глазах у нее в лунном свете блестели слезы.— Заходите, заходите! А я

думала, это Роман. Все жду его, все мерещится, что вот-вот придет... Осталась теперь только с Максимкой...

— А где же муж?

— На винокурне работает.

Они вошли в хату, где все еще пахло от образов купальской травой и зерном. Учитель подошел к нарам, где клубочком спал Максим, и улыбнулся своему бедовому ученику.

— Как он?

— Ничего. Только не слушается нового пона. Тот уже тряс его, как грушу, и за вихры и за уши... Я вам сейчас поставлю ужин.

— Спасибо, ужинал.

— Может, хоть немного съедите,— женщина даже расстроилась.

— Нет, нет! А как поживает Марьян?

— Ходит туча тучей,— Мария кивнула на другую половину хаты.— Тяжко искалечили его изуверы.

— Заживает рука?

— Понемногу.

Мария застелила свежим рядном топчан у окна, положила подушку и другое рядно, потолще, вздохнула:

— Тут и мой Роман спал, поближе к солнцу. Отдыхайте и вы.

Она тихо, как тень, отошла к младшему сыну, а учитель стал раздеваться. Изо всех уголков к нему сходились воспоминания, и от их тепла в груди что-то таяло, сильнее колотилось и сжималось сердце. И больше всего сжималось оно, когда перебирал в памяти рассказы людей о страшной ночи, которой выпало подкосить село. Палийчука, Якубенка, Романа она не подкосила, а как с теми, кто послабее? Как Марьян Поляруш? Он только стал разгибать спину... Что же, завтра-послезавтра все будет видней...

С этими думами он стал засыпать. Вот уже, погружаясь в теплый туман, закружилась и поплыла к Бугу хата... Да нет, это он не в хате, а в лодке с Матвием Боцюном, тот везет его к островам, за которыми укрылись белые лебеди... Но настойчивый скрип вырвал Степана Васильевича из сказки доброго сна. Учитель широко раскрыл глаза, приподнялся на локте, выглянул в окно.

У порога высилась крепкая фигура Марьяна Полярyша, тот осторожно одной рукой вытаскивал что-то из сеней. Но что это? Не сон ли снова? В руках у Марьяна коса. Набитая на косье, она мерцает, покрытая чешуйками лунных отбле-

ков. Уж не спятил ли человек? Куда он собрался с косой зимней ночью?

Степан Васильевич припал к окну. В сердце леденел клубок боли: вот как искалечили, ироды, душу лучшего косаря! А Марьян между тем перенес косу через тын, потом перелез сам и очутился на чистом, занесенном снегом и озаренном месяцем поле. Тут он внимательно посмотрел на свою изуродованную руку, поправил повязку, затем взялся правой рукой за ручку, а двумя пальцами левой за верх косья. И вот, расставив по-косарски ноги, человек повел косою. Она непослушно врезалась в снег, распорола его и выскочила носом вверх. Марьян ловчее перехватил косье. Коса еще покрутилась, а затем поплыла ровнее, кроша сверкающий пласт в серебристый туман. А потом человек пошел совсем уверенно, и коса больше уже не крутилась, не подскакивала у него в руках.

Страшна и величественна была эта косьба. Она взволновала учителя, наполнила его верой, что никакая беда, никакое увечье не сломит больше Марьяна. И тогда Степан Васильевич всем сердцем постиг, что перед ним по снежному полю проходит не раб, а человек; он засмеялся и едва не заплакал от радости и благодарности к кому-то.

А на поле нуждою мученный, громом битый, железом рубанный косарь косил снежное поле, и все яснее виделась ему вдали, у самого горизонта, иная, не скованная холодом земля...

1954—1958

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ И ЕГО РОМАН «ХЛЕБ И СОЛЬ»

Открытие нового талантливого художника — всегда праздник. Последние годы нам все чаще дарят радость таких открытий. Вчера еще неизвестные имена накрепко врезаются в память, становятся близкими и родными.

Художники, которых мы принимаем в свое сердце и любовно называем учителями, не гоняются за словесными побрякушками, им чужды нарочитые позы и оригинальничанье, бьющее на внешний эффект. Только открыв новые стороны действительности, сказав свое выстраданное слово о жизни и человеке, можно рассчитывать на читательскую признательность.

Именно так вошли в сердце современников романы Михайла Стельмаха «Большая родня» (1949), «Кровь людская — не водица» (1957), «Хлеб и соль» (1958), за которые писатель удостоен Ленинской премии 1961 года.

Выступая на III съезде писателей Украины, Михайло Стельмах вспомнил о старом народном обычае: если кто-то долго не возвращается из дальней дороги или с войны, в хате собирается родня, добрые люди, зажигают на краях стола четыре свечки, а посредине кладут щепотку соли и говорят: «Будем думать о любви». Так и книги самого писателя «думают о любви». Герои их проходят своеобразное испытание любовью к родине, народу, людям, труду, семье, природе, и только тот оказывается достойным имени человека, кто выдерживает этот трудный экзамен.

Современность романов М. Стельмаха — в раскрытии гуманистического содержания нашей советской эпохи, которая воплотила в действительность вековой народный идеал красоты, добра, справедливости. С огромной лирической взволнованностью и романтическим пафосом автор утверждает ценность человеческой личности. Человек для него — целый мир со своими океанами, морями, континентами. Эта сосредоточенность взгляда сообщает образам и картинам романов философское наполнение, возводит, казалось бы, частные события и местные эпизоды в степень больших художественных обобщений.

Михайло Стельмах, начиная с 1941 года, когда вышел его первый поэтический сборник «Доброе утро», опубликовал свыше двадцати книг. Здесь и лирика, и новеллы, и трогательные стихи для детей, и киносценарии, и пьесы, и фольклорные сборники, любовно составленные писателем, и, наконец, романы. Разные по уровню мастерства и по своему значению, все они написаны кровью сердца, а не разжиженными чернилами. За количеством произведений стоит в данном случае огромный труд, упорство рабочего человека, который единого слова ради изводит тысячи тонн словесной руды. Именно поэтому крепнет и мужает талант художника от книги к книге, все весомее становится его слово о жизни.

И в героях своих М. Стельмах высоко ценит работящие умы, работящие руки, враждебность легкому счастью-удаче. Шевченковские слова, взятые эпиграфом к «Большой родне», служат творческим принципом писателя и нравственным кодексом его героев:

Работящим умам,
Работящим рукам
Целину подымать,
Думать, сеять, не ждать,
Урожаи снимать
Работящим рукам.

(Перев. Вл. Россельса)

Слитность художника с народом, поэтического дарования с поэзией действительности подготовлены всей жизнью М. Стельмаха.

Родился Михайло Афанасьевич Стельмах 24 мая 1912 года в селе Дьякивцы, Винницкой области, в бедняцкой семье. С детских лет он стал свидетелем событий, грозных в истории земли: гражданской войны,

передела помещичьих угодий, кулацких мятежей. «Что такое хорошо» и «что такое плохо» он не вычитал из книг, а узнал из жизни; классовая борьба научила юношу любви и ненависти.

Окончив в 1933 году Винницкий педагогический институт, М. Стельмах попадает в самую гущу народной жизни: шесть лет он учительствует в сельских школах на Киевщине. То были годы энергичной внутренней работы, вызревания писательского таланта. В песенном крае Стельмах увлеченно собирает и записывает произведения народно-поэтического творчества, обрабатывает фольклорные источники. Народно-поэтическое творчество еще больше породнило его с идеалами, этикой, эстетикой народа, помогло зорче разглядеть большую и щедрую душу труженика. С народной песней Стельмах побратался навсегда, она прочно вошла в духовный мир писателя, стала объектом пристального изучения и неисчерпаемым арсеналом его собственного творчества.

В годы войны, как и всегда, М. Стельмах — на переднем крае. Рядовым артиллеристом, а затем корреспондентом фронтовой газеты прошел он дороги войны. Дважды был тяжело ранен, контужен. В короткие часы отдыха и длинные госпитальные ночи Стельмах пишет стихи о героизме воинов и муках народа, о чувстве семьи единой и вере в победу. Уже тогда им была сформулирована цель поэтического творчества, которое должно «сеять не полову — зерно, гнуть не мостики — мосты». Если предвоенная книга лирики озарена безмятежной улыбкой, расцвечена праздничными красками, то фронтовые стихи приобрели черты мужественной суровости. И в людях и в пейзаже теперь подчеркнута стойкость, выносливость, жизненная сила, упорство.

Только в 1946 году, через десять лет после опубликования первого стихотворения, М. Стельмах (к тому времени уже автор нескольких поэтических сборников) решает всецело заняться литературой. Такое решение взвешивалось и проверялось годами, пришло оно, когда стало ясно, что выношено свое слово о жизни и не сказать его нельзя.

Нет буквально ни одного вида и рода литературы, в которых бы М. Стельмах не пробовал сил; от детских стишков с милым и смешным названием «Как журавель собирал щавель» до сценария документального фильма — вот диапазон творческих исканий. Но самое значительное слово было сказано в романе — форме, обладающей наибольшей художественной емкостью и подвижностью, способной вместить все грани дарования Стельмаха: и эпический размах, и лиричность, и драматизм.

Стельмах ставит в центр своих романов, как правило, односельчан, несколько семей, объединенных родственными связями или личными знакомствами. Покидая родную деревню, люди обычно исчезают

и со страниц повествования. Сравнительно узкий плацдарм событий и ограниченное количество действующих лиц помогает всесторонне обрисовать характеры, тщательно выписать каждого человека. Идя путями, казалось бы, традиционного семейного романа, М. Стельмах одерживает серьезные творческие победы.

Первым крупным произведением М. Стельмаха был его роман-хроника «Большая родня». Книга охватывает жизнь украинского села почти за тридцать лет. На истории нескольких человеческих судеб раскрываются главные этапы формирования советского крестьянства, которое под водительством партии сражалось на фронтах гражданской войны, осуществило коллективизацию и разгром кулачества, активно боролось с фашистскими захватчиками. Черты нового в нравственном облике, духовном складе, быте труженика земли подчеркнуты в романе с выразительной силой.

Уже в этом произведении обозначились черты писательского стиля — поэтичность прозы и ее романтическая окрыленность, лирическая настроенность и психологическая точность. М. Стельмах пишет ярко, охотно обращаясь к песенным интонациям и народно-поэтической образности. Ему чужда скованность эмоций, подчеркнутый лаконизм, который стыдится широты чувств и загоняет психологию в подтекст. Романист прямо и открыто воспевает человека труда, прославляет душевную мощь и нравственное здоровье народа.

Следующий роман М. Стельмаха — «Кровь людская — не водица», выросший из пролога к «Большой родне», даже в названии своем содержит раздумье о человеке, о его судьбе, о жизни, трудной борьбе за счастье. Кровь для писателя «не безродная водица,— та бывает и на облачке, и на травке, и в озере, и в колодце, а кровь есть только на земле, она — жизнь отцов и детей, нежный девичий румянец и смелый блеск юношеских глаз, она — подвиг воина и нежная улыбка ребенка».

Через раздумья о человеке Стельмах идет к мыслям о человечестве, о начале, объединяющем всех людей. Но он не был бы социалистическим реалистом, если бы здесь поставил точку. В романе украинского писателя раздумье о человеке, о разумном, добром начале человечности неотделимо от мыслей о больших исторических событиях, участниками которых стали его герои, об их месте в жизни. Логикой образов романист утверждает: трудолюбия, человечности, правдивости и других добрых свойств еще недостаточно, чтобы определить сущность человека, дать верную оценку его характера.

Гуманистическая позиция автора закономерно приводит его к разоблачению людей, которые прикрывают равнодушие и жестокость ультрареволюционной фразой, якобы оправдывающей достижение цели любой ценой.

Эпизод классовой борьбы в небольшом подольском селе вырастает под пером талантливого художника до значительного раздумья о человеке и человечности. Писатель, люто ненавидящий кровопролитие, видит, что не было другого пути сокрушить «нелюдей». Социалистический гуманизм утверждается им как единственно реальная концепция общечеловеческого счастья.

Исторический роман занимает большое место в современной прозе. В нем с высоты всемирно-исторических побед советского народа оценивается прошлое, которое в свою очередь служит глубокому постижению современности.

Современный этап жизни народа, задачи воспитания нового человека определяют гуманистический пафос исторического романа, повышают интерес писателей к простым людям — творцам и строителям истории.

Роман «Хлеб и соль» повествует о революции 1905 года в украинской деревне.

Книга открывается трагическим эпизодом отъезда переселенцев в Сибирь. Нужда сгоняет хлеборобов с родных мест, обжитых, щедро напоенных потом и кровью. За тысячи километров отправляются они искать счастливую долю, которой не нашлось дома. Мотив пути, движения, поисков проходит через всю книгу, придавая ей динамичность, напряженный ритм. Ритм обусловлен центральной творческой задачей романиста — поставить проблему выбора народом правильного пути исторического развития.

Широта замысла романа позволяет говорить о нем как об эпопее, главным героем которой является народ.

Крестьянское житье-бытье при царизме — это вечная «до беспамятства работа, вечное унижение, вечное сознание того, что ты не человек, а скотина, постоянный страх за свою нивку — и перед суховеем, и перед градом, и перед холодом, и даже перед самим солнцем, да неизбывный клубок муки в душе. Но и на этой, казалось бы безнадежной почве вырастали и добрые надежды, и чистая любовь, и человечность, и мудрость, и песня».Писатель, не упрощая противоречий действительности, сосредоточивает свое внимание именно на этих прекрасных сторонах народного характера. Вот приехал в село Медвин (а людям этого села посвящен роман) речистый буржуазный ученый, голова которого нафарширована статистическими выкладками и «научными» проблемами. «Он настороженно и зорко, изучающим взглядом посмотрел на красавца парня, потом перевел взгляд на Палийчука, Якубенка, Поляруша, Велычка, Волошина, и его убеждение, что он находится среди представителей класса, обреченного историей на гибель, на миг

пошатнулось. Как же в горькой нужде и тесноте могут вырастать такие яркие и могучие индивидуумы?»

Народ для М. Стельмаха не единая безликая масса, «множество», а яркие, могучие индивидуальности, каждая из них интересна и значительна.

Показывая представителей разных поколений крестьянства, от древних кремневых стариков до юношей и детей, писатель раскрывает неистощимость народного духа, преемственность красоты, идеалов добра и справедливости. Особенно часто герои изображаются в решающие минуты жизни, когда человек сбрасывает с себя иго обыденщины и выступает во всей значительности. Старуха нищенка Чайчиха гордо возвращает пану Стадницкому дорогие подсвечники, на которые она могла бы безбедно дожить остаток жизни. Дед Дунай отказывается от юридических увертюк, которые могли бы спасти его от каторги, так как ему ненавистна всякая ложь. Любе дикими кажутся попытки кулака Якова Плачинды принудить ее к браку обещаниями богатства. Таких сцен много, и в них подчеркнута забота «детей земли» о чистоте души, которую не прикупишь.

Стремление подчеркнуть и опоэтизировать лучшие черты народного характера обусловливает отбор жизненного материала, принципы художественного раскрытия героев. У всякого, кто прочел роман, надолго останутся в памяти образы правдоискателя деда Дуная и старой Чайчихи. В них сконцентрирована вековая жизненная мудрость и нравственный опыт народа. Эти эпические характеры как бы высечены из куска гранита, они вырастают до символов.

Художник любуется и «вечным косарем» Марьяном Полярушем. Страшная жизнь, смерть любимой жены обрушились на его широкие плечи. Но он выдержал, не согнулся. Вот идет Марьян по земле. «В старых, растоптанных сапогах хлюпает вода, мокрые ноги дубеют, но человек не замечает этого; тихо, словно сеятель, переходит он с одного урочища на другое, торжественно, как молитву, считает шепотом аршины. Это только господа в кокардах, бессовестные межевики, могут со смехом и руганью мерять землю железными цепями—им ведь не работать на ней. Подумать только—цепями! Все равно что мать ковать в кандалы...» Так поэтично думают, поэтично говорят наряду с Марьяном и другие герои романа.

Сочетание силы и поэтичности, упорства и отзывчивости, стойкости и добродушия, мужественной эпичности и нежного лиризма характеризует украинских хлеборобов.

Особенно лиричны образы крестьянских девушек — Христины, Любы, Уляны. Та целомудренность, с которой М. Стельмах описывает девичью чистоту и верность, живет в украинской литературе начиная с Т. Шевченко. Советский писатель продолжает и развивает замечатель-

ные достижения предшественников, создает целую галерею незабываемых характеров.

В «Хлебе и соли» много внимания уделяется тому, как пробуждается и крепнет любовь, какой великой и яркой силой она является. Даже описывая пожилых людей, автор возвращается к их юности, чтобы вспомнить о поре влюбленности. Это связано с той огромной ролью, которую, по мнению М. Стельмаха, играет любовь в жизни человека. С другой стороны, раскрытие героя через чистоту и цельность его любви помогает воссоздать прекрасный облик народа. Той же художественной цели служат многочисленные сцены снов, мечтаний, дум о будущем, свободных от эгоистического расчета, всегда поэтичных.

Этика и эстетика идут в романе М. Стельмаха рядом, как и в народно-поэтическом творчестве. Писатель изображает людей труда не только значительными духовно, но и красивыми физически. Он часто говорит о сильных, натруженных и прекрасных руках крестьянина, лучащихся глазах девушки, здоровом румянце на щеках юноши.

Народ у М. Стельмаха близок природе, слитен с нею. Не случайно крестьяне именуются в романе то «детьми земли», то «сынами леса». Представления и образы природы вошли в быт, стали составной частью духовного опыта народа. Со своей стороны и леса, поля, озера, звезды не бесстрастные свидетели жизни людей, они активные помощники крестьян, их верные друзья.

Тем несправедливее, что между тружеником и прекрасным миром природы стала бесчеловечная власть собственности. Помещики, кулаки, чиновники, богатеи всех чинов и рангов чужды красоте, романтичность народа представляется им не более чем ограниченностью.

Книгу рассекает контраст. По одну сторону — дети земли, по другую — все, кто усердно служит желтому дьяволу. Жизнь первых расцвечена яркими красками, перевита песнями, озарена красотой. Вторые поклоняются только рублю, который, как ржа железо, разъедает душу, вытравляет из человека человеческое.

Но эти два лагеря не просто противостоят один другому, а постоянно взаимодействуют между собой, то и дело приходят в столкновение.

Народная жизнь эпохи 1905 года характеризовалась стремительным нарастанием революционных настроений. Резко обозначались классовые противоречия, все яснее становилось, что по-старому жить нельзя. В этой обстановке, чувствуя, как почва уходит из-под ног, эксплуататоры искали новые формы сохранения старого. Значителен эпизод романа, описывающий встречу Николая II с министром Витте. Царедворец говорит императору, что при сложившейся обстановке

есть два способа сохранить трон: либо ввести кровавую диктатуру, либо пойти на либеральные реформы, несколько ограничив власть самодержавия. Это — полюсы, две крайние, по мнению Витте, политические концепции, которые могут укрепить пошатнувшийся трон. А между ними и рядом множество оттенков, полутонов, различных по внешности, но единых по существу — антинародных — сил.

Писавшие о романе не раз упрекали М. Стельмаха, что тот или иной персонаж слабо связан с сюжетом. Но если иметь в виду, что главная мысль романа — выбор народом исторически правильного пути, то каждое действующее лицо займет свое определенное место в произведении. Даже те, что «стоят боком» к основному действию, необходимы для полноты исторической панорамы.

К числу крайних реакционеров принадлежит лютый крепостник Стадницкий, убежденный, что «украинцы, как и камчадалы, осуждены ходом истории на ассимиляцию, на гибель». Описывая помещика, автор всякий раз вспоминает о его больших с прозеленью глазах. И как бы ни менялись слова и поступки Стадницкого, его зеленые глаза остаются по-прежнему злыми, холодными, лишенными человечности. (Писатель вообще охотно прибегает к психологическим деталям, обнажающим сущность характера.)

Самое любопытное, что даже такой реакционер, как Стадницкий, осознает: по-старому жить нельзя. Его симпатии отданы капиталистической Европе, голому эгоистическому расчету. Он понимает, что идиллические мечтания о добром барине и покорном мужике не более чем фразерство, и делает ставку на силу, подкуп.

Рядом со Стадницким — целая свора челяди, продавшейся за жирный кусок, служащей барину верой и правдой. Здесь и управляющий с характерным прозвищем Черное Сало, и лесничий, и лакей. Писатель, отражая народную точку зрения, полон жгучей ненависти к этим иудам, продавшим родной народ за тридцать сребреников.

Кое-кому из крестьян поначалу кажется, что ласковый помещик Варава — прямая противоположность злому и властному Стадницкому. Но чем дальше развивается действие, тем яснее, что мечтающий о гетманской булаве украинофил Варава, так же далек от подлинного понимания народных интересов, как и все его окружение — следователь Чернокнижный, директор крестьянского банка Зубенко, деловод Солуха, статистик Гурий Хвост. Хотя иначе, чем Стадницкий, но все они тоже преследуют лишь собственные эгоистические интересы, прикрываясь при этом демагогией о единстве интересов украинцев.

Не менее враждебно трудовому народу кулачество. В романе выведено несколько матерых кулаков, которые дерут по три шкуры с од-

носельчан, строят свое богатство на несчастье и горе бедняков. Особенно выразителен Терентий Плачинда, отправивший родного брата в тюрьму, лишь бы не делить с ним награбленного. Когда революция 1905 года докатывается до Медвина, помещики и кулаки, ненавидящие друг друга, сразу находят общий язык, их объединяет страх перед народом.

Не забыл писатель и еще одного страшного врага тружеников — церковь. Мастер слежки и доноса, отец Николай достойно представляет этот организм, паразитирующий на теле народном.

Михайло Стельмах всегда далек от прямолинейных,«лобовых» решений. Он понимает, что явление богаче и сложнее закона,что нельзя человека оценивать только по его положению в обществе. Привлекут читателя и добрый батюшка Викентий, и Тадей Лисовский, собирающий по «убогим крестьянским жилищам не подать, а звук и отзвук истинной поэзии, от которой, как от мужицкой рубахи, отреклись блекло-манерные поэты». Но люди эти, искренне сочувствующие народу, все же бессильны помочь ему. Всем строем романа М. Стельмах утверждает: избавление не придет свыше, счастья не найти за синими морями, оно здесь — на родной земле, но его нужно завоевать, а не дожидаться.

Части романа — это этапы изживания иллюзий, шаг за шагом отбрасывается вера в милость барина, в доброго царя и всемогущего бога. Нет правды ни среди попов, ни среди помещиков, ни среди богачей. Неужели остается поверить лирникам, которые поют под грустный перебор струн:

Нет на свете правды, не ищи, не сыщешь...
Нынче наша правда у господ в темнице,
Кривда, братцы, кривда у господ в светлице.
Нынче наша правда гибнет, умирает,
Кривда, братцы, кривда весь мир попирает.

(Перев. Вл. Росселька)

Безнадежность отчаяния чужда подлинным представителям народа. И дед Дунай, и Марьян Поляруш, и Роман Волошин — все они неуклонно ищут правду, понимая, что нет иного пути к счастью. И когда грянет революция 1905 года, писатель вновь вернется к традиционным фольклорным образам правды и кривды, чтобы утвердить наступление новой исторической полосы. «Еще совсем недавно правда горбилась, как нищенка у чужих порогов, а теперь она, прорывая хитросплетенные сети и трухлявые плотины, выходила на волю, могуче бросалась на кривду, а та извивалась, как змея, и жалила, тоже как змея».

Упорные и настойчивые поиски правды, которые красной нитью проходят через все творчество М. Стельмаха, с большой силой продолжены в новом романе «Правда и кривда» — этом широком философском полотне.

Крестьянское восстание в Медвине было раздавлено, как и в других бесчисленных селах и деревнях бывшей Российской империи. Однако финал романа исполнен глубокого оптимизма, утверждает бессмертие народа и веру в неизбежное, как восход солнца — наступление правды на земле: «...нуждою мученный, громом битый, железом рубанный косарь косил снежное поле, и все яснее виделась ему вдали, у самого горизонта, иная, не скованная холодом земля...»

Роман «Хлеб и соль» свидетельствует о больших внутренних возможностях лирико-романтического стиля, которому верен М. Стельмах. Книга привлекает лирическим мировосприятием, окрашивающим все стороны повествования, четкой разграниченностью характеров, трепетно-любовным отношением к природе, которая играет роль не фона, а одного из главных действующих лиц.

Роман наших дней устремлен к выявлению нравственного опыта эпохи, на страницы его смело в права свои вступила сама жизнь. Если во «Всадниках» Ю. Яновского, «Любови Яровой» К. Тренева, автобиографической трилогии Ю. Смолича и многих других произведениях 20—30-х годов утверждается мысль о великом переломе, который рвет даже родственные связи, заменяя их новыми по убеждениям, общей борьбе, то в центре романа 50-х годов стоит изображение полноты народной жизни. С середины века далеко видно и в прошлое, и в будущее. Поэтому бегущий день жизни осознается искусством как отрезок пути, проходимого народом и человечеством, а рассказ о судьбах людей становится повествованием о состоянии мира. Взгляд художника теперь более широко и свободно охватывает закономерности истории, улавливает связь эпох. Революция не только взрывает старый уклад, прокладывая дорогу будущему, она подготовлена свободолюбивыми и национально-освободительными традициями, выстрадана долгой борьбой.

Художественному мышлению М. Стельмаха в высокой степени присущ историзм. Стремясь воссоздать панораму народной жизни, писатель ощущает внутреннюю потребность рассмотреть главные вехи революционной истории, с которых начиналось движение народа к социализму. Так рождается единый цикл романов о выборе народом исторического пути. События 1905 года, которые описаны в романе «Хлеб и соль», объясняют и предваряют события романов «Кровь людская — не водица» и «Большая родня».

Михайло Стельмах—из числа художников, которым выпало счастье стать голосом своего народа. Продолжая традиции романтической прозы Юрия Яновского и Александра Довженко, он идет целиной жизни, а не закоулками бытия. Его лирические романы-раздумья давно перешагнули границы родной Украины, стали широко известны всесоюзному и зарубежному читателю. Но М. Стельмах не успокаивается на достигнутом. Художник всегда в поисках, годы не притупляют, пожалуй, только обостряют напряженность исканий, а это служит верным залогом новых творческих успехов.

В. ПИСКУНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Хлеб и соль

Часть первая. Разоренные гнезда 5
Часть вторая. Лебединая песня 181
Часть третья. Когда плачут боги 459
В Пискунов. Михайло Стельмах и его роман «Хлеб и соль» 635

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
СТЕЛЬМАХ

ХЛЕБ И СОЛЬ

Редактор *М. Новохатский*
Художественный редактор
Г. Кудрявцев
Технический редактор *Г. Каунина*
Корректор *Г. Сурис*

Сдано в набор 4/VII 1961 г.
Подписано в печать 28/VIII 1961 г.
Бумага 60×84¹/₁₆ — 40,5 печ. л.
36,8 усл. печ. л., 36,98 уч.-изд. л.+
1 вкл. = 37,03 Тираж 150.000 (1—75000)
Заказ № 1970 Цена 1 р. 31 к.

Гослитиздат. Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Московского
городского совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

1p. 31k.

Михайло Стельмах

ХЛЕБ и СОЛЬ